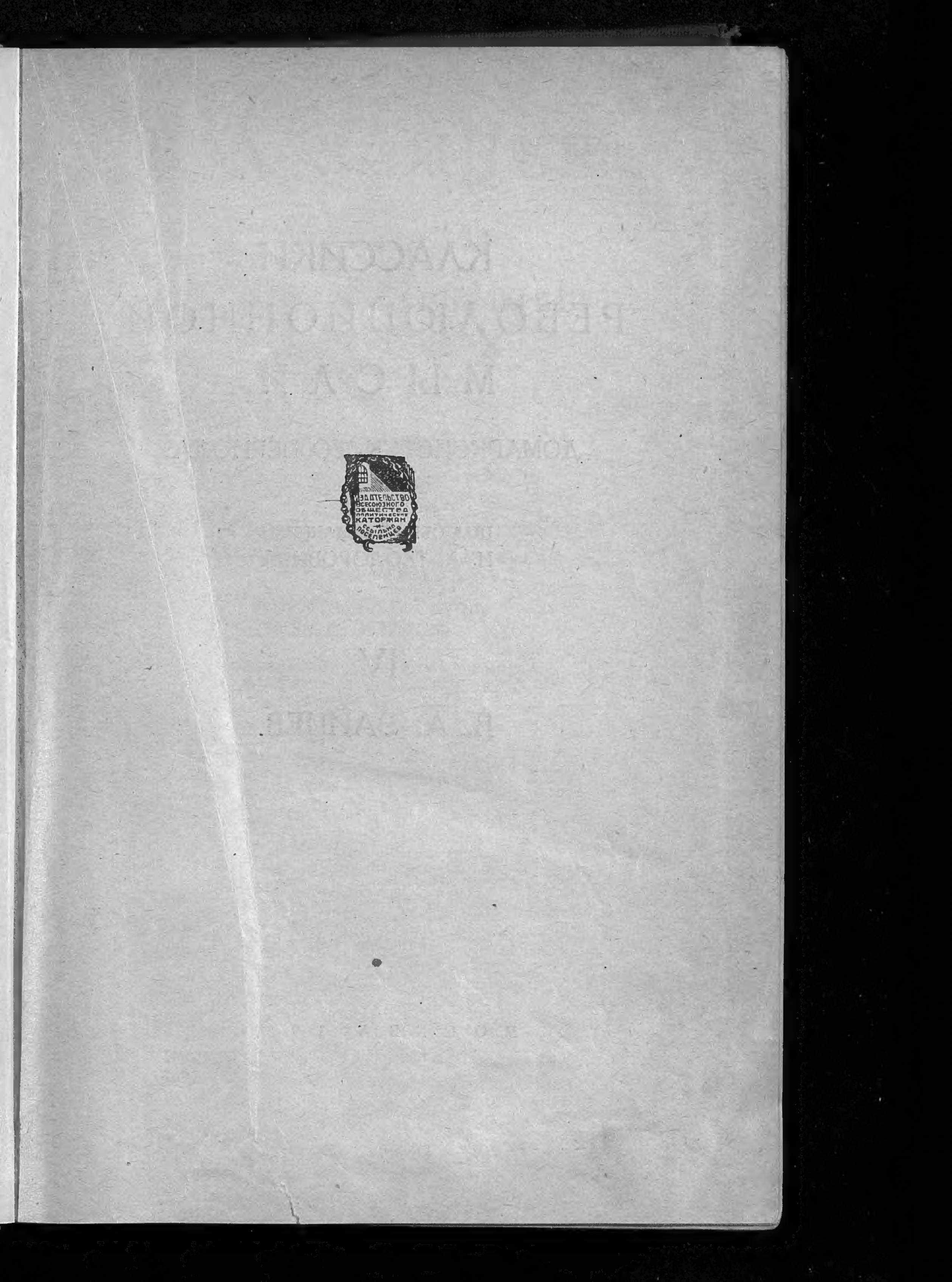
В.А.ЗАЙЦЕВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
И
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ

ДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
И. А. ТЕОДОРОВИЧА

IV

В. А. ЗАЙЦЕВ

МОСКВА—1934

В. А. ЗАЙЦЕВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

1863—1865

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Б. П. КОЗЬМИНА

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Г. О. БЕРЛИНЕРА

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Б. Я. БУХШТАБА, С. А. РЕЙСЕРА
и И. Г. ЯМПОЛЬСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Переплет работы худ. В. С. Резникова.

Ответств. редактор Б. П. Козьмин.
Техн. редактор М. Масляненко.

Сдано в набор 10/II 1934 г.
Подписано к печати 28/V 1934 г.

Формат бумаги 62×94 см.
34½ печ. л. 42.900 зн. в печ. л. Изд. № 167.
Заказ типогр. № 99.

Тираж 5000 экз.
Уполн. Главлита В 89127

Отпечатано в типо-литографии им. Воровского
Москва, ул. Дзержинского, 18.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Б. КОЗЬМИН

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О В. ЗАЙЦЕВЕ И О НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ ЕГО СОЧИНЕНИЙ

(ПРЕДИСЛОВИЕ)

Полузабытое в наши дни имя Варфоломея Зайцева в свое время пользовалось широкой известностью. Это было семь десятков лет тому назад, когда с легкой руки И. С. Тургенева в русском обществе вошло в обиход новое слово — «нигилисты». Зайцев являлся одним из наиболее типичных и ярких представителей той части мелкобуржуазной интеллигенции 60-х годов, по отношению к которой термин, введенный Тургеневым, применялся по преимуществу *. Реакционеры и буржуазные либералы той эпохи, ведя ожесточенную борьбу против «нигилистов», уделяли особенное внимание литературным выступлениям Зайцева; в нем они с полным основанием видели одного из непримиримейших и опаснейших своих врагов.

На литературное поприще Зайцев выступил юношей 20 лет отроду: в 1863 г. его статьи начали печататься в журнале Г. Е. Благосветлова «Русское Слово», стоявшем на крайнем левом фланге тогдашней русской легальной журналистики. Очень скоро Зайцев становится одним из ближайших сотрудников этого журнала, начинает вести в нем библиографический отдел («Библиографический листок») и приобретает себе большую популярность как критик и публицист.

Если его литературное дарование уступало в силе и блеске дарованию другого ближайшего сотрудника «Русского Слова», Д. И. Писарева, то все же Зайцев безусловно был выдающимся литератором, остро и ярко ставившим интересовавшие современного ему читателя проблемы и умевшим оригинально подходить

---

* Мы говорим «по преимуществу» в виду того, что слово «нигилист», войдя во всеобщее употребление, в значительной мере утратило свой специфический смысл и стало применяться по отношению ко всем, кто не мирился с основами существующего социально-политического порядка и мечтал о его ниспровержении.

к разрешению их. Как писатель, Зайцев обладал большой смелостью мысли и не останавливался ни перед какими выводами, если только они казались ему вытекающими с логической неизбежностью из принятых им предпосылок.

«У Зайцева, — пишет его сотоварищ по «Русскому Слову» Н. В. Шелгунов, — библиография была не сухим и скучным отзывом о книгах, — это была пропаганда и публицистика в форме библиографии, живая, горячая, боевая, писанная кровью сердца и соком нервов. Каждый отдельный отзыв заключал в себе цельную, законченную мысль, и все эти отдельные мысли составляли одно законченное общее, проникнутое одной идеей... По темпераменту и складу понятий Зайцеву удавались больше всего политические боевые статьи, как большие, так и малые; в них была вся его сила, и он это знал... Там, где требовалось напасть на противника, подметить слабые стороны, выискать нелепости и противоречия, Зайцев был незаменим и неподражаем. Свежесть, молодость, последовательность, свободное и игривое изложение делали каждую библиографию и политическую статью Зайцева цельной, живой, блестящей вещью, читать которую было истинным наслаждением. Яркий талант Зайцева не мог не привлекать к нему симпатий свежих и молодых читателей, и те, кто его читали, так же не забудут его, как и своей молодости» *.

Но Зайцев имел не только друзей, но и многочисленных врагов. Он умел, как никто, дразнить своих противников и доводить их до бешенства. Вот почему в течение нескольких лет фамилия Зайцева не сходила со страниц русской периодической прессы.

Касаясь в своих статьях и рецензиях самых разнообразных философских, естественно-научных, общественно-политических, исторических и литературных вопросов, Зайцев давал богатый материал для своих критиков, а остроумие и резкость Зайцева превращали их в ожесточенных врагов. Людей, относившихся к литературной деятельности Зайцева равнодушно, не встречалось; были только — друзья и враги.

Широкая популярность, так быстро завоеванная Зайцевым, скоро сменилась почти полным забвением его имени. Неблагоприятные обстоятельства в самом расцвете его литературной деятельности вывели его из рядов активных деятелей радикальной журналистики.

В конце 1865 г. Зайцев вместе с Д. И. Писаревым и Н. В. Соколовым порвал с Благосветловым и с его журналом, и это заставило его перейти главным образом на работу переводчика. Весной следующего года он был арестован в связи с покушением Каракозова на Александра II. Правда, этот арест оказался непродолжительным: после четырех с половиною месяцев пребывания в Петропавловской крепости Зайцев вышел на свободу. Однако

* Н. В. Шелгунов. «Воспоминания». М. — П. 1923 г., стр. 191.

чаша его испытаний еще не была исчерпана. «По освобождении из крепости, — вспоминает жена Зайцева, — полиция не желала оставлять его в покое и отравляла ему жизнь постоянными обысками и вызовами по малейшему поводу. Статьи его запрещались цензурой или просто не принимались в редакциях; таким образом о дальнейшей его деятельности в Петербурге не могло больше быть и речи. Становилось очевидным, что оставаться дольше при таких условиях в России было небезопасно, и новый арест грозил ему ежеминутно» *.

Зайцев решает покинуть Россию. Но и это было не так легко сделать. Полиция не давала ему разрешения на выезд за границу. Только в марте 1869 г. Зайцеву удалось получить заграничный паспорт и навсегда расстаться с родиной.

Уезжая из России, Зайцев, конечно, понимал, что эмиграция закрывает почти совершенно его произведениям доступ на страницы русской легальной прессы. И действительно, если в конце 60-х и в 70-х годах его статьи и появляются иногда в русских журналах («Неделя», «Дело», «Отечественные Записки» и др.), то это бывало довольно редко; при этом некоторые из них появлялись без подписи автора, и подавляющему большинству читателей оставалось неизвестным, чье именно произведение они читают. Некоторые статьи Зайцева этого периода вообще не увидали света: они или не проходили через ущелья русской цензуры, или заранее забраковывались редакциями, понимавшими, что всякие попытки напечатать их останутся безрезультатными. Оторванный от России, Зайцев не всегда умел примениться к возможностям, предоставляемым цензурным ведомством русской литературе. «Передайте Зайцеву, — заявил однажды М. Е. Салтыков, — чтобы он не забывал, что у нас есть у Чернышева моста одно учреждение» (т. е. III отделение) **. Правда, Зайцев писал довольно много для заграничной прессы, как для иностранной, так и для русской эмигрантской. Он печатался в бакунистских «Бюллетенях Юрской Федерации», где вел обзор русской политической жизни, посылал корреспонденции во французские газеты («Rappel», «République Francaise». «Marseillaise») участвовал в «Колоколе» Нечаева и Огарева (в 1870 г.) и, наконец, был одним из ближайших сотрудников женевской газеты «Общее Дело», где он участвовал в 1877 г. до самой его смерти в январе 1882 г. Однако все эти издания почти не доходили до русских читателей.

Таким образом в 70-е годы литературная деятельность Зайцева отнюдь не имела уже того значения, каким она пользовалась в течение короткого периода (менее трех лет) его сотрудничества в благосветловском «Русском Слове». Если в эту эпоху

* В. А. Зайцев за границей. (По его письмам и воспоминаниям его жены). «Минувшие Годы» 1908 г., № 11, стр. 84.

** В. А. Зайцев за границей, стр. 87.

иногда и вспоминали о Зайцеве, то лишь в тех случаях, когда хотели привести образец человека, способного договариваться до крайностей и даже до абсурдов. Такое представление о Зайцеве укрепилось на долгие времена.

Между тем литературная деятельность Зайцева в эмигрантский период его жизни представляла значительный интерес. Некоторые стороны его литературного таланта получили полное свое развитие именно в этот период, когда участие в эмигрантской прессе дало Зайцеву возможность заговорить голосом свободного человека, избавленного от необходимости применяться к требованиям цензуры и прибегать к помощи эзоповского языка.

Мы говорили уже, что Зайцеву, по справедливому мнению Шелгунова, более всего удавались боевые публицистические статьи и политические заметки. Но русские цензурные условия были крайне неблагоприятны для литературной деятельности такого рода. Текущих политических событий, волновавших в 60-е годы русское общество, Зайцеву удавалось касаться только в тщательно замаскированном виде. Правда, Зайцев обладал большим умением говорить иносказательно и обходить цензурные рогатки.

Блестящим образцом этого его умения является напечатанная им в 1863 г. в «Русском Слове» рецензия на полное собрание сочинений Генриха Гейне в русском переводе. В качестве одного из переводчиков в этом издании принимал участие поэт Всеволод Костомаров, снискавший себе широкую известность гнусной ролью, сыгранной им в деле Н. Г. Чернышевского. Хотя следствие и суд по этому делу велись в глубокой тайне и роль в нем Костомарова выяснилась полностью только в наши дни, когда перед исследователями раскрылись двери тайных царских архивов, слухи о предательстве и провокаторской работе Костомарова распространились уже тогда довольно широко. И вот Зайцев, который, конечно, по цензурным условиям был лишен возможности говорить прямо и открыто о роли Костомарова в деле Чернышевского, воспользовался выходом сочинений Гейне для того, чтобы жестоко ошельмовать негодяя. С исключительной ловкостью обходя цензурные препоны, он дал публичную пощечину Костомарову, заклеймив его как предателя, доносчика и шпиона. Его рецензия на сочинения Гейне была действительно блестящим примером острого политического памфлета. Однако эта сторона литературного таланта Зайцева развернулась вполне лишь в эмигрантский период, на страницах «Общего Дела». Именно тогда его резкие и страстные нападки на царский деспотизм и на холопство русского общества доставили ему прозвище «Русского Рошфора».

Но «Общее Дело» не имело большого распространения; оно почти не доходило до России, и статьи Зайцева, помещенные в нем, были мало кому известны из русских читателей.

Так незаслуженно был забыт один из ярких и талантливых русских писателей.

В 1882 г. в некрологе Зайцева эмигрант П. Алисов, указав, что в лице Зайцева «Россия, бедная талантами и протестующими силами», лишилась выдающегося писателя и революционера, выразил убеждение, что произведения Зайцева, несомненно, «будут разобраны и взвешены по достоинству нашими учеными и критиками» («Общее Дело» 1882 г., № 47). Однако надежда, высказанная Алисовым, не оправдалась. Зайцев не нашел до сих пор места ни в истории нашей общественной и революционной мысли, ни в истории литературы.

Только за последнее время интерес к Зайцеву начал возрастать. Это сказалось в появлении статей, посвященных специально его литературной деятельности *. Но в этих статьях попадаются недостаточно обоснованные положения и даже прямые извращения взглядов Зайцева и его роли в нашей литературе.

В качестве примера такого извращения можно привести следующее утверждение В. Г. Совсуна:

«У Зайцева как бы возводится в теорию пренебрежение к политическим проблемам, что характерно не только для Зайцева, но и для второстепенных сотрудников «Русского Слова»: Соколова, Дебольского, Стронина и др.» **.

После сказанного выше вряд ли нужно подробно говорить о чудовищной несообразности этого утверждения. Оно опровергается всею литературной деятельностью Зайцева, ненавидевшего деспотизм и всю жизнь страстно мечтавшего об его уничтожении. Недаром в одной из рецензий, напечатанных в «Русском Слове», Зайцев говорил о необходимости насильно навязать свободу народу, если он по своей неразвитости еще не понимает ее значения (рец. на книгу Д. Сориа «Общая история Италии»). Чем же можно объяснить такое вопиющее извращение взглядов Зайцева, которое допущено В. Г. Совсуном? Конечно, только одним, — его незнакомством с литературной деятельностью Зайцева и полным непониманием его идеологии ***.

Статьи Совсуна и Кирпотина посвящены Зайцеву как литературному критику и лишь попутно касаются его философских, социологических и политических взглядов. Между тем Зайцев был гораздо более публицистом, чем литературным кри-

---

* В. Г. Совсун. В. Зайцев как литературный критик. «Литература и марксизм», 1928 г., № 1; В. Я. Кирпотин. В. А. Зайцев во II т. «Очерков по истории русской критики», под ред. А. В. Луначарского и В. Полянского, М. — Л. 1931 г.; эта статья перепечатана в книге В. Кирпотина Публицисты и критики. Л. — М. 1932 г.

** Названная статья, стр. 100. Разрядка моя. — Б. К.

*** О степени осведомленности В. Г. Совсуна можно судить хотя бы и потому, что он называет сотрудниками «Русского Слова» Дебольского и Стронина, которые не напечатали в этом журнале ни строчки!

тиком. Если он и выступал в роли критика, то только в первый период своей литературной деятельности, до эмиграции. В позднейшее время он почти никогда не возвращался к литературным темам. Это объяснялось тем, что Зайцев был литературным критиком лишь поневоле. Только тяжелые цензурные условия, в которых находилась русская пресса его времени, заставляли Зайцева придавать своим публицистическим произведениям вид литературно-критических статей и рецензий. Рассматривая то или иное произведение художественной литературы, Зайцев пользовался им для того, чтобы знакомить читателей со своими общественно-политическими взглядами.

При таких условиях литературно-критические статьи и рецензии Зайцева приобретают большое значение и для тех, кто интересуется деятельностью Зайцева как публициста. Вот почему в настоящее издание, имеющее своею задачею собрать наиболее яркие и интересные произведения Зайцева, характеризующие его как политического мыслителя, пришлось включить некоторые из его произведений, написанных на темы, казалось бы, не имеющие общественно-политического характера.

Изучение литературного наследства Зайцева является делом весьма нелегким уже по одному тому, что оно до сих пор не приведено в известность. Те перечни его статей, которые мы находим в различных библиографических справочниках (Венгеров, Языков, Мезьер и др.), ни в какой мере не могут претендовать на полноту. Ряд статей Зайцев был напечатан в «Русском Слове» без его подписи, и это привело к тому, что некоторые из них до сих пор не зарегистрированы библиографами; с другой стороны, Зайцеву приписывались статьи, авторами которых в действительности были другие лица *. Еще хуже обстоит дело с произведениями Зайцева, печатавшимися за границей. Никакого учета их до сих пор не производилось, а этот учет особенно труден вследствие того, что громаднейшая часть литературного наследства Зайцева, печатавшегося в иностранных и русских эмигрантских изданиях, появлялась в свет или анонимно, или же под неизвестными нам псевдонимами. К счастью, однако, одно случайное обстоятельство позволяет нам в настоящее время установить, по-видимому, с исчерпывающей полнотой все опубликованное Зайцевым в «Общем Деле». Дело в том, что в ИМЭЛ имеется комплект этой газеты, принадлежавший ранее ее создателю и редактору А. Х. Христофорову. В этом комплекте рукою Христофо-

* Еще при жизни Зайцева Антонович, полемизируя с ним, приписывал ему статьи, которых он не писал. То же самое позднее сделал автор «Истории русской критики» И. И. Иванов, приписавший Зайцеву «Библиографический листок», напечатанный в № 4 «Русского Слова» за 1863 г. (назван. сочинение, стр. 687). На самом же деле Зайцев начал вести «Библиографический листок» только с № 5 «Русского Слова» за 1863 г.; ранее же этот отдел был в заведывании П. И. Вейнберга, которому и принадлежит цитированный Ивановым «листок».

рова обозначены авторы громаднейшего большинства статей, напечатанных в «Общем Деле».

Другое затруднение, с которым приходится считаться при изучении литературного наследия Зайцева, заключается в том, что его произведения, печатавшиеся в легальной прессе, прежде чем появиться в свет, в большинстве случаев подвергались внимательному просмотру цензуры. Особенно это приходится иметь в виду по отношению к статьям Зайцева, печатавшимся в «Русском Слове». Известно, что цензоры считали этот журнал органом, весьма опасным для существующего порядка, и относились к произведениям, предназначенным для этого журнала, с придирчивостью, доходящей до жестокости. В виду того, что рукописи Зайцева до нас не дошли, нам приходится знакомиться с его статьями по тексту, испытавшему на себе действие красного карандаша цензора. Этого обстоятельства при изучении общественно-политических взглядов Зайцева нельзя забывать ни на минуту.

Как мы уже упоминали, настоящее издание ставит своей целью облегчить современному читателю ознакомление с социально-политическими взглядами Зайцева и выяснение его роли и места в истории русской публицистики. Издание это рассчитано на два тома. Первый из них посвящен литературной деятельности Зайцева до эмиграции. Собранным в этом томе произведениям Зайцева предпослана вступительная статья, написанная Г. О. Берлинером и характеризующая роль Зайцева в русской публицистике 60-х годов. Второй том будет отведен эмигрантскому периоду жизни Зайцева. В нем будет дана статья, выясняющая значение этого периода литературной деятельности Зайцева.

Помимо этого, во втором томе предполагается дать биографический очерк, посвященный Зайцеву, историческую справку об отношении к его литературной деятельности цензурного ведомства и по возможности полную библиографию произведений Зайцева.

В пределах каждого тома произведения Зайцева расположены в хронологическом порядке. Единственное отступление от этого сделано по отношению к полемическим заметкам, в которых Зайцев давал ответ на критические замечания, вызванные теми или другими его статьями. Вот почему в нарушение хронологии его заметка «Ответ моим обвинителям по поводу моего мнения о цветных племенах» и «Гг. Постороннему и всяким прочим сатирикам» помещены вслед за рецензией Зайцева на книгу Катрфажа «Единство рода человеческого», а статья «Несколько слов г. Антоновичу» — вслед за статьей «Последний философ-идеалист».

В приложении даются статьи, авторство которых приписывается Зайцеву, но окончательно не установлено.

В составлении и комментировании I тома принимали участие Б. Я. Бухштаб, С. А. Рейсер и И. Г. Ямпольский, а также пишущий эти строки. Составленные ими примечания дают необходимые библиографические сведения о произведениях Зайцева и фактический комментарий к ним. Краткие сведения о лицах, упоминающихся в статьях Зайцева, читатели найдут в именном указателе, который присоединен к каждому тому.

Г. БЕРЛИНЕР

ВАРФОЛОМЕЙ ЗАЙЦЕВ
ПУБЛИЦИСТ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

I

Эпоху так называемых «шестидесятых годов» — одну из интереснейших эпох в истории нашего революционного движения и нашей общественной мысли — в сущности следовало бы расчленять на два периода: на время с середины пятидесятых годов до 1861 г. включительно — период подготовки и осуществления крестьянской реформы, и на время с 1862 по 1866 год — период обостренной борьбы между правительством и радикально настроенной частью общества. Годы 1862 и 1863 можно считать переломными: уже в 1862 году атмосфера была достаточно накалена; крестьянская революция, на которую так надеялись Чернышевский и его единомышленники, проваливалась; правительство постепенно переходило в наступление: в середине года закрываются два наиболее радикальных журнала — «Русское Слово» и «Современник», 12 июня 1862 года арестовывают Чернышевского. Таким образом, после смерти Добролюбова (1861) общественно-политическое движение эпохи несет вторую огромную потерю. С начала 1863 года издание «Современника» и «Русского Слова» возобновляется; борьба еще далеко не закончена, и на страницах «Современника» даже появляется роман «Что делать»; однако политическая реакция в связи с польским восстанием еще больше усиливается.

В журналистике этого времени царили растерянность и уныние. Часть журналов — такие органы, как «Библиотека для Чтения» и «Русский Вестник» — занимал позиции откровенных защитников прусского пути капиталистического развития и сторонников реакции; другие крупные органы — «Время» и сменившая его «Эпоха» Достоевского, «Отечественные Записки» Краевского, по меткому выражению одного из деятелей того времени, Н. В. Шелгунова, «в одно и то же время старались делать и шаг вперед, и шаг назад... С одной стороны они чувствовали, что

нельзя не итти вперед, с другой — их пугало, что либерализм порождает нигилизм, а нигилизм ведет к событиям» *. В художественной литературе возобладали идеи дворянской реакции и яростной борьбы с революционным движением; целый ряд крупных писателей, стоявших прежде на либеральных позициях, занял позиции реакционные, классовая борьба в литературе достигла величайшего напряжения.

В такое боевое время представителям не только революционного, но даже радикального образа мыслей нужно было энергично и ожесточенно отстаивать свои позиции, нужно было бороться за влияние на массы, за влияние на молодежь прежде всего; на успех мог рассчитывать публицист, обладающий боевым темпераментом, бойкостью и смелостью пера, умением быстро подметить слабые стороны противника и удачно разоблачить их. Всеми этими свойствами в достаточной степени обладал публицист и критик «Русского Слова» Варфоломей Зайцев, весьма популярный в эпоху шестидесятых годов и совершенно незаслуженно забытый впоследствии.

Литературная деятельность Зайцева началась весною 1863 г., когда он был приглашен издателем «Русского Слова» Благосветловым в число сотрудников и начал помещать в этом журнале свои статьи и рецензии. Хотя Зайцев в это время был еще очень молод (ему было только 20 лет), но его политические, философские, моральные, исторические и эстетические воззрения, повидимому, достигли уже большой определенности и представляли собой довольно своеобразную и несомненно целостную систему. Сопоставляя высказывания Зайцева по различным вопросам, имеющиеся в его статьях и рецензиях, которые в течение трех лет, с 1863 по 1865 год, печатались на страницах «Русского Слова», мы не найдем в них признаков существенной идеологической эволюции.

Зайцев был прежде всего если не революционером, то во всяком случае социальным мыслителем, социальным реформатором. Философию и тем более литературу он использовал как оружие для социальной и политической борьбы, а не наоборот, и поэтому характеристику его воззрений нужно начинать с изложения его политических и социальных идеалов, а не с изложения его философских воззрений. Каковы же были эти идеалы в начале шестидесятых годов, в то время, когда Зайцев сотрудничал в «Русском Слове»?

При ответе на этот вопрос прежде всего приходится принять в расчет цензурные обстоятельства: общеизвестно, что в свое время Чернышевский в политических статьях вынужден был говорить эзоповым языком, а читателю приходилось читать между строк. Мы упоминали уже выше, что «Русское Слово» (как и

---

* Н. В. Шелгунов. «Воспоминания». М.—П. 1923 г., стр. 192.

«Современник») в начале 1863 г. возобновилось после восьмимесячного перерыва, и уже это обстоятельство само по себе имело значение. О событиях русской политики, составлявших злобу дня, например, о польском восстании, было совершенно невозможно писать: достаточно вспомнить, какая участь постигла именно в 1863 г. «Время» Достоевского за вполне благонамеренную, но неправильно понятую статью Страхова о польском вопросе. Думается, что именно по этой причине, а не вследствие пренебрежения ко всем вопросам, кроме пропаганды естествознания, в статьях и рецензиях Зайцева мы почти не встречаем суждений о политических событиях, происходивших в России. Однако внимательное изучение этих статей и рецензий показывает, что Зайцев отнюдь не пренебрегал политическими проблемами; у него имеется очень много высказываний о политическом и социальном строе государств Западной Европы и о различных моментах политической истории этих государств, и на основании этих высказываний можно составить себе некоторое представление о политических идеалах Зайцева этого времени и вполне отчетливо охарактеризовать его социальные идеалы.

II

Когда мы начинаем знакомиться с высказываниями Зайцева по социальным и политическим вопросам, нам прежде всего бросается в глаза резко отрицательное отношение В. Зайцева к капиталистическому строю в целом. Обличая капитализм, Зайцев не скупится на резкие выражения и беспощадные характеристики и, повидимому, понимает все отрицательные стороны этого строя. «Для современной науки стало ясно, — пишет он в рецензии на II том «Рассуждений» Д.-Ст. Милля, — что пауперизм есть своего рода рабство, что пролетарий ничем существенным не отличается от крепостного».

В другом месте, разбирая сочинения того же Милля, Зайцев с негодованием и возмущением характеризует мальтузианство, эту буржуазную теорию воздержания, согласно которой пауперизм будет изжит, если трудящиеся научатся избегать деторождения. «Здесь уже дело идет не о том, чтобы обеспечить голодного пролетария в пользу сытого буржуа, — говорит Зайцев, — ...бедные должны позволить своим благодетелям, дающим им кусок хлеба, ежечасно контролировать самые драгоценные человеческие чувства... и в награду за это — теплый угол, кусок хлеба и отеческая власть капиталиста».

Другие высказывания Зайцева показывают, что он умеет делать и политические выводы из своего анализа социальных явлений. Так, в статье «Маколей» Зайцев сначала с большим негодованием говорит об Англии, в которой «пять миллионов сытых и свободных буржуа, вооруженных богатством и наукой, изобретениями, энергией, независимостью, эксплоатируют двад-

цать пять миллионов голодных, невежественных, упавших духом бедняков». А вслед за этим он переходит к разоблачению того политического строя, который способствует такому положению дел. Уже в это время, в начале шестидесятых годов, Зайцев выступает в роли убежденного противника буржуазного демократизма. Никакая конституция, никакой парламент, никакой демократизм не могут, с его точки зрения, смягчить ужасы капитализма. Зайцев прекрасно понимает несостоятельность буржуазного парламентаризма. Это ясно видно из его статьи о Маколее, добрая половина которой посвящена ядовитому высмеиванию английских либералов, восторженных сторонников «славных вольностей и великой хартии». «Теперь немного найдется таких ограниченных людей, — говорит Зайцев, — чтобы не только считать великие учреждения идеалом, но даже чтобы не видеть всех гнусностей, скрывающихся за ними», и вслед за этим указывает на страшные восстания, которые в течение последних 50 лет приходилось несколько раз укрощать с оружием в руках, на невероятно тяжелое положение английского пролетариата и на другие явления, сопровождающие «эксплоатацию массы меньшинством, труда — капиталом».

Однако эта страстная и убежденная критика капитализма и буржуазной демократии не доводится Зайцевым до конца. Неизвестно, читал ли он «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса, но во всяком случае, когда приходится коснуться вопроса о том, можно ли преодолеть или уничтожить капитализм и, если возможно, то каким образом, Зайцев сразу обнаруживает неуверенность и непоследовательность мышления. Конечно, на страницах легального журнала Зайцев не мог прямо призывать к социальной революции. Однако, когда это было нужно, он прекрасно умел выражать свои мысли эзоповым языком. Кое-где у него имеется косвенное одобрение революции, например, в тех строках статьи о Маколее, где он называет французскую революцию 1789 г. «великим историческим движением XVIII века» и говорит, что это движение дало миру сотни совершенно новых идей по всем вопросам, какие могут встречаться в жизни обществ, так что «теперь в Европе почти не осталось ни в одной стране ни одного из государственных, политических или социальных явлений, на котором бы не отразилось влияние этого времени».

Однако, в других случаях, говоря о революции, Зайцев употребляет такие неловкие для революционера выражения, как «зло, бедствие» и т. д. В той же статье о Маколее имеется, например, такое признание: «Мы сами готовы ужасаться жестокостям революции, в о с с т а в а т ь против многих идей ее, порицать непрочность многих целей ее». А в одной из своих рецензий * Зайцев, красочно охарактеризовав положение трудя-

* В рецензии на книжку Эстерлена «Человек и сохранение его здоровья» «Р. Сл.» 1863, № 12.

щихся масс, жизнь которых не что иное, как «медленное умирание с голоду», «медленная агония», «труд которых — борьба за жалкую жизнь», делает вслед за этим такое заключение: «Ни войска, ни полиция, ни красноречие разных публицистов и экономистов не могут спасти общество от ужасов революции. Только коренная реформа всего общественного быта может положить конец этому злу, — иначе революции сделаются таким же неотразимым периодическим бедствием, какими раньше были войны, чума и голод. Только люди, находящие подобное положение для себя выгодным, упорно противятся всяким реформам и называют утопией и мечтой всякую попытку положить конец ненормальному положению общества».

Революции здесь совершенно недвусмысленно противопоставляются «коренные реформы» существующего строя. Революция — не только бедствие, но и совершенно бесполезная затея; если не будет реформы, революции будут повторяться до бесконечности, сменяясь периодами реакции, и только. В возможность победоносной социальной революции Зайцев, повидимому, не верит и все свои надежды возлагает на то, что те, от кого это зависит, — повидимому, представители привилегированных классов, — поймут, наконец, положение дела и перестанут противиться реформам.

Получается несколько странное впечатление. Ужасы капитализма невыносимы, политическая свобода при капитализме — мираж, буржуазный парламентаризм — сплошной обман и лицемерие. Однако путем коренных реформ можно избавиться от всех социальных бедствий, не прибегая к революции. Как же мыслит себе Зайцев эти реформы, от кого они должны исходить и в чем должны заключаться? Чтобы получить ответ на все эти вопросы, необходимо познакомиться с представлениями Зайцева о движущих силах истории и о социальной структуре общества.

III

Здесь нам придется сделать большое отступление. Философско-исторические воззрения Зайцева в значительной степени предопределили его социально-политическое мировоззрение. Но понять сущность воззрений Зайцева в этой области можно только в том случае, если мы поставим их в связь с философским мировоззрением Зайцева вообще.

Поэтому необходимо перейти к характеристике общефилософских взглядов Зайцева.

Когда Зайцев стал сотрудником «Русского Слова», этот журнал уже занимался пропагандой материализма. Писарев популяризировал взгляды Молешотта, Бюхнера и Фохта в известных своих статьях о «Физиологических эскизах» Молешотта и о «Физических письмах» Фохта (статья «Процесс жизни»), из кото-

рых первая была написана еще в 1861 г., т. е. как-раз в то время, когда «Русский Вестник» и «Отечественные Записки» повели ожесточенную полемику против Чернышевского за его статью «Антропологический принцип в философии».

Писарев, а вслед за ним и Зайцев считали, что в области философии они продолжают дело Чернышевского; недаром одна из самых ранних статей Зайцева, «Перлы и адаманты русской журналистики», начиналась с резкого и ядовитого выпада против известного антагониста Чернышевского — профессора Юркевича.

Однако между философскими воззрениями Чернышевского с одной стороны и Писарева и Зайцева — с другой существовала значительная разница. Чернышевский был прекрасно знаком с философской школой левых гегельянцев и в своих философских и эстетических работах опирался главным образом на Фейербаха, а кое в чем сумел и Фейербаха преодолеть, между тем как учителями Писарева и Зайцева в области философии были представители вульгарного, механистического материализма — Молешотт, Фохт и Бюхнер. К этому следует добавить, что Зайцев вообще был гораздо менее философски образован, чем Чернышевский: историю идеалистической философии он знал очень мало, в его суждениях и высказываниях на философские темы встречаются неясности и противоречия, а целый ряд важнейших моментов из истории философской мысли XIX века расценивался Зайцевым настолько своеобразно, что его суждения на этот счет представляли собой великолепный повод для всевозможных полемических выпадов, многочисленных сарказмов и ядовитых изобличений в невежестве.

В особенности это следует сказать о статье Зайцева «Последний философ-идеалист». Статья эта, напечатанная в декабрьской книжке «Русского Слова» за 1864 г., была посвящена оценке философии Шопенгауэра. Зайцев резко противопоставил Шопенгауэра другим философам-идеалистам, исходя из того, что основная формула этого мыслителя «мир есть воля и представление» якобы является формулой материалистической. Доказывал это Зайцев следующим образом: если Шопенгауэр говорит, что мир есть представление, это означает только, что умственная деятельность человека есть продукт его пяти внешних чувств. Но это положение бесспорно и совпадает с высказываниями Бюхнера, Молешотта и известного русского физиолога Сеченова. Ведь и Сеченов говорит: «Мысль не может явиться в сознании без внешнего чувственного возбуждения». Несколько труднее было объяснить другую половину формулы Шопенгауэра: «мир есть воля»; однако, по мнению Зайцева, и это утверждение Шопенгауэра имеет чисто материалистический, сенсуалистический характер. «Под словом воля, — говорит Зайцев, — Шопенгауэр присваивает себе право подразумевать вовсе не то, что разумеют обыкновенно смертные. Шопенгауэр подразумевает под волей все

ощущения, порожденные внутренними процессами организма». Это будто бы сближает Шопенгауэра с великими французскими физиологами Кабани и Биша и кладет непроходимую грань между ними и другими философами-идеалистами. Шопенгауэр стоит на материалистических позициях, утверждая, что на мозг влияют не только внешние предметы, но и внутренние процессы организма... Получается, что психическая деятельность всецело и исключительно обусловливается внешними и внутренними ощущениями организма: «первые производят весь интеллектуальный мир, мир представлений и идей», вторые же производят мир страстей и инстинктов, который, по терминологии Шопенгауэра, называется «волею».

Подобное сенсуалистическое истолкование философской системы Шопенгауэра было в корне неправильно, не соответствовало истинному характеру этой системы, и статья Зайцева вызвала длительную и ожесточенную полемику, в которой особенно активным оппонентом Зайцева выступил Антонович. Из вышесказанного уже ясен метафизический характер философии самого Зайцева, ясно, что сам он по своим философским воззрениям является прежде всего чистейшей воды сенсуалистом.

Статья «Последний философ-идеалист» интересна еще в другом отношении: по этой статье видно, как относился Зайцев к немецкой идеалистической философии вообще и в особенности к Гегелю.

Для Гегеля Зайцев не находит достаточно резких эпитетов, и вся философская система этого мыслителя в понимании Зайцева оказывается сплошным надувательством и шарлатанством. Успех философии Гегеля Зайцев объясняет следующим образом: «Период этот совпадает как-раз со временем реакции. Порядочным людям было донельзя душно, и даже масса понимала, что дело неладно. Лицам, от которых происходили все главные тогдашние неудобства, было бы, конечно, очень желательно, чтобы нашлись люди, которые взялись бы уверить массу, что все обстоит как только можно благополучно и не оставляет желать ничего лучшего... Такой человек нашелся в лице Гегеля».

Вслед за этим Зайцев говорит, что «Философия духа» Гегеля состоит из двух частей, при чем первая часть — «тошнотворный набор слов», «море бессвязной ерунды», и счастье русской читающей публики в том, что Белинский, который хотел в свое время близко познакомиться с этой «философской гансвурстиадой», не смог это сделать по незнанию немецкого языка. Вторая же часть «Философии духа», в которой Гегель излагает свои воззрения на общество и государство, представляет собой собрание принципов времен реакции; вообще политическая роль Гегеля состояла в том, чтобы не только оправдывать явления реакции, но возводить их в перл создания, доказывая, что принципы, действующие в них, непреложны, прекрасны и неизменны.

Подобное отношение к Гегелю одновременно с неумеренным превознесением Шопенгауэра вызвало чрезвычайно резкую отповедь со стороны Антоновича. Антонович сумел доказать, что философия Шопенгауэра истолкована Зайцевым совершенно неправильно и что Зайцев вовсе не понял исторического значения немецкой идеалистической философии. Критика Антоновича была настолько убедительна и в то же время беспощадна, что Зайцев, отвечая ему, даже частично признал свои ошибки, но от своей оценки немецкой идеалистической философии, и в частности Гегеля, все же не отказался *.

В связи с этим становится вполне понятным глубочайшее пренебрежение Зайцева к школе левых гегельянцев, в частности — к философской деятельности Фейербаха. Учение Фейербаха о том, что мышление вырастает из общности ощущений и из взаимного общения людей, осталось чуждо Зайцеву. Он даже не подозревает как-будто о том, что «бытие», определяющее собой человеческое сознание, включает в себя и социальные моменты, что мышление зависит не только от «внешних и внутренних ощущений», но и от исторической практики общественного человека. В тех случаях, когда Зайцеву приходится касаться вопроса о взаимоотношении между физическими и психическими явлениями, он всецело обнаруживает антидиалектический, вульгарный характер своего материализма. «Мы еще не знаем, — пишет он в одной из своих рецензий, — чем именно обусловливается та сторона деятельности нашего тела, которую мы называем нравственной, духовной... но... мы можем только сказать, что условия этой деятельности могут быть только двух родов: физические и химические». В других же случаях отношение между физическими и психическими явлениями истолковывается Зайцевым еще примитивнее: например, в статье «Естествознание и юстиция» Зайцев говорит: «В старости мозг человека делается меньше и теряет значительный процент главного источника мысли — жира. Человек глупеет, слабеет и может быть признан больным сравнительно с людьми зрелого возраста». То есть, с точки зрения Зайцева, между материей и сознанием нет никакой качественной разницы. Мозг просто выделяет мысль благодаря входящему в его состав жиру, подобно тому, как печень выделяет желчь и т. д.

Таким образом, механистический характер материализма Зайцева не подлежит никакому сомнению: по своим философским воззрениям Зайцев является одним из наиболее убежденных и последовательных механистов, каких только знала история русской общественной мысли. Конечно, в своей проповеди механистического материализма он вовсе не был оригинален, а целиком шел вслед за Бюхнером, Фохтом и Молешоттом, но для нас важ-

* Подробнее см. в комментариях к статье о Шопенгауэре и ответе Антоновичу.

но то обстоятельство, что этот механистический материализм очень резко сказался и на философии истории Зайцева, и на его социальных воззрениях вообще.

IV

В философии истории Зайцев, подобно Писареву, Благосветлову и целому ряду других сотрудников «Русского Слова», является убежденным и последовательным учеником английского мыслителя Бокля, при чем из философско-исторической концепции Бокля он особенно горячо усваивает те пункты, которые соответствуют его собственному механистическому мировоззрению. Общеизвестно, какое сильное влияние оказала «История цивилизации в Англии» Бокля на русскую молодежь шестидесятых годов. Как вообще воспринималась философско-историческая концепция Бокля публицистами «Русского Слова», можно судить хотя бы на основании следующей характеристики этой концепции, заключающейся в статье Благосветлова о нем:

«Вся заслуга Бокля состоит в том, что он первый указал на те действующие силы, под влиянием которых создается жизнь народов. Эти силы заключаются, с одной стороны, во внешней природе, пробуждающей первые понятия человека и дающей ему те или другие материальные средства к жизни, а, с другой стороны, эти силы скрываются в самом человеческом организме или, точнее, в лучшей части его — в мозгу. Из отношения этих двух деятелей вытекает или развивается та или другая народная жизнь» *.

В таком истолковании философско-историческая концепция Бокля отчасти теряла свойственный ей полуидеалистический характер и приближалась к механистическому материализму. На самом деле Бокль в качестве основных двух факторов истории выдвигал физические явления или силы природы и человеческий рассудок, умственные способности нации. Значения производственных отношений и классовой борьбы он не признавал, и это делало его систему по существу идеалистической. Публицисты «Русского Слова» вместо терминов «рассудок», «умственные способности нации» поставили слова «лучшая часть человеческого организма», «мозг» и тем самым приблизили Бокля к своему собственному механистическому миросозерцанию.

В 1865 году Зайцеву пришлось одновременно рецензировать ряд исторических сочинений («Введение в историю девятнадцатого века» Гервинуса, «Историю XIX века от времени Венского конгресса» того же Гервинуса, «Историю крестьянской войны» Циммермана и «Историю нидерландской революции» Мотлея). Зайцев написал на эти книги солидную рецензию, в которой изложил свои философско-исторические воззрения в связи с оцен-

* «Русское Слово» 1864 г., № 3, стр. 43—44.

кой исторического метода Гервинуса, о котором Зайцев говорит следующее:

«Вместо того, чтобы просто излагать события, не скрывая своих симпатий и антипатий к идеям, выраженным в них, Гервинус намеревается открывать и показывать читателю разные законы, будто бы управляющие судьбами мира. Понятно каждому, кто читал Бокля, что такая претензия не может быть выполнена иначе, как при помощи того метода, который ввел в науку этот реформатор ее. Если какая-нибудь часть прежней историографии потерпела решительное поражение от Бокля, то именно подобные претензии... Всякая философия истории, не основанная на естественно-исторических данных, рассматривающая человека вне связи с природою и выводящая свои законы на основании внешних проявлений его действий, без знания их причин и окружающих условий,—всякая такая философия истории есть просто галиматья».

Итак, вне системы Бокля нет никаких путей к уразумению движущих сил истории. Но Бокль в интерпретации «Русского Слова» учил, что история слагается в зависимости от соотношения между силами природы и состоянием человеческого мозга. Следовательно, в тех случаях, когда это соотношение неблагоприятно, когда, например, природные условия, в которых живет какая-нибудь группа людей, очень суровы или когда в силу каких-нибудь причин организм, а, следовательно, и мозг представителей этой группы не может как следует развиваться, то эта группа обречена на вырождение, и судьба ее совершенно безнадежна; очевидно, никакие перемены в социально-экономических и политических отношениях при вышеуказанных обстоятельствах не будут уже играть никакой роли. Зайцев именно так и рассуждает. Он говорит: «Может ли быть что-нибудь неопровержимей по своей ясности следующей аксиомы: человек есть не что иное, как животный организм, животный же организм зависит от тысячи ф и з и ч е с к и х условий как в самом себе, так и в окружающей среде, следовательно, человек — р а б* своего тела и внешней природы».

Мы видим, таким образом, что Зайцеву совершенно чужда мысль о преодолении природных условий человеком в результате изменения общественных отношений. В связи с этим следует сказать, что многие с первого взгляда непонятные высказывания и суждения Зайцева по социальным вопросам, высказывания, вызвавшие в свое время ожесточенную полемику и резкий отпор в тогдашней левой журналистике, становятся вполне понятными и закономерными, если рассматривать их как неизбежный результат общефилософских механистических воззрений Зайцева.

В качестве примера укажем на нашумевшую в свое время ре-

* Разрядка моя.—*Г. Б.*

цензию Зайцева (1864 года) на книгу Катрфажа «Единство человеческого рода». В ней Зайцев высказал ряд довольно странных для публициста его лагеря мыслей. «Как анатомия, так и наблюдения над психическими способностями туземных рас Африки и Америки, — писал Зайцев, — показывают такую громадную, коренную разницу между краснокожими, эскимосами, полинезийцами, неграми, кафрами с одной стороны и белым человеком — с другой, что настаивать на братстве этих рас могут только чувствительные барыни вроде г-жи Бичер-Стоу». И, нисколько не колеблясь, с невероятной смелостью Зайцев делает из этого вывод, что восставать против рабства негров не следует. — «Несомненно и признано всеми, — говорит он, — что невольничество есть самый лучший исход, которого может желать цветной человек, придя в соприкосновение с белым... Сентиментальные враги невольничества умеют только цитировать тексты и петь псалмы, но не могут указать ни одного факта, который бы показывал, что образование и свобода могут превратить негра в белого».

Любопытно, что это архиреакционное утверждение защищается у Зайцева посредством «левой», как-будто социалистической фразеологии. «Вместо того, чтобы заботиться о равенстве черного племени с белым... — пишет Зайцев, — лучше бы обратить внимание на тех, которые действительно братья нам, но которых наши политические и социальные условия деградируют до того, что лишают признаков и качеств, свойственных их племени, и приближают к низшим расам». Таким образом, защита интересов трудящихся Европы, угнетенных капитализмом, совершенно недиалектически противопоставляется Зайцевым протесту против рабства негров, как-будто одно обязательно исключает другое.

Уже современники Зайцева отнеслись к этим его высказываниям резко отрицательно и использовали их для того, чтобы скомпрометировать не только Зайцева, но и вставшего на его защиту Писарева и «Русское Слово» в целом. Против Зайцева ополчились не только «Современник» в лице Антоновича и «Искра», но и такой журнал, как «Отечественные Записки». Антонович провел параллель между высказываниями Зайцева и рассуждениями американских плантаторов, оправдывающих рабство, и заявил, что если негров, как отсталое племя, легко поработить, то из этого отнюдь не вытекает, что их должно поработить. «У женщины организация отлична от мужской,—писал Антонович,— у женщины меньше мозга, меньше голова, меньше кровяных шариков, но из этого не следует, что она должна иметь прав меньше, чем мужчина. Что бы ни говорила зоология, но здравый смысл и общее благо тоже должны быть уважаемы» *.

Упоминание Антоновича о «зоологии» было не в бровь, а пря-

* «Современник» 1865, № 2.

мо в глаз: предпосылки вышеприведенных суждений Зайцева о цветных расах действительно заключались в «зоологии», т. е. в неправильно, недиалектически усвоенных положениях современной Зайцеву естественно-научной мысли. Это можно проследить по рецензиям Зайцева, предшествовавшим его отзыву о книге Катрфажа: так, в рецензии на книгу Карла Фохта «Человек и его место в природе» Зайцев две-три страницы посвящает полемике с зоологами, которые настаивают на том, что человек отделяется от прочих животных глубокою пропастью, и «в числе других животных не помещают человека». Для нас важно то обстоятельство, что с точки зрения Зайцева применяемое в зоологии разделение на роды и виды должно распространяться и на человека. Зайцев смеется над теми зоологами, которые считают, что «полинезийский негр и англичанин составляют лишь один вид, между тем как волк и собака — разные роды».

В другой ранней рецензии, также предшествующей отзыву на книгу Катрфажа, Зайцев приводит ряд выписок из статьи Бурмейстера «Черный человек», в которых нога негра сравнивается с ногою обезьяны. и уже от себя добавляет: «строение тела, форма живота, строение верхней конечности, развитие нижней челюсти, даже волосы и п о т, — все, одним словом, что мы видим в человеке, переходит в обезьяну, п р о х о д я п о д о р о г е ч е р е з ц в е т н ы е р а с ы * и те несчастные создания, которые рождаются среди белого племени — я говорю об идиотах и цветных расах».

Кроме работ Бюхнера, Фохта и Молешотта, Зайцев, несомненно, был хорошо знаком с учением Дарвина и считал своим долгом популяризировать это учение и распространять его принципы среди радикально настроенной молодежи. Зайцев вообще был просветитель по натуре и ради популяризации и пропаганды какой-нибудь особенно импонировавшей ему идеи готов был не останавливаться перед самыми крайними выводами. Недаром Н. Д. Ножин писал в «Искре» по поводу его статьи о неграх: «Неужели же из-за теории Дарвина о различии между расами людей должны утвердиться на незыблемом основании новые слезы и скорбь для человечества». И в дальнейшем Ножин указывал, что теория Дарвина неправильно понята Зайцевым, что как-раз эта теория не признает неизменности видов и разновидностей, и поэтому из нее никак не вытекает принцип разграничения рас как чего-то неизменного» («Искра» 1865, № 8).

Полемика по вопросу о неграх продолжалась больше года и доставила немало неприятностей не только Зайцеву, но и Писареву, и всей редакции «Русского Слова». Даже такие реакционные публицисты, как Н. Соловьев, полемизировавший в «Отечественных Записках» уже против э с т е т и ч е с к и х воззрений

* Разрядка моя. — *Г. Б.*

«Русского Слова», критикуя известные статьи Писарева о Пушкине, с пафосом восклицал: «Кому нужны бичи, темницы, топоры? Вам, вы в них нуждаетесь для просвещения... Вы утверждали, что рабство негров есть явление вполне нормальное» *.

А «Искра» в своих выступлениях пошла еще дальше и сравнивала Зайцева с Катковым, о чем нам еще придется говорить впоследствии. Зайцева обвиняли в бесчеловечности, в недостатке гуманности, и этот упрек особенно болезненно действовал на него.

На самом деле Зайцева можно было обвинить только в чрезмерной склонности к поспешным, непродуманным выводам, причем склонность эта всецело объяснялась метафизическим характером его мышления. Дело в том, что при решении отдельных социальных проблем Зайцев одинаково был способен перегибать палку как в ту, так и в другую сторону. Если его суждения о неграх навлекли на него не без некоторых оснований упрек в бесчеловечности, то, наоборот, в своих высказываниях о мерах борьбы с уголовными преступлениями Зайцев обнаруживает чрезмерную, совершено неприложимую на практике терпимость. Он считает, что общество совершенно не должно применять какие бы то ни было насильственные или принудительные меры по отношению к уголовным преступлениям. Здесь на Зайцева, кроме упомянутых выше философов-материалистов, повлияли, повидимому, еще социологические работы Кетлэ и других французских социологов. В статье «Естествознание и юстиция» Зайцев доказывает, что причиной очень многих преступлений являются ненормальности в человеческом организме, порожденные наследственностью, т. е. явления, совершенно не зависящие от человеческой воли. Переходя затем к статистическим данным об уголовных преступлениях во Франции, Зайцев склонен истолковывать эти данные совершенно фетишистским образом. «Цифры, — говорит он, — ...как древний рок, управляют человеком и не позволяют ему ни на шаг отступать от своих математических выводов». По мнению Зайцева, если французские статистики доказывали, что из 600 жителей Франции ежегодно один обязательно совершит преступление, то это означает, что общество не имеет права ни судить, ни наказывать такого преступника: «если преступление обязательно должно совершиться, то не все ли равно, кто его совершит: a, b, c или d. Если б a не совершил преступления, то его совершил бы b или c, что исключает совершенно возможность обвинения» **.

---

* «Отеч. Записки» 1865, сентябрь, критич. обозрение, стр. 312. (Разрядка моя. — *Г. Б.*

** Те же мысли Зайцев развивает более детально в своей рецензии на «Естественную историю мироздания» Фохта в № 5 «Русского Слова» за 1863 г.

Здесь, как и во всем, сказывается антидиалектический характер мышления Зайцева. Для него, как для всякого метафизика, по выражению Энгельса, «да — да, нет — нет, а все прочее от лукавого». Так, недиалектическое понимание детерминизма приводит его к своеобразной теории «непротивления», распространяемой им, впрочем, только на уголовных преступников.

V

Наша характеристика социально-политических и философских воззрений Зайцева, получивших свое развитие на страницах «Русского Слова», была бы очень неполной и недостаточной, если бы мы ни слова не сказали о высказываниях Зайцева по вопросам морали.

Этическим проблемам Зайцев уделяет гораздо больше внимания, чем это можно было бы ожидать от такого непреклонного и убежденного детерминиста, каким он является в своих суждениях по вопросу о борьбе с уголовными преступлениями. Из того факта, что человек абсолютно несвободен в своих действиях и поэтому не должен нести никакой ответственности за свои поступки, Зайцев отнюдь не хочет сделать вывод, что предписывать людям какие бы то ни было нормы поведения совершенно бесполезно. В этом было известное противоречие, но это противоречие характерно не для одного Зайцева, а для многих передовых деятелей шестидесятых годов.

Высказывания Зайцева по вопросам морали заслуживают самого глубокого внимания со стороны исследователя. Именно в них проявляется та совершенно своеобразная диалектика революционного движения шестидесятых годов, в результате которой самые воинствующие материалисты в теории, материалисты, подвергавшиеся упрекам и в бессердечности, и в сухости, и в чересчур грубом взгляде на вещи, на практике оказывались самыми возвышенными идеалистами.

В области этики Зайцев как-будто идет вслед за Дж.-Ст. Миллем. В рецензии на II том сочинений Милля Зайцев очень красноречиво защищает утилитаризм, — ту этическую систему, основателями которой были Бентам и Милль. Мерилом нравственности должна быть польза, все другие принципы не могут быть основанием для этической системы. Так, например, принцип справедливости несостоятелен, потому что понятия о справедливости не одинаковы у различных индивидуумов. Наоборот, польза или вред отдельного явления недоступны произволу индивидуального истолкования, они в каждом отдельном случае могут быть оценены безошибочно. Негодяю, поступившему подло, всегда можно указать на факт, на вред, им причиненный, и он уже ничем не сможет отговориться. Таким образом, Зайцев, не допускающий общепризнанных понятий о справедливости, верит, од-

нако, что в классовом обществе могут существовать общепризнанные представления о пользе. В этом отношении он, конечно, не оригинален и является только популяризатором идей английских мыслителей — Бентама и Милля. Оригинальность же высказываний Зайцева по этическим вопросам заключается в том истолковании, которое он дает суждениям Милля о разумном эгоизме как об основе этики. Милль только говорит, что хотя основой этики должен быть эгоизм, но чувство общественности помешает индивидууму желать для себя той выгоды, которою не могут воспользоваться другие. Зайцев же, целиком присоединяясь к проповеди утилитаризма и разумного эгоизма, в сущности проповедует не эгоизм, а самый неограниченный альтруизм, доходящий до самопожертвования. Человек, который за благо других добровольно идет на страдания, действует так во имя своих личных интересов. Разница между таким человеком и самым грубым эгоистом только в глубине понимания личного счастья. «Герой... соглашается итти на страдание не потому, чтобы самое страдание казалось ему привлекательным, а потому, что находит его для себя выгодным». И в дальнейшем Зайцев с презрением и негодованием говорит о тех, кому непонятны эти истины, кто не знает даже, что пожертвование собою для счастья других может доставлять высокое личное наслаждение, «кому невдомек, что человеку выгодно и приятно отдать даже жизнь свою за свои убеждения, т. е. за торжество того, что он считает... полезным».

Может быть, чрезвычайная популярность Зайцева среди разночинской молодежи шестидесятых годов — факт, о котором мы еще будем говорить впоследствии — объясняется отчасти подобными высказываниями, вполне соответствовавшими идеалам и настроениям лучшей части этой молодежи. Ведь и Чернышевский в своем романе «Что делать», появившемся в печати на два года раньше, чем рецензия Зайцева на сочинения Милля, не только проповедывал в сущности те же взгляды, но даже воплотил их в художественном образе в лице Рахметова.

VI

Нам представляется, что сказанного достаточно для того, чтобы определить отношение Зайцева к революции. В нашей научной литературе последних лет вопрос о политическом лице «Русского Слова», об отношении к революции такого публициста, как Писарев, обсуждался неоднократно и вызвал оживленную полемику между Б. П. Козьминым и В. Я. Кирпотиным.

Не вдаваясь в оценку этой полемики, так как это лежит за пределами нашей статьи, мы должны только заметить, что определить политическое лицо Зайцева в интересующие нас годы гораздо легче, чем установить подлинные этапы политической эволюции Писарева в начале шестидесятых годов.

Зайцев по своему происхождению и по условиям своей жизни был совершенно законченным, «стопроцентным», как сказали бы теперь, представителем интеллигентной прослойки городской мелкой буржуазии (может быть, даже следовало бы сказать «мельчайшей»). Это значит, что Зайцев был представителем социальной группы, не только не связанной с крестьянством, но и совершенно незнакомой с ним.

При этом не следует упускать из виду, что Зайцев начал работу в «Русском Слове» в 1863 году, т. е. в такой момент, когда крестьянская революция в России была уже разгромлена. Само по себе это обстоятельство имеет важное значение.

Как идеолог мелкой городской буржуазии, Зайцев естественно должен был резко отрицательно относиться к остаткам феодально-крепостнического строя в России. Как интеллигентный пролетарий, он мог искренно ненавидеть и критиковать капитализм, но в то же время ему, как и Писареву, трудно было преодолеть идеал «культурного капитализма», такого капитализма, с которым могла бы примириться разночинная интеллигенция.

Неудивительно поэтому, что и отношение Зайцева к революции было двойственным и даже колеблющимся. В этом вопросе вообще нужно различать два момента: отношение к революции в принципе вообще и вера в возможность немедленной революции в России. В принципе Зайцев, конечно, не был противником революции, хотя высказывания его по этому вопросу и страдают неясностью и противоречивостью. Но когда нужно было разрешить вопрос о политической тактике в России, Зайцев чувствовал себя в затруднительном положении, так как не видел той силы, на которую можно было бы опереться. В крестьянство он не верил и довольно ясно выразил это неверие в конце статьи «Белинский и Добролюбов», где он порицает Добролюбова за народнический образ мыслей.

«Добролюбов, — пишет Зайцев в этой статье, — в своих отзывах о народе напоминает нам почвенников. И у него проглядывает это мистическое воззрение на народ, эта мысль о каких-то необычайных дарованиях, отличающих массу. Наконец, и то правда, что идеальные представления о народе вводили Добролюбова иногда в заблуждение и заставляли его слишком много ждать от народа. Иногда даже принимал он тон, весьма напоминающий тон платонических поклонников народа, и восторгался там, где следовало бы учить».

А в рецензии на книгу Сориа «Общая история Италии», излагая историю монархического, контрреволюционного переворота в Неаполе в 1848 году, переворота, совершившегося при участии неаполитанских лаццарони, Зайцев говорит: «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен. Это, конечно, не его вина, но это так, и какой бы то ни было инициативы с его стороны странно ожидать».

В дальнейшем Зайцев доказывает, что иногда бывает нужно, не стесняясь демократическими «нелепостями», действовать против народа, чтобы насильно даровать ему свободу.

Следовательно, признавая в принципе необходимость революции, Зайцев считал, что она может быть осуществлена не в союзе с «народом» — с крестьянством у нас в России — а подчас даже в борьбе с ним. На какие же силы должна опираться революция, Зайцев не представлял себе.

Марксистское учение о неизбежности крушения капитализма и о пролетариате, как об основной революционной силе в истории, оставалось Зайцеву чуждым, как, впрочем, и всем русским деятелям шестидесятых годов. И хотя Зайцев интересовался чисто экономическими проблемами, но в области политической экономии он не пошел дальше лассальянства. Общеизвестно, как пренебрежительно отзывался в свое время Маркс о полемике Лассаля с Шульце-Деличем (в письме к Энгельсу от 4 ноября 1864 года) и об экономических «открытиях» Лассаля вообще (в письме к Энгельсу от 12 июня 1863 г.).

Для Зайцева же экономические работы Лассаля и в частности его полемика с Шульце-Деличем были самым высшим проявлением экономической, да и социальной мысли. В рецензии на серию книжек для народа, выпущенных издательством «Общественная польза», Зайцев высмеял экономическую проповедь труда и воздержания, а также защиту денежного процента, заключавшиеся в брошюре «Как надо жить, чтобы добро нажить», аргументируя при помощи тех же доводов, которые были употреблены Лассалем в его полемике с Шульце-Деличем.

Неудивительно поэтому, что когда Зайцеву приходилось подойти вплотную к вопросу о том, на какие силы должна опираться революция, он впадал в уныние и в пессимизм. В некоторых рецензиях Зайцева проглядывает явно упадочное настроение, как, например, в рецензии на журнал «Вокруг Света», где он говорит: «У нас есть драгоценное сознание, что нам и нечего больше делать, потому что мы чужие человеческой семье, собравшие себе на рубашку с миру по нитке... Сиры мы и нищи, никому не нужны, отчего же нам и не предаваться бесплодной рефлексии? И кто может претендовать на нас за то, что мы сидим в трущобе? Ведь если мы попытаемся из нее выйти, то дело кончится только тем, что еще глубже погрязнем» *.

Из всего этого вытекает, что Зайцев по своему социально-политическому миросозерцанию был не только идеологом городской мелкой буржуазии, но и утопическим социалистом. Вспомним определение утопического социализма, которое дает Ленин: «Первоначальный социализм был утопическим социализмом. Он критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его,

---

* «Русское Слово» 1863, № 9, «Библиографический листок», стр. 46.

мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплоатации. Но утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущности наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества» (Ленин. «Три источника и три составных части марксизма»).

Приходится признать, что Зайцев вполне подходит под эту характеристику.

VII

Итак, Зайцев отчетливо представлял себе, что человеческое общество неоднородно по своему составу и что в каждом обществе интересы разных классов взаимно противоречивы; однако, как мы уже видели, у него не было никакого представления о последовательных стадиях развития капитализма, о классовой борьбе, как о движущей силе истории, и о той общественной силе, которая должна покончить с капитализмом. Неудивительно поэтому, что, анализируя отдельные социальные явления, Зайцев часто не умел отличить форму явления от его сущности: ему хотелось найти конкретные предпосылки социального зла и поразить их в самом зародыше, но все его идеологическое развитие неизбежно приводило к тому, что его реформаторская энергия и мысль направлялись по неправильному пути. Сильнее всего это сказалось на отношении Зайцева к искусству и к литературе.

Антиэстетизм «Русского Слова», вызвавший в свое время ожесточенную полемику, до последних лет являлся объектом изучения преимущественно в связи с анализом литературной деятельности Писарева, — в особенности его поздних статей («Реалисты», «Пушкин и Белинский», «Разрушение эстетики»). Между тем в изучении социально-экономических предпосылок и социально-политического смысла этого антиэстетизма так же важна (а, может быть, и более важна) литературная деятельность Зайцева. Зайцев начал высказываться по вопросам о значении искусства раньше Писарева, в количественном отношении у него таких высказываний больше, по тону они гораздо резче и безапелляционнее, и если сопоставить их друг с другом, то окажется, что все эти суждения в совокупности представляют хоть и парадоксальную, совершенно неприемлемую, но очень тщательно продуманную и не лишенную своеобразной последовательности концепцию.

Концепция эта настолько любопытна, что на ней стоит остановиться. Мы начнем с отношения Зайцева к отдельным родам искусства.

По отношению к изобразительным искусствам Зайцев совершенно неумолим. Живописи и скульптуры он не признает, здесь его отрицание имеет абсолютный характер, а искренность его

суждений иногда доходит до наивности. Так, например, в одной из рецензий он следующим образом отзывается о греческой скульптуре и о ценителях ее: «Пускай себе стоят мраморные боги на старых пьедесталах для развлечения верхоглядов, именующих себя художниками и прикрывающих свою неспособность к серьезному труду избитыми фразами о ляжках Венеры и профилях Аполлонов. Лучше не тревожить этого классического хлама, пока время не похоронит его вместе с теми тунеядцами, которым в жизни нечего делать, как только восторгаться ляжками Венер и профилями Аполлонов» *.

Еще резче и парадоксальнее высказывания Зайцева о театре. В рецензии 1864 года на собрание сочинений греческого трагика Эсхила Зайцев красноречиво доказывает, что театр вреден для общества. Убеждение, что театр будто бы способствует развитию общества, ни на чем не основано. Нет ни одной театральной пьесы, которая давала бы обществу положительное знание: на сцене обыкновенно показывается или чепуха, в которой нет ни складу, ни ладу, или в лучшем случае то, что в жизни можно видеть ежедневно. Общество развращается, привыкает к праздному и бессмысленному времяпровождению. «Кто имеет в числе знакомых так называемых театралов, — пишет Зайцев, — тот знает, как нестерпимо глупы и несносны бывают эти люди в действительной жизни, до чего доходит их неспособность видеть вещи в естественном, а не в нарумяненном виде».

В своем отрицании театра Зайцев доходил даже до того, что оправдывал образ действий английских пуритан, запиравших театры и бичевавших актеров. «Английские пуритане заслуживали в этом отношении не насмешек, а величайшего уважения,— писал он в статье о Маколее. — Господство их имело самое благодетельное влияние на общество».

«Искра», сопоставляя это высказывание с известным суждением Зайцева о Фихте, восклицала: «Итак, заблуждения философские следует карать метлою и сажанием в водолечебницы, театры — ломать, актеров — бичевать. Посмотрим, что будет дальше. Г. Зайцев подает великолепные надежды». («Искра» 1865, № 35).

Однако под свои столь крайние и дикие с нашей точки зрения суждения Зайцев умел подвести идеологическую базу. По мнению Зайцева, не только искусства, но даже науки н е и з б е ж н о и всегда при всяких обстоятельствах являются орудием эксплоатации масс. Если в стране процветает искусство, если в ней много первоклассных живописцев, архитекторов, музыкантов, лириков, много людей «так называемого классического образования, поэтов, ориенталистов, эллинистов, латинистов, много певцов, актеров» и т. д., то это доказывает, что положение большинства

* Рецензия на книгу Бурмейстера «Геологические этюды». «Русское Слово» 1863 г, № 11 — 12, стр. 14.

крайне незавидное. Зайцев называет представителей всех перечисленных выше профессий паразитами и говорит: «Чем больше этих людей, тем хуже, потому что тем больший гнет должен тяготеть над большинством и тем хуже его материальное положение». (Рецензия на «Рассуждения и исследования политические, философские и исторические» Д.-Ст. Милля, т. II).

VIII

Отношение Зайцева к художественной литературе довольно своеобразно и не совсем последовательно. «Пора протрезвиться и увидеть громадную несоразмерность между пользой, приносимой поэзией обществу, и наградой, которую она получает», — пишет Зайцев в рецензии на «Историю французской литературы» Юлиана Шмидта. — «Пора понять, что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько положительное число, как бы ни было мало, больше нуля».

Однако в дальнейшем Зайцев оговаривается: «Разумеется, речь идет о служителях чистой поэзии, гнушающейся служить какому-нибудь практическому делу».

Эта оговорка, хотя и сделанная мимоходом, очень существенна. Смысл ее уяснится нам, если мы примем в расчет пространную рецензию Зайцева на стихотворения Некрасова. Рецензия эта представляет собой хвалебную, почти восторженную оценку всей литературной деятельности Некрасова. Некрасов, по словам Зайцева, имеет полное право на название мыслителя. Это — мыслитель глубокий и честный; в основе его произведений лежит высокая гуманность. Некрасов — народный поэт, потому что герой его песен — русский крестьянин, но Некрасов не «поет» о крестьянстве, а думает о нем, о его бедах и горе «и мысли свои, глубокие и светлые, передает в прекрасных и свободных стихах, в которые без натяжек укладывается народная речь и которые чужды поэтических метафор и аллегорий». Кроме народа, героями произведений Некрасова являются «те труженики и страдальцы, которые работали мыслию или делом и хотя не непосредственно, но принесли свою лепту». В этом отношении стихотворения Некрасова не имеют себе равных во всей русской литературе. Идеал Некрасова построен на идеях любви и благосостояния и выражен в самой осуществимой форме. В доказательство этой мысли Зайцев цитирует предсмертные грезы Дарьи в поэме «Мороз красный нос». «Кто не поймет этого, — пишет Зайцев об этой поэме, — кто пройдет мимо этой картины равнодушно или с банальными похвалами, тот пошлый филистер, не видящий ничего дальше своего носа или носов своего кружка». Насколько высок идеал Некрасова, настолько силен и его протест против страданий народных масс, против безысходности их горя и ужаса их судьбы. Все, что есть лучшего в России, чтит Некрасова и верит ему.

Статья Зайцева о Некрасове, одна из лучших его критических статей, показывает, что отрицательное отношение Зайцева к поэзии вообще, в частности к лирической поэзии, имеет резко классовый, всецело полемический характер. Когда Зайцев говорит о том, что поэты собственно всегда заняты сами собою, «возвышенностью своего призвания, идеальностью своих чувств и парением своей лиры», когда он упрекает лирических поэтов в том, что они в сущности совершенно равнодушны к тем возвышенным предметам, которые воспеваются ими, то все эти грозные филиппики направлены отчасти против представителей дворянской поэзии, отчасти против той эстетической, реакционной критики, с которою Зайцев считал своим долгом вести самую ожесточенную борьбу. Недаром упоминавшаяся выше рецензия на стихотворения Некрасова начинается с саркастических выпадов против этой критики. «В то время как вся русская молодежь читала, читает и знает наизусть стихи Некрасова, — пишет Зайцев в начале этой рецензии, — литературная критика последних лет большинством голосов отказывала ему не только в тех достоинствах, какие признавались за ним публикою, но и в десятой доле тех, которые та же критика находила в изобилии у поэта Фета, Тютчева и Майкова». Зайцев упрекает эстетическую критику в отсутствии беспристрастия и говорит: «В отношении г. Некрасова критика поступила так, что всякому человеку, не принадлежавшему к врагам «Современника», приятно вспомнить ее проделки, покрывшие ее стыдом и срамом. Приятно указать всем этим Дудышкиным и проч. на их былые подвиги и в то же время напомнить, как бессильны остались их натянутые нападки перед мнением всей нашей читающей публики, перед общим голосом всей молодежи».

Особенностями этой позиции, занятой Зайцевым в борьбе с эстетической критикой реакционных и либеральных журналов, может быть, и объясняются до некоторой степени его резкие и проникнутые крайней нетерпимостью оценки творчества Пушкина, Лермонтова, Фета, Каролины Павловой и других представителей дворянской поэзии. В упоминавшейся выше рецензии на книгу Юлиана Шмидта Зайцев говорит: «Если б стихи их (т. е. поэтов. — *Г. Б.)* стали принимать в положительном смысле, то оказалось бы, что они каждый день говорят против сказанного накануне». Этими словами Зайцев характеризует в сущности свой собственный критический метод, примененный им в разборах произведений Фета, Каролины Павловой, Лермонтова и отчасти Пушкина. Во всех этих работах Зайцев только и делает, что принимает стихи разбираемых поэтов «в положительном смысле», т. е. все поэтические условности, неизбежные в лирической поэзии, — все тропы и фигуры, гиперболы, метафоры, олицетворения и т. д. — истолковывает совершенно буквально и таким образом доводит их до абсурда. Средства поэтической вырази-

тельности он воспринимает как величайшую бессмыслицу; ему кажется, что стихи превозносимого им Некрасова, как он выражается, «чужды поэтических метафор и аллегорий». Наоборот, разбирая стихотворения Фета и Каролины Павловой, Зайцев иронизирует над эпиграфами, над заглавиями, над отдельными поэтическими образами и все время старается доказать, что стихи этих поэтов совершенно бессодержательны и не заключают в себе никаких мыслей. Лермонтова он обвиняет в непоследовательности идей и образов и утверждает, что в «Демоне», «Герое нашего времени» и «Маскараде» множество нелепостей и что произведения эти обнаруживают невероятную мелочность содержания. В лирике Лермонтова он не находит ничего, кроме мелких, альбомных стишков и «рабских подражаний Пушкину». Поэмы Лермонтова или такого сорта, что не годятся даже «для чтения юнкеров», или «описывают черкесские и кабардинские страсти» и потому «довольно скучны». Вследствие недостатка умственного развития Лермонтов в своих стихах воспевал проявление грубой физической силы. «И мог ли он быть другим, — говорит в заключение Зайцев, — чем были все, при той обстановке, которая его окружала, при тех условиях, в которых он рос и жил?».

Таков общий характер воинствующей антидворянской критики Зайцева; для того же, чтобы определить историческое значение этой критики и установить ее социальные предпосылки, необходимо рассмотреть ее в связи с общим направлением «Русского Слова» и особенно в связи с литературно-критической деятельностью Писарева.

IX

Зайцева обычно считают последователем или даже эпигоном Писарева, а в лучшем случае — соратником и единомышленником Писарева, особенно в области эстетических оценок. Так, например, в статье В. Я. Кирпотина о Зайцеве читаем: «В своем походе на искусство Зайцев повторяет* аргументацию Писарева... в резких суждениях Зайцева не заключалось ничего большего, чем в мнениях Писарева по вопросам искусства».

Любопытно, однако, что современники Зайцева и Писарева высказывали совершенно противоположные мнения: они находили, что в области эстетических высказываний Зайцев влиял на Писарева, а не наоборот. Так, в № 37 «Искры» за 1865 г. в анонимной статье «Мыслящий реалист», направленной против Писарева, говорится, что в ранних статьях Писарева есть много мест, сопоставление которых с последующими высказываниями этого критика покажет читателю «ряд волшебных изменений, которым мыслящий реалист подвергся под влиянием такого учителя и руководителя, каков г. Благосветлов, и такого

* Разрядка моя. — *Г. Б.*

почтенного друга, каков г. Зайцев». Еще любопытнее следующее обстоятельство: сам Писарев однажды намекнул, что его антиэстетические воззрения менее прочны и менее прямолинейны, чем аналогичные воззрения Зайцева.

В статье Писарева «Реалисты» («Нерешенный вопрос») читаем: «Если бы Добролюбов поговорил долго и наедине с Белинским, он непременно убедил бы Белинского, что тот хотя и хороший человек, но эстетик и следственно отсталой, и Белинский согласился бы с Добролюбовым; если бы мне довелось поговорить также долго и также наедине с Добролюбовым, я также доказал бы ему, что хоть он и реалист, но не новейший, и Добролюбов согласился бы со мной; если бы, наконец, со мною самим побеседовал бы таким же образом г. Зайцев, пожалуй, оказалось бы, что и я не совсем еще совлекся эстетической одежды «ветхого человека», так как, кроме «Отцов и детей», признаю еще Шекспира» *.

Это высказывание имеет очень большое значение. В самом деле, достаточно сопоставить суждения Зайцева и Писарева о важнейших явлениях и виднейших представителях западно-европейской и русской литературы, чтобы увидеть, что в тех случаях, когда мы имеем принципиально различные суждения Писарева и Зайцева об одном и том же писателе или об одном и том же произведении, оценка Писарева всегда оказывается более благожелательной, оценка же Зайцева бывает проникнута духом крайней нетерпимости. Так, например, в упоминавшейся выше рецензии на собрание сочинений Эсхила Зайцев говорит, что пьесы Мольера ничему никого не научили, так как и без Мольера всегда было известно, что скупость и лицемерие — пороки. И вообще драматическая литература так же, как и театральное искусство, совершенно бесполезна для общества: «лучшие театральные пьесы — пьесы Мольера, Шекспира, Шиллера и др. — все также не приносят никакой пользы».

Писарев же в своей статье «Реалисты» высказывает такое мнение: «Мы твердо убеждены в том, что каждому человеку, желающему сделаться полезным работником мысли, необходимо широкое и всестороннее образование, в котором Гейне, Гете, Шекспир должны занять свое место наряду с Либихом, Дарвином и Ляйеллем». Далее Писарев говорит, что при изучении западно-европейских литератур надо знакомиться только с «настоящими титанами», и перечисляет этих титанов: «Вы прочитаете Шекспира, Байрона, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногих других поэтов, замечательных не тем, что они когда-то жили и что-то писали, а тем, что они действительно высказали людям несколько умных и дельных мыслей».

Любопытно также сопоставить суждения Зайцева и Писарева

* Разрядка моя. — *Г. Б.*

о таких корифеях мировой литературы, как Гете и Виктор Гюго. Гете, по мнению Зайцева, «жалкий филистер», видевший во французской революции только повод для того, чтобы написать либретто для оперы. Гете — «гений-лакей», «холодная черствая натура». Он порицал Фихте за то, что тот толкует о вещах, про которые должно молчать, и даже требовал усиления строгости цензурных правил («Гейне и Берне»).

Писарев же в своем суждении о Гете как бы отвечает Зайцеву. «Что Гете обладал в высокой степени способностью извиваться и блюдолизничать, это, конечно, не может подлежать сомнению, — говорит он в той же статье «Реалисты». — Что он стряпал разные стихотворные миндальности и салонные оперетки, это также составляет неопровержимую истину... Ну, а как вы думаете, стали бы мы теперь рассуждать о Гете, если бы собрание его сочинений состояло целиком из сотни чистеньких опереток и из нескольких тысяч миндально-лакейских мадригалов? И как вы думаете, посвятил ли бы такому Гете гордый и безукоризненный Байрон своего Сарданапала? Да, еще как посвятил-то! С трепетом робости и благоговения...».

Еще больше расходятся Зайцев и Писарев в оценке Виктора Гюго. В рецензии на «Историю французской литературы» Юлиана Шмидта Зайцев целиком присоединяется к той резко отрицательной характеристике политической деятельности Гюго, которую дает Шмидт, упрекающий Виктора Гюго за непостоянство в политических взглядах. От себя Зайцев добавляет, что если бы Гюго был не поэтом, а публицистом, он не заслуживал бы никакого снисхождения. «Будь он публицистом, мы относились бы к нему как к какому-нибудь Каткову». Зайцев при этом не замечает, что характеристика Юл. Шмидта, на которую он опирается, по существу реакционна: Шмидт бичует Гюго не за то, что он в молодости был роялистом, а за то, что он изменил этому роялизму впоследствии.

Писарев, наоборот, великолепно понимает, что ранние роялистские и бонапартистские стихотворения Гюго совершенно бледнеют перед его последующей деятельностью. «Какие сочинения Виктора Гюго известны всей читающей Европе? — говорит он.— Не лирика и трагедии, а «Notre Dame» Lu«es Misérables». Романы Диккенса и В. Гюго имеют с точки зрения Писарева огромное познавательное значение: они показывают «несостоятельность всех наших представлений о пороке и преступлении». Капля долбит камень non vi sed saepe cadendo (не силой, а часто повторяющимся падением), и романы незаметно произведут в нравах общества и в убеждениях каждого отдельного лица такой радикальный переворот, какого не произвели бы без их содействия никакие философские трактаты и никакие ученые исследования».

Наконец, очень любопытно сопоставить отношение Писарева и

Зайцева к Льву Толстому, в частности к роману «Война и мир». В статье «Промахи незрелой мысли» Писарев, говоря о Толстом, упрекал русскую критику за то, что ни один из ее представителей «не подхватил, не разработал и не подвергнул тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается в превосходных повестях этого писателя». Когда на страницах «Русского Вестника» началось печатание «Войны и мира», Писарев в своей статье «Старое барство» попробовал проделать такую работу над романом Толстого, но не успел ее закончить. У Зайцева же среди многочисленных его статей и рецензий имеется только одно высказывание о Льве Толстом — в статье «Перлы и адаманты русской критики», — в той части этой статьи, где Зайцев объясняет, почему он, характеризуя русские журналы, ничего не говорит о «Русском Вестнике». «Читатель поймет, почему я не говорю о нем подробно, как о прочих, просмотрев одни заглавия статей... Здесь г. Иловайский пишет о графе Сиверсе, граф Л. Н. Толстой (на французском языке) о князьях и княгинях Болконских, Трубецких, Курагиных, фрейлинах Шерер, виконтах Мортемар, графах и графинях Ростовых, bâtard'ах, Пьерах и тому подобных именитых и великосветских лицах; здесь Ф. Ф. Вигель вспоминает о графах Прованских и Артуа, Орловых и об обер-архитекторах; о народном воспитании пишет Ржевский, и, наконец, г. Фет пишет стихотворное послание Тургеневу».

Таким образом, по мнению Зайцева, «Русский Вестник» не заслуживает внимания именно потому, что в нем печатаются столь нестоящие вещи, как статьи Иловайского и «Война и мир» Толстого.

Налицо целый ряд расхождений между Писаревым и Зайцевым в области оценок литературных явлений. Однако и Писарев в ряде статей, как бы наперекор вышеприведенным суждениям его о Мольере, Шекспире, Шиллере, Гете, В. Гюго, Льве Толстом и т. д., становился на такую точку зрения, как и Зайцев: например, в статье «Реалисты» назвал бессмыслицей «Демон» Лермонтова, резко ополчился на Салтыкова-Щедрина, резко отрицательно относился к стихотворениям Фета, не говоря уже о знаменитых статьях о Пушкине и Белинском.

Социально-политические предпосылки всех этих выпадов Писарева в свое время были с достаточной убедительностью раскрыты В. Я. Кирпотиным. Писарев, с точки зрения В. Я. Кирпотина, исходил из принципа экономии умственных сил: если общество станет последовательно отвергать все затраты сил, которые не приносят непосредственной пользы, то есть не идут на изучение и распространение естествознания и материалистической философии, то преобразование общественно-политических условий в России совершится само собою, без всяких рискованных и маловероятных революций. На пути к такому мирному преобразованию

стояли искусство и литература, — следовательно, искусство должно быть низвергнуто и разрушено. Пушкин был самым влиятельным русским художником, Белинский — величайшим русским критиком, — следовательно, нужно низвергнуть Пушкина с пьедестала, нужно пересмотреть традиции в области искусства, восходящие к Белинскому *.

Пусть так, но при этом, может быть, не лишено некоторого значения то обстоятельство, что весь этот путь, описанный выше Кирпотиным, был сначала пройден Зайцевым, а потом уже Писаревым. Уже в январе 1864 года в статье «Белинский и Добролюбов» Зайцев дает довольно двусмысленную оценку статьям Белинского о Пушкине. Он выписывает из этих статей цитаты, сопровождая их такими, например, замечаниями: «Вот образчик эстетической критики, нанизывающей звучные слова и реторические обороты, в которых трудно отыскать какой-нибудь смысл». Зайцева просто смешит утверждение Белинского, что для полного понимания поэтов недостаточно прочитать их сочинения, а нужно «перечувствовать, пережить их, переболеть всеми их болезнями, перестрадать их скорбями и т. д.».

Таким образом, пересмотр эстетических позиций Белинского был начат Зайцевым примерно за полтора года до известных статей Писарева о Пушкине и Белинском. Больше того, самое развенчание Пушкина, как поэта, было проделано Зайцевым задолго до Писарева. Уже в статье «Гейне и Берне» 1863 г. Зайцев писал о том, что стихотворения, подобные оде «Вольность», нельзя принимать всерьез, так как этому мешает все то, что мы знаем о личности поэта. Впечатление, сложившееся в нас о нем, «приходит нам на память при чтении «Оды к свободе», и мы можем только презрительно улыбаться, читая ее».

А в уже упоминавшейся статье Зайцева «Белинский и Добролюбов» все время с настойчивостью проводится мысль о том, что Пушкин в отличие от Гоголя был представителем подражательной («насажденной») литературы. При этом многие аргументы Зайцева предвосхищают позднейшие высказывания Писарева по тому же вопросу. — «Очевидно, что обстановка, в которой процветает насажденная литература, не может давать ей большого разнообразия в материале, — пишет Зайцев, — фонтаны, иллюминации, рысаки — вот и все тут». Пушкин, по словам Зайцева, подражал Байрону «подобно тому, как Херасков подражал Горацию и Вергилию, притом подражал весьма неудачно». «Разумеется, за сладкие звуки и неудачное подражание Байрону нельзя было отделять Пушкина от легиона поэтов, принадлежащих к насажденной литературе», — пишет Зайцев в этой статье.

Мы вовсе не хотим доказать, что Зайцев был учителем Писа-

---

* См. статью В. Я. Кирпотина «Д. И. Писарев» во втором томе «Очерков по истории русской критики» под ред. А. Луначарского и В. Полянского, ГИХЛ, М.—Л., 1931, стр. 230—233.

рева, — достаточно и того, что Зайцев не был эпигоном Писарева, а в некоторых случаях даже мог до известной степени подсказывать Писареву объект для нападения и наводить его на те мысли, которые с таким блеском и с такою талантливостью развиваются в общеизвестных статьях этого критика. Может быть, правильнее всего было бы следующим образом охарактеризовать зависимость между Зайцевым и Писаревым: ни один из них не был учеником или эпигоном другого, и в то же время между их литературной деятельностью существовала глубокая связь: Зайцев был решительнее и проще, Писарев — глубже и талантливее. Но они оба были идеологами одной и той же социальной группы, и поэтому нет ничего удивительного в том, что Писарев иногда считал нужным подхватывать парадоксальные суждения Зайцева и тратить всю свою талантливость, логику и эрудицию на защиту и обоснование этих суждений.

X

Постигнуть предпосылки антиэстетических воззрений Зайцева и Писарева можно только исторически, изучая проявления классовой борьбы в литературе шестидесятых годов. Если Чернышевский и Добролюбов были только утилитаристами, а Писарев и Зайцев дошли до крайнего воинствующего антиэстетизма и сделали основным своим лозунгом лозунг о вреде искусства, то это до некоторой степени объясняется различием той литературной обстановки, в которой пришлось действовать тем и другим. В середине пятидесятых годов писатели-дворяне, задававшие тон всей литературе, стояли на позициях либерализма, и в течение некоторого, пусть не очень долгого, времени кое-какие точки соприкосновения между их идеологией и идеологией публицистов «Современника» все-таки были возможны. До известного момента Чернышевский имел полное основание считать, что такие писатели, как Тургенев, Толстой, даже Григорович и Писемский, могут быть полезны для «Современника». Начиная же с конца пятидесятых годов картина резко изменяется, в соответствии с чем изменяется и отношение Чернышевского к дворянской литературе. А в то время, когда Писарев и Зайцев начали свою работу в «Русском Слове», т. е. в начале шестидесятых годов, защита прусского пути капиталистического развития в художественной литературе достигает наибольшей силы. В это время на страницах «Русского Вестника» появляются «Марево» Клюшникова и «Взбаламученное море» Писемского, того самого Писемского, чьи народные рассказы в средине пятидесятых годов расхвалил Чернышевский. В 1864 г. в «Библиотеке для Чтения» печатается «Некуда» Лескова; Достоевский в это время печатает пасквили на Чернышевского и Щедрина; Гончаров, когда-то превознесенный Добролюбовым, занят подготовкой к антинигилистическому

роману «Обрыв»; Толстой, еще в 1858 г. порвавший с «Современником», пишет антинигилистическую комедию «Зараженное семейство». Можно сказать, что большая русская литература, в особенности дворянская, никогда не стояла в такой степени на страже классовых интересов дворянства, никогда не была до такой степени консервативна, как в эти годы, и это естественным образом должно было вызвать контрнаступление в противоположном лагере.

«В эту горячую пору тревожной и страстной борьбы, — читаем мы в биографии Зайцева, напечатанной в журнале «Общее Дело» в 1881 году, — когда некогда было заботиться о форме и частностях, самые зрелые представители русской мысли не всегда могли сохранять спокойствие и меру; тем менее мог это сделать такой человек, который, как Зайцев, принялся за литературную работу в такую раннюю пору жизни и при таких неблагоприятных для него личных обстоятельствах. Немудрено поэтому, что, желая выпрямить лук, он часто слишком сильно нагибал его в противоположную сторону и, высказывая свою мысль, забывал иногда обставить ее необходимыми оговорками и условиями, которые ограничили бы резкость заключавшегося в ней отрицания».

Конечно, в тактическом отношении подобный образ действий являлся грубейшей ошибкой. Противники «Русского Слова», в том числе и наиболее реакционные публицисты, получали огромное преимущество, огромный козырь в борьбе. Их высказывания против «Русского Слова» неожиданно приобретали большую убедительность. Парадоксы «Русского Слова» обобщались, их приписывали уже не только «Русскому Слову», но и всей радикальной журналистике вообще, в том числе и «Современнику», занимавшему совершенно иные позиции в области эстетических вопросов. Острота и хлесткость известного памфлета Достоевского «Г. Щедрин или раскол в нигилистах» в значительной степени обусловлены тем, что, высмеивая Щедрина, Достоевский в то же время пародировал эстетические высказывания «Русского Слова», в том числе и высказывания Зайцева («без Пушкина можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, а, следовательно, Пушкин — роскошь и вздор»... «у Гомера бездна предрассудков, есть привидения, и он верит в чудеса и в богов, а, следственно, может заразить этими предрассудками юношество»... «вздор и роскошь даже сам Шекспир, потому что у этого даже ведьмы появляются» и т. д.).

Правда, у Достоевского все эти высказывания вложены в уста членов редакции «Современника», но такие реакционные публицисты, как Н. Соловьев, Зарин (Incognito), направляли их уже по настоящему адресу, указывая на Зайцева, Писарева и на «Русское Слово». В ответ на отрицательные оценки произведений Лермонтова и Пушкина публицисты, подобные Зарину, становились в позу защитников великой литературы, патетически гово-

рили о художественных достоинствах «Демона» и т. д., и, конечно, им нетрудно было в подобных случаях разбивать публицистов «Русского Слова» в пух и прах. Зайцев с течением времени стал мишенью, на которую выгодно было нападать; однако не следует думать, что он оставался в долгу и не умел отвечать на подобные нападки.

XI

Наша характеристика литературно-критической деятельности Зайцева была бы весьма неполной, если бы мы ничего не сказали о нем как о полемисте. В той непрерывной, крайне ожесточенной и разносторонней полемике, которую вело «Русское Слово» со всеми другими журналами, Зайцев играл весьма важную роль. Можно сказать, что полемические статьи были его специальностью, и недаром один из его соратников по «Русскому Слову», Шелгунов, говорит в своих воспоминаниях, что там, где требовалось напасть на противника, подметить слабые стороны, выискать нелепость и противоречия, Зайцев был незаменим. «Писарев был пропагандист, Зайцев — боец», — читаем мы в этих воспоминаниях, и это утверждение до некоторой степени правильно.

Рамки статьи не дают нам никакой возможности воспроизвести историю этой журнальной полемики во всех деталях, тем более, что важнейший и наиболее сложный эпизод ее — расхождение «Русского Слова» и «Современника», т. е. так называемый «раскол в нигилистах», выразившийся в столкновении Зайцева и Писарева с Салтыковым-Щедриным, довольно детально освещен в статье Б. П. Козьмина *, к которой мы и отсылаем читателя. Скажем несколько слов о других моментах полемической деятельности Зайцева. В течение трехлетней своей деятельности в «Русском Слове» Зайцев четыре раза помещал статьи под выразительным заглавием «Перлы и адаманты русской журналистики», представлявшие собой своеобразные полемические обзоры, направленные против «Времени», «Отечественных Записок», «Библиотеки для Чтения», «Русского Вестника» и других реакционных органов... (В сущности, подобного же рода полемический обзор представляет собой и его статья «Славянофилы победили»).

Полемический метод Зайцева был не нов; Зайцев пользовался теми же приемами, которые в свое время применил Чернышевский в «Полемических красотах». Подобно Чернышевскому, и Зайцев, во-первых, давал общую характеристику враждебных журналов (см., например, характеристику «Отечественных Записок» во второй статье «Перлы и адаманты русской журналистики») и, во-вторых, не упускал случая рассчитаться с отдельны-

* «Раскол в нигилистах» в сборнике «От 19 февраля к 1 марта». М. 1933.

ми журналистами, сотрудничавшими в этих органах, уничтожая их одной или двумя цитатами из их же статей с прибавлением соответствующих комментариев. Часто при этом сущность выпада заключалась даже не в его содержании. Цель была в том, чтобы, выбрав из статьи противника какое-нибудь отдельное высказывание, воспользоваться им как материалом и лишний раз выявить ничтожество и реакционность этого противника. В своих беспощадных отповедях таким реакционным публицистам того времени, как Громека, Н. Соловьев, Страхов, Аполлон Григорьев и т. д., Зайцев порою возвышался до едкой и остроумной сатиры, и в этом отношении характерна уже самая ранняя статья «Перлы и адаманты русской критики» («Русское Слово» 1863, апрель), в первых же строках которой читаем: «Не знаю, как кому, а мне чрезвычайно нравится современная русская литература. Какое разнообразие в талантах! Громека напоминает Демосфена, князь Вяземский напоминает Андрея Шенье, Аполлон Григорьев напоминает Цицерона, Юркевич * напоминает некоторые физические отправления Диогена, как уверяют те, которые присутствовали на его лекциях, и, наконец, все напоминают друг друга». Основная мысль и этой тирады, и очень многих тирад, подобных ей, заключалась в том, что между всеми русскими журналами, за исключением «Русского Слова» и «Современника», по существу нет никакой принципиальной разницы, что все они в сущности делают одно и то же дело — служат реакции.

Особо следует остановиться на борьбе Зайцева с антинигилистическим реакционным романом. С антинигилистическим романом начала шестидесятых годов боролся и Антонович (статья «Современные романы» в «Современнике» 1864, № 4), боролся и Писарев в известных своих статьях «Сердитое бессилие» и «Прогулка по садам российской словесности», но едва ли не самые чувствительные удары этому литературному жанру были нанесены Зайцевым. Блестящие статьи Писарева были напечатаны в февральской и мартовской книжках «Русского Слова» за 1865 год, когда полемика уже подходила к концу, т. е. Писарев в сущности добил уже сраженного наполовину врага, всю же тяжесть борьбы и все неприятные ее стороны и здесь, как во многих других случаях, сразу же взял на себя Зайцев. Зайцев первый в статье «Взбаламученный романист» дал должный отпор Писемскому. Он показал, что главный герой этого романа Бакланов — безвольный, развращенный эгоист, неспособный ни к какой серьезной общественной деятельности, есть не что иное, как «лишний человек» и представитель поколения сороковых годов, т. е. еще один представитель того явления, которое дворянские писатели воплотили в образах Обломова, Лаврецкого, Ру-

* Профессор Киевской духовной академии и впоследствии профессор Московского университета, полемизировавший с Чернышевским по философским вопросам.

дина и т. д. О современной же молодежи Писемский в сущности не имеет никакого понятия, хоть и скрежещет зубами при мысли о ней, хоть и взялся изображать ее в своем романе. «Жаль мне вас, г. Писемский, — писал Зайцев в этой статье, — вас грубым и недостойным образом обманули. Вам показали жалких шутов вашего же, т. е. баклановского, времени, и вы не узнали, что это ваше отражение. Зеркало вы приняли за картину, лакея, корчащего себя за господина в его отсутствии, вы приняли за барина и злитесь, горячитесь, выходите из себя. Подойдите поближе, взгляните хорошенько, это не зверь, а ваше же изображение. Самого зверя вы не видали, да и не увидите».

Еще интереснее выступления Зайцева против романа «Некуда». Если Писемский во «Взбаламученном море» безуспешно пытался изобразить представителей революционного движения шестидесятых годов, если Клюшников в «Мареве» стремился опорочить участников польского движения, то Лесков в романе «Некуда» пошел еще дальше. Он направил свой роман не только против нигилизма, как своеобразного мировоззрения или морально-психологического явления, но попытался изобразить подпольную революционную деятельность наших шестидесятников и даже описать приемы политической конспирации (сходки в подземельях, комнаты с потайными дверьми, появление неизвестных с наклеенными усами и т. д.). Кроме того, Лесков в своем романе изобразил ряд общественных и литературных деятелей 60-х годов (В. А. Слепцова, Евгению Тур, Артура Бенни), воспроизводя необщеизвестные факты из жизни или деятельности их так, что нетрудно было в каждом отдельном случае узнать, с кого списан тот или иной персонаж. Существовавшая в действительности в начале шестидесятых годов в Петербурге коммуна была изображена Лесковым в самом непривлекательном виде; ее члены в его романе ведут бесконечные и нудные споры о том, имеет ли право отдельный член коммуны принимать своих гостей, приобретать вещи в свою собственность; мужчины под предлогом проповеди эмансипации пытаются соблазнять девушек, вошедших в коммуну, и т. д.

Разумеется, нелегко было дать отпор подобному произведению на страницах легальной печати, но Зайцев сумел это сделать. Он разоблачил приемы Лескова. Роман «Некуда» Зайцев сравнил со статьями, печатающимися в немецких полицейских газетах и журналах в роде «Bayerischer Polizeianzeiger» или «Deutsches Geheimpolizeicentralblatt». «Разница только в том, — писал Зайцев, — что «Некуда» не сопровождается фотографическими снимками. Вскоре и этого усовершенствования ожидать нужно».

Зайцев едко высмеивал авторов, для которых «все нигилисты сосредоточиваются в каком-нибудь юнкере Удалове»; эти авторы, по словам Зайцева, описывая в романах своих знакомых, заранее наслаждаются при мысли о том, что какой-нибудь титулярный

советник, читая роман, воскликнет: «А ведь это он меня изобразил!», а общие знакомые, не расположенные к этому титулярному советнику, будут думать: «Молодец, ловко отделал!».

«В сущности, это просто плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу, — писал Зайцев. — Если б г. Стебницкий * взглянул на себя в зеркало и если б г. Боборыкин, печатая его роман, имел хоть какое-нибудь понятие о нем, то оба вы переконфузились бы друг друга, обоим вам сделалось бы омерзительно, а «Некуда» не явилось бы в «Библиотеке».

До какой степени меток был в данном случае удар Зайцева, можно судить хотя бы на основании откликов, вызванных им. В газете «С.-Петербургские Ведомости» статья Зайцева вызвала целых две заметки, авторы которых вполне присоединялись к оценке романа, сделанной Зайцевым, и в свою очередь клеймили позором и Лескова, и «Библиотеку для Чтения» **.

С другой стороны, характерен тот исступленный, почти истерический тон, в котором были составлены ответы на эти выпады редакцией «Библиотеки для Чтения» и самим Лесковым. О Зайцеве в этих ответах говорили почти с пеной у рта, заявляли, что Зайцев — это господин, специальность которого — клевета и памфлет, что «нет той пошлости и гадости», которую бы он не напечатал о любом сколько-нибудь видном литературном деятеле, что он с цинизмом забирается в частную жизнь писателей, что это — критик, подобного которому не было в природе, что он не пощадил Пушкина, Лермонтова, Фета, Писемского, Тургенева и везде склонен обнаруживать «грязные призраки собственной мелкости и чисто субъективной подозрительности» и т. д. Со всем тем редакции «Библиотеки для Чтения» почувствовала неловкость своей позиции и даже постаралась ослабить впечатление, снабдив объяснение Лескова, напечатанное в декабрьской книжке журнала, следующим примечанием: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений. Многочисленные намеки объяснения оставляем на полной совести автора».

Но Зайцев разоблачил и эту махинацию «Библиотеки для Чтения», указав, что пока роман печатался, редакция из кожи лезла, чтобы защитить его, а теперь начинает мало-по-малу отделываться от него. «Предупреждаю вас, что я употреблю все усилия, чтоб... помешать вам вытащить из горла эту кость, которую вы добровольно проглотили», — писал Зайцев в февральской книжке «Русского Слова» за 1865 г., а в мартовской книжке за этот же год появилась известная статья Писарева «Прогулка по садам российской словесности», дискредитировавшая Лескова в глазах

* Псевдоним Лескова.

** См. «С.-Петербургские Ведомости» 1864, № 179 («Литературные новости») и № 200 («Пропущенные главы из романа «Некуда» — статья за подписью Знакомый г. Стебницкого [Суворин]).

общественного мнения. Каково было чисто политическое значение всех этих выступлений, можно видеть из «Собрания материалов», составленного по поручению министра внутренних дел Валуева Капнистом. В этом официальном документе вслед за указанием положительной роли антинигилистических романов совершенно недвусмысленно высказывается сожаление, что «отрезвляющее» действие этих произведений парализуется тактикою, принятой петербургскими журналами крайних направлений: журналы эти как бы поставили себе обязанностью глумиться в каждом своем номере над всеми этими произведениями; Капнист вынужден признать, что подобный образ действий имеет успех, «потому что в большинстве читающей публики мало людей, самостоятельно мыслящих»... Это значило, что непрерывная борьба радикальных журналов с реакционными романистами приносила свои плоды; в борьбе же этой одну из самых главных ролей сыграл Зайцев.

XII

Литературная деятельность Зайцева не была случайностью в истории русской общественной мысли. Она началась в 1863 г., когда крестьянская революция была фактически разгромлена. До этого момента среди радикально настроенной разночинской молодежи господствовали идеи «Современника», идеи Чернышевского и Добролюбова. Но Чернышевский верил в возможность крестьянской революции и доказал это своей политической практикой. Если бы такая революция осуществилась, она, несомненно, имела бы буржуазный характер, она ликвидировала бы остатки феодально-крепостнического строя, и Россия пошла бы по американскому пути капиталистического развития. Но крестьянские восстания были подавлены, Чернышевский и его единомышленники пошли на каторгу. Однако революционное брожение конца 50-х и начала 60-х годов не прошло бесследно; одним из его последствий было вовлечение в политическую жизнь мелкой буржуазии, экономически не связанной с крестьянством. Писарев, происходивший из дворянской семьи, усвоил себе психоидеологию этой социальной группы и стал ее идеологом; Зайцеву же в этом отношении нечего было и усваивать, так как он был связан с этой средой органически.

Но действовать Зайцеву пришлось уже в начале шестидесятых годов, уже после разгрома крестьянского движения и в обстановке начавшейся реакции. Субъективно Зайцев считал себя продолжателем Чернышевского, но объективно он не был им, так как не верил уже в возможность немедленной революции в России и несклонен был рассматривать крестьянство как опору революционного движения. Однако прусский путь капиталистического развития был для Зайцева абсолютно неприемлем; поэтому он не мог перейти в ряды либералов, но с самого начала своей деятельно-

сти повел с ними ожесточенную и решительную борьбу. В результате, выступая в роли социального реформатора, Зайцев переместил центр тяжести с пропаганды революции на проповедь механистического материализма, на борьбу с искусством и дворянской художественной литературой, на популяризацию естественно-научных знаний. Тактика Зайцева была ошибочна, борьба его с дворянской литературой, в общем, не увенчалась успехом, но как социальный мыслитель и публицист он, несомненно, оставил значительный след в истории русской общественной мысли.

СОЧИНЕНИЯ В. А. ЗАЙЦЕВА

СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

приведенные в порядок С. С. Дудышкиным. 2 тома.
Издание Глазунова. Спб. 1863.

СТИХОТВОРЕНИЯ К. ПАВЛОВОЙ

М. 1863.

Лермонтов, Демон, Печорин! Сколько чувства возбуждают эти слова в голубиных душах провинциальных барышень, сколько слез пролито по их поводу непорочными воспитанницами разных женских учебных заведений, сколько вздохов было обращено к луне мечтательными служителями Марса, львами губернских городов и помещичьих кружков! Много значения было в этих словах для всех этих лиц, составлявших то, что по аналогии с другими государствами можно было назвать российским образованным обществом. Какое громадное множество экземпляров «Демона» было переписано в чистенькие тетрадки, завязанные розовыми ленточками, и подарено чувствительными кузенами своим еще более чувствительным кузинам! Сладко спалось в то время в этом обществе, сладко елось и еще слаще мечталось! И хотя это блаженное время уже несколько лет назад кануло в вечность; хотя служители Марса и невинные девы, которые восхищались Печориным, давно отбросили поэзию жизни и, обратясь к ее прозе, занимаются ревностно службой или хозяйством и жиреют; хотя заменившее их новое поколение граждан и гражданок толкует о сословном антагонизме и самоуправлении, — несмотря на все это, слава Лермонтова не померкла (1), и если прошло увлечение им, то его не сменило разочарование. И теперь еще издаются за границей или ходят в рукописи некоторые его стихотворения, и эта таинственность поддерживает славу поэта.

Г. Дудышкин, издав все сочинения Лермонтова, выводит из заблуждения тех, которые ожидали чего-нибудь особенно замечательного от него. В состав изданных г. Дудышкиным произведений нашего Байрона вошли даже такие стихотворения, как «Петергофский праздник», «Уланша», «Монго» (2), которые хотя и испещрены точками, но потому, что без них годились бы скорее

для украшения «Физиологии брака» г. Дебе (3), чем для полного собрания сочинений русского Байрона.

Странное впечатление производят эти сочинения на человека, не читавшего их со времени счастливых дней своей юности. Впечатление это можно сравнить разве с тем, которое производит на взрослого дом, который он оставил ребенком, а возвратился взрослым. Его детскому воображению казались огромными, великолепными эти комнаты, которые он находит теперь такими жалкими и пустыми. Темные коридоры, мрачные, высокие потолки, говорившие ему прежде о чем-то таинственном, страшном, представляются ему теперь грязными, закопченными, сырыми; и не таинственный трепет, а скуку возбуждает в нем вид того, что некогда ему казалось прекрасным. Так и сочинения Лермонтова. Полными чудной гармонии, роскошных образов, живого интереса, высокой поэзии, а главное полными мыслей и ума казались они тому поколению, которое в своем развитии дальше Рудина не пошло. Невыразимый восторг овладевал ими при чтении «Демона», и в их память крепко западали необыкновенно звучные, сильные, плавные стихи поэта, так крепко, что при малейшем поводе, а часто и без всякого повода, принимались они декламировать их. Выйдет, например, барышня на крыльцо, увидит двор, окруженный надворными строениями, на дворе двух собак и бабу, развешивающую белье: кажется, чего бы тут такого найти, что бы образы поэтические вызвало. А барышня стоит и говорит:

. . . . . . но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

Или посмотрит барышня в окно, увидит луну, — если новолуние, то, заметив, с какой стороны увидала, вздохнет и скажет:

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых. . .

Или услышит, что отец-помещик щипет за вихор Ваньку, сейчас пропоет речитативом:

Отец, отец! Оставь угрозы и т. д.

Или читает, например, юноша «Героя нашего времени» и встречает такого рода поучение:

«Я сказал одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай».

— Ах, думает юноша, я-то и не знал об этом.

И долго потом ломает голову, изобретая одну из фраз, которые д о л ж н ы быть заготовлены для такого казуса. Какая

разница между этими впечатлениями и теми, которые производит Лермонтов на человека, привыкшего искать мысли и значения в литературном произведении. Но здесь мне необходимо прежде всего поговорить о предисловии, написанном г. Дудышкиным к собранию сочинений Лермонтова.

«В стихах пятнадцатилетнего Лермонтова, — говорит г. Дудышкин, — мы отыскиваем уже главный мотив его поэзии, которому он не изменял до конца жизни. Инстинкт поэта указал ему, самому больному недугами и шалостями общества, на больную сторону тогдашнего человека, — и всю жизнь свою он только больше и больше уяснял себе эту болезнь. Замечательная черта многих великих людей повторилась на нашем Лермонтове: он в детстве почуял эту идею, которой остался верен до конца жизни. Это главное. Отсюда появление одного и того же лица в его созданиях под разными именами, начиная Демоном и кончая Героем нашего времени; отсюда происходит и то однообразие, и та настойчивость в этом однообразии, которая проходит через все стихотворения. Если и встречаются уклонения от главного настроения, то это не что иное, как ложная мечтательность, внешняя сторона того, что крыло под собой силу. Так он пленялся внешним колоссальным величием Наполеона, давившего народ, и воспевал остров Св. Елены; так есть стихотворения («Опять народные витии»), внушенные ему внешней силой, физической громадностью России и недоброжелательством к врагам этой силы; таково стихотворение «Два великана». Поклонения этой внешности очень много и в Печорине. Только им можно объяснить стих «Думы», обращенный к тогдашнему обществу:

. . . под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно.

Что же это такое за мотивы? спросит читатель. Но г. Дудышкин, как искусный составитель похвального слова Лермонтову, приберегает объяснение мотивов к концу. так что нужно прочесть все 69 страниц введения, и только на последней из них открывается, что мотивы эти суть:

«Негодование за то, что мысль преследуется, что истинному чувству нет простора, что гражданской деятельности нет места, что право сильного живет еще в обществе, как зверь в лесу...».

Итак, вот мотивы лермонтовской музы, вот, по словам г. Дудышкина, идея, проходящая через все эти создания и являющаяся в главных героях его: Демоне и Печорине. Посмотрим, насколько это справедливо.

Я не говорю уже о том, что увлечение внешней, физической силой, о котором говорит сам г. Дудышкин, уже исключает возможность существования у Лермонтова подобного мотива. Люди, которых поэзия имеет мотивы, подобные тем, которые г. Дудышкин приписывает Лермонтову, не могут увлекаться физической

силой, потому что увлечение физической силой предполагает неразвитость увлекающегося ума, а мотивы эти могут быть только выражением и следствием развития. Покойный Добролюбов, писавший под влиянием этих мотивов, увлекался физической силой только под именем Якова Хама(4). Мне, может быть, укажут на Гейне, которому эти мотивы не мешали восторгаться Наполеоном; но я отвечу, что в этом случае Гейне судил с чисто германской точки зрения, ошибочно думая, что наполеоновский деспотизм все-таки легче для Германии деспотизма германского. Но для Лермонтова такого объяснения не может существовать. Он поклонялся физической силе от души, как поклонялись почти все его современники и как поклоняется и будет, вероятно, долго поклоняться большинство людей. И как большинство поклоняется ей вследствие недостатка развития, так и Лермонтов воспевал ее по той же причине. И мог ли он быть другим, чем были все, при той обстановке, которая его окружала, при тех условиях, в которых он рос и жил? Всякому известна аксиома, что одинаковые причины производят одинаковые следствия. Поэтому как же предполагать, что те условия, в которых находился Лермонтов со дня рождения до смерти, условия, исказившие целое поколение его современников, могли развить в нем понятия, диаметрально противоположные всему тогдашнему обществу? Как бы ни был высок ум человека, он тогда только может разойтись с понятиями общества, когда какие-нибудь обстоятельства способствуют его развитию. Если же этих обстоятельств нет, если среда, в которой развивается мозг гения, та же самая, от которой тупеют умственные способности современников гения, то что предохранит гения от ее пагубного влияния?

Г. Дудышкин представил в введении краткий очерк жизни Лермонтова. Из этого очерка очевидно, что от него и требовать нельзя тех мотивов, которые приписывает ему г. Дудышкин. Им решительно неоткуда было взяться. Но для большей убедительности посмотрим на произведения нашего Лермонтова, как называет его ласкательно г. Дудышкин. Мотивы, руководившие пером поэта, г. Дудышкин в особенности видит в его героях: Демоне и Печорине.

Но я разберу впоследствии подробно эти произведения, и тогда видно будет, какие мотивы заключаются в них.

Судя по словам Белинского, этих мотивов не было у Лермонтова. Белинский говорит, что он хотел написать трилогию, в которой намеревался изобразить века: Екатерины II, Александра I и Николая I, по примеру Купера, написавшего «Последнего из могиканов», «Путеводителя в пустыне», «Пионер» и «Степи»(5).

Теперь я обращаюсь к довольно избитой теме, а именно хочу рассмотреть всеми признанное влияние, которое имел на Лермонтова Байрон. Впрочем, дело, разумеется, не в том, признано ли это влияние, или нет; но оно существует.

Байрон имел огромное влияние в особенности на Пушкина, который в свою очередь перенес это влияние вместе с своим собственным на Лермонтова. Так, например, «Сцена из Фауста» Пушкина, очевидно, написана не под влиянием Фауста, а под впечатлением сочинений Байрона (6). Но из нее мы можем видеть, как понимал Байрона Пушкин, который во всяком случае был умнее Лермонтова. Но и он не мог, несмотря на свой ум, выйти из оков, наложенных на него средой, среди которой он вырос, развился и действовал. Ему незнакомы были те побуждения, под которыми создались творения Байрона; ему в голову не приходило то, что руководило английским поэтом в создании его Люцифера. Точно так же не мог он создать ничего, что бы, хотя несколько, напоминало гетевских Фауста и Мефистофеля. Для того, чтобы не только приблизиться, но даже суметь подражать гетевскому Фаусту, нужно обладать хотя малой долей той громадной массы знания, которой обладал Гете. Этого не могло быть у Пушкина. Кругом него и в нем самом не было ничего такого, что у Байрона и у Гете отразилось в Каине и Фаусте. За неимением этих данных он брал то, что мог, черпал свои мысли из того мутного источника, который один был у него под рукою. От этого его Фауст вышел плотным русским помещиком, не знающим, куда деваться от скуки, причиненной сытным обедом и летним жаром.

— Мне скучно, бес, — говорит он, как Сидор Карпович батюшкину брату в рассказе г. Щедрина (7). На это батюшкин брат, т. е. Мефистофель, замечает, что все скучают: таков вам положен предел! Фауст соглашается, что действительно ему было всегда скучно и что он проклял знаний ложный свет. При этом невольно вспоминается Ничкина (8).

— Ах, отстаньте от меня, без вас тошно! Куда деться-то от жару? Батюшки!

— Шли бы, сударыня на погребицу.

— И то, на погребицу.

Но под конец Фауст снова делается более похож на самодура-помещика, когда от скуки забавляется тем, что топит людей (9).

И это гетевский Фауст! И это байроновский Люцифер! Но откуда же и взяться им было в обществе, где единственными идеалами были Ничкины да Сидоры Карпычи.

«На нет и суда нет», говорит пословица, и я не думаю обвинять Пушкина в том, что он не мог создать того, что могли Гете и Байрон. Удивительно непонимание истинно-высокого теми, которые считают себя наиболее компетентными судьями в этом деле; удивительна близорукость эстетических критиков, считающих Пушкина и Лермонтова нашими Байронами.

Чтобы убедиться в этом, взглянем на произведения Байрона. Здесь мы увидим, во-первых, удивительный образ Манфреда с его громадной непонятной скорбью, образ, так восхищавший на-

ших поэтов и так мало понятый ими. Ни одно частное горе, как бы велико оно ни было, никакое исключительно личное огорчение не были в состоянии породить такую ужасающую, бездонную грусть, такое полное отчаяние, какое мы видим в Манфреде. Наши подражатели напрасно насиловали свой мозг, стараясь выдумать какую-нибудь уважительную причину горя того пошлого лица, в котором они воображали воспроизвести Манфреда. Они не могли достичь этого потому, что причину скорби искали чисто личную, исключительную. Чего не выдумывали они, чтобы объяснить страдания разных Арбениных, Печориных и Онегиных! Дошли до того, что изобразили страдания раскаявшегося шулера (в «Маскараде»)! Но все было тщетно: герои выходили пошлы, а скорбь их пуста и бессмысленна.

Горе Манфреда не есть частное горе его самого. Нет и не будет такого личного горя, которое бы могло породить такие муки. В Манфреде более чем где-либо поэт изобразил самого себя, свою скорбь и свое отчаяние. Поэтому-то причина горя Манфреда — темна и непонятна. Поэт не мог найти достаточно великое несчастье, чтоб оправдать это великое отчаяние; он понял, что найти его нельзя, и предпочел набросить занавес на причину страданий своего героя. Источник же горя настоящего героя поэмы — ее автора — скрывался не в личном его капризе или несчастии. Его горе было горе целого поколения его современников, его скорбью была скорбь века, его отчаяние было отчаянием всех европейских народов от Вислы до Дуэро. Это было время реакции, время торжествующего насилия, время обманутых народов, время мести и цепей. Вся Европа страдала, — торжествовали одни Меттернихи. И эта-то гражданская, всемирная скорбь проникла в сердце поэта и вызвала то рыдание, которое называется Манфредом. Только страдания целой Европы могли вызвать такую жгучую боль, перед которой ничто личное горе одного субъекта; только несчастья, поражающие сразу целые поколения, целые народы, могут причинить муки, которые терпит Манфред. Этого, конечно, не могли понять наши поэты, не разделявшие дней радости прочих европейских народов и не могшие разделять их скорби. Они не знали лучшего, а, напротив, видели позади себя еще худшие времена, — чего же было им скорбеть и в чем отчаиваться? Они ничего не потеряли; их надежды, если они их имели, целые и невредимые, впереди их.

Другая идея одушевляет другое творение Байрона — «Каин». Сам поэт назвал эту драму мистерией. Но если по многим причинам она действительно мистерия, зато по ее смыслу можно скорее назвать ее аллегорией. Только близорукость может видеть в Люцифере демона. В нем ничего нет демонического, нет ничего того, что есть, напр., в Мефистофеле, который есть самое удачное выражение понятия о чорте. В Люцифере же, кроме имени, нет ничего демонского, и не соглашаться с этим может только

тот, кто непременно желает видеть в лице, названном именем Люцифера, того самого Люцифера с когтями и хвостом, который сидит в центре дантовского ада. На такого господина, конечно, не подействуют даже слова самого байроновского Люцифера, которому, кажется, лучше всех можно знать, кто он, — слова, в которых он прямо отрицает свой демонизм. «Я, — говорит он, — не искушаю никого ничем, кроме истины, а истина по существу своему не может быть дурна». Он отрицает всякое тождество между собой и змием-искусителем и прямо говорит, что ему до людей нет никакого дела, что он не только губить их, но и знать не хочет. Но эстетические критики, задавшись, подобно г. Дудышкину, мыслью, что Люцифер есть начало зла, не верят ему даже тогда, когда он говорит им, что ни зла, ни добра нет, что все это — понятия относительные; они твердят свое, не обращая внимания на слова Люцифера, вероятно помня, что он творец лжи и что поверить ему нельзя.

Люцифер не есть начало зла, потому что Байрон в этой мистерии высказывает отрицание как зла, так и добра, — следовательно, не может изображать начала зла. По той же причине Каин вовсе не изображает в себе борьбы зла с добром: приписывать величайшему творению Байрона такую идею значит не понимать этой аллегории. Она представляет не борьбу добра со злом, а борьбу знания с тупостью и невежеством, а Люцифер, не будучи началом зла, служит олицетворением знания. Чтобы доказать это, я отсылаю к 1 сцене I акта читателя, желающего ближе познакомиться с характером байроновского Люцифера, и приведу одно место из этой драмы, где наиболее резко выступает высказанная мною идея:

Люцифер. — Нет! У меня есть победитель, правда; но нет высшего надо мной. Ему поклоняются все, но не я; я до сих пор сражаюсь с ним, как сражался в небесах. В продолжение всей вечности, в непроницаемых безднах смерти, в безграничных царствах пространства, в бесконечности веков — все, все я буду оспаривать у него. Мир за миром, звезда за звездой, вселенная за вселенной будут колебаться в своем равновесии до тех пор, пока эта борьба не прекратится; а прекратится она только тогда, когда один из нас погибнет. А кто может уничтожить наше бессмертие или нашу непримиримую ненависть? *В качестве победителя он называет побежденного злом; но какого добра он виновник? Если б я был победителем, за его делами осталось бы название зла* (Акт II, сцена 2).

Замечательно, что г. Дудышкин, цитируя это самое место, не замечает подчеркнутых мною слов, прямо разрушающих понятие о зле и добре.

Никто, конечно, не станет доказывать, что лермонтовский Демон сколько-нибудь может олицетворять знание, следовательно,

мне нечего и доказывать, что Лермонтов не понял Люцифера. Поэтому я и не стану сравнивать Демона с этим смелым творением Байрона. Я буду сравнивать его с тем, что видело гусарское воображение Лермонтова в Люцифере, а эстетическая критика устами г. Дудышкина говорит, что он видел в нем изображение зла. Ну вот и посмотрим, насколько изображает собою Демон начало зла. Кто же Демон Лермонтова!?

Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет;
Я тот, кого никто не любит,
И все живущее клянет.
Ничто пространство мне и годы;
Я бич рабов моих земных!
Я царь познанья и свободы (10),
Я враг небес, я зло природы.

Из этого заявления о самом себе Демона мы можем узнать о нем очень мало. Мы бы, пожалуй, обратили внимание на стих

Я царь познанья и природы,

если б не видели из всего прочего, что познание здесь поставлено для размера. Таким образом, не будучи в состоянии решить заданный вопрос из слов Демона о его сущности, посмотрим, не узнаем ли мы чего-нибудь об этой сущности из его занятий и препровождения времени. Здесь мы узнаем больше. Мы узнаем, что

Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.
. . . .

Он правил людьми, учил их греху;

Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил.

Но это все ему, как видите, надоело. Тогда он принялся вот что делать:

И скрылся я в ущельях гор
И стал бродить как метеор
Во мраке полночи глубокой.
И мчался путник одинокий,
Обманут близким огоньком,
И, в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне.

Таким образом, мы видим, что он похвастался, сказав Тамаре, что он «зло природы». Из описания его деяний видно, что он не начало, не источник, не творец зла, не царь и соперник доброго начала, вполне ему равный, а просто какой-то плут, кото-

рый делает разные низости, зная очень хорошо, что это низости, потому что сам говорит, что

Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил.

Если б он был начало зла, то он бы не мог этого сказать, потому что для него благородное и прекрасное вовсе не благородно и прекрасно. Он относился бы к нему как к злу, потому что для него добром было бы зло. Он бы не бесславил его низким образом, а боролся бы с ним.

Но хотя это занятие не делает ему чести, но оно все-таки лучше того, за которое он принялся, когда первое надоело ему. Прежде он хотя низким и мелочным образом, но все-таки нападал на добро, а теперь, как мы видели, он принялся подставлять ногу черкесам, которые никогда союзниками добра не были, и, следовательно, незачем ему было их и трогать. А если даже и трогать, то трогать их душу, а за что же бренное тело толкать с горы? Вообще «гордый демон», бывший прежде просто негодяем, сделался от скуки глупцом.

Но и это ему опротивело. Конечно, прожив миллионы миллионов лет, немудрено наскучить забавами, но только оказывается что он опять прихвастнул, сказав:

Ничто пространство мне и годы.

Оказывается, что годы свое взяли, и от долговременного школьничества оно ему надоело хуже горькой редьки. Тогда он, не зная, что бы такое над собою сделать, принялся без всякой цели носиться в облаках, «подымая прах», по его же выражению. Неизвестно, что бы такое придумал он еще, потому что ведь в облаках должно быть еще скучнее, чем безобразничать на горах, если б не занесло его на Кавказ, где, впрочем, повидимому, он имел свою резиденцию. На красы природы он взглянул холодно:

Презрительным окинув оком
Творенье бога *своего* (?),
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

Эти стихи хотя ничего не доказывают и отзываются явной бессмыслицей, так как сперва сказано, что он окинул творенье презрительным оком, а потом — что на челе его ничего не отразилось, что противоречит одно другому, но я все-таки думаю, что нужно верить второму двустишию и принимать, что Казбек со всеми прочими прелестями не произвел на него впечатления. Причину этого я полагаю в том, что все это он уже тысячу раз видел и оно успело ему опротиветь. Но если не произвел на него впечатления Казбек, то произвела Тамара.

Какое это было впечатление, мы увидим сейчас:

. . .На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг;
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук. . .
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты.
. . . .
. . . .
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог.

Таким-то образом влюбилось начало зла. И все зло подверглось серьезной опасности, так как его начало «постигнуло святыню любви, д о б р а и красоты». Я даже полагаю, что зло совсем сгибло, — потому, где же ему быть, когда его начало «постигнуло святыню добра». Демон для спасения зла хотел было ухитриться самого себя надуть, но

. . . слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог,

и зло, по всей вероятности, сгибло.

Но, с другой стороны, оно не сгибло, потому что, хотя Демон и постиг святыню добра, тем не менее это не помешало ему обратиться к старым проказам. Он искусил жениха Тамары; помешал ему помолиться перед часовней и потом подослал осетинов, которые его и убили. Как уж это так случилось, не знаю: я в этом не виноват, и объяснять не берусь; нужно спросить у эстетической критики. Что касается до меня, то я думаю, что это доказывает справедливость известной пословицы: как волка ни корми, а он все в лес смотрит.

Дальше идут вещи еще более изумительные: так, Демон услышал песню и испугался, хотел даже обратиться в бегство, но крылья не поднялись, что его так поразило, что он даже расплакался. Подобные штуки могли бы заставить предполагать, что это был вовсе не Демон, а какой-нибудь пятигорский франт, и что под крыльями нужно подразумевать просто ноги, если бы лицо, о котором идет речь, не доказывало своего адского происхождения тем, что его слеза прожгла камень.

Потом дело опять, повидимому, принимает оборот грозный для существования зла, потому что начало его уверяет Тамару, что

Тебе принес я в умиленьи
М о л и т в у т и х у ю л ю б в и,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О, выслушай из сожаленья, —
М е н я д о б р у и н е б е с а м
Т ы в о з в р а т и т ь м о г л а б ы с л о в о м.

Далее он говорит:

Я все былое бросил в прах;
Мой рай, мой ад в твоих очах.

И, наконец, поклявшись кудрями девы, объявляет, что

Отрекся я от старой мести,
Отрекся я от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться, —
Хочу я веровать добру.

Таким образом зло в мире кончилось бы pour les beaux yeux * Тамары. Но тут вышло что-то странное; поэт отзывается довольно глухо о причине того, что зло уцелело, вследствие чего можно рассуждать двояко: 1) или что Демон надул и божился кудрями напрасно, никогда истинного раскаяния не чувствовал и молиться не хотел, а делал это с целью соблазнить девушку; 2) или что добро было рассудительнее его и, помня, что он подтвердил примером пословицу о волке, не приняло его к себе. Как бы то ни было, но под конец поэмы он снова смотрел злобным взглядом и был полон смертельным ядом

Вражды, не знающей конца.

Но в то же время снова и с большею силою возникает подозрение, что это был пятигорский франт, и даже не из молодых, а просто сластолюбивый старец. На это наводит то обстоятельство, что Демон, увещевая Тамару отдаться ему и говоря ей о тщете всего земного, ничего лучшего не находит пообещать ей, как прислужниц, чертоги и ароматы, и говорит:

Я дам тебе все, все земное, —

из чего ясно, что он не мог ей дать ничего, кроме земного, а про тщету говорил красноречия ради.

Но, с другой стороны, слеза и много другое противоречат этому; но этим смущаться нельзя, потому что это может быть поэтическая вольность.

Этот самый пятигорский франт уже без всяких претензий на демонизм является в «Герое нашего времени». Я не буду подробно разбирать этот роман. Мы видели уже искажение Люцифера в «Демоне», который имеет хотя кое-какие внешние атрибуты демонизма. В Печорине же и этого нет, и я, право, не могу придумать, как может эстетическая критика, видящая в Демоне изображение начала зла, находить какое бы то ни было сходство между ним и Печориным. На самом деле сходство это поразительно, ибо и тот и другой сильно смахивают на самого

* Ради прекрасных глаз. —

Лермонтова. Но эстетическая критика видит в Демоне начало зла; я не думаю, чтобы она могла договориться до того, чтобы видеть это начало зла и в Печорине. После этого таких начал зла бесконечное множество: во всяком полку их несколько, во всякой канцелярии есть несколько писарей, могущих с таким же успехом изображать его, как и Печорин, потому что вся разница между ними и Печориными состоит в том, что последние говорят лучше их по-французски и носят сюртуки модного покроя, как и они, но сшитые не из солдатского, а из тонкого сукна.

Теперь, когда мы видели, что у Лермонтова Люцифер является в виде пятигорского франта, мы уже с большим хладнокровием посмотрим на его изображение Манфреда в виде раскаявшегося шулера.

Но теперь рождается невольно вопрос: каким образом человек, которого главные произведения обличают такую непоследовательность идей и образов, такую мелочность содержания, мог заставить восхищаться собой не только возведенных им в перл создания юнкеров и золотушных помещичьих дочек, но даже нашу ученую и глубокомысленную эстетическую критику? Каким образом мог он попасть в число гениев? Отчего же никто не падал ниц перед г. Майковым, не благоговел перед г. Полонским; отчего осмеяли и освистали г. Крестовского? Положим, что Лермонтов был умней Майкова и Полонского и, нет сомнения, лучше знал орфографию, чем г. Крестовский; но миросозерцание их было одинакового калибра, потому что развитие было равно ничтожно. Но если слово гений идет к гг. Майкову, Полонскому и Крестовскому так же, как к корове седло, то откуда же пришла гениальность Лермонтова? Ведь стоит только посмотреть не сквозь зеленые очки эстетической критики на «Демона», «Героя нашего времени» и на «Маскарад», чтобы увидеть в них множество нелепостей. Или, быть может, у Лермонтова есть что-нибудь кроме этих произведений, что дает ему право на лавровый венок? Но, не говоря уже о том, что «Демон» и «Герой нашего времени» признаны всеми за лучшие его сочинения, в остальных мы не находим ничего, кроме мелких альбомных стишков, мадригалов разным графиням и рабских подражаний Пушкину, так что нужно иметь даже громадную память, чтобы запомнить, что именно принадлежит ему и что Пушкину; например, Пушкин написал «О чем шумите вы, народные витии», а Лермонтов «Опять шумите вы, народные витии»; или наоборот, — Лермонтов «О чем», а Пушкин — «Опять шумите вы, народные витии»? Есть еще, правда, несколько стихотворений, как, например, те, которые помещены в первый раз у г. Дудышкина, но они не годны даже для чтения юнкеров. Наконец, большая часть, — я полагаю, около $^2/_3$ — произведений Лермонтова описывают черкесские, лезгинские и кабардинские страсти, которые нам кажутся довольно скучны. Возьмем,

например, «общее оглавление». Здесь мы увидим по заглавиям стихотворений, что я прав. Мы встречаем, например, такие заглавия: «Атаман», «Аул Бастунджи», «Ашик Кериб», «Беглец», «Вид гор», «В полдневный жар в долине Дагестана», «Грузинская песня», «Грузинову», «Дары Терека», «Два сокола», «Измаил Бей», «Кавказский пленник», «Кавказ», «Казбеку», «Кинжал» и т. д. Это снова наводит меня на мысль о том стихотворении, где Лермонтов сообщает, что он не Байрон, а другой, —

Как он гонимый миром странник, —
Но только с русскою душой.

Из этого признания мы понимаем одно, что Лермонтов действительно не Байрон, а был ли он гонимый миром странник — об этом надо справиться в его формулярном списке; что же касается до его русской души, то эстетическая критика еще доселе не решила, чем именно русская душа отличается от кабардинской или турецкой.

Но переход от Лермонтова к г-же Каролине Павловой кажется нам еще резче, чем переход из пустых, но все же светлых барских хором прямо в душный и темный чулан.

Стихотворения г-жи Каролины Павловой доказывают, что поэзия еще находится у нас в детском периоде своего развития, но может нравиться самым развитым умам. Я бы желал, например, посмотреть такой ум, который не придет в восторг от следующей «Серенады».

Ты все, что сердцу мило,
С чем я сжился умом;
Ты мне любовь и сила:
Спи безмятежным сном.

Ты мне любовь и сила,
И свет в пути моем;
Все, что мне жизнь сулила:
Спи безмятежным сном.

Весь бред младого пыла
О счастии земном
Судьба осуществила:
Спи безмятежным сном.

Судьба осуществила
Все в образе одном,
Одно горит светило:
Спи безмятежным сном.

Одно горит светило
Мне радостным лучом,
Как буря б ни грозила:
Спи безмятежным сном.

Как буря б ни грозила,
Хотя б сквозь вихрь и гром
Неслось мое ветрило:
Спи безмятежным сном.
Неслось мое ветрило...(11).

Виноват, ветрило г-жи Каролины Павловой неслось только один раз.

Но покажите мне теперь такое каменное сердце, которое осталось бы холодным при чтении этого ветрила? Молешотт, говорят, такой материалист, что ничему прекрасному не сочувствует; но я убежден, что и это чудовище пролило бы потоки слез над этим «ветрилом». Мило, мило пишет г-жа Каролина Павлова. И откуда это у ней берется? Чего ведь только нет в ее стихотворениях! Мирабо и графиня Ростопчина, И. С. Аксаков и Витикинд, Н. М. Языков и Калиостро, Ришелье и Марина Мнишек, Варавва и Донна Инезилья (должно быть, вымышленное лицо, впрочем), Кромвель и Н. Ф. Павлов... Опять виноват. Н. Ф. Павлова именно и нет.

Стихотворения г-жи Каролины Павловой полны мыслей, что доказывается тем, что многие из них называются думами; думает же г-жа Каролина Павлова о многом: о персте бытия, о своей душе, о маркизе Позе, о хороводах поэтов, об остатках своих сил, о чем-то, что, мелькая ясно, манит нас во сне, — и додумывается до такого четверостишия:

И каждая лишала встреча
Меня призрака моего,
И не звала я издалеча
Назад душою никого (12).

Учености также нахваталась г-жа Павлова тьму.

Так, упоминает она про каких-то трех: Иксиона, Поллиона и Аарона (13). Не знаю, вымышленные это лица или были такие. А может, это и аллегория, и под ними — тремя — нужно подразумевать Н. Ф. Павлова — одного. Не обладая ученостью г-жи Павловой, решить не могу. Впрочем, что решит г. Дудышкин, когда будет писать введение к полному собранию ее сочинений.

На иностранных языках г-жа Павлова также, вероятно, объясняется хорошо. Это доказывают эпиграфы, как-то: „What is right is right“*, или „Salut, salut, consolatrice“**, или „Vae victis“*** а также заглавия, как-то: „Laterna magica“**** и еще: „Salas y Gomez“ (14). Есть еще милый разговор между графиней и Вадимом (15). Вероятно, про эту же графиню изображено, что она:

Хоть петербургская графиня,
Но москвитянкой рождена (16).

Вообще, к Москве г-жа Павлова питает уважение и привязанность и рассказывает, как она неслась на коне по полям и уви-

* Что правильно, то правильно. — *Ред.*
** Привет, привет, утешительница! — *Ред.*
*** Горе побежденным. — *Ред.*
**** Волшебная лампа. — *Ред.*

дала нерукотворный город (т. е. Москву) ([17]). Здесь она себя спрашивает:

Москва! Москва! что в звуке этом?
Какой отзыв сердечный в нем?
Зачем так сроден он с поэтом, —
Так властен он над мужиком?
Зачем сдается, что пред нами
В тебе вся Русь нас ждет, любя?
Зачем блестящими глазами,
Москва, смотрю я на тебя? ([18])

Я могу ответить только на одну часть вопроса г-жи Павловой, а именно: отчего Москва властна над мужиком. Я полагаю, что оттого, что там власти. Почему же смотрит на Москву г-жа Павлова блестящими глазами — не знаю. Вообще же г-жа Павлова пишет очень мило и начинает подавать большие надежды. Я не сомневаюсь, что лет через двадцать из нее выйдет перл русской поэзии ([19]).

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ЮСТИЦИЯ

Человек свободен, как птица в клетке.

История показывает нам, как стройно и последовательно развивалось величественное здание государств. Сперва безобразное сборище грубых, диких и варварских народов, оно, под влиянием внутренней инерции и при помощи цивилизации соседних, более образованных народов, шаг за шагом в течение тысячелетий достигало высшей образованности, прочного порядка и твердых узаконений. Вспомним, напр., состояние диких франков при первых Меровингах и сравним его с положением нынешней французской империи. Какая огромная разница! С одной стороны, мы видим хаотическую толпу варваров, единственным занятием которых были война и грабеж; здесь мы не видим ни защиты от деспотизма королей, ни прочных и благоразумных законов, ни справедливого суда, ни безопасности личности и собственности. Мы ужасаемся, читая в летописи Григория Турского описание злодейств царственного дома, ужасной участи, постигшей Овернь, бесчеловечных поступков Клодвига; мы возмущаемся при мысли, что простая денежная пеня служила наказанием за убийство, какбудто жизнь человека, подобно жизни животного, может быть ценима на вес золота. Но вот перед нами одно за другим проходят два, три, десять, наконец, тринадцать столетий, и утешительное зрелище ожидает нас при конце этого периода.

Галлы и франки составляют одну общую семью под управлением кроткого и мудрого отца-монарха, зуавы которого угрожают только кабилам и римлянам, а не его мирным и верным подданным. Для разбора дел есть суд присяжных, для кары преступ-

ников — галеры и эшафот; свобода и безопасность каждого защищены от насилия и деспотизма законодательным собранием, соединяющим мудрость и благородство древнеримского сената с гуманностью и прогрессивностью лучших представителей образованнейшей страны XIX в.; неусыпная полиция строго блюдет за порядком и спокойствием общества и спешит исторгнуть из среды его всякую заблудшую овцу; величественные храмы науки, академии, институты, университеты, собирают в себе цвет и красу европейских ученых; торговля и промышленность процветают; некому грабить Овернь, ибо об ней, равно как и о других частях своих обширных владений, заботливо печется гений императора. Славное знамя Франции развевается победоносно и на стенах Мехико, и на горах Алжирии, и на морях Китая, и на берегах дальней Кохинхины, и в древней столице мира. А собственность, святая собственность! В ее-то честь веет это знамя; на ней основана эта слава, все это могущество, весь этот блеск, и в свою очередь она основана на них! Нет страны и нет народа счастливее того, который первый водрузил знамя свободы, первый изобрел великий принцип либерализма, первый провозгласил: liberté, égalité, fraternité, и над которым спокойно и кротко парит великий Наполеон III.

Но не вдруг достигла древняя Галлия этого цветущего состояния: много веков длился хаос и неустройство, много новых веков видели грабежи феодалов, безнаказанно посягавших на чужую жизнь и собственность. Но прогресс действовал неустанно, и избранная страна хотя медленными, но зато верными шагами шла к предназначенной провидением цели, пока, наконец, не водворились в ней порядок и закон. Но если мы сравним две эпохи менее отдаленные, чем времена меровингов и наполеонидов, то и тут сила движения вперед не менее поразит нас. Возьмем, например, знаменитый век Людовика XIV; здесь уже мы видим прочно и хорошо организованное государство, с войсками, чиновниками, судами, торговлей, двором, министрами, литературой, наукой и искусствами. Многие отрасли государственного быта даже не уступают своим развитием соответствующим отраслям теперешнего времени. Литература с именами Мольера, Расина, Боссюэта может смело поспорить с литературой, украшенной именами Фейдо, Ламартина и Дюпанлу. Двор с своими балетами, своими Монморанси и Ла-Тримуйль может выдержать сравнение с двором, на балах которого дамы одеваются пчелиными ульями и где блистают имена герцогов Камбасереса и Маре, и как ни привлекательна личность императрицы Евгении и как ни симпатична особа принцессы Матильды, но надо отдать также должную справедливость обворожительности madame Henriette и грации герцогини Бургундской; при всем восторге, возбуждаемом в нас одной мыслью о зуавах и спагах, мы бы поступили весьма несправедливо, если б забыли о подвигах солдат Тюреня в Палатина-

те и драгун в Лангедоке. Но зато в других отношениях эпоха великого императора далеко оставляет за собой грандиозный век великого короля. Возьмем, напр., сношения Франции с другими странами. Один только раз приехали на поклон к маститому монарху послы из Сиама, да и то после оказалось, что министры бессовестно надули маститого монарха, надеясь, что он именно по маститости не разберет подлога. Зато теперь из каких только стран не являлись послы засвидетельствовать почтение их повелителей внуку солнца и племяннику луны, могущественному и славнейшему божиею милостью и волею народа императору французов? Возьмем другой пример: в царствование славного короля хотя закон умел карать преступление, но делал это способом, не соответствующим прогрессу и гуманности нашего века. В ходу были пытки, колесования, отрубление рук, четвертование, сжигание живьем и другие нефилантропические меры к пресечению зла в корне. Тюрьмы не отличались удобством помещения и особенно здоровым воздухом; злодеи, приговоренные на галеры, часто по годам ожидали отсылки на место изгнания и в ожидании оставались в таком положении: вырывалась яма, на верху которой, поперек ее, утверждался деревянный брус, к которому злодея привешивали на цепях, так что ноги едва только касались дна ямы, следовательно, он не мог встать и должен был проводить все время своего заключения в висячем положении. Дно ямы скоро покрывалось грязью, потому что она не была защищена от влияния атмосферы... Раз в сутки на это грязное дно бросался кусок хлеба, который злодей мог достать, только поднимая одной ногой вдоль по другой.

Все это исчезло в новейшее время. Ограничиваются тем, что преступникам отрубают головы, а если сажают в тюрьму, то заключение это вовсе не походит на прежнее. Пытка и телесное наказание отменены. Как же после всего этого не видеть быстрого хода прогресса и не благодарить небо за то, что родился в царствование Наполеона III, а не Хильперика I?

То же или почти то же повторяется с государственным прогрессом и у других народов. Естественно и даже необходимо, чтобы, развиваясь с религиозной, полицейской, военной и придворной сторон, государство процветало в то же время и в отношении наук и искусств. Поэтому нельзя не радоваться, взирая на успехи, сделанные в Европе (в том числе и у нас) науками естественными. Польза их несомненна. Не говоря уже о великих изобретениях, как телеграфы, железные дороги и др., которыми мы обязаны успехам естественных наук, они дают нам драгоценные сведения на каждом шагу нашей жизни. Так, без успехов энтомологии мы никогда не узнали бы способа улучшать вкус плодов, без успеха химии — приготовлять из небольшого количества мяса питательный и крепкий суп; быть может, что без ботаники мы не знали бы ничего о лимоне как о прекрасной приправе к

чаю. Без физики мы бы не любовались содроганиями мертвой лягушки, а без микроскопа не видели бы прекрасного зрелища, представляемого плавательной перепонкой этого земноводного. Наконец — и это самое главное — без химии и микрографии не могли бы доказать многих преступлений, и многие бы злодеи избегли заслуженной кары.

Поэтому всякий, кому дороги его комфорт и удовольствие, кто сочувствует казням преступников, не может не радоваться, взирая на ежечасные открытия, делаемые в области естествознания. Зато тем грустнее такому человеку видеть, как наука, долженствующая быть наиболее практическою, занимается химерами и хочет, на основании разных утопий, совершенно изменить строй общества. Я не буду рассматривать здесь ее бессильных попыток исказить упроченный тысячелетним существованием нравственный мир человека; я займусь здесь исключительно ее вторжениями в область суда и расправы.

Характер, миросозерцание, а следовательно, и внешняя деятельность человека, говорят эти мечтатели, обусловливаются двумя моментами: свойствами самого организма и посторонними влияниями, из которых первое место занимают физические условия среды, в которой находится человек, — общество, окружающее его. Поэтому для готтентота недостаточно жить по-европейски, чтобы сделаться равным по всему кавказскому племени; готтентотский организм в продолжение многих поколений будет задерживать его в развитии; точно так же недостаточно родиться европейцем, чтобы быть развитым существом; для этого необходимы еще материальные условия, воспитание и общество, среди которых образуется человек. Несправедливо было бы, продолжают они, требовать от готтентота, выросшего во Франции, одинакового понимания с французами; также несправедливо бы было наказывать француза, выросшего и живущего в готтентотской обстановке за то, что он не имеет одинакового миросозерцания с теми соплеменниками, которые выросли и живут в условиях цивилизованного общества. Во время разделения общества на касты существовал закон, по которому член той или другой касты должен был судиться равными себе; либералы, провозгласившие, что все люди равны, но прибавившие: «перед законом», эти либералы напрасно уничтожили этот обычай, который хотя и был несправедлив на деле, потому что служил в защиту знатных, но был справедлив в теории *, потому что не подвергал, как нынешний, виновных суду людей, выросших при совершенно иных условиях, вскормленных иной пищей и живущих в ином мире, чем подсудимые. Люди, которым с детства толковали о долге, о праве, о чести, о нравственности, должны, разумеется, строго относиться к проявлению совершенно противоположных понятий; их,

* Подобное рассуждение уже ясно доказывает непрактичность утопистов, предпочитающих несправедливость на практике несправедливости в теории.

естественно, должно возмущать отсутствие чести и нравственности, непонимание долга и обязанности, нарушение права. Они считают все эти понятия, потому только, что они входят в круг их убеждений, истинными и неподлежащими никаким колебаниям или видоизменениям; для них они вечны и абсолютны; видя отсутствие их в других, они считают это следствием греха, преступления; они думают, что и у этих преступников должны были быть понятия обо всем этом, но они искоренили их рядом гнусных поступков, добровольно нарушили их и попрали. Между тем, не отрицая всех этих понятий у развитых людей, для которых они, конечно, обязательны, если они сами считают их таковыми, нельзя не заметить, что они ошибаются, навязывая их другим. Если они сравнивают то, что они называют добром, с светом, а то, что по их понятию есть зло, — с тьмою, то должны же они помнить, что сравнение это именно потому и верно, что человек, бывший очень долго в темноте, плохо различает освещенные предметы. Точно так же человек, воспитанный и выросший в понятиях, противоположных тем, которые признаются за истинные образованными людьми, не может отвечать за то, что его поступки не соответствуют идеям развитых людей. Следовательно, по мнению утопистов, уже из этого прямо вытекает нелепость всякого суда, потому что по умственному развитию нельзя людей делить на касты, и, следовательно, было бы совершенно невозможно судить неразвитых преступников неразвитыми судьями, а развитых — образованными судьями. Притом не одной только внешней обстановкой определяются умственные понятия, потому что самый, повидимому, развитой человек может точно так же отвергать добро и зло, нравственность, честь и право, как и самый невежественный, в силу той известной истины, что высшая степень развития и низшая аналогичны. С этим последним замечанием сумасбродных мечтателей нельзя не согласиться, потому что доказательство их слов мы находим в них самих: между ними есть люди, повидимому, ученые и образованные, как, например, Прудон, Молешотт, Бюхнер; но они попирают нравственные законы и посягают на священнейшие понятия, подобно самым закоренелым и невежественным преступникам. По словам нашего известного баснописца И. А. Крылова, последние даже лучше первых. (См. басню «Сочинитель и разбойник»). При этом утописты приводят обыкновенно разные доказательства в пользу своей теории. Посмотрим на некоторые из них, чтобы убедиться в их несостоятельности. Они доказывают, например, что большинство преступлений совершается вследствие бедности: конечно, статистика доказала, что большинство преступников были люди недостаточные; но в том-то именно и состоит истинная добродетель, чтобы возвыситься над внешними препятствиями. Они доказывают также, что эти бедняки не имеют никаких средств развиться; нью-йоркский комитет Board of education считает в

этом городе до 40.000 детей, не получающих ни малейшего воспитания; число детей в больших городах Европы, живущих на улице в обществе воров и публичных женщин, громадно; даже дети, воспитывающиеся дома при родителях, не могут иметь ни малейшей возможности получить понятие о чем бы то ни было нравственном, возвышающемся над кругом домашней брани, грязи и суеверия. Таково воспитание, получаемое огромным большинством жителей Европы. Общество терпит и содействует одному из его проявлений — проституции, между тем как мотивы, могущие заставить женщину торговать своим грешным телом, не встречают в чувствах человека более сильного препятствия, чем те, которые побуждают его решиться на воровство. Были примеры, что в полицейские книги публичных женщин записывались невинные девушки, и общество не только смотрело на это сквозь пальцы, но даже через своих чиновников участвовало в этом жертвоприношении всей нравственной стороны человека голоду. Неужели же борьба, которую выдержали эти девушки с нуждой, с одной стороны, и своими чувствами — с другой, была менее упорна, чем та, которую должен вынести человек, протягивающий в первый раз руку на воровство? Не раз, может быть, покушались они на самоубийство, много горьких слез было пролито, проведено много бессонных ночей, много голодных дней, пока, наконец, голод не вынудил от них страшной, противоестественной жертвы, пока нужда не заставила их броситься, закрыв глаза, в объятия этого развратного общества, отворачивающегося от них, когда они просят у него куска хлеба, и дающего им дворцы и кареты, когда они произведут над собой моральное самоубийство. И то же общество произнесло бы над ними строгий приговор, если б вместо того, чтобы записаться в разряд, они бы совершили воровство; важные судьи послали бы их в рабочий дом, мирные отцы семейства и присяжные объявили бы их виновными, красноречивый прокурор доказывал бы безнравственность их поступка. И во имя справедливости, во имя нравственности, во имя добра, во имя общественной безопасности их бы повели в тюрьму, в которой погибла бы их жизнь физически, как теперь погибла нравственно. Общество содрогается чопорно, слыша о матерях, продающих своих дочерей или убивающих своих новорожденных детей; в своей самоуверенности оно не подозревает, что факты эти — его собственные преступления, что это оно продает девушек и топит младенцев, что оно совершает еще худшее злодейство, заставляя их матерей делать это своими руками. Сытое и довольное, оно требует кары таким преступницам, не подозревая или желая забыть, что эта мать голодна, как та, которая съела в Иерусалиме своего ребенка; что другая мать приносит свое дитя в жертву предрассудкам и варварству. Оно не хочет этого знать, и вот снова нелицеприятный суд присяжных — этот высший и роскошнейший плод нашей цивилизации — торжественно обрекает

на казнь детоубийцу: общество, отвернувшееся от несчастной, обращается к ней только затем, чтобы взвести ее на эшафот. Но эти жертвы не несчастливы: есть добрые души, которые пожалеют о них, есть сердца, которые сожмутся болезненно при воспоминании о них. Но общая ненависть, общее отвращение проводят до палача тех неприглашенных на пир жизни, которые восстают против гнетущих узаконений общества, смеются над его правдой и неправдой и вступают с ним в неравный бой, конец которого — веревка — не может подлежать сомнению. Общество готово добродушно пожалеть о тех жертвах своих, которые погибли безропотно и покорно; но оно является неумолимым там, где видит бунт. Тогда проявляется этот беспощадный деспотизм общества, худший всякого личного деспотизма, и человеку, подобному Ласенеру, нет пощады. Тучи сыщиков и судей и палач решают его участь на земле; за гробом его преследует неумолимое общественное мнение и клеймит вечным позором его память. Герой, восставший против деспотизма личного, какой-нибудь Гармодий, Брут или Орсини, может ждать себе за гробом статуй и лавровых венков; герой, как Ласенер, восставший против общественного деспотизма, остается навеки презренным убийцей *.

Таким образом, внешние условия жизни, воспитание и окружающее общество своим влиянием обусловливают, по мнению утопистов, преступление. Эти люди решительно не понимают, что, и в бедности живя, можно сохранить в неприкосновенности и нравственность и честь, что не все же, наконец, бедняки делаются непременно мошенниками и преступниками, что, напротив того, большая часть их гнушается преступлением и совершившим его. Что же касается до воспитания, то, конечно, это важный момент в жизни человека, но что бы было, если б принимать его в извинение, рассматривая преступления? Тогда пришлось бы оставить безнаказанными все совершающиеся злодеяния, потому что сами утописты справедливо говорят, что большинство злодеев дурно или вовсе не воспитаны. Что ж было бы тогда с обществом? Чем бы были защищены жизнь и собственность?

Теперь перейдем к рассмотрению тех доводов против уголовного права, которые утописты основывают на условиях самого организма; как читатель мог судить по заглавию, эти доказательства, основанные на естествознании, должны особенно обратить на себя внимание.

Если, говорят они, криминалистика признала некоторые условия, которым подпадает человеческий организм, как-то: умопомешательство, особенно возбужденное чем-нибудь состояние, напр., испуг, болезни, лета и т. д., достаточными для оправдания подсудимого, если в этих случаях она постановила невменяемость преступления, то она сделала этим величайшую ошибку: она под-

*Ласенер был жесточайший разбойник, готов был зарезать за грош кого угодно, мучил и убивал детей ради потехи. Вот каковы герои утопистов.

далась доводам врачей и филантропов и через эту первую уступку открыла возможность целого ряда других. Теперь, когда наука доказала, что свободная воля человека есть изобретение детского самообольщения (?), то не может быть и речи о вменяемости каких бы то ни было проступков, если уже однажды сама криминалистика изобрела теорию невменяемости. Прежде она могла отвечать врачам и естествоиспытателям, что они сами по себе, а я сама по себе, и вам в мою область соваться незачем. Теперь же о таком ответе не может быть и речи, и криминалисты должны отделываться тем, что прикидываются, будто не верят открытиям в области физиологии. Начиная с доктора Галля, выгнанного императорским декретом из Вены за «разрушение основ юстиции и религии», до нынешней защиты на основании сказок учения о свободной воле, положительно опровергнутого наукой,— везде видно одно и то же затыкание ушей, чтоб не услышать горькой истины. Между тем может ли быть что-нибудь неопровержимей по своей ясности и простоте следующей аксиомы: человек есть не что иное, как животный организм; животный же организм зависит от тысячи физических условий как в самом себе, так и в окружающей среде; следовательно, человек — раб своего тела и внешней природы.

Мы еще не знаем, чем именно обусловливается та сторона деятельности нашего тела, которую мы называем нравственной, духовной. Хотя и есть много гипотез и предположений на этот счет, но пока мы можем только сказать, что условия этой деятельности могут быть только двух родов: физические и химические. Каким же образом действуют эти силы в нашей нервной системе — нам неизвестно. Но эти силы, степень их интенсивности, а следовательно, и проявление их в области человеческого мышления в свою очередь обусловливаются материей, в которой они действуют, т. е. ее качеством и количеством. Органическая химия, анализирующая те самые вещества, из которых состоят все животные и растительные организмы, от человека до лишая, показывает нам, как изменяются они под влиянием качественных и количественных отношений: несколько лишних паев воды, прибавляемых к одинаковым количествам углерода, дают разнообразнейшие результаты, которые являются еще удивительней, если мы изменим качество составных частей, напр., вместо водорода возьмем азот. Если же элементы, составляющие человеческий и все прочие организмы, находятся в такой полной зависимости от колебаний материи, то очевидно, что эти изменения ее должны отражаться и на самых организмах. От малейшего изменения вещества, от ничтожнейшего излишка или недостатка его происходят важные перемены в силах, для которых оно служит источником. Следовательно, всякое изменение в качестве и количестве составных частей мозга, крови, вещества нервов должно порождать соответствующие уклонения от нормального состояния в

духовном и нравственном мире человека, в его воле, миросозерцании, понятиях, антипатиях и симпатиях. Выражение нормальное состояние в сущности не имеет смысла, потому что такого физиологически и психологически среднего человека нельзя никаким образом определить, и он вовсе не существует. Все люди представляют подобные уклонения от мнимой нормы, и уклонения эти до того разнообразны, что двух совершенно одинаковых людей невозможно найти. Поэтому при первом же взгляде на человечество мы видим в нравственной стороне его членов такую громадную разницу, такие удивительные крайности и противуположности, что готовы не признавать всех существующих людей за принадлежащих к одному и тому же виду млекопитающихся. Сравнивая китайца с европейцем, жителя древней Ассирии с новейшим англичанином, мы видим в них более различия, чем между волком и собакой, медведем и россомахой, окунем и карасем; при тщательном исследовании мы замечаем, однакоже, что люди, живущие в одинаковых местностях и в одинаковых материальных условиях, представляют множество общих черт. Но ежели мы снова будем внимательно рассматривать их ближе, то в их среде найдем громадную разницу, и именно в том, что считается высшим и существеннейшим свойством человека — в их нравственном мире. Возьмем, например, настоящее время и сличим между собою членов одного и того же класса: само собою разумеется, что наш образованный класс представляет в наружном отношении различия чисто индивидуальные и не имеющие никакого общего основания. Но если мы посмотрим на разницу, являющуюся в их понятиях и убеждениях, то здесь она поразит нас именно потому, что не имеет характера индивидуальности, что мы ясно видим общество разделенным на два лагеря, на две стороны, миросозерцания которых представляют собой до того резкие крайности, что если б мы приняли его за существенный признак человеческой породы, то должны бы были разделить на два особые зоологические вида людей одного и того же класса одной и той же страны. То, что одни считают белым, другие — черным, и наоборот; то, что, по мнению одних, справедливо, нравственно, прекрасно, священно, высоко, в мнении других является жестоким, гнусным, подлым, глупым и постыдным; обе стороны считают убеждения противников низкими, а себя — представителями и защитниками истины. Видя это, мы тотчас же открываем и причину этого явления; мы можем указать, что именно служит границей между теми и другими убеждениями: граница эта — время, возраст, потому что мы теоретически знаем, что, во-первых, от поколения к поколению мозг человеческий совершенствуется, во-вторых, что лета подавляют его деятельность, в-третьих, что воспитание и общество, среди которых прошел период развития людей, влияет на их образ мыслей. Соображая все эти данные, мы приходим к убеждению, что и в этом случае пограничной

чертой между понятиями служит возраст. Обращаясь от априорического вывода к наблюдению, мы видим, что оно подтверждает нашу догадку. Но, спрашивается, виноваты ли лица обеих сторон, что время произвело некоторые изменения в качестве их мозга, что у одних лета подавили его деятельность, а у других нет, что одни выросли в одной обстановке, а другие — в другой? Может ли кому-нибудь в голову притти нелепая мысль задать подобный вопрос серьезно? Но на практике выходит другое: правда, вопроса такого не задают, но, предполагая его заданным, энергически отвечают утвердительно *. Сейчас было сказано, что двух человек, совершенно равных, найти невозможно, что все люди уклоняются от нормы, которую составляют идеи — правды, справедливости, отвлеченной истины, добра, нравственности и чести. Но уклонения эти не у всех совершаются в одинаковую сторону, и от того, в какую сторону уклоняется человек, зависит вердикт общества, объявляющего его честным человеком или преступником. Если, например, большинство общества отклонилось в ту сторону, где существует собственность (как у цивилизованных народов), то человек, уклоняющийся в противную, объявляется вором или вредным человеком; если же это большинство уклонилось в ту сторону, где собственности нет (как у дикарей), то не существует и понятия о воровстве, а если оно и есть, то не считается даже проступком. Если большинство общества, как в Китае, направилось туда, где детоубийство дозволено, то никому в голову не приходит считать это преступлением; если же оно клонится, напротив, в противную сторону, то жестоко преследует тех своих членов, которые действуют наоборот. Если, далее, общественный быт сложился в республиканские формы, как в древней Греции, то лица, действующие в деспотическом смысле, преследуются не только оружием, но и общественным мнением; люди, противодействующие деспотическим стремлениям, прославляются как герои, и подвиги их считаются высшей добродетелью. В государствах же деспотических такие поступки объявляются (не только властью — это бы еще ничего не доказывало,—но и общественным мнением) преступлениями, а имя совершивших их является в памяти народной покрытое позором. Из всего этого следует, что единственный повод к признанию известного поступка нравственным или безнравственным, достойным похвалы или наказания, заключается в направлении большинства. Покуда это большинство не заявляло претензии на просвещение, покуда оно руководилось темными и непосредственными побуждениями, до тех пор понятия о преступлении и наказании могли иметь смысл и находить оправдание. Но в настоящее время, когда факты громко вопиют против человеческих жертвоприношений, когда настоящие науки наперерыв друг перед другом доказывают, что чело-

* Какая ненависть к практике!

век не может совершить поступка, не вытекающего из необходимых условий его организма, что наказание за так называемые нравственные вины ничем не отличается от того, как если б вздумали наказывать каждого, потеющего более положенной меры, — нельзя не сказать, что криминалистика и юстиция держатся на том же самом основании, на котором держалась Птоломеева система во времена Галилея. Но перейдем к фактам.

Естествоиспытателям известно, как могущественно действует во всем органическом мире наследственность. Можно сказать, что деятельность организма настолько обусловливается его формой, насколько эта последняя — ею. А это может произойти только при большом значении наследственности. Прекрасный пример этого представляет, между прочим, одно маленькое животное из семейства ракообразных — отшельник. Каким-нибудь обстоятельством одно неделимое этого вида должно было укрыться в раковине улитки. Величина этой раковины так мало соответствовала росту животного, что по недостатку места некоторые части его тела не могли развиться вполне. От этого случайного обстоятельства, произведшего уродство в о д н о м неделимом, явился целый род отшельников с теми же самыми неразвитыми частями своего тела, недостаток которых сделался уже для них нормальным. Таким образом, препятствие, встретившееся на пути развития организма прародителя, породило совершенно особенную форму животного, которая тем более уклонилась от первоначальной, что от недостатка некоторых частей явилась новая деятельность остальных, совершенно переродившихся сообразно с нею. То же видим мы и в других животных, особенно домашних: сколько разнообразия явилось в форме тела собаки под влиянием тех разнообразных условий, в которые попадали эти животные. Притом это изменение и передача его потомству выразились не в одной только форме тела. Кому не известно, что чутье, охота за известной дичью, наконец, многие нравственные явления, как-то способность выучиваться тому или другому искусству, — наследственны у собак. То же и с человеком: горилла, вследствие каких-нибудь обстоятельств принужденная постоянно держать свое тело в вертикальном положении и этим давшая возможность своему мозгу, освобожденному от напора крови, развиваться и воспринимать и отражать новые впечатления, — вероятно, была прародительницей человека, выработавшего под влиянием новой деятельности свой организм до той степени совершенства, каким обладали древние греки и новейшие англичане. Кому эта гипотеза покажется слишком смелой, тому можно указать на ежедневно совершающийся переход свойств родителей на детей не только в физическом, но и в нравственном отношении. Как целые народы имеют свои особенные наследственные религию, поэзию и воззрения на мир, так и в частности каждый человек воспринимает свои нравственные и физические особенности от своих предков. В ме-

дицине, например, в числе причин, порождающих многие болезни, как, например, чахотку, рак, золотуху и др., играет видную роль наследственность. Известна леопольдова губа Габсбургцев и большой нос Бурбонов. Итак, если физические особенности передаются отдаленнейшим потомкам, то почему же не передаваться и нравственным? Положительные данные отвечают утвердительно на этот вопрос. И в этом случае отдельные лица так же точно передают своим потомкам свои особенности, как и целые народы. Мы знаем о наследственных умопомешательствах, маниях, антипатиях и симпатиях. Идиосинкразии точно так же передаются обыкновенно от родителей к детям. Особенности характера мы находим также часто переданными по наследству. Уже из этого ясно, что и склонность к убийству, грабежу и другим преступлениям против нашей условной нравственности могут быть передаваемы по наследству. Это доказано наблюдениями, и мы можем представить следующую таблицу нового дома Атридов (см. таблицу на 77 стр.).

Побочные линии этого семейства — Лемер, Гюго и Пильо — также претерпели тюрьму, галеры и эшафот.

Трудно себе представить, что-нибудь красноречивей этой таблицы *.

Теперь перейдем к другому, не менее сильному мотиву преступлений, стоящему точно так же выше человека и избавиться от которого он не имеет возможности. Мотив этот — это те роковые цифры, которые так весело смеются над человеческой уверенностью в своей свободе, те цифры, которые, как древний рок, управляют судьбами человека и не позволяют ему ни на шаг отступать от своих математических выводов. Здесь не место указывать на бесчисленное множество примеров того, как человек во всех своих действиях, от самых важных до самых ничтожных, повинуется статистическим законам. Примеры эти, в большом количестве собранные у Бокля, не относятся прямо к настоящей цели. Поэтому здесь нужно остановиться только на тех числовых показаниях, которые указывают на несвободу воли человека в деле свершения того, что называется преступлением. Пуассон дает нам следующую таблицу ежегодного числа преступлений и наказаний во Франции:

1825 г.	6 652	обвиненных	0,61	проц.	наказанных
1826 »	6 988	»	0,62	»	»
1827 »	6 629	»	0,61	»	»
1828 »	7.396	»	0,61	»	»
1829 »	7.373	»	0.60	»	»
1830 »	6.962	»	0,59	»	»

* Нравственный по природе человек сумеет отделаться от влияния наследственности, как и вообще от всякого другого орудия врага рода человеческого.

ЖАН КРЕТИЕН ДЕ БРЕЛИ

ПИЕР

Жан-Франсуа умер за убийство на галерах.

ТОМАС

Франсуа-Томас за убийство жены осужден на вечное заключение.

Мартен казнен за убийство.

↑

Мартен-Кретиен умер в Кайене, сосланный туда за воровство. Женат на Мари-Рене (смотри ниже)

ЖАН БАТИСТ

Жан-Франсуа женат на Мари-Роз Тарре, несколько раз попадавшейся в краже и воровстве. Ее брат Андре Тарне умер выпущенным каторжником за поджоги.

↑

Жан-Франсуа, несколько раз наказанный за воровство.

Бенуа умер, упав с крыши дома при покушении на воровство.

Прозванн. Клен, несколько раз попадавшийся в воровстве.

Мари-Рене замужем за Мартен-Кретиеном; умерла в рабочем доме, где сидела за воровство.

Мари-Роз умерла в рабочем доме.

↓

Незаконный сын, неоднократно за воровство сидевший в рабочем доме.

Виктор, наказанный за воровство.

Виктуар Кретиен замужем за Теодором Лемером.

↓

Лемер, знаменитый убийца.

Одни только чисто физические условия, как-то: пол, возраст, болезни, материальное положение и т. п., влияют на эти числа, как доказывает таблица Кетле, где число и род преступления показаны в отношении к летам преступников и в то же время выставлены их отношения к общему числу жителей (см. табл. на 79 стр.).

Но так как эти влияния возраста, пола, материального быта существуют всегда, то колебание цифр может совершаться только в известных, однажды установленных границах, так что, как мы видим, большее число поджогов всегда будет выпадать на ранний возраст, большее число воровства — на средний и большее число отравлений — на старческий. Но и эти отклонения и колебания не выходят из пределов нормы, которая состоит именно в том, что наибольшее число преступлений должно совершаться между 20 — 35 годами. Некоторые особенно неблагоприятные обстоятельства, как, например, кризис 1857 г., могут, правда, значительно повысить число преступлений, но средний вывод из периода, заключающего в себе такой год, будет немного превышать среднее число другого, совершенно нормального периода, и в результате все-таки получим, что во Франции, например, в течение года один человек из 600 непременно совершит преступление. Теперь, если из 600 человек — *a*, *b*, *c*, *d* и т. д. — о д и н   д о л ж е н совершить преступление, то можно ли сказать, что он совершил его добровольно? Люди, говорящие о свободе воли и смотрящие на человека с драматической точки зрения, думают, что человек может противиться с успехом влечению своей плоти. Но положительный факт говорит нам, что из этих 600 человек один непременно о б я з а н совершить преступление. Где же тут свобода воли? Кто может осудить эту безличную единицу, пока она остается безличной? А между тем, как скоро сделается известным, что преступление совершено *a*, то его судят и обвиняют, забывая, что если б *a* не совершил преступления, то его совершил бы *в*, или *с*, что, следовательно, преступник должен непременно быть, что исключает совершенно возможность обвинения.

Здесь мы прерываем утопистов замечанием, что цифры вообще ничего не доказывают, что ими можно играть как угодно и что, наконец, если даже это все правда, то человек нравственный никогда не сделается преступником, а всегда им будет безнравственный. Теперь мы можем продолжать рассмотрение нелепых мнений естествоиспытателей и мнимых друзей человечества, про которых справедливо сказано:

А глядишь — наш Мирабо
Старого Гаврила
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло. (Д а в ы д о в).

И в другом месте:

Возраст	Число жителей на одного преступника	Периодическая наклонность к преступлению				Среднее отношение четырех периодов.	Степени наклонности к совершению следующих преступлений							
		1826—1830	1831—1835	1836—1840	1841—1844		Воровства	Буйства	Нанесения увечья и ран	Смертельного удара	Убийства	Отравления	Подлога	Ложн. свидетельства и подстрек. к нему
Ниже 16 лет	11.234.500	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1
16—21	3.017 450	12 2	11 8	12,3	12,3	12,3	16 0	14.1	10,9	7,3	6,0	3,4	3,8	4,6
21—25	2.288.440	15,9	15 6	16 6	15.1	15 8	18,4	14,3	13,5	15,3	14,2	9,5	10,1	9,1
25—30	2 688 560	15.3	14,9	14 3	1[illegible].0	14.6	14,7	12,6	20,1	16,9	14,4	13.9	11,8	8.8
30—35	2 489 080	13.2	14 2	12,9	12,7	13 3	13 2	11.1	16,7	14.0	15,3	12,2	13 4	11,0
35—40	2.255.760	9 5	11,2	11 6	10 9	10 8	10,7	8,8	11,8	11,1	10 8	11,3	12,8	11,7
40—45	2 079.410	8 4	8,1	9,2	9,9	8,9	6,6	7,5	6.8	8,3	9.7	13.0	11,5	11,0
45—50	1.866.210	7,2	6.7	6 5	7,7	7 0	6.4	6,4	6 3	7,3	8,2	9,4	9,7	10,0
50—55	1.639 560	5,4	5,4	4,9	4,7	5,1	4,5	4,1	4,7	5,8	6.3	6,5	7,6	9,3
55—60	1 393.030	3,9	3.9	4.1	3,9	3,9	3,1	4,4	3,3	4,5	5,2	4,8	5.5	8,3
60—65	1.121.190	3,6	3,2	3,3	3 5	3 4	2,6	4.8	2,9	4.0	4.3	4 8	5,4	6,9
65—70	8 9 280	2.4	2 4	2,3	2,8	2,5	1,8	5,2	1,6	3,0	3,2	5,1	3,9	5,4
75—80	865 930	1,8	1.6	1,2	1.7	1,6	1,2	4,5	0,8	1,7	1,7	3,0	3,0	3,8
Свыше 80	188.600	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	2,1	0 5	0,9	0,6	2,8	1,4	0
		100,0	100,0	100,0	100,0	100.0	100,0	100,0	100.0	100,0	100,0	100,0	100,0	100.0

Я слышу, на коней
Ямщик кричит: вирь вирь!
Знать, русский Мирабо,
Поехал ты в Сибирь. (Державин).

В своих практических приложениях к криминилистике естествознание было до сих пор одной из ступеней лестницы, ведущей на эшафот. От его проницательного взора не могло укрыться почти ни одно преступление; его драгоценнейшие открытия служили только новыми орудиями против несчастных жертв юстиции; деятельность многих лучших представителей его, например, Бюхнера, вела к тому, чтобы доставлять генерал-прокурорам новые средства для торжества над бедным, отверженным предметом их кровавого красноречия, лучшая награда которому — веревка, затягивающая шею преступника. Но, присоединяясь к толпе гонителей виновных в нарушении общественных предрассудков, оно еще ни разу не высказало громко того, что должно было высказать. Помогая открытию преступления, оно еще ни разу не объявило, что не может открыть преступника. Выше было уже говорено, что людей совершенно нормальных нет, что все более или менее в ту или другую сторону уклоняются от нормы. Само собою разумеется, что это уклонение прежде всего должно выражаться в физических свойствах организма. Однако, как бы ни были поразительны и резки эти уклонения в своих внешних нравственных выражениях, открыть их внутреннюю физическую причину наука не в состоянии. Самые резкие наружные проявления того состояния, которое мы называем умопомешательством, не имеют на наш глаз никакого соответствующего изменения в составе нашего организма, потому что явления, представляемые размягчением мозга, кретинизмом, головной водянкой, органическим пороком мозга и т. п., не производят настоящего сумасшествия. При жизни человек бесится, кусается, воображает себя пророком, богдыханом, петухом, думает, что у него стеклянные ноги, одним словом, представляет ясные признаки умственного расстройства. Мы знаем, что причина его лежит в повреждении мыслительного аппарата, но напрасно стали бы мы искать доказательств этого повреждения.

Поэтому мы должны откровенно объявить, что не знаем ничего о причинах и свойствах умопомешательства, что мы не знаем, что это такое, и не можем его определить, потому что то жалкое определение, к которому прибегает исполненная шарлатанства, подобно прочим отраслям медицины, психиатрия, не может быть принято серьезной наукой, как ложное и одностороннее, потому что основано не на существенных признаках болезни, а на ее внешнем выражении. Это все равно, как если б мы определили желтуху состоянием недовольства, капризности и раздражительности и успокоились бы на этом определении. Но очевидно, что если умопомешательство не может быть точно определено, то и

сравнение этого состояния со всяким другим возбужденным состоянием не может иметь места, потому что для сравнения между собой двух предметов необходимо сперва хорошенько определить их. Следовательно, ни один естествоиспытатель не может добросовестно указать границы, где кончается здоровье и начинается сумасшествие, не может сказать, что этот человек — сумасшедший, а этот другой — преступник. А между тем призываемые в эксперты жрецы Эскулапа с важностью и наглостью невежества не задумываются никогда в определении этих границ: их не смущает, что от их шарлатанского показания зависит быть или не быть подсудимого. И, к стыду медицины и естествознания, не из среды этих наглых невежд выступили хорошие люди, впервые заявившие мысль, что преступление и умопомешательство — тождественны. Люди эти, которых имена нельзя не уважать, были Платнер, Гроос и Громан, немецкие юристы. Но понятно, что, будучи не хорошо знакомы с явлениями, представляемыми умопомешательством, они выразили не вполне точно справедливую мысль, что преступление есть, как и помешательство, явление, находящееся в полной зависимости от физических условий организма, что указывает только на тождественность производящей причины, но не самого явления. Умопомешательство является обыкновенно в хронической форме; напротив того, преступление — в острой; при умопомешательстве большею частью цель действий человека бросается в глаза своей нелепостью; при преступлении большею частью имеется в виду практическая цель. Хотя, впрочем, нередки примеры, что преступления совершались при поразительно нелепой обстановке и в виду не менее нелепой цели, — и наоборот: поступки сумасшедших иногда обнаруживают ясное понимание обстоятельств и цели. Так, например, в 1844 г. живший в бельгийской колонии Гель, жители которой принимают к себе сумасшедших, фармацевт Шенваль, пользуясь свободой занятий и действий, предоставленной там больным, убил аптекаря Лебона, в котором видел себе соперника в торговле лекарствами, которой занимался. И юстиция поступила по-своему весьма логично, казнив этого признанного всеми и посаженного в больницу помешанного. Но что преступление, подобное умопомешательству, имеет своим источником органические повреждения, острого или хронического свойства, это доказать нетрудно. Уже было сказано о влиянии наследственности и о том, что оно может выражаться только физическими изменениями организма. Из этого следует, что нравственное проявление ее — будет ли это добродетель или преступление — должно обнаруживаться свойствами организма. Известно также множество примеров неудержимой страсти к воровству, обращающейся иногда на самые бесполезные, пустые предметы. В книге д-ра Ловерня «Последние часы и смерть во всех классах общества» рассказывается про одного ка-

торжника Дегама, сосланного на галеры за многие воровства. Прибыв на место ссылки, этот несчастный предупреждал и просил всех, чтобы остерегались его необузданной страсти к воровству, и, несмотря на все предосторожности, украл ключ и 8 фунтов меди, совершенно ненужных ему. За это срок работы был увеличен ему на два года; но так как он не мог удержаться от своей наклонности, то должен был провести на каторге всю жизнь, получая бесчисленное множество розог и палок. Мы уже представили в таблице влияние возраста на преступления. Если мы захотим искать в частных наблюдениях поверки этих статистических данных, то увидим это еще яснее. Влияние возраста, во-первых, обнаруживается в так называемой пиромании, или безотчетном стремлении детей к поджогу. К сожалению, представленная таблица не дает нам цифр, показывающих отношения возраста к этому роду преступления; но вопрос о том, существует или нет пиромания, может быть возбуждаем только добрыми гражданами, жаждущими человеческой крови *. Генке был первый, восставший против наказания как преступников бедных, так и больных детей.

Точно так же влияет и старческий возраст. В старости мозг человека делается меньше и теряет значительный процент главного источника мысли — жира. Человек глупеет, слабеет и может быть признан больным сравнительно с людьми зрелого возраста. Но при порядке, в котором власть и значение сосредоточены в руках стариков с иссохшим мозгом, где от их помраченного разума зависят судьбы свежих и бодрых людей, — при таком порядке естественно, чтобы старость, не мешающая овладевать властью, не мешала бы всходить на эшафот и работать на галерах.

В нашем просвещенном столетии в Гамбурге одна девушка, бросившаяся в реку с своим незаконным ребенком, спасаясь в Эльбе от бедности и общественного мнения, была вытащена, между тем как ребенок ее утонул. Суд присяжных приговорил ее, как детоубийцу, к казни, которая и была совершена.

Здесь грубое варварство и жестокость судей прямо бросаются в глаза, и нет человека, который бы не ужаснулся над таким правосудием. Но если мы вникнем в те случаи, где произносится осуждение над действительными детоубийцами, то увидим, что разницы тут нет никакой.

Девушка, готовящаяся родить незаконного ребенка, знает, какая участь ожидает в обществе и его, и ее самоё. Она знает, что если теперь она могла каким-нибудь способом доставить себе жалкий кусок хлеба, то, сделавшись матерью и, следовательно, нуждаясь в бо́льших средствах, она будет лишена возможности добывать их. Нравственные домохозяйки не потерпят у себя в доме разврата; работа, которой одна она могла бы как-нибудь су-

* Не жаждущими крови, а требующими правосудия и кары за преступления.

ществовать, будет доставаться ей труднее по той же самой причине. Все средства к прокормлению себя и ребенка иссякнут, и она должна будет, голодная сама, видеть страдания несчастного дитяти. При подобной перспективе можно себе представить, каково должно быть психологическое состояние такой женщины. Но беременность, увеличивая нервную чувствительность, делает его еще невыносимее, и среди таких нравственных мучений наступают, наконец, муки деторождения. Здесь к нравственным потрясениям прибавляется еще чисто физиологическое влияние акта деторождения. Третий и четвертый периоды его часто поразительно схожи с умопомешательством. Наступают судороги, конвульсии, бред, продолжающиеся часто еще долгое время спустя после разрешения. Слова, вырывающиеся из уст родильницы, доказывают отсутствие в ней правильного сознания; сокращения матки влияют на мозг, и влияние это обнаруживается то подавленностью его деятельности, то чрезмерной возбужденностью ее. Впечатления страха и ужаса, предшествовавшие родам, направляют и в этом почти бессознательном состоянии мысли женщины на предмет ее прошедших и предстоящих терзаний. Что эти впечатления достаточно сильны, видно уже из того, что большинство женщин, родящих вне брака, родят детей внезапно, преждевременно, под влиянием своего страха. Теперь, если такая женщина, после всех претерпенных ею мучений, еще в полубеспамятстве, бессознательно, повинуясь своей idée fixe ужаса, задушит новорожденного, можно ли сказать, что она виновата в этом, что она сделала это добровольно, что она *могла не сделать* этого? Ведь это было только результатом целого ряда физиологических явлений, которые, будучи внешними обстоятельствами, т. е. грустной перспективой, открывавшейся в будущем, направлены на известную точку, должны были привести именно к этому результату, а не к другому. Поэтому для физиолога понятно объяснение таких женщин, что они совершили свое преступление бессознательно, *не помня себя*, не сознавая, что делают: физиолог видит в этом объяснение известного ему процесса, между тем как для судьи такое объяснение не имеет никакого смысла и не обращает на себя ни малейшего внимания.

Наконец, скажем положительно, что всякое преступление, при каких бы обстоятельствах ни было совершено, есть внешнее выражение физиологических или патологических явлений нашего организма и, следовательно, может так же мало влечь за собой ответственность, как какое-нибудь наружное уродство, например, горб или кривизна шеи. Нам уже доказали цифры, что преступления не зависят от человеческой воли, — следовательно, зависят от условий организма. Теперь мы возьмем несколько частных примеров, поясняющих это.

«Однажды,—говорит Сен-Марк,—я шел через Pont au change, на перилах которого сидел работник и, покачиваясь взад и впе-

ред, спокойно завтракал. Как молния, блеснуло у меня в голове сильнейшее стремление столкнуть его в реку, и оно было так могущественно, что я должен был бежать от предмета искушения на противоположную сторону моста. Я рассказывал этот случай знаменитому Тальме, который уверял меня, что он испытывал несколько раз то же самое».

Лихтенберг сознается в своих мемуарах, что часто заставал себя на обдумывании разных способов убить кого-нибудь, поджечь дом или сделать какое-нибудь другое преступление.

Известно, что отравительница Бренвилье совершала часто свои преступления без всякой для себя выгоды и отравляла людей совершенно ей незнакомых.

Швейцарец Шварцбек убивал без всякой цели, единственно из жажды крови. Он любовался муками поражаемых жертв: одного портного он привязал за ноги к дереву, так что голова его пришлась на муравьиной куче, и говорил в суде, что никогда не испытывал сильнейшего наслаждения, как при этом зрелище. Идя на казнь и проходя мимо места, где совершилось это преступление, он весело расхохотался при воспоминании о страданиях и муках своей жертвы.

Другой преступник, казненный 17 лет отроду, в детстве забавлялся, терзая животных. Выросши, он бросил в пруд одного мальчика и, когда тот выплыл, всадил ему в грудь ножик. Потом он без всякой причины убил ударом в голову своего отца и ранил жену брата.

Один голландский священник взял место при полку с единственной целью видеть сцены убийства в больших размерах. Он держал у себя много разных животных, чтобы иметь удовольствие мучить и убивать детенышей. Животных, нужных для его стола, он всегда убивал сам; он был в переписке со всеми палачами и совершал пешком большие путешествия, чтобы присутствовать при казнях.

Некто Сельвен имел ту же страсть и, присутствуя при одной казни, делал тщетные усилия, чтобы пробиться сквозь толпу. Тогда палач, который его знал, сказал окружающим: «Пропустите этого господина — это любитель».

В прошлом столетии имперский граф Кастель-Дюшинген питал такую страсть к исполнению приговоров юстиции, что выпрашивал у соседей преступников для совершения над ними казни и выстроил огромное смирительное заведение для помещения всех соседних арестантов. Он представляет резкий пример хронической кровожадности.

5 июня 1757 г. живописец Женейн был в одной таверне в Версале, когда туда вбежал какой-то господин с расстроенным лицом и настоятельно требовал хирурга, чтоб пустить себе кровь. Хозяин был занят и выслал его вон. Через несколько минут Женейн вышел из таверны и направился ко дворцу, как вдруг услы-

шал от прохожих о покушении на жизнь короля и увидел схваченного Дамиена, в котором узнал человека, требовавшего хирурга. При следствии обстоятельство это было раскрыто, что не помешало четвертовать и пытать несчастного.

Таких примеров можно собрать целые томы, и все они доказывают одно и то же, что преступление есть следствие или острого (как в примерах Сен-Марка и Дамиена), или хронического (как в примерах графа Кастеля, Лихтенберга, Бренвилье, Шварцбека, пастора и др.) более или менее сильного изменения нервной системы или мозга. В некоторых особенно острых случаях можно даже прямо указать на производящую причину. Так, очевидно, что умственные способности и сознание Дамиена были помрачены сильным приливом крови к голове, столь естественным в жаркий летний день у здорового, полнокровного мужчины.

Вот каким образом рассуждают мечтатели, которые берутся вместо того, чтобы спокойно заниматься наукою, вносить ее в священный храм Фемиды. Всякий благонамеренный читатель легко может убедиться в несостоятельности их рассуждений, в которой они, как увидим, сами сознаются. Но прежде, чем дойдем до этого торжества законности и справедливости над химерами, взглянем на их суждения о наказании.

Рассмотрев и определив таким образом, что такое те действия человека, которые называются преступлением, посмотрим теперь на теорию наказания за них, преподаваемую юристами.

Много столетий род человеческий резали, распинали, колесовали, вешали, расстреливали, четвертовали, сажали на кол, сжигали, зарывали живьем в землю, отдавали на съедение диким животным и насекомым, гильотинировали, отравляли, раздирали железными крючьями, сдирали кожу, жарили на медленном огне, топили, пока, наконец, не встретились с неожиданным вопросом: с какой целью делается все это? Что вопрос этот родился так поздно, это опять-таки доказывает, что мозг человеческий вырабатывается постепенно и что человек может долго действовать бессознательно; но между возникновением в голове вопроса и удовлетворительным ответом на него еще целая пропасть. По внимательном рассмотрении оказалось, что первоначальным побуждением к наказанию была м е с т ь, по правилу: око за око, зуб за зуб. Подобное основание для наказания оказалось в просвещенное время, когда был задан этот вопрос, не совсем благовидным, потому что, во-первых, мстительность была отчислена в число дурных побуждений человека, а во-вторых, она предполагала и допускала нетерпимое в благоустроенном обществе самоуправство. Казалось странным вручить право мстить за частный вред обществу, потому что месть, как чувство совершенно личное, не может быть поручаемо никому. Человек, которому нанесен вред или обида, мстит, потому что ему приятно мстить; с какой же стати он поручит месть обществу? Обижено не общество, а человек, —

следовательно, для общества, не получившего обиды, может быть только тяжело, а вовсе не приятно нанести ни за что ни про что ущерб лицу, не сделавшему ему никакого вреда. Месть теряет таким образом весь свой смысл. Поэтому нужно было приискать другое основание для теории наказания и притом выбрать его из разряда понятий хороших. Остановились на идее справедливости — и снова теперь с покойной уже совестью принялись четвертовать и сдирать кожу. Но организм кавказского племени продолжал выработываться. Скоро у многих возродилось сомнение о том, что не перемешали ли как-нибудь понятий? не успело ли проникнуть в разряд хороших под новым именем дурное? не есть ли идея справедливости та же самая старая месть, нарумянившаяся и набелившаяся и выдающая себя за дочь самого Зевеса? В настоящее время мозги наши развиты настолько, что стоит только каждому, желающему убедиться, постараться определить, что такое священное чувство справедливости и гнусная мстительность, чтобы убедиться в их тождественности или, лучше сказать, в том, что мстительность есть именно идея справедливости в приложении ее к юстиции. Потому что, говорят, справедливость требует, чтобы добро было награждено, а зло наказано; это требование справедливости считается величайшей нравственностью, и строгие ревнители последней в своих романах и драмах стараются всегда доказать, что именно это так и есть, на что не менее нравственные скептики лукаво усмехаются и, с прискорбием покачивая головой, замечают, что на земле оно не всегда, к несчастию, так бывает. Между тем вторая часть этого правила — зло должно быть наказано — и есть именно месть. Гений народа очень хорошо это понял, что видно из немецких слов *Rache* — месть и *Gerechtigkeit* — справедливость. Наконец, многие, в том числе даже юристы и приверженцы юстиции, как-то: Грольман, Руссо, Гоббес, Иделер и др., заметили, что от изменения названия сущность не изменилась, и решились бросить принцип, достойный корсиканских дикарей и подданных Моисея. Но другие, как, напр., Кант и Клейн, Фейербах Ансельм (Фейербах, которого не нужно смешивать с знаменитым Людвигом Фейербахом) и др., поддерживали его под разными философскими соусами возмездия, психического принуждения и др. Но так как в основании их все-таки лежит старое библейское правило, которого они сами стыдятся и только стараются прикрыть разными именами, то опровергать их не стоит, особенно теперь, когда только самые отсталые жрецы Фемиды готовы отстаивать этот принцип, в большинстве же либеральных господствуют гуманные принципы защиты общества и исправления преступника.

Когда основывают необходимость наказания на необходимости защитить общество от страстей его членов, то этой цели надеются достичь двояким образом: во-первых, лишив свободы

или жизни преступника, сделать его безвредным для общества, во-вторых, наказанием его устрашить тех, которые бы чувствовали в себе побуждение совершить вредный поступок. Что касается до первого, то, во-первых, общество здесь защищено только от последующих действий вредного члена, от первого же преступления оно не защищено; во-вторых, оно не защищено и от последующих его поступков, потому что если он совершил преступление до наказания, то нет причины предполагать, что он не совершит его по окончании срока наказания; напротив того, есть полное вероятие думать, что он непременно совершит его, потому что если он не мог доставать себе на хлеб насущный, пока репутация его была чиста, то очевидно, что препятствия к честному существованию умножатся, когда он сделается освобожденным каторжником или арестантом. Так, напр., в «Ind[dependance Belge» был описан случай, где одного работника, оставшегося без работы, осудили на шестимесячное тюремное заключение за покражу булки для своих голодных детей. Здесь жестокость состояла не в продолжительности срока наказания, а, наоборот, в его кратковременности, потому что если б работник этот со всем семейством был посажен в тюрьму на всю жизнь, то ему не пришлось бы по выходе из нее снова украсть булку, проголодав предварительно с детьми двое суток. Поэтому всего логичнее для защиты общества казнить или подвергать пожизненному тюремному заключению всех преступников без разбора степени их виновности. Замечательны также для принципа охранения общества результаты, представленные д-ром Гюбнером из Берлина статистическому конгрессу, происходившему в Вене в 1857 г. В Берлине за разные воровства на сумму 200 талеров было осуждено на разные сроки несколько человек, содержание которых в продолжение их заключения стоит 4.500 талеров. Таким образом, если б общество терпело в своей среде врагов своей собственности, то получило бы в данном случае 2.250 процентов барыша.

Теперь, что касается до цели запугивания посредством наказания тех членов общества, которые питают зловредные замыслы, то бессмыслица ее обнаруживается уже из того, что ни один проповедник ее не осмелится посоветовать возвращаться к мучительным казням прежнего времени. С их точки зрения должно бы было казаться совершенно логичным проповедывать все эти ужасы, от одного описания которых (например, казни убийцы Клебера образованными французами) волоса становятся дыбом; но они очень хорошо знают, что все эти зверства ни к чему не ведут и что во времена, когда они производились, число преступлений было больше. Точно так же и при ныне существующей системе наказания свирепство юстиции никого не в состоянии испугать. Так, с 1826 г. по 1853 г. число преступников во Франции с 59.000 достигло 261.000; число ежегодно наказываемых

детей моложе 16 лет поднялось с 215 до 7.528. Каторжная работа и колонии в Гвиане, на которые расходовалось прежде ежегодно 3.863.000 франк., стоят теперь нации 8.650.000. В 1849 г. число вторично наказанных преступников составляло ¼ часть всего их числа; 5 лет спустя оно составляло половину. Но если преступники не боятся юстиции, то она стыдится самой себя и всего человечества: это доказывает недавно введенная казнь в стенах тюрьмы.

Правда, некоторые любители запугивания и тут еще утверждают, что это должно производить тем сильнейшее впечатление на народ, но может ли это тайное убийство, показывающее потерю самоуверенности в представителях юстиции, запугать род человеческий, который не могли запугать пытки и сажание на кол?

Однако, хотя, вероятно, еще защита общества долго будет требовать крови и тюрем, тем не менее число казней ежегодно уменьшается. Так, например, в Англии в 1813 г. было 120 казней, в 1817 — 115, а в 1846 — только 6. В некоторых странах она вовсе отменена, и принцип защиты общества, по которому так долго совершались кровопролития, вероятно, уступит другому, имеющему в виду исправление преступника.

Исправительная система, впервые введенная в тюремную жизнь, обязана своим основанием, во-первых, просвещенным и гениальным деятелям XVIII в., как Беккарио, отрицавший право общества наказывать преступника, Филанджиери, Бентам, Говард, Вилен и др., во-вторых, и в особенности — пенсильванским квакерам. Впоследствии, в нашем уже столетии, к ним присоединились Кунингам, Уильберфорс и в особенности знаменитая женщина Елизавета Фрей. Были устроены целые филантропические общества, члены которых были обязаны стараться об исправлении преступников и улучшении их быта. Таково англо-американское общество, основанное по примеру Е. Фрей и имевшее во главе герцога Глостерского; таково основанное в 1825 г. и существующее поныне германское общество. За этим первым в Германии возникло с 1831 г. много других: в Ганновере, Виртемберге, Гессене, Ольденбурге и др. государствах. Возникли земледельческие колонии для арестантов, кончивших срок работы, убежища для женщин-преступниц, также выдержавших положенный срок заключения, в Кейзерсверте, основанные пастором Флиднером.

Наконец, с 1840 г. в частной благотворительности приняли участие и континентальные правительства (в Англии правительство вступило в дело еще с 1823 г.), и таким образом исправительная система приобретает все более и более значения. С 1846 г. начались устроиваться конгрессы, на которых ученые и филантропы Америки и Европы рассматривали этот вопрос.

Сущность пенитенциарной системы известна всем: не отчаиваясь в закоснелости преступника, она старается об его исправ-

лении, но, видя главное препятствие его — сообщество других преступников, ожидает исправления от одиночного заключения. Итак, одиночное заключение есть сущность ее. Уже это доказывает, что ее преимущества перед простым тюремным заключением в материальном отношении равны нулю. И действительно, положение в пенитенциарных тюрьмах преступников ничем не лучше положения их в обыкновенных острогах. Мы можем сослаться в этом случае на защитника этой системы г. Забелина. Что же касается до возможности нравственного исправления, то о нем, после того как мы определили себе преступление, не может быть и речи, потому что прежде всего преступление относится к разряду явлений физических. Так, например, для Дамиана единственное возможное исправление состояло в кровопускании. Притом есть поступки, влекущие за собой наказание, но не могущие даже породить мнение о каком бы то ни было нравственном или физическом лечении их. Так, например, человек украдет из нужды кусок хлеба; его посодят в пенитенциарное заведение. Но, спрашивается, хватит ли у кого-нибудь духу толковать о его нравственном падении и исправлении, ожидать, чтобы он сознал всю низость своего поступка? Если у кого хватит, то очевидно, что такого господина следует немедленно самого посадить в одиночное заключение, дабы он мог размыслить хорошенько о своем непотребстве. Итак, ни в отношении лиц, совершивших преступление, ни в отношении тех, которые хотя по закону и должны быть наказаны, но невинны, как голуби, — исправительная система не может достигнуть главной своей цели — исправления.

Но в последнее десятилетие в Западной Европе некоторые благодетельные души своими стараниями об улучшении быта преступника и об улучшении обращения с ним не как с злодеем, а как с блудным, но все-таки милым сыном, сделали то, что заключенные могут хорошим поведением сокращать срок работы, имеют прибыльную работу (марочная система), хорошее помещение, стол, одежду, чтение и прогулку. Нас могут укорить * в непоследовательности, если мы объявили себя против такого обращения с преступниками; но в сущности мы правы, потому что если совершивший преступление не может по справедливости быть наказан, то тем менее может он быть награждаем за свой проступок: все доказательства, приводимые против наказания за преступления, точно так же могут быть приводимы и против награждения за него. А между тем в таких комфортабельных исправительных заведениях преступники имеют все то, чего не получает огромное большинство людей, не совершивших ничего. Нелепость подобного контраста так велика, что нечего настаивать на доказательстве ее.

---

* Еще бы!

Это чорт знает что такое: вопить против жестокости в отношении преступников и вслед за тем вооружаться против хорошего с ними обращения!

Как же поступать с преступниками, по мнению утопистов? И дурно нельзя, и хорошо нельзя. Разве есть еще какой-нибудь средний термин?

— Нет, — отвечают последователи химер.

Ну так как же после этого? Что же делать? Засим ведь только и осталось, что предоставить преступников самим себе?!

— Да, — отвечают последователи химер.

Но ведь это только в голову, занимавшуюся всю жизнь лягушками и сухими книгами, может влезть такая непрактическая мысь! Предоставить убийц, воров самим себе, оставить им свободу — резать и убивать? Да это невозможно!

Но здесь утописты приходят в остервенение. Если для вас это невозможно, говорят они, то так и говорите, что non possumus*. На non possumus и суда нет.

Казните, сажайте в тюрьму, введите пытку или хольте и ласкайте преступников на деньги, собранные с голодающего народа, на все возражения отвечайте, как Пий: non possumus, но знайте, что вы делаете глупость, от которой нет пользы даже вам самим! (...).

— Химеры, химеры! — отвечаем мы.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИТАЛИИ С 1846 ПО 1850 ГОД

Сочинение Диэго Сориа, профессора публичного права в Италии. Перевод П. Кончаловского. Издание В. Висковатова. Том I. Вып. 1. Спб. 1863.

Очень жаль, что вместо книги Ю. Шмидта г. Тиблен не взял на себя труд издать «Общую историю Италии 1846 — 50 г.» Диэго Сориа. Тогда это прекрасное сочинение не было бы обезображено грязным и неуклюжим изданием и безграмотным переводом (1).

В вышедшем доселе первом выпуске изложение событий доведено только до 1848 г. Но взгляд автора на итальянскую революцию, на причины ее успехов и неудачи уже виден. Большая часть первого выпуска говорит о событиях, предшествовавших тому периоду, о котором идет речь. Автор делает очерк итальянской истории от Венского конгресса до избрания Пия IX. Книга его изобилует фактами, из которых многие совершенно неизвестны. Из этого рассказа о событиях, предшествовавших революции, развивается взгляд автора на самую революцию. Ее неудачу он приписывает той легкомысленной доверчивости, не боявшейся никаких фактов, которую итальянцы питали к своим

---

* Не можем. — *Ред.*

правителям, державшимся посредством бесстыднейших обманов и грубейшего насилия. Так, при Иоахиме Мюрате Фердинанд из Сицилии давал неаполитанцам самые либеральные обещания, если они восстановят у себя Бурбонов.

Доверчивые неаполитанцы верили обещаниям короля, восставали и гибли ежегодно в борьбе и заговорах против Мюрата. Эрцгерцог Иоанн и лорд Бентинк издавали прокламации, в которых обещали конституцию, свободу и независимость итальянцам. Генерал Нугент прямо говорит от имени императора Франца о независимом итальянском королевстве.

Но после победы над Наполеоном, когда старинные государи явились под прикрытием австрийских отрядов занять назначенные для них Венским конгрессом места, все эти обещания были забыты, и итальянцы, недавно слышавшие толки о конституции, внезапно узнали, что всякий народ имеет свой особенный, исторически выработанный тип правления и что для них этот тип — абсолютизм. Разумеется, спорить было нельзя, потому что теория типа была подкреплена весьма красноречивыми доказательствами в белых мундирах. Однако по возвращении своем некоторые государи Италии нашли, что естественная форма правления этой страны извращена. Так, напр., в сардинском королевстве были законы, гласность судопроизводства, уничтожены крепостное право и монастыри. Все это, очевидно, противоречило естественной форме и было уничтожено и заменено прежним порядком. То же правление, вероятно, служило типом и для Неаполя, потому что Фердинанд по возвращении объявил, что не считает себя связанным своими обещаниями, так как давал их не он, Фердинанд I, король обеих Сицилий, а Фердинанд III, король сицилийский. Порядки, заведенные французами, уцелели только в Тоскане; прочие же государства вернулись к тому положению, в котором их застала французская революция.

Однако итальянцы, как видно, не совсем верили в необходимость для них такого порядка вещей, потому что уже в 1820 г. вспыхнула революция в Неаполе и Пьемонте. При этом замечателен опять образ действия Фердинанда Неаполитанского и его сына. Фердинанд был принужден дать испанскую конституцию, но восторжествовавшие либералы имели глупость послать его на Лайбахский конгресс, чтоб просить у Священного союза утверждения этой конституции. Перед отъездом они взяли с него клятву, забыв, что ему стоит назвать себя Фердинандом III, королем иерусалимским, чтоб развязаться со всеми клятвами. Но на этот раз он обошелся даже без этой невинной хитрости. Он слишком ненавидел либералов, чтобы дорожить их мнением о себе; в сочувствии же Священного союза он был уверен. Одного только опасался он — чорта, потому что был человек суеверный. Поэтому он подарил пудовый серебряный подсвечник мадонне

и с этих пор перестал церемониться. В Лайбахе он заикнулся только об австрийских войсках, как они уже немедленно были отданы в надлежащем количестве в его распоряжение. Между тем в Неаполе управлял в его отсутствие сын его. Ему благоразумные либералы поручили армию, с которой он должен был отразить своего отца. Но принц менее дорожил репутацией хорошего генерала, чем безграничною властью по смерти отца. Поэтому он действовал так неудачно, что через несколько недель Фердинанд был в Неаполе, о конституции же не было и помину, кроме разве казней и депортаций благоразумных либералов, пустивших козлов в огород. Фердинанд забавлялся, пустив в народ сорок белых медведей — презент императора Александра. К сожалению (т. е. не для народа, а для медведей), король-лаццарони умер вскоре после этого, в 1825 г. Его сын Франциск I, тот самый, который так плохо предводительствовал конституционными войсками, сохранил вследствие своего добровольного поражения некоторое нерасположение к своим победителям австрийцам и не желал их влияния на Неаполь. Поэтому их войска, занимавшие с 1820 г. страну, должны были удалиться. Но министры Франциска, подкрепленные венским двором, употребляли все усилия, чтобы заставить короля обратиться к Австрии, и с этой целью выдумывали разные заговоры и опасности, будто бы грозившие престолу. Франциск испугался, но за известным, необходимым для своего спокойствия, количеством штыков обратился не в Вену, а в Париж. Это не входило в расчеты министров, и они подговорили шайку разбойников, которые никогда не переводятся в блаженном королевстве обеих Сицилий, распустить трехцветное знамя и провозгласить свободу.

Эти крики и это знамя смутили нескольких крестьян из Чиленто, провозгласивших конституцию и разбивших телеграф. Франциск ужаснулся, но все-таки перехитрил своих министров. Он решился обойтись без иностранной помощи, полагаясь на таланты некоего мужа с железной волей. Муж этот, именем Делькаретто, во главе храбрых жандармов произвел чудо. Он сумел одержать блистательные победы, забрать множество пленных, учредить несколько судных комиссий, казнить бесчисленное множество бунтовщиков, четвертованные трупы которых в железных клетках развозили по деревням, а головы отсылали женам и детям, и все это среди совершенного мира и тишины, среди всеобщего ужаса и страха, не позволявшего и думать о каком бы то ни было сопротивлении королевским войскам. Разумеется, такие странные результаты были достигнуты странными мерами: почтенный шеф жандармов нападал среди белого дня на деревни, брал их приступом, сжигал дома, ловил и сажал разбегавшийся народ на штыки. Ежедневные бюллетени возвещали о подобных подвигах, которые в этих описаниях принимали вид упорных битв. После такого энергического усмирения несу-

ществовавшего мятежа остальные годы царствования Франциска были посвящены судебному преследованию заговорщиков, которые хотя на деле не существовали, но число казней от этого не уменьшалось. Революция 1830 г., отразившись в Италии, дала итальянским правительствам новый случай выказать свое остроумие, а либералам — свое тупоумие. В Неаполе Фердинанд II Бомба наследовал Франциску, умершему в одно время с изгнанием Карла X. Увидя, что времена не благоприятствуют зверству, Бомба заявил себя либералом и внушил к себе полное доверие этой партии, которая, повидимому, только о том и помышляла, чтобы приобрести либерального короля, и заподозривала в либерализме каждого правителя, не имевшего привычки расстреливать десяток человек ежедневно. Поэтому Фердинанд II под прикрытием своей либеральной репутации спокойно дожидался времени, когда ветер переменится и ему можно будет доказать своим подданным, что и он Бурбон, не хуже своего деда и отца. В Модене герцог Франциск IV счел также нужным придерживаться либерального образа мыслей и надеялся помощью его завладеть пьемонтским престолом, на который он имел, по его мнению, более прав, чем принц Кариньянский. Он сошелся с главою моденских либералов Сиро-Менотти и предложил ему поднять трехцветное знамя. Но в это время дела либералов пошли круто; Карл-Альберт, по смерти Карла-Феликса, с помощью войск восстановил патриархальный образ правления в Пьемонте. Все стали коситься на Франциска IV, казавшегося благонамеренным правителям чем-то вроде якобинца. Франциск поспешил восстановить свою репутацию. Он лично арестовал Сиро-Менотти, который, не подозревая измены, занимался с несколькими товарищами рассмотрением плана итальянского восстания, составленного самим герцогом. При арестации большая часть единомышленников герцога были убиты, а Менотти ранен и взят. Однако моденцы восстали против такого правителя. Герцог бежал в Мантую, не забыв взять с собой Менотти. Вернувшись в Модену, с помощью австрийцев он покарал мятежников, а Менотти задушил в тюрьме. Сделал он это с целью уничтожить свидетеля своих прежних неблагонамеренных замыслов; но даже эти подвиги не могли приобрести ему доверия Австрии, пока, наконец, долговременная служба по полиции не доказала им искренность раскаяния герцога. В период 1831—48 годов на поприще раскаяния подвизалась другая некогда заблудшая овца. Овца эта, которую, впрочем, гораздо приличнее называть волком, был Карл-Альберт Сардинский, в 1821 г., во время своего управления страной, навлекший на себя немилость и подозрение Карла-Феликса и всей реакционной Европы. Для искупления своего он участвовал в качестве волонтера в крестовом походе против либералов в Испании, воспетом Шатобрианом, и, следовательно, внес посильную лепту в дело восстановления Фер-

динанда VII и казни Риэго. Сделавшись в 1831 г. королем, он продолжал действовать так, как-будто считал себя обязанным загладить гонением на либералов позор прежних сношений с ними. В то время ему и в голову не приходило, что люди, которых он предал мести Карла-Феликса и гнал в продолжение 16 первых лет своего царствования, будут со временем считать его бойцом и мучеником за свободу Италии и возобновят жестокости Бурбонов в Неаполе pour les beaux yeux * его сына.

Таким образом, начиная с той минуты, когда французская революция в первый раз пошатнула престолы итальянских государей, в Италии не было почти ни одного года, в который бы хотя в одном конце ее не вешали, не расстреливали, не ссылали на галеры; всякий год открывались заговоры, усмирялись мятежи, призывались австрийские войска, давались и не исполнялись обещания. Папский двор организовал даже целую армию. Число недовольных в стране было так велико, что в продолжение 30 лет оно держало в страхе государей, снабженных превосходной полицией, храброй жандармерией и многочисленными своими и чужими войсками. Эти недовольные были достаточно сильны для того, чтобы после тридцатилетней войны одержать победу, и хотя вслед за сим и потерпели поражение, но в десять лет оправились от него и доставили окончательное торжество трехцветному флагу. Это замечательно потому, что эта оппозиция была всего менее демократическая. «Вихрь революции,— говорит Диэго Сорио в безобразном переводе г. Кончаловского, — увлек только часть дворянства, духовенства, помещиков, студентов и ученых», между тем как народ не только не был против правительства, но даже во многих случаях открыто восставал во имя абсолютизма против либеральных движений.

Мне кажется, что уже достаточно выпало на долю буржуазии брани и укоров. Добрые буржуа, столь интересные в претерпеваемых ими гонениях от представителей дикого произвола, доказали неоднократно, что не уступают, а даже превосходят в зверстве своих гонителей, когда дело заходит о нуждах и требованиях низших классов. Революция 1848 г. во Франции и в Германии, английские восстания рабочих нынешнего столетия и последние действия национальной гвардии итальянского королевства заклеймили позором царство барышников. Конечно, все нарекания, которым они подверглись, не в состоянии искупить крови июньских дней, манчестерской резни и Аспромонте; но утешительно, по крайней мере, то, что теперь уже ни один порядочный человек не может сочувствовать движению, направленному в пользу буржуазии. Между тем есть еще весьма много хороших людей, способных увлекаться всем выступающим под демократическим знаменем. Хотя демократы доказали свою несо-

---

* Ради прекрасных глаз. — *Ред.*

стоятельность в 1848 г., но французские демократы в своих ошибках даже сохранили столько честности и благородства, что можно было сожалеть о голубиной наивности их сердец, но ненавидеть их было не за что. Все это и произвело ту добрую славу, которая осталась за демократами в то время, когда абсолютизм, аристократизм и буржуазия возбуждали к себе всеобщее отвращение и презрение. Отчасти способствовало этому то, что большинство не имело довольно храбрости, чтобы восстать против демократизма, облеченного в интересный вид страдания и благородства. Но эти соображения не останавливают Диэго Сориа: он слишком выстрадал от ошибок и зверства разных партий своего отечества, чтобы церемониться с кем бы то ни было. Читая его, невольно приходит мысль о том необыкновенном недостатке сообразительных способностей, которые выказывают демократы во что бы то ни стало. Французские демократы, ожидающие его на престол и курящие ему фимиам, имеют право поступать так: французский работник несравненно более человек, чем глупый, жестокий и трудолюбивый буржуа. Французский работник вдумывается в свою судьбу, он старается разгадать этот сфинкс и не упускает из виду ни одного средства развить свой ум. Достаточно вспомнить, что из их среды вышли замечательнейшие деятели 1848 г., и тогда мы увидим, что французские демократы имеют основание призывать к власти класс народа, несравненно более развитой, более образованный, чем управлявшие до сих пор лавочники. Но, к сожалению, не все страны похожи на Францию: есть нации, в которых развития французских рабочих достигли только немногие лица из высшего и среднего сословий. Остальная часть нации, и именно так называемый народ, пребывает в состоянии, близком к состоянию каких-нибудь кафров или курдов. Казалось бы, что в таком государстве не может быть и речи о демократах и демократизме. Однако беспардонные демократы не останавливаются перед такими пустяками. Они вовсе не вдумываются в сущность демократизма, а им просто приятно считать себя демократами и походить на Ледрю-Роллена. Поэтому они считают долгом вопиять против аристократии и буржуазии, как-будто есть что-то лучшее этого. Им нет дела, что когда против буржуазии вопиют французские демократы, то они имеют в виду класс общества, из которого вышли самые лучшие люди их страны: они хотят быть демократами, да и только, а там им все равно, что на замену аристократии и буржуазии есть только звери в человеческом образе, белые медведи с Бомбой во главе; потому что знаменитый н а р о д связан тесными и неразрывными узами грубости и варварства с Бомбами.

Все эти горькие истины пришлось на себе испытать итальянским либералам всех цветов и оттенков. Добрые лаццарони, кричавшие в январе 1848 г. «Да здравствует конституция!», в мае уже грабили город с криками «Да здравствует абсолютный ко-

роль! Долой конституцию!» и помогли Бомбе уничтожить конституцию и этим способствовать гибели итальянского движения. Во время сицилийского восстания они кричали «Да здравствует Джиоберти!» и спрашивали у национальной гвардии: «кто такой Джиоберти?» Крича «Вива!» *, они думали, что это означает приказание всем пить! (2). Этому народу как нельзя более был по плечу король Фердинанд, мечтавший о том, чтобы, в случае окончательного торжества либералов, сделаться русским полковым командиром; но, вероятно, ему бы и в голову не пришла подобная мысль, если бы высшие классы вместо того, чтобы бороться с ним, ожидали народной инициативы и сближения с народом. Народ груб, туп и вследствие этого пассивен; это, конечно, не его вина, но это — так, и какой бы то ни было инициативы с его стороны страшно ожидать. Он всегда скорее готов, как неаполитанские лаццарони, итти рядом с наемными швейцарцами, грабить и убивать мирных жителей и противодействовать свободе страны. Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него, потому что народ в таком состоянии, как в Италии, не может по неразвитию поступать сообразно с своими выгодами; если сознана необходимость навязывать насильно народу образование, то я не могу понять, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями может быть довольно силен, чтобы мешать признать необходимость насильного дарования ему другого блага, столь же необходимого, как образование, и без которого последнее невозможно, — свободы. Но всему этому еще горький опыт не научил деятелей 1848 г. Они не только верили в добродетели народа, но даже в достоинства Карла-Альберта, Леопольда II и Пия IX. В период 1846—48 годов, когда дело еще только начиналось, Италия была необыкновенно богата надеждами. Не проходило месяца, чтобы лучшие ожидания не волновали умы при назначении на министерское место какого-нибудь господина, который тщетно ломал голову, чтобы разгадать непонятную тайну своей популярности. Правда, этот господин успевал в самое непродолжительное время истощать терпение самых терпеливых и добродушных людей, но надежды от этого не уменьшались, и новые крики радости приветствовали его преемника.

Поэтому нельзя не удивляться справедливости и беспристрастию мнений автора «Истории Италии», который, несмотря на испытанные преследования, совершенно оправдывает государей от многих обвинений на том именно основании, что они нисколько не были виноваты в надеждах, которые возбуждали, а следовательно, и в разочаровании, которое следовало затем. Чем, в самом деле, виноват был Пий IX, что от него ожидали невозмож-

* Ура! — *Ред.*

ного, что думали, что старый клерикал, аристократ и кардинал времен Пия VII и Григория XVI окажется чем-то вроде Гарибальди? Он не делал никаких обещаний, не подавал никаких надежд; а его имя сделали криком свободы, от него ждали освобождения Италии. Это тем очевиднее, что для ожидающих и надеявшихся было все равно, кого бы ни выбрали, им не было дела до личности. Во время конклава распространился слух о том, что папой будет кардинал Гицци: и все были рады, все ждали от него того же, чего потом ожидали от Пия IX. Выбрали не Гицци, а Мастаи-Феррети, и надежды не уменьшились нисколько. Если бы выбрали Амато или Чиакки, было бы то же самое. Поэтому и выходили такие странные qui pro quo, что в то время, когда Пий призывал против своих подданных австрийское войско, ему делали овации и ожидали, что он отлучит Австрию от церкви. Здесь никто никого не обманывал или, лучше сказать, обманывали сами себя. Точно то же и в Сардинии относительно Карла-Альберта. Этот король, 16 лет занимавшийся тем же, чем занимались неаполитанские и испанские Бурбоны, вдруг увидел в честь свою разные овации. Здравый смысл, которого у него одного в этом случае было больше, чем у всех его подданных, говорил ему, что делать овации и возлагать надежды на человека, который всю жизнь заботился только об иезуитах и еще так недавно очищал по-кавеньяковски улицы Генуи и Турина, до того нелепо, что, вероятно, скрывает за собой что-нибудь недоброе. Он был прав и поступал логично, проезжая в закрытой карете, окруженной карабинерами, по улицам, усыпанным цветами, уставленным триумфальными арками и покрытым огромной толпой, кричащей: «Да здравствует король!». Его жена была благоразумна, когда на коленях умоляла его не показываться народу, который, собравшись перед дворцом, желал выразить ему благодарность за благодеяния, о которых никто ничего не знал и которые были не более как нелепые надежды, сочиненные самим же народом. Но всех лучше выразил это Фердинанд Бомба. Так как все эти овации имели источником либеральные надежды, то он видел в этом противузаконный поступок и, подобно московским профессорам, запретил аплодировать себе. Крик «Да здравствует король» стал считаться буйством. Это кажется странным, но в сущности это последовательно.

Но теперь является сам собою вопрос: почему же вдруг в лето от Р. Х. 1846-е возникли все эти надежды, эти упования, эти ожидания? Почему не приветствовали восторгами ни Льва XII, ни Пия VIII, ни Григория XVI; почему только после 16-летней тирании заподозрили Карла-Альберта в каких-то добродетелях? По моему мнению, причиной этого была слишком затянутая петля, резавшая руки самим палачам. До реставрации, покуда правление отличалось мирною патриархальностью, как ни было тяжело народу, но он мог терпеть, покоряясь необходимости, счи-

тая, что уж так свет устроен, что он должен голодать и платить. Но когда прямо объявили, что опора общества есть палач, когда австрийские вассалы начали открытую войну против своих итальянских подданных, тогда дела переменились. Тридцать лет германские властители вели себя в отношении высших классов, как враги, и тридцать лет были победителями. Но такая, хотя победоносная, борьба, наконец, утомила их. Такое напряженное положение сделалось невыносимым; требовалось от борьбы какого-нибудь результата, нужно было или окончательно раздавить врагов, или сделать первый шаг к миру. Но раздавить нельзя целую нацию: одно поколение погибло, а на смену ему вырастало другое и поставляло новые жертвы. Нужно было кончить чем-нибудь, и как ни противна была правителям мысль о реформах, но итти по старому пути или остановиться на одной точке было невозможно. Эта невозможность, эта зависимость от обстоятельств, эта неловкость положения сознавалась инстинктивно всеми.

От этого правители впадали в ошибки, делали робкие движения, повидимому обещавшие реформы, всегда держали камень за пазухой, чтобы поразить того, кто слишком увлечется розовыми надеждами. Переживали какое-то переходное состояние, в котором подданные ждали, а властители думали о том, как бы сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, как бы в одно время и народ успокоить, и все по-старому оставить. Правда, Пий IX и Карл-Альберт никаких обещаний не давали; но самое положение их было таково, что общество чувствовало, что они находятся в необходимости уступить; но это инстинктивное чувство не было достаточно сознано обществом, чтобы оно могло понять, что уступки эти могут быть вызваны только крайностью, а никак не сделаны добровольно. Поэтому оно приходило в восторг, когда удовлетворялась тысячная доля его желаний и надежд, и восторженно благодарило за то, что было дано во избежание бо́льших уступок со злобою и неудовольствием. Фердинанд II и здесь был умнее всех: он отбил у либералов своего королевства всякую надежду на какие бы то ни было реформы и, когда те взяли их силой, выждал случая отнять назад и жестоко отмстить. Этим он навлек на себя упрек в варварстве, но, по крайней мере, спасся от упреков в вероломстве и измене, от которых не удастся спасти память Карла-Альберта. Но взгляд Диэго Сориа на эти дальнейшие события еще неизвестен, и я подожду выхода второго тома, чтобы поговорить о них с читателями. Рассказ покуда доведен до неаполитанской революции, усмиренной конституцией, данной Бомбой после самого упорного сопротивления. Если бы победа осталась за ним, нет никакого сомнения, что сицилиянцы и неаполитанцы могли бы смело сказать королю, что

Так беспощаден не бывал
Ни разу кратер грозной Этны.

Но когда победа осталась за либералами, то они на другой же день сделали триумф Фердинанду, который долго не верил такой глупости и, наконец, сказал генералу Стателле:

— Ну, мы дешево отделались.

Замечательно, что около того же времени те же самые слова были сказаны Карлом-Альбертом и Пием IX. Такой единодушный приговор достаточен, кажется, чтобы засвидетельствовать перед судом истории, насколько было практического смысла у итальянских либералов.

С тех пор Фердинанд не скрывал своего презрения к людям, не умевшим упрочить за собой то, что добыли ценою тридцатилетней борьбы и крови нескольких поколений. Когда у него с оружием в руках вырвали конституцию, принять которую сумели с таким видом, как-будто она была октроирована, когда после этого он проезжал среди огромных масс радостного народа, кричавшего ему приветствия и выражавшего любовь и благодарность, лошадь его остановилась.

— Видно, что конституционная лошадь, — громко сказал король, еще вчера говоривший, что во внимание к желанию любезных подданных и духу времени, дает конституцию: — видно, что конституционная лошадь... она не может итти вперед.

УЧЕНИЕ О ПИЩЕ

общепонятно изложенное Я. Молешоттом. Изд. книжного магазина Серно-Соловьевича. Спб. 1863.

Я бываю всегда несказанно рад, когда мне приходится говорить с читателями о какой-нибудь хорошей книге по естественным наукам. К счастию, теперь мне приходится довольно часто иметь это удовольствие, потому что хорошие книги по естествознанию выходят одна за другой. На этот раз я могу поговорить здесь о сочинении Молешотта «Учение о пище», изданном недавно книжным магазином Серно-Соловьевича. Я уверен, что в числе лиц, довольных появлением этой книги в русском переводе, находится и не знающий немецкого языка г. Игдев, который может теперь критиковать знаменитого естествоиспытателя, не перевирая его слов. Впрочем, я решительно не знаю, почему я упомянул о г. Игдеве и почему он мне вспомнился; к Молешотту он не имеет другого отношения, кроме того, что скверно перевел две фразы из его сочинения (1). Поэтому обратимся к книге, о выходе которой я упомянул. Человек, жаждущий наслаждений нравственных, так называемой духовной пищи, хотя и не пренебрегающий хорошим обедом, такой человек придет в крайнее негодование на Молешотта, просмотрев заглавный лист его кни-

ги. Он встретит целые главы, трактующие о хлебе, овощах, пирожном, найдет рецепты обедов для различных классов людей, увидит толки о чае и кофе и тому подобных прозаических предметах. Он остроумно сравнит книгу Молешотта с плодами сорокалетних опытов и наблюдений г-жи Авдеевой (²) и, презрительно швырнув ее в сторону, предастся эстетическому наслаждению, напр., станет читать стихотворения г. Фета, о которых я также нынче поговорю с читателями.

Да, я убежден, что многие вознегодуют на меня за то, что я прямо берусь за книгу Молешотта и отодвигаю на задний двор своего листка эстетические произведения г. Фета, но читатель увидит, что я делаю это из уважения к его здравому смыслу.

Судить, понимать, наслаждаться, положим, эстетическими творениями, человек может только тогда, когда организм его находится в условиях, благоприятных для этого. Заболели у человека зубы — и он не только не станет восторгаться г. Фетом, хотя бы был самим г. Анненковым или самим г. Дудышкиным, а со злобой швырнет неповинные песнопения фетовской музы в угол. Человек не ел долго или слишком наелся — и ему не под силу рассуждать о важных материях. Голодающий работник, который, если б был сыт, может быть, с увлечением выслушивал бы доказательства Бастиа или Молинари, приходит в раздраженное состояние, делается весьма нетерпеливым и не слушает никаких доказательств, как бы они ни были красивы.

«История произведений земли тесно и глубоко связана с судьбами человечества, со всеми его чувствованиями, мыслями и действиями», сказал еще Георг Форстер. Новейшие писатели вполне подтвердили это глубокое замечание великого естествоиспытателя и мыслителя. Молешотт, впрочем, далек от странной слабости многих ученых приписывать все исключительно занимающему их предмету. Он соглашается, что влияние на человека воздуха, земли, положения страны, растений, животных и, наконец, других людей — бесконечно велико, что деятельность каждого лица настолько же обусловливается внешними условиями, сколько и его организмом. Но в разбираемой книге он довольствуется рассмотрением только внутренних условий самого организма; он разбирает, какие вещества способны вызвать наибольшую деятельность и куда тот или другой род пищи направляет ее.

Подобно тому как Бёкль представил нам зависимость человека от внешней природы, Молешотт представляет нам нашу зависимость от тех предметов, которые мы называем пищею и которые, будучи поглощаемы нами, входят в состав нашего организма, то есть делаются нашим *я*.

Повидимому, в наше время должно казаться странным приводить доказательства в пользу того, что те или другие особенности, свойства и проявления деятельности того, что называется духом, зависят от принимаемой пищи. Мы знаем, что перемена

пищи, напр., животной на растительную, не только изменяет внешние формы животного, но переменяет и его нравственную сторону, напр., из хищного и дикого делает смирным и ручным. Но, допуская это в низших животных, не хотят видеть того же в деятельности человека, для которого постоянно норовят отвести какое-то особое место. Поэтому приходится до сих пор представлять факты в доказательство мнения, высказанного Форсгером восемьдесят лет назад.

«Овощи, — говорит Молешотт, — будучи употребляемы в пищу одни, весьма недостаточно вознаграждают вещества, израсходованные кровью, чем и объясняется недостаточное питание тканей при исключительном употреблении растительной пищи. От такого рода пищи не только обессиливают мускулы, но терпит и мозг, получая скудное вознаграждение. Этим объясняется нерешительность и малодушие индусов и других тропических народов, питающихся исключительно одними овощами» (стр. 103).

«Мозг, — говорит он перед этим, — не может существовать без жира, содержащего фосфор, который он получает из белка и фибрина крови. Другие основные начала не могут превращаться в фосфор. Отсюда следует, что для питания мозга необходимо употреблять в пищу мясо, хлеб, горох и что кушанья, содержащие готовый фосфористый жир, как, например, рыба и яйца, облегчают доставку мозгу этой необходимой для него составной части. Этот фосфорный жир обусловливает развитие, а следовательно, и деятельность мозга. Положение, что без фосфора нет мысли, всегда останется справедливым» (стр. 99—100).

Поэтому люди, принужденные обстоятельствами питаться веществами, содержащими в себе самое ничтожное количество фосфорного жира и белка, например, картофель, составляющий исключительную пищу жителей целых стран, обнаруживают самое вредное влияние на умственные способности таких бедняков. Кроме того, картофель, не доставляя мускулам фибрину, оказывает пагубное влияние и на физическую силу человека, для которого он составляет единственную пищу. Мы видим пример этого на целой стране. Молешотт говорит о ней так:

«Бедная Ирландия! Ее бедность порождает в свою очередь нищету. Ирландия не может победить в борьбе с своим гордым соседом, красивые стада которого свидетельствуют о могуществе своих хозяев. Она не может победить, потому что пища ее народа способна породить не одушевление, а отчаяние. Только одушевлением можно низложить исполина, в жилах которого бежит богатая кровь, обусловливающая его могущество и энергию. Гокинс, перенесший из Америки картофель, конечно, не сделал этим добра ирландцам» (стр. 108—109).

Ежели картофель уничтожил историю Ирландии и обрек ее

на вечную бедность и ничтожество, то другой род пищи обагрил кровью летописи других народов.

«Если вспомнить скоропреходящие страсти, вспыльчивость, ревность и коварство жителей тропических стран, употребляющих в пищу пряности почти наравне с питательными веществами, то никак нельзя примириться с жестокосердием европейцев, которые внесли к себе перец, корицу, гвоздику и мушкатный орех. Если б у нас не было этих приправ к пище, часто приносящих вред и во всяком случае не особенно нужных, — может быть, в истории испанцев, португальцев и голландцев оказалось бы меньше кровавых событий» (стр. 163).

Но если род пищи имел иногда вредное влияние на историю народов, то, с другой стороны, он оказывал иногда и хорошее.

«Сыр, — говорит далее автор, — приготовляют в тех странах, где процветает скотоводство, — следовательно, где молоко получается в излишке. В таких странах не может быть недостатка в мясной пище. Мясо же, как мы уже говорили, производит кровь, обильную всякого рода веществами, нужными для питания организма; такая кровь создает сильные мускулы, развивает благородство чувств и пылкое мужество для защиты свободы. Это дало Иоганну Мюллеру право сказать: «свобода процветает там, где делают сыр» (стр. 151—152).

Если так могущественно влияние пищи на целые народы, то оно должно обнаружиться тем яснее и нагляднее в отдельных личностях. Человек, много работающий физически, подвергается большим расходам своего организма, которые должен пополнять изобильной, питательной пищей, способной вознаградить его потери в крови и мускулах. Иначе он истощается. Расчетливые английские фабриканты знают это и из расчета кормят хорошо своих рабочих. Поэтому, если там целые округи питаются в продолжение многих месяцев крохами, падающими со стола этих богатых Лазарей, то там же встречаются чаще, чем где-нибудь, великолепные образчики физической силы. Человек, работающий умственно, требует того же самого, потому что траты его так же велики и единственная разница между ним и работником состоит в том, что последний напрягает свои мускулы, между тем как первый напрягает мозг. Поэтому ему необходима столь же питательная пища, как и первому. Единственная разница состоит в том, что ему нужна пища более удобоваримая, так как та, которая затрудняет пищеварение, — обусловливает приливы крови к мозгу и, следовательно, нарушает деятельность рабочего органа.

«Пища, состоящая из большого количества стручковых плодов, тяжелого хлеба, жирных мучных кушаний, жирного мяса, способна производить лишь тех скучных и угрюмых, почти всегда худощавых государственных людей, которые до такой степени нечувствительны к радостям жизни и так мрачно смотрят на нее,

что считают тюрьму и розги величайшими двигателями просвещения» (стр. 211).

Только ленивый, тупоумный, ничего не делающий тунеядец может довольствоваться скудной, непитательной пищей. Ленивая, сидячая жизнь требует чрезвычайно мало расходов со стороны его организма, вследствие чего у него не является и потребности вознаграждать их — аппетита. Поэтому, по правилам физиологии, такие люди могли бы довольствоваться картофелем и другими овощами. Но, к сожалению, жизнь сложилась не по правилам физиологии, и притом в то время, когда о физиологии не было и помину. Поэтому на самом деле бывает, что тунеядец имеет возможность обращать деятельность своего мозга на изобретение разных блюд, для поглощения которых прибегает к разным искусственным возбудительным средствам. Но хотя ему и удастся возбудить в себе ложный аппетит, тем не менее пища, принятая им, не входит в состав его организма, который и без того страдает от излишка, а частью скопляется под кожей в виде жира, частью извергается экскрементами, которые, как говорит К. Фогт, высоко ценятся людьми, скупающими их для удобрения полей, сравнительно с экскрементами бедных людей, которые, может быть, съедают менее питательных веществ, чем сколько их извергают богатые тунеядцы. Бедняки же должны, наоборот, довольствоваться самой скудной и малопитательной пищей, которая не в состоянии уравновесить потери их тела. Для предупреждения и устранения, насколько возможно, гибельных последствий такого питания бедняк имеет превосходное средство в алкоголе, т. е. водке, вине и пиве, из которых чаще всего употребляется первая. Алкоголь, вступив в организм, быстро сгорает, на что употребляется значительная часть кислорода, которая бы без него обратилась на те немногие питательные вещества, которые доставила крови бедняка принятая им скудная пища. В присутствии же алкоголя эти вещества сохраняются в организме долее, и, следовательно, организм может ограничиться меньшим количеством пищи.

«Пока не устроили, — говорит Молешотт, — так, чтобы работа давала человеку достаточное питание, не издевайтесь над бедняком, советуя ему отказаться от меньшего блага, когда не можете или не хотите доставить ему большее» (стр. 137).

«Голод — бич рабочего класса в странах, где развита фабричная промышленность. В настоящее время употребление рабочими в пищу стручковых плодов, за недостатком мяса, единственная их утеха. Прекратится же это бедственное положение рабочего только тогда, когда перестанут помогать своим собратьям из состраданья, а признают за каждым человеком право добывать себе потребную пищу трудом» (стр. 207).

Таким образом, работник заменяет алкоголем недостаток пищи. Совершенно с другой целью прибегают к нему и к другим

возбуждающим средствам люди, занятые нравственным трудом. Работнику для исправной деятельности своих мускулов необходима только сытная и питательная пища; других стимулов мускулы не требуют. Мозг же, нуждаясь непременно в пополнении своих составных частей питательными и дающими фосфорный жир веществами, требует иногда других средств для возбуждения своей деятельности. Этому содействуют так называемые возбуждающие вещества, к которым, кроме алкоголя, относятся чай, кофе и пряности.

Поэтому, хотя возбудительные вещества и оказались вредными для целых наций, тем не менее умеренное употребление их драгоценно и ничем не заменимо для человека, работающего мозгом. При этом, смотря по роду занятий, можно выбирать средства для возбуждения деятельности органа мышления. Так, ученый и мыслитель должны избегать вина, сильно возбуждающего воображение, но зато могут с пользою прибегать к кофе, возбуждающему его слабее, и особенно к чаю. Султан Мурад II выказал себя при этом практичнее многих других обскурантов. В Константинополе первые кофейные дома назывались «школами познания». Поэты и философы собирались сюда и под влиянием благодетельного напитка мыслили и говорили свободнее, чем было можно. Обращая внимание на самый корень зла, султан приказал закрыть кофейные. Его пример нашел подражателей в Англии в XVII в.

«Но, — прибавляет к этому рассказу Молешотт, — запрещение только распространяет обычай; оно никогда не переделывает общества. Социальные перевороты не подавляются оружием, потому что вызываются не оружием» (стр. 130).

Итак, физиология требует, чтобы человек принимал столько пищи или, лучше сказать, питательных веществ, сколько организм его утрачивает их. Как вреден недостаток, так и излишек. Кроме того, она требует, чтобы пища была удобоварима и разнообразна. В сущности всякую пищу можно назвать питательной. Репа и картофель, которые мы привыкли считать непитательными, на самом деле питательны точно так, как сахар: то есть содержат в себе вещества, необходимые для нашего организма. Но так как они содержат только часть таких веществ, одно или два, а не все, которые все равно необходимы, то человек не может питаться исключительно, например, сахаром, сколько бы он его ни ел. Поэтому в состав пищи должны входить все вещества, необходимые для питания. Подобным же образом всякую пищу можно назвать возбуждающей, потому что всякая, будучи принята, возбуждает деятельность организма, давая ему новые средства для этого. Но даже та, которую мы по преимуществу называем возбуждающей, даже пряности и вино, при чрезмерном, постоянном употреблении перестает действовать на нас. Точно так же перемена и разнообразие необходимы

во всякой другой пище, что выражается невольным отвращением от того рода ее, который мы едим часто. По той же причине, а также и по другим, нехорошо назначать известные кушанья в известные дни недели. Такое кажущееся разнообразие в сущности опять-таки однообразие. По этому поводу Молешотт говорит следующее:

«Если мертвая правильность вообще свидетельствует об ограниченности понятий человека, то, в свою очередь, такая правильность в смене кушаний развивает в нем филистерский взгляд на жизнь, при котором незаметно, мало-по-малу подавляются свободные стремления духа человеческого. Кто внимательно наблюдает за собой, тот знает, что прогулка, если делать ее в продолжение долгого времени ежедневно в те же самые часы, перестает действовать освежительно. При однообразии пищи происходит то же самое. Уже с давних пор врачи говорят, что временный беспорядок полезен человеческой натуре; с этим положением вполне согласуется и то, что гениальность не терпит в жизни неуклонной регулярности» (стр. 177).

Много зла на свете от того, что общественный быт по самому своему устройству лишает большинство возможности удовлетворять естественным нуждам и требованиям своего организма. Но много также зла и вреда происходит от невежества и предрассудков, препятствующих человеку пользоваться тем немногим. что дает ему его общественное положение.

Так, например, на Востоке до сих пор сохранилось религиозное изуверство, по которому люди обрекают себя на целую жизнь убийственному изнурению своей плоти. Есть секты факиров, дающих обет не есть ничего в продолжение многих лет, кроме тощих и непитательных трав. Фанатикам этим, однакож, не удается безнаказанно переделывать законы природы: они скоро впадают в идиотизм или преждевременно умирают. Мы не думаем также, чтобы чрезмерное изнурение постом не было вредно и среди европейских населений. Исключительное употребление такой пищи, как толокно, квас, лук, кислая капуста и черный хлеб, особенно в жаркие летние месяцы, производит желудочные завалы, воспаление кишек и почти всегда увеличивает итог смертности в бедных классах народа. Замечено, что эпидемии главнейшим образом свирепствуют в жаркие и постные дни. Кроме того, постная пища, поглощаемая в огромном количестве и в то же время скудно питающая организм, производит неблагоприятное влияние на самую деятельность и характер народов. Если картофель отчасти довел Ирландию до ее изумительной пассивности, то, в свою очередь, наше толокно участвовало в развитии апатии русского мужика. Если это произошло вследствие той же причины, как и в Ирландии, т. е. от бедности, то и здесь нужно пенять на невежество, потому что если б ирландцы вместо картофеля питались горохом, возделывание которого, при частых

болезнях, которым подвергается картофель, не затруднительнее, то они были бы умнее, богаче и свободнее.

Теперь, надеюсь, читатели поймут, как важно содержание книги Молешотта, и до какой степени пища, несмотря на свои прозаические свойства, достойна полного внимания самого развитого и умного человека.

СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. ФЕТА

2 части. Издание Солдатенкова. М. 1863.

Теперь обратимся к предмету более нежных свойств, чем пища и химия (1). Предмет этот — г. Фет, т. е. не сам г. Фет, — он вещь, конечно, тоже материальная, — но его стихотворения.

Г. Фет, несмотря на вражду свою с гусями и на распрю о презренном металле с знаменитым работником Семеном (2), — поэт совершенно идеальный. Другие поэты, кого ни возьмите, все-таки более касаются положительных, фактических сторон жизни. Так, например, в древности Ломоносов писал оды на иллюминации и фейерверки, в новейшее время действительный статский советник Ф. И. Тютчев также на разные случаи пел на своей старческой лире. Но Фет уклонялся положительно в своих стихах от практической стороны жизни. То напишет послание к смерти, предмету, так сказать, неосязаемому, даже вовсе не предмету, то к одинокому дубу, то к Италии, то к старым письмам, предмету хотя осязаемому, но утратившему всякое положительное значение, и т. д. (3). Есть даже и такие стихотворения, в которых ровно ничего и ни о чем не говорится.

Например:

Вечер у взморья.

Засверкал огонь зарницы,
На гнезде умолкли птицы,
Тишина леса объемлет,
Не качаясь, колос дремлет,
День бледнеет понемогу,
Вышла жаба на дорогу.
Ночь светлеет и светлеет,
Под луною море млеет;
Различишь прилежным взглядом,
Как две чайки, сидя рядом,
Там на взморье плоскодонном
Спят на камне озаренном.

Почему это стихотворение названо «Вечер у взморья»? С таким же правом его можно было бы назвать «Жаба» или «Две чайки», и ничто не препятствовало бы назвать «Две жабы», «Три жабы», наконец, «Сто жаб».

Есть у г. Фета и такие стихи, в которых, с одной стороны, кажется, что как-будто есть что, а с другой — как-будто ничего нет, кроме рифм и размера.

Давно ль под волшебные звуки
Носились по зале мы с ней,
Теплы были нежные руки,
Теплы были звезды очей.
Вчера пели песнь погребенья,
Без крыши гробница была;
Закрывши глаза, без движенья,
Она под парчею спала.
Я спал. Над постелью моею
Стояла луна мертвецом, —
Под чудные звуки мы с нею
Носились по зале вдвоем.

Последняя строфа плохо может быть согласована человеком, обладающим здравым рассудком, с двумя первыми. Почему же он спал в такую печальную минуту? И как могла стоять луна мертвецом над его постелью? И как, если он спал, а она умерла, могли они носиться по зале? Странный требуется комментарий, вроде тех, какими г. Фет снабдил свой перевод Горация.

Есть у него и такие стихотворения, где хотя и сказано что-то, но такое неподобное, что лучше бы было, если б вовсе не было сказано.

Под небом Франции, среди столицы света,
Где так изменчива народная волна,
Не знаю, отчего грустна душа поэта *
И тайной скорбию душа его полна.
Каким-то чуждым сном весь блеск несется мимо,
Под шум ей грезится иной далекий край...
Так древле дикий скиф средь праздничного Рима
Со вздохом вспоминал свой северный Дунай.
О боже! перед кем везде страданья наши,
Как звезды по небу полночному горят,
Не дай моим устам испить из горькой чаши
Изгнанья мрачного по капле жгучий яд...

Гм! Ведь это опять-таки работник Семен! Воля ваша, — это работник Семен! Ну, Семен, — даже в Париже не давал спокойно уснуть просвещенному скифу. И ведь чего человеку в голову не войдет? Какой-то яд изгнанья выдумал. Видно, что душа поэта (можно читать также: А. Фета) на луне обитает. Украсть рубль, два, ну даже десять, напустить гусей, натравить их на хозяйское добро, на все это Семен покуситься может. Но чтоб насчет вольнодумства... Боже упаси! Что это вам в голову пришло, г. Фет!? Это все оттого, что насмотрелись на «народную волну в столице света». Ну, да ведь на то там и Ваал, а у нас-то!.. Благоразумно вы сделали, что уехали из столицы света в свою наследственную или благоприобретенную. Оно, конечно, и здесь Семен ворует, и гуси тоже воруют, да, по крайней мере, на душе-то мир и благодать. А то не весть что попритчилось (4).

Образованный скиф заезжал и в Италию, но она ему не по-

* Можно также бы было написать вместо поэта прямо: А. Фета.

нравилась, потому что он в ней не нашел скифской березы, и жалуется, что Италия ему солгала *: уверяла, что в ней воздух такой, как в России, а оказалось, что и не похож даже (5). Нельзя не пожалеть, что поэт не заглянул перед отъездом в любой учебник географии и не посмотрел, под каким градусом лежит Италия и какие деревья в ней произрастают. Это бы избавило его от расходов на путешествие.

А то еще г. Фет фокусы разные умеет делать. Я, по крайней мере, не знаю, за что другое можно счесть следующие стихи:

Буря на небе вечернем,
Моря сердитого шум —
Буря на море и думы,
Много мучительных дум, —
Буря на море и думы,
Хор возрастающих дум —
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.

Видите, как хитро: все буря, море да думы, больше и нет ничего. Конечно, такое занятие, как выдумывать такие стихи, ничем не отличается от перебирания пальцами, которому с наслаждением предаются многие купчихи, однако пойди, напиши такую штуку. Не написать вовек. Потому что при этом первое правило: покуда пишешь, решительно ни о чем не думать. Ну, а легко ли это? Впрочем, и в этих стихах есть недостаток, который я советую г. Фету исправить в будущем издании их. А именно стих: Черная туча за тучей заменить следующим: Черная буря за бурей, а то этот стих как-то неприятно рябит и выдается из общего хаоса.

А то есть и такие стихи:

Свеча нагорела. Портреты в тени.
Сидишь прилежно и скромно ты;
Старушке зевнулось — по окнам огни
Прошли в те дальные комнаты.
Никак комара не прогонишь ты прочь,
Поет и к свету все просится;
Взглянуть ты не смеешь на лунную ночь,
Куда душа переносится,
Подкрался, быть может и смотрит в окно,—
Увидит мать — догадается,
Нет, верно у старого клена давно
Стоит в тени, дожидается.

Это стихотворение лучшее, потому что по нем уже решительно хоть шаром покати: нет ни мысли, ни даже рифм и размера. Разве где-нибудь зацепишься за кочковатый стих.

---

* Т. е. собственно не ему, а его сердцу. Но эта хрия превращенная: сердце г. Фета взято вместо целого г. Фета.

Многими красотами изобилуют стихотворения г. Фета. Я упомяну здесь лишь о том, что когда г. Фет присутствует на бале, «то его душа, дыша бывалой жизнью, заранее учится переселяться в чужой восторг» (6); также и о том, что «деревья, какбудто чуя двойную жизнь и как бы вдвойне обвеянные ею, чувствуют родную землю и просятся в небо» (7), и о том, что г. Тургенев спрашивал г. Фета, отчего они оба любят свое отечество, а г. Фет, «встретившись в окрыленной думе с г. Тургеневым», сообщил ему, что оттого, что в Петербурге ночи хороши. Упомяну также о том, что, по мнению г. Фета, г. Тургенев — любовник Юга, «никогда не лелеявшего в своих раскаленных объятиях такой ночи, как петербургская», но зато лелеявшего в них автора «Отцов и детей» (8). Г. Фет сообщает также, что готовит г. Тургеневу «тучного тельца», но не уведомляет, ел ли Иван Сергеич тельца и понравился ли он ему, т. е. не Иван Сергеич тельцу, а наоборот (9). Касательно железных дорог г. Фет утверждает, что это огненный змей (10). Конечно, нет никакого вероятия, чтобы образованный скиф считал локомотив за огненного змея, такой взгляд на локомотив приличен разве гусям г. Фета, а не ему. Поэтому решительно непонятно, почему он в стихах придерживается гусиного миросозерцания. Говорит еще г. Фет своей музе, что ему сладко внимать девственным словам ее.

Могучее твое у ч у я дуновенье.

Слово у ч у я так хорошо, что я предлагаю г. Фету написать целое стихотворение, в котором только чтоб и было, что это слово. В заключение г. Фет высказывает надежду, что

Приснится мне опять весенний, светлый сон
На ложе божески едином *,
И мира юного, покоен, примирен,
Я стану вечным гражданином (11).

Таким образом, г. Фет намеревается быть в некотором роде citoyen'ом. Оно лестно, особенно если при этом Семен за свое негодяйство будет получать возмездие. Тогда можно возлечь под кущею своею гражданином юного мира и самодовольно и уверенно за всякую плутню говорить Семену: «ладно, дескать, вспорют, будешь знать». Приятно. После получения Семеном порки можно сделаться и примиренным гражданином. Вот разве гуси! О, гуси, гуси! Шестнадцать гусей, неповинно пожранных!

Что касается до переводных стихотворений г. Фета, то он бы крайне обязал всю публику, если б сообщил, какой именно сорт чая продается в цыбиках с подобной надписью:

* Стих, требующий комментария.

Башня лежит,
    Все уступы сочтешь.
Только ту башню
    Ничем не сметешь.
Солнце ее
    Не успеет угнать, —
Смотришь, луна
    Положила опять (12).

Занятно, должно быть, видеть китайские стихи. Они и в переводе любопытны, потому что доказывают, что г. Фет мог бы блистать и в числе китайских поэтов, но все-таки в подлиннике, верно, лучше и написано, верно, еще хитрее.

В переводах из Горация всего замечательнее примечания к ним. Большая часть этих примечаний такого рода: «Ахилл — царь мирмидонов»; «Индия и Аравия славились богатствами»; «Диана — помощница в родах»; «Вакх — бог Ф г а л а (?) (13), постоянный спутник Венеры» и т. д. Но некоторые особенно хороши. Например к стиху:

...священному собранью
Отцов ты слово дал быть во-время, когда ж и т. д.

сделано примечание: «отцов народа — патрициев», между тем как для всех ясно, что тут идет речь о сенате. Или еще есть примечание такого рода: «лом для разламывания дверей, факелы для освещения пути или ночных пиршеств и, наконец, лук, в е р о я т н о (или, лучше сказать, в е с ь м а н е в е р о я т н о), для устрашения привратников». Вот логика! Вероятно или весьма невероятно — по мнению г. Фета, одно и то же? Теперь понятно, отчего собственные стихотворения этого пииты не отличаются богатством мысли.

Но довольно о г. Фете, тем более, что, повидимому, он сменил лиру поэта на перо публициста и позабыл лук и Аполлона для гусей и работника Семена с украденной им полтиной. Надоел он мне порядочно, да и читателям, я думаю, тоже.

ГЕЙНЕ И БЕРНЕ

Старый Шлоссер, оканчивая «Историю XVIII и XIX столетий» падением Наполеона, говорит, что он охотно бросает перо, чтобы не описывать смрада и грязи, составляющих историю Европы с 1815 года. Гервинус взялся за это дело. Но при всех достоинствах его труда картина, рисуемая им, далеко не представляет всей пошлости изображаемой им эпохи. В его труде нельзя найти ярких следов времени, губившего все, что было в нем хорошего. Для полного уразумения его необходимо обратиться к живым источникам, к сочинениям тех писателей, которые сами чувствовали могильный холод этого периода, сами страда-

ли от него, и, только читая их, мы можем вполне понять значение этого грустного времени. По Байрону мы можем судить, до какой степени отчаяния мог дойти человек, не испорченный окружающей средой, оставшийся чуждым тогдашнему обществу, не служивший ему, а боровшийся с ним. Гражданин мира, Байрон, должен был делить скорбь всего мира, и поэтому так глубоко отчаяние, звучащее в его голосе. В песнях Барбье мы, напротив, находим горе француза. Мы слышим в них негодование и ярость человека, принадлежащего к нации, для которой реакция была тем страшнее, что наступила после самых радужных дней, разочарование тем горше, что заменяло самые смелые, самые блистательные надежды.

Ни этих дней, ни этих надежд не видала и не питала Германия. Все, что она получила хорошего в года, предшествовавшие реакции, получила от Франции. Франция освободила ее от старых цепей, Франция вывела ее из феодализма и ввела в мир новых идей, выработанных ею во второй половине XVIII века. Но взамен старого деспотизма она дала ей наполеоновских капралов и сбиров вместе с плодами высокого нравственного развития. Поэтому Германия не могла оценить благодеяний, доставшихся ей пополам с палочными ударами и военно-судными комиссиями; естественно, что в таких обстоятельствах усилия благородных людей были направлены против самого крупного и резкого зла, т. е. против французского ига. Здесь нечего рассказывать, каким образом, по свержении его, надежды народов, в том числе и немцев, были обмануты Венским конгрессом. Как бы то ни было, но немцы скоро увидели, что попали из кулька в рогожку.

Вместо одного Даву над Германией тяготели тридцать шесть правителей. Народ был обманут самым постыдным образом. Лучшие люди Германии, как Ян, Геррес, хотя узкие и недальние, но честные, сидели в Кюстрине. Другие, бывшие либеральными в блаженные дни либерализма Фридриха-Вильгельма III, Франца I и др., теперь притихли и присмирели, видя, что ветер переменился. Наступило время конгрессов, торговли народами, Кюстринов и Шпандау, madame Крюденер и кодекса жандармерии Камптца. Среди этой мертвенности филистерство все глубже и глубже въедалось, как золотуха, в кровь и мозг немца и грозило принять гигантские размеры и подавить окончательно все живое, всякое проявление чувства и мысли, всякую истину.

К счастию, филистерство у нас почти совершенно неизвестно; поэтому я считаю нелишним объяснить ужасное значение этого слова, повидимому ничего ужасного в себе не имеющего. Когда человек начнет ставить форму выше содержания, когда он доведет себя до такой черствости, что его шокирует всякое проявление чувства, когда действительная жизнь ему опротивела и он ищет себе идеалов в мертвых отвлеченностях, — он делается фи-

листером. Филистеры бегут от света и истины в трущобы схоластики и формалистики; они ненавидят всякую живую, сильную человеческую страсть, толкуют о положительности, в которой видят величайшую человеческую мудрость и которая есть не что иное, как самый жалкий, мелочной эгоизм улитки. Филистеры — враги всякой крайности и не способны ни на одну. Это бесстрастная золотая середина, это не рыба и не мясо, как говорит Берне, это жалкие улитки, для которых весь мир заключен в их жесткой, вылуженной ими самими раковине, которую они заботливо берегут от ярких лучей истины. Филистерство подразумевает целый строй недостатков, вытекающих из него: мертвая ученость, бюрократизм, формализм, умеренность — вот порождения этой язвы, от которой страдает весь образованный германский мир. Те немногие смешные глупцы, называющие сами себя положительными или практическими людьми, которые попадаются и у нас, суть филистеры. Они считают положительность, филистерство — противоположностью идеализму, и поэтому считают долгом восставать против последнего. Идеалисты с своей стороны впадают в величайшую ошибку, считая их солидарными с реалистами: их сбивает с толку слово положительность, которое эти улитки выдают за свой принцип. Их взаимной брани можно радоваться, видя, как неприятельские полки, не узнав друг друга, дерутся между собой. А они именно не узнают друг друга, не видят, что они одно и то же. Положительность филистеров есть перезрелый плод идеализма. И напрасно идеалисты нападают на филистеров, говорят о какой-то их утилитарности, сухости и т. п. Филистеры сами ни в чем не уступят самым записным идеалистам; они охотники мечтать и дальше мечты боятся итти, потому что действительный мир для их ленивого ума страшен.

Я уже сказал, что подобные люди составляют у нас редкое исключение. У нас и без того слишком много нелепостей, чтобы какое-нибудь частное безобразие могло составлять нашу отличительную черту. В Германии же филистерство составляет главную язву страны. Там оно отравило лучшие соки ее, поглотило лучших ее деятелей. Начиная с самого последнего бурша и восходя до высших ступеней человеческого ума, мы везде встречаем мертвенность, формализм, порожденные филистерством. Последний австрийский, прусский или баварский чиновник, последний бюргер вольного города Франкфурта точно такие же черствые, сухие филистеры, как и ученейшие люди Германии, как члены нынешнего прусского парламента, объявившие, что они надеются, что лет через десять законность восторжествует над Бисмарком, и что они будут ждать этого торжества.

Теперь, конечно, в самой Германии есть много людей, которым смешна эта филистерская борьба либералов с юнкерами или препирание о schwarz-roth-güldene Fahne * (1), но тогда такие

* Черно-красно-золотом знамени. — *Ред.*

явления составляли исключительное свойство жизни германского общества. Политическое положение Европы было самое неблагоприятное развитию народов. Во Франции восстановленная монархия, запятнав себя всеми ужасами **белого терроризма**, тулузской и авиньонской резней, казнями и дружбой с иезуитами, покидала свое место, которое занял Луи-Филипп, «этот, — по выражению Шатобриана, — «sergent de ville», », которому Европа могла плюнуть в лицо». В Испании Фердинанд VII с помощью доблестной французской армии восстановлял инквизицию и вешал Риэго. В Англии, после меттерниховского правления Кэстльри, после казни Тистльвуда с товарищами, велась мелочная и тупоумная с обеих сторон борьба за парламентскую реформу. В Италии свирепствовали Пий VII и Карл-Феликс, а Фердинанд Сицилийский травил народ медведями. Но нигде не было так тяжело жить, как в Германии. Меттерних являлся кровожадным только в Италии; в самой же Германии царство его и ему подобных не скрывалось под видом дикого произвола. Это был произвол мелочной, филистерский, не убивающий одним ударом, а отравляющий медленным ядом общественную жизнь. Произвол этот действовал столько же через писателей вроде Генца, сколько через полицейских агентов. Германия сама чувствовала, что она сидит в душной, мрачной тюрьме. В ее унижении и порабощении принимали участие не только Меттерних и его маленькие креатуры, не только старый, бездушный Франц I и меланхолический Фридрих-Вильгельм, но и все нравственные вожди нации. Везде в других странах умственную жизнь народа теснили, сжимали и втискивали в узкие рамки; в Германии если и уничтожали ее открытой силой, если пропускали сквозь фильтру всякую мысль, то, кроме того, еще искажали нравственный быт филистерскими, бюргерскими, рабскими инсинуациями, в которых принимали участие даже люди, повидимому, мыслящие.

В Европе преследовали мысль, в Германии ее растлевали; в Европе литература была стеснена, в Германии развращена до последней крайности, и не существовало низости доноса или клеветы, которою бы она не опозорила себя. Поэтому француз, испанец, итальянец могли ждать и дождаться лучших времен; для немца не существовало даже надежды на это. Тридцать шесть правительств Германии были тесно связаны между собой общими интересами. Четыре свободных города управлялись и тогда, как и теперь, по законам, существовавшим со времен кулачного права. Каждый из этих правителей старался убедить своих подданных, что они вовсе не немцы, а баварцы, пруссаки, гессенцы, гогенцоллерн-зигмарингенцы, и филистерство поддерживало эти убеждения. Правители и тогда, как и теперь, толковали о баварском, прусском, гессенском, липпе-шаумбургском патриотизме. Правда, в 1813 г. эти же правители охотно соизво-

ляли милостиво выслушивать песни германского патриота Арндта, но когда гроза миновалась, германский патриотизм был удален из литературы, а германские патриоты так же удалены — в Кюстрин и Шпильбер. Впрочем, удалять патриотов было не за что: они ограничивались тем, что проповедывали ненависть к французам даже тогда, когда Наполеон умер, когда войны с Францией никакой не предвиделось, да и вообще из Франции, кроме хорошего, ожидать было нечего. А так как это хорошее было в глазах тогдашних правительств дурным, то им бы следовало по-настоящему поддерживать такое настроение германской патриотической лиры. Но, с другой стороны, всякий раз, когда толки о германском патриотизме переставали быть совершенно заоблачной идеей и отвлеченной мечтой вроде любви соловья к розе, как скоро являлась малейшая попытка придать им мало-мальски действительный смысл, то это было величайшей обидой для всех рудольфштадт-зондерн-гаузенских и гессен-дармштадтских отцов отечества. В их глазах это было бунтом, потому что всякое действительное выражение германского патриотизма направлялось против существования патриотизмов гессен-дармштадтских и рудольфштадт-зондерн-гаузенских, бывших опорою отдельных деспотов. Поэтому, несмотря на всю свою благонамеренность, несчастные ненавистники французов не замедлили раскаяться в своем патриотизме.

За их дело взялись филистеры и состряпали под названием патриотизма такое необыкновенное блюдо, что оно пришлось по вкусу даже взыскательным на этот счет принцам, которые пожаловали филистерам разные почетные титулы тайных, весьма тайных и чрезвычайно тайных советников. Они тоже, подобно истинным патриотам времен войны за освобождение, выражали ненависть к Франции и французам; но только у них это происходило из совершенно иного источника. Те, воюя против Франции, когда иго уже было свергнуто, делали это по ограниченности своего ума, неспособного ни к малейшему развитию; они могли только всю жизнь рассуждать на одну известную тему и рассуждали, не обращая внимания, идут ли их рассуждения к делу или нет; филистеры же ораторствовали против французов вовсе не потому, что когда-то французы угнетали Германию, а потому, что ненавидели те идеи, которые были выработаны французской нацией. Эта литература и процветала в Германии во время Берне, прибавляя к этому существенному своему свойству многие другие, как-то: буквоедство Раумера, королевско-прусскую философию Гегеля и инквизиционную пропаганду против евреев. Впоследствии немецкие князья убедились, что германский патриотизм, которого они прежде так боялись, пропитался тем же филистерством, которое проникло во все закоулки жизни немцев. Убедившись в этом, они стали относиться к этому патриотизму весьма снисходительно, и теперь можно видеть в Германии

цуги патриотов-филистеров, марширующих беспрепятственно по улицам вольного города Франкфурта.

Всякий раз, когда общество достигает такого безобразного положения, когда насилие доходит до такого бесстыдства, как было во время Наполеона и последовавшей за его падением реакции, всякий раз, говорю я, среди этого общества является протест против такого положения дел. Но чтобы протестовать открыто и смело, нужен сильный ум, крепкая воля. Поэтому часто мы видим, что многие люди, сознавшие вполне гадость окружающего, вместо того, чтобы протестовать, стараются спастись, удалиться из среды, которая их возмущает. Мрачная действительность, вызывающая в энергических людях сопротивление, на слабые характеры действует иначе: они бегут от нее, стараются забыть ее, закрыть глаза на все совершающееся и обратиться к воспоминаниям о прошедшем, которое по отдаленности представляется им в розовом цвете и которое они ошибочно надеются возвратить, забывая простую истину, что прошедшего не воротишь. Часто также они заносятся в заоблачные пространства мечтательности, трансцендентализма и мистицизма. Так, например, во время упадка Римской империи люди энергические шли беспрестанно проповедывать новое учение, не боясь ни варваров, ни императорской полиции, ни языческого суда с его пытками и мучениями. Люди же слабые бежали в пустыни, отвращали свои взоры от земли и проводили годы в мистическом самоуглублении или аскетическом умерщвлении плоти. Действительность была для них невыносима, и они вместо того, чтобы стараться изменить ее, отворачивались от нее. Но так как и полное отчаяние равно невозможно для слабых натур, то они, предаваясь мечтам, обращали эти мечты для себя в действительность, старались уверить себя, что если все погибло в мире фактов, то остается еще бесконечный источник жизни и радости в мире отвлеченностей. То же самое повторялось и теперь. Между тем как люди даже очень ограниченные, но твердые и решительные, как Ян, или герои, как Пальм и Гофер, видя зло, старались победить его, люди слабые, как Фихте и Шеллинг, вступали в решительный разлад с действительностью, искали идеалов в средних веках или доходили до полного отрицания действительности.

К несчастию, такое положение Германии продолжалось долго. Поэтому всегда находилось достаточно недовольных им; и всегда эти люди шли вследствие различия характеров по двум разным дорогам: одни действовали, другие убегали действительности. Ограниченные люди в других государствах, приняв за высшее проявление человеческой мудрости то, что на самом деле было уродливым порождением рабства, переселили немецкую философию на свою почву и до сих пор восторгаются ею. Другие ограниченные люди приняли ее за доказательство немецкой тупости и потратили не мало остроумия по этому поводу, не заме-

чая того, что это явление вовсе не принадлежит исключительно Германии, но являлось везде вследствие тех же причин.

Я сказал уже, что одним из отличительных свойств германско-филистерской литературы во время Берне было преследование евреев. Филистеры не считали евреев за людей и подвергали их точно такому же гонению, какому подвергаются райи в Турции. Так, напр., в вольных городах могло быть в одно и то же время не более 4 врачей-евреев; адвокатами евреи вовсе не могли быть, и хотя для получения от них помощи в 1813 г. это последнее правило было отменено, но, воспользовавшись еврейскими деньгами, правительство рассудило, что надуть жидов не грех, и средневековой закон был восстановлен. Но этого филистерам было мало: у них было правило — давать себе отчет во всех поступках, и поэтому они не ограничивались тем, что преследовали евреев; они постоянно старались доказать и самим себе, и евреям, что последние должны быть преследуемы. Поэтому весьма естественно, что самый сильный протест должен был раздаться из среды задавленного и угнетенного еврейского народа, образованный класс которого, принадлежа по всему к Германии, чувствовал на себе, точно клеймо преступления, *первородный* грех своего происхождения. Весьма естественно, что из числа этих униженных и оскорбленных людей вышли самые страшные враги тогдашнего общественного направления. Во главе их стоял Гейне, великого поэтического таланта которого самого по себе достаточно, чтобы обессмертить его имя. Но здесь я хочу рассмотреть его политическое значение, его деятельность и характер. В политическом же отношении у него есть достойный сотрудник и соперник — Людовик Берне, о котором я поговорю подробнее, как о личности, у нас мало известной.

Человек с свободной, энергической душой не мог равнодушно переносить чада, испускаемого филистерами. Но чад этот не мог произвести у него головокружения и омрачить его умственные способности. Гейне и Берне, один по уму и развитию, другой по благородству характера, понимали лучше всех своих современников состояние общества, видели всю пошлость, в которую была погружена безусловно умственная и материальная жизнь Германии. Они чувствовали потребность бороться против этого мрака; но деятельные натуры их нуждались в образе действий быстром и решительном. Они не были способны к медленному, едва осязательному в своих ближайших результатах противодействию злу. Они не могли залезть на многие годы в кабинет, чтобы плодами многолетнего ученого труда, подобно Шлоссеру, содействовать распространению в обществе здравых понятий, искоренению лакейства и филистерства. Поэтому Берне явился публицистом, Гейне — сатириком. Но хотя литературная деятельность их была, таким образом, различна, тем не менее у обоих их есть общая черта, отличающая род оружия, избранный ими для би-

чевания общественных пороков и недостатков. Это оружие был смех, или, как назвали его у нас его противники, свист. Гейне и Берне, хотя один из них был поэт, а другой публицист, сходятся на том, что оба были свистунами (²). Такие люди являлись всегда и везде, когда существовали обстоятельства, подобные тем, которые вызвали деятельность Гейне и Берне. Резкое негодование, выражающееся в укорах и желчной брани, является тогда, когда источник вреда олицетворен, когда прямо можно указать, что такие-то и такие-то люди или такая-то система мешают общественному благосостоянию. Здесь естественно негодовать против таких лиц, мешающих всеобщему благу. Но когда ясно понято, что корень зла находится не в Иване и не в Петре, а в самом обществе, тогда резкие негодующие слова неуместны. Да и невозможно негодовать, понявши, что беда не вне общества, а в нем самом; как же негодовать на целое общество за то, что оно не находится на той степени развития, на которой мне хочется, чтобы оно находилось? Да и вообще негодование требует непременно за собой какое-нибудь лицо или принцип, который бы его возбуждал. А как же можно негодовать на целое общество? Оно слишком абстрактно, чтобы могло вызвать такие конкретные ощущения, как любовь, ненависть, негодование. Это все равно, что негодовать на природу, на стихии. Можно не находить вполне удовлетворительным положение дел, при котором не только обед, но даже жизнь тысячи людей зависит от нескольких дней засухи, и шансы на дальнейшее существование колеблются вместе с барометром, но досадовать на неурожай нелепо. Если придворному интриганту Меттерниху и нескольким наполеоновским лакеям удалось взять в свои руки народ, только-что свергнувший иго военного гения, то, следовательно, этот интригант и эти лакеи были правы; следовательно, пенять на них было не за что, потому что они были таким же неотвратимым злом, как неурожай или чума. Дойти до подобного убеждения крайне тяжело, потому что оно убивает всякую надежду на возможность дожить до чего-нибудь лучшего. Если бы Меттернихи держались сами собой, как, напр., Франциск Бурбон, тогда можно бы было быть покойным: такие господа слишком ничтожны, чтобы держаться собственной тяжестью. Но когда ясно, что их поддерживает общество, тогда дело изменяется. Тут уж Меттернихи ни при чем; если б даже они сгинули, то общество, поддержавшее их, вытащило бы из своей среды других и посадило бы на их место. Произошла бы только перемена имен. Тут возможность лучшего времени зависит уже от развития общества, которое, к сожалению, развивается гораздо дольше, чем сколько продолжается человеческая жизнь. Сознание этой грустной истины видно во всех сочинениях разбираемых писателей. Оно превосходно выражено Гейне, который говорит о Эрнсте-Аугустусе Ганноверском:

Idyllisch sicher haust er hier,
Denn besser, als alle Trabanten,
Beschützet ihn der mangelnde Muth
Von unseren lieben Bekannten*.

То же ясно выражено и у Берне. Вот что писал он, узнав, что гессенцы после октроированного им подобия конституции, выпрягли лошадей из кареты курфюрста и возили его на себе: «Мы не волы, — у волов есть рога; мы — овцы, глупыя овцы». После происходивших в Лионе ужасов, где рассвирепелые Нероны буржуазии производили убийства, перед которыми действия Фуше там же во время великой революции могут служить образцом кротости, лионский префект писал по случаю прибытия герцога орлеанского: «c'est l'arc-en-ciel, qui annonce la fin de l'orage»** «Для Берлина, — говорил Берне, — это было слишком фамильярно и революционно». Немец сказал бы: «всемилостивейше соизволили быть радугою».

По поводу Штейна, Герреса и Арндта и всего Тугендбунда(3), допустившего наклеить себе нос, Берне говорил, что «всякий имеет право быть глупым, но немцы злоупотребляют этим правом». При начале незначительного волнения в Ганновере он писал, советуя тамошним жителям начать с того, чем кончат, т. е. распрячь лошадей у кареты Эрнста-Аугустуса и прокатить его на себе.

Такой свист, высказывающий ярко и убийственно пошлость и безобразие тех, которые, стоя в луже, уверяют, что это вовсе не лужа, а в некотором роде семирамидин сад, есть самый приличный образ действия против общественных пороков. Но из того, что этот свист блистает остроумием и веселостью, как, напр., «Германия» Гейне, вовсе не следует, чтобы человек, действующий таким образом, находил только забавною окружающую его тину. Ведь он живет среди этой тины, она лезет ему в нос, рот и уши, он задыхается от нее; поэтому понятно, что у него горько и тяжело на сердце и что в нем зарождается злоба, если не к целому обществу — это невозможно, то к тем из него, которые попадаются ему на глаза. Он может, весело свистя и заставляя хохотать читателя, в душе скорбеть и негодовать. Всякий, кто читал Гейне, знает это; всякий видит слезы горя и отчаяния сквозь веселую его иронию. Стихи его, особенно «Германия», напоминают то странное чувство, когда человек, мучимый горем, находит убийственное наслаждение разбереживать свою рану. Иног-

---

* Он пасторально-спокойно живет
В этих своих хоромах.
Не в куртках дело, а мужества нет
У наших милых знакомых.

«Германия». Перевод Ю. Н. Тынянова. — *Ред.*

** Это радуга, предвещающая конец бури. — *Ред.*

да кажется, что поэт близок к отчаянию; предчувствуешь, что сильный боец за свободу умрет заживо для всего действительного. Это предчувствие является каждый раз, когда видишь его страстные обращения к Наполеону, которого солдатская бесчувственность и буржуазное тщеславие казались юпитерским бесстрастием и гениальным славолюбием возле маленькой фигуры Фридриха-Вильгельма III и мелочности Меттерниха. Окруженный филистерством, прусской шагистикой и торгашами вольных городов, Гейне готов был итти даже навстречу порабощению Германии, если только оно отдавало политиканов и барышников в железные лапы князя Экмюлзского. Гейне восклицал:

Komme du bald, o Kaiser!*

И в этом восклицании слышится как-будто крик утопающего, хватающегося за соломинку, даже хуже — за призрак. Если бы настоящее не было так возмутительно, что заставляло желать какой угодно перемены, то ум Гейне мог бы показать ему, как мало заслуживает поклонения его любимый герой. Он бы увидел, что не князей гнетет император, что князья поделались королями, что они обратились в слуг, исполняющих волю императора, а жертвы остались те же: Гоферы и Пальмы. Он узнал бы, что император только усиливает власть своих вассалов, которые, чувствуя над собой сильную руку, с большой беспечностью предаются своему произволу.

Впрочем, как я покажу далее, в характере Гейне преобладала сторона, если не уменьшающая достоинств его произведений, то, по крайней мере, указывающая, что источник их не ограничивался единственно любовью к свободе и презрением к рабству. Поэтому, признавая, что личность Наполеона действительно могла выигрывать в его глазах при сравнении с современниками его, я, однакоже, не хочу этим сказать, что такое счастливое сопоставление было единственной причиной его увлечения Наполеоном. Да и невозможно полагать этого, потому что и для Берне существовало такое же сравнение, однако он не увлекался Наполеоном. Та же причина, о которой я скажу ниже, заставляет заподозривать, что для Гейне окружающее безобразие было отвратительно не потому, чтобы он искренно сочувствовал благу, а просто потому, что оно неприятно поражало его эстетический вкус.

Никак нельзя заподозрить искренность убеждений Берне; это был характер совершенно цельный, высеченный из одного куска гранита, несокрушимого, как его любовь к свободе, как его желание помочь, насколько хватало силы, обществу, как его ненависть к политиканам и филистерам. Он сумел всецело сохранить свое человеческое достоинство, свою свободу среди всеобщего рабства.

---

* Приди скорее, император! — *Ред.*

«Свободный человек, — говорил он, — может быть рабом обстоятельств, но слугою их может быть тот, кто раб по натуре». Он сумел не быть не только слугой, но даже рабом тех самых обстоятельств, перед которыми погибло так много людей, менее одушевленных стремлением к свободе. И ни разу в жизни не изменил он себе, ни разу не пришел в совершенное отчаяние. Даже тогда, когда конституционализм уронил себя в глазах всех честных людей, даже тогда, когда Берне и людям его образа мыслей пришлось расстаться с надеждой на лучшие времена, даже в этих тяжелых обстоятельствах он остался верен себе. Он писал, что готов бы был теперь кричать «ура» и бросать вверх шапку, если б возвратился Карл X, но этим он вовсе не хотел сказать того, что выражают слова Гейне:

Komme du bald, o Kaiser!

Гейне, говоря таким образом, действительно пламенно желал возвращения поэтического в отдалении императора; Берне же только выражал этим свое презрение и отвращение к политическим торгашам.

Нет никакого сомнения, что Гейне был гораздо более опасным врагом, чем Берне. Насмешка Гейне убивала навсегда, оставляя за собой неизгладимое клеймо. От нее было больно даже таким лбам, которые, подобно лбам аббата де-Терре, лорда Норта и Фуше, как говорит Шлоссер, никогда не краснели. К числу таких лбов можно отнести и лбы разных Меттернихов, Гарденбергов, Генцов и др., которые на Венском конгрессе достаточно запаслись средствами против всяких свистунов и насмешников. Но, благодаря гению свистуна и его поэтическому таланту, насмешка его сумела обойти полицейские трапы, и Эрнст-Аугустус Ганноверский навсегда останется предметом смеха. Какие бы позы ни придавал ему художник на монументе, который, вероятно, воздвигнут в его честь, он всегда будет представляться потомству в том виде, как изобразил его свистун Гейне, сидящим у камина, и как он:

Kocht höchstselbst ein Lavement
Für seinen kranken Hunde*.

Насмешка Берне, не менее беспощадная, была менее вредна для его врагов, потому что сам Берне был вовсе не бессмертный человек. Но для современников его сочинения имели громадное значение и читались нарасхват. Поэтому маленькие Меттернихи приняли относительно их такое положение, что им стало ясно, что в отечестве для них только и будет скоро одно место — в одной из бесчисленных немецких Бастилий. Дойдя до такого убеж-

* И высочайше изволил греть
Клистиры больным собакам.
«Германия». Пер. Ю. Н. Тынянова. — *Ред.*

дения, они переселились во Францию, где, как еще тогда утверждали немецкие филистеры, царит Ваал. Но они предпочли царство Ваала царству Меттернихов. Как ни тяжело, может быть, было для них изгнание, но нельзя не сознаться, что оно было горем, весьма богатым утешениями. В их отечестве не было ничего, кроме дыма и чада, испускаемого филистерами; хотя, конечно, «и дым отечества нам сладок и приятен», но не думаю, чтобы, по крайней мере, чад-то мог казаться кому-нибудь сладким и приятным. Зато во Франции они находили полную жизнь со всеми ее радостями и тревогами. К тому же тогда Франция только-что приобрела довольно свободные сравнительно учреждения, при которых можно было, по крайней мере, дышать. Всякий в то время, не искалеченный нравственно меттерниховскими фухтелями, смотрел на Францию, как на обетованную землю; поэтому естественно, что Гейне и Берне с уважением смотрели на французов, умевших приобретать себе то, о чем другие не смели и думать, и чуждых пошлости и лакейства, в которые были повергнуты прочие нации. Поэтому только тупость или не находящая других придирок злоба могли упрекать Гейне и Берне за их уважение к Франции. Впрочем, мы уже видели, что и самих-то французов филистеры ненавидели за те идеи, за которые шла во Франции борьба. Понятно, что они еще более ненавидели тех своих соотечественников, которые отделялись от них и начинали думать по-человечески. Впрочем, ненависть их была основательна. Невозможно хуже унизить и опошлить филистеров и выставить в более ярком и вместе с тем комическом свете пороки их, как это делали наши свистуны. «Геттингенские жители, — говорит Гейне, — разделяются на студентов, профессоров, филистеров и скотов; все они немногим отличаются друг от друга. Класс скотов самый значительный. Число филистеров, должно быть, очень велико; их так много, как песку, или, лучше сказать, грязи на дне моря, — и право, когда утром я вижу их стоящими перед дверьми академического правления, с их грязными лицами и длинными счетами в руках, то едва понимаю, как судьба могла натворить стольких бездельников».

«Дурные евреи не хуже дурных христиан, — говорил Берне, которого филистеры немало ругали за то, что он еврей. — Они даже имеют перед вторыми то преимущество, что умнее их. Они яснее понимают вещи и людей, они легко разгадывают лицемерие и поэтому не лицемерят. Они не боятся света, воруют среди белого дня, а ночные воры опаснее. Они вредят из расчета, а не по тупоумию или неловкости. У них есть страсти, но только сильные; они не цепляются за жалкую, нищенскую жизнь, живя которой, не живешь и не умираешь. У них есть кровь или нет ее, но у них нет водянистого сока улиток. Одним словом, они не филистеры. О, горе филистерам! Они убивают и жизнь, и наслаждение. Это не удар ножом в грудь, это жало комара, дово-

дящее человека до отчаяния. Это не горячка, убивающая или нет, это скучный насморк. Это не мороз и не жар, не буря и не ветерок, — это досадная, сырая, холодная осень. Таковы вы, филистеры! Даже ваша добродетель неприятна; самое ваше право досадно. Прошу вас, будьте любезны, воздержитесь от того, чтобы быть скучными, потому что это единственный грех, который не прощается. Но с вами не может быть никакой речи. Вас можно только бить ослиной челюстью; чтобы сговориться с вами, нужно самому сделаться филистером».

Невозможно лучше охарактеризовать филистерство. Чтобы лучше познакомиться с свистом Берне, я приведу еще несколько отзывов его о филистерстве. «Будьте, чем хотите, — писал он, — будьте дурны или хороши, благочестивы или безбожны, мудры или помешаны, но только будьте чем-нибудь! Будьте вином или ключевой водой, но только не будьте тиной, от которой всякого тошнит, только не будьте филистерами!»

Но чтобы окончательно познакомиться с иронией Берне, нужно прочесть в его сочинених «Heringsalat»* ответ берлинскому филистеру Герингу (Виллибальду Алексису), при чем он рассказывает свою родословную и об овациях, которые ему делали филистеры в Берлине за статью его о Зонтаг.

Особенно ярко выступает вражда Берне к филистерству в его взгляде на Гете. Поэтому я намерен сказать об этом подробнее, чтобы представить, с одной стороны, как можно яснее взгляд его на современное общество, а с другой — его полное недоверие авторитетам, даже авторитету великого Гете. Гейне, как поэт, часто увлекался мнимым или действительным величием человека до такой степени, что готов был поклоняться ему, как божеству. Я уже имел случай говорить о его привязанности к величественной издали фигуре французского императора. Не столь сильное, но тем не менее глубокое благоговение внушала увлекающемуся поэту пасторская фигура Гете. Однажды он даже дошел до того, что называл Гете богом Юпитером и говорил, что искал возле него глазами орла. Если бы мы не знали, как безотчетно увлекался поэт не только Гете, но и Наполеоном, то приняли бы слова эти за насмешку. Мы бы могли подумать, что он намекает на государственный герб Пруссии и протестантизма, которому была посвящена деятельность тайного советника фон-Гете. Увлечение не позволяло поэту видеть, какая скрывается протестантско-поповская, деспотически-буржуазная личность за этими проявлениями могучего гения, и, как перед Наполеоном, он падал ниц перед саксен-веймарским обер-гоф-юпитером.

Берне был проницательнее, потому что сам не был олимпийцем. Гейне был товарищем Гете по Олимпу, не саксен-веймарскому только. Берне же был простой смертный. Но взамен гения у него

* Игра слов, основанная на созвучии Hering селедка и Hering (Виллибальд Алексис). Дословно: салат из селедки. —*Ред.*

было сильно развито стремление к свободе, и в какую бы величественную оболочку ни облекалось филистерство и лакейство, он видел его. Никакой туман не застилал его глаз. Будучи сам внутренно свободным человеком, он чуял как бы чутьем душевное рабство какого угодно гения. Он не боялся вступать в бой с самыми закоренелыми понятиями, с самыми грозными авторитетами. Берне приводит следующее письмо, адресованное к нему из Вены.

«Я удивляюсь, что вы так часто говорите мне об этом диком Гете. Человек этот образец испорченности; нужно долго рыться в истории, чтобы найти подобного ему. Глупо говорят: Шиллер и Гете, Вольтер и Руссо. Насколько Руссо выше Шиллера, настолько Гете хуже Вольтера. Гете был всегда слугой деспотов; его сатира благоразумно направлена только против маленьких людей; за большими господами он всегда ухаживает. Этот Гете — рак на германском теле, и что всего хуже, все считают болезнь за высшее здоровье, сажают Мефистофеля на алтарь и называют князем поэтов. Его следует называть поэтом князей».

«Как это все справедливо, — прибавляет от себя Берне; — как это все верно, и как полезно — не скажу распространять подобное мнение, — а распространять храбрость высказывать его. Гете — король своего народа: свергнув его, легко справиться с народом. Этот человек века имеет необыкновенную силу сопротивления, это бельмо на глазу Германии; оно невелико, почти ничтожно, но удалите его, и Германия увидит целый мир, которого доселе не видит. С тех пор, как я чувствую,— я ненавижу Гете; с тех пор как я мыслю, — я знаю, почему я его ненавижу. Можно представить мою радость при встрече в такой нравственной пустыне, как Австрия, с человеком мыслящим и чувствующим, как я».

В этих словах Берне много замечательного; нельзя не удивляться верности его взгляда, что авторитеты стоят целые века не потому, чтобы в самом деле их считали непогрешимыми, а потому только, что недостает храбрости высказывать свое мнение. И вот все от мала до велика повторяют общие места о таких авторитетах, как Гете, Дант, Рафаэль; люди умные и ограниченные, ученые и невежды, развитые и неразвитые, образованные и необразованные, люди самых разных направлений, убеждений, вкусов, — все одинаково восторгаются произведениями Гете, Данта, Рафаэля. И как скоро явится человек, который громко скажет слово против авторитета, то со всех сторон подымутся крики о его невежестве, глупости, непонимании высокого. Закричат даже такие, которые сами считают себя противниками идеи авторитета. Но оказывается, что в идее-то, пожалуй, они готовы звезды с неба хватать, а как дойдет до дела, так горшка из печки вытащить не могут. Против авторитета какого-нибудь Держиморды или Масмана они готовы воевать, но перед Сквозником-Дмуха-

новским или фон-Шиллером — пас. Да не только сами пас, а еще теми же самыми неподобными словами, которыми их обзывают за избиение Держиморды, обзовут того, кто попробует усомниться в добродетели Сквозника-Дмухановского. Поэтому много ли найдется таких отчаянных голов, которые захотят принять на себя все эти нарекания, упреки и брань? И вот многие, хотя в душе убежденные в несправедливости общего мнения, боятся высказывать свои убеждения и присоединяют даже свой голос к общему хору. Поднять же голос против общих понятий, решиться подвергнуться нападкам есть великая заслуга, потому что важно то, что этим самым восстающий человек доказывает возможность сомнения в авторитете, возможность критического взгляда в отношении к нему, возможность борьбы за его непогрешительность. Прежде никто не предполагал этой возможности, все слепо верили или сились себя уверить, чтоб не считать самих себя глупцами; а так как никто себя глупцом не любит считать, то кончали тем, что убеждались. Пример первых храбрецов вызовет громогласное заявление мнения даже робких людей, и пришедший в негодность авторитет будет пошатнут.

Но чтобы возвратиться к взгляду Берне на Гете, я поговорю о его критических отзывах о дневнике Гете и о знаменитой переписке с ним одного ребенка. Быть может, суждения эти односторонни, но о Гете судили и рядили так много, рассматривали его с таких разнообразных точек зрения, что во всяком случае Берне делает честь, что он сумел подметить в сочинениях великого поэта такую сторону, на которую ни до, ни после ничего никто не обращал внимания. Тем важнее и тем любопытнее узнать вполне взгляд Берне, что сторона, подмеченная им, действительно важна для верной оценки человека, который заживо причислен к богам и которому приносят жертвы люди всевозможных оттенков, характеров, партий, убеждений.

Каким жалким филистером является великий Гете с той стороны, с которой смотрит на него Берне. Как ничтожен и односторонен является он, этот мировой гений, видевший во французской революции не более, как повод написать либретто для оперы. О, какой Klein-Cophta!* остается воскликнуть вместе с Берне. По убийственно меткому замечанию Берне, этот мировой гений видел не в придворной всемирную, а в всемирной — придворную историю (с ожерельем составляющую, как известно, предмет „Gross-Cophta“**). Великие вооружения старой Европы против молодой Франции дали ему повод написать несколько эпиграмм! Присутствуя при осаде Майнца, он ничего не находит более важного отметить в своем дневнике, как то, что он упражнялся в гекзаметрах! Величественный ход революции, полной потрясающих событий, ее кровавые и радужные дни он передает

* Малый Кофта! — *Ред.*

** Великий Кофта. — *Ред.*

своим веймарским господам в виде истории с горшком молока и разбитым носом графского ребенка! («Bürgergeneral und die Aufgeregten» *).

Мировой гений, творец Фауста, порицает Фихте за то, что он толкует о вещах, про которые должно молчать! Этого мало: он требовал усиления строгости цензурных правил! Но всего этого еще, может быть, недостаточно? Если так, то стоит заглянуть в его сочинения, особенно стихи, и станет ясно, как день, что всем им недостает следующего общего эпиграфа, взятого из его же дневника: «Присутствие в Карлсбаде ее величества, императрицы австрийской, вызвало некоторые приятные обязанности, и несколько мелких стихов развились в тишине».

Таков этот гений, этот творец дьявола и рая, этот певец чистейшей любви и вечной ненависти; таков этот филистер, поставщик комедий и стихов. Но нет! «Филистеры тем именно и отличаются,— говорит Берне,— что их обидеть нельзя». Чем ни называй их, они знают это про себя и думают, что это-то и хорошо. Название лакея всякому не филистеру обидно, но филистеры сами готовы назвать себя этим именем. И не только те несчастные глупцы, которых видел Гейне у дверей геттингенского академического правления, но и сам великий филистер Гете, говоря про то, каким образом его герцог, принимая князя Турн-и-Таксиса, изображал символ власти, прибавляет: «при чем мы, слуги, были в приличных обстоятельству мундирах и занимали места по рангам». Это мне напоминает свидание Гете с другим гейневским героем — Наполеоном — во время пребывания последнего в Эрфурте. Гете добивался чести быть представленным императору и после долгих хлопот был представлен Талейраном: «Великогерцогский саксен-веймарский обер-гоф и т. д., очень тайный советник и кавалер фон-Гете».

— А! так это вы, господин Гете? Вы, кажется, при театре служите? Я привез с собой Тальму, так нельзя ли, чтоб ваши актеры в три дня разучили расиновскую драму?

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

Не правда ли, хороши оба: и гений-солдат, и гений-лакей?

Разбирая переписку Бетины с Гете, Берне взял как нельзя удачнее в эпиграф эти стихи самого Гете:

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des geängsteten?**

---

* Генерал третьего сословия и восставшие. — *Ред.*

** Мне чтить тебя? За что?
Усладил ли ты скорби
Утомленного?
Осушил ли ты слезы
Огорченного?
(Гете. «Прометей». Пер. К. Бальмонта. — *Ред.*).

И здесь опять является нам та же холодная, черствая фигура, то же филистерство, то же лакейство. На эти наивные восторги светлого, свободного, любящего существа чем отвечал творец Маргариты? Как принимал он ее поклонение? Ее поэтическую прозу он сам перекладывал в сухие, черствые, как он сам, стихи, делал из нее дифирамб самому себе. В ее поклонении он видел должное, он принимал его, как Далай-Лама; он не только, как бог, бесстрастно принимал фимиам, он сходил с своего престола и вместе с Бетиной поклонялся себе.

Но Берне рассматривал Гете, кроме того, с другой еще стороны: он видел в нем представителя протестантизма. «Что, — говорит он, — делало Гете, великого поэта, ничтожнейшим человеком? Что вплетало хмель и петрушку в его лавровый венок? Что надевало ночной колпак на его почтенное чело? Что делало его рабом отношений, трусливым филистером, провинциалом? — Он был протестант, и его семейство имело право голоса в городском совете. Ему было уже шестьдесят лет, он был на верху славы, и облака у ног его загораживали его от мелких страстей жителей долины: в это время он узнал, что франкфуртские евреи требуют человеческих прав, — и рассердился».

Под протестантизмом же Берне понимал все или почти все зло, которое находил в Германии. В этом отношении взгляд его на реформацию имеет большой интерес, во-первых, по своей самостоятельности и оригинальности, а во-вторых, потому, что, познакомившись с ним, мы еще более поймем его взгляд на Гете и причину той глубокой ненависти, которую он к нему питал. Я не стану здесь подтверждать или опровергать взгляд Берне на реформацию и протестантизм, так как это не относится к предмету настоящей статьи. Здесь важно знать, как смотрел на это Берне, а вовсе не то, насколько истины заключает в себе такое воззрение. Но нельзя не заметить, что с его стороны было доказательством большого гражданского мужества то, что он решался печатно выражать суждения, с которыми, в его время по крайней мере, никто не мог согласиться.

Нужно было иметь много храбрости и решительности, чтобы сказать в глаза немецким протестантским патриотам и ученым, что их пресловутой реформации Германия обязана своим филистерством. Протестанты-патриоты, боявшиеся в политике малейшей тени конституции, приходили в наивный ужас, когда свистун Берне, для которого не было ничего заветного, осмелился заподозрить благодетельность реформации, этой конституции, данной церковью Северу. Политические конституции отличаются тем, что, несмотря на явные противоречия в своей сущности, находят за себя много горячих приверженцев, удовлетворяя желаниям более значительного меньшинства, чем абсолютизм, и поэтому пускают глубокие корни в нации, к которой привились довольно рано. Эта же церковная конституция, состоящая, подоб-

но политическим, из самых вопиющих противоречий, так что, право, нельзя обвинять католиков в ненависти к протестантизму, потому что ничего не может быть возмутительнее непоследовательности, эта церковная конституция, говорю я, совершенно исказила умственную жизнь Германии и породила те явления в ней, о которых я говорил. Она ограничила самую существенную часть католицизма: все возвышенное, идеальное, поэтическое, — но, само собой разумеется, не коснулась его сущности, основанной на дуализме и идеализме. Через это она сделалась золотой серединой, филистерством и представляет странное зрелище религии, не имеющей ничего, что бы могло действовать на чувство и воображение. Да протестантизм и нельзя в строгом смысле назвать религией. Ограничивать религии нельзя, как и вообще что бы то ни было: ограниченная религия обращается в филистерство, подобное протестантизму, перестает быть религией, а превращается в какие-то черствые, мертвые принципы, не имеющие никакой связи, кроме искусственной, с человеком. Точно так же нельзя ограничивать и всякое другое понятие; ограниченная свобода не есть свобода, и только русскому литератору может притти в голову сказать, что свобода состоит в стеснении законом. Истинная религия порождала и порождает великих героев, возбуждает людей к высоким подвигам. Протестантизм же, т. е. ограниченная религия, может производить только филистеров, таких же сухих, скучных и черствых, как те принципы, которые заменяют у них религию поэзии, воображения и вдохновения. Само собою, что, находя все это в протестантизме, Берне должен был тем более находить эти недостатки у того, кого считал протестантским папой, —у Гете. У него эти недостатки должны были быть гораздо сильнее и рельефнее, чем у обыкновенных последователей протестантизма, так как он более всех мог считаться представителем последнего.

Полемика, веденная Берне в журнале «Balance»*, который он издавал во Франции и который был запрещен в Германии и поэтому очень популярен, и в его «Парижских письмах», очень интересна. Я постараюсь изложить здесь главные нападки на Берне ученых и неученых филистеров и на блистающие остроумием ответы на них.

Когда двое филистеров спорят друг с другом, то оба они сохраняют олимпийское величие и спокойствие; они не горячатся, доводы их точны, неотразимы, сарказм вежлив, но меток, видна какая-то сила, могущество, придающие им спокойствие. Они не раздражительны, потому что уверены в своем превосходстве; они вежливы, потому что сознают, что главная их сила в логике. Борьба таких филистеров имеет в себе нечто героическое, напоминает осаду Трои, борьбу богов.

---

* Равновесие. — *Ред.*

Совсем не то происходит, если такой гелертер будет иметь несчастие схватиться с свистуном. Уверенность в успехе покидает, на него нападает страх явиться смешным в глазах публики; это бесит и раздражает его; олимпийский тон исчезает и сменяется площадной бранью, идущей crescendo* по мере того, как противник его все более и более поражает его веселым свистом. Доводы гелертер приводит избитые, старые, сто раз уже опровергнутые; но вдохновение покинуло его, ему поневоле приходится пользоваться ими в сто первый раз, так как нового ничего мозг его не в состоянии выдумать. «Свистун!» кричит он визгливо, охрипнув от ругательств, «кривляка!» раздается еще раз его голос, но обрывается и кончается каким-то шипом. А свист раздается все громче и громче, все победнее и победнее. Такое зрелище представляет всегда борьба гелертеров с свистунами. Мы убедимся в этом окончательно, взглянув на полемику Менцеля, Вурма, Мейера и других гелертеров и филистеров с Берне.

«Жалкий, подлый, смешной дурак; лжемудрый крикун, поджигатель, бесстыдный жид, балаганный плясун, кривляка!» кричал хор этих лягушек, сидя в своем берлинском болоте. Подобные усиления встречаются на каждом шагу в ученой полемике ученых немцев против Берне, которого они, между прочим, упрекали в невежестве и в том, что в его сочинениях нет новых идей. Люди эти постоянно прибегали к обвинению своего противника в недостатке учености, не подозревая той грустной для них истины, что человек с умом и сердцем, не заеденными филистерством, может гораздо больше сделать, чем любой гелертер, написавший, как, например, д-р Вебер, всемирную историю в три пуда весом(4). Впрочем, люди эти потому уже обвиняют свистунов в невежестве, что никак не могут себе представить, чтобы человек мог сделаться ученым, не перестав быть человеком. Они правы с своей точки зрения: те из них, которые действительно учены, перестают быть людьми окончательно, делаются профессорами, тайными советниками, редакторами, писателями, но не людьми.

Что касается до того, что филистеры упрекали Берне в недостатке новый идей, то я приведу ответ на это Берне:

«Они требуют новых идей?! Вы требуете новых идей? Но предайте пытке всех ваших профессоров, и если при третьей степени ее они скажут вам хотя одну новую идею, то знайте, что боль вынудила у них ложь, от которой они тотчас же отрекутся, как только вы освободите их».

Мы видели на первых страницах этой статьи, каково было положение Германии, каковы были те порядки, которые защищали гелертеры и против которых восставали свистуны. Итак, когда последние восставали против буквоедства и бюрократизма, про-

* Все время усиливаясь. — *Ред.*

тив тупоумия и лакейства, против деспотизма и гонения на евреев, против тогдашних университетов, — что говорили им в ответ на это защитники всего этого? Они говорили им: вы все разрушаете, а ничего не даете; вы против всего восстаете, а ничего не полагаете взамен. Далее они утверждали, что если Берне ненавидит деспотизм, то это потому, что сам не министр; если он преследует своей насмешкой франкфуртских банкиров, то это потому, что сам не миллионер; если он выражает свое презрение к юнкерам, то потому, что сам не помещик. Видите ли, эти люди даже верить не могут, что можно бескорыстно презирать лакейство и барство. Но так как такими пошлостями не убьешь даже репутацию жалкой бездарности, а не только такого талантливого и умного свистуна, как Берне, так как его насмешки имели успех в публике, а их писания возбуждали презрение, то они старались объяснить это тем, что Берне имеет успех оттого, что льстит массам... Но тут они спохватились, что проговорились. В самом деле, из их же слов выходило, что массы за Берне. Поэтому они стали говорить, что Берне льстит только части масс, а именно молодежи, которой легко вскружить голову беспокойными мечтами о свободе, но что, кроме этих *мальчишек*, свистунам никто не сочувствует, что свистуны хотят переделать на свой лад народ, но народ знать их не хочет. Тут явилась к этим *мальчишкам* страшная старческая злоба против молодого, злоба умирающего скупца к наследнику, злоба мертвечины против жизни. Однако начальство внушило старцам, что нельзя же показывать, что все молодое за Берне. Поэтому стали говорить, что Берне имеет успех у *праздной* молодежи или у молодежи, желающей лениться; далее, что им восхищается только уже *несколько* мальчишек, и дело, кажется, кончилось тем, что им восхищаются только *трое* мальчишек, да и то все трое *золотушных*. Этого мало: филистеры говорили из Германии Берне, жившему в Париже, что он кривляется, как балаганный плясун, запрятавшись в безопасное убежище. Хитрецы! Они думали разжечь в нем самолюбие, выманить его из позиции и завлечь в волчью яму — вольный город Франкфурт. Психологи! Они так изучили человеческую душу по аналогии с той грязью, которая у них занимала место души, что воображали, что он поддастся на эту удочку. Или, может быть, они чистосердечно считали его в безопасности — в тогдашней Франции, а себя в опасности — в Германии. Это было бы, конечно, справедливо, но это было бы не цензурно, следовательно, они не могли этого полагать.

После всего сказанного мной о деятельности, характере и направлении двух гениальных евреев, бывших почти единственными противниками мертвящего направления, господствовавшего в германском обществе, должно показаться странным, что эти два человека, имевшие между собой столько общего, были врагами. Но странным это не будет казаться, если мы познакомимся луч-

ше с личностями обоих свистунов, оставив в стороне их литературную деятельность, и постараемся понять, что за человек был каждый из них. Тогда мы увидим, что действительно между ними не могло быть ничего, кроме личной неприязни. Как ни высоки были литературные достоинства Гейне, но я уже старался показать, что сочинения его имеют также большое политическое значение. Что касается до Берне, то значение его произведений, хотя также занимающих довольно видное место в немецкой литературе, ограничивается исключительно политикой. В этом вполне отразился их автор. Для него не существовало положительно других интересов, кроме политических. За это, пожалуй, его можно упрекнуть в односторонности, но должно сознаться, что именно этой односторонности обязан он тем влиянием, которое имел на немецкое общество, и что без нее его заслуга была бы несравненно меньше.

Из всего этого прямо вытекает то следствие, что Гейне и Берне не могли ограничивать свой взаимный взгляд друг на друга литературными вопросами. Оба они смотрели друг на друга с политической точки зрения и при этом необходимо вносили в свое воззрение личности, которые можно обойти, рассматривая литературное значение человека, но которые становятся на первом плане, когда идет речь о его политическом значении.

Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть, например, разбор Берне «Германии» Гейне, в котором каждая строчка дышит личной злобой, мешающей рецензенту не только понять достоинство разбираемого сочинения, но даже судить о нем каким бы то ни было образом. Берне вовсе не хочет, да и не может судить о произведении своего врага; для него это произведение служит только поводом высказать свои антипатии и симпатии, и первые, направленные против Гейне, он высказывает с резкостью, которой должны были радоваться филистеры, видя междоусобие своих врагов. Конечно, такая страстность в суждениях составляет капитальный недостаток критической статьи; если мы будем судить Берне, как критика, то должны будем произнести безапелляционный приговор его деятельности; но я уже сказал, что Берне был публицист, поэтому и в критических статьях его не надо искать достоинств строгой и беспристрастной рецензии и хладнокровия критика. На них нужно смотреть, как на прочие его сочинения: видеть в их авторе публициста, принимающего живейшее участие в событиях своего отечества, судящего о лицах с пристрастием человека, осужденного действовать вместе с ними, следовательно, терпеть от их ошибок и пороков. Гейне же был слишком заметною личностью среди Масманов и Герингов, так что Берне уже никак не мог оставаться равнодушен к его личности. Сочинения Гейне имели также слишком много политического значения, чтобы такой человек, как Берне, живший исключительно политической жизнью, мог разбирать их с холодностью

присяжного рецензента. Поэтому он необходимо должен был увлекаться в ту или другую сторону, даже при простом разборе литературных произведений Гейне. Почему же теперь он увлекался им в дурную сторону? Почему он не чувствовал, что деятельность Гейне солидарна с его деятельностью? Понять это, я сказал, можно, только подробно рассмотрев характер обоих свистунов.

Я уже заметил, что Берне был односторонен, что вне политических вопросов для него не существовало никаких интересов. Вся литература, все науки, все люди, с которыми он сходился, все, что он когда-нибудь видел или слышал, все искусства, живопись, музыка, театр, — все это интересовало его настолько, насколько имело в себе политического значения. Я сказал также, что этой односторонности обязан он заслугами своими и своим влиянием на германское общество. Я постараюсь теперь доказать это, если только это нуждается в доказательствах, потому что, по моему мнению, всякому должно быть понятно, что если человек предан исключительно одному делу, то он успеет гораздо более, чем если б он имел при этом другие равносильные интересы. Подобная односторонность, вне этого главного дела, конечно, может мешать человеку вполне ясно понимать лица, факты и предметы. Но в то же время она свидетельствует о высоком нравственном развитии, потому что только высоко развитый человек может быть вполне предан до самоотвержения какому-нибудь общественному делу. Она показывает, что принципы и убеждения, заявляемые этим человеком, не похожи на сухие правила, которым поклоняются филистеры, но проникли в глубину души его, сроднились с ним, сделались его сущностью, что возможно опять-таки только при высоком развитии. Берне принадлежал к числу тех людей, из которых являлись мученики всех религий и убеждений. Только при такой односторонности, фанатизме понятий, при такой отчужденности от всего, что не входит в круг заветных убеждений, возможна решимость и энергия, ведущие к мученичеству. Такой характер в крайнем развитии своем ведет к факирству и аскетизму, а в умеренной степени и в присутствии ясного, развитого ума произведет героев, Муциев Сцевол, св. Бонифациев. Конечно, такой характер в обществе иногда тяжел и скучен; общество не может понять такой стойкости убеждений; но именно такие характеры способны производить чудеса, совершать удивительные подвиги и, не дрогнув, встречать пытки и казнь. Зато они сами непременно отличаются крайней нетерпимостью. Да терпимость и невозможна при их фанатической односторонности. Она бы была у них непоследовательностью. Таков был Берне. Посмотрим теперь на характер Гейне и тогда окончательно увидим, что между ними не могло быть ничего, кроме вражды.

И Гейне, подобно Берне, был политическим деятелем. Все его сочинения, кроме всех своих прочих достоинств, обладают

еще политическим значением. Иначе и не могло быть: Гейне был слишком умен, слишком страстен, чтобы смотреть равнодушно на окружающую его гниль. Он не мог, подобно другим поэтам, игнорировать эту гниль и странствовать воображением по парнасам и олимпам. Это было бы тем же филистерством, пошлостью, но даже Берне, обвинявший Гейне во всевозможных низостях, не упрекнул его в филистерстве. Гейне был живой человек, а не ходячий труп, поэтому он не мог жить в тисках и без воздуха. Кроме того, эстетическое чувство его было оскорбляемо на каждом шагу окружавшим его умственным безобразием и уродством. На этом основании его произведения представляют собою протест против этого стеснения, отвращение от этого безобразия. Но у него политическая деятельность не стояла на первом плане. Если я назвал Берне односторонним, то нельзя не сказать, что Гейне может служить образцом всестороннего развития. Он был столько же литератор, художник, мыслитель, даже светский человек, сколько политический деятель. При таком обширном круге деятельности он не мог посвятить себя какой-нибудь специальной стороне ее. На всех поприщах он был дилетантом и не мог ничему предаваться так безусловно и так страстно, как Берне.

Но главная особенность его, набрасывающая тень на все его произведения и приведшая его к грустному концу, состояла в том, что он принадлежал к числу художественных натур. Я уже намекал на это, говоря о его пристрастии к Наполеону и Гете. Многое в сочинениях его, что, благодаря художественности выражения, в наших глазах служит ясным доказательством истинного, неподдельного чувства, представляет нам Гейне ревностным поклонником свободы, врагом всякого гнета и другом угнетенных, — в сущности есть не что иное, как чистое искусство. Для нас, конечно, все равно, сочувствовал ли Гейне свободе искренно или нет; когда мы читаем и увлекаемся его произведениями, то нам дела нет, были ли чувства, выражаемые в них, таким же преобладающим свойством его характера, как характера Берне, или он не чувствовал всего того, что выражал. Но для современника, знавшего его лично, это было не все равно. Мы, например, не современники Пушкина, однако не можем серьезно относиться к его шалостям вроде «Оды к свободе»; иностранец, для которого личность Пушкина сама по себе совершенно неизвестна, удивится такому взгляду на произведение, которое может на него произвести сильное впечатление. Мы бы тоже, может быть, испытали это впечатление, но нам мешает чувствовать его другое впечатление, впечатление всего того, что мы знаем о личности поэта. Оно приходит нам на память при чтении «Оды к свободе», и мы можем только презрительно улыбаться, читая ее. Я этим вовсе не хочу сделать какого бы то ни было сравнения между Гейне и Пушкиным. Между ними такая же разница, как между «Германией» Гейне и, например, «Бахчисарайским фонта-

ном» Пушкина. Гейне был высоко развитой человек и очень умный; эти качества заставляют нас все-таки уважать его, и мы не можем все-таки считать все говоренное им выражением чистого искусства, потому что многое должны мы отнести на счет ума и развития. Достаточно указать хоть на черту, подмеченную в германском поэте покойным Добролюбовым, — это уважение к свободному выбору женщины, здравое, развитое понимание любовных отношений (5). Нет никакого сомнения, что взгляд, выраженный Гейне на этот предмет, отделяется целою пропастью от воззрения на то же самое Пушкина. Но я хочу сказать, что если мы, живущие двумя поколениями позже Пушкина, не в состоянии отделаться при оценке его произведений от впечатления, производимого его личностью, то тем сильнее было это впечатление для современников его. Точно так же и Берне должен был судить о Гейне. Он не только читал его произведения, но и знал его лично. Человека с таким односторонним развитием, как Берне, не мог не поразить контраст между писателем и его творениями. Берне, видя, что Гейне, демократ в своих сочинениях, на деле чуждается мужицкого общества и морщится от кнастера, почувствовал величайшую ненависть к этому дилетанту демократизма. Он стал смотреть с этой точки зрения на его сочинения, а так как Гейне никогда не заявлял, что кнастер пахнет лучше ландышей, и осмеливался говорить, что народ глуп и груб, то для Берне это было ясным доказательством измены Гейне; он даже не побоялся высказать, что Гейне подкуплен баварским правительством. С своей точки зрения он был совершенно прав; судить иначе он не мог. С другой стороны, и Гейне нельзя обвинять за то, что ему казался скучным и антипатичным Берне. Он тоже не мог смотреть на него иначе. Я порицаю Гейне только за то, что он с своим умом не понял характера Берне; если б он понял его, то увидел бы, что вся причина их вражды состоит в том, что они современники и действуют вместе за одно и то же дело. Последняя причина, т. е. сходство их деятельности, была бы поводом к тому, что не будь они современниками, тот из них, который бы жил позднее, любил и уважал того, который шел впереди по тому же пути. Если б Гейне все это понял, он простил бы Берне его односторонность и даже его нападки на себя и не написал бы по смерти Берне той жалкой книги против него, которая пережевывает нападки на него их общих врагов.

Из всего сказанного, кажется, следует, что Берне был односторонним фанатиком, а Гейне в некотором роде украшением рода человеческого. Но если мы проследим далее деятельность их, то окажется, что бывают общественные положения, при которых такие блистательные, всесторонне развитые личности, как Гейне, не только не приносят ни малейшей пользы украшаемому ими обществу, но, к общему изумлению, начинают сами поддаваться влиянию этого общества и кончают тем, что стремглав летят с

своего пьедестала и падают в самую грязную яму, падают даже ниже общественного уровня. Ничего подобного этому приключению не случается с людьми такого закала, как Берне. Они до конца стоят крепко и несокрушимо на своей позиции, и никакие силы не способны выбить их из нее. Единственное, что может с ними случиться, это то, что общество обгонит их. Тогда они из полезных членов общества обращаются в самых вредных и с тем же упорством и несокрушимой энергией проповедуют реакцию, как прежде проповедывали движение вперед. Но, к счастью, подобное несчастие бывает с этими людьми редко, и большей частью они не доживают до осуществления своих идеалов, подобно Берне, умершему в 1837 г., т. е. за одиннадцать лет до того времени, когда, казалось, начали осуществляться его pia desideria*.

Не таков был конец Гейне. Если судить с отвлеченной точки зрения об этом конце, то нельзя не сознаться, что Берне превосходно знал его характер и был вполне прав, ненавидя его. Я уже сказал выше, что по временам, читая восторги Гейне перед Наполеоном, предчувствуешь, что он умрет для всего живого. Хотя, конечно, как я уже доказал, эти восторги понятны при взгляде на положение германского общества, но зная также, насколько натура Гейне была художественна, нельзя не заподозрить, не имело ли увлечение императором в своем основании эту особенность гейневского характера. Я не знаю почему, но только буржуазно-солдатская фигура Наполеона вдохновляла даже поэтов таких стран, которые к Наполеону столько же относятся, сколько к Батыю, и вдохновляла притом весьма выгодно для императора. Из этого я заключаю, что, вероятно, поэты и художники находят в этой фигуре нечто весьма поэтическое. Следовательно, и Гейне, кроме других причин, мог увлекаться маленьким капралом с точки зрения чисто эстетической. Но уже это самое дает право подозревать, что исход умственной деятельности Гейне весьма сомнителен, потому что ни за одну художественную натуру нельзя поручиться, что она завтра же не утащит платка из чужого кармана, не сопьется с круга, не продастся и вообще не сделает какой-нибудь капитальной мерзости. Тем более нельзя поручиться, что художественная натура, воспевшая нынче свободу, не пропоет завтра оду какому-нибудь Меттерничику. Все художники более или менее Яковы Хамы; но при этом я спешу оговориться, что самого Якова Хама, который,

Воспев Гарибальди,
Воспел и Франческо (6),

я не считаю продажным существом. На мой взгляд, такой художник если и не пренебрегает презренным металлом, то все-

* Благие пожелания. — *Ред.*

таки действует не столько из расчета, сколько по вдохновению. Оно, конечно, если к тому же денег дают, то почему не взять. Но тем не менее главную роль играет художественность натуры, смотрящая на вещи не с обыденной, а с художественной точки зрения. Я уже не говорю о таких крупных последствиях художественности характера, как деятельность Нерона или Ивана IV. Про это и говорить-то стоит только для объяснения возможности подобной деятельности. В обыкновенной же жизни, в благоустроенных государствах такого широкого поприща для художественной натуры не представляется. Поэтому она проявляется в различных более тесных рамках. Один, например, вздумает, что ему душно здесь, что он в лес хочет, а его не пускают, и что ему нечем утолить порывы своей натуры, как только очищенной — пьет. Другой вздумает, что он глава в своем доме и что патриархальная семейная жизнь имеет в себе много художественного; поэтому желает наслаждаться ею, — наслаждается: бьет жену, детей, прислугу. Третий вообразит, что его душа ищет любви и сочувствия, и заведет по этому случаю трех содержанок, отказывая жене и детям в необходимом. Художники же проявляют художественность своей натуры тем, что во всякое время готовы, «воспев Гарибальди, воспеть и Франческо».

Кто поручится, в самом деле, что человек, увлекавшийся свободой не в практическом ее смысле, а в художественном, не увлечется через несколько времени иезуитами, тоже рассматривая их с художественной точки зрения? Может быть, и даже не может быть, а наверное, с художественной стороны и иезуиты так же хороши, как и свобода. Ведь находились же художники, способные вдохновляться, наприм., Фридрихом-Вильгельмом и изображать его, удовлетворяя всем правилам искусства. Изображен же, например, в Петербурге князь Кутузов, и даже поза ему дана величественная. А кажется, на что мало пищи для вдохновения представлял собою этот полководец. А нашелся художник, вдохновившийся им, даже не одним им, а и Барклаем де-Толли в придачу. Находит же г. Фет возможность вдохновляться появлением жабы на дороге. Скажите ради бога, почему иезуиты и Меттернихчики могут служить менее источником вдохновения? А если могут, то, значит, нельзя поручиться, что поэт или художник не увлекутся им. За примером далеко незачем ходить: великий наш художник Гоголь представляет разительное доказательство всего сказанного. То же было и с Гейне. Но мне могут возразить, что и Гейне, и Гоголь, прежде чем дошли до идиотизма, расстроили свой организм, что у них умственному расслаблению предшествовало расслабление физическое. На это я отвечу, что самая художественность натур зависит от ненормальности в их организации. Поэтому я вижу только недостаток положительных научных сведений и заменение их отвлеченными бреднями, основанными на дуализме, — слова Прудона, в кото-

рых он говорит о Гейне, что он был типом эгоиста и гордеца и обесславил свои последние минуты самым постыдным отступничеством. Он в самых резких выражениях обвиняет его в обращении к иудаизму и иезуитам, хотя тут же замечает, что он был калекой. Но нельзя не согласиться с Прудоном, когда он утверждает, что отступничество Гейне свидетельствует, что он никогда истинно никого не любил, кроме самого себя, что ему никогда не были близки к сердцу нужды общества и что во всем, что он говорил, видно только искание популярности. Во всем этом рассуждении нельзя согласиться только с последним замечанием. Действительно, Гейне хотя при конце жизни и не обладал прежними умственными способностями, но не был все-таки сумасшедшим. Между тем только помешанный человек может притти к убеждениям, диаметрально противоположным тому, что знал в здоровом состоянии. Если, например, здоровый человек убежден, что земля обращается вокруг солнца, то, только помешавшись, может он подумать противное. Если же умственные способности его только угнетены физическими страданиями, то они могут оказаться значительно слабее прежнего, но совершенно извратиться не могут. Больной человек не будет в состоянии доказать, что земля обращается вокруг солнца, а не наоборот, но самый факт останется у него в памяти, покуда мозг его не окажется совершенно неспособным к воспринятию, хранению и произведению каких бы то ни было идей, другими словами, пока он не впадет в бред и агонию. Следовательно, с такого больного нечего требовать, чтобы он обладал прежней энергией ума, и если при этом он до такой степени неразвит, как, например, Гоголь, то, естественно, он может поддаться доказательствам, которые бы прежде принял с насмешкой. Теперь же он не находит в своем истощенном уме никаких доводов против этих доказательств. Он склонен к страху, к испугу, и поэтому желающим не представляется большого труда завладеть человеком, которого убеждения и прежде основывались не на прочных знаниях, а на здравом смысле, покинувшем его в болезни. О таком человеке остается жалеть, но презирать его или негодовать на него не за что. Естественно, чтобы труп гнил, а больной терял здравый смысл. Но этого нельзя сказать о Гейне: Гейне был слишком умный человек, чтобы поддаться раввинам и иезуитам, покуда мозг его был цел. Он точно так же знал, что такое иудаизм и иезуиты, как и то, что земля обращается вокруг солнца. Что он в болезни поглупел, это так и должно было быть. Но что он обратился к иезуитам, это показывает на другую причину, кроме болезни. Причину эту я показал выше и теперь повторю, что она заключается в художественности гейневской натуры. На этом же основании несправедлив упрек Прудона в том, что будто Гейне искал в прежних своих сочинениях популярности. Ничуть. Как прежде единственно для удовлетворения своему художе-

ственному чувству он воспевал свободу и выражал ненависть к тирании, так теперь, под влиянием какого-нибудь мотива, всего вероятнее болезни, он стал, тоже ради чистого искусства, петь Моисея и Лойолу. Болезнь была здесь не более как причиной непосредственной; например, он не чувствовал в себе прежней силы для побиения пошлости и злобы. Главной же причиной была художественность, потому что, как я доказал, не было никакого повода к тому, чтобы Гейне, как и всякий другой поэт и художник, не начал после свободы петь иезуитов, тем более, что тут не надо было никого ни осмеивать, ни восхвалять, а стоило только отрекаться от своей прошедшей деятельности. Всякая нехудожественная натура сочтет последнее самым трудным и тяжелым делом, на которое может решиться человек; но для художественного характера это очень легко, потому что эта прежняя деятельность не имела основания в заветных убеждениях, а состояла из ряда порывов воображения. Сомневаться в этом решительно невозможно, имея перед глазами пример целой фаланги наших поэтов 20-х, 30-х и 40-х годов, переходивших без всякой часто причины от воспевания одного предмета или идеи к воспеванию других, совершенно противоположных первым (7).

Нехудожественная, резкая, односторонняя до фанатизма натура Берне не допускала ни малейшего отклонения от принятого однажды направления. Результатом этого было то, что, несмотря на превосходство ума и таланта Гейне, он никогда не пользовался такой популярностью, ни таким влиянием, как Берне. Толпы работников сходились слушать речи Берне; в Германии его сочинения, несмотря на полицейские меры, распространялись с необыкновенной быстротой и в огромном количестве. Имя его было знаменем целой партии, и за ним неусыпно наблюдали агенты германских полиций. Правда, после смерти его это значение и эта известность быстро исчезли, а сочинения Гейне имеют право на бессмертие. Поэтому Германия может любить и уважать память Берне, этого героического бойца за ее свободу, и справедливо может восхищаться горькой иронией великого поэта Гейне. Но для современников Берне был гораздо дороже. Его чувства были искренни и святы, он был готов жизнью и имуществом жертвовать за свои убеждения, и ни неудачи, ни болезни последних лет жизни не могли доставить филистерам торжества видеть заблудшую овцу возвращающеюся в их стадо. Человек, с которым больше всего имел Берне общего, был Поль-Луи Курье. Подобно сочинениям последнего, сочинения Берне имеют до сих пор глубокий интерес не столько по остроумию и живости изложения, сколько как материал для полного уразумения той бездонной пропасти лжи и насилия, в которую со времени Венского конгресса была повергнута Европа.

ВЗБАЛАМУЧЕННЫЙ РОМАНИСТ

«Не для образования ума и сердца шестнадцатилетних читательниц и не для услады задорного самолюбия разных слабоголовых юношей» написал г. Писемский свой новый роман «Взбаламученное море». По его словам, он имел в виду «высшую цель»; «пусть, — говорит он, — пусть будущий историк со вниманием и доверием прочтет наше сказание; мы представляем ему верную, хотя и не полную картину нравов нашего времени, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся ее ложь». Вот какой труд принял на себя г. Писемский, и задачу эту он старается разрешить в шести частях своей взбаламученной поэмы. Он сам смотрит на свое новое произведение не как на роман, а как на летопись, анналы, служащие материалом для будущего историка. С этой точки зрения он заставляет нас смотреть на его труд и дает право искать в нем не только так называемой художественной правды, но и правды исторической. Конечно, всякое хорошее художественное произведение, — а хорошим я признаю то, которое не занимается любовью соловья к розе, а обращается к предметам житейским, — всякое хорошее художественное произведение может служить материалом для историка. Но он может пользоваться им совершенно в противоположном смысле тому, как он пользуется летописями. Художник, в произведениях которого верно отразился дух времени, хотя и даст этим историку средства для изучения своей эпохи, но совершенно помимо своей воли. Если современники художника и сам он живут под каким-нибудь внешним насилием, то страдание, негодование, стремление к перемене отражаются в его произведениях; и историк может по ним судить, насколько тяжело было это насилие и как относилось к нему то поколение, которое переживало эту эпоху. При этом от художника нельзя и требовать, чтобы он дал историку факты, представил с исторической точностию события. Если поэт и упоминает о фактах, то историк хорошо сделает, если не будет принимать их в соображение, потому что поэт на то и поэт, чтобы замазывать действительность фантастическим колоритом или, говоря проще, привирать. Поэтому историку достаточно уловить общий характер художественного произведения, в котором хотя и отразилась действительность, но прямых указаний на нее нет. Наоборот, летописец должен верно представлять самые события и лица. Разумеется, это труд не малый, и храбрости г. Писемского делает большую честь то, что он за него взялся.

Известно также и ведомо каждому, что беспристрастие есть именно то свойство, которого недостает всем летописям, особенно когда речь идет об эпохе, современной летописцу; хотя г. Писемский с гордостию вызывает желающих уличить его в неверности изображения, но я замечу ему, что такой вызов показывает в нем

излишнюю самонадеянность, которая до добра не доводит. При такой самоуверенности меня поражает скромность, обнаруживаемая г. Писемским несколькими строками ниже: он говорит, что в «романе своем представил не всю Россию, а только всю ложь ее». Но почитатели г. Писемского легко могут сообразить, что он только скромничает, зная хорошо, что изобразил всю Россию, потому что если он представил всю ложь русского общества, то этим самым показал и всю его истину. Если я говорю, что то-то и то-то ложно в жизни какого-нибудь общества, то этим я в то же время говорю, что все противоположное лжи — истинно. В «Взбаламученном море» так оно и выходит: здесь автор показывает нам как то, что, по его мнению, ложь, так и то, что он считает правдой.

Что же ложно, по мнению г. Писемского, в нашем обществе? Как и в чем является у нас ложь? На что обращает г. Писемский внимание будущего историка и что представляет он ему как зло, т. е. неправду? На это должны ответить нам характеры и свойства лиц, выведенных в романе в качестве представителей разных оттенков русского общества. Более же прямой и краткий ответ нам дает сама истина, облеченная г. Писемским в образ мирового посредника Варегина, который на вопрос: «где корень зла?» — изрекает следующее:

«Да я думаю всего ближе в нравственном гнете, который мы пережили, и в нашем шатком образовании, которое в одних только декорациях состоит, — так что-то такое плавает сверху напоказ! И для меня решительно нет никакой разницы между Ванюшей в «Бригадире», который, желая корчить из себя француза, беспрестанно говорит: „hélas! c'est affreux" *, и нынешним каким-нибудь господином, болтающим о революции...»

Итак, между Ванюшей, современным «Бригадиру», и нынешними Ванюшами нет никакой разницы, по мнению г. Писемского; и, следовательно, тогдашняя и теперешняя ложь — одинаковы. Поэтому, не нарушая хронологии, и роман г. Писемского можно отнести так же к концу прошлого века, как к половине настоящего: ложь его — одинакова. Посмотрим же, как она выразилась в действующих лицах, выведенных на сцену г. Писемским, особенно его герое.

Надо отдать справедливость г. Писемскому: Бакланов его несравненно лучший представитель большей части нашего общества, чем все герои, являвшиеся в романах последнего десятилетия. Обломов, Рудин, Лаврецкий верно представляют разные сорты людей, живших в нашем обществе, но Бакланов есть представитель всего общества. Недостатки и вообще свойства Рудиных и Обломовых хотя, конечно, встречались в обществе весьма часто, и лица эти типичны, но именно дело в том и со-

---

* Ах! это ужасно. — *Ред.*

стоит, что они представляют собой ту или другую характеристическую черту общества, ту или другую сторону его, между тем как в Бакланове видно все общество, со всеми его качествами и свойствами. Он самый верный выразитель той эпохи «нравственного гнета», которая, по свидетельству г. Писемского, к счастию кончилась. Ей он принадлежал по времени и по характеру. Родился он чуть ли не в тот самый год, как она началась, а когда она, как уверяет г. Писемский, кончилась, то ему уже было тридцать лет, то есть тот самый возраст, когда обыкновенно человек перестает развиваться. Хотя г. Писемский в нескольких местах романа называет своего героя человеком умным и образованным, но все это ложь, и соглашаться с этим, разумеется, не надо. Впрочем, я нахожу, что это тем лучше для г. Писемского; будь его герой действительно умный и образованный человек, он бы не был таким типичным представителем современного ему общества. Что касается до его глупости и неразвитости, то это доказывается словами самого же Бакланова. Так, в первой части романа он объясняет теорию электричества следующим образом:

«... При химическом соединении обнаруживается электричество... если теперь искру пропустить сквозь платину, то при соприкосновении ее с воздухом дается пламя».

Во второй части о балете он выражается так:

«... Тут правда, истина, которые одни только имеют законное право существовать» (1).

Далее, приехав в деревню и отправившись к соседям, он услаждает себя помыслами о том, что «я, дескать, сквайр, проприетер. Все это, что ни идет, ни встречается, все это ниже меня. Я могу жить, ничего не делая»... В четвертой части, когда наступила эпоха возрождения (renaissance), он изъявляет намерение пуститься в биржевую игру, потому что «вся образованная Европа играет на бирже». На это г. Писемский говорит читателям, которые бы пожелали упрекнуть за это его героя, что и они не благоразумнее, — тоже накупили акций. Нет никакого сомнения, что в числе читателей «Взбаламученного моря» найдутся господа вроде Бакланова, потому что оттого-то он так и хорош, что таких много. Но спасает ли это обстоятельство вашего героя, г. Писемский, от упрека в глупости? Не видите ли вы, что он глуп? Может ли кто другой, кроме глупца, сказать эти слова: «потому что вся Европа играет на бирже».

Далее, если всего этого мало, он хвастается тем, что в свое время люди, подобные ему, в двадцать лет «уже были влюблены, как коты... любовниц имели... стихи к ним сочиняли». Наконец, как мы увидим, в спорах он жалким образом побивается и своей любовницей, и своей женой, которые, грех сказать, чтобы порох могли выдумать или звезды с неба похватать.

Впрочем, в свое время такой человек, может быть, казался умным: пословица говорит, что на безрыбьи и рак — рыба. Во

времена «нравственного гнета» находились идиоты, как Венявин, которые и перед Баклановыми благоговели, и весьма естественно, что г. Писемский привык считать таких людей за умных и образованных. Ведь Никита Безрылов недалеко ушел от Бакланова... ([2]) Но г. Писемский, ошибаясь в оценке умственных способностей своего героя, не ошибся как художник. Его талант помимо его воли представил Бакланова глупцом, хотя этот глупец и назван человеком умным и образованным.

Как велико нравственное невежество Бакланова, так велика и его внутренняя пустота. Эти две черты его характера г. Писемский не только не отрицает, но тщательно выставляет напоказ. Эту пустоту жизнь не могла наполнить, потому что не дала ничего. Тогда беда была человеку, родившемуся с плохим мозгом: не имея ничего своего, ему неоткуда было взять ничего чужого. Жизнь, развивавшая в немногих энергических и смелых людях эти качества, у людей мелочных и бесхарактерных, каково было большинство и каков его представитель — Бакланов, доводила эти свойства до последней степени ничтожества. Автор следит шаг за шагом жизнь своего героя во времена «нравственного гнета». Мы видим героя сперва студентом. Здесь он кутит, влюбляется, тунеядствует. Он таков, как большинство современной ему молодежи. Они скромны и благонамеренны, потому что и намерений-то никаких не имеют. Они толкуют о любви к прекрасному вообще, а к балету в особенности; мечты их, самые смелые и пылкие, были обращены на достижение крупного чина. Добродушный Венявин говорит герою, который для него идеал совершенства, что его ждут родина и министерский портфель. Высшим вольнодумством считалось произвести какой-нибудь скандал, бросить танцовщице мертвую кошку, побить квартального, напиться до омерзения. Человек, сделавший такую штуку, становился героем дня; о нем разговаривали и толковали: «А знаете ли, такой-то бросил в театре Андреяновой мертвую кошку! Каков молодец?» Животрепещущие вопросы состояли в том, что такого-то актера или такую-то актрису хотят заменить другими. Важнее этого и придумать ничего не могли. Вообще царствовала умилительная патриархальность: какова была молодежь, таковы и руководители ее. Таков, например, был покойный инспектор Московского университета Платон Степанович, который как есть в своем флотском мундире завербован г. Писемским в число действующих лиц романа ([3]). Писемский желает мира его праху на том основании, «что он был добродушным распекателем, а не губителем юношества». Он даже, по словам г. Писемского, не прочь был иметь свои убеждения, но его смущали дома, обитаемые генерал-губернатором и жандармским офицером ([4]). Но г. Писемский упускает из виду, что при том юношестве, которое цвело в его время, никакой надобности в губителях не предстояло. Наставник или надзиратель, подобный

Платону Степановичу, был совершенно удовлетворителен, если даже не делал особенных гадостей. С него достаточно было, если он ругался, как извозчик, и сажал в карцер, потому что странно было бы приставить к семилетним детям какого-нибудь Фуше, если для них совершенно достаточен надзор г. Миллера-Красовского. Таланты Фуше лучше употребить в другом месте, а Миллеру-Красовскому предоставить детей (5).

Проведя таким образом свою юность, Бакланов решается поступить на службу. Конечно, такая среда и такая жизнь при таких умственных способностях не могли развить ни правильного понимания своих отношений к обществу, ни сознания своего достоинства. Слово г р а ж д а н и н считалось почти иностранным и не напоминало ничего, кроме римской истории, так как история французской революции, где могло встретиться это слово, преподавалась слишком вкратце. Поэтому высшее понятие о гражданских обязанностях, которое могло возникнуть тогда в голове Бакланова, состояло в том, что должно хорошо служить, то есть не брать взяток и восставать против явных безобразий, или, как выражались Баклановы, служить не лицам, а обществу. Но даже чтобы исполнить эти обязанности, нужно было иметь энергию и твердость характера, которых в наличности не оказывалось. Я замечу, впрочем, в скобках, что никакое намерение исполнять обязанности гражданина невыполнимо, потому что, во-первых, оно построено на самой отвлеченной и непрактичной идее, а во-вторых, никаких гражданских обязанностей в сущности нет, следовательно, всякие толки о них суть «праздной мысли раздражение» (6). Но Баклановы вообще большие мечтатели и до крайности любят выдумывать для себя разные долги и обязанности, которых, разумеется, никогда и не выполняют. Все это происходит от праздности и оттого, что мозг не занят практическими мыслями, которых неоткуда было взять Баклановым в эпоху «нравственного гнета». От той же причины происходит и то, что, не исполняя изобретенных ими обязанностей, они любят ругать себя за это и действительно так ругают, как самый злейший враг не мог бы их обругать.

Герой романа г. Писемского тоже изобрел себе разные обязанности гражданина и твердо решился не брать взяток и не допускать злоупотреблений. Разумеется, он был слишком ничтожен, чтобы выполнить второе. Он был даже так ничтожен, что не мог выдержать и в первом случае; правда, большое состояние позволяло ему не брать взяток чистоганом, но зато обедами он брал. И это он делал не бессознательно, а вполне понимая, что поступает гадко, даже припомнил «Ябеду» Капниста и, по обычаю своей братьи, скверными словами обозвал себя. Что же касается до сознания своего достоинства, то его не было, так как и сознавать-то нечего было. На крик генерала: «молчать!» — он отвечает: «ваше превосходительство, молчите вы сами». Генерал

ругает его мальчишкой и швыряет в лицо скомканный клок бумаги, а он шепчет ему: «подлец!» Потом, изруганный вконец, он разнюнился, когда генерал пожелал примириться с ним, потому что Бакланов мог порассказать кое-что очень гадкое. Тут даже он не только выказал неспособность защитить от сильного мира свою личность, но показал себя малодушным трусом перед человеком, который был у него в руках, оттого только, что этот человек был генерал. Это уж не только отсутствие сознания своего достоинства, которое, благодаря отеческим «добродушным распеканиям» Платона Степановича, было уничтожено в самой нежной юности, и взамен того приобрелась привычка выслушивать от начальников ругательства, — здесь есть еще раболепие перед внешними признаками власти, перед генеральским чином и звездами.

Я уже не хочу и распространяться насчет отношений Бакланова к женщинам. Кто не читал романа г. Писемского, тот может судить из того, что я сказал о личности Бакланова, каковы должны быть эти отношения. В них он является совершенно диким человеком, несмотря на внешние признаки цивилизации, и во всем равен Ионе Цинику, у которого этих признаков не имеется. В отношении женщин он доходит до всех степеней безобразия, до которых может дойти грязная натура, воспитанная в крепостном праве, чувственность которой ничто не сдерживает, и которая имеет все средства, чтобы удовлетворять своим скотским побуждениям. Быть может, г. Писемского укоряют за то, что он чересчур ясно и подробно изобразил любовные похождения своего героя. Действительно, на свете есть вещи, о которых лучше молчать, и чтение некоторых глав романа производит тошноту. Быть может также, что личность Бакланова не потеряла бы ничего, если б не проникать за кулисы его любовных историй; но не знаю, как бы было тогда, а знаю, что теперь грязное описание скандалов, которое сделает роман, вероятно, весьма популярным между старичками и старыми девами, вполне выкупается той рельефностию, которую оно придает характеру Бакланова.

Теперь посмотрим, что случилось с такой личностью или, лучше сказать, с обществом, состоящим из таких личностей, — потому что, повторяю еще раз, Бакланов есть не отдельное лицо, а тип, в котором совмещаются все Обломовы, Лаврецкие, Рудины и проч. Что случилось с таким обществом, когда, по независящим от него обстоятельствам, наступила эпоха возрождения?

Конечно, возгласы публицистов этой эпохи о ее значении были смешны своим сентиментализмом. Но нельзя также не сказать, что обществу представились на размышление вопросы, о которых оно доселе и не помышляло. Дело в том только, что вопросы эти возникли не в самом обществе, а совершенно вне его, и совершенно некстати будили эти 60 миллионов Баклановых от их сна.

заспанным и растрепанным, им вдруг стали задавать самые хитрые задачи, между тем как до сих пор напрягали все усилия, чтоб сделать их неспособными о чем бы то ни было рассуждать. Из тех самых квартир, которые мешали доброму Платону Степановичу иметь свои убеждения, вышло предписание приобрести оные. Но их не купишь и не займешь, если прежде не было и не было даже возможности иметь. Мы знаем, какую пассивность обнаружили все слои нашего общества при встрече с этими вопросами. Мы знаем, какую полнейшую неспособность издать какой бы то ни было человеческий звук обнаружило дворянство в крестьянском деле. Бакланов, призванный для совещания об этом к предводителю, вел себя так, как вели все прочие Баклановы на всем пространстве России, то есть не мог сказать ни да, ни нет, хотя имел жалкое поползновение сказать — нет. Но хотя герой г. Писемского — дворянин и помещик, тем не менее он может служить представителем и других сословий, потому что они все показали ту же пассивность. Как в крестьянском вопросе, так и в остальных поведение русского общества было таково, каково поведение Бакланова, т. е. неспособность ко всему серьезному и полное равнодушие. Россия, современная Бакланову, была разбита параличом. Все, что Баклановы принимались делать, было запечатлено тем же характером бессилия и апатии; они не могли серьезно взяться ни за что и по тому самому брались за все. Человек, бывший нынче рьяным крепостником и консерватором, в котором непривычный взгляд мог заподозрить опасного и готового на все врага предпринимаемых реформ и поднимаемых вопросов, завтра становился радикалом и красным, а послезавтра ругал и крепостников, и красных. Если б г. Писемский показал нам своего Бакланова несколькими годами раньше, мы могли бы, пожалуй, не поверить ему, обманувшись напускной бодростью и взятой напрокат игривостью, которую обнаруживали тогда Баклановы. Но теперь это невозможно. Теперь мы убедились, что Баклановы сами неспособны ни на что, а по приказу так же способны молчать и не шевелиться, как пылать и пламенеть, оттого что им в сущности все равно — молчать или пламенеть. Они хуже всего боятся, чтобы к ним не приставали с вопросами. Поэтому они, завидя еще издали чиновника или полицейского, спешат стушеваться. Говорить же и делать то или другое — для них все единственно. Мы видели, как они рукоплескали тем же, кого немного спустя готовы были стащить на съезжую. Эта пассивность довела Баклановых до такого нравственного растления, что они остаются индиферентны ко всякой гадости, которая валяется у них перед глазами. Оттого-то теперь мы видим, наконец, что в самом обществе, после всех фраз эпохи возрождения, совершаются дела, неслыханные даже в эпоху «нравственного гнета», благополучно миновавшую, как утверждает г. Писемский. Тогда зло если и прибегало к неблаговид-

ным средствам и орудиям, то, по крайней мере, само стыдилось их. Орудия эти, как ни были низки, но понимали, что бывали поступки, после которых совершившие их делались отщепенцами от общества и скрывались куда-то, бежали дневного света, стыдились встречи с честным человеком. Теперь есть Баклановы, которые не только бодро расхаживают, как ни в чем не бывало, но делаются героями дня, львами общества, протягивают руки к лаврам. В них потеряна не только честность — зло не только победило, но потерян стыд — победа празднуется торжественно.

Но действительно ли хотел г. Писемский нарисовать нам картину общества Баклановых или, как он выражается, изобразить всю ложь России?

Нет, умысел другой тут был. Чтобы понять, что имел в виду г. Писемский в своем романе, нам необходимо взглянуть на другую личность, выставленную на видное место в «Взбаламученном море», на Варегина.

Варегин — современник Бакланова, но человек совершенно других свойств. В романе он изображает собою мудрость и в важных случаях является изрекать разные нравоучительные истины. Сообразно с этой ролью ему приданы почтенные свойства: он умен, учен, благороден и вообще представляет собою лицо, в котором нет лжи, а все от головы до пяток истина.

Его мы рассмотрим подробнее ниже, а теперь заметим, что эта олицетворенная истина представлена единственно затем, чтобы обличить нигилистов, что в особе Варегина соединяются и Никита Безрылов, и сам г. Писемский. Присматриваясь еще ближе, мы находим, что и «Взбаламученное море» написано затем, чтобы нанести окончательное поражение тем мальчишкам, которых журит Варегин, и в этом отношении оно оказывается переложением в шести частях пожарных статей г. Мельникова (7). Только г. Писемский пошел гораздо дальше; он не ограничился одним поползновением вышеупомянутого публициста и К°. У тех, известное дело, желания скромны и цель только та, чтобы кому следует указать на кого следует. Конечно, такая цель весьма практична, и, по словам г. Писемского, такой образ действий может вполне быть назван служением обществу. Вот как изъясняет это г. Писемский. Он представляет нам разговор между полицейским и обличителем проделок откупа. Разговор этот такого рода:

«— Ну, поедемте и вы! — сказал полицмейстер Виктору: — в часть вас свезу. Велите себе принести матрац, что ли; у нас ничего там нет.

— Как в часть? это... это... — говорил Виктор: — это уж подло! — возразил он наконец.

— А пасквили писать благородно? — спросил его полицмейстер.

— Это я писал для пользы общества, — объяснил Басардин.

— А я вас для пользы общества сажаю в часть. Вы так понимаете, а я иначе!

— Это чорт знает что такое! — говорил Басардин, садясь с полицмейстером на пролетку.

— Не чорт знает, а только то, что эта общественная польза — вещь очень условная! — объяснил ему полицмейстер».

Итак, вот каково должно быть служение обществу, по мнению г. Писемского. Но ему такая деятельность показалась чересчур скромной. Видно, он действительно сильно ненавидит молодежь, потому что, подобно г. Страхову, «желает простирать свое осуждение гораздо дальше, чем обыкновенно делается, и хочет коснуться величайших вражеских святынь». С этой целью он представляет нам целый ряд нигилистов, над которыми желает потешиться. Начинает он ab ovo*. Замечая, что большинство нигилистов вышли из семинарий, он, что бы вы думали, изобрел? Читаешь и глазам своим не веришь. В начале четвертой части он перечисляет различные бедствия, удручавшие Россию перед наступлением эпохи ренессанс. В числе этих бедствий он находит одно, о котором доселе никто не помышлял.

«П о с е м и н а р и я м, — говорит он, — ч т о б н е о т с т а т ь о т в е к а, с т а л и у ч и т ь т о л ь к о ч т о н е т а н ц о в а т ь».

Несчастный г. Писемский, что это вы такое сказали?! Поймите и отрекитесь! Зачем вы, злополучный автор «Взбаламученного моря», не прочитали рассказов Помяловского ([8]); для чего, прежде чем писать роман, вы не познакомились с каким-нибудь нигилистом из семинаристов и не разузнали от него, что делается в семинариях?! Вы могли бы даже покривить душой, сказать, что хотите хвалить молодежь, но во всяком случае вам следовало навести справки. Зачем, стократ вопрошаю вас, зачем не разузнали вы хорошенько касательно семинарского образования? А то ведь выходит, по-вашему, что семинарское начальство эпохи «нравственного гнета» виновато в излишнем усердии не отстать от века. Положим, что вы справедливо упрекаете Бакланова и других за «служение модным идейкам». Но помыслите ради бога, можно ли в ненависти к модным идейкам заходить до того, чтобы обвинять даже семинарское начальство в служении им? Чему же это такому непристойному учили в семинариях? Богословие, философия по учебникам XVII века, латинская грамматика, упражнения в слоге: уж не это ли модные идейки, которые творят нигилистов? Скорблю о вас, г. Писемский, хотя понимаю, что именно сбило вас с толку. Вы себе никак не можете представить, почему нигилисты большею частью воспитанники семинарий. В голове вашей происходит построение такого рода: нигилисты выходят из семинарий, следовательно, семинарии — рассадники нигилизма, следовательно, семинарское началь-

---

* С самого начала. — *Ред.*

ство служит модным идейкам и стремится не отстать от века. Вот куда вы хватили с вашей бедной логикой! Но вы, вероятно, сами плохо верите себе; вы знаете, что такое семинарское начальство, и сомневаетесь в верности своего вывода. По крайне мере, в другом месте вы находите другое объяснение явления, поразившего вас. Ваш Варегин объясняет дело таким образом:

«— Он (Проскриптский) человек недурной, — продолжал Варегин, нахмуривая свой большой лоб: — но, разумеется, как и вся их порода, на логические выводы мастер, а уж правды в основании не спрашивай... Мистификаторы по самой натуре своей: с пятнадцатого столетия этим занимаются!..

— Вы думаете? — спросил Бакланов, играя брелоками часов.

— Решительно! У них в крови сидит эта способность надувать самих себя и других разным вздором».

Скорблю еще более о вас, г. Писемский, что вы не из этой же породы; тогда, быть может, и вы бы были способны на логические выводы, а то теперь ведь уж из рук вон плохо.

Ну сами посудите, сперва вы говорили, что беда оттого, что в семинариях чуть не танцовать учили (и почему, бог вас ведает, считаете вы танцовальные уроки за nec plus ultra* человеческого развращения?), а теперь вдруг, так сказать, в глубь веков заходите, в пятнадцатое столетие отправляетесь отыскивать корней нигилизма. Скажите ради всего на свете, при чем тут остаются модные идейки и желание не отстать от века, и даже самые танцовальные уроки, если уж завелась издревле такая зловредная порода людей? Очевидно, что если все модные идейки строго-настрого запретить, обуздать желание не отстать от века, и если б даже повесить всех танцмейстеров, то зло бы не уменьшилось, потому что оно в крови у целой породы млекопитающих.

Указав корень зла (указание, впрочем, бесполезное, потому что как же можно искоренять зло, если оно еще в пятнадцатом столетии засело?), г. Писемский начинает целый ряд грозных или насмешливых филиппик против молодого поколения. Посмотрим на эти упражнения его.

Вот, например, над Проскриптским, который, по мнению г. Писемского, представитель нигилизма, упражняется не сам г. Писемский, а par procuration** Варегин.

«— Что это вы так хлопочете? — проговорил он (Проскриптский) своим обычным дискантом.

Венявин по своему добродушию сейчас же сконфузился.

— Что делать, нельзя! — отвечал он.

— Хлопочет, как и все порядочные люди! — обратился, наконец, Бакланов к Проскриптскому, гордо поднимая голову.

* Высшую степень, предел. — *Ред.*

** По доверенности. — *Ред.*

— Вы бы уж лучше шли в гусары, — обратился тот опять к Венявину.

— А вы думаете, что нас и гусаров одно чувство одушевляет? — перебил его Бакланов.

— У тех оно естественнее, потому что оно чувственность, — возразил Проскриптский.

— Искусством актера, значит, наслаждаться нельзя? — сказал Бакланов.

— Хи, хи, хи, — засмеялся Проскриптский. — Что же такое искусство актера? искусство сделать то, что другие делают, — искусство не быть самим собою, хи, хи, хи...

— В балете даже и этого нет! — возразил Бакланов.

— Балет я еще люблю; в нем, по крайней мере, еще насчет клубнички кое-что есть,—продолжал насмехаться Проскриптский.

— В балете есть грация, которая живет в рафаэлевских Мадоннах, в Венере Милосской, — говорил Бакланов, и голос его дрожал от гнева.

— Хи, хи, хи, — продолжал Проскриптский, — в реториках тоже сказано, что прекрасное разделяется на возвышенное, грациозное, милое и наивное.

— Ну, пошел! — проговорил Бакланов, стараясь придать себе тон пренебрежения. — А, Варегин! — прибавил он, дружелюбно обращаясь к вошедшему, лет двадцати пяти студенту с солидным лицом, с солидной походкой и вообще всею своею фигурою внушающему какое-то почтение к себе.

. . . .

— Здравствуйте! здравствуйте! — говорил между тем Варегин, подавая всем руку. — Здравствуйте уж и вы! — прибавил он, обращаясь к Проскриптскому.

— Здравствуйте-с! — отвечал тот и опять постарался засмеяться.

— В грацию уж не верит! — сказал Бакланов, показывая Варегину головой на Проскриптского.

— Во вздор верит, а в то, что перед глазами, нет! — отвечал Варегин, спокойно усаживаясь на стул.

— Что такое — верить? Я не знаю, что такое верить; или в самом деле вера есть уповаемых вещей извещение, невидимых вещей обличение! хи, хи, хи...

— Мы говорим про веру в мысль, в истину! — подхватил Бакланов.

— А что такое мысль, истина? Что сегодня истина, завтра может быть пустая фраза. Ведь считали же люди землю плоскостью.

— Стало быть, и Коперник врет? — спросил Варегин.

— Вероятно.

— Но как же пророчествуют по астрономическим вычислениям?

— Случайность.

— Случайность, вы полагаете? — произнес протяжно Варегин.

— Вот ведь что досадно! зачем же вы верите в социализм-то, в кисельные берега-то и медовые реки? — говорил он (Бакланов) Проскриптскому.

— Э, верит! разговоры только это, упражнение в диалектике! — подхватил Варегин.

— Что ж такое диалектика? Человечество до сих пор только и занималось, что диалектикой, — подтвердил Проскриптский.

— А железные дороги тоже диалектика? — спросил Варегин.

— Полезная слесарям и инженерам! Хи, хи, хи! — смеялся Проскриптский.

— Но ведь, чорт возьми, они связывают людей, соединяют их! — воскликнул Бакланов.

— А зачем человечеству нужно это? Дикие, живущие в степях американских, конечно, счастливее меня! — возразил как бы с наивностию Проскриптский».

А вот уж тут даже Бакланова г. Писемский уполномочивает сразить представителя нигилизма.

«— То-то! — воскликнул он (Бакланов): — на общину надеетесь! О, молодость неопытная и невинная.

— Община вздор-с! — произнес и помещик.

— Как вздор? — сказал в свою очередь Сабакеев, немало тоже удивленный.

— А так... Евпраксия Алексеевна! — продолжал Бакланов, обращаясь к жене: — нам ваш брат, может быть, не поверит: скажите ему, что наш мужик ничего так не боится — ни медведя, ни чорта, как мира и общины.

— Да, они все желают иметь хоть маленькую, но свою собственность, — подтвердила та.

— Очень дурно, — отвечал Сабакеев, — если наш народ разлюбил и забыл эту форму.

— Да ведь эта-с форма диких племен, поймите вы это! — кричал Бакланов: — но как землю начали обрабатывать, как положен в нее стал труд, так она должна сделаться собственностью.

— Мы имеем прекрасную форму общины, артель, — настаивал на своем Сабакеев.

— Гм... артель, — произнес с улыбкою помещик: — да вы изволите ли знать-с, из кого у нас артели состоят?

— Для меня это все равно! — сказал Сабакеев.

— Нет-с, не все равно-с! Артель обыкновенно состоит из отставных солдат, бессемейных мужиков, на дело, на которое, кроме физической силы, ничего не требуется: на перетаскивание тяжестей, бегать коммисионером, а хлебопашество требует-с ума. Я, например, полосу свою трудом и догадкой улучшил, а пришел передел, она от меня и отошла, — приятно ли это?

— Может быть, и неприятно, но спасает от другого зла, от пролетариата.

— Да ведь пролетариат является в государствах, где народонаселение переросло землю, а у нас, слава богу, родись только люди и работай!

— Мы, наконец, имеем и другие артели — плотников, каменщиков, — присоединил, как бы вспомнив, Сабакеев.

— Что за чорт! — воскликнул, пожимая плечами, Бакланов:— да это разве общинное что-нибудь?.. Они все наняты от подрядчика.

— У которого они, кроме того, всегда еще в кабале; хуже, чем в крепостном праве, — присовокупил помещик.

— Общину наш народ имел, имеет и будет иметь, — сказал уверенным тоном Сабакеев.

— Ваше дело, — произнес помещик.

— Ведь вот что бесит, — говорил Бакланов, выходя из себя (от болезни он стал очень нетерпелив): — Россия решительно перестраивается и управляется или вот этакими господами — мальчиками, или петербургскими чиновниками, которые, пожалуй, не знают, на чем и хлеб-то родится...

Помещик при этом потупился, Сабакеев покраснел».

Наконец, г. Писемский не выдержал и уже лично говорит о молодежи, которая, как видно, стала у него поперек горла.

«— В наше время убедились, — говорит ему один господин, которого он принимает за нигилиста, — что глупость же хранить верность, ревновать друг друга».

«И это тоже прогрессист! — восклицает от себя г. Писемский, — Несчастная, несчастная моя родина!»

«Не об общественном, разумеется, служении, — продолжает он, — говорим мы здесь. Благословенна будь та минута, когда в обществе появилось стремление к нему (г. Писемский противоречит собственному изображению общества)! Но гневом и ужасом исполняется наше сердце, когда мы подумаем, в чем положили это служение: в проведении не то что уж отвлеченных мыслей, а скорей каких-то предвкушений мыслей. И кто, наконец, эта соль земли, избранные, пришедшие к общественной трапезе!.. Остроумные пустозвоны, считающие в ловкой захлестке речи всю суть дела!.. Торгаши, умеющие бесконечно пускать в ход небольшой запасец своей душевной горечи!.. Всевозможных родов возмужалые и юные свищи, всегда готовые чем вам угодно наполнить свою пустоту!»

Вот он, скрежет-то зубовный! Вот она, ненависть-то к молодому поколению. Но увы! г. Писемский, ваша злоба напрасна и беспричинна. Вы на тень свою злитесь, принимая ее за нигилиста. Неужели вы думаете, что ваш Проскриптский, ваш Сабакеев, ваш Галкин — представители нашей молодежи? Жаль мне

вас, г. Писемский; вас грубым и недостойным образом обманули. Вам показали жалких шутов вашего же, т. е. баклановского, времени, а вы не узнали, что это ваше же отражение. Зеркало вы приняли за картину. Лакея, корчащего из себя господина в его отсутствии, вы приняли за барина, и злитесь, горячитесь, выходите из себя. Подойдите поближе, взгляните хорошенько: это не зверь, а ваше же отражение. Самого зверя вы не видали да и не увидите. Разговоры, которые я нарочно выписал, потому что вы воображаете, что в них высказываются убеждения молодежи, — разговоры эти — ведь это верх глупости и невежества. Посмотрите хоть на тургеневского Базарова: он вам, быть может, очень не нравится, но сравните его с теми шутами гороховыми, которые у вас на сцене. Не отговаривайтесь, что вы хотели написать пасквиль на нигилистов и нарочно представили их шутами. На это я вам отвечу, во-первых, вашими же словами, т. е. словами вашего мудрого полицмейстера: «а благородно ли писать пасквили?», а, во-вторых, уличу вас в неправде. Ваш Сабакеев, по-вашему, умный человек и благородный. Но по мнению всякого другого, это базаровский лакей, наслушавшийся толков своего барина и задающий форсу перед равным себе обществом. Вы ведь взяли на себя труд написать современную историю, следовательно, не могли выставить всех молодых людей нашего времени дураками: это было бы уж слишком забавно — всю молодежь обозвать без обиняков дураками. Вот вы, скрепя душу, и захотели выставить умного человека. Но увы! это ведь не то, что изобразить ваших Баклановых. Баклановых-то вы хорошо знаете; вы среди них провели вашу жизнь и теперь живете; ваши собственные убеждения никогда не были выше баклановских; да и откуда было вам взять их?.. Но вы совершенно невпопад разгневались на тех людей, которых совсем не знаете и в общество которых вы не были приняты. Потому все ваше патологическое, желудочное отрицание потрачено даром, и пафос вашего цинизма так и останется цинизмом; вы взялись за дело, которое не про вас писано. Оттого-то ваш роман вышел скрежетом зубовным; оттого-то будущий историк увидит в нем только доказательство страшного растления мысли, благодаря которому литература занимается дозорами и бранью всего молодого поколения. И пришлось вам ради этой брани прибегать к тем же средствам, к которым два года назад прибегали ваши единомышленники, публицисты «Северной Пчелы» и «Библиотеки для Чтения», редактируемой тогда вами; вам пришлось говорить и о грязных воротничках и о рукавичках девушек, посещающих лекции и попадающих куда-то (9); пришлось прибегать и к таким эпизодам:

«— Кто это такие поджигают? — спросил он (Бакланов) у извозчика.

— Да кто их знает, батюшка! Этта вот тоже я ехал... так

молодой баринок... как вот их?.. На Васильевском острову еще ученье-то им идет...

— Да, знаю! — подхватил Бакланов.

— Так тоже от народу-то бежал, схватить было хотели».

Пришлось прибегать ко множеству других полуслов и намеков, столько же неблаговидных, сколько бездоказательных. Ведь возвысились же вы до картины пожара ([10]), до описания дневника Елены, возвысились же до того, что сказали о Нетопоренках, что сперва они мошенничали, а «теперь занимаются не менее благородным делом: они вольнодумничают и читают со слезами на глазах Шевченко». A bon entendeur, salut! * Но как художника такие выходки вполне оправдывают вас, потому что показывают, как не преувеличено у вас изображение нашего общества в Бакланове, если такие вещи могут являться в литературе.

Теперь обратимся к тому, что, по мнению г. Писемского, хорошо и правдиво в нашем обществе. Посмотрим, что это за личность вышеупомянутый мудрый и либеральный мировой посредник Варегин.

Варегин принадлежит к числу тех либералов, которые, не останавливаясь, как Бакланов, на изобретении разных принципов, гнут и себя и других под них. Это наши филистеры, которые ненавидят все живое, незабитое отвлеченностями. Люди, подобные Варегину, те же Баклановы, только с несколько большей энергией, позволяющей им вредить и ненавидеть, между тем как истые Баклановы способны вредить только своей наивностью. Варегины — это теперешние деятели, и г. Писемский благоразумно поступает, порицая и стариков и молодежь и куря фимиамы Варегиным. «Старики подбираются», как говорит у него в романе сам Варегин. Что касается до молодежи, то сам г. Писемский лучше меня знает и рассказывает, что она теперь делает. Желающие узнать судьбу ее могут прочесть последние страницы романа. Торжествуют же филистеры Варегины. До чего доводят их пресловутые принципы — это видно из деяний того же Варегина. Он был профессором, и, как сам говорит, студенты прогнали его с кафедры. Он, разумеется, выругал молодежь подлецами и наглецами и утверждает, что пострадал за то, что не хотел служить модным идейкам. Все это г. Писемский изобразил весьма верно: мы знаем, что господа, подобные Варегину, ненавидя и преследуя молодежь, за всякое встречаемое противодействие разражаются потоком страшных ругательств. Только напрасно думает г. Писемский, что молодежь служит каким бы то ни было идеям и идейкам. Служат им Варегины, а молодежь старается освободиться от них. Молодежь стала весьма практична и, видя зло, желает устранить его, а не возвести в принцип и возить его на своей спине. За это-то вы ее и нена-

* Имеющий уши да слышит! — *Ред.*

видите и прибегаете ко всем средствам, чтобы унизить ее. Но ваши усилия жалки. Молодежь права уже потому, что молода, и рано или поздно, а победа будет на ее стороне, подобно тому, как вы победили старичков. И посмотрите на ваших либералов, посмотрите на этого Варегина, который для вас — идеал умного, благородного и энергического человека. Взгляните на него: он победитель, он торжествует, но, боже мой, какое это жалкое торжество! Поражение лучше такого торжества, потому что поражение еще не конец, оно только отсрочивает получение желаемого, не разбивая в прах надежды. Но торжество Варегиных есть поражение их. Посмотрите, в какое противоречие с самими собой, с своими собственными желаниями, с самою жизнью вступают они. Они победили, но тут-то и есть их погибель. Их принципы, подвязанные к ним сзади, подавляют их. Сравнительно с ними милы и привлекательны становятся старички, потому что, опять-таки говорю, те делали зло бессознательно, а эти делают его с полным сознанием. Варегин, этот ученый и либеральный муж, является свирепым инквизитором в сравнении даже с Софи. Когда у Софи в деревне крестьяне отказались служить ей и когда явился гуманный Варегин и послал за солдатами, — Софи, эта пустая, мелочная женщина, продававшая себя старому откупщику, упала на колени и сказала:

«— Нет, мне не надо ничего; я лучше от всего отступлюсь.

— Да Варегин не отступится; ему это надо для общего порядка».

Вот оно, это fiat justitia, pereat mundus! * И вы, г. Писемский, так хорошо изучивший Баклановых и Варегиных, вы можете утверждать, что молодежь служит модным идеям? Опомнитесь, взгляните на вашего Варегина: чему он-то служит, за что он-то себя мучит? Во имя чего рвет он себе волосы, чуть не плачет и бежит, чтобы не слышать воплей мужиков, которых секут, и в то же время готовится не только сечь их, а резать? Во имя чего, спрашиваю вас, делает он над собой эти истязания, как не во имя сзади пришитого к нему принципа? В нем нет ничего живого, ничего человеческого, или, лучше сказать, он вечно борется со всем человечным во имя сухих правил, мертвящих идей, филистерских принципов. И вы после этого, зная так хорошо этих Варегиных, обвиняете нашу молодежь в каких-то ужасных, кровожадных намерениях!

Но бодливой корове бог рог не дал, говорит пословица; так вот и вам. Есть у вас злобные поползновения, есть обличительные стремления, но комки грязи, которыми вы швыряете в молодое поколение, попадают в ваше собственное отражение. Чтобы изобразить молодежь, надо самому принадлежать к ней, не по летам, разумеется, а по желаниям и образу мыслей. Г. Тур-

* Да восторжествует правосудие, хотя бы погиб мир. — *Ред.*

генев знает молодежь: оттого его Базаров — живой человек. А вам, г. Писемский, могут удаться только Баклановы и Варегины, иначе вас всегда будут обманывать лакеи и шуты, корчащие Базарова, которых так удачно представил г. Тургенев же в лице Ситникова. Вы же Ситниковых приняли за представителей всего молодого поколения и даже одного из них сочли за умного и развитого человека, — вот что значит иметь одни поползновения и ничего более. Успокойтесь, взбаламученный романист, и перестаньте злиться на свою тень; а если уж слишком велика ваша ненависть к молодежи, то лучше поступайте против нее так, как поступаете против Нетопоренков; такую несложную задачу можно исполнить, ограничиваясь теми сведениями о молодежи, которые вы имеете ([11]). Писать же вам анналы неудобно, потому что в вашем взбаламученном образе мыслей забавно перепутываются самые противуположные понятия: муха кажется слоном, лужа — морем.

Что же касается до женщин, представленных г. Писемским, то о них говорить не стоит. Одна из них — камелия, другая — ханжа; о последней Варегин говорит, что пока в России есть такие женщины, то еще не все пропало. Но Варегин это сказал ей в глаза и, повидимому, соврал, потому что, выйдя из дому, изрекает (он никогда просто не говорит, а изрекает), изрекает про себя следующее:

«Одна в Клиши умирает, другая в крепость попала, третья совсем в церковь спряталась, — а все ведь это наши силы и хорошие силы».

Из этого прямо следует, что он считает Евпраксию такой же погибшей силой, как и Софи. В этом я не буду оспаривать г. Писемского и нахожу его совершенно правым: к сожалению, наши женщины действительно или ханжи, или камелии, или то и другое вместе. Но я недоумеваю, чего желает от них г. Писемский? Чем хочет он, чтобы они были? Те немногие женщины, которых, к несчастию, приходится считать еще десятками, которые желают не быть ни камелиями, ни ханжами, осмеиваются им за дурные манеры и грязные воротнички; он недоволен их попыткой выйти из положения камелий и кухарок. Какого же рода положения желает он для них? Темно и непонятно. Но зато понятна цель романа и понятны поползновения г. Писемского. Они же ему и к лицу. С тех пор, как он переселился в «Русский Вестник» ([12]), взбаламученный образ мыслей обязывает его ненавидеть и чернить все свежее, молодое и выступающее на дорогу жизни и деятельности. Но мне, право, кажется, что даже злоба-то г. Писемского к нашему молодому поколению — напускная, потому что из-за чего бы, кажется, злиться сему человеку на людей, которых он не знает. Простительно ему по его неведению говорить, что он очень хорошо знает, что молодежь сердится на него за то, что он раскрывает ее болячки и бьет ее

по чувствительному месту. В этих словах г. Писемский указывает на цель своего произведения, и не знаю, что скажут «печатные и непечатные враги его», но я скажу, что верю ему, когда он так откровенно объясняет нам, что желал бить молодое поколение. Верю, но удивляюсь, с чего явились у него такие поползновения? Человек был мирный, воспевал разных губернаторов-прогрессистов, Калиновичей, что ли ([13]), и вдруг он тоже желает бить! Никто не может вам в этом препятствовать, но советую вам изучить тех, кого собираетесь бить; изучите их хотя по роману г. Тургенева, а то все ваши удары будут попадать в вас же самих!

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

в русском переводе. Издание под редакцией Ф. Берга. Т. I. Рассказы и поэмы. Спб. 1863.

Наконец разродился г. Берг изданием первого тома Гейне. Гейне и г. Берг! Персики и саламата ([1])! Мышь и мраморная стена! И за что наши почвенники ([2]) решились подвергнуть великого поэта такой жестокой казни, как их издание и перевод! Соединившись с г. Всеволодом Костомаровым, они целой толпой выступили против человека, который, правда, беспощадно осмеивал немецких филистеров и доносчиков (см. статью «о доносчике» ([3]) в издании г. Берга), но даже и не подозревал существования наших почвенников. Гг. Страхов, Вс. Костомаров, Аверкиев и Берг истязуют творения Гейне, а г. Ап. Григорьев совершает ту же операцию над его личностью. Какая злая насмешка судьбы! Гейне, благородный Гейне, поэт свободы, враг и жертва филистерства и Менцеля, переводится для русской публики гг. Ап. Григорьевым, Страховым и Вс. Костомаровым! И за что, повторяю, эти господа так злостно поступили с Гейне? Неужели не мог г. Страхов вместо того, чтобы подымать на дыбу его сочинения, написать о нем одну из тех остроумных статей, которыми он украшал «Время»? Неужели не мог г. Аверкиев написать в «Осу» игривый куплетец в осмеяние Гейне ([4]) вместо того, чтобы принимать участие в заговоре г. Берга против великого поэта? Даже сам г. Вс. Костомаров мог бы избрать другое оружие если не против самого Гейне — он, к счастию, не жил в Петербурге, да и притом давно умер — то против его почитателей... Менцель, Менцель, зачем ты жил в Германии! Твои калмыцкие скулы, описанные Гейне, недаром призывали тебя на родину наших почвенников. Здесь ты был бы безопасен от свиста твоей жертвы и мог бы не только блистать в ряду гг. Страхова, Берга, Ап. Григорьева и Аверкиева, но еще в сообщничестве этих господ жестоко поразить твоего врага!

Первым из заговорщиков выступает г. Ап. Григорьев. Он касается своей рукой чистой личности германского поэта и объявляет его «порождением жидовства» ([5]) (стр. 6) и под видом любезности говорит, что лучшее создание его «Германия» потому только не возбуждает в нем — в Ап. Григорьеве — омерзения, что ее написал Гейне.

Теперь посмотрим на переводы: г. Страхов перевел «о доносчике», — надо сознаться, очень плохо. Напр., слово Rothe он переводит ротой вместо шайки, так что читатель может подумать, что христианские миссионеры в Китае составляли роту, выстраивались по команде и обращали в православие посредством артикулов. Перевод г. Костомарова «Бахерахский раввин» гораздо лучше, и напрасно г. Берг не поручил г. Костомарову перевести статью «о доносчике». Г. Костомаров не перевел бы Rothe ротой и позаботился бы смягчить некоторые выражения, переданные г. Страховым чересчур резко. Например, на стр. 101 находится следующее место:

«Известно, как и каким способом это произошло, да и сам доносчик, этот литературный сыщик, уже давно подвергся презрению общества... Никогда еще немецкое юношество не наказывало такими острыми бичами и не клеймило такими раскаленными насмешками более жалкого грешника. Мне, право, жаль этого несчастного, которому природа вверила маленький талант, а Котта большой газетный лист, и который сделал такое гнусное употребление из того и другого!.. Предводители партии действия пребывали в благоразумном молчании или сидели за плотными тюремными решетками и ждали своего приговора». И далее уж чересчур бесцеремонно выражено, что «сделаться доносчиком только негодяй может» (стр. 105 *).

Я сказал, что г. Вс. Костомаров удачно перевел «Бахерахского раввина» и что поэтому сожалею, что не он же перевел статью «о доносчике». Но зате стихи Гейне, его знаменитую «Германию» г. Вс. Костомаров изуродовал до последней крайности. Во-первых, он сам сознается, что многое пропускал, оттого что было трудно перевести (стр. 297); во-вторых, стих его до того тяжел и Гейне он до такой степени не понял или не желал понять, что я не знаю, как можно являться в печати с подобным переводом.

Напр., г. Вс. Костомаров пишет:

В славном Ахене, в древнем соборе стоит
Императора Карла гробница:
Но Карл Майер не есть Карл Великий; они
Совершенно различные лица.

---

* Г. Страхов также ошибся, сказав о статье «о доносчике», что доносчик, о котором идет речь, написал «историю немецкой литературы». Сколько мне помнится, это история итальянской, а не немецкой литературы. Впрочем, это, может быть, опечатка ([6]).

. Не говоря уже о дубоватости стиха, спрашивается: есть ли здесь какой-нибудь смысл? Почему переводчик уверяет читателя, что Карл Майер не есть Карл Великий? Может ли быть более плоская острота? Но, разумеется, это острит г. Вс. Костомаров; Гейне же говорит:

Zu Aachen im alten Dome liegt
Carolus Magnus begraben,—
Man muss ihn nicht verwechseln mit Carl
Mayer. Der lebt in Schwaben*

Недурно также, что, говоря о Кельнском соборе, г. Костомаров заменил конюшню — чем бы вы думали? — парламентом (7).

Слова Гейне:

Gewissermassen hat er mich auch
Politisch compromittieret**

г. Вс. Костомаров передает так:

Политически-то он сконфузил меня:
А ведь это, как хочешь, обидно!

Конфуз и происходящая от этого обида принадлежат уже собственно г. Вс. Костомарову; как читатели могут сами судить, Гейне ничего не знает о том, обидно или нет быть

Politisch compromittiert

Недурна также строфа:

Вдруг один из несчастных скелетов встает
И костлявый свой рот разжимает,
И старается мне объяснить, почему
Эта почесть ему подобает.

Какая почесть? Разжимать рот? Ведь по-вашему выходит так, г. Вс. Костомаров? Но ведь это смотря по тому, как кто разжимает. Бывают и такие, которые весьма гнусно разжимают рот.

Слова Гейне:

Und dieser Landstrassenkoth, er ist
Der Dreck meines Vaterlandes!***

---

* В Аахенском старом соборе лежит
Каролус Магнус в нише, —
Не следует думать, что это Карл
Майер, тот жив и пишет.

Пер. Ю. Н. Тынянова.

(Непереводимая игра слов: major сравнительная степень от латинского magnus.—*Ред.*

** Он меня, некоторым образом, политически скомпрометировал. —*Ред.*

*** И этот кал на дорогах — это помет моего отечества! — *Ред.*

г. Вс. Костомаров переводит следующим образом:

Как мне вас не любить, о немецкая грязь,
И толчки и родные морозы!

Такими вольностями перевод г. Костомарова изобилует: так, летопись Тацита он называет — брошюрой, слово Recke (герой, воитель) — детиной, так что Герман d r Cheruskerfürst выходит — детина; далее он утверждает, что Gedärmen (кишки) значит теплый помет и что, следовательно, римские жрецы гадали по теплому помету! Гамбургских дев, старых знакомых Гейне, про которых поэт говорит, что они

. . . an des Jünglings Bildung einst
Den thätigsten Antheil nahmen!*

г. Костомаров называет невинными.

Но самое замечательное дополнение г. Вс. Костомарова к творению Гейне состоит в следующей строфе, вовсе не находящейся у Гейне и принадлежащей от первого до последнего слова Вс. Костомарову ([8]):

Вот они:

Он мне пел, будто я до сих пор сохранил
Непорочность чистейшей девицы.
Как же это? Неужто уж я не давал
Никому... ни ведерка водицы?

Далее г. Вс. Костомаров говорит, что ради нравственности он изменил обряд клятвы в XXIV главе. Нельзя не сознаться, что понятия г. Вс. Костомарова о нравственности отличаются совершенно особенным характером.

В довершение характеристики издания г. Берга надо сказать, что оно крайне небрежно, даже грязно. Бумага, печать и наружный вид книги вполне соответствуют содержанию; только цена не соответствует этому, потому что за маленький томик, дурно переведенный и изданный и к тому же, как мы видели выше из слов самого г. Вс. Костомарова, заключающий в себе далеко не полные переводы, г. Берг желает получить 1 р. 50 коп. Но

Подайте мальчику на хлеб —
Он Костомарова питает.

Презрением и негодованием должно встретить общество эту отвратительную книгу, в которой топчется в грязь имя величайшего поэта нашего века. Если существует только благородное негодование на свете, то оно должно постичь это проявление общественного упадка. Не вздумайте раскаиваться, г. Страхов: никакое раскаяние не поможет вам.

---

* Некогда принимали деятельнейшее участие в образовании юноши. — *ред.*

Но я боюсь, что г. Вс. Костомаров вздумает остаться недовольным моим отзывом об издании г. Берга; я знаю, что если он вздумает опровергать меня, то мне не устоять, ибо его перо в этих случаях весьма красноречиво. В таком случае прошу г. Берга передать г. Вс. Костомарову, что мне даже очень и очень нравится его перевод, особенно вставленная им самим строфа:

— O tempora, o mores!*

БЕЛИНСКИЙ И ДОБРОЛЮБОВ

Для людей неразвитых значение каждой отдельной личности определяется не внутренним ее содержанием, а теми внешними признаками, которые им бросаются в глаза. Так, для Виктора-Эммануила — Гарибальди прежде всего генерал-лейтенант; для благонамеренного историка — Робеспьер есть представитель анархии, революционер; для Ап. Григорьева — Гейне прежде всего жид, нехристь и т. д. (1). От этого в головах этих людей иногда происходит странная путаница: Гарибальди, думают они, — генерал и Чальдини — генерал, следовательно, они равны; Робеспьер — революционер и Дантон — революционер, следовательно, оба они принадлежат к одной и той же породе людей. Если к тому же замечают, что два такие лица имеют еще какие-нибудь общие признаки, то уже окончательно убеждаются в их сходстве. Гарибальди, напр., участвовал в войне за свободу Италии и отличился; но и Чальдини тоже участвовал и тоже отличился: может ли быть после этого речь о том, что между этими двумя личностями нет положительного сходства. Никто, конечно, не будет доказывать, что большинство нашего общества состоит исключительно из людей развитых. Поэтому нет ничего удивительного, что в понятиях этого общества происходит та же самая путаница. Белинский писал критические статьи — следовательно, он критик. Но и Добролюбов писал также критические статьи; очевидно, что и он критик. Кроме того, как тот, так и другой принадлежали к числу прогрессивных людей своего времени, участвовали в лучших журналах, рано умерли, быть может, были одинакового роста или имели похожие носы — чего же больше для того, чтоб считать их людьми совершенно одинаковыми. Принимая в соображение, что деятельность Добролюбова началась семь или восемь лет спустя после смерти Белинского, его можно, смотря по расположению к нему, называть или продолжателем, или последователем, или подражателем Белинского. В довершение сходства изданы полные собрания сочинений обоих деятелей (2), и все, кто не имеет причины злиться

---

* О времена, о нравы! — *Ред.*

на Добролюбова, решают, что Белинский есть Добролюбов сороковых годов, а Добролюбов — Белинский пятидесятых.

Надо сознаться, что доселе было весьма мало сделано для того, чтобы выяснить значение этих двух писателей. На решение публики никак не могли и не могут повлиять злобные выходки разных темных личностей, задетых Добролюбовым, до сих пор не забывающих при случае уязвить его своим жалом, содержащим в себе не столько яду, сколько грязи. Но точно так же все, что было написано в пользу Добролюбова, не может служить публике для уразумения деятельности его. Это были большею частию лишь материалы для его биографии, состоявшие из воспоминаний друзей покойного ([3]); как материалы, они могут иметь большое значение, но публика не может видеть в них ровно ничего, что бы дало ей возможность понять деятельность человека, о котором столько слышит и которого читает, но оценить не может.

Нельзя сказать, чтобы было более сделано для оценки и Белинского. Все, что о нем писали, ограничивалось лишь воспоминаниями друзей и знакомых. Из этих воспоминаний можно было кое-что узнать о личности Белинского, но литературная его деятельность была загадкой ([4]). Из похвал, расточаемых его имени, и из совершенного молчания о его значении как писателя можно было бы заключить, что его деятельность ограничивалась одним небольшим кружком развитых людей, среди которых он играл первую роль и слыл оракулом. Можно было подумать, что значение его не более значения, например, Станкевича, о котором люди, близко его знавшие, всегда отзывались с величайшим уважением, но до личности которого публике решительно нет никакого дела, что бы ни говорил его панегирист Добролюбов ([5]). Почитатели таких людей, как Станкевич, до сих пор не могут говорить о них без слез умиления и возмущаются до глубины души при малейшем сомнении в их огромном значении. Такой восторг вовсе не кажется мне неосновательным или странным: люди, подобные Станкевичу, были для своего кружка действительно великими людьми. Отличаясь умом и благородным образом мыслей, они не только очаровывали своих знакомых силою задушевной речи, но и просвещали их, поднимая перед ними завесу, за которой доселе скрывалось для них все высокое, благородное и прекрасное. В эти минуты они прозревали, видели перед собой совершенно новый мир, мир высоких идей и чувств, мир восторженных порывов и многостороннего знания. Этот мир, весьма идеализированный и наполненный хотя сладкими, но в сущности пустыми мечтами, идеями и идеалами, представлял такой резкий контраст с окружавшей их пошлостью, что они весьма естественно смотрели на своих просветителей, как на каких-то Колумбов; Колумбы наши приобретали таким образом совершенно неожиданно для себя славу великих

общественных деятелей, и приверженцы их были готовы положить за них живот свой. Слава и значение их были, можно сказать, совершенно полны и не помрачались решительно ничем, потому что у них были только почитатели; врагов же у них не было, потому что ведь они действовали в своем кружке, куда людям, не разделявшим его мнений, незачем было и показываться. Но хотя, судя по всему, что мы слышим об этих людях, они имели действительно много данных на то, чтобы быть энергическими руководителями общества, — обстоятельства, позволявшие им действовать лишь в ограниченном кружке, не допустили их занять то положение относительно общества, на которое давали им право их достоинства. Они могли действовать лишь на весьма ограниченное число людей, и то большею частию уже сделавших первый шаг на пути своего развития. Но надо вспомнить, что в то время это было почти единственно возможное положение. Никому в голову не может притти порицать таких людей, как Станкевич или Грановский, за то, что они действовали на единицы, потому что всякому должно быть известно, что действовать на массы они не могли. Теперь ораторствующий в кружке, конечно, ни в ком не возбудит сочувствия и заслужит название пустого болтуна; но на все бывает свое время, и когда надо было подготовлять деятелей, то люди, делавшие это, тратили свою жизнь не попустому. Бывают эпохи, в которые полезно распространять даже такие мнения, которые, строго судя, ошибочны. Так, например, теперь никто не будет хвалить человека за то, что он говорит то, что думает, и подобная добродетель считается отрицательным качеством. Но в эпоху Станкевича и Грановского нравственный уровень общества был не настолько высок, чтобы подобная черта считалась не заслуживающей похвалы. Слушатели Грановского готовы были восстать горячо на человека, который бы захотел ограничить его значение, потому что для них он не только умный и хороший человек, но какой-то необыкновенный идеал, которого они непременно канонизировали бы, если б это было в их власти. Тогда для того, чтобы разбудить людей и заставить их слушать себя, необходимо было говорить им об убеждениях, о самопожертвовании, о принципах и т. п. высоких материях; только этим путем, этими средствами можно было вывести людей из усыпления и апатии оторвать от преферанса и указать им на более высокие цели. Мы можем не толковать теперь о борьбе за *святые убеждения*, *о принесении себя в жертву принципам*, о цивической добродетели; мы знаем, что теперь практического дела из этого выйти не может, ибо все это более или менее нелепые бредни. Мы можем все это высказывать вслух, если только у нас есть взамен всего этого что-нибудь более основательное, более рациональное и практическое, если мы отступаем от фраз, чтоб обратиться к делу. Но тогда, когда в обще-

стве царствовала глубочайшая апатия, когда требовалось образовать хотя небольшое число людей, которые могли бы шевелить мозгами остального общества, нельзя было пренебрегать фразами, которые имели свойство наэлектризировывать и пробуждать умы. Тогда даже эти фразы были полны жизни и содержания, потому что имели практическую цель. В то время говорить против них — значило проповедывать индиферентизм, значило мешать пробуждению общества. Теперь нам, конечно, нельзя удивляться Станкевичу или другому подобному человеку за честность и прямоту, с какой они высказывали свои мнения, но мы должны быть благодарны им за то, что они подготовили нам людей, способных выступить на поприще общественной деятельности.

Но значение Белинского было другого рода. Он оставил после себя двенадцать томов сочинений, которые с жадностью читались и читаются всеми, мало-мальски претендующими на звание образованных людей. Влияние его было обширно, какое только могло быть в России сороковых годов; поэтому деятельность его не была так скромна и тиха, как деятельность людей, действовавших на частные кружки: она захватывала всю читающую Россию. Много врагов он имел при жизни, много нового сказал, много старого выбросил за окно. Он еще при жизни был авторитетом, и время, протекшее со дня его смерти, еще более усилило его значение. Новое слово, сказанное им, сделалось общим достоянием и стало старо, как свет; старая дрянь, вычищенная им, давно забыта. Защитники и поборники, некогда враждовавшие за нее с Белинским, умерли, и теперь разве какая-нибудь археологическая редкость вроде г. М. Дмитриева еще может высказывать понятия, побитые Белинским, и неблагосклонно отзываться о нем ([6]). Лучшие люди нового времени относятся к Белинскому с полным уважением; современники его гордятся им. Сочинители разных пиитик, хрестоматий и историй литературы, предназначаемых для обучения юношества в корпусах и гимназиях, ссылаются на Белинского, как на высший авторитет. В уважении к его личным достоинствам, в почитании его сочинений, в вере в авторитет его суждений сходятся люди весьма различных убеждений, возрастов, понятий и направлений. В деле критики, в оценке авторов, художественных произведений и вообще в деле искусства его признают непогрешимейшим судьею, и никому в голову не приходит усомниться в верности его взгляда. Это в некотором роде Гораций или Буало беллетристики. Величайшая похвала, делаемая Добролюбову людьми, расположенными к нему, состоит в признании его продолжателем Белинского. Наконец, новое поколение чтит его, как основателя того направления, которого был представителем Добролюбов. Таким образом, и в этом отношении в глазах общества он является предшественником Добролюбова, и связь между ними, как ме-

жду двумя представителями критики, еще более увеличивается этим сходством образа мыслей и направления.

Несмотря на это, литературное значение Белинского так же мало выяснено, как и значение Добролюбова. О Белинском была написана только одна книга: «Белинский как моралист», одно заглавие которой показывает, как мало было от нее проку для определения значения деятельности Белинского (7). Большинство публики до сих пор знает о Белинском лишь то, что он был очень хорошим критиком и придерживался либерального образа мыслей.

В настоящей статье я намерен рассмотреть литературную деятельность Белинского и Добролюбова и значение их в нашей литературе и обществе. Я покажу, какого рода была деятельность, куда она преимущественно была направлена и какие дала последствия. Я рассмотрю также, насколько тот и другой могут считаться литературными авторитетами, на чем основывается уважение, которым они пользуются, а также и задатки для дальнейшей деятельности, представленные нам этими писателями, так рано потерянными для нашей умственной жизни. Из этого разбора, надеюсь, будет ясно, насколько справедливо господствующее мнение о их взаимных отношениях друг к другу как писателей.

ЛИТЕРАТУРА ДО БЕЛИНСКОГО

> Наша литература вначале была пересаженным цветком, жизненность которого долго поддерживалась искусственно за стеклами теплицы.
>
> Белинский (Т. VIII, стр. 44).

1-го января 1701 года в Европе родилось новое столетие. Это был веселый и шутливый век, которому в старости суждено было сделаться таким серьезным и мрачным. Да, в ту минуту, когда он родился в пьяной, шумной, веселой Европе, никто не мог предвидеть, что этот игривый юноша, разыгравшийся до регентства, будет так гибелен для всего того, что уже столько времени украшало собою эту счастливую страну света. Никто не мог предвидеть, как окончится этот игривый век, потом осудивший на гибель все, чем он шутил и хвалился — порядок, нравственность, власть, весь государственный, общественный и частный быт.

Но, говорят, нет яда, от которого бы не было противоядия. Около того же времени явились на свет два других новорожденных, которыми заботливая судьба старалась обеспечить Европу на случай, если шалости нового века превзойдут всякую меру. То были два новые европейские государства — Россия и Пруссия.

Московскому царю Петру Алексеевичу вздумалось покинуть

Азию и обратиться к Европе. Ему показалось лестным быть настоящим государем, какими были его западные соседи, короли свейский и польский. Ему хотелось также иметь армию и флот, и министров, и чиновников, между тем как до сих пор ему приходилось довольствоваться довольно неуклюжей ордой.

Итак, царю Петру Алексеевичу захотелось сделаться государем на европейскую ногу. Посредством нескольких более или менее прогрессивных мер он быстро достиг своей цели. Еще в 1690 г. он был царем по обычаю предков, а двадцать лет спустя уже имел и войско, и флот, и сенат, одним словом, все в таком же виде, как у его свейского или у его польского величества. Все это произошло с необычайной легкостью и скоростью, и с этих пор европейский вид стал приобретаться не по дням, а по часам. Были и академии, и бароны, и камергеры, и столица в европейском вкусе — все было. Почему же бы не завести и литературы? Завели. И не одну только литературу, а и фонтаны, и рысистых лошадей, и художества разные, и цивилизацию. Дело не в пример веселее пошло. Разумеется, литература была крайне обязана этой цивилизации, что и выражала восторженными приветствиями в честь ее даров — фронтанов, рысистых лошадей и камергеров. Дело шло в таком виде до тех пор, пока внезапно не было сделано одно неожиданное открытие. Собственно это не было одно открытие, а целый ряд открытий, следовавших друг за другом в таком порядке: 1) может случиться, что литература уклоняется от служения дарам цивилизации и обращается в орудие всякого фармазонства; 2) таковое приключение случилось в королевстве французском; 3) оно может постигнуть и другие страны; 4) оно уже постигло и любезное отечество. Однако, на сей раз открытие это приобрело некоторое значение только для Радищева, ибо вслед за тем шалости старого века превзошли должную меру, и Европе было дано противоядие.

Я не намерен здесь распространяться о ломоносовских, карамзинских, пушкинских и прочих периодах нашей литературы, потому что все это подробно описано много раз в сочинениях Белинского и оттуда уже давно перешло во всевозможные «курсы словесности». Скажу только, что до самого Пушкина и Грибоедова литература твердо помнила свое происхождение и от служения дарам цивилизации не уклонялась. Поэтов и сочинителей было пропасть, и все они или переводили, или подражали. Переводили вещи весьма любопытные, начиная от «Аргеніды» Тредьяковского до «Россиады» Хераскова ([8]). Подражали не менее удачно и как нельзя лучше подвизались на поприще драмы, лиры и эпоса и с напряжением спорили о романтизме и классицизме.

Вскоре после приснопамятного двенадцатого года произошло нечто весьма несообразное: в противоядие капнула значительная капля яду, ибо два эти вещества были слишком близко поднесены

друг к другу. Вопреки всем законам химии яд не только не нейтрализовался в этой среде, но даже произвел некоторое брожение в ней... Но зато восторжествовали законы терапевтические. Младенцу привили оспу, но она не принялась и разразилась только какими-то безобразными пузырями на привитом месте. Зато теперь младенца, уже несколько подросшего, поднесли нечаянно к больному оспой, — и он заразился. Он воспринял яд всеми своими порами, всей поверхностью своей, и яд вступил в организм и не замедлил обнаружить свое влияние... О, присно-достопамятный двенадцатый год! Как ни пошлы похвалы, расточаемые в таком изобилии твоим морозам, но я готов повторять их всякий раз, когда вспомню о тебе! Ты свел наши образованные классы с Западом, и, благодаря этому, они совершенно независимо от чьей бы то ни было воли, бессознательно и естественно восприняли цивилизацию. Ты нам дал все, что мы имеем. Быстры и богаты были жатвы посеянного тобою. Едва прошло несколько лет, и явились Пушкин, Грибоедов и Гоголь, которые столько же имеют связи с Ломоносовым, Сумароковым и Озеровым, сколько последние с Киршей Даниловым. Не Петр, не Кантемир, не Ломоносов — родоначальники нашей литературы. Литература, основанная ими, не имеет ничего общего с нашей литературой, хотя она не умерла, а жила рядом с ней, живет и будет жить (9).

Едва русская жизнь, восприняв цивилизацию Запада, стала развивать ее сообразно с теми условиями, которые встречала, как одним из первых плодов ее была литература. К этой литературе уже вовсе не идет то изречение Белинского, которое повторял и Добролюбов и которое я поставил в эпиграфе этой главы. Белинский не видел разницы между литературой, которую произвела реформа Петра, и той, которую произвела русская жизнь, напитавшаяся западной цивилизацией. С этих пор наша литература становится непосредственным продуктом русской жизни, частью организма русского народа, хотя и явилась лишь вследствие влияния западной цивилизации. Но мясо, которое человек ест, принадлежит быку; однако палец, образовавшийся из этого мяса, воспринятого, переваренного и переработанного организмом, принадлежит человеку, и бык не мог бы на него претендовать, если б был жив.

Литература, заведенная Петром, в течение 150 лет не дала ничего более замечательного, как Державин и Феодор Тютчев. Зато русская литература на первых же порах произвела четырех великих деятелей, троих я уже назвал: то были Пушкин, Грибоедов и Гоголь. Четвертый был Белинский.

До того времени критики вовсе не существовало или, лучше сказать, она вполне соответствовала той литературе, среди которой подвизалась. Белинский говорит, что тогда критики восхищались или порицали отдельные места произведений, на идею

же не обращали внимания. Это и немудрено, потому что какая могла быть идея в таких произведениях, где дело шло о фонтанах, камергерах и т. п. вещах(10). Но когда явилась, наконец, настоящая литература, явилась и критика. Какого рода она была и какие цели преследовала, увидим ниже, а пока необходимо ответить на один вопрос, который нельзя обойти: что такое критика, какова ее роль и значение в литературе?

Критика относится к литературе точно так же, как литература к обществу. Литература изображает общество, судит о его состоянии, выражает его желания, стремления и потребности. Точно так же критик судит о состоянии литературы, изображает ее положение и оценивает все отдельные явления, составляющие ее. Но критика, разумеется, должна вникать и в положение общества, знать его, иметь понятие о его нуждах и стремлениях. Без этого знания ей невозможно будет судить верно о литературе. Если в литературе является произведение, изображающее, положим, крестьянский быт в виде аркадской идиллии, то критика должна указать на ошибочность и нелепость подобного взгляда на крестьянский быт. Сделать это она может только в том случае, если знает, что положение крестьян нельзя уподобить аркадской идиллии, если, следовательно, имеет понятие о состоянии общества. Является в литературе книга, изображающая, положим, любовь соловья к розе, и выражает претензию служить духовной пищей для народа. Критика только тогда может указать на нелепость подобной претензии, если настолько знает народный быт, что понимает несообразность применения к нему любви соловья к розе. Следовательно, чтоб хорошо выполнять свою роль, судить о литературе, критике необходимо обращать внимание на самое общество.

Но критика, оставаясь критикой, не может поступать наоборот, т. е. по литературе судить об обществе. Как скоро критик делает это, он перестает быть критиком. Если он, рассматривая общество, на основании своих наблюдений и выведенных из них результатов судит о достоинстве литературного произведения, — он остается критиком. Если он говорит: такое-то сочинение нехорошо, потому что неверно воспроизводит общественную жизнь, — он не выходит из пределов критики. Но когда он говорит: такое-то общество имеет весьма плохую литературу, следовательно, оно не развито, — он перестает быть критиком и делается сатириком, историком или публицистом.

Поэтому дело критики состоит в том, чтобы рассматривать литературу, судить о ее прогрессе, оценивать ее результаты, указывать ее направление и истолковывать значение отдельных ее произведений.

Из этого ясно, что критика вполне зависит от литературы и самостоятельного значения не имеет. Если литература дает ей что-нибудь, она берет, если нет, она не может и существовать.

Если литература занимается предметами совершенно ничтожными, чуждыми обществу, если она состоит из звучных рифм и красноречивых хрий, то критика обречена на рассматривание этих рифм и хрий и от себя создать ничего не может. Едва захочет она, воспользовавшись самым бедствием своим, указать на него как на признак плачевного положения общества, то в ту же минуту перестает быть критикой и делается сатирой. Многие смешивают сатиру с критикой, как мы увидим ниже, но для суждения о Белинском и Добролюбове разницу эту необходимо иметь в виду.

Такое значение остается за критикой, как бы на нее ни смотрели. Эстетические критики, вероятно, также полагают, что критика лишь до тех пор критика, пока по «незыблемым законам искусства» судит о литературном произведении, а не по произведению об искусстве. Если, повидимому, они поступают иногда наоборот, то в таких случаях произведение, по которому они судят, само по себе составляет для них закон. Что же касается до реальной критики, то обязанность ее состоит в том, чтобы сказать, какое впечатление производят лица, выведенные автором, и их поступки, возможны ли такие лица, верны ли они и их поступки действительности. Далее она должна показать, верно ли понимает автор выставляемые им факты, их взаимную связь и последствия. Но обо всем этом критика может судить лишь тогда, когда литература представит ей это на суд. И с другой стороны, как скоро литература принимается изображать общество, то в ней непременно возникает и оценка ее самой. Явились Пушкин и Гоголь — явился и Белинский.

ВРЕМЯ БЕЛИНСКОГО

Что представляли собою Белинскому современные ему литература и общество?

Литература совершала в это время свой переход от насажденной Петром к русской самостоятельной. Пушкина называют первым народным поэтом. Это весьма справедливо, если под народным разумеют национальный. С Пушкина началась русская национальная литература — следовательно, он был первый русский национальный поэт, и его вполне можно назвать народным, если под этим не подразумевать простонародный (11).

Впрочем, существуют обстоятельства, весьма ограничивающие значение Пушкина как первого национального писателя. С одной стороны, говоря строго, Фон-Визин имеет полное право занять в этом смысле место перед Пушкиным, и если тем не менее Пушкин сохраняет свое положение впереди всей нашей литературы, то не по таланту своему, а по другим причинам: Фон-Визин представляется нам явлением совершенно отрывочным, не имею-

щим никакой связи не только с современным, но и с последующим поколением. Как ни был велик его талант, но он мог породить только замечательные отдельные произведения, а не целую литературу. Для того, чтобы из среды общества вытекла национальная литература, необходимо было, чтобы оно развилось. Но ни в эпоху Фон-Визина ни в эпоху, ближайшую к нему, не случилось такого обстоятельства, которое бы послужило к развитию общества; поэтому он остался одиноким среди темного леса насажденной литературы и не имеет прямого отношения к современному развитию ([12]). Напротив того, за Пушкиным последовали Грибоедов, Гоголь и, наконец, целая литература. Но это произошло не под влиянием деятельности Пушкина, а вследствие того, что общество созрело достаточно для того, чтобы породить литературу. С другой же стороны, Пушкин сам только в немногих своих произведениях принадлежит к национальной литературе; в большей же части он — представитель насажденной. Стоя на рубеже этих двух литератур, он по предмету большей части своих песнопений принадлежал к насажденной. Ожидать противного, требовать, чтобы он сразу отрешился от всякой связи со всем, существовавшим до него, было бы нелепо, потому что такие скачки редко удаются и более самостоятельным натурам. Поэтому Белинский в высшей степени прав, говоря о Пушкине, что он был т о л ь к о художник, вследствие чего не имел никаких убеждений и был близок к нравственному индиферентизму. Белинского нельзя было обмануть; ему нельзя было втолковать, что человек, показывающий в кармане кукиш, храбр и самоотвержен, если тот же человек в то же время изгибал картинно спину. Поэтому Белинский весьма справедливо говорит, что известные с т и ш к и Пушкина ровно ничего не доказывают. Он был столь ревностный почитатель Пушкина, что твердо помнил хронологию его произведений и знал, что в 1825 г. Пушкин писал пародию на тех, кто

...хочет быть цыганом,
Кого преследует закон,

и тут же сочинял «Оду к свободе» и тому подобный вздор ([13]). «Демона движения, вечного обновления, вечного возрождения», того демона, который «хотя и губит иногда людей, хотя и делает несчастными целые эпохи, но не иначе, как желая добра человечеству, — этого демона Пушкин не знал, и оттого заботился столько о своих родословных». С своей стороны я скажу, что то, что Белинский объяснял в Пушкине отсутствием убеждений, я приписываю его тесной связи с насажденными предметами, особенно с этой литературой. Как скоро поэт или писатель не знает о «демоне движения», то не может быть и речи о его полной народности. Народная жизнь требует движения и создает его. Неподвижность есть свойство созданий насажденных и поддер-

живаемых. Эти создания могут целые века пребывать в одном виде, чему служит примером наша выслуживающаяся пресса, существующая точно в таком виде, в каком существовала сто лет назад. Она неизменна, как те фонтаны и монументы, которые воздвигнуты в одно время с нею; но народная жизнь требует движения, в стоячей же воде существовать не может.

Пушкин, кроме того, тесно связан с насажденной литературой еще в тех своих произведениях, где он является подражателем. Очевидно, что обстановка, среди которой процветает насажденная литература, не может давать ей большого разнообразия в материале: фонтаны, иллюминации, рысаки, вот и все тут. Поэтому всякая подобная литература спокон века отличалась наклонностью к подражанию. Поэтому и Пушкин был преимущественно подражателем и подражал Байрону, подобно тому, как Херасков подражал Горацию и Виргилию. Говорят, что он был великий художник и воспринятые из Байрона впечатления воспроизводил с необыкновенной живостью; указывают на байронический колорит его сцены из Фауста и «Скупого рыцаря»; восхищаются необычайно художественным воспроизведением Дон Жуана. Не знаю, что хотят этим выразить, знаю только то, что Пушкин Байрону подражал и подражал весьма неудачно. Чтобы не повторять того, что я уже сказал однажды по поводу Лермонтова, я считаю достаточным обратиться к авторитету Белинского, который о понимании Пушкиным и вообще нашими поэтами Байрона говорит то же самое. (См. соч. Белинского. Т. VII, стр. 18, т. VIII, стр. 277). То же самое говорит не только Добролюбов, но и г. Милюков, которого уж никто, конечно, не упрекнет в крайнем нигилизме. (См. соч. Добролюбова. Т. I, стр. 538) ([14]).

Разумеется, за сладкие звуки ([15]) и неудачное подражание Байрону нельзя было отделять Пушкина от легиона поэтов, принадлежащих к насажденной литературе. Но дело в том, что у Пушкина, кроме сладких звуков и пародий на Байрона, есть произведения, в которых уже является русская жизнь, хотя еще в очень бледных и неясных очертаниях. Вот «Евгения Онегина» уже нельзя причислить к насажденной литературе, потому что он есть создание русской жизни, выразившейся в нем. Разумеется, если б кто-нибудь теперь вздумал написать подражание «Евгению Онегину», то показал бы этим, что сходится с Пушкиным только на поприще насажденной литературы, потому что, как я уже сказал, жизнь требует движения и не может произвести два одинаковые явления на расстоянии сорока лет. Во время Пушкина более ясного и полного создания не могло быть; но после Гоголя такое явление немыслимо иначе, как в сфере насажденной литературы.

Но эти немногие истинно народные произведения Пушкина теряются среди его искусственно подогретых произведений, к

которым я отношу не только «Клеветникам России», но и «Каменного гостя» и «Ночной зефир», одним словом, все те, которые представляют собою или одни сладкие звуки, или суть подражания непонятным образцам Запада.

Теперь нам, конечно, легко рассуждать таким образом и отделять жемчуг от навоза; нам легко разбирать, где сказалась наша народная жизнь, и где выразилась чуждая ей насажденность. Нам все это истолковывали, объясняли, перед нами трудолюбиво и добросовестно пересматривали и перебирали одно за другим все явления русской литературы от Кантемира до Гоголя. Но взору Белинского русская литература представляла собою совершенный хаос. В прошедшем она имела, повидимому, все: процветали и лира, и эпос, и драма; были и реформатор Кантемир и реформатор Ломоносов, и великий Херасков и великий Озеров, и мирза — Державин и минезингер — Жуковский; был, наконец, и национальный русский писатель Фон-Визин; одним словом, вавилонское смешение языков. Гении считались дюжинами, и великими писателями хоть пруд пруди. На болоте насажденной цивилизации происходили потешные бои чухонского классицизма с чухонским романтизмом. Та часть общества, которая ушла гораздо дальше всей этой литературы, не желала ее знать. Другая, гораздо многочисленнейшая, занималась службой или преферансом и читала только сонники. Но на защиту ее образовалось целое общество аристархов, с важностью толковавших о каждой строчке «Водопада» или «Россиады»; это общество учредило форменный взгляд на всю русскую литературу, существовавшую при нем, и с яростью, как на профана, кидалось на каждого пытавшегося разобрать, в чем дело, осмыслить явления, представляемые этой литературой ([16]).

Затем следовали более новые порождения насажденной литературы: романист Булгарин, журналист Греч, историки Карамзин, Полевой и бесчисленная толпа поэтов, воспевавших на все лады Росса; и тут же рядом с ними Пушкин и Грибоедов. В то самое время, когда среди литературы являлись такие деятели, как Гоголь, она достигала величайшего унижения, служа на потеху праздности, взяточничеству и всевозможным мерзостям. В виду всего этого представлялась странная загадка: с одной стороны, казалось, что богатства литературы громадные; с другой — что ее не существует: число образцовых произведений было огромно, общество же не знало и не хотело знать литературы. Среди массы официозных продуктов исчезали немногочисленные национальные произведения Пушкина и других. Но и эти последние, как относились они к жизни общества? Могли ли они прямо обратиться к рассмотрению внутренней его жизни? Могли ли они сразу обнять всю сущность общества, понять его нужды и потребности, вникнуть в его положение, явиться его защитниками и представителями? Понятно, что они не могли

сделать всего этого, не ознакомясь прежде всего с внешней стороной общества. Вначале им предстояло решить вопрос: есть ли еще у нас общество, каково оно, где оно? Литература еще только-что родилась, надо же ей было сперва осмотреться, взглянуть на арену, на которой ей приходилось действовать, увидеть того, за кого ей надо стоять, и того, против кого придется вооружаться. Поэтому первые произведения ее представляют собою только очертание внешности русского общества. В них замечается совершенный недостаток мысли, умственного развития; зато они художественно, т. е. верно представляют внешние общественные формы. Художественный элемент, объективность не только преобладают в ней, но господствуют неограниченно. Как всегда и везде, в ней искусство предшествует мысли, знанию, внешность — содержанию, объективность — субъективности. Художественная сторона должна была иметь решительный перевес над глубиною мысли. Картинность или, как говорят эстетики, пластичность образов должна была стоять на первом плане там, где отсутствовало знание. Художественная верность в воспроизведении явлений общественной жизни составляла тогда единственную доступную цель. В то время литература не могла заниматься ничем другим. Да и в самом деле, что было общего у нашей литературы с европейским движением? Если б даже она и отделалась от связи с насажденною литературою, то с какой стати, из-за кого и в чью пользу ей было увлекаться? Пожалуй, от нечего делать можно написать задорные стишки; но в сущности ведь только для своей потехи. Общественные интересы были совершенно неизвестны литературе, потому что и самое-то общество она едва лишь начала узнавать с его внешней стороны. Следовательно, все эти Барбье, Гейне, Фурье до нее никак не могли касаться; для нее они были тем же, чем, напр., микроскоп для какого-нибудь новозеландца. Зачем была мысль, когда еще неизвестно было о чем мыслить? Разве о том, что бы было, если б в природе не было движения? и отвечать самому себе на этот глубокомысленный вопрос, что тогда была бы следующая картина:

То было тьма без темноты,
То было бездна пустоты,
Без протяженья, без границ;
То были образы без лиц;
То странный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед и т. д. ([17]).

Но рассуждать таким образом все равно, что пальцами перебирать. Поэтому гораздо было прямее, естественнее и практичнее заниматься тем, что доступно, а именно внешней стороной жизни русского общества. Так и поступали лучшие деятели тогдашней литературы, и искусство возбуждало в то время боль-

шой интерес и имело большое значение. Если на Барбье и Гейне смотрели, как новозеландцы смотрят на микроскоп, недоумевая, на что они могут годиться, то Жан Полем и Шлегелями занимались усердно. Тогда это было полезно, даже необходимо, и если в наше время смешны ограниченные поклонники чистого искусства, то не потому, чтобы искусство вовсе не стоило внимания, а потому, что теперь занятие им обратилось в филистерство. Покуда искусство рассматривают как средство, до тех пор занятие им разумно. Искусство как материал для историка имеет большую важность; оно имело жизненное значение для афинского народа за 2000 лет до нашего времени, когда счастливый и богатый народ мог спокойно наслаждаться даровыми зрелищами и видом художественных произведений, не запрятанных от взоров толпы в галлереях, а открытых для каждого. Наконец, и в наше время искусство может иметь жизненное значение, какое «Сицилийские вечерни» на брюссельском театре имели для бельгийцев ([18]). Но в том-то и дело, что современные поклонники искусства превращают и его и самих себя в мумии, проповедуя искусство для искусства и делая его не средством, а целью. Они 2000 лет восхищаются Венерой Милосской и 300 лет мадоннами Рафаеля, не замечая, что этими восторгами изрекают приговор искусству. В самом деле, поклонники его говорят, что оно со времени греков не произвело ничего достойного стать наряду с Венерой Милосской или Аполлоном Бельведерским, что эти произведения суть недосягаемые идеалы. Они говорят так в то время, когда все прочие стороны деятельности человеческого духа развиваются и совершенствуются с каждым днем. И они правы: искусство действительно не произвело ничего подобного тому, что создали греки; но ведь это оттого, что оно может как роскошь, как предмет наслаждения процветать лишь тогда, когда нужды удовлетворены, когда народ, создающий его, может наслаждаться, потому что не страдает. Вместо того, чтобы вывести такое заключение, поклонники искусства пишут стихи, в которых воспевают разные невинные вещи и отправляются за две тысячи лет назад искать себе идеалов. Оттого они филистеры, оттого искусство всего менее доступно прогрессу.

Итак, художественность была главным характером нашей молодой, только-что возникшей литературы. В то же время, пользуясь плодами литературы насажденной, одни брали взятки с лавочников, другие писали поздравления с новым годом, третьи спекулировали отвратительнейшими порождениями человеческого ума, но большая часть занималась тем, что Белинский называет «денонциациями» ([19]). Понятно, что при таких обстоятельствах, если б кому даже и вздумалось упомянуть, например, о Байроне, то он должен был показывать вид, что говорит о предмете строго эстетическом. Так, напр., Белинский о Байроне выражался таким образом: «Это был Прометей нашего века, прикованный к скале,

терзаемый коршуном; могучий гений на свое горе заглянул вперед, и, не рассмотрев за мерцающей далью обетованной земли будущего, он проклял настоящее и объявил ему вражду непримиримую и вечную; нося в груди своей страдания миллионов, он любил человечество, но презирал людей» и т. п. Подумаешь, что речь идет о чистом искусстве, а между тем весь этот набор слов, все эти Прометеи и коршуны, все это явилось затем, чтобы сказать, что во время Байрона скверно было жить на свете.

Среди таких обстоятельств литература нуждалась в сильном и смелом деятеле. Он должен был растолковать ее самое, должен был пересмотреть все ее отдельные явления и произнести над ними приговор; он должен был уничтожить ее замкнутость в самой себе, должен был разъяснить ее общественное положение и значение; ему предстояло указать ей осмысленные пути и разумные цели; перед ним лежала тяжелая обязанность борьбы с закоренелыми предрассудками, с авторитетами, защищаемыми толпою озлобленных аристархов, с лизоблюдством, низкопоклонством и денонциациями, заставлявшими краснеть русскую литературу. Из беспорядочной кучи материала ему следовало создать историю прошедшего этой литературы, потому что, только узнав свое прошедшее, она могла твердо стоять в настоящем и видеть цели в будущем. Труд был огромный, требовавший больших сил.

Теперь посмотрим — каково было общество. Оно представляло собою зрелище в высшей степени печальное и тяжелое для постороннего наблюдателя: огромное большинство его было погружено в апатию и не подавало никаких признаков человеческой жизни. Интересы его поглощались служебными обязанностями и картами; впрочем, об этом классе его нечего и распространяться: он слишком верно передан нам Гоголем и его последователями, чтобы можно было еще что-нибудь прибавить к их описанию. Для нас теперь гораздо замечательнее та небольшая частица его, которая жила человечной жизнью, была способна мыслить и вдумываться в положение общества, которая желала преследовать высшие цели и имела лучшие интересы. Состояние этой части общества было также незавидное. Она развилась под влиянием Запада так быстро и широко, что не только опередила остальное общество, но и всю литературу. Это раннее развитие было для этих людей источником несчастия: целая бездна отделяла их от своих современников, от той среды, в которой они, по крайней мере, физически, если не умственно, должны были жить. Беда их состояла не только в том, что они осуждены были жить среди чужих им людей, но главным образом в том, что развитие не только не дало им возможности как-нибудь действовать, но сделало их людьми совершенно лишними, ненужными, бесполезными. Если они могли смотреть на окружающее их с презрением, то на них самих смотрели, как на людей праздных и ни к чему не годных. Они, как говорится, от

своих отстали, а к другим не пристали. Вблизи для них не существовало ни интересов ни симпатий. В самом деле, могли ли они интересоваться русской литературой, когда были знакомы с иностранными? Мог ли их удовлетворить Пушкин, когда они знали Байрона? Не должна ли была казаться им вся русская литература мелкой, когда ум их был занят Гегелем? Тогда в русской литературе была мода упрекать высшие классы в том, что они пренебрегают ею. Но что могло в ней привлекать к себе внимание людей, сочувствовавших Байрону, понимавших Гете, читавших Беранже, проникнутых идеями Гегеля? Но если они имели право смотреть свысока на своих современников, то и эти последние имели право смеяться над мечтателями, забывавшими действительность, окружающую их, увлекаясь чужим достоянием, посторонними интересами. Для людей, оставшихся при своем, они должны были казаться в высшей степени непрактичными, бесполезными, годными для вздохов и охов о том, что действительность не такова, какою бы они желали ее видеть. С мещанским самодовольствием они, как андерсеновские курицы, насмешливо смотрели на залетевших в их клев аистов. Они смеялись и злобствовали, слушая их мечты о далекой Африке, и считали их чуть не сумасшедшими, когда они не хотели вместе с ними рыться в старом хламе. Этот разлад высшего по развитию слоя общества с низшим отражается во всех крупных произведениях нашей литературы, от «Горе от ума» до «Рудина», и по типам Чацких и Рудиных мы можем судить, что этот разлад имел печальные последствия для обеих сторон. Если толпа казалась скучной и пошлой, то и передовые люди вследствие ложного положения, в котором находились, являются смешными и неспособными не только к бесплодной деятельности, но к какой бы то ни было. И Чацкий, которого с восторгом восхваляет Грибоедов, и Рудин, которого с нежностью осуждает Тургенев, являются нам, с одной стороны, симпатичными и благородными страдальцами, а с другой — смешными и бесполезными болтунами; они не принесли пользы ни себе ни другим, но зато принесли положительный вред обществу, расплодив толпу мелких и жалких личностей, по натуре и развитию принадлежавших к типу Фамусовых и Скалозубов, но находивших удовольствие в том, чтобы драпироваться в страдание Чацких. Таковы Онегин и Печорин, таковы сами Пушкин и Лермонтов. Им в людях высшего развития бросалась в глаза одна только внешность, им нравился наружный вид их страдания, и вот они принялись пародировать их. Но при всей охоте им нельзя было переделать свои натуришки; внешность они усвоить могли и усвоили, а дальше им забираться не хотелось и нельзя было. И что же вышло? Подражатели пропагандиста Чацкого и неудавшегося общественного деятеля Рудина являлись не более, как селадонами, прельщавшими трагическим видом сердца разных бары-

шень. Вот на что пошло высокое развитие Чацких, вот какие дало оно плоды. Гегели и Байроны, волновавшие их умы, в обществе разродились Печориными, наряжавшимися в черкесское платье для пущего трагизма; влияние их, может быть, еще и теперь где-нибудь выражается в виде армейского юнкера, поющего «Черную шаль» ([20]). История нашей литературы дает нам превосходный пример того, что человек, стоявший на высокой степени развития, обладавший огромными способностями, являясь на единственном нашем общественном поприще, в литературе, делал то же самое, что Чацкий в обществе Фамусова; вспомним громоносные обличения, огненное проклятие, вырвавшееся из груди Чаадаева. Но к чему послужил такой взрыв великих сил, вылившихся в благороднейшем негодовании? К чему послужила пламенная речь Чаадаева, карающего новое идолопоклонство? Общество в курином самодовольствии в ответ на обличительные слова принялось хихикать и отнеслось к обличителю, как общество Фамусовых к Чацкому. Грибоедов за несколько лет предсказал этот результат, и предсказание его сбылось слово в слово, и это уже показывает, что факт этот не был случайным, а вышел как неизбежное следствие из данных условий ([21]). Другого результата не могло выйти из столкновения такой личности с современным ему обществом, и приговор, постигший ее, служит величайшей апофеозой гениальности Грибоедова. Но если Грибоедов верно понял взаимные отношения передовых людей и общества, если он с математическою точностью вычислил следствия таких отношений, то субъективный взгляд его на них не совсем может быть принят нами. Грибоедов воспевал Чацкого в то время, когда он еще не выродился в Печориных, когда от него еще можно было чего-нибудь ожидать, когда бесполезность, неуместность его еще не была ясна. Поэтому он берет его сторону, он восхищается им и, прославляя его, негодует на общество. Если мы хотим научиться верно смотреть на эти отношения, то должны обратиться к Тургеневу; здесь симпатия к Рудиным не мешает строгому и беспощадному приговору над ними, потому что уже ясно стало, что аномалии, подобные ему, не имеют значения для жизни общества. Действительно, если нельзя обвинять Чацких за то, что им было душно среди современного им общества и что они выражали свое страдание в укорах и обличениях, направленных против него, то и общество нельзя обвинять за его отчуждение от передовых людей. Если передовые люди гнушались жизнью общества и презирали его, то и общество имело право игнорировать их самих и их гегелизм, потому что ему нужны были люди, которые бы научили его азбуке, а не метафизике. Мнение общества о Чацких и его хихикание над ними было весьма естественно, потому что, будь оно другое, слушай оно Чацкого с восторгом, тогда бы ведь и он не произносил своих едких монологов, тогда и он был бы совсем другим.

Такой разлад между обществом и его лучшими членами не мог продолжаться долго: примиритель должен был явиться. Такое примирение или, лучше сказать, насильственное разрешение вопроса пытались сделать наши славянофилы. Видя разлад между невежественным, апатичным обществом и его немногими членами, воспринявшими западную цивилизацию, они думали уничтожить этот разлад, уничтожив последних. Замечая, что сближение с западными идеями, наукою, философиею влечет за собою враждебные отношения к своим домашним, они восставали на все это во имя родной лени, апатии и мрака. Чтобы избежать временного неудобства, они хотели замкнутости и неподвижности. Подобное разрешение вопроса отличалось чисто китайским характером. Так могли рассуждать только люди, приближавшиеся по образу мыслей к тем китайским бонзам, которые, приписывая бедствие государства во время падения Сонов их сношениям с иностранцами, запирали для последних двери своей страны и повторяли то же самое при новых временных политических невзгодах, ознаменовавших собою падение Минов. Какой результат вышел из такого образа действий — известно каждому: уничтожить цивилизацию еще не значит доставить ее народу, и такое рассечение гордиева узла было бы плохим средством окончить временные неудобства. Однако мы можем судить, до какой степени, в самом деле, тяжел был этот разлад, если такое китайское мнение могло не только найти многочисленных приверженцев, но и удержаться до сих пор. Но неудачные попытки разрешить вопрос обыкновенно еще более затемняют его. Так случилось и здесь: людей образованных славянофилы не могли заставить отказаться от всего, что им было дорого, от всего, сделавшегося их кровным достоянием и необходимым, как воздух и пища, без чего они бы чувствовали себя, как в тюрьме; они не могли убедить их отказаться из уважения к географической широте и долготе местопребывания, — отказаться от науки и искусства для невежества, от всех идей философских и политических для самоваров и водки, от всей нравственной жизни для пожирания пирога на лежанке. С другой стороны, они не могли способствовать рассеянию невежества тем, что возводили его в систему, в принцип, в догмат; они не могли заставить предпочитать сивуху западной науке, хотя и воспевали ее устами Языкова, поэта, наиболее приятного для откупщиков.

Я выше упоминал о внешних препятствиях, представлявшихся развитию литературы. Теперь с появлением славянофилов те же препятствия являлись в ней самой. Собственно все внешние преграды препятствуют только просвещению, потому что для существования их опасно лишь одно оно; что бы они ни делали, но в конце концов видна всегда одна цель — задержать развитие общества. Славянофилы имели ту же цель, но, явясь среди самой литературы, были вследствие этого еще вреднее. В них внеш-

ние препятствия находили самых верных союзников, хотя явной связи между ними не было; но зато желания славянофилов опережали самые решительные меры, шедшие извне. Поэтому человек, которому бы выпал на долю тяжкий труд окончить разлад в обществе, встречал на них грозное препятствие своим усилиям, и ему приходилось бороться не с простым невежеством, а с самодовольством, не с конкретными препятствиями только, а еще с сопротивлением, возведенным в догмат.

Разлад не мог продолжаться, нелепые попытки прекратить его только усилили его. Общество не могло долго находиться в таком положении. Обстоятельства призывали такого человека, который бы, будучи врагом невежества, как простодушного, так и самодовольного, понимал бы в то же время непрактичность людей образованных; он должен был, принадлежа по всему к последним, быть нечуждым и остальному обществу. Через это он мог быть снисходительнее к нему, более практичен и способен к прямой и целесообразной деятельности. Вместо того, чтобы разражаться упреками обществу за его тупость и неразвитие, он должен был сам снисходить до общества, понимая, что ему легче это сделать, чем обществу подняться до него. Терпеливо и снисходительно должен был он учить общество азбуке, не мечтая о том, чтобы оно могло сразу сделаться развитым и гуманным, а передавая ему, одно за другим, самые элементарные понятия о человеческом достоинстве, самоуважении, презрении ко всему стесняющему и унижающему его. Он должен был, таким образом, примирить общество с своими передовыми людьми и в то же время возвысить его из апатии, в которой оно находилось, возвысить к человечным идеям и целям. Наконец, славянофилы накладывали на него новую обязанность — энергически восставать против самодовольного невежества, догматической карантинной системы, против мрака и грязи, возведенных в принцип.

Таким образом, и в литературе и в обществе ощущалась потребность в деятеле, исполненном сочувствия к своим невежественным современникам, который разъяснил бы им, с одной стороны, их собственное положение, их прошедшее, настоящее и будущее, а с другой — сделал бы доступным для их понимания то, что так неловко проповедывали им Чацкие.

Для такого деятеля тогда существовало лишь одно поприще, на котором он мог принести непосредственную пользу, — литература, и совершить дело это явился Белинский, между тем как Станкевичи и Грановские действовали на отдельные личности общества.

Прежде чем приступим к рассмотрению того, каким образом Белинский разрешил выпавшую ему на долю задачу относительно общества, взглянем на внешнюю сторону его литературной деятельности.

Я уже показал, какие причины обусловливали преобладание художественной формы над мыслию в литературе, современной Белинскому. Я показал также, каковы были условия, как внутренние, так и внешние, при которых существовала эта литература. Без сомнения, те же условия влияли и на критику.

И действительно, критика Белинского вполне художественна и представляет собою лучший образец эстетической критики. Никто ни из современников его ни из позднейших писателей не обладал в большей степени пониманием художественного, никто не мог так хорошо оценить и разобрать произведение с эстетической точки зрения. Его художественный такт и его нелицеприятие — равно изумительны. Достаточно указать на его огромный разбор произведений Пушкина, где он шаг за шагом следит за литературной деятельностью поэта и проникает в самые сокровенные движения ее. В одном месте своих сочинений он подтрунивает над Батюшковым за его критические статьи: «Как хорошо это место! какой чудесный этот стих! какое живое описание представляет собою эта глава — вот характер критики Батюшкова», — говорит он. Но вот образец его собственной критики, вот что он сам говорит по поводу известных стихов Пушкина «Ночной зефир»: «Что это такое? — волшебная картина, фантастическое видение или музыкальный аккорд, раздавшийся с вышины и пролетевший над утомленной негою и желанием головою обольстительной испанки? Звуки серенады, раздавшиеся в таинственном, прозрачном мраке роскошной, сладострастной ночи юга, звуки серенады, полной томления и страсти, которую лениво слушает прекрасная испанка, небрежно опершись на балкон и жадно впивая в себя ароматический воздух упоительной ночи? В гармонической музыке этих дивных стихов не слышно ли, как переливается эфир, струимый движением ветерка, как плещут серебряные волны бегущего (а не стоящего?) Гвадалквивира?.. Что это — поэзия, живопись, музыка? Или то, и другое, и третье, слившееся в одно, где картина говорит звуками (!!!), звуки образуют картину, слова блещут красками, вьются образами, звучат гармониею и выражают разумную речь? Что такое первый куплет, повторяющийся на середине пиесы и потом замыкающий ее? Не есть ли это рулада — голос без слов (?), который сильнее всяких слов?»

Вот образчик эстетической критики, нанизывающей звучные слова и риторические обороты, в которых трудно отыскать какой-нибудь смысл. В критике такого рода вся разница между Батюшковым и Белинским ограничивается тем, что первый кри-

тиковал писателей насажденной литературы, а Белинский имел дело с настоящей русской литературой. Поэтому Батюшкову приходилось ограничивать свои восторги, восхищаясь удачным расположением слов: *стонет, угас и умер* в стихах такого рода:

Иный, от сильного удара убегая,
Стремглав нaниз слетел и *стонет* под конем.
Иный, пронзен, *угас*, противника сражая,
Иный врага поверг и *умер* сам на нем ([22]).

Между тем Белинский мог доходить до величайших эстетических тонкостей, потому что стоял перед Пушкиным, изобиловавшим несравненно большими красотами, чем предмет восторгов Батюшкова.

Художественность, где бы он ее ни встретил, находила в нем самого жаркого поклонника, и он с радостью ломал за нее копья с темными рыцарями «Телескопа» и «Северной Пчелы» ([23]). Безобразию же в эстетическом отношении он объявил непримиримую войну, и ничто не спасало автора, нарушившего условия искусства, от его преследования. В одном месте он прямо сказал, что «без всякого сомнения, искусство должно быть прежде всего искусством, а потом уже может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху». «Какими бы прекрасными мыслями, — продолжает он, — ни было наполнено стихотворение, как сильно ни отзывалось бы оно современными вопросами, *но если в нем нет поэзии — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов... Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства*». Вот эти-то *законы искусства* и были супер-арбитром критики Белинского. Чтобы составить себе понятие о них, надо обратиться к самому Белинскому. Он нам скажет, что искусство прежде всего должно быть искусством и что «без искусства никакое направление гроша не стоит». Далее мы узнаем от него, что без искусства не может ничего сделать даже ученый, потому что и историк не может обойтись без фантазии. С этим мнением можно и не согласиться: ученый не только может, но даже прекрасно сделает, если обойдется без фантазии. Фантазия есть неразвившийся ум, и, следовательно, предпочтительнее такие ученые, у которых она не разыгрывается. Это мнение, повидимому, разделяет и Белинский; он неоднократно говорил, что мысль убивает поэзию или, по крайней мере, стесняет искусство. Так, в VIII томе (стр. 514) он говорит без обиняков, «что наша поэзия не может без ущерба для себя обратиться к воспроизведению крестьянского быта». Это доказывает нам, что поэзией он считал преимущественно описание любви соловья к розе, потому что даже не допускал возможности явления такой поэзии, какова поэзия Некрасова. В XI томе (стр. 357) он говорит, что нередко гениальные поэты, взявшись

за решение общественных вопросов, производят вещи, лишенные художественного достоинства, а так как выше было сказано, что направление без искусства гроша не стоит, то и произведения, занимающиеся разрешением общественных вопросов, также гроша не стоят. А это, разумеется, ничем другим объяснить нельзя, как тем, что мысль пагубна для поэзии, потому что развитие ее убивает источник поэзии — фантазию. После такого результата уже не может быть и речи о сравнении «политико-эконома, д о к а з ы в а ю щ е г о числами», и «поэта, п о к а з ы в а ю щ е г о образами и картинами». Первый—взрослый, мыслящий человек; второй — дитя. Итак, совершенно верно по Белинскому, что гениальные поэты рождены лишь

... для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв ([24]).

В VIII томе Белинский сам развивает перед нами обязанности критики. Чтоб произнести суждение о поэте, по его мнению, надо совершить прежде великий подвиг. Надо забыть о самом себе и обо всем мире, забыть даже об изучаемом поэте — и только после такого полного забвения, больше которого, вероятно, не желал бы и сам Манфред, «можно войти в мир творчества поэта». Войдя в этот мир, надо «проникнуть в сокровенный дух поэзии его», «уловить тайну его личности» и произвести много других фокусов. После этого можно удалиться оттуда и снова вспомнить и себя, и поэта, и земную юдоль. Для совершения всего этого нельзя взять да прочитать сочинения поэта: тогда это мог бы всякий сделать, а ведь известно, что оценка и уразумение поэтов составляют монополию эстетической критики. Прочитать сочинения недостаточно, а надо «перечувствовать, пережить их, переболеть всеми их болезнями, перестрадать их скорбями, переблаженствовать их радостью, их торжеством, их надеждами». Чтобы изучить Байрона, надо сперва сделаться на некоторое время «байронистом», Гете — «гетистом», Шиллера — «шиллеристом». После этого может ли кто претендовать на понимание всех этих господ? Ведь только эстетические критики могут совершать такой подвиг, на который у обыкновенного человека нехватит и десяти жизней, ибо поэтов — что песку на дне морском ([25]).

Белинский в своей критике является настоящим жрецом искусства. На алтарь художественной критики он приносит свои восторги над произведениями разных поэтов, и нельзя не удивляться иногда, до каких странностей доходят у него эти восторги.

Вот, например, мера, которой он мерил художественность стихотворения:

Он во гробе лежал с непокрытым лицем,
С н е п о к р ы т ы м, с о т к р ы т ы м лицем.

Выписав эти стихи, он выражает полнейший восторг не мыслию, выраженною в них (в мысли нет ничего особенно), а чем бы

вы думали? — «повторением одного и того же слова с незначительным грамматическим изменением!». Он находит в этих стихах «какой-то беспечно-знаменательный смысл!» ([26]). Нельзя не вспомнить при этом восторги Батюшкова над расстановкой слов: стонет, угас и умер, восторги, над которыми почему-то издевался Белинский. Точно так же он восхищается стихотворением Пушкина «Для берегов отчизны дальней» и находит, что «в них заключена мелодия души и сердца, не переводимая на человеческий язык», как-будто стихотворение это написано языком не человеческим. Далее он выписывает из какой-то пиесы Жуковского два куплета, содержащие обыкновенную сахарную водицу, которую этот пиит употреблял вместо чернил, и утверждает, что видит в них «вопль страшно потрясенной души, голос растерзанного, истекающего кровью сердца». При этом нельзя не заметить, что если эстетическая критика и представляет много данных для уразумения внешней красоты поэзии, то не дает ничего для понимания самого поэта. Иначе Белинский никак бы не мог заподозрить Жуковского в издавании «воплей страшно потрясенной души и растерзанного, истекающего кровью сердца». Душа пииты была безмятежна и далека от всяких воплей. Но Белинский в качестве эстетического критика видел в стихах не стихи, а нечто неизъяснимое, чего простые смертные понять не могут. Он говорит, например, что приписывает большую цену переводам Батюшкова двенадцати маленьких пиесок из греческой антологии и прибавляет, что только эстетики могут понять, почему он приписывает им эту цену. Конечно, только эстетики могут понять или написать такую вещь, как «Медный всадник», и только эстетики могут восхищаться такою вещью. В «Медном всаднике» у одного господина утонула невеста во время петербургского наводнения 1824 г. Господин этот, не зная, на ком сорвать горе, обращается с упреками к статуе Петра, но до того ужасается своей дерзости, что сходит с ума и, обращаясь в бегство, слышит за собой

Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

Нельзя не сказать, что герой этой поэмы любил доискиваться до причины причин: невеста утонула в наводнении, наводнение случилось от низменности места, на котором выстроен Петербург, место выбирал Петр, — следовательно, главный виновник несчастия он и есть. Неудивительно, что в помешанном состоянии человек рассуждает таким образом, неудивительно даже, что поэт, принадлежащий на этот раз к насажденной литературе, избрал такой способ для прославления насадителя, доставив ему торжество напугать своею статуей сумасшедшего, — но странно на первый взгляд кажется то, что этим восхищается Белинский. Как-будто, в самом деле, может кому-нибудь притти в голову мысль

обвинять или оправдывать Петра за то, что он построил Петербург именно здесь, а не в другом месте? Но Белинский не обвиняет и не оправдывает: он просто приносит дань эстетических восторгов на поэтический алтарь Пушкина ([27]). То же самое он делает, когда говорит, что придет время, когда творения Пушкина будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство русского люда. Вспомня, что в другом месте Белинский говорит, что в сочинениях Пушкина мало мысли, мы можем, пожалуй, удивиться, почему он думает, что по нем будет развиваться нравственное чувство. Но мы знаем, что называют эстетики нравственным, и перестаем удивляться. Для тех, которые не знают ничего насчет эстетической нравственности, я приведу одно место из сочинений Белинского, где понятие о ней выражено с наибольшею откровенностию и полнотой.

В VIII томе он излагает постепенное развитие понятия о любви в разные времена и у разных народов. Сказав, что на востоке любовь имела чисто плотский, половой характер, он начинает говорить о древнегреческом взгляде на любовь и находит, что он был выше восточного, потому что у греков любовь имела основанием не половое влечение, а понятие о красоте. «Грек, — говорит он (VII, 154), — обожал в женщине красоту, а красота уже порождала любовь и желание; следовательно, любовь и желание были уже результатом красоты. Отсюда понятно, как у такого нравственно-эстетического народа, как греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная мифом Ганимеда, — могла существовать не как крайний разврат чувственности (единственное условие, под которым она могла бы являться в наше время), а как выражение жизни сердца».

Было бы несправедливо удивляться таким словам Белинского: он был не более, как последователен. Я уже сказал, что так как в литературе преобладало одностороннее развитие художественной стороны, то и критика должна была быть прежде всего эстетическою. Но дело в том, что Белинский, как сильный и строгий ум, доходил во всем до последних границ развития, возможного в то время; он не мог, будучи эстетическим критиком, ограничиваться умилением над красотами слога в «Ночном зефире»; будучи эстетиком, он был им вполне и доходил до Антэросов ([28]). Состояние тогдашней литературы, а еще более влияние Гегеля, которого он знал только как эстетика, сделали его самого эстетиком, и он усвоил себе не внешние только приемы эстетической критики, но вполне проникся самым принципом художественности и не останавливался уже ни перед какими выводами. А что такое эстетический принцип, как не раздражительная чувственность, как не irritatio, spinalis*, возведенное в

*Раздражение спинного мозга. — *Ред.*

перл создания? Что это такое, как не стариковская похотливость, гаденький бессильный разврат? Прежде, по крайней мере, во времена Неронов и Гелиогабалов, он имел более жизни, был грандиозен и поражал своим чудовищным бесстыдством. Вспомним неистовые оргии императора-артиста, менявшего престол на арену, скипетр на лиру. В его публичных браках мы видим эстетический принцип, выраженный с наибольшею полнотою и последовательностью. Но жалкие эстетики XIX века уже не могут возвыситься до такой грандиозности в разврате; они тщедушны и лимфатичны и не имеют власти, которая бы позволяла им заставлять цепенеть от ужаса общественное мнение. Большая часть их даже слишком мелки для того, чтобы доводить до крайнего выражения свой принцип, для того, чтобы прямо высказаться и объясниться.

Кому последние приведенные мною слова Белинского не нравятся, тот пусть вспомнит, что если б он не имел этой последовательности в эстетическом взгляде, то он бы и на других путях остановился на полдороге. Сильные умы именно тем и отличаются, что доходят во всем до крайних результатов, видят самые последние выводы какого-нибудь принципа; поэтому они одни могут сделать что-нибудь, идя по прямой дороге; они же зато доходят и до абсурдов, сбившись с пути. Разумеется, г. Анненков или всякий другой не имел бы духу высказаться так решительно, объявив Ганимеда — выражением жизни сердца. Но зато ни один из этих господ не мог бы совершить в других отношениях того, что сделал Белинский, и к рассмотрению чего мы теперь обратимся.

ЗНАЧЕНИЕ БЕЛИНСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВЕ

> У Белинского внешний, отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю жизненную потребность: проповедывать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить.
>
> Добролюбов (т. II, стр. 416).

Я с намерением так долго остановился на эстетическом характере критики Белинского, чтобы показать, в каких узких рамках ему приходилось действовать. Напрасно мы стали бы искать во всех 12 томах его сочинений чего-нибудь, кроме разбора литературных произведений с эстетической точки зрения; напрасно мы старались бы открыть в нем публициста или сатирика. После того, что он сам сказал нам, что вне искусства нет спасения, мы и не можем претендовать в нем на что-нибудь другое. Но тем более поражает нас сила и богатство ума этого деятеля, тем более удивляемся мы ему, видя, какое великое дело совершил он, несмотря на то, что действовал в таких тесных пределах.

Разбирает ли Белинский Ломоносова или Державина, судит ли о Кантемире или Пушкине, толкует ли о Жуковском и Озерове, все эти рассуждения носят на себе характер эстетической критики. Никогда не начинает он судить по литературе об обществе, никогда из пределов критики не переходит в область политических вопросов: он ограничивается рассмотрением художественного достоинства произведений разбираемого писателя и его отношений к предшествующей ему и следующей за ним литературе. Но из ряда этих эстетически-критических разборов, часто нелепых и мелочных в частностях, иногда напоминающих Батюшкова и г. Анненкова, у Белинского создается целая история русской литературы. В его время это было самой ближайшей задачей, потому что необходимо было узнать свое прошедшее, чтобы верно судить о настоящем и видеть перед собою цель в будущем. Белинский разрешил задачу, что стоило ему много тяжелого и неблагодарного труда, и этим сделал доступным для русской литературы прогресс в будущем. При этом ему приходилось бороться с самыми грубыми предрассудками и стаскивать с пьедесталов героев, которых защищали с отчаянием люди, пользовавшиеся в то время значением и весом в литературе. Одна попытка его свести с пьедестала величия и гениальности калмыцкого божка Державина повлекла за собой ожесточенные нападки на него аристархов ([29]). Но хотя по временам борьба эта становилась для него трудною, особенно, когда доходило до того, что противники обращались для его поражения к денонциациям, тем не менее дело было сделано, и его, повидимому, невинный эстетический разбор сильнее поражал литературных божков, чем бы могли в то время сделать самые грозные филиппики. Несмотря ни на какие средства, к которым прибегали поклонники божков, они потерпели поражение, и скоро мнения и приговоры их подверглись осмеянию. Между тем суждения Белинского были приняты всеми, и созданная им история русской литературы преподается теперь во всевозможных учебниках и руководствах, мало-мальски претендующих на удобочитаемость.

Конечно, теперь рутинеры сделали с Белинским то, что всегда делают с замечательными деятелями: они возвели его в авторитет и смотрят, как на святотатство, на каждую попытку подвергнуть пересмотру приговоры Белинского. Они в своем уважении к нему забывают его главное, можно сказать, достоинство — способность видеть свои промахи, когда время укажет ему их. Он всегда был готов отказаться от своего взгляда, если убеждался в его несправедливости, и, как известно, не мог равнодушно видеть свои первые статьи, которые, как бы на зло ему, напечатаны в первых томах собрания его сочинений. Поэтому нет сомнения, что он бы изменил теперь многие из своих решений, но рутинеры на то и рутинеры, чтобы приводить к схоластике воззрения какого угодно великого человека.

Создав критику прошедшего русской литературы, Белинский сильно содействовал этим успеху нашей мысли; не менее сильно было влияние его и на ее настоящее. Не выходя из пределов эстетической критики или даже преднамеренно спускаясь до роли простого собирателя фактов из деятельности мудрой и ученой российской академии, он самым убийственным образом обличал перед обществом и перед самой литературой ее мелочность и господствующие в ней явления вроде фельетона Булгарина и совершенный застой и мертвенность, царствующие в ней. В то же самое время он проповедывал о прекрасном, о высоком, о благородном, о свободном, и хотя дело, повидимому, шло не более как о поэзии или музыке, но эти идеи были спасением для литературы, преданной гниению, и для общества, которое, слушая его, начинало смутно сознавать, что есть еще нечто высшее, чем карты и канцелярии.

Но не в этом еще главная заслуга Белинского. Самое доброе дело, совершенное им, состоит именно в примирении общества с образованностью, в уничтожении того разлада, о котором я говорил выше. Я уже привел один пример того, каким образом Белинский умел говорить обществу под видом эстетической критики о вещах, будивших его от летаргического сна. Говоря о художественных красотах Байрона, упоминая о Прометее и коршуне, он этим самым доводил общество до сознания. Или, восхищаясь эстетически стихами, где изображается невообразимое состояние природы, лишившейся движения, он дает чувствовать читателю всю тяжесть и невыносимость такого положения, когда человек осужден на бездействие, на неподвижность, когда его со всех сторон окружает мрак и холод, когда в жизни для него существует лишь пустота и ничтожество. Или, наконец, в эстетическом разборе произведений Пушкина он наводит читателя на мысль не столько о художественном достоинстве поэта, — хотя говорит только об этом, — а о том, что горе даже великому человеку, ограничивающемуся самодовольным пребыванием в покое и неподвижности, горе человеку, хотя бы то был гений, забывающему о том «демоне вечного обновления и движения», который хотя и губит целые эпохи, но без которого нет жизни, нет счастия, нет прогресса. Прогресс — великая идея, от восприятия которой обществом зависит все; и кто первый дал обществу сознать, почувствовать ее? — Белинский. Вот в чем величайшая заслуга его, вот в чем его слава. Филиппики Чацких, от которых общество открещивалось или хихикало над ними, не могли внушить ему ничего, кроме куриного самодовольствия. Но эстетическая критика Белинского совершила этот подвиг. Нигде, ни в одном месте он не говорит прямо обществу о движении общественном, о прогрессе; но эта идея, постичь которую — значит проснуться, сама собою вытекает из его литературной деятельности, и если нам, привыкшим говорить о ней, как о воздухе и

пище, трудно уловить ее в сочинениях Белинского, то тогдашнее общество как нельзя лучше чувствовало ее в них и понимало его так же хорошо, как он понимал нужды, потребности и степень развития своих читателей.

В этой идее, «проповедывать которую ему было так же необходимо, как есть и пить», Белинский нашел средство примирить общество с его передовыми людьми. Поняв, что жизнь имеет другие цели, другие наслаждения, другие формы, чем те, которые оно знало доселе, общество поняло, наконец, отчего страдают и чего желают Чацкие; оно перестало смотреть на них, как на бук, и если еще не могло помочь им, то, по крайней мере, не только перестало хихикать, а почувствовало некоторое смущение за свое безобразие. Оно могло считать их мечтателями, заблуждающимися, могло даже досадовать на них, но не могло не понимать их, не могло считать умалишенными. Теперь оставалось сделать только еще шаг — возбудить в обществе сочувствие к таким людям. Что касается до самих Чацких, то и они не могли оставаться в прежних отношениях к обществу и должны были сделать с своей стороны шаг к сближению. Увидя, что общество перестало хихикать, что оно просыпается, передовые люди, впрочем уже не прежние (прежние так и остались неисправимыми), передовые люди, говорю я, почувствовали себя в лучшем положении: они почувствовали надежду, начали считать свое положение не совсем безысходным. Таким образом разлад кончился.

Мы можем поверить справедливость сказанного, взглянув на отношения Белинского к тем, которые хотели прекратить разлад до него путем насильственным, т. е. к славянофилам. Очевидно, что если мой взгляд верен, то на них должна была пасть вся тяжесть негодования Белинского, потому что он своим тупым вмешательством препятствовал его деятельности, возбуждая в пробуждающемся обществе желание захрапеть снова от самодовольствия. И действительно, мы видим, что если когда-нибудь Белинский выходил из себя и выражал свое негодование уже не как эстетик, а как человек, так это именно в отношении славянофилов. Хотя он и с ними прикрывался еще эстетической критикой и протестовал во имя законов искусства, но уже прикрытие это было очень слабо и прозрачно, и из-за эстетика уже сквозил публицист. Хотя он еще возмущается внешним безобразием таких стихов, как:

> Горделивый и свободный
> Чудно пьянствует поэт!

или:

> Ну да! судьбою благосклонной
> Во здравье было мне дано
> Той жизни мило-забубенной
> Изведать крепкое вино.

или:

> Торжественно пропойте песнь родную
> И пьянствуйте о имени моем.

или, наконец:

> Благословляю твой возврат
> Из этой нехристи немецкой
> На Русь, к святыне москворецкой, —

хотя он подсмеивается во имя здравого смысла и грамотных людей над посланием Языкова к Погодину, в котором поэт приглашает ученого «выпить стакан пьяно-буйных стихов» ([30]), но тут же рядом являются и весьма ясно выраженные нападки на знаменитую школу, представителями которой были Хомяков и Языков; в полемике, которую ему приходилось вести, он являлся наиболее резким в отношении к «Москвитянину». Но где всего ярче выступает негодование Белинского против славянофилов, — это в его отношении к Гоголю. Вспомним, что Гоголь был его любимым писателем; что за Гоголя он должен был столько лет сражаться с авторами денонциаций; что Гоголем он мог гордиться не только как человек, которому дорога русская литература, но и как критик, первый и с первого слова почуявший великого писателя. Сколько причин, чтобы упорно отстаивать Гоголя, особенно имея в руках весь арсенал эстетической критики, посредством которой можно доказать все, что угодно, и совместить вещи несовместимые. Но еще в «Мертвых душах» он по некоторым признакам узнает в Гоголе славянофильство. Он недоумевает, когда Гоголь, приходя в пафос, описывает знаменитую тройку, обгоняющую все царства и народы, которые смотрят на нее, разинув рот. Он недоумевает перед обещанием показать русскую деву, перед «мистико-лирическими выходками», пропитанными славянофильством. Он сразу увидел во всем этом начало упадка великого таланта и, беспощадный к юродству, не боится сравнить начало «Мертвых душ» с путешествием Коробейникова ([31]).

Но вот является «Переписка с друзьями». Здесь мысль, выраженная Языковым в стихах:

> Благословляю твой возврат
> Из этой нехристи немецкой
> На Русь, к святыне москворецкой,

развита вполне и доведена до крайних результатов. Гоголь является здесь самым решительным славянофилом. Тогда Белинский не выдерживает окончательно своей роли эстетического критика. Он пишет самую злую, самую острую рецензию и, не довольствуясь этим, в первый и последний раз в жизни перестает быть критиком и является общественным деятелем...

Раз испытав свои силы на этом поприще, раз расправив во всю ширь свои крылья, он уже не может снова забраться в тесную

конуру эстетической критики. Он навсегда бросает заржавевшее перо, которым доселе писал; он не хочет более скрываться, считает общество достаточно зрелым, чтобы говорить с ним прямо о его интересах; он начинает прямо говорить о том, о чем говорят в это время все хорошие люди Европы: о действительных страданиях бедняков, о неравенстве, господствующем в обществе, о реформах, которые ему необходимы. Обличительная речь против неправды и зла готовится излиться из его уст. Первые слова ее уже сказаны; все живое, все молодое, все благородное восторженно приветствует его, как своего руководителя и представителя. Но в это самое время смерть прекращает его деятельность, лишая нас его лучших произведений.

В заключение не могу не привести благодарных слов Добролюбова, в которых так светло отразилось то чувство, которое питало позднейшее поколение к своему учителю.

«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостию, ее славой, ее украшеньем. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому. В литературных кружках всех оттенков едва ли найдется пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя. Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это лучшие люди России!

«Для них, наверно, ни одна из наших новостей не могла быть столь радостною, как издание сочинений Белинского. Давно мы ждали его и, наконец, дождались! Сколько счастливых, чистых минут снова напомнят нам его статьи, тех минут, когда мы полны были юношеских, беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего; мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали себя самих посвятить такой деятельности... Жизнь обманула нас, как обманула и его; но для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно... Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история нашего общественного развития, в нем же и тяжкий, горький, неизгладимый упрек нашему обществу» (Т. II, 514—515).

Белинский неоднократно повторял, изумленный быстрым развитием русской литературы, совершавшимся пред ним: «Мы растем не по дням, а по часам». Что сказал бы он, если б прожил еще несколько, если б умер только в 1854 г.? Вероятно, он сказал бы то же, что Добролюбов: «Растем мы скоро, истинно по-богатырски, не по дням, а по часам, но, выросши, не знаем, что делать с своим ростом».

Рост нашей литературы от Пушкина до 1848 г. был, действительно, богатырский. Через какие-нибудь пятнадцать лет после первого ее лепета в «Евгении Онегине» она произвела не только «Мертвые души», но и настоящую, разумную, мужественную речь, которая раздавалась в сороковых годах в «Отечественных Записках». Общество, пробужденное Белинским, осматривалось, и плодом этого являлось недовольство самим собою, отрицание своих недостатков. Общественные вопросы стали мало-по-малу выступать на очередь литературного обсуждения; осторожно, шаг за шагом, пробираясь меж всевозможных подводных камней, литературная критика захватывала в себя новые стороны жизни и обращалась к предметам существенной важности для общества. С Гоголя началась и постоянно продолжалась литература отрицания, покаяния, самообличения. Конечно, нам теперь кажутся устаревшими и не имеющими смысла выходки разных обличителей против взяточничества и разных злоупотреблений чиновников; но оно и немудрено после того, как правительство само коснулось не только этих мелочей, но зла гораздо более важного и закоренелого — крепостного права. После того, как правительство совершило такую существенную реформу, мелкие обличения против частного зла уже не могут иметь смысла и жизненного значения. Поэтому в тогдашней обличительной деятельности литературы общество имело право видеть не только мелочное зло, выставляемое на первом плане сатирических произведений, но гораздо более глубокое, выступавшее само собою на заднем плане и составлявшее фон всей картины. Когда Добролюбов упрекал литературу ([32]) в том, что она во всем являлась лишь эхом правительственных мер, и числами доказывал, что она заговорила об уничтожении крепостного права уже тогда, когда вопрос был решен правительством, он забывал совершенно, что протест против этого коренного зла раздавался еще в литературе сороковых годов, отражался во всех лучших произведениях того времени и, наконец, совершенно ясно высказался в «Мертвых душах», весь смысл которых основывается на отрицании крепостного права.

Но вот мы встречаем факт, который уже прямо показывает нам, что литература наша была бессильна, несмотря на свое быстрое развитие и великую общественную деятельность. Факт этот есть то положение литературы, в котором она находилась

в периоде 1848—56 годов. Чем поразительнее было ее развитие, чем выше общественное значение, чем обширнее деятельность, тем горестнее разочарование, постигшее все надежды, возлагаемые на нее. Подул северный ветер, и русская литература завяла и погибла, как тропическое растение в оранжерее, которую перестали топить. Тогда-то можно было подумать, что она, действительно, растение привозное, не могшее в течение двадцатипятилетнего существования в России акклиматизироваться и пустить прочные корни. Но подобный упрек был несправедлив, хотя, впрочем, его повторяли неоднократно. Я уже сказал, что в Пушкине, Грибоедове, Гоголе, Белинском и в их последователях мы имеем уже не насажденную, а свою собственную литературу, возникшую из самого общества. Но в таком случае мне, быть может, возразят: как же объяснить ее внезапное увядание? Нельзя же, скажут, сваливать все на внешние препятствия; внешние преграды могут сломить лишь то, что лишено прочного основания, что не имеет в обществе корней, что, следовательно, не выработано им, а насаждено. Истинная же литература не предписывается и не отменяется: напротив того, внешние препятствия дают ей лишь новую силу и энергию.

Чтобы понять это, надо взглянуть на положение самого общества.

Дело в том, что общества в настоящем смысле у нас не было. Поэтому, что бы ни делал и ни говорил Белинский, что бы ни показывала отрицательная литература, они могли пробудить известный круг читателей, показать ему возможность лучшего положения, заставить желать этого положения, но и только. Если бы общество наше было самостоятельно, если б оно не было насажденным, тогда бы оно могло действовать хотя в своей среде. Но у него и среды самостоятельной не было; оно собой не могло располагать по своему желанию, и не потому, чтобы этому препятствовали внешние преграды, а потому, что по сущности своей оно было лишено самостоятельности. Ни французское дворянство ни среднее сословие не идут в сравнение с нашим обществом. Я не говорю уже о том, до какой степени самостоятельно среднее сословие на Западе и до какой степени оно составляет органическое целое, совершенно отдельное от верхушки и от основания. Но наше общество, какими бы идеями ни было проникнуто, не могло действовать, потому что отделялось лишь от основания тем самым, что было насаждено.

В это время всеобщего крушения резко обнаружилось бессилие разных п р и н ц и п о в и у б е ж д е н и й, которым доселе поклонялись, как идолам. Принципы эти не помогли ничем своим поклонникам, потому что как ни кричали последние о своей привязанности к принципам, но так как человек может энергически ратовать только за самого себя, а принципы были чем-то совершенно внешним, то и поклонники их не подумали защищать их,

когда им пришел конец. У этих поклонников принципа, по словам Добролюбова, «принцип был сам по себе, а страсть сама по себе. Так и произошло здесь: принцип, витая в высших сферах духовного разумения, остался превыше всех обид и неудач; страсть же негодования ограничилась низшей сферой житейских отношений, до которых они почти никогда не умели проводить своих философских начал. Мало-по-малу они вошли в свою пассивную роль (да и не могли на деле выходить из нее, потому что она обусловливалась сущностью общества) и из всего прежнего сохранили только юношескую восторженность да наклонность потолковать с хорошим человеком о приятном обращении и помечтать о мостике через речку. С этими-то малыми качествами и с совершенным неумением присматриваться к действительной жизни, понимать ее требования и задачи — и выступили они в недавнее время снова на поприще литературы».

Если же захотим в подтверждение всего сказанного обратиться к фактам, то можем почерпнуть много доказательств, взглянув на деятельность наших поэтов. Добролюбов указывает на одно обстоятельство, столь замечательное, что, вероятно, оно бросалось не раз в глаза каждому. Я говорю, что почти все поэты наши обыкновенно весьма рано приходили в какое-то весьма жалкое состояние и вместо поэтических песнопений начинали издавать жалобный вой. Но, по моему мнению, Добролюбов не совсем понял причину этого явления. По крайней мере, говоря о г. Плещееве, он вовсе не разрешает этого вопроса, и только в III томе мы находим у него несколько строк, показывающих, что он отчасти разгадал его.

Дело в том, что наши поэты еще больше, чем простые смертные, изобретали себе всевозможные принципы и начинали порываться на борьбу из-за них. Подобная деятельность казалась им весьма привлекательной и приличествующей званию поэта. Поэтому в начале своего поприща они обыкновенно бывали весьма бойкими мальчиками и подавали большие надежды. Но потом вдруг оказывалось, что борьба, о которой они мечтали, вовсе не так поэтична и может быть уподоблена самому неблаговонному из подвигов Геркулеса. Они сперва приходили в недоумение и думали, что как же это однако ж? Вот хоть бы Байрона взять: разве ему приходилось чистить чьи бы то ни было конюшни, разве ему приходилось зубрить азбуку, разве ему приходилось, наконец, копаться в старом белье? Нет: позиция его была самая благородная, работа самая чистая, от которой несло тончайшими духами, а не навозом. Когда же он азбуку-то зубрил? Он прямо в философию пускался. Давай и мы так.

Но оказывалось, что так нельзя, ничего не выходит. Тогда оставалось или спиться и обратиться к прославлению пенника или сивухи, или поступить в квартальные надзиратели, или, наконец, объявить среду презренной и грязной и принять в отношении ее

отчасти мефистофельский, отчасти гамлетовский вид. Тут-то и начинался жалобный вой, вроде этого:

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду, придет ли мой конец (33).

А бурь-то никаких не было, потому что какие же бури в стоячей воде? Или:

Где ж силы те, отвага прежних лет?
Сгубила все неравная борьба (34).

Хотя борьбы и в помине не было, а существовало только поэтическое представление о ней в воображении поэта.

Здесь я говорю не только о тех поэтах, которые писали и печатали свои стихи и публично показывали свою скорбь о том, что действительность не такова, какою они ее себе представляли. Под поэтами я разумею здесь вообще всех, смотревших на жизнь сквозь призму своего воображения и разыгравших потом Гамлетов Щигровского уезда. Такими людьми Россия была наполнена в то время из края в край. Это были те самые талантливые натуры, которых так верно изобразил г. Щедрин. Они не имели никакого отношения к тем людям предшествовавшей эпохи, которым лучшим представителем служит Чацкий. Отличительный признак и вместе с тем причина горькой участи Чацких было огромное расстояние между развитием их и нравственным уровнем общества. Между тем, талантливые натуры именно тем и отличались, что по всему были равны обществу, исключая наклонности к несообразным с действительностью мечтаниям (35).

Таким образом, застой, охвативший умственную жизнь русского общества, явные признаки его ничтожества, явившиеся в уничтожении литературы, и, наконец, появление талантливых натур взамен прежних благородных и сильных, хотя также непрактических Чацких — вот характеристические черты периода 1848—1856 годов. Здесь еще раз можно с благодарностью оглянуться на Белинского. Среди совершенного уничтожения всякой литературы, исключая, разумеется, насажденной, для которой эта эпоха была временем процветания, среди отсутствия всякой умственной жизни в русском обществе Белинский получал значение еще большее, чем то, которым он пользовался при жизни. Нельзя было изгладить впечатление, произведенное Белинским, нельзя было отнять веру в прогресс, нельзя было истребить надежду на светлое будущее. Новое поколение, развивавшееся в это время, имело в нем учителя и руководителя и из него почерпало то, чего бы не могло узнать от общества. Поэтому, когда после Белинского явилась потребность новой, практической деятельности, общество должно было выдвинуть вперед таких людей, как Добролюбов.

ВРЕМЯ ДОБРОЛЮБОВА

Лучшим доказательством отсутствия всякой самостоятельности в нашем обществе и его бессилия служит наш прогресс, начавшийся почти в одно время с появлением в литературе статей — бова ([36]). Всякому известно, что поводом к появлению этого прогресса была война: она произвела у нас решительно чудеса; благодаря ей наше общество встрепенулось и заговорило, заговорило без умолку о самых разнообразных предметах, между тем как перед этим, в течение восьми лет, хранило глубочайшее молчание. Оно заговорило с таким жаром и одушевлением, что было ясно, что оно-таки любило поговорить, и если доселе молчало, то не потому, чтобы не желало, а потому, что на это была уважительная причина.

Но что это были за речи! Конечно, во время оно, когда обстоятельства были совершенно иные, литература не только могла, но даже прямо должна была указывать обществу на разные злоупотребления, совершавшиеся среди него, но теперь, когда вопрос об этих злоупотреблениях был поднят правительством, когда оно представляло на обсуждение литературы самые существенные вопросы, когда подготовляло уничтожение крепостного права и телесного наказания, литература не умела иначе воспользоваться данным ей позволением, как споря о том: нужна ли палка иль вредна, и толкуя о предметах, о которых уже совершенно достаточно было говорено еще во время Белинского. Ничтожество делалось еще хуже вследствие самодовольствия: до того привыкли молчать, что считали чем-то удивительным повторение общих мест. Замечалась совершенная неспособность заглянуть подальше того, что показывали; воспользоваться выгодным положением для того, чтобы начать действовать самостоятельно. Даже самые лучшие результаты счастливого положения, в которое неожиданно попала литература, отличались чахлостью и непрактичностию. Знаменитый принцип, о котором было столько крику до 1849 г., вовсе не умер. Хотя его поклонники и оплакивали свои мечты вышеупомянутым воем, но плач был напрасен. Там, где общество неспособно действовать, оно должно мечтать и поклоняться принципам. Время после 1856 г. можно по справедливости назвать временем торжества отвлеченного принципа. Ему снова начали поклоняться платонически, как прежде. Люди, недовольные теперешним молодым поколением, ставят ему в упрек служение принципам. Не буду здесь говорить, насколько этот упрек справедлив, но скажу только, что он весьма не к лицу людям прежних поколений. Никто более их не низкопоклонничал перед принципом, не гнул спину перед модными идейками. Что отношения их к этим идейкам были именно таковы, доказало время, когда идейки вышли из моды, или служение им перестало приносить барыш. Если б люди эти действовали не ради

модных идеек, а потому, что другая деятельность была им невозможна, если б принцип не был вне их, а в них самих, если б он был их плотью и кровью, то они бы не могли покинуть его. Но в том-то и дело, что они поклонялись ему, как идолу, и без труда во всякое время могли покинуть его. Любопытно видеть. кого перечисляет Добролюбов в числе прогрессивных деятелей в статье о книге де-Жеребцова. Здесь находится и г. Ешевский, и г. Бабст, и г. Забелин, и г. Кавелин, и даже г. Чичерин. А теперь?..

Возродившийся из пепла принцип некоторое время витал по поднебесью, потому что старого гнезда его уже не существовало и следовало изобрести новое. Оно не замедлило быть изготовлено, потому что тут задумываться нечего. Если человек собирается дело делать, то ему, конечно, надо поискать крепкой опоры, а для того, чтоб «побеседовать с хорошим человеком о приятном обращении», ничего особенного не требуется.

Случилось так, что во время этого восстания в правительстве подготовлялось решение крепостного вопроса. Принцип увидел это и нашел, что это совершенно достаточное основание для сооружения нового гнезда. Народ, ничего, разумеется, не подозревавший, вдруг послужил неисчерпаемой темой для литературных упражнений. Началась потеха. Внезапно все проникнулись необыкновенным сочувствием к народу, ибо для поклонников принципа не сочувствовать чему или кому-нибудь невозможно. Прежде они сочувствовали разным антикам и художествам, а теперь обратили весь свой пыл на народ. Впрочем, переменился только сюжет, а взгляд остался тот же, и народ рассматривался тоже как какой-то антик. Явились всевозможные Данковские, Дружинины, Григоровичи и множество других ([37]). Принципом их было — сочувствие к народу, и иметь этот принцип ставилось в непременную обязанность каждому, кто хотя несколько претендовал на звание прогрессивного человека. Вероятно, для большего возбуждения сочувствия в тех темных личностях, в которых оно возбуждалось туго, наши поклонники народа принялись сначала мыть, чесать и одевать в приличное платье свой кумир, дабы он не показался чумичкой. Но вскоре расчувствовались до такой степени, что истинно либеральный человек должен полюбить народ и сереньким. Поэтому одни взяли на себя труд изображать кумир в его натуральном виде, а другие проповедывать любовь к нему. Одни, например, изображали, — стараясь не пропустить ни одной черты в своей картине, — каким образом русский человек сморкается. А другие стояли сбоку и приговаривали: «посмотрите, почтенные сограждане, какой русский человек: задумано — сделано, захотел — высморкался! Неправда ли, какой душка! какой милашка! Вы должны любить его, почтенные сограждане!»

Нельзя не сознаться, что на этот раз принцип явился в весьма живописном плаще, в который драпировался с большой изящ-

ностию. В самом деле, какой красивый звук: «любовь к народу», Неправда ли? Но все-таки это только звук и довольно нелепый. Что, в самом деле, за платоническая любовь к народу? Чем похож мужик на неземную деву, роль которой он теперь занял? Что обозначают слова: «любовь к народу»? Весьма понятно и естественно, что у развитого, мыслящего человека кусок нейдет в горло при воспоминании о том, что где-нибудь близ него бедняк гложет сухую корку или что голодные дети плачут на руках матери, не имеющей возможности накормить их. Весьма естественно, что такой человек чувствует скверное и болезненное чувство стыда при мысли о съеденном им труде бедняков. Но ему скверно и неприятно — это так, и он может захотеть содействовать тому, чтобы подобные чувства не имели бы больше причины возмущать пищеварение пообедавшего человека. Но скажите на милость, что такое изображает из себя господин, восхищающийся умом, остроумием и красотой мужика и питающий к нему платоническую любовь? На что способен такой лицемер, такой идиот? Не ясно ли, что, восхищаясь народом и твердя о своей любви к нему, он восхищается сам собой, звуком своего голоса, гуманностию своих принципов? Подобный господин — все тот же эстетик в новом виде, но, в сущности, и сами они и их принципы — одинаковая мертвечина.

Эти платонические поклонники народа дошли, наконец, теперь до того, что, повторяя прежних славянофилов, являются противниками всякой практической попытки сближения образованного общества с народом, как прежде препятствовали сближению передовых людей с обществом. Вполне понимая тягость такого разъединения и громче других вопия против разобщенности между обществом и народом, они с странной непоследовательностью становятся сами между тем и другим, считая для народа вредным влияние общества, зараженного гнилым Западом, и отказывая обществу в праве содействовать народному развитию. Они проповедуют в деле народного образования принцип laissez faire, laissez passer (88) и, как все последователи этого принципа, противоречат себе на каждом шагу. Их мистический взгляд на народную жизнь совершенно мешает им смотреть на дело прямо и практически, и у них в результате выходит, что не народ надо просвещать, а самому обществу нужно отказаться от своей цивилизации и обратиться к народному невежеству; результат, следовательно, тот же, к какому пришли некогда славянофилы: то же требование расстаться со всем своим нравственным имуществом в пользу невежества, бросить то, что приобретено десятками лет, чтоб ничего не получить, потому что ведь от народа обществу нечего получить; они сами говорят, что народ еще пребывает в девственной непорочности и только подает надежды, обнаруживает задатки. Славянофилы были последовательнее: те, по крайней мере, прямо объявляли вздором все не относящееся к пен-

нику и родным предрассудкам и были вполне довольны своим тупоумием, гордились им и лучшего ничего не желали. Между тем нынешние платонические поклонники народа вполне убеждены, что пенник не может заменить грамотности, что невежество вовсе не есть идеал народного благосостояния; но они хотят чего-то несуществующего и невозможного; хотят, чтобы народ научился без учителей, или чтоб учители преподавали ему мудрость, почерпнутую из него же. Но подобный взгляд до такой степени лишен всякого смысла, кроме мистического, что им приходится отделываться общими местами и воплями, показывая вид, что за этим скрывается нечто положительное, между тем как положительного у них ровно ничего не может быть, и они, выкликая против отрицательного направления, в сущности самые отчаянные нигилисты, потому что отрицают положительное или возможное во имя неосуществимого и мистического.

Но самая нелепость такого нигилизма делает их неопасными и безвредными, потому что они никого не убедят променять практическую деятельность на разные отвлечения. Их бессмысленное aissez faire, laissez passer доказывает лишь только то, что во время Добролюбова предстояла такая же необходимость сближения между народом и обществом, как во время Белинского между обществом и передовыми людьми.

Восставать против всего этого было задачею, предстоявшею Добролюбову. Посмотрим теперь, как он ее выполнял.

ЗНАЧЕНИЕ ДОБРОЛЮБОВА В ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВЕ

Хотя Добролюбов писал преимущественно статьи критические, но критиком не был и не мог быть.

Конечно, Белинский, которого задача была разбудить и расшевелить общество и дать ему отвлеченное понятие о прогрессе, мог сделать все это, почти не выходя из пределов эстетической критики. Но Добролюбов уже не мог оставаться в таких тесных рамках, если желал служить обществу. А он не только желал, и не мог не служить: для него это было необходимостию, но и он преследовал не литературные цели, а общественные. Если о Белинском он справедливо сказал, что для него было необходимо проповедывать свои идеи, то о нем самом можно так же справедливо сказать, что для него было необходимо действовать. Если Белинский под конец жизни должен был сделаться общественным деятелем, если рамки критики уже в его время оказались слишком тесны, то во время Добролюбова практическая деятельность должна была стать на первом плане. Рассматривая Добролюбова как критика, мы бы поступили в высшей степени несправедливо в отношении к нему. Будем ли мы при этом ограничивать критическое значение Добролюбова эстетическим воззрением или припишем его критике более глубокий и реальный взгляд, во

всяком случае несправедливость будет одинакова. После его отзывов о чистом искусстве и об эстетической критике не может быть о нем и речи как о достойном ценителе разных художественных произведений. Он лил холодную воду здорового смысла на горячий азарт приверженцев чистого искусства, и его здоровый взгляд необыкновенно раздражал этих господ.

«Но знаете ли что? — говорит он, — создания фантазии так ведь и остаются в области фантастических призраков и не переходят в действительность. Несмотря на все величие гомерических рапсодий, героический век с своими богами и богинями не явился в Греции во время Перикла, равно как и в Италии Виргилий, при всем своем красноречии, не мог уже возвратить римлян империи к простой, но доблестной жизни их предков и не мог превратить Тиберия в Энея. Мало того, явления, изображенные во всех названных нами поэмах, и сами по себе-то не имеют действительности и с каждым годом все далее отодвигаются в туманный мир призраков...

Увы!.. мечты поэта!
Историк строгий гонит вас! (29).

Что отжило свой век, то уже не имеет смысла, и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотою лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать тысячи людей на брань с неверными для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторенные в XIX веке, не произвели бы ничего, кроме смеха. Пиндар воспевал олимпийские игры, и вся Греция благоговейно внимала ему; в наше время никто уже серьезно не воспевает церемониальных процессий и торжеств всякого рода; а если и находились господа, воспевавшие излеровские фейерверки и иллюминации на разные случаи, то они всем показались до того пошлы, что не возбудили даже смеха... Пора бы уж бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлеб, объект, который можно съесть». (I, 499—500).

Таким образом, Добролюбов прямо говорит, что время фантазии и искусства прошло и настало время здравого смысла и реальных потребностей и стремлений. Эстетическую критику он предоставлял чувствительным барышням и присяжным эстетикам. Следовательно, заподозривать его в ней нет никакого основания.

Не трудно доказать, что если б Добролюбов был критик, то он был бы весьма плохой критик. Напрасно бы мы искали у него критического такта, верного понимания сущности критики, правильной оценки литературных произведений. Напротив того, нас

бы поразило множество промахов и ошибок, удивительная неспособность отличать верное изображение от фальшивого и надутого. Возьмем примеры.

Существует в нашей литературе комедия г. А. Потехина «Мишура». Посредственнее этого произведения, рассчитанного на вкус публики Александринского театра, быть ничего не может. Добролюбов берет из нее самую мелодраматическую сцену в кукольниковском роде и превозносит до небес ([40]).

Точно такое же достоинство имеют и стихотворения г-жи Юлии Жадовской. Белинский справедливо заметил, что г-жа Юлия Жадовская смотрит на небо не менее чем Леверрье, но с тою разницею, что Леверрье открыл там новую планету, а г-жа Юлия Жадовская извлекла значительное количество плохих стишков. Добролюбов также приводит образчики плодов созерцания неба г-жой Юлией Жадовской вроде, напр., следующих:

Опять спокойно надо мной
Сияют небеса,
И безотчетною слезой
Блестят мои глаза.

или следующих:

Чудная минута!
Будто счастья жду я...
И мечты слетают,
Нежа и чаруя.
Как на чувство сердце
В этот миг ни скупо,
Я готова плакать,
Как это ни глупо.
Что ж? Никто не видит...
Лейтесь, слезы, смело!
Месяцу с звездами
Что до вас за дело!

Если б стих был получше, то это стихотворение всякий бы принял за пародию, сочиненную, напр., г. Адамантовым. Кроме того, Добролюбов приводит стихотворения летние, зимние, осенние и весенние. Но что бы вы думали? — Приводит не в доказательство бездарности г-жи Юлии Жадовской и ее бесплодного созерцания неба, а наоборот, для подтверждения похвал, которые расточает ей ([41]).

Если подобные примеры убеждают нас, что Добролюбов был плохой критик, то его собственное суждение о критике доказывает нам, что он вовсе не был критиком.

По его словам, роль критики есть не только суждение «о литературе», но и суждение «по литературе» об обществе. «Автор, — говорит он, — выводит доброго и неглупого человека, зараженного старинными предрассудками. Критика разбирает, возможно ли и действительно ли такое лицо; нашедши же, что оно верно действительности, она переходит к собственным соображениям,

породившим такое лицо». «Критика должна сказать», — говорит он в другом месте: — вот лица и явления, выводимые автором; вот сюжет пиесы; «а вот смысл, какой, по нашему мнению, имеют жизненные факты, изображаемые художником, и вот степень их значения в общественной жизни». Но после всего, что я сказал о роли критики, такое определение, очевидно, слишком обширно, и собственно критика определяется уже первой половиной его; с прибавлением же второй мы уже выступаем из пределов критики, потому что начинаем судить по литературе об обществе. Предметом нашего суждения делается последнее, и мы становимся уже историками, публицистами, сатириками, а не критиками.

Поэтому и Добролюбов, будучи плохим или вовсе не будучи критиком, был сатириком, публицистом. Поэтому к нему так идут его же собственные слова: «Литература наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире».

В литературном произведении он видел главным образом не достоинства и недостатки его, а только главную мысль, выражаемую им. Если мысль ему нравилась, если он находил ее разумной и полезной для общества, то этого было вполне достаточно, чтобы ему понравилось и самое произведение. Например, в «Мишуре» г. Потехина ему понравилась мысль автора, который, среди всеобщего обличения взяточничества, захотел обличить пороки, совместимые с главной цивической добродетелью тогдашнего времени — отказом от взяток. Мысль, действительно, хорошая для того времени, когда все были совершенно убеждены, что на свете одно зло — взятки; поэтому Добролюбов расхваливает «Мишуру», потому что, на его взгляд, литературные свойства какого-нибудь произведения ничего не значат в сравнении с его мыслию.

Поэтому случилось так, что Добролюбов пользовался каким-нибудь произведением лишь как поводом высказать свой взгляд на ту или другую сторону общества. При этом он обыкновенно говаривал, что ему нет дела до того, что хотел сказать автор, а важно лишь то, что он сказал. После этой оговорки он уже не стеснялся: автор и его произведение откладывались в сторону, и начиналась речь о той или другой стороне общественного зла.

Как на примеры такой критики, укажу на две знаменитые статьи его: «Темное царство» и «Что такое обломовщина».

Но зато как широка была деятельность Добролюбова как сатирика и публициста! Благодаря ему после его смерти не могло повториться то, что воспоследовало за смертью Белинского. Пошлость и тупоумие получили от него такие жестокие удары, что с тех пор уже не могут притти в себя и никогда не приобретут прежнего самодовольствия и самоуверенности. Поэты насажденной литературы не осмеливаются воспользоваться удобным

случаем, чтобы писать серьезные подражания Якову Хаму, а кто из них и обладает достаточным бесстыдством для этого, тот не вызывает даже насмешки ([42]). Два-три стихотворения его сделали совершенно невозможными славянофильские гимны в честь пенника и русской удали. И если еще насажденная литература не сгибла совершенно, если она еще выползает на свет божий, то лишь потому, что не во власти Добролюбова было уничтожить самый источник ее; но он для будущего сделал то, что она не найдет достаточно простора и всегда встретит презрение как со стороны общества, так и со стороны литературы. Наконец, в «Темном царстве», в разборе «Накануне» он так глубоко заглянул в самую сущность нашего общества, как до него еще никому не удавалось.

Но для того, чтобы разрешить главную задачу тогдашнего времени, для того, чтобы обратить общество к народу, Добролюбов должен был иметь в виду главным образом последний.

И он, действительно, был самым полным и чистым представителем любви к народу. Любовь к народу и сочувствие к нему были у него не пустым звуком, как у поклонников принципа, и не мистическим отвлечением, как у платонических любовников народа, а живым и деятельным чувством. Правда, он иногда увлекался слишком этим чувством, иногда выражал его странно; в его симпатии к народу иногда слишком проглядывает увлечение не столько действительной жизнью русского народа, сколько западным демократизмом. Так, он с необыкновенным жаром и увлечением говорит о Беранже, о его народной музе и ее любви к народу. Он с восторгом повторяет его слова:

Ne sers que lui....
Sa cause est sainte. Il souffre.et tout grand homme
Auprès du peuple est l'envoyé de dieu*

Он повторяет эти слова, вовсе не скрывая, что, говоря о французском певце народа, имеет в виду наше общество и наш народ. Он недоволен, что русская литература и русское общество не смотрят так на свой народ, как Беранже смотрел на свой. Он порицает общество за то, что народ в его глазах — грубая толпа, неспособная к возвышенным, благородным и нежным ощущениям. «А между тем, — говорит он, — напротив, в нашем обществе все эти чувства развиты гораздо меньше. Если есть еще в мире поэзия, то ее нужно искать среди народа». Для его восторженных похвал народу последний является несколько идеализированным и польщенным.

Мало того: правда даже и то, что Добролюбов в своих отзывах о народе напоминает нам почвенников.

И у него проглядывает это мистическое воззрение на народ,

* Служи только ему... Его дело свято. Он страдает, и великий человек — перед народом — посланец бога. — *Ред.*

эта мысль о каких-то необычайных дарованиях, отличающих массу. «Мы, — говорит он, — т. е. образованный класс, можем держаться только потому, что под нами есть «твердая почва» — настоящий русский народ, а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частицу «великого» русского народа»... «И Гоголь, — говорит он далее, — не постиг вполне, в чем заключается «тайна русской народности», и он перемешал хаос современного общества, «кое-как изнашивающего лохмотья взятой взаймы цивилизации», с стройностью простой, чисто народной жизни, мало испорченной чуждыми влияниями, еще способной к обновлению на началах правды и здравого смысла».

Наконец, и то правда, что идеальные представления о народе вводили Добролюбова иногда в заблуждение и заставляли его слишком много ждать от народа. Иногда даже он принимал тон, весьма напоминающий тон платонических поклонников народа, и восторгался там, где следовало учить. В такой восторг он пришел, напр., при известии о появлении обществ трезвости. «Прежде мужик покупал вино, потому что, хотя оно было дорогонько, но все еще можно было выносить; а тут вдруг поднялась цена до того безобразная, что мужик махнул рукой да и сказал себе: «нет, лучше не стану пить; дорога больно окаянная». Сказал да и сделал — не стал пить; потому что он не то, что мы, образованные господа, — не станет тратить слов попустому. Глубокая вера этого народа выражается не на словах, а на деле. Это не то, что фразеры, о которых мы говорили. Толками тех господ нечего увлекаться, на них нечего надеяться; их станет только на фразу, а внутри существа их господствует лень и апатия. Не такова эта живая, свежая масса: она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалями и часто даже сама не понимает их хорошенько. Но уж зато, если поймет что-нибудь этот «мир», толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет это слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться».

Такие выражения, как «тайна русской народности, лохмотья взятой взаймы цивилизации, живая и свежая масса», такие выражения, от которых бы он, верно, теперь с ужасом отступился, увидя, на что они употребляются, убеждают нас, что Добролюбов разделял идеально мистические воззрения почвенников на народ. Но в сущности он был по убеждениям диаметрально противоположен этим ненужным людям. После всех этих лирических выходок он восклицает, обращаясь к обществу: «Да, надобно трудиться для него, надобно вдохновляться им, но для этого надобно знать и сочувствовать ему!» В результате его взгляда на народ и отношения к нему общества все-таки выходило, что общество должно трудиться для того, чтобы сблизиться с народом, не отказываясь от просвещения, а усваивая его, чтобы поделиться им с народом. Время Добролюбова есть вместе и наше время.

Поэтому говорить о результатах его деятельности нельзя, потому что они еще не совсем выяснились. Притом всякий желающий иметь понятие о том, насколько наше образованное общество успело сблизиться с народом, может узнать это из собственных наблюдений. Как скоро взгляд на современную жизнь покажет, что успех значителен, то нет никакого сомнения, что Добролюбову принадлежит в этом деле большая заслуга; конечно, он был не один, его деятельность имела помощников; но тем не менее популярность и слава, приобретенные им в течение столь краткой карьеры, доказывают, что его влияние было одно из первых, если не первое.

С чувством глубокой признательности и любви останавливаемся мы перед светлой личностью Добролюбова, которая уже принадлежит нашей истории и стоит выше мелкой злобы задетых им самолюбцев. Как перед могилой Белинского, так и перед могилой Добролюбова мы спрашиваем себя, жаловаться ли нам на судьбу, похищающую преждевременно наших руководителей, или благодарить ее за них...

Тысячу раз готовы мы сказать: да!

Но все, которым дорога его память, чьи симпатии принадлежат ему, кого увлекают его слова, все, одним словом, которые любят и уважают его, должны помнить, что не бесплодное сожаление о прошедшем и утраченном, а честный и бодрый труд и непреклонную деятельность он оставил нам как лучшее воспоминание о себе.

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ КАРЛА РИТТЕРА

Лекции, читанные в Берлинском университете и изданные г. А. Даниелем. Перевод Я. Вейнберга. Изд. Глазунова. М. 1864.

ИСТОРИЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ И ОТКРЫТИЙ ПО ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ

Лекции Карла Риттера, читанные в Берлинском университете, изданные г. А. Даниелем. Перевод под ред. Н. Бакста. (С портретом автора). Издание О. Бакста. Спб. 1864.

География, подобно всем другим отраслям знания, подверглась в течение последней четверти века существенной реформе. С одной стороны, этому способствовал более глубокий взгляд на достоинство и значение науки, развившийся в последнее время; с другой же — новейшие путешествия и бесчисленные открытия, сделанные на этом пути в таких же обширных размерах, как и на всех других. Александр Гумбольдт и еще специальнее Карл

Риттер могут быть названы основателями новейшего землеведения, не имеющего ничего общего с прежними схоластическими учебниками географии. Два небольшие сочинения Риттера являются теперь в русском переводе, и уже объявлено издателем Глазуновым о скором выходе его «Европы». Отдавая полную справедливость заслугам Риттера и желая наискорейшего утверждения у нас разумных начал, на которых он основал свою науку, нельзя не заметить, однако, что оба явившиеся в переводе сочинения его едва ли достаточны для справедливой оценки заслуг этого ученого. Небольшая книжка «Общее землеведение», составленная по его лекциям известным географом Даниелем, может иметь значение лишь настолько, насколько она служит осуждением старого понятия о землеведении. Здесь Риттер вполне основательно и справедливо доказывает недостаточность и даже совершенную негодность существующих учебников, составленных не на разумном основании наблюдения и личного знакомства с предметом, а на догадках, соображениях и гипотезах. Это относится не только к описанию таких известных стран, как внутренность Азии, Африки или Австралии, но даже к самым известным местностям. Так, Риттер, несмотря на бесчисленное множество существующих описаний Германии, не задумывается сказать, что из числа их нет ни одного, сколько-нибудь сносного. С этим, разумеется, охотно согласится каждый, когда-либо видавший те сухие, до-нельзя скучные перечни, которые известны под именем географий. В то же время всякий, читавший какое-нубудь порядочное описание путешествия, знает, что землеведение, в настоящем смысле, может представлять глубокий интерес. Конечно, для полного ознакомления с предметом недостаточно книжного знания; тот, кто со смыслом изучил соседние к нему 10 миль, будет гораздо более знать в землеведении, чем человек, вызубривший самый многотомный учебник «Всеобщей географии», как они обыкновенно себя величают. Следовательно, и здесь, как и во всех прочих отраслях естествознания, личное наблюдение дороже книжной учености (1). Природа открыта для каждого желающего изучать ее, и с небольшого клочка земли человек может приобрести гораздо больше познаний, чем из целой библиотеки ученых и глубокомысленных сочинений. Хорошие описания путешествий драгоценны потому, что отчасти могут заменить личное наблюдение в отношении стран, недоступных для желающих познакомиться с ними. Образцом такого рода сочинений могут служить описания Г. Форстера его путешествий (2). Зато рассказы праздношатающихся туристов Риттер справедливо ставит на одну доску с учебниками, потому что, если последние надоедают сухим перечнем собственных имен, то первые сбивают с толку вздором. Подобные соображения особенно важны для всех, занимающихся преподаванием географии. Надо желать, чтобы им поскорее наскучило набивать головы

своих учеников разными Ободовскими ([3]), чтобы они обратились к более живому и полезному способу преподавания. Ободовских пора бросить под лавку, потому что теперь уже есть много прекрасных книг, чтение которых представляет большой интерес и способствует развитию ученика. Что касается до положительной стороны книжки Риттера, то она слишком незначительна, чтоб быть интересной. Большая часть ее посвящена установлению географических понятий, доселе весьма неопределительных, как, напр., понятие о плоскогории, применявшееся вкривь и вкось. Затем следует общий весьма краткий взгляд на форму и положение материков и морей, не лишенный, по моему мнению, странностей в уподоблениях и определениях. Так, напр., нельзя не заметить некоторой натяжки в сравнении Европы с «венчиком растения, коего корень и ствол представляет середина Азии», при чем замечается, что «Африка есть менее развившийся побочный ствол»; странно также уподобление Европы животному организму; я сомневаюсь, чтобы можно было сказать: «что Европа есть лицо планеты, лицевая сторона Старого света, из глаз которого (?) наиболее ясно проглядывает дух народный и душа всего человечества, в последовательном, преуспевающем своем развитии». (Стр. 170).

Что касается до «Истории землеведения» того же автора, то объем ее (208 стр.) слишком невелик для того, чтобы она могла быть особенно интересной. К тому же при незначительности объема в ней множество повторений, неизбежных при той системе изложения, которую избрал автор. Именно, он описывает успехи землеведения у каждого народа в отдельности (это особенно относится к древнейшим векам), вместо того чтобы следить за ними относительно постепенного ознакомления всемирной истории с различным странами, подобно тому как он поступает относительно Гренландии и Северной Америки. К тому же он совершенно не упоминает о географических изменениях, происшедших уже в исторические времена и, следовательно, прямо касающихся его предмета. Так, хотя он и говорит о том, что причиной забвения Гренландии и Северной Америки, открытых еще в IX и X вв., и гибели поселившихся там норманских колонистов были льды, окружившие берега этих стран и преградившие доступ к ним, но не объясняет причину этого факта. На эту причину указывает, между прочим, Шлейден в своих популярных лекциях. Именно, она состоит в прекращении теплого течения, направлявшегося от устья Миссисипи к северу и делавшего климат Гренландии и Исландии более умеренным, что доказывают колонии, процветавшие на этих берегах до XIV в. нашей эры. Течение это постепенно исчезало, как остаток того времени, когда северо-западная Африка, Азорские острова и Португалия были еще непосредственно соединены с юго-восточной частью

Северной Америки. Так как такое распределение суши существовало в конце третичного периода, то географ, для уразумения настоящего и исторического, должен бы был обращаться к давно прошедшему. Но дело в том, что при настоящем состоянии геологии ни географ, ни историк не могут игнорировать ее *. «Успехи палеонтологии, — говорит профессор Рюишмейер «Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. Untersuchungen über die Geschichte der Wilden-und der Haussäugethiere in Mitteleuropa»), — в хронологии истории животного мира подают надежду сделать много для истории домашних животных, которая тождественна с нашей собственной. Надежда эта тем основательнее, что краниология, получившая новое значение при помощи Рециуса и фон-Бера, уже пролила много света на этот предмет. Сверх того, работа может итти в одно и то же время в восходящей линии со стороны геологов и в нисходящей — со стороны антиквариев. Уже стучит геологический молот в каменном периоде, и он проник уже рядом с заступом антиквария до дилювия (потопного периода земли); границы между геологий и историей с каждым днем становятся уже». Границы же между познанием настоящего вида земной поверхности и прежнего окончательного сравнялись. Краткий очерк истории географических открытий, набросанный Риттером, показывает нам, подобно истории всех прочих открытий, как несправедливы и преувеличены похвалы и почести, воздаваемые отдельным личностям. Люди, которым посчастливится пожать плоды трудов и усилий своих предшественников, остаются в памяти потомства какими-то полубогами. Слава их растет по мере удаления от них, и, окончательно заслоняя заслуги менее счастливых деятелей, разрастается до невероятных размеров. С ними случается то, что с древними вождями и царями, когда народные легенды приписывают какому-нибудь одному герою Нину или Сезострису подвиги и деяния, совершенные целыми десятками поколений их предшественников. Так велика склонность неразвитых масс создавать себе полубогов и героев, совершающих подвиги, наводящие изумление и не подходящие под масштабы трезвого человеческого понимания. Так велико пристрастие изобретать себе если не аристократию Олимпа, то аристократию гения, если не героев царей, то героев мудрецов! — так что надо год за годом, шаг за шагом проследить все открытия на поприще землеведения, надо вспомнить бесчисленное множество забытых открытий и тружеников. сделавших их, чтобы понять, что Васко-де-Гама и Колумб были не полубоги и не пророки, а только умные, энергичные, неустрашимые, любознательные люди, подобно множеству своих предшественников. Поэтому, никак нельзя согласиться с Риттером, когда он говорит:

«В прежние времена слепое влечение или инстинкт, бедствия

* В этом отношении надо отдать справедливость г. Семенову, составителю «Отечествоведения», который понял это и о котором речь впереди.

или фанатические страсти народов имели влияние на успехи открытий; в последние века отдельные географические открытия менее находятся в прямой связи с судьбами целых народов и государств, — они зависят более от судьбы отдельных личностей, от успехов промышленности, торговли, искусств и наук. Почти у всех народов отдельные личности делают великие открытия, от которых зависит общее благо народов и государств, современников и потомства» (стр. 206—7).

Вся книга Риттера служит опровержением этих заключительных слов его. Как ни кратко ее содержание, но его достаточно, чтоб показать читателям, что каждая отрасль науки есть машина, в которой все части равно важны и равно необходимы, и золотая стрелка, указывающая час и движущаяся в глазах зрителей, так же важна, как самый мелкий гвоздик, скрытый в глубине внутренности. Колумбы — только результаты деятельности тысячи других, из коих каждый имеет такое же значение, как и тот, на долю которого досталось слыть полубогом в глазах отдаленного потомства. Безобразный принцип «каждому по его достоинствам» мог возникнуть только среди того общества, где понятие о личности находится еще в варварском состоянии. В правильно организованном обществе такой мысли не могло бы притти в голову никому, тем менее передовому деятелю, потому что в таком обществе не может быть и речи о сравнительных заслугах и достоинствах. Nec plus ultra * всякой заслуги состоит в том, чтобы уметь быть разумно полезным себе; далее этого человеческое достоинство может шагать только в воображении тех людей, которые на деле хладнокровно взирают на какие угодно страдания своих ближних, а на словах любят о них скорбеть и плакать. Следовательно, ценить заслуги каждого может только он сам, и потребности его должны определяться не судьями его достоинств, а им самим. Но возвратимся к географии.

Надобно сказать, что вероятно составитель книжки Риттера сделал несколько довольно значительных промахов, которые трудно отнести на счет ее ученого автора. Так, на стр. 118 он говорит, будто армяне сделались известны лишь с IV века по Р. Х., благодаря распространению христианства, между тем как малому ребенку известно, что сношения их с римлянами, и особенно с парфянами, происходили еще до нашей эры. На стр. 145 калиф Аль-Мамун назван преемником Аль-Рашида, между тем как между ними царствовал Амин (809—13). Странно также, откуда почерпнул автор или составитель известия о том, что норманн Рюрик, получивший в 826 году вместе с братом Гаральдом от Людовика Благочестивого поместье на Эльбе и крестившийся в Ингельгейме, есть одно лицо, с Рюриком, о котором упоминается у Нестора. («Ист. земл.», стр. 158).

* Высшая степень. — *Ред.*

ГЛУПОВЦЫ, ПОПАВШИЕ В «СОВРЕМЕННИК»

Наконец-то, подумал я, прочитав фельетон первой книжки «Современника», наконец-то и этот блудный сын возвращается под родительский кров, где, по всей вероятности, не замедлит найти упитанного тельца! Наконец-то наш маскарад, кажется, окончательно приходит к концу: маски снимаются, сбрасываются таинственные домино, и загадочные турки и испанцы превращаются в давно знакомые нам лица. Невинная забава, видимо, утомила интриговавших друг друга с таким увлечением масок, и они спешат, разоблачившись, сесть за уготованный им ужин. Наиболее нетерпеливые давно уже угощаются обильными яствами; некоторые даже впали уже в сладкую дремоту; другие, более упорные, только теперь решаются снять с себя различные интересные костюмы. Целый год, например, милый фельетонист «Современника» носил костюм Добролюбова, прежде чем решился предстать перед публикой в своем собственном рубище. А между тем костюм этот давно уже тяготил его, потому что был слишком велик для него; давно уже путался он в его складках, спотыкался и едва не ронял его, обнаруживая при этом то светлую пуговицу, то красивое золотое шитье своего сановнического мундира. Но целый год упорный фельетонист не решался расстаться с этим костюмом и тщательно припрятывал выдающее его шитье. Теперь, наконец, он является нам тем, чем он есть на самом деле; мы смотрим на него и говорим: да, это он, тот самый, который «благоденствовал в Твери и в Рязани», и который с тех пор, в продолжение целого года, представлял собою величественное зрелище будирующего сановника (1).

Бедный сатирик! Бедный публицист! Сочувствую вам! И за что это вас обидели, за что заставили вас будировать, между тем как вы всегда были готовы улыбнуться и развеселиться. Впрочем, подумайте, не сами ли вы виною этому? Не по вашему ли недоразумению совершилось такое qui pro quo? Вы говорите теперь сами, что нечего чаять и ждать, потому что ожидаемая чаша давно стоит на столе. Для чего же медлили вы целый год прикоснуться к ней, для чего капризничали и оппонировали? Вы говорите: «Птенцы, внемлите мне! Вы, которые еще полагаете различие между старыми и новыми годами (не без некоторых, конечно, любострастных в вашу собственную пользу надежд), вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы, все стучащие и ни до чего не достукивающиеся, просящие и не получающие, — все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру. Новый год, наверное, будет повторением старого, потому что и старый был хорош; никакой чаши ниоткуда не сойдет по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее» (стр. 25). Вот видите ли! Моло-

дежь вы упрекаете за неумение пользоваться из чаши и смеетесь над ней за ее недовольство имеющимися благами, полагая, что «крохоборническое назначение ее» есть именно вечно желать. Зачем же сами вы, почтенный муж, представлялись недовольным и делали вид, что чего-то желаете? Разумеется, мне известно, что желания ваши не совпадали с теми, за которые вы упрекаете молодежь, мне известно, что ваше недовольство было будированием, да и не мне одному это известно, а всякому, кто со вниманием прочел, например, рассказ «Ваня и Миша», имеющий солидарность с вашими фельетонами (2); но, спрашиваю я вас, из-за чего же вы представлялись чающим и стучащимся? Очевидно, что вы или ошиблись, или прикидывались; но вы хотя и не отличаетесь особенною проницательностью, но настолько сметливы, чтоб не ошибаться. Ваша сметливость так велика, что вы открыли чашу, о существовании которой подозревал только г. Катков. Вы, наконец, убедились, что из будирования проку мало, что стучать и просить нелепо, когда чаша и без того на столе. Но вы не своекорыстны; открыв чашу, вы не спешите первые поглотить заключающийся в ней напиток, а приглашаете к ней и птенцов, над которыми подтруниваете. Но они брезгают теми подонками, которые вы приглашаете их разделить с вами, и вот — если хотите знать — различие, существующее между ними и игривыми экс-администраторами!

Только вот что: уж если пошло дело на разоблачение, так извольте разоблачиться. Вы полагаете, что нигилисты вскоре преобразятся в титулярных советников и что вскоре «все там будем». Скажите, пожалуйста, какая бесцеремонность и незастенчивость! Как же это вы не рассчитали, что найдутся люди, которые ответят вам на это, что не вам бы это говорить и не нам бы слушать? Неужели вы не предвидели этого возражения? Что же вы за сирота казанская? Знаете ли вы, что, прочитав эти слова ваши, нашлись люди, подумавшие, что вы упрекаете нигилистов за то, что дальше титулярных советников они не пойдут. Видите ли, как скромность-то ваша вам не к лицу. Нашли, что сказать: «все там будем!» Еще кто будет или нет, а вы ведь уж давно там.

Конечно, на все это не стоило бы обращать внимания, как не обращали внимания на проделки Павла Мельникова, Воскобойникова и других, ранее вас покинувших взятые на прокат костюмы (3); на это, конечно, не стоило бы тратить и того внимания, которое было обращено на взбаламученную выходку г. Писемского (4), если б вы выделывали ваши курбеты где-нибудь вроде «Русского Вестника». Но нельзя равнодушно смотреть, как вы администраторствуете на тех самых страницах, где еще так недавно мы прочли «Что делать?» (5). Омерзительно видеть самодовольного балагура, дошедшего, из любви к беспричинному смеху, до осмеивания того, чем был вчера, и провозглашающего

глуповскую мораль вроде следующей: «яйца куриц не учат»! Ну что ж, читатели «Современника», бросайте Добролюбова, отворачивайтесь от него — ведь он принадлежал к числу «птенцов» и осмеливался учить и даже проучивать таких почтенных кур, как г. Погодин, или г. Аксаков, или даже г. Щедрин ([6]), который не может до сих пор простить ему и в отместку старается ущипнуть его в своем курятнике. Фельетонист, впрочем, не допускает и мысли о том, чтобы кур могли не слушаться или чтобы яйца могли преподать что-нибудь курам. Подобный афронт может случиться, по его мнению, лишь тогда, когда дети будут рождать отцов, что одинаково нелепо. Странно только, что, говоря это, фельетонист забыл, что только-что сам отрицал всякое различие между старыми и молодыми годами. По его же выходит, что старости приличествует научать юношество, а юношеству слушаться старости. Чего ж еще? Юные нигилисты, имеющие поступить в титулярные советники, в последнем случае не замедлят испытать справедливость этого, особенно если судьба даст им юмориста-начальника.

Фельетонист, видимо, старается подражать г. Писемскому и его «Взбаламученному морю». Он, вероятно, нашел, что диалоги — форма, весьма приспособленная для поражения нигилистов, и приводит такого рода беседу между собой и одной нигилисткой, бывшей в опере, где, — прибавляет остряк, — давали, конечно, Карла Смелого (при этом я вспоминаю «Запутанное дело», рассказ Н. Щедрина, и размышляю о различии между молодыми и старыми годами) ([7]); нигилистка, поставленная фельетонистом под удары своего сарказма, достойного самого Никиты Безрылова ([8]), негодовала будто бы на Шарлоту Карловну.

«— И как она смела, эта скверная, — *визгливо* заключила рассказчица, топая ножкой.

— Да вам-то что до этого? — спросил я, пораженный некоторым изумлением.

— Помилуйте! Я честная нигилистка, задыхаюсь в пятом ярусе, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественного темперамента смеет всенародно показывать своих плечи — где ж тут справедливость? и неужели правительство не обращает, наконец, на это внимания?

. . . .

— Ну, согласились лы бы вы променять вашу чистую совесть на ложу в бель-этаже? — спросил я в заключение.

— Конечно, нет! — отвечала она, *но как-то так* невнятно, что я должен был повторить свой вопрос...»

Не делает чести вашему остроумию, обоюдоострый фельетонист, что вы не выдумали для поражения нигилистов ничего лучшего, как позаимствоваться от г. Писемского. Надеюсь, однако, что, наконец, наши записные остряки перестанут расточать перлы своей сатиры на каких-то неведомых юношей, подвизающихся

на поприще подслушивания или завидующих Шарлотам Карловнам. Подобные изображения ровно ни к чему не ведут, потому что ни для кого не ново и следовательно не любопытно знать, что существуют на свете подслушивающие юноши, точно так же, как и шпионствующие старцы. Виктор Басардин г. Писемского (9) и нигилистка фельетониста могут быть, сколько угодно фантазии их изобретателей, гадки и пошлы, потому что всякий знает, что Россия не населена сплошь героями и гениями. Гораздо более любопытный субъект для сатирического ума представляют собою другие личности. Вот хоть бы, напр., остроумный фельетонист, не далее как год тому назад распалившийся гневом за то, что один журнал заподозрил искренность его нигилизма. Тогда фельетонист излил целые потоки красноречия, чтобы доказать, что на новую свою деятельность он не смотрит, как на перемену места служения, и чтобы заверить публику, что он есть истинный и непреложный нигилист (10). А, глядишь, через год сам проповедует куриные пренсипы (11) и негодует на птенцов. В прошедшем году фельетонист в пылу гнева так распетушился, что вздумал подтрунивать над «Мертвым домом». Он поддразнивал своих противников, что они «сидели в роще и смирно толковали», как-будто сам он не весть какие подвиги совершил. Тогда насмешка над «Мертвым домом» казалась просто бестактностью и следствием привычки к повелительному наклонению (12). Но теперь фельетонист с успехом доказал, что это было не более, как следствие особенного пристрастия его к смеху, вызываемому не столько внешними предметами, сколько игривостью нрава. Вот теперь его разбирает смех по поводу романа «Что делать?». Он юмористически, но в сущности бессмысленно намекает на него, изображая нигилистку, рассекающую труп и в то же время подпевающую: «Ни о чем я, Дуня, не тужила». Ибо, прибавляет фельетонист, со временем, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет (13). Подобная выходка может показаться совершенно ясной и достойной изумления, ибо где же видно, чтоб какой-нибудь администратор издевался над учреждением, украшаемым его собственной персоной. Надо помнить также, что человек, чувствующий неопределенный позыв к смеху, за недостатком других материалов берет то, что находит. Да и изумляться решительно нечему и не следует, а надо смотреть «в корень», и тогда все покажется естественным. Неужели же всякий раз изумляться, когда кому-нибудь приходит в голову сбросить с себя маскарадное платье? Ведь этак удивления нехватит и, наконец, поневоле привыкнешь. Два года тому назад простительно было изумляться, но пора же, наконец, перестать! Пора научиться узнавать людей не по вывескам и ярлыкам, которые они прицепляют, а по другим, более существенным, признакам. Что касается до остроумного фельетониста, то я не стану здесь доказывать,

что нынешний его курбет — вещь, которой удивляться не нужно, потому что все относящиеся к этому предмету доказательства читатель найдет в статье г. Писарева «Цветы невинного юмора». Я же спокойно скажу, что фельетонист не замедлит пойти и далее по открытой им торной дорожке.

Прежде чем расстаться с почтенным фельетонистом, считаю нужным сказать ему несколько слов. В его обоюдоостром фельетоне между прочими прелестями виднеются верхушки какой-то довольно скверной, сколько можно судить по верхушкам, выдумки ([14]). Фельетонисту должно быть известно название того поступка, когда клевета является на свет божий в виде темных намеков и закулисных сплетней, так что нет возможности ни опровергнуть ее ни даже разобрать; так что не знаешь, чему более удивляться — пошлости факта или трусости того, кто желает укусить впотьмах. Не робейте, милый мальчик, и объяснитесь попрозрачней; авось в верхушках и хвостиках вашей клеветы вы узнаете себя скорее, чем тех, на кого метите. Мы надеемся, что он потрудится несколько раскрыть свои намеки, дабы их можно было определительно назвать соответствующим именем. На этом пока мы покончим с почтенным фельетонистом и обратимся к «Современнику».

Мы можем сказать смело, что были всегда чужды барышнических расчетов о числе подписчиков, которых так любят зазывать к себе другие журналы. Мы всегда полагали, что подобные соображения в деле оценки достоинства журналов не достойны литературы и что умолчание о заслугах какого-нибудь журнала или отрицание их — дело, унижающее литературу. На этом основании мы всегда заявляли о нашем полном сочувствии к «Современнику» и не умалчивали о том, что это лучший из наших журналов. И теперь, несмотря на потери, понесенные им, наши симпатии принадлежат ему вполне, и мы желаем ему полного успеха, потому что считаем его полезным.

Но именно вследствие всего этого, мы признаем себя в праве быть требовательнее относительно «Современника», чем относительно какой-нибудь «Библиотеки для Чтения». Я полагаю, что подобный взгляд на этот журнал разделяет большинство его читателей. Поэтому обращаю внимание уважаемых сотрудников «Современника» на новое направление, придаваемое этому журналу г. Щедриным; прошу их вспомнить обличения, которыми они часто преследовали литературное ренегатство, и заметить, что «Современник» находится в эту минуту на весьма скользком пути. После Добролюбова, каждое слово которого было запечатлено такой горячей симпатией к молодому поколению, после «Что делать?», в котором не видно ни малейшего желания лизоблюдничать, было бы неприятно видеть «Современник» подражающим «Русскому Вестнику» в брани и злобе на все, что старается высвободиться из-под рутины и дышать по-человече-

ски. Теория «со временем», проповедуемая остроумным фельетонистом, могла бы особенно ловко красоваться на страницах «Отечественных Записок», не становясь в явный разрез с противоположной теорией Добролюбова; насмешки над «Что делать?» могли бы с успехом отличаться где-нибудь в «Московских Ведомостях» или в «Развлечении».

Г. Антонович некогда так сильно восставал против «Отцов и детей» г. Тургенева ([15]). Но если он беспристрастен, то должен сознаться, что мудрое правило относительно обучения кур яйцами выражено г. Тургеневым гораздо скромнее, чем остроумным фельетонистом «Современника». Г. Пыпин до сих пор еще не может издать книжки, не упрекнув в предисловии г. Тургенева за пренебрежительный отзыв его об изучении молодежью естественных наук ([16]). Я не могу не согласиться с г. Пыпиным, что такой упрек справедлив, хотя не могу не заметить, что отзыв Тургенева — верх голубиной кротости сравнительно с рычащими лесным воем остротами игривого экс-администратора, издевающегося в «Современнике» над «милыми нигилистками», бесстрастною рукою рассекающими трупы. Я понимаю, что обитателям Глупова такое зрелище может казаться увеселительным; но меня изумляет, что веселое настроение, произведенное в них, может находить себе убежище на страницах «Современника». Прошу вас, господа, обратить внимание на эти соображения, потому что в противном случае очень легко может произойти то, что все, некогда обиженные вами за уживчивость, обрадуются случаю обратить ваши стрелы против вас же самих. И они будут правы. Конечно, сила авторитетов у нас такова, что г. Щедрин и подобные ему могут еще долго совершать публично все, что им угодно, питаясь славой своих предшественников, но в глазах всех маломальски порядочных людей этого недостаточно. Никто же не благоговеет перед г. Дудышкиным за то, что он занял место, занимаемое некогда Белинским. Всякий очень хорошо понимает, что между ними нет ничего общего, и что Белинский, если б был жив, не имел бы никакой солидарности с нынешними «Отечественными Записками». Поэтому можно предполагать, что, несмотря на значение авторитетов, разница между щедринским стилем и направлением Добролюбова, наконец, выяснится. Скажу прямо: совместить в себе тенденции остроумного фельетониста с идеями Добролюбова журнал, уважающий себя, не может. Надо выбирать одно из двух: или итти за автором «Что делать?», или смеяться над ним. Посмотрим, как-то вы выйдете из этого поистине глуповского положения.

ЮЛИАН ШМИДТ. ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выпуски 3 и 4. Спб. 1863—64. Изд. Тиблена.

Из двух выпусков «Истории французской литературы» Ю. Шмидта последний, которым оканчивается I том, может служить подтверждением всего сказанного мною об этой книге при разборе двух первых ее выпусков (1). Здесь идет речь о публицистах, историках, философах и критиках первой половины XIX века. Все эти господа занимались или историческими памфлетами против XVIII в., или опровержением его философии, или, наконец, в качестве публицистов практически действовали в политической жизни, враждуя в речах, брошюрах и журналистике с наследством, оставленным Франции прошлым столетием. Эту деятельность Ю. Шмидт называет почему-то примирительной. Конечно, писатели, о которых он говорит в этой части своего сочинения, не были такими отчаянными фанатиками, как де-Местр, но и примирительного в них ничего не было. Это была реакция не инквизиционная и не ультрароялистская, а буржуазная, действовавшая не огнем и мечом, а подавляющим гнетом своей жалкой посредственности. Но вся деятельность их имеет смысл именно как буржуазная реакция, наступившая вслед за реакцией аристократической; это заставляет историка беспрестанно обращаться для оценки их к рассуждениям о революции, и здесь в полном блеске проявляется его тупая вражда к прошлому, ко всему, что выходит из пределов золотой или мещанской середины.

Ничего нет удивительного, что голова Ю. Шмидта не переваривает таких сложных и мировых событий, как старая французская революция, но он доходит в этих случаях до крайних пределов смешного. Кажется, что цель его состоит не в оценке французской литературы XIX века, а в косвенном порицании посредством сближений примеров и аналогий умственного движения XVIII столетия. Заговорит ли он о Ламартине, смотришь — поражает его тем, что уподобляет Робеспьеру. Ламартин и Робеспьер! Кому придет в голову отыскивать между ними сходство? А между тем Ю. Шмидт говорит прямо: «В признании демократического принципа Ламартин доходит даже до прославления Робеспьера»... и в отмщение за это вольнодумство решается поразить Ламартина, проводя параллель между ним и Робеспьером:

«Если взглянуть попристальнее, то, несмотря на совершенную противоположность темпераментов этих двух личностей, с удивлением можно заметить между ними некоторое сходство. Оба доходят постепенно до уничтожения смертной казни; оба высказывают в большей части своих речей благороднейшие и милосерднейшие воззрения о значении гуманности; оба в применении

к отдельным случаям умеют делать нужные ограничения. В короткий период своего пребывания во главе дел Ламартин доказал, что мог бы итти рука об руку с террористами» (Вып. IV, стр. 36).

Правда, затем он спохватился и объявляет, что далее этого сравнение нельзя вести; но отводит душу еще раз, сравнив Ламартина с главою террористов, в чем бы вы думали? — в «деликатности привычек!» (стр. 29).

Историков этого периода он порицает или одобряет, смотря по тому, как они относились к великому перевороту. Если кто из них не восклицает на каждом шагу о «злодеяниях шайки разбойников», о «кровожадности тиранов», о «неистовстве черни», если кто не выражается вроде следующего: «Шайка разбойников, которая обращалась с Францией, как с завоеванной страною, распалась, они вцепились друг другу в волосы» и т. д. (стр. 329), то тому нечего и ожидать хорошей отметки от благоусмотрения критика. В этом отношении он беспощаден, и нелепостям его нельзя отказать только в последовательности. Он бранит не только Мишле и Блана, даже не только Бюше и Ру, но гневается и на Тьера и даже на Минье. Похвалы удостоен только Барант. Он доходит до того, что на одну доску с «Histoire de la Revolution» * Мишле ставит жалкий пасквиль, сочиненный Ламартином под названием «История жирондистов», вероятно за то, что там еще слишком недостаточно клеветы и искажения исторической правды. Но несмотря на забавную ненависть к людям террора, благонамеренность Шмидта настолько последовательна, что он соглашается с Нодье, что «опасно» дать свидетельство в добропорядочном поведении Шарлоте Корде.

По мере того, как автор от 93 года приближается к 48-му, в его филиппиках революция и демагоги все более и более уступают место социализму, о котором рассуждения его отличаются крайним непониманием дела.

Хороши также некоторые заметки о писателях XIX века. Известно, например, каждому, что Тьер до того дописался о Наполеоне и его войнах, что не только изучил военные науки, не только вообразил себя великим полководцем, но даже дошел до того, что перестал различать, где кончается он сам и где начинается Наполеон. Когда маленький спекулятор помешался на этой idée fixe **, то над ним и его наполеоновскими позами и изречениями не мало насмехались. Вдруг Ю. Шмидт объявляет, что не может не видеть некоторого сходства между Наполеоном и Тьером на том основании, что Наполеон был величайший гений, а Тьер — лучший из его историков!

Не одобряет также Шмидт эмансипации женщин и, вероятно, не преминет поговорить об этом, когда речь зайдет об Жорж-

* «Историей революции». — *Ред.*
** Навязчивая идея. — *Ред.*

Занд. То-то наговорит хороших вещей, ради вящшего удовольствия наших доморощенных Ю. Шмидтов!

Читатели, вероятно, придут в справедливое изумление, если я после всего сказанного о книге Шмидта начну хвалить ее. Однако это необходимо, и каковы бы ни были недостатки I тома этого сочинения, они вполне вознаграждаются следующим. Дело в том, что в 1-й книге II тома речь идет о французской поэзии XIX века, и здесь Ю. Шмидту приходится иметь дело с менее замысловатыми вопросами. О движении XVIII века и о Робеспьерах речь почти не заходит, и историк, освобождаясь от своей нелепой боязни и ненависти к совершившимся событиям и к мертвым деятелям, оказывается человеком со смыслом. Суждения его необыкновенно метки и справедливы, примеры резки, и ему удается возвыситься до настоящего, неподдельного остроумия. Надо сознаться, что немногие смотрят на этот предмет так глубоко и правдиво, как Ю. Шмидт. Это тем страннее, что в первом томе он не только впадал беспрестанно в тривиальный тон, но и изумлял пошлостями и вздорными мнениями, даже рассуждая о предметах, повидимому, не имеющих отношения к политике, как, например, о сходстве Тьера и Наполеона I. В нем замечался, наконец, недостаток сведений и совершенное отсутствие самостоятельности в суждениях, о чем я уже говорил в июльской книжке прошлого года, указав на бесцеремонные заимствования, сделанные им у Сент-Бева (²). Тем большая самостоятельность видна у него в суждении о поэтах и поэтических произведениях.

Он произносит приговор не над какими-нибудь частными явлениями французской поэзии, но над всем ее содержанием. Частности и личности являются лишь затем, чтобы подтвердить многочисленными примерами справедливость общего положения. Скажу более, и читатели сейчас увидят это: Юлиан Шмидт является благоразумным противником всякой чистой поэзии, восстает вообще против принципа: поэзия для поэзии.

С первых же строк он высказывает свой общий взгляд, который притом, очевидно, не ограничивается французской поэзией первой половины XIX века. Вот что он говорит:

«Французские поэты *не уступают немецким* в желании выдать свое — по их мнению высочайшее в мире — призвание за какое-то бедствие и проклятие; они более или менее разыгрывают роль Кассандры. Бог повелевает им возвестить удивительнейшие вещи, но никто им не внемлет. Впрочем, в наше материалистическое время это противоречие объясняется не таким эфирным образом, как во время греков. Кассандра возвещает своему народу падение и страдает оттого, что предостережение не приносит плода. Это делают также и *наши* поэты, но только в часы досуга. Главное, по их мнению, заключается в том, чтобы божественное посланничество поэта выражалось и во внешнем блеске: мир должен воскуривать ему фимиам, или — выра-

жаясь прозаичнее — он должен ходить в шелку и в бархате, есть черепаховый суп и гнезда индейских птиц; вместо того свет оставляет его голодать, между тем как простые ремесленники богатеют. Это-то, собственно говоря, и есть главная причина чувства противоречия, одушевляющего новую французскую романтику. Пока поэт преследует, с одной стороны, высочайшие идеалы, недоступные толпе, понять которые берется только нечестивая дерзость; пока ему искусство представляется высочайшей святыней, служить которой должны бы только брамины, — уверенность, что его не оценят надлежащим образом, побуждает его воспользоваться средствами своих презренных сограждан для окружения внешним блеском своего высокого достоинства». (Вып. IV, стр. 3—4).

Со всем этим нельзя не согласиться. В самом деле, довольно для поэтов и того, что им поклонялись в течение стольких столетий со времен старца Гомера. Пора протрезвиться и увидеть громадную несоразмерность между пользой, приносимой поэзией обществу, и наградой, которую она получает; пора понять, что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько всякое положительное число, как бы мало ни было, больше нуля.

«Представляется жалкое зрелище, если следить за этим постоянным самолюбием вдохновенных, которые не пренебрегали самым низким средством, чтоб заставить уважать себя, и к которым учитель (Гюго) осмелился воззвать: „Lettrés, vous êtes l'élite de générations. L'intelligence des multitudes résummées en quelques hommes; vous êtes les instruments vivants, les chefs visibles d'un pouvoir spirituel, responsable et libre.

Peuples, ecoutez le poéte,
Ecoutez, le rêveur sacré
Dans votre nuit, sans lui compléte*
Lui seul a le front éclairé! **

Столь же бесполезные, сколько надутые сознанием своих достоинств и требовательные, поэты (разумеется, речь идет о служителях чистой поэзии, гнушающейся служить какому-нибудь практически полезному делу), собственно говоря, заняты всегда только сами собою, возвышенностью своего призвания, идеальностью своих чувствований, парением своей лиры. Когда они,

---

* Принимая это в иносказательном смысле, нельзя не согласиться. (Прим. *Зайцева*).

** Писатели! Вы избранники поколений, разум масс, выраженный несколькими людьми; вы живые орудия, вы явные вожди могущества духовного, ответственного и свободного.

Народы! Слушайте поэта.
Внимайте святому мечтателю.
В вашей ночи, без него беспросветной,
У него одного озаренное чело! — *Ред.*

повидимому, воспевают самые возвышенные предметы, то в сущности им дела нет до этих сюжетов своих восторгов. Занимает их исключительно собственная персона, и они наслаждаются звуками собственной музы. Везде на первом плане они сами, их чувства, их песня; оттого они так часто любят воспевать своих муз и свои лиры. Поэтому естественно, что невинный предмет, возбудивший их восторг, удаляется на второй план, хотя иногда и кажется, что они исключительно заняты им. Это доказывается их совершенным равнодушием к этому предмету, равнодушием, простирающимся до того, что если б стихи их принимать в положительном смысле, то оказалось бы, что они каждый день говорят против сказанного накануне. Ю. Шмидт представляет нам целый ряд поэтов, подтверждающих справедливость этого мнения. О них можно обо всех сказать то, что он говорит о В. Гюго: «На В. Гюго нападали за изменение образа мыслей, но у него никогда не было определенного образа мыслей. Он стремился отыскивать блестящие краски и сильные ощущения. Предметы служили только для этой цели, и вдохновляли ли его Наполеон или Вандея, социализм или католичество, — он искал только картин»...

Никто, в самом деле, не может упрекнуть В. Гюго в продажности или лести всякому, кто силен. В жизни его мы видим прямые доказательства, что он — человек честный и способный к сопротивлению. Однако ж, если б он не был поэт, если б мы судили его, как человека здравомыслящего и поэтому ответственного за свои слова, то не могли бы притти к такому выводу, весьма снисходительному, но не совсем, впрочем, лестному. Будь он публицистом, мы бы не приняли в расчет его деятельность последних лет, потому что мы бы знали, что у публициста слова не суть выражение минутного настроения, а результаты всей его умственной жизни, и относились бы к нему, как относимся к какому-нибудь Каткову. Мы ведь знаем, что в 1822 г. он писал, что на историю надо смотреть «с высоты роялистской идеи», что революция «из грязи и крови» отвратительна и бессильна; мы знаем, что в это же время и после он приходил в самый поэтический восторг по поводу рождения Шамбора и доходил до пафоса, ликуя о победе инквизиции в Испании. Мы знаем, что в 1825 г. он называл Карла X «святым и великим королем» и просил господа «придать два луча его главе», мы знаем, что по смерти Наполеона он изливал на него потоки лирической брани, а при погребении его — такие же потоки лирических слез, что он радовался и революции 30-го года, гибельной для «святого и великого короля», и революции 48-го, хотя под властью Орлеанского дома и писал, что все идет как нельзя лучше и что все ведут себя прекрасно, начиная от работника до «коронованного мудреца». Как же не согласиться с Ю. Шмидтом, когда он говорит:

«Не имея собственного содержания, Олимпио, вопреки чувству собственного достоинства, давал себя всегда увлекать общественным мнениям. Ультра-роялист в 1819 г., якобинец в 1832 г., консервативный государственный человек в 1845, социалист в 1848 — все это были маски во вкусе времени»... (стр. 189).

Конечно, эти черты относятся не к личности Гюго. Для доказательства этого мы посмотрим на другого поэта, не имеющего в литературном отношении с Гюго ничего общего, кроме того, что оба поэты. Но этого вполне достаточно, чтобы в жизни они могли служить друг другу точными фотографическими снимками и сходствовать во всех подробностях. Так, мы видим, что и Ламартин воспевал испанский поход 1823 г. — это возмутительнейшее событие реакционного времени; и он славил коронацию Карла X и рождение Шамбора и даже собирал камни на берегу Иордана, и, подобно Шатобриану, привез с собою во Францию бутыль с иорданскою водою. И он при Людовике Филиппе жил, как подобает жить либеральному буржуа, а потом был членом республиканского правительства, при чем опять не удержался, чтоб не изменить и новому своему знамени. И опять-таки, в виду всего этого, но и в виду также честности и бескорыстия знаменитого поэта нельзя не согласиться с Ю. Шмидтом, когда он объясняет эти факты так:

«В речах, как и в стихах, он переходил от восточного вопроса к крестовым походам, от крестовых походов к рыцарству, от рыцарства к средним векам вообще, от средних веков к библии, от библии к железным дорогам и к пауперизму. Дилетант во всех серьезных вопросах, романтик и поэт, он сначала держался консервативной партии; когда же правительство в продолжение многих лет не сделало ничего героического, он перешел к оппозиции» (стр. 30).

Вообще Ламартин не настолько загадочен, чтобы приходилось долго ломать голову над объяснением неблаговидных поступков этой честной, впрочем, натуры. Мы видим, что он даже не был дилетантом в серьезных вопросах, как говорит Ю. Шмидт, а просто никогда и не помышлял о них. Если иногда он и касался их, то единственно как предметов, могущих возбудить его к песнопению, хотя, разумеется, ему позволяли шутить с слишком важными вещами, чтобы дело могло обойтись дешево Франции. Но это не его вина, а вина тех, которые позволяли ребенку играть со свечкой, которые не побоялись вверить поэту судьбы европейской свободы. Вышло плохо, потому что подававший надежды господин, щеголявший в самых разнообразных костюмах, был все-таки поэт, влюбленный в свою особу и в свои звуки. Ю. Шмидт удачно и остроумно выставляет факты, доказывающие, что такие люди пользуются самыми важными, роковыми и решительными минутами жизни не только отдельных лиц, но и целого общества, чтоб только полюбоваться своей фигурой

среди этой трагической обстановки. Как нельзя метче замечает историк, что сочинение его о февральской революции можно озаглавить: «Речи и мнения господина де-Ламартина с историческими объяснениями». Можно бы было сказать: «Речи, мнения, мечты и чувствования», потому что описанию последних посвящено также не мало места. Здесь я приведу слова Шмидта, окончательно характеризующие Ламартина и подобных ему:

«Всего охотнее Ламартин останавливается на своих собственных гримасах: его кроткая, светлая, гуманная и все-таки умная улыбка пространно описывается в три или четыре приема; когда он о чем-нибудь задумывается, то основательно описывается положение его рук, головы и все морщины на лбу; вероятно, у Ламартина во время самых ужасающих сцен было в руках карманное зеркальце... Во временном правительстве на нем лежала обязанность постоянно занимать речами поднявшийся народ. Через каждые 20 минут собиралась новая толпа перед Hôtel de ville* требовать отчета у новых властелинов. В таких случаях все равно, что бы ни говорить, лишь бы было громко и выразительно: «Сограждане! Друзья! Великодушный народ! Благороднейшие пролетарии! Победоносные санкюлоты! и т. д. Ламартин не избавляет нас ни от одной своей речи; мы должны 20 раз сряду выслушать одну и ту же историю, для того, чтобы насладиться заключительным «ура», сопровождающим речи новомодного цицерона» (стр. 46).

В другом месте историк справедливо замечает, что созерцание своей красоты не оставляло поэта и тогда, когда он присутствовал при смерти дочери. В стихотворении, в котором он оплакивает ее, находятся такие стихи:

Le front dans mes deux mains, je m'assie sur la pierre
Pensant à ce qu'avait pensé ce front divin,
Et repassent en moi, de leur source a leur fin,
Ces larmes, dont le cours a creusé ma carrière **.

Остроумны также и весьма справедливы замечания Шмидта касательно отзывов поэта о собственной своей матери, отзывы, возмущающие каждую непоэтическую душу, а также его описание своих любовных отношений. Шмидт, однако, очень верно замечает, что многое из всего этого нужно отнести на счет позднейшего старческого беспутства. Но я сомневаюсь, чтобы критик мог разобрать, что есть следствие старческого беспутства, а что следствие поэтичности натуры.

Касательно произведений поэтов этого времени можно сказать вообще то, что Шмидт говорит о Ламартине, т. е. что мож-

* Ратуша. —*Ред.*

** Сжав лоб руками, я сажусь на камень,
Думая о том, о чем некогда думала она.
И вспоминаются мне с начала до конца
Слезы, поток которых размыл мой жизненный путь. —*Ред.*

но подумать, что все это писалось в припадке delirii trementis *. Достаточно указать на «La chûte d'un ange» Ламартина или «Han d'Islande» Гюго **, произведения, столь же схожие по невообразимой нескладице, как и по многим подробностям сюжета. Замечательно, что герои обоих произведений отличаются склонностью кусаться в буквальном смысле. Шмидт говорит, что вообще поэты этого времени окончательно отложили в сторону всякий стыд и совесть и «любили задавать себе вопросы, каковы в том или другом случае могли быть, напр., ощущения какого-нибудь Далай-Ламы, какого-нибудь факира или муфтия, какого-нибудь привидения или верблюда, и эту задачу выработывали в поэтические картины». Преимущественно же вопили они, что век их не понимает их, и уверяли публику, что она — «чернь непросвещенна», а они — великие люди, пророки, вожди. Подобно нашим поэтам пушкинской или лермонтовской породы, они твердили про страдание и приглашали себя следовать к лобному месту. Но мы видели уже, чем объясняет Шмидт эти страдания; нельзя не сознаться, что он справедлив.

Очень жаль, что политика сводит с ума бедного историка литературы и мешает ему в большинстве случаев судить здраво. К сожалению, надо предвидеть, что в последнем отделе своего сочинения он опять покинет мирную сферу литературы и искусства, чтоб декламировать против разных неблагонамеренных личностей и идей.

ПЕРЛЫ И АДМАНТЫ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

В прошлом году, собирая перлы русской журналистики, я заметил, что ошибочно судили некоторые, находя в ее среде какие-то несогласия и враждебные отношения; я выразил в то время мнение и постарался доказать его, что если с виду иногда и покажется, будто не совсем ладно, то это только с виду. На самом же деле царствует такой мир и согласие, что любо; между журналами установились самые дружеские отношения, а литераторы стали обращаться друг к другу с приветствиями вроде тех, какими встречали друг друга обитатели того города, где процветал Павел Иванович Чичиков.

— «Послушай, мамочка, Аполлон Александрович!» или: «заврался, друг, Иван Сергеевич!» или же: «тебе известно, душа моя, Михаил Никифорович!» ([1]). — Ежели по времени на языке кого-нибудь из этой братии появляется желчь, то это только относительно тех злосчастных, оставленных за флагом патриотическою рысью большинства, к которым теперь принадлежат немногие. Подобному дружественному согласию литературы нельзя не порадоваться. Я непременно подписался бы на «Эпоху» хотя

* Белая горячка. — *Ред.*
** «Падший ангел»... «Ган Исландец». — *Ред.*

бы только затем, чтобы наслаждаться зрелищем братской любви, какую являют ее постоянные сотрудники. — «Друг мой, Горацио Косица!» — взывает Аполлон Григорьев (2). Милка, Федор Михайлович (3)... и т. д. в этом роде. — Существуют и другие приемы. Для выражения нежности прикинется вдруг кто-нибудь, что в том или другом вопросе разошелся с своим добрейшим приятелем N. N. ну и дает делу такой оборот: «между нами вышло не скажу разногласие, но недоумение» и т. д. Вообще много есть тонких и ловких манер сказать друг другу нечто приятное. Иногда даже будто укоряют друг друга, но и в упреке слышна нежность и добродушие, а иногда даже пользуются этим случаем, чтобы похвалить тонко. Таким, например, образом «Современник» нежно упрекал «Инвалид» за безобразие, произведенное последним относительно «Заграничного Вестника». Таким же образом «Эпоха» укоряет Каткова в статье «Русские немцы». Читаешь и радуешься: приятно быть русским писателем во время подобного единодушия литературы. У некоторых это единодушие доходит до странностей. Так, в «Эпохе» ни один сотрудник не может выдумать ни одной остроты (т. е. того, что в этом журнале называется остротой), чтобы другие не подхватили и не вклеили ее во все прочие статьи всех прочих книжек. Напишет, положим, г. Достоевский, вместо обличить, а б л и ч и т ь — смотришь и Ап. Григорьев и Аверкиев, и все остальные пишут а б л и ч и т ь и всякий раз, видимо, довольные собою, подчеркивают или все слово или букву *а*, в которой и заключается вся соль (4). Назовет г. Григорьев г. Н. Потехина junior * — глядишь, г. Аверкиев повторяет то же самое с таким веселым и радостным видом, как-будто сам сочинил подобную прелесть. В сущности, конечно, это обстоятельство маловажное, но для читателя весьма приятное, ибо такая, незначительная сама по себе, черта рисует ему целую картину домашнего счастья. Он видит этих добрых людей, живущих в мире и согласии; он видит, с каким неподдельным восторгом слушают они, читают и перечитывают друг друга, как радует их и буква *а*, у места поставленная, и эпитет junior и тому подобное. И спешит каждый из них повторить все эти игривости, чтобы читатели не раз и не два насладились и а б л и ч е н и е м и junior'ом потому, что скупиться нечего; отчего не потешить публику? Добродушный народ!

Вследствие столь умилительного намерения жизнь течет у нас, как по маслу; все, видя спокойствие, облеклись в халаты и ведут себя, как дома. «При нас, — говорят они каждому из своей братьи, — можете совершать все, что вам угодно». Поэтому не стесняются. Образцы такого неглиже можно встретить повсюду. Особенно заметно это в Ап. Григорьеве, который ведет себя совершенно бесцеремонно (5). Иногда он вдруг расшаливается и

---

* Младший. — *Ред.*

объявляет публике, что напишет целую главу крайне скандальезную, и, разумеется, всякий знает, что он не такой человек, чтоб в этом случае не сдержать слова. Глава пишется, и в ней действительно появляются вещи не совсем благопристойные, как, напр., «ярыжно-глубокая и глубоко-ярыжная мысль великого учителя в «Феноменологии духа». В следующей главе идут признания, из которых мы узнаем, что с автором случается грех такого рода: вздумает написать статью о Пушкине, напишет, корректуру прочтет, — статью отпечатает, глядь — вышло не о Пушкине, а об Авдотье Глинке. Признается также г. Григорьев, что, участвуя в редакции «Московского Вестника», он никак не мог дойти до того, чтобы знать, что там печатается. Впрочем, после первого признания второе теряет всякий интерес. Но если г. Григорьев пойдет далее по тому же пути, то порасскажет нам много интересного о себе, хоть, напр., как он статьи из журнала в журнал перетаскивал (6) и т. п. Хорошо тоже отзывается он об «Якоре», где до сих пор еще ищет пристани, и в то же время говорит в «Эпохе» с видом пренебрежения: «закидывал я и хрупкий якорь, но предпочел бросить» (7). Дрянь, дескать, настоящая. И заметьте, это написано в майской книжке «Эпохи», а есть июльские №№ «Якоря», где красуется подпись: Ап. Григорьев. Нечего сказать, приятно быть читателем «Якоря». Читать полтора года и вдруг в один прекрасный день услышать от самого г. редактора, что все это сущая дрянь. Лестно, нечего сказать!

Но, перечитав написанное, я заметил, что должен поспешить предупредить читателя, что, несмотря на внутренний мир, царствующий в литературе, общий характер ее далеко не мирный. Дело вот в чем.

В «Московских Ведомостях» и всех прочих областях, подведомственных г. Каткову (8), доселе раздаются бранные крики, показывается вид, что как-будто настоит необходимость разнести в прах кого-то. В «Русском Слове» мы еще не говорили о некоем произведении, специально предназначенном для разнесения в прах разных враждебных сил. Произведение это, напечатанное в «Русском Вестнике», принадлежит перу одного господина, а именно Клюшникова (9). Но чтобы вопиять и бесноваться, надо иметь хоть какую-нибудь причину, а между тем время настает самое спокойное. Английский клуб обратился опять к картам, даже в заздравных тостах нет надобности, ибо все наслаждаются прекраснейшим здоровьем и спокойно отдыхают под мирною кущею. Следовательно, в азарте быть решительно неловко, и хотя некоторое время можно себя несколько подогревать, но если постоянно подогревать, то, наконец, перегоришь и высохнешь. А без азарту тоже нельзя; потому, за какую же профессию приняться, что же делать? Нельзя же три издания постоянно наполнять известиями о том, что делает английский

клуб. Но не думаю, чтобы вышел прок какой-нибудь из поддельного азарта.

Этими усилиями особенно занята «Эпоха». После испытанного крушения ([10]) эти господа, видимо, исправились и стали стараться писать толково и удобопонятно, дабы никого не вводить в заблуждение, и хотя от дурной привычки философствовать не отстали, но зато пылкостью чувств наверстывают.

Особенно г. Аверкиев из всех сил старается зарекомендовать публике себя и свою редакцию. Путь, выбранный им, довольно прям: г. Аверкиев пристает к г. профессору Костомарову насчет пылкости чувств. Статья г. Аверкиева ([11]) хотя и написана как-будто в защиту Дмитрия Донского, но в сущности цель ее доказать, что чувства г. Костомарова не имеют надлежащей пылкости. Следуют намеки на Сусанина... при этом, в предупреждение всяких нелестных замечаний о таком образе действий, г. Аверкиев забегает вперед и утверждает, что слово «неблагонамеренность» получило от каких-то башибузуков такой неприличный оттенок, что г. Костомаров не должен употреблять его. Сделавши эту оговорку, г. Аверкиев считает себя в праве действовать sans façon* и прямо указывать на такие предметы, с которыми сам М. П. Погодин считал долгом обращаться несколько прилично. Очевидно, что г. Аверкиев также из числа юных талантов, подающих надежды не менее Клюшникова.

Наконец, «Эпоха» сделала попытку соперничать с «Маревом», и плодом этого соперничества явилась драма г. Полонского «Разлад» ([12]). Не мое дело критически разбирать подобные творения, и я предоставляю судить об этом судье более компетентному, г. отставному майору Бурбонову ([13]), который, как воин, сумеет вникнуть во все военно-художественные тонкости нового сочинения г. Полонского, по отзыву сведущих людей, затмившего даже достославное «Свежее предание» ([14]). Я же ограничусь только замечанием касательно силы творчества поэтов вообще, а г. Полонского в особенности. Эти люди действительно умеют делать все из ничего и способны вдохновляться даже такими предметами, в которых они решительно не смыслят ни уха, ни рыла. Спрашиваю вас, милостивые государи, что бы могло выйти, если бы, положим, хоть г. Н. Берг вздумал писать о польских событиях в Саратове, руководствуясь при этом единственно своей фантазией ([15]). Полагаю, что вышло бы нечто неподобное, и г. Н. Берг был бы осмеян и поруган за неслыханную отвагу свою. Полагаю даже, что тот же г. Полонский, если б вместо стихотворной драмы вздумал написать прозаическую статью о том же предмете, не довольствуясь общими соображениями и политическим взглядом, но облекая, так сказать, «свою фантазию» в повествовательную форму, то и его постигла бы злополучная участь. Но поэту все сходит с рук.

* Без церемоний.— *Ред.*

Мыслитель, пишущий передовые статьи в «Библиотеке для Чтения», восстает против каких-то неизвестных, желающих отрицать события двух последних лет ([16]). Мыслитель, впрочем, сам не знает, что говорит, и, видимо, подразумевает под отрицанием лишь неприязненное отношение к этим событиям. Другими словами, он хочет доказать, что все, что делается, делается к лучшему. Мыслителю естественно рассуждать таким образом, потому что он принадлежит к «Библиотеке для Чтения», а журнал этот до сих пор еще не решился, что называть лучшим и что — худшим. Его, очевидно, соблазняет путь «Русского Вестника», и он спешит поместить роман «Некуда» ([17]), где, если возможно, превзойдены г. Писемский и его выкормыш. Что такое этот роман — это уж и сказать невозможно, и единственное уподобление, какое можно сделать ему, это статьи немецких таинственных газет и журналов вроде «Bayrischer Polizei-Anzeiger»* или «Deutsches Geheim-Polizei-Zentralblatt»**. Разница только в том, что «Некуда» не сопровождается фотографическими снимками. Вскоре и этого усовершенствования ожидать нужно... Но редакция «Библиотеки» рядом с «Некуда», где изображена маркиза де-Бараль, помещает статьи г. Евгении Тур ([18]), и таким образом оказывается способной совмещать несовместимое... Надобно правду сказать, что одной из своих целей — возбуждения любопытства — авторы таких романов, как «Некуда», достигают вполне. Изумление читателя вот уже второй год постоянно возрастает. При «Взбаламученном море» казалось, что гаже уже нельзя было выдумать. Вышло «Марево». Но в «Мареве» даже гадость имеет хотя какое-нибудь прикрытие, берутся небывалые личности, которые автор усиливается возвести в типы. А тут вдруг является чудище, которое уж совершенно со всякого толку сбивает; читаешь и не веришь глазам, просто зги даже не видно. В сущности это просто плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу. Дело общими чертами не ограничивается, лица в типы не возводятся; зачем себя этим утруждать, это сделали уже с достаточным успехом первые, принявшиеся за подобное дело. Теперь разработка по мелочам пошла, в частности переехала. Дело теперь делается так: берется личность и прописывается паспорт ее. «Лоб такой-то, нос такой-то, волоса такие-то, одевается по преимуществу так-то; в разговоре употребляет такие-то восклицания и слова»... и потом все это перепечатывается. Даже фамилии лень изобрести: Курицын, положим, переделывается в Петухова — вот и все. Одним словом, черная работа и та даже в литературу явилась. А почтенный мыслитель «Библиотеки для Чтения» сетует на неблагоприятное отношение к явлениям двух последних лет! Успокойтесь, мысли-

* Баварский полицейский указатель. — *Ред.*

** Центральный немецкий журнал тайной полиции. — *Ред.*

тель, на вас давно перестали досадовать. Вы все милки, дело известное. Досадовать на вас нельзя, потому что никакой досады не хватит; притом ведь вы неповинны в ваших подвигах: вы совершаете их совершенно бессознательно; вам и в ум не приходит спросить наедине самих себя о том, что вы делаете, и попросить самих же себя беспристрастно и хладнокровно обсудить этот предмет. Если б вы хоть раз сделали это, в ваших поступках не было бы той беспечной и наивной игривости, как теперь. Если б г. Стебницкий взглянул на себя в зеркало, а если б г. Боборыкин, печатая его роман, имел какое-нибудь понятие о нем, то оба вы переконфузились бы друг друга, обоим вам сделалось бы омерзительно, и «Некуда» не явилось бы в «Библиотеке». А то ведь дело как делается. Приходит один к другому и говорит: «А уж какую же штуку я против нигилистов выпущу! Страсть!» А нигилисты для него все сосредоточиваются в каком-нибудь юнкере Удалове, которого он видел у своего знакомого. Выпускается штука, в которой на сцену является юнкер, но не Удалов, а положим Удальцов, и оказывается человеком столь же глупым, сколько зловредным. Другого это раззадоривает и, имея зуб на некоего титулярного советника Носова, он принимается сочинять не менее веселую штуку, где изображает титулярного советника Губина, который также к общему удовольствию обнаруживает глупость и зловредность. При этом если Носов часто ходит в синем галстуке с белыми мушками, то в штуке такой же точно галстук описан и на Губине. Если юнкер Удалов пришепетывал, то в другой штуке юнкер Удальцов не обходится без пришепетывания. Очевидно, что авторы обеих штук писали, не понимая сами, что творят. Если б понимали, то их бы остановило хотя то соображение, что ведь можно допустить черный галстук с красными мушками, не убавляя силы своей сатиры, ибо синий галстук Носова известен только ему, да автору, да еще нескольким общим знакомым. Публике же все равно, так как она ни Носова, ни его галстука не знает. Но автор заранее наслаждается зрелищем досады Носова, который, прочтя свой паспорт, воскликнет: «А ведь это он меня изобразил!» — автор радуется при мысли о том, что общие знакомые, не расположенные к Носову, прочтя описание галстука, взыграют, что «дескать молодец! ловко отделал!». Эта невинная радость побуждает автора на целый ряд таких штук, которыми он остается вполне доволен, не заботясь о том, до чего он низводит и литературное дело и журнал, имеющий удовольствие терпеть его. При такой наивности, что с него взять? Можно бы, пожалуй, взяться за редактора, если б и тут не являлась самая голубиная невинность и непонимание дела. Редактор имеет в виду приятную перспективу эффекта, который произведет штука. Ему мерещутся голоса, вопрошающие друг друга: «А читали вы новый роман? Знаете ли, кто там описан под именем маркизы?» Засим сле-

дует сообщение, веселость, и в конце концов являются несколько пакетов с 15 рублями каждый ([19]). С другой стороны быть может и то, что редакторы и авторы правы, рассчитывая нажить к тому времени каменный дом и способность не краснеть. Что же касается до настоящего времени, то при трогательном единодушии их чего им стыдиться? Иван Петрович может всегда сослаться на пример Павла Ивановича, и наоборот; разумеется, стыдить друг друга они не станут, а напротив того, готовы всегда ободрить приятеля. Вышло «Марево», и «Библиотека», готовясь к помещению «Некуда», не преминула воздать хвалу ему ([20]); даже заплесневелые, впавшие в детство «Отечественные Записки», в которых уже с незапамятных времен печатаются только переводные статьи и романы, а из оригинальных, кроме трудов самого редактора, являются лишь какие-то несообразные повести, точно повыкраденные из журналов 30-х годов, даже эта, говорю я, старая рухлядь издала какой-то дребезжащий звук, силившийся выразить сочувствие творению г. Клюшникова ([21]). Вероятно, тот же звук повторится и по случаю «Некуда», и какой-нибудь заштатный стрекулист соорудит нечто в том же роде, чтобы показать, что и «Записки» не отстают от века. Быть может, что и «Русский Вестник» удостоит дать краткий, но лестный отзыв о «Некуда», и во всяком случае не осудит. Я только удивляюсь: как вы, при ваших разнообразных занятиях, находите еще время к нам придираться. А придираться к нам у вас охота смертная. О чем бы вы ни заговорили, а нас приплетете и затронете. В «Библиотеке» о Шекспире зашла речь: глядь — и к Шекспиру «Русское Слово» и нигилистов приплели ([22]). В «Эпохе» тоже друг другу письма не напишут, не задев нигилистов. Напрасно вы время драгоценное тратите: лучше бы вам собой заниматься, особенно «Библиотеке». «Эпоха» — та хоть почвой наготу прикрыла, а «Библиотека» до сих пор еще ничего не изобрела. И как это вы так существуете? Ведь нельзя же все только на других взъедаться, да сплетничать; я полагаю, что приличие (если можно еще говорить о приличии в русской журналистике) требует, чтобы вы, наконец, разродились каким-нибудь принципом, из-за которого хлопочете. Мне, конечно, все равно, из чего бы вы ни хлопотали, но говорю я это потому, что вас этим втупик ставлю, потому что вам всего труднее выдумать принцип, и вы ни за что его не выдумаете и для всех так-таки сфинксом и останетесь; и что вы ни делайте, а все ни один человек не поймет, начиная с самого г. Боборыкина. Поэтому употребите лучше ваши досуги на изобретение какой-нибудь прикрышки. Впрочем, отсутствие смысла не мешает «Библиотеке» ликовать чуть ли не больше других.

Следовало бы сказать также о газетах, но все это такое абсолютное ничтожество, кроме «Московских Ведомостей», что и говорить о них нечего. Московские же Ведомости теперь перело-

жены в романы и драмы, а следовательно, говорить о них особо — лишнее дело. Разумеется, «веяния» эпохи, по выражению Ап. Григорьева, отразились и на этих продуктах журналистики. Для доказательства достаточно указать на «Голос», который после достойного состязания с Кене (буфетчиком в Тиволи) ([23]) предположил завести нечто вроде полемики против «Русского Слова». Но так как все тонкое остроумие газеты ушло на борьбу с буфетчиком, то никакой полемики не произошло, а вышла такая мерзость, от которой даже отплевываться стыдно. Этих перлов нынешней газетной полемики я приводить не буду — тошнит и без того. Замечу только, что г. В. Л., разыгрывающий в «Голосе» на других цимбалах, чем он разыгрывал в «Современном Слове» вместе с г. Писаревским, наконец нашел в Андрее Александровиче истинного сотоварища по ремеслу. Этим близнецам и бессребренникам, изволите видеть, понадобились принципы и бескорыстие вместо той куриной слепоты, которою они доселе могли похвастаться. Они упрекают «Русское Слово» в том, что оно спекулирует именами, выставляемыми на обертке([24]). С некоторыми журналами действительно случался такой грех, что на обертке декабрьской или январской книжки выстраивался весь литературный генералитет, и такой бессребренник, как г. Краевский, более двадцати лет играющий на разных тромбонах, лучше всякого другого знает, за кем именно водился этот грех. Но «Русское Слово» уже давно обличено в неуважении к такому генеральству; оно питает даже некоторую уверенность остаться неисправимым в этом отношении. Поэтому обличение «Голоса», очевидно, имеет другой умысл. Может быть, он сомневается, что в нашем журнале действительно пишут гг. Писарев и Шелгунов; может справиться, если желает. Но вернее всего, что г. В. Л., захотевший сыграть на своих цимбалах, сам не знал, что сыграется, и потому фельетон его вышел довольно гнусной симфонией из песни:

Ах ты жги, говори и т. д.

Пристыдить Андрея Александровича, конечно, очень трудно: он не из таких, чтобы покраснеть; но с советом, вроде следующего, к нему всегда можно обратиться: продолжайте, маститый старец, вашу полемику с буфетчиком Кене и не в свое дело не суйтесь. А вы, г. Альбертини, как думаете насчет этого совета? ([25]).

Этого краткого, но верного очерка достаточно, чтоб показать читателю наглядно нынешнее состояние роскошного цветка цивилизации, называемого русской литературой. Сказанного довольно, чтобы видеть разницу между литературными явлениями, характером и наклонностями литературы и деятелями, стоящими в ней на переднем плане, с одной стороны, и тем, чем была литература несколько лет тому назад.

КАТРФАЖ. ЕДИНСТВО РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Перевод А. Д. Мих...на. М. 1864.

В то время, как знаменитейшие ученые занимаются вопросом о месте, принадлежащем человеку в органической природе, другие писатели поднимают вопрос об отношении человеческих рас между собой.

Если, оставив в стороне генеалогию человечества и вопрос о ее значении в классификации человеческих рас, мы обратимся к их нынешнему состоянию, то возникает вопрос, насколько существенны границы, существующие между ними в настоящее время, от каких бы причин ни происходило их различие, от постоянства ли вида или от действия естественного подбора. В более практической форме вопрос этот выразится так: абсолютно ли ниже цветной человек белого? Ответ на этот вопрос имеет огромное значение, потому что от него зависит разумный или нелепый взгляд на такие крупные явления, как невольничество и колонизация. Особенное значение поэтому имел этот вопрос в Соединенных Штатах, где, как справедливо говорит Катрфаж, каждый прежде всего моногенист или полигенист, т. е. противник или защитник невольничества. С разрешением его в Америке связаны важнейшие интересы страны, и вследствие этого там, несмотря на продолжительные споры, не могло явиться удовлетворительного ответа, потому что спорящие вносили в ученый спор слишком много пристрастия. Холодного и беспристрастного исследования невозможно было ожидать там, где рабовладельцев чернили и поносили в бесчисленном множестве сантиментальных романов, приторная чувствительность которых была, впрочем, внушена тем же практическим интересом, как и гонения, воздвигаемые на Юге против аболиционистов (1). Дело кончилось, наконец, кровопролитнейшей резней, и понятно, что солдаты Ли и Грента не могли решить мирным путем вопрос, который решают теперь штыками.

Но из европейских ученых не найдется ни одного, который бы не считал цветные племена стоящими по самым условиям своего организма ниже белых.

Несомненно и признано всеми, что невольничество есть самый лучший исход, которого может желать цветной человек, придя в соприкосновение с белою расою, потому что он достается в удел только наиболее развитым и сильным расам; большая же часть их не может вовсе существовать рядом с кавказским племенем и вскоре совершенно вымирает. Ошибочно бы было винить в этом европейцев. Известны жестокости, совершавшиеся ими в первые века переселений. Но теперь этого не делается, и европейцы обращаются с таитянами, напр., не хуже, чем с своими европейскими родственниками. Можно даже сказать, что теперь отношения англичан, напр., к австралийцам лучше, чем к ирландцам, и чтобы

найти сравнение для поступков австрийцев в Италии, французских буржуа с своими соотечественниками рабочими, нужно перенестись в Новом Свете ко временам Колумба и Кортеса. Известны благородные усилия европейских правительств и миссионеров просветить дикарей всех стран света. Между тем до сих пор они не дали никаких результатов. Сантиментальные враги невольничества умеют только цитировать тексты и петь псалмы, но не могут указать ни одного факта, который бы показывал, что образование и свобода могут превратить в умственном отношении негра в белого. Дался им Ольридж. Бурмейстер, между прочим, указывает на способность и страсть негров к подражанию как на черту, общую им не с белым племенем, а с обезьянами. Но люди, приводящие в пример Ольриджа, не понимают этого. Невежды предполагают, что мавр то же самое, что негр, для них это все — арап, поэтому очень обрадовались, увидя Отелло настоящим негром, не сообразив, откуда мог взяться в Венеции негр-полководец, и не подозревая, что между мавром и негром нет ничего общего и что поэтому Отелло нет надобности иметь негрскую физиономию, а гораздо естественнее иметь самую нежную, матово-белую кожу. Впрочем, такие люди, которые восхищаются Ольриджем, почерпают свои этнологические сведения из Шекспиром, не сообразив, откуда мог взяться в Венеции негр-полководмазанного сажей, а черного от природы. Они готовы бы были потребовать от театральной дирекции краснокожего играть роль Антония, если бы Шекспир считал римлян краснокожими *. Непонятно только, каким образом люди более или менее серьезные, говоря о таком важном вопросе, могут указывать на Ольриджа. На этот жалкий пример рациональные люди могут ответить негрофилам указанием на Сан-Доминго, где столько лет независимости не произвели не только ни одного сколько-нибудь замечательного человека, но и вообще ни одного сколько-нибудь возвышающегося в нравственном отношении над рабами плантаций южных штатов и свободными жителями Золотого берега. Напрасно бы было объяснять это деспотизмом разных Сулуков.

Вообще как анатомия, так и наблюдение над психическими способностями туземных рас Африки и Америки показывают такую громадную коренную разницу между краснокожими, эскимосами, полинезийцами, неграми, кафрами, готтентотами с одной стороны и белым человеком — с другой, что настаивать на братстве этих рас могут только чувствительные барыни, как г-жа Бичер-Стоу. Хотя индустриальные выгоды, заставляющие северные штаты желать ослабления южных, побуждают в Северной Америке весьма серьезных людей принимать участие в негрофильских рассуждениях, но они сами плохо верят им. Одна только крайняя необходимость могла побудить их решиться на то, о

* Поздравляю «Эпоху» с пищей для «Заметок Летописца». Может выйти игривая статейка под названием «Шекспира ругают!» (2).

чем они столько толковали, т. е. на освобождение плантаторских невольников. В Европе же об эмансипации негров толкуют люди, которые, как филантропическая дама в одном из романов Диккенса, хлопочут о просвещении и освобождении своих черных братьев, в то время как родные дети обвариваются кипятком и падают с лестниц. Вот что рассказывает, между прочим, Катрфаж: во время ирландских восстаний против Англии, происходивших в XVII в., множество ирландцев были изгнаны из плодородных местностей в бесплодные, где подверглись преследованиям и нищете, в которой потомки их живут доселе, т. е. 200 лет. Если взглянуть на них теперь и сравнить с теми, которые провели эти два века в более благоприятных условиях, то можно подумать, что имеешь перед собою две разные расы. Вот портрет потомков этих изгнанников: «Рот их полуоткрыт и выдается вперед, зубы выступают наружу, десны вздулись, челюсти подались вперед, нос сплюснулся... Рост уменьшился до 5 футов 2 дюймов, живот вздулся; ноги искривились; черты лица напоминают черты выкидыша.

«Всякий читатель, — прибавляет Катрфаж, — как бы мало ни знал признаки, отличающие человеческие группы, узнает в этом описании черты, приписываемые самым низшим негрским народам, самым деградированным австралийским племенам» (стр. 155).

Подобный факт, конечно, неблагоприятен тем полигенистическим теориям, которые основаны на постоянстве вида.

Но всего неблагоприятнее оказывается он для европейских негрофилов. Вместо того, чтобы заботиться о равенстве черного племени с белым, где тысячелетия, а, может быть, и самое происхождение, провели неизгладимую, органическую границу как в физических, так и в нравственных свойствах, лучше бы обратить филантропическое внимание на тех, которые действительно братья нам, но которых наши политические и социальные условия деградируют до того, что лишают признаков и качеств, свойственных их племени, и приближают к низшим расам. Еще несколько веков существования этих условий, и в Европе явится новая раса, уже навсегда утратившая те высшие способности, которые отличают кавказскую. Но филантропы находят более удобным хлопотать об эмансипации готтентотов и бечуанов и покровительствовать животным, чем заботиться о своих родных братьях.

Хотя теория Дарвина противоречит полигенизму, когда он основывается на постоянстве вида, но нельзя отрицать того, что в настоящее время человеческие расы представляют столь же отличные виды, как, напр., лошадь и осел. Невозможно, правда, допустить, что каждая раса или, как полагают даже некоторые, каждая нация создалась отдельно со всеми своими признаками; но наследственность, естественный подбор и среда, действовавшие на людей в течение множества тысячелетий, провели между раз-

ными расами границу до того полную, что в настоящее время между многими расами нельзя даже указать на переходные типы и что крайние расы неплодородны между собою. Можно ли, напр., указать все переходы от негра к кавказцу, от краснокожего к китайцу? По крайней мере, Катрфаж и не пытается доказывать существование этих переходных типов. Если где-нибудь можно найти их, то, конечно, не между ныне живущими племенами, а разве среди ископаемых остатков вымерших обитателей земли. Поэтому же и скрещивание между различными расами не дает потомства, что совершенно противоречит моногенистам, настаивающим на школьном определении вида. Вследствие этого Катрфаж употребляет все усилия, чтобы доказать противное, т. е. что смешение двух различных рас может произвести потомство. Катрфаж указывает на многочисленные продукты скрещивания трех различных рас, живущих в Америке: белой, черной и красной. Но это ничего не доказывает. Сам же он говорит:

«Абсолютное бесплодие гибридов, продуктов скрещивания двух разных видов, оспариваемое или защищаемое в средние века и в век возрождения, не может быть допущено в присутствии верных фактов, собранных наукою. Плодородность у гибридов, не существующая в огромном большинстве случаев, заключается всегда в чрезвычайно узких границах и даже имеет результатом исчезновение следов скрещивания» (стр. 174).

Если существуют мулаты, то существуют мулы и лошаки; указывают на мулатов, квартеронов, но Катрфаж же приводит факт, где ублюдки барана и козы дали квартеронов. Дело в том, что потомство двух рас, столь удаленных друг от друга, как белый и негр, лошадь и осел, козел и баран, будучи предоставлено себе, немедленно исчезает и не может итти далее нескольких поколений даже в том случае, если будут поддерживаться чистою кровью. Это всего лучше доказывает та самая таблица американских метисов (или гибридов), которую приводит Катрфаж в свою пользу. Вот она:

Метис — плод испанца и индиянки.
Кастизо — метиски и испанца.
Эспаньола — кастизо и испанки.
Мулат — испанки и негра.
Мориск — мулатки и испанца.
Альбино — мориска и испанки.
Торнатрас — альбино и испанки.
Тентинелер — торнатра и испанки.
Лово — индиянки и негра.
Карибухо — индиянки и лово и т. п.

Таким образом, хотя потомство белого и негра и доходит до шестого поколения (впрочем, случаи, где потомство идет далее третьего поколения, чрезвычайно редки), но не иначе, как если

метисы скрещиваются с особями чистой крови. Союзы же мулатов между собою бесплодны, по крайней мере плодородие их такая же редкость, как плодородие мулов. Частный случай, приводимый Катрфажем о населении Питкерна, доказывает не более способность полинезийцев и белых произвести смешанную расу, могущую существовать, если она предоставлена самой себе, как подтверждает опыт Генелиуса над тою же способностью баранов и коз. Притом полигенисты справедливо замечают, что не было еще произведено опытов над смешением рас, столь далеких, как, напр., эскимосы и негры, американцы и ново-голландцы, татары и бушмены, хотя и того, что мы знаем о смешении белых с черными и красными, достаточно, чтобы сказать, что расы эти относятся друг к другу как виды в отношении производительной способности.

Различие, существующее между белой расой с одной стороны, неграми и американцами и полинезийцами — с другой, слишком бросается в глаза, чтобы можно было серьезно толковать о возможности существования между ними отношений, сколько-нибудь похожих на существующие между людьми одной и той же расы. Опыт доказал, что американцы и океанийцы не могут требовать от белых даже жизни; что касается до негров, то, конечно, европейцы поступают жестоко, похищая их из родной земли и увозя на свои плантации, где с ними обходятся так же отвратительно, как с животными. Но из этого еще вовсе не следует, что возможно равноправное существование в одной и той же стране белого и черного племен. Сладкие романы и проповеди негрофилов так же неспособны уничтожить органическую разницу и сделать черного белым, как милостивые грамоты испанских королей: que fulano se tenga por blanco (такой-то может считать себя белым). Не столь резки признаки, отличающие кавказское племя от монгольского. Есть страны, где эти расы живут рядом, при чем представляют разницу столь незначительную, что она почти ускользает от простого наблюдения. Тем не менее разница и здесь существенна и громадна, в чем лучше всего убедиться, взглянув на историю обеих рас. Историю монгольской расы мы можем проследить до очень отдаленной эпохи; она доказывает нам, что раса эта с незапамятных времен сохранила все те признаки, которые отличают цветные расы от белой. Не говоря здесь о физических особенностях, которые всем известны, я напомню читателю некоторые нравственные отличия желтой расы. Известно, что полинезийцы и американцы в общественном отношении характеризуются отсутствием всяких социальных способностей. Тогда как негры, монголы и кавказцы существуют обыкновенно в обществе, которое постоянно стремится расшириться и перейти в государство, туземцы Америки и Океании представляют отсутствие общественных элементов. Можно сказать, что они живут не обществами, а стадами. Но и три обще-

ственные расы представляют в этом отношении резкую разницу, и из них только кавказское племя способно развивать свои социальные способности. Возьмем трехсотлетний период существования какого-нибудь европейского племени: мы увидим в нем постоянное стремление к прогрессу, быстрое развитие цивилизации, способность преследовать самые возвышеннейшие и благодетельные цели, неустанную борьбу за усовершенствование своего социального быта, деятельное желание лучшего будущего, которым европейские народы обязаны всеми своими благами: прогресс в науке и обществе, физическое и нравственное освобождение личности, постоянное усовершенствование религиозных и общественных форм, созидание нового, лучшего, иногда мечты, но мечты благороднейшие, смелые, гениальные, которые хотя редко осуществляют свои идеалы, но всегда приносят плоды и увеличивают общую сумму благополучия, — вот что представляет собою жизнь европейского племени. Глухое, несознаваемое рабство, глубокое невежество, нечувствительность к социальным неудобствам и непонимание возможности лучшего положения — вот черты, представляемые трехтысячелетним периодом существования племен азиатских. Итак, книга Катрфажа занимается вопросом, который со времени Дарвина лишился всякого значения; притом Катрфаж представляет одностороннее решение этого вопроса и жертвует научной истиной в пользу схоластических представлений. Однако нельзя не сказать, что это сочинение не лишено интереса; в нем много фактов весьма любопытных. Напрасно только издатель требует за 15 листов, составляющих ее, полтора рубля, тем более, что перевод изумительно плох. Беспрестанно попадаются фразы вроде следующей:

«Не говоря даже о претензиях, поднятых от имени валлисцев и басков, титул скандинавов, как открывших Америку(!), признан теперь вполне автентичным» (стр. 240). Или: «Множество, измененность, которые они (инстинкты) представляют, достаточны, чтобы доказать это» (неизвестно что) (стр. 95).

Вообще обращение г. Мих...на с французским языком отличается крайней бесцеремонностью и напоминает переводы с латинского сыновей Бульбы (баба — бабус). Вот напр., образчики этого свободного обхождения: библичный (biblique) (стр. VIII), институты (instituts — учреждения) (стр. 60), нюансирован (стр. 65), заяц (стр. 77) и зайчик (106) (levrier борзая собака), идентично (identique — тождественно) (стр. 101), человек в состоянии эмбрио (109), репрессалии (repressailles — возмездие) (118), доктор Проспер Лука (124), Элиза Реклус (150), железные аппараты (вместо железистые аппараты или просто железы) (152), гюроны (153), автентичный (autnentique — подлинный, достоверный) (стр. 163), ремит-

тентные лихорадки (224), «славное доношение «Ласепеда» (стр. 49). Видно, что из «Русского Вестника», и т. д.

ОТВЕТ МОИМ ОБВИНИТЕЛЯМ ПО ПОВОДУ МОЕГО МНЕНИЯ О ЦВЕТНЫХ ПЛЕМЕНАХ

В прошлом месяце я не беседовал с вами, читатели, и потому не мог ответить на один вопрос, обращенный ко мне и печатно и письменно. В «Библиографии» августовской книжки «Русского Слова», рассматривая книгу Катрфажа об единстве рода человеческого, я сказал, что большинство нынешних ученых не согласно с Катрфажем и что вопрос об отношениях белой и черной рас решается с этой точки зрения иначе, чем с чисто филантропической. Я высказал при этом, что с этой точки зрения рабство черной расы представляется явлением совершенно естественным и нормальным, потому что обусловливается не какими-нибудь случайными причинами, а естественно-историческими. Это показалось многим весьма странным, негуманным и находящимся в противоречии с тем взглядом на северо-американский вопрос, который проводит в своих статьях наш уважаемый сотрудник Ж. Лефрень (1). Однако я надеюсь доказать, что противоречия здесь не было и что можно не быть аболиционистом, не будучи в то же время обскурантом.

Дело в том, что ученые вели бесконечные споры о том, следует ли считать человеческие расы различными видами или различными разновидностями. После Дарвина спор этот должен прекратиться, так как строгое различие между видом и разновидностью им стерто. Из спора вытекает, однако, одно следствие, которое остается в силе, а именно, что различие, существующее между расами, весьма значительно, постоянно и отличается от различия, существующего между человеком и прочими животными, не качеством отличительных признаков, а количеством или, вернее, степенью их. Этому взгляду следуют все ученые, в том числе люди, которых еще никому в голову не приходило называть обскурантами, как, напр., Фогт, Гексли и др. Весь I том «Лекций» Фогта о положении человека в ряду организмов посвящен доказательству коренной разницы между белым и черным племенами, и вместе с Гексли Фогт признает негра низшим по организации, чем белый человек, и составляющим переходную степень от последнего к прочим млекопитающим (2). На всяком шагу у этих ученых встречаем выражение последовательности такого рода: европеец, негр и т. д. Доказательства, приводимые ими в пользу такой последовательности высших организмов, настолько сильны, что противники их, напр., Бишофф, не нашли ничего лучшего, как совершенно отрицать человечность негра, что для аболицио-

нистов еще невыгоднее *. Если кто-нибудь, на основании научных данных, будет оспаривать мнение Фогта, Гексли и других, то будет, конечно, иметь полное право не признавать и результатов, вытекающих из такого мнения. Но кто не имеет никаких данных на то, чтобы основательно возражать этим ученым, — не должен закрывать глаза и затыкать уши. Мнение таких людей во всяком случае заслуживает внимания, тем более, что основательного возражения им еще не было сделано. Но как скоро взгляд их будет принят, то должны быть приняты и вытекающие из него логические выводы. Неотразимый вывод, прямо вытекающий из такого взгляда, это тот, что при совместном существовании двух рас, из которых одна выше по организации другой, равноправность между ними невозможна, — низшая неизбежно раба высшей. Между тем, так как мнение упомянутых ученых в настоящее время победоносно господствует, то и вывод этот также должен быть всеми признан, пока взгляд, на котором он основан, не встретит серьезного опровержения. На этом-то основании я и сказал, что «несомненно и признано всеми, что невольничество есть самый лучший исход, которого может желать цветной человек, придя в соприкосновение с белою расою». Меня могут упрекнуть за выражение «признано всеми», потому что существует много людей, более симпатизирующих вздохам madame Бичер-Стоу, чем мнениям Фогта. Но в таком случае нельзя равным образом позволить себе сказать, что всеми признано вращение земли вокруг солнца, потому что до сих пор существуют люди, полагающие, что земля стоит на трех китах. Итак, я думаю, что такое воззрение на невольничество не может быть названо обскурантным или нелепым; иначе пришлось бы, во имя ни на чем не основанного мнения, обвинять в обскурантизме не только Фогта, но и Прудона, который во II томе «Войны и мира» также говорит против аболиционизма. — Но это еще не освобождает меня от упрека в противоречии с воззрениями Жака Лефреня. Могут сказать, что в №№ 11 и 12 «Русского Слова» за прошлый год была статья Э. Реклю «Будущая негритянская империя», исполненная живейшего желания неграм счастливой, свободной и самостоятельной политической жизни; кроме того, политический отдел нашего журнала постоянно выражает симпатию северянам и высказывается против негроторговли и плантаторства. Тем не менее я сейчас покажу, что здесь еще нет противоречия с тем, что было сказано мною в августовской книжке этого года. В «Библиографии» этой книжки я рассматривал не политический вопрос о нег-

* «Указывали, — говорит Бишофф, — на эскимосов, ботокудов, новозеландцев, которые действительно ни в чем не превосходят животных и во многих отношениях стоят даже ниже их.» (Vogt Vorles Bd. I, s. 185). Ясно, что аболиционистам выгоднее уже сойтись лучше с Фогтом, чем с противниками его по этому вопросу.

рах, я говорил не о том, чего надо желать в социальном отношении для черного племени, а указал на тот вывод, который дают естественные науки по отношению к невольничеству. И так как между научным выводом и применением его к политической жизни народов есть огромная разница, то было бы довольно странно смешивать одно с другим. Представляя этот вывод своим читателям, которых здравый смысл стоит гораздо выше смысла $^{9}/_{10}$ наших либералов, я был уверен, что они не обвинят меня в симпатиях к рабству и не примут научного факта за мои политические стремления. Кроме того, я нигде ни слова не говорил о том, что не считаю негров вообще способными жить свободно. Это было бы нелепостью. Но я говорил, что не считаю возможною равноправность европейцев и негров «при совместном существовании». Следовательно, все это вовсе не противоречит статье г. Реклю о возможности в будущем независимого существования негров особо от европейской расы.

Далее, из того, что я не признаю возможным для северо-американских негров пользоваться равными правами с европейцами, никто не в праве выводить, что я стою за вывоз негров из Африки, за торговлю ими, за дурное обращение с ними и т. д. Никому еще даже не снилось говорить об эмансипации лошадей, однако из этого еще не следует, что лошадей должно мучить. Следовательно, во взгляде моем на невольничество нет ничего, что бы стояло вразрез с мнениями, выражаемыми в политическом отделе «Русского Слова». Подобно Э. Реклю, я желаю неграм всякого благополучия и негодую на безобразные явления, сопровождающие невольничество в Северной Америке ([8]). Но при этом я указываю на мнения уважаемых передовых ученых и на выводы из этих мнений касательно вопроса о невольничестве. Разве необходимо, чтобы не быть обскурантом, закрывать на это глаза и долбить свое, хотя наука говорит другое? Разве легче больному оттого, что доктор над постелью его вместо дела будет нюнить и предлагать ему вместо операции сахарную водицу? Для многих это действительно необходимо. Чем бы, напр., брал «Голос», если бы начал порицать Гарибальди? Но такая необходимость существует лишь для изданий, подобных «Голосу». В «Очерках» же, напр., в одном из первых №№ была статья, доказывавшая, что действия Гарибальди в 1860 г. были далеко не безукоризненны и что во многом он высказал ограниченность. «Очерки» могли высказывать это свободно. Таким же образом я полагаю, что «Русское Слово» так же мало нуждается в либеральных украшениях, столь необходимых «Голосу» и «Сыну Отечества».

Все это я счел нужным сказать в ответ на письменные вопросы и на обвинение «Искры» в противоречии между моим мнением и мнениями моих сотрудников по этому вопросу. Но кроме «Иск-

ры» я подвергся по этому поводу нападкам в «Современнике». В №№ 11 и 12 этого журнала г. Посторонний сатирик говорит по этому поводу следующее: «Русское Слово», считающее себя прогрессивным и гуманным, защищает, однако, рабство и неполноправность негров. Вот это хуже всяких непристойностей, потому что истинно гуманные люди, особенно реалисты, как именует себя «Русское Слово», должны заботиться о смягчении даже рабства животных, даже их права защищать, не говоря уже о неграх, которые все-таки люди» (4).

Эти слова г. Постороннего сатирика о долге гуманных реалистов защищать свободу животных напоминают мне московского поэта г. Алмазова, который сказал в каких-то стихах, что нигилист обязан уважать корову, как свою родственницу, но находящуюся пока в диком и необразованном состоянии (5). Вероятно, г. Посторонний сатирик не сообразил, какая же может быть гуманность относительно животных, и притом он понимает слово реалист в каком-нибудь особом смысле. Сколько мне известно, реалистом может называться человек, который смотрит на вещи прямо, без предвзятых идей, дорожит наблюдением, фактом, действительностью. Думая так, я скорее назову реалистом Карла Фогта, чем, напр., почтенных членов многочисленных обществ против дурного обращения с животными, простирающих свою попечительность о животных до того, что решительно требуют для них эмансипации; благодаря подобным обществам, множеству людей в Европе была бы прямая выгода «перечислиться в другой класс животных». Но г. Посторонний сатирик, вероятно, назвал бы этих господ «гуманными реалистами», а Карла Фогта, в соответствие этому, варварским идеалистом. Так, что ли, г. Посторонний сатирик? Или вы отказываетесь от вашего мнения об обязанностях «гуманных реалистов»?

Но я, право, боюсь, что меня обвинят в склонности к Thierquälerei *; спешу оговориться: мучить животных и негров я считаю делом постыдным как для варварских идеалистов, так и для гуманных реалистов. Но питаю надежду, что кто-нибудь сообразит, что от этого до эмансипации негров и животных еще очень далеко.

Впрочем, я очень хорошо знаю, что г. Посторонний сатирик разговорился об обязанностях реалистов в отношении негров и животных вовсе не потому, что мнение мое показалось ему действительно очень нелепым. Он восстал на меня вовсе не потому, что мнение мое задело его аболиционистские убеждения. Я полагаю даже, что он довольно равнодушен к аболиционистским убеждениям и обществам против дурного обращения с животными. О неграх он выражается, что они «все-таки люди». В этих словах не выражается особенно сильного убеждения в равной спо-

* Мучительство животных. — *Ред.*

собности рас к совместному пользованию политическими и общественными правами. Поэтому я не стану приставать к г. Постороннему сатирику с расспросами о том, что он желал сказать своим «все-таки люди».

Лучше мне позаботиться о собственной безопасности. Я уже предвижу, какую бурю подымет против меня г. Посторонний сатирик за мое сопоставление его с московским поэтом Алмазовым. Чтоб предупредить эту бурю, считаю необходимым сказать, что глубоко верую в понимание г. Посторонним сатириком значения реализма. Я очень хорошо знаю, что отзыв московского поэта Алмазова об уважении нигилистов к корове учинен им с полной наивностью и чистосердечным убеждением в том, что последовательный нигилист должен уважать корову и что потому слова его очень метки, как доведение противного ему мнения до абсурда.

Между тем г. Посторонний сатирик — человек умный и такого вздора не думает. Сболтнулась же у него эта чепуха сознательно; он понимает как нельзя лучше, какое должно быть отношение реализма к этому вопросу, и сказал вздор, вполне сознавая, что говорит вздор, но побуждаемый желанием уязвить меня. Надобно заметить, в оправдание г. Постороннего сатирика, что вздор сказан им среди весьма горячих нападок на меня за то, что мне не понравилась одна острота его. А известно, что в горячности человек может наговорить немало вздора даже сознательно, чтобы только доесть не мытьем, так катаньем.

Здесь же кстати будет сказать несколько слов и по поводу прочих нападок на меня г. Постороннего сатирика, которые также все довольно странного свойства. Так, напр., кто читал мою статью «Славянофилы победили» ([6]) (г. Посторонний сатирик говорит, что я написал ее по его указанию на статью под тем же заглавием «Эпохи»; «Эпоха» и «Отечественные Записки» возликуют, как возликовали, когда я однажды, цитируя г. Антоновича, сказал: «помнится, г. Антонович говорил» ([7]). Но пусть они ликуют, и пусть г. Посторонний сатирик утешается. На здоровье!), кто читал, говорю я, эту статью мою, будет крайне удивлен, узнав, что, по мнению г. Постороннего сатирика, эта статья написана мною, вопреки заглавию своему, единственно против неприличий полемики вообще и полемики «Современника» в частности. Кроме того, г. Посторонний сатирик говорит, что я нападаю на петербургскую литературу и обхожу московскую; наконец, что я не говорю о многом, о чем бы следовало говорить. Против первых пунктов мне достаточно сослаться на мою статью; другого оправдания я не придумаю против таких обвинений. Ведь это все равно, если бы я сказал, что статья из «Литературных мелочей» г. Постороннего сатирика «Еще влюбленный в Россию» воздает должную дань уважения патриотизму и бескорыстью г. Краевского и рекомендует читать его «Го-

лос» ([8]). Что бы стал делать г. Посторонний сатирик против такого обвинения? Что же касается до последнего упрека, то я должен сознаться, что это чистая правда и что я действительно не говорю о многом, о чем бы следовало говорить ([9]). Mea culpa! *. Когда г. Посторонний сатирик берется за это оружие против меня, то мне ничего не остается больше делать, как покаяться. Этот упрек неотразим; но я на месте г. Постороннего сатирика даже в пылу величайшего азарта не решился бы взяться за него. Поэтому, если г. Посторонний сатирик будет продолжать направлять его против меня, то я заранее складываю оружие и признаю себя побежденным.

С «бутербродами» же имею честь поздравить г. Постороннего сатирика ([10]).

ГГ. ПОСТОРОННЕМУ И ВСЯКИМ ПРОЧИМ САТИРИКАМ

Так как в прошлой книжке «Русского Слова» г. Благосветлов сказал уже все, что следовало сказать в ответ на брань г. Постороннего сатирика ([1]), то я и прочие мои сотрудники не сочли бы нужным более касаться этого предмета, если бы приверженцы г. Постороннего сатирика, вступившись за него, не старались всячески содействовать победе, которую он обещал отпраздновать над нами. Но содействие, оказываемое ими славному деятелю «Современника», — такого рода, что побуждает меня объясниться с ними от себя и от имени моих сотрудников вполне откровенно.

Я, конечно, не стану продолжать спорить с г. Посторонним сатириком против его нападок лично на меня. Я не стану продолжать с ним спор о неграх хотя бы потому, что доводы, приводимые им против меня, не заслуживают опровержения; такое мнение, как то, которое взялся защищать г. Посторонний сатирик, во всяком случае слишком серьезно, чтобы могло быть защищаемо указанием на Ольриджа и каламбурами вроде того, что «цветной Ольридж гораздо лучше многих бесцветных актеров». Нельзя также защищать этого мнения и глубокомысленными замечаниями о том, что «если негров и легко поработить, то из этого еще не следует, что их должно поработить» — как-будто кто-нибудь говорит в этом случае о долге. И еще нельзя поддерживать мнение, противоположное моему, указаниями на то, что я говорю то же, что и плантаторы, потому что это я и без Постороннего сатирика знаю и нимало этим не смущаюсь. Словом, доводы г. Постороннего сатирика не таковы, чтобы серьезно разбирать их. На этот счет гораздо сообразнее статья в № 8 «Искры», и я охотно бы отвечал на нее, если

* Моя вина! —*Ред.*

бы она не была так темна. Что же касается до ее темноты, то об этом можно судить по следующему обращению ко мне, которое, быть может, вполне справедливо, но которого я, к сожалению, не понимаю.

«Г. Зайцеву, говорит эта статья, почему-то захотелось блеснуть оригинальною мыслью, что при решении вопроса об отношениях белой и черной рас можно обойтись без филантропической точки зрения; он не заметил ее практической неизбежности в решении всех практических вопросов в известную сторону, — как-будто наука может что-либо дать, кроме знания соотношения причин и явлений и предчувствия возможности при соблюдении или воспроизведении тех или других условий достижения тех или других результатов; обязательным для развития личности выбором более соответственного он пренебрег и этим порешил со всяким смыслом личности». («Искра» № 8, стр. 114, столбец 2-й).

Признаюсь, не понимаю, не моего ума-разума дело! Оставляя несчастных негров на попечение более искусных защитников, возвращаюсь к г. Постороннему сатирику и его вполне искусным защитникам. Из всех вопросов его я отвечу ему на один; он спрашивает меня: «нахожу ли я, что полемика его не имела серьезной цели и не проводила серьезных мыслей, а была только массою ругательств, личностей и вообще изумительных непристойностей?» (2). По правде сказать, — грешен, действительно думал я так, и когда г. Посторонний сатирик начал полемику с «Русским Словом», то еще более утвердился во мнении, что все серьезные мысли и цели его состояли в уверении всех в том, что он очень храбр, остроумен, благороден, умен и вообще выше всех в литературе. Я полагал даже, что для этих серьезных целей г. Посторонний сатирик не пренебрегал никакими ругательствами и личностями и даже клеветой. Каюсь: в душе я совершил еще худший грех, полагая, что такая полемика, какую г. Посторонний сатирик ведет против «Русского Слова», невозможна в сколько-нибудь уважающей себя литературе и прилична только той, которая volens-nolens* отразила в себе все прелести последних трех лет. Январская статья против «Русск. Слова» г. Постороннего сатирика, в которой он обещался «ткнуть нас носом на номер» и употребляет тому подобные игривые выражения, отвечая на указания игривости их возгласами вроде следующих: «что? обиделись? Вот то-то и есть, крошечка г. Зайцев и душечка г. Благосветлов!» (3) — так эта-то последняя статья еще более утвердила меня во всех моих греховных мнениях. Кто знает, быть может, я доселе коснел бы во грехе, если бы г. Посторонний сатирик не нашел себе столь талантливых защитников, как, напр., г. Ив. Дмитриев. Защитники эти начали с того, что за все мои

* Волей-неволей. —*Ред.*

дерзости против г. Постороннего сатирика приравняли меня в «Искре» и «Будильнике» к гг. Каткову, Краевскому и всем прочим. Это было для меня первым лучом истины, потому что сравнение было действительно слишком метко, чтобы не отрезвить даже такую грешную душу, как моя. Но г. Ив. Дмитриев и прочие защитники г. Постороннего сатирика, не дожидаясь даже раскаяния «Русского Слова», прибегли к таким красноречивым увещаниям, что всякое сомнение в высоких дарованиях г. Постороннего сатирика совершенно во мне исчезло. И теперь я открыто и всенародно приношу за себя покаяние, отрекаюсь от всех своих прегрешений и обещаю впредь находить умным и достойным все, что он скажет. К моему огорчению, я не могу сказать того же от имени моих сотрудников. Вероятно, считая себя более огражденными от полемических приемов наших сатириков, гг. Писарев, Шелгунов и другие продолжают упорно отвергать великие цели в деятельности г. Постороннего сатирика. Я надеюсь, что сатирики примут во внимание, что я в этом упорстве их нисколько не виноват, и поверят мне, что с своей стороны я употребил все усилия, чтобы склонить их к изменению своего образа мыслей.

Принеся столь публичное покаяние, я считаю уже себя в праве не отвечать более г. Постороннему сатирику, что бы он ни говорил обо мне и о «Русском Слове», потому что если — в чем нет сомнения — он будет говорить правду, то мне останется только молча выслушивать ее; но если бы даже он стал вести спор так же удачно, как о правах негров, то я, помышляя о тех аргументах которыми действует в полемике г. Посторонний сатирик, как-то: упреки, зачем я не пишу обо всем, о чем следует писать (4); взведение клеветы с ссылкою на знатоков русской литературы (5) и т. п., а еще более защитники его,—не нахожу в своем арсенале оружия, с которым бы мог отважиться вступить с ними в бой.

В заключение скажу несколько слов защитникам г. Постороннего сатирика, особенно г. И. Дмитриеву. В своей статье против Г. Е. Благосветлова («Будильник» № 18), о достоинствах которой судить не мне, а разве г. Стебницкому (6), он делает честь сотрудникам «Русского Слова», называя их людьми честными (7). Не знаю, как велика эта честь и кого он разумеет здесь, но уполномочен сказать, что если этот лестный эпитет отнесен г. Дмитриевым к гг. Благовещенскому, Писареву, Серно-Соловьевичу, Шелгунову или ко мне, то тем хуже для него, потому что означенные лица не могут чувствовать ничего, кроме презрения к сатирикам, подобным г. Ив. Дмитриеву, которые грязнят наши дорогие убеждения, совершая под покровом их свои славные подвиги.

СЛАВЯНОФИЛЫ ПОБЕДИЛИ

Недавно «Эпоха» возвестила России радостную весть: «Славянофилы победили», и принялась праздновать эту победу вместе с московскими публицистами, которые, в свою очередь, радуются «отрезвлению общества». Постороннему зрителю остается поверить успеху этих журналистов и поздравить публику с отрезвлением, а публицистов — с победою.

Дело во всяком случае заслуживает поздравления. Если победа действительно одержана большинством журналистики над меньшинством, то это не более, не менее как успешное приведение к концу дела, из-за которого большинство публицистов столько лет хлопотало. Дело это было единственным делом, единственною целью всей деятельности этих журналистов в течение нескольких лет. В нем весь смысл этой деятельности, все практическое и нравственное значение ее. Если мы исключим песнопения лириков да прежнюю беллетристику, то нельзя выбрать ни у одного из этих публицистов ни единого слова, которое было бы обращено на что-нибудь другое, кроме поражения противников их, которых они называли сперва свистунами, а потом нигилистами. Вопли против свистунов и нигилистов были так единодушны и раздавались таким согласным хором, что теперь между разными публицистами возникает даже распря из-за того, кто первый возопил против свистунов и нигилистов. На каждую выходку против этих жертв является несколько претендентов, и я сомневаюсь, чтобы они могли полюбовно поделить победные лавры и трофеи.

В прежнее время публицисты могли найти довольно приличное оправдание для того обстоятельства, что вся деятельность их посвящена исключительно борьбе против свистунов. Разумеется, им давно можно было указать, что в сущности они играют жалкую роль, что они вполне зависят от своих противников, потому что существуют только отрицанием их. Несмотря на все вопли их против отрицательного характера нигилистов, сами они ничего не делали положительного и ничего не сделали, что и доказал им еще Добролюбов. Но они имели тогда возможность возразить, что свистуны мешают всякой положительной деятельности и что положительные желания литературы до тех пор не будут осуществимы, пока в ней не перестанут преобладать и господствовать нигилисты. Поэтому, — рассуждали они логично, — мы и обращаем все наши силы сперва против этих людей, чтобы иметь возможность потом придать действительное значение нашей деятельности. В таком виде дело получало вид довольно приличный и благообразный. Выходило, что как будто публицисты понимают, что свистуны не настоящие противники положительной деятельности и ее плодов, а только помеха к достижению их. Против этого можно было спорить, но все же тут был склад и смысл.

Конечно, проницательные люди могли сомневаться и сказать публицистам положительного характера: врете вы, совсем вы этого не думаете, а если думаете, то тем хуже для вас, потому что, пока вы успеете достигнуть вашей ближайшей, но второстепенной цели, вы так себя изуродуете, что уж ни на что не будете годны. Но недальновидное большинство могло упустить из виду, что путь, избранный публицистами, поведет их через такие клоаки наушничества и обскурантизма, что никак не приведет их к положительной деятельности, сколько-нибудь благовидной. Поэтому им могли одобрительно поддакивать и не ставить им в строку все совершаемые ими безобразия в том чаянии, что все это кончится полезными результатами.

Поощряемые таким образом, они храбро шли по этому пути и в последнее время дошли до подвигов истинно изумительных. Быть может, зрителям, наконец, надоело бы все это и они усумнились бы в пользе такой деятельности, обещавшей в будущем одни бранные клики и неистовые завывания; но, наконец, публицисты возвестили о своей победе. Зрителей это должно было обрадовать. Победа обещала в этом случае, судя по прежним внушениям публицистов, прекращение их отрицательной и начало настоящей, положительной деятельности. Препятствие устранено, следовательно открыта дорога к цели. Самая обстановка заставляла предполагать наступление вожделенного времени в литературе. Бранные тревоги смолкли, политический горизонт прояснился, и политические дела могут внушать только полное спокойствие и желание обратиться к мирной деятельности, а не к опасениям и волнениям. Здесь-то именно, на поприще мирной деятельности, и следует ожидать теперь положительных действий со стороны победоносных публицистов.

«Славянофилы победили! — восклицают публицисты. — Литература и общество отрезвились», — говорят они. Следовательно, им предстоит начать новый род деятельности, потому что если они думают, что деятельность их имеет какой-нибудь смысл литературный, то очевидно, что именно теперь-то и следует доказать это. Прежде мешали свистуны и нигилисты, и было необходимо развязаться с этим злом. Хорошо. Но вот «Правдолюбов умер, другие и т. д.», как говорит «Эпоха» (1). Настало, следовательно, время, когда деятельность публицистов должна сделаться положительною. Если они хотели и надеялись что-нибудь совершить, но враги мешали им, то теперь ничто не препятствует им творить свое дело. Если же они, протрубив о своей победе, будут заниматься тем же, чем и прежде, то оправдают тех скептиков, которые предрекали неспособность к чистому делу в человеке, прошедшем через болота. Это докажет, что публицисты надували публику, притворяясь, что им мешают свистуны; докажет, что к положительной деятельности они способны только в сфере воплей и брани.

Прошел год и более с того времени, когда «Московские Ведомости» в первый раз возвестили о своей победе; прошло несколько месяцев с тех пор, как в «Эпохе» появилась заметка, возвещавшая о победе славянофилов. Поэтому, принимая в соображение все, что было сказано публицистами с того времени, можно сказать, что скептики оказались дальновиднее большинства и что «положительная деятельность», приносящая плоды кому-нибудь, кроме самих деятелей, есть не более как обман, которым публицисты прикрывали свои подвиги. Публицисты трубят о своей победе, но продолжают делать то же самое, что и в то время, когда вопияли против литературного деспотизма... Перебирая их произведения и следя за деятельностью их в последнее время, нельзя открыть в них ничего, кроме воплей, кликов и брани. У всех, как и прежде, полемика против нигилистов на первом плане, и вообще характер текущей литературы более полемический, чем когда-либо. Ниже я постараюсь оценить эту полемику и указать, симптомом чего именно должно считать ее.

«Московские Ведомости» не прекращают своих воззваний и бранных кликов, как будто враг все еще посягает на Смоленск, как будто Киев все еще в опасности и даже самой Москве все еще грозит 12-й год. Конечно, это не есть еще положительная деятельность. Но «Московские Ведомости» не могут иначе говорить: переменить тон значит отказаться от своего завидного места, от возможности стоять на завидной для других газет высоте и поражать оттуда противников криком. Такое положение имеет много выгод. Приведу слова самих «Московских Ведомостей»: «Мы не заслуживаем, — говорит эта почтенная газета, — той массы неприязни, которою чествуют нас противники русского дела. За собою лично мы не признаем никакой особенной заслуги, а также никакого особенного повода к вражде и, стало быть, не видим, почему именно на нас должна сосредоточиваться ненависть противной стороны. Нельзя видеть особенную заслугу в том, что делается по простой обязанности. Мы были обязаны действовать так, как мы действовали, говорить то, что говорили» (№ 195) ([2]). В этих словах, замечательных во многих отношениях, особенно выдается первая фраза, вполне типичная для «Московских Ведомостей». Этою фразою газета эта прикрывает себя против всяких возражений и опровержений. Думаете ли вы, что гг. Катков и Леонтьев пишут в своей газете нелепости, — вы противник русского дела. Думаете ли вы, что г. Катков не совершил блистательных подвигов в области философии, политической экономии и публицистики, — вы враг русского дела. Думаете ли вы, что письма Байбороды оставляют желать лучшего ([3]), что критики г. Юркевича не есть идеал благородства ([4]), что Густав де-Молинари и г. Щебальский не могут считаться первостатейными писателями, — думаете ли вы это? О, в таком случае, разумеется, ваши цели, ваши намерения, ваши убежде-

ния ясны; ясно — вы враг русского дела. Не советую вам также вспоминать о твердости убеждений г. Каткова, о разнообразных направлениях его, в которых он постоянно терпел неудачи, пока не выбрал более крепкой позиции; если вы сделаете это, то будет несомненно, что вы — враг русского дела, ибо г. Катков есть олицетворение этого дела.

Таким образом, положение, ныне занимаемое г. Катковым, столь выгодно, даже в чисто журнальном отношении, что стоит похлопотать о продлении его. Вот пример тех доводов, которыми оно оберегается и охраняется:

«Когда дело идет не о том, чтобы подставлять свои лбы под вражеские пули и ядра, — говорят «Московские Ведомости»,— когда дело идет не о борьбе с опасностью, уже явно представшею, а о предупреждении опасности, приближающейся и грозящей в будущем, более или менее отдаленном, то нас, повидимому, покидают все силы, мы теряем всякую способность употреблять их в дело. — Умея умирать за отечество, они (высшие классы нашего общества) должны уметь и жить для него. Они призваны ежедневно блюсти его интересы, принимать их живо к сердцу, вникать в них серьезною мыслию, предусматривая опасность, еще издалека наступающую, и напрягать усилия к предотвращению ее от нации. Только при такой чуткости высших классов к национальным интересам всенародная готовность жертвовать всем за спасение отечества способна вести к процветанию государства. Но обладаем ли мы этой чуткостью?» (№ 207). Разумеется, доказывается далее, что не обладаем.

Всякий видит, куда и к чему клонятся эти рассуждения. Не думайте, что я намерен переменить дух и тон моих статей, желает сказать г. Катков, не воображайте, что я что-нибудь буду говорить: я попрежнему буду только вопиять, буду «бдить» и стараться усовершенствовать в себе и в других упомянутую чуткость. Я не переменю своих восклицаний оттого только, что времена переменились; вы слепы и думаете, что нет больше повода кричать и бесноваться, а я думаю, что «мир существует на то, чтобы готовиться к войне». Следовательно, знайте, что я не сбавлю воинственного азарта, какая бы Аркадия ни зацвела у нас.

Причина такого успеха нехитрая. Для г. Каткова дело идет не только об удержании выгодной позиции, но вообще о том — «быть или не быть», конечно, как публицисту. Предполагаю, что с водворением вожделенной тишины и спокойствия добрые люди объявляют себя нерасположенными слушать дальнейшие филиппики; положим, что они настоятельно потребовали от литературы обращения к делам мира. — Добрых людей занимают мирные, домашние дела, и притом они находят, что ристание в шлеме и с обнаженным мечом, с воинственными призывами столь же странно в мирное время, как и сценическое представление малой войны с ее засадами, хитростями, «бдительностью» и «чуткостью».

Публика приглашает этого господина сесть под свою кущу и смоковницу и, закурив кальян мира, приступить к обсуждению различных общественных и литературных вопросов мирного свойства. Ясно, что подобные требования поставили бы г. Каткова в затруднительное положение. Перед кем и перед чем он будет парадировать своими филиппиками? Куда ему приложить этот старый запас красноречивых воззваний, восклицаний, антитез и метафор, которые никуда не годятся при обсуждении простых вещей и расходуются только на торжественные случаи? А так как в жизни народов торжественные события исключительны, а будничная деятельность постоянна, то красноречию г. Каткова остается подражать монологам того испанского рыцаря, который декламировал перед ветряными мельницами. Таким образом, всякий путь к отступлению под покров англомании, аристократического элемента, либеральных начал и т. д. отрезан для «Московских Ведомостей». Попасть в этот благословенный мирный приют если даже и можно, благодаря изумительной подвижности своего характера, то во всяком случае в нем нельзя ожидать прежнего процветания. Если и прежде гг. Катков и Леонтьев подвергались в них неприятным пассажам, то теперь и подавно нельзя будет рта разинуть, слова вымолвить, не услыхав бесчисленных цитат из собственных статей в «Московских Ведомостях» и «Русском Вестнике». Но, к несчастью, в случае, если бы публика заявила вышесказанные желания, то подобная разработка не могла бы иметь места. Мудрено ли после этого, что, поставленный между этими двумя перспективами, г. Катков старается удержать даже всепожирающее время и остановить течение политических событий? Удивительно ли, что он толкует об отдаленных опасностях, о недостатке «чуткости» и о необходимости развивать это качество?

Замечательно, что о том же самом и почти в тех же выражениях толкует «День». Вот что говорит эта газета в № 42: «Время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий; одного внешнего, так сказать, патриотизма, возбужденного видом внешней грубой опасности, еще недостаточно; есть опасности иного рода, несравненно опаснейшие; надо уметь стоять за Россию не только головами, но и головою, т. е. не одним напором и отпором грозной силы материальной, но и силою нравственною; не одною силою государственной, но и силою общественной; не одним оружием вещественным, но и оружием духовным; не против одних видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов; не во время войны только, но и во время мира».

Я представил грустную участь, которая неизбежно ожидает московских борзописцев по водворении мира и тишины в государстве и в обществе. Теперь я постараюсь напомнить, что ожи-

дало бы самое общество, если бы осуществились задушевные желания борзописцев. Ни один борзописец не посмеет, конечно, сказать (впрочем, от них можно всего ожидать), чтобы война и бранная тревога могли быть желанною нормою общественного состояния. Однако они желают если не увековечения этого состояния, то по возможности продления его. Я уже показал причины, побуждающие их желать этого. Предположим теперь, что желания борзописцев исполняются. Результатом этого будет для общества грустная ошибка, которая заставит его вместо того, чтобы наслаждаться Аркадией и по мере сил хлопотать о своих выгодах, обретаться в бесполезной тревоге, морочить друг друга и служить забавою людям благоразумным; для литературы — крайняя степень унижения, потому что чтó же может быть унизительнее, как сражаться с призраками, намеренно колотиться лбом об стену и обращать свою ярость на неповинную стену. Лафа будет только двум-трем борзописцам, которые таким образом удержатся на своей позиции и избегнут Сциллы и Харибды.

Не знаю, как будет дальше, но покуда последнее предположение ближе к осуществлению, чем первое. Хотя библиография дает сведения довольно утешительные, показывающие, что публика благополучно вынесла все махинации, совершонные и совершаемые над ее головой журналистами, трубящими тревогу, но сами журналисты действуют так, как будто им вовсе не угрожает присутствие здравого смысла в читателях и как будто трубы их попрежнему производят смятение. Оставляю в стороне политические предсказания «Московских Ведомостей» и «Дня», потому что вообще я не желаю касаться здесь политических вопросов, я укажу только на некоторые, особенно замечательные редкости этих газет. Из них особенного внимания заслуживают подвиги «Московских Ведомостей» и «Современной Летописи» по ограждению de la morale publique* Г-жа П—на в №№ 36 и 37 «Современной Летописи» и Читатель в № 187 «Ведомостей» мужественно защищают своих детей от покушений г. Трутовского развратить сердца этих птенцов. Г. Трутовский — автор рисунков, украшающих новое издание басен Крылова ([5]). В этом издании рисунки изображают не зверей и деревья, как обыкновенно, а людей в обстоятельствах, соответствующих смыслу басни. Я не буду распространяться о достоинствах этого издания и его иллюстраций; это тем более не нужно, что блюстители нравственности обращают свое внимание не на остроумие и меткость рисунков, а на нравственность их. Г-жа П—на повествует следующее о своих бедствиях: дама эта, приехав на короткое время в Москву, отправилась в книжный магазин Базунова, чтобы купить для своих детей книгу. «Само собой разумеется, — говорит она, — прежде всего мне бросилась в глаза книга большого фор-

* Общественной нравственности. — *Ред.*

мата, в хорошем переплете, с надписью: Басни Крылова». Далее оказывается, что, обольщенная хорошим переплетом и большим форматом, чадолюбивая мать, не взглянув на книгу дальше переплета, «поспешила (?) сказать: заверните мне эту книгу!» Потом описывается трогательно радость детей при виде книги и семейная сцена, разыгравшаяся при этом. «После обеда мы, всей семьей, торжественно (?) садимся вокруг большого стола». Но здесь-то и разразилась беда, которую, впрочем, легко бы было предотвратить, если бы развернуть книгу в магазине. Бедствие, постигшее мать и птенцов в такую торжественную минуту, состояло в том, что книга оказалась предназначенною не для детей, а для взрослых. Собственно говоря, что же тут ужасного? При стольких изданиях Крылова для детей, неужели не может быть одного для взрослых? Или Крылов уж непременно должен читаться только детьми? Не знаю, что думает об этом г-жа П—на, но как бы то ни было, а результат вышел тот что, вместо всем известной вороны с куском сыра и лисицы заседание узрело картинку, изображающую камелию, выманивающую деньги у старика. Само собою, торжественное заседание было прервано, что прекрасно описано самою г-жею П—ной: «Это ее папаша! — произнесла сквозь зубы, поскорее закрыв книгу». Не правда ли, как находчиво и благоразумно поступила эта дама?

Но оказалось, что дама эта была в некотором роде пороховым погребом, и картинке г. Трутовского суждено было сделаться искрою, запавшею среди ракет и брандскугелей материнского негодования. И, боже мой! чего ни наговорила разъяренная дама в пылу негодования на несчастного г. Трутовского. Два номера «Современной Летописи» с трудом вместили всю лаву, излившуюся из этого вулкана. Статейка г-жи П—ной озаглавлена: «Голос женщины». Помилосердствуйте, ради бога, какой это голос, да еще женский! Это — вопли, крики, плачи, а не голос. Это — какая-то иеремиада, преисполненная стонов и злобы. Чего только ни приплела г-жа П—на к г. Трутовскому. Во-первых, обращаясь к нему, она декламирует ему басню «Сочинитель и разбойник», вероятно, желая сказать, что охотно бы заняла должность Мегеры в отношении г. Трутовского, если бы открылась вакансия. Далее, продолжая поражать художника оружием, заимствованным из басен Крылова, она предрекает ему, что его съест (ей богу, не выдумываю) какой-нибудь нигилист, развращенный им посредством басен. Затем она присоединяется сама к той партии из числа двух, представленных в басне «Прохожий и собаки», которая одержима желанием кусать и лаять. Причина, почему г-жа П—на причислила себя добровольно к этому обществу, заключается в том, что у г. Трутовского прохожие изображены в виде нигилистов. Затем г-жа П—на оставляет басни и г. Трутовского, и вопли ее все более и более распространяются. Касается она и безнравственности учебных заведений, и кощунства,

и русских лондонских изданий, и славянофильских костюмов, и католических проповедников, — но чего она не касается, вот вопрос! Жалуется она, что от порядочных женщин, желающих преподавать в народных школах, требуется экзамен и полицейское свидетельство, что составляет для них непреодолимое препятствие. «А нигилисткам не тяжело исполнить всю эту тяжелую формальность!» — восклицает она, точно с завистью. «Мне указывали на одну девицу», — продолжает она, и читатель, разумеется, ожидает, что г-жа П—на намерена рассказать о нигилистке, не испугавшейся «тяжелой формальности». Но не тут-то было. Рассказывается просто о том, что одна девица ушла от родителей и живет с одним господином, от которого имеет ребенка. Но в пылу негодования простительно пренебрегать последовательностью. Далее г-жа П—на ноет о недостатке хорошей прислуги, сообщая, что у нее была горничная, «отличительными качествами которой были ветреность и грубость». От нытья по прислуге она переходит мгновенно к нытью по учителям. Оказывается, что положение ее, а главное ее детей, самое плачевное, так что действительно о нем «стоит крепко задуматься». Она, видите ли, боится учить своих детей, потому что кому поручить учение? Студенту? Но они все имеют «нигилистическую закваску». Гувернантке? Но это — «смесь новейшего вольнодумства с весьма старою привычкою кокетства» — опять нельзя. Иностранцу? Но «сказывают, — скорбит г-жа П—на, — что известный отец иезуит, князь Гагарин, попал на эту дорогу вследствие внушений своего гувернера». Судите сами, можно ли после такого примера взять гувернера? Положение, чорт возьми, скверное! Видно, детям так-таки и придется неучами оставаться. А каково это сердцу-то матери?

«О, — взывает г-жа П—на, — пусть подумают люди основательного характера и честных убеждений, что пора им теснее сомкнуться между собою, чтобы поставить крепкий оплот на месте прорвавшейся плотины! Еще недавно началась гибельная пропаганда, а уж взгляните, как все занялось кругом, пожар быстро разливается повсюду, целые поколения могут погибнуть (вон оно куда пошло!) в борьбе и отодвинуть Россию, быть может, на целое столетие. Каково нам будет тогда догонять Европу?! (А в самом деле, об этом-то мы и не подумали! Каково в самом деле будет?!). Велика сила вражья, но неужели мы отдадимся ей в руки? (Никогда! Ляжем костьми, мертвые бо сраму не имут). Одно спасенье: поднять уровень общественного образования и общественной нравственности (Ух! отлегло! Ларчик-то просто открывался). Пока наше общество не возьмется с горячностью за это дело, мы все будем врозь страдать... сложа руки и глядя с сердечным сокрушением, как действуют люди нового порядка. У тех живо дело кипит в руках. Они за все взялись; науки, искусства, ремесла — все служит проводником их

идей, из всего они извлекают для себя пользу» («Совр. Лет.», № 37) ([6]). Замечательно, что из числа московских публицистов не одна только г-жа П—на имеет привычку смотреть на купленную книгу не прежде, как придя домой. Те же самые превратности, которые постигли по поводу басен Крылова г-жу П—ну, постигли другое лицо, которое докладывает о них читателям «Московских Ведомостей». Господин этот также явился в книжный магазин Базунова и тоже увлекся форматом и переплетом злополучных басен. Подобно г-же П—ной, он заплатил за книгу 5 рублей и, подобно ей, мечтал о наслаждении, которое доставит этой книгой детям. Но господин умалчивает, произошла ли дома торжественная сцена, описанная г-жей П—ной, ели ли дети его за обедом или нет, и если ели, то много ли или мало (дети г-жи П—ной, по словам их матери, не ели ровно ничего от нетерпения увидеть картинки); господин умалчивает, видели ли дети соблазнительную лисицу, и был ли он настолько находчив, как г-жа П—на. Но зато он обращает внимание свое или, лучше сказать, ярость против одного лица, упущенного из виду г-жею П—ной, которая вся отдалась чувству ненависти к г. Трутовскому и своим стенаниям об испорченности века. Господин возненавидел издателя этой книги и его книжный магазин. Последний он называет «домом разврата», а книгопродавцу желает разориться. Такие ужасы должны устрашить последнего, и можно надеяться, что вперед он или не будет переплетать басни Крылова в соблазнительные для чадолюбивых отцов и матерей переплеты, или будет покорнейше просить публику покупать товар лицом. А то ведь найдется, наконец, покупатель столь свирепый, что решится собственноручно поджечь «дом разврата», соблазняющий его красивыми переплетами. Мораль из этого та, что вообще книгопродавцам плохо в городе, жители которого покупают книги, как крупу или мыло.

Если уж против таких невинных явлений, как издание Крылова для взрослых, поднимается такой содом, то можно себе представить, что совершается в верхних столбцах этих газет. Вышеприведенная прокламация г-жи П—ной к «честным и основательным людям» есть пароль всех этих упражнений. Они доказывают, что г. Катков еще вовсе не помышляет о прекращении своих воинственных декламаций и желает продолжать запугивать публику разными опасностями, по мере надобности возникающими в его голове. Следовательно, в отношении этого публициста, по крайней мере, победа славянофилов не принесла ничего нового. Были всегда вопли против свистунов и нигилистов, и будут они длиться, пока будут находиться слушатели. О положительной деятельности публицисты и говорить перестали, зная, вероятно, что никто не поверит им.

Опасности, показываемые в перспективе, и разные буки, которыми угрожают публике, выручают из затруднения и «День».

Благодаря этим букам в «Дне» проходят под шумок незамеченными такие статьи, которые в других случаях возбудили бы хохот в самом ревностном читателе «Дня», исключая разве г. Аксакова. Так, например, в 32 № «Дня» в передовой статье разбирается вопрос: имеют ли евреи в России «права на бытие», и, разумеется, решается отрицательно. Затем в 40 № происходит по этому поводу препирательство с «Биржевыми Ведомостями», которые оказались столь просвещенными, что вступились за права евреев на существование. А вспомним, с каким презрением попрекали свистуна Добролюбова за то, что он не восхищался, когда литература с торжеством возвещала:

Что жид есть тоже человек.

Хороши теперь те, которые восхищались этим, а нынче снова видят, что вопрос этот вовсе не решен и не кончен и что об нем попрежнему идут прения (7).

Спрашиваю г. Аксакова: считает ли он свою деятельность положительною? Если он думает это, то ошибается. Вопросы, поднимаемые им, лишены всякого положительного значения. Они ни к чему не ведут, и сам г. Аксаков встанет в тупик, если, выслушав его рассуждения о том, что евреи не могут жить в России, согласиться с ним и спросить, что же делать? Вся хитрость таких борзописцев состоит в том, чтобы о чем-нибудь разглагольствовать в ожидании, что найдутся какие-нибудь «Биржевые Ведомости», которые увидят в этом повод заявить свой гуманный образ мыслей. Нашлись, возразили,—ну и пошла писать, и есть, о чем рассуждать. А спроси, что же делать? борзописец встанет в тупик. Ведь неприлично же ему отговариваться тем, что я-де только указываю зло, что я не могу предлагать средства для поправления его. Это бы вышло отрицание, за которое было столько попреков от борзописцев их противникам. Но там дело было иное. Публика очень хорошо понимала, что такие попреки достойны тех, кто прибегал к ним, что противники борзописцев знают, чего хотят. Вот тоже «Эпоха» говорит о необходимости перекрещивать немцев (8). Начни спорить — одолжишь, только того и надо. Но достаточно спросить: как же это так? как же следует приступить к этому? и миссионер это встал бы в тупик. Таким образом, «День» и его читатели ровно ничего не выиграли от победы своей; деятельности положительной нет как нет, так что если с ним не спорить, то ему придется попрежнему о т р и ц а т ь бытие жидов и мечтать о Праге и соединении славян. Но это только мечты, а не положительная деятельность, представителями которой, равным образом, не могут почесться ни пиит Щербина (9), ни витийствующая г-жа Кохановская; впрочем, последней уже начало мерещиться разное неподобие. По крайней мере, она сама говорит в 41 № «Дня» о своих галлюцинациях (10).

Вероятно, по праву своей победы славянофилы берут как spolia opima* достояние врагов. В 45 № «Дня» я, к великому изумлению моему, открыл подобный победный трофей «Дня», сорванный им с моего собственного трупа. Я долго не мог понять, в чем дело, и начал даже подозревать себя, что уж не пишу ли я тайком от самого себя в «Дне». Дело в том, что «День» вознамерился помещать у себя иногда выписки из наших современных журналов под заглавием: «Перлы русской журналистики» ([11]). Но меня успокоило насчет самого себя только то обстоятельство, что в статейке «Дня» задевается и «Русское Слово» в лице г. Писарева. Ну, уж до такого двоедушия я не дойду, подумал я успокоившись, если только может успокоиться человек, с которого неумолимый победитель совлекает п е р л ы. Тут не послужит даже в утешение поговорка, что чужое добро в прок нейдет. Читатель поймет теперь, почему мне менее, чем кому-либо, можно сомневаться в победе славянофилов. В петербургской журналистике полемика свирепствует и родит чудеса. Особенно знаменита полемика «Современника» с «Эпохой». По поводу статей, появлявшихся по этому поводу в «Современнике», «Отечественные Записки» достали письмо какого-то провинциала, который будто бы выписывает «Современник» и, возмущенный до глубины души неприличием его полемических приемов, обращается по начальству, т. е. пишет жалобу на «Современник» А. А. Краевскому, предполагая, вероятно, в нем лицо, начальствующее в литературе ([12]). Полемические приемы «Современника», на которые указывает этот провинциал, действительно не отличаются изяществом, хотя теперь «Эпоха» узнала, наконец, что выходки «Современника» против нее заимствованы из ее же статей против этого журнала ([13]), но сам «Современник» говорит, что воздал «Эпохе» капитал ругательств с процентами. Надо сознаться, что проценты вышли не христианские. Провинциал указывает, например, на такое живописание: «Бельведерский двадцать четыре раза испускал необыкновенную отрыжку и затем пять раз плюнул усиленным и напряженным манером, потому что слюна его была очень густа, прилипала к языку и губам и не отлетала по воздуху прочь, как бывает обыкновенно, а повисала на усах и бороде» ([14]). Красноречивое описание это, как бы то ни было, составляет процент весьма неумеренный. «Современник» говорит, что «Эпоха» сама подала ему повод касаться таких предметов, как, напр., сколько кто выпил, какие были последствия и так далее. Но сомнительно, чтобы подробности о выпитой водке и съеденной при этом колбасе были достойны подражания. К тому же и «Эпоха» не первая выдумала их, как доказывает январский фельетон «Современника» ([15]). Впрочем, провинциал тоже даст порядочного маху, если, испугавшись полеми-

---

* Богатую добычу. —*Ред.*

ческих приемов «Современника», предпочтет ему «Отечественные Записки». Я даже удивляюсь, как у «Отечественных Записок» хватило духа напечатать письмо провинциала; разве уж очень захотелось уколоть «Современник» и пригрозить ему отпадением провинциальных подписчиков, или, быть может, чересчур понравилась новая и меткая острота насчет того, что, по мнению «Современника», «для счастья человечества всего важнее брюхо, иначе живот» ([16]). Только этими догадками можно объяснить помещение жалобы на описание качеств слюней и отрыжки в журнале, который выражался не далее как в июньской книжке следующими оборотами: «Русское Слово» только тем и дышит, что пережевывает мертвую слюну Добролюбова» ([17]). Чего же возмущаться отрыжкой, описанной в «Современнике», после этого? Получив письмо от провинциала, «Отечественным Запискам» следовало отвечать ему: милостивый государь, вы не понимаете, в чем состоит соль; острота «Современника» бесподобна и весьма значительна; если в чем можно упрекнуть его, то в недостатке остроумия, потому что еще лучше было бы, если бы вместо слюны живого изображена была слюна мертвого и если бы она не выплевывалась, а жевалась. В таком случае что могло бы быть ядовитее; подумайте, на что уж должен быть похож человек, жующий мертвую слюну? и т. д. Вообще нельзя сказать, чтобы писатели наши лазили за словом в карман.

Перебранки, доходящие до таких изумительных непристойностей, составляющие главную и самую видную часть журналистики, свидетельствуют о плачевном состоянии литературы. Они показывают, что область, подлежащая литературе, доведена до самых микроскопических размеров, что на ней не осталось ровно ничего, кроме самой журналистики и личностей, подвизающихся на поприще ее. Журналы друг другу и сами себе опротивели до крайности, но, за неимением другого дела, должны заниматься друг другом, что не способствует смягчению и умиротворению их взаимных отношений. Дело доходит, наконец, до того, что существование какого-нибудь направления в журнале объявляется нелепостью, подвергается шуткам и насмешкам. Возвещается, что в жизни нет ничего, что бы могло дать журналу какое-нибудь направление. Все это сказано «Библиотекой для Чтения» в июльской книжке этого журнала. На первый взгляд это кажется бессмыслицей удивительной. Как бы ни шла жизнь, но разве это может мешать человеку или известному обществу людей находить одно белым, другое черным, одно справедливым, другое нелепым, одно полезным, другое вредным? А если жизнь так исказила тебя, что ты и сам перестал отличать, что по-твоему дурно, а что хорошо, так оставайся в толпе, — не лезь на кафедру. — Да литература не кафедра, отвечают такие люди, у которых осталось одно сознание, что они жалкие и бесполезные

тунеядцы. Но конечно, их литература не кафедра, не трибуна. Литература с романом «Некуда» — конюшня, а не трибуна. Что же в ней такого соблазнительного, что манит к себе человека, сознающего свою неспособность разобрать, что лучше, что хуже? Сам видит, что туп, никому не нужен, ничего не видит, литература — свиная закута, а все-таки отправляется в нее и начинает толковать, точно он что-нибудь понимает, точно литература — трибуна. И о чем толкует? О том, что у него нет и не будет направления, что неоткуда и взять ему его, что жизнь не дает ничего, по чему бы можно было отличать хорошее от дурного? Стоило же рот открывать, чтоб сказать это, после чего всякий тунеядец, сколько-нибудь смышленый, должен поспешить снова зажать рот, раскрывшийся не в добрый час ([18]).

Но, с другой стороны, нельзя не согласиться, что направление есть излишняя роскошь, которую могут допускать у себя разве нигилисты, а прочей журналистике оно не только не нужно, а просто лишнее бремя. Все эти «Эпохи», «Отечественные Записки», «Библиотеки для Чтения» процветали так себе, без всяких направлений. И благо им, что у них ничего подобного не было и что они даже возвели в догмат отсутствие его. Они не то, что московские журналисты. Те все делали вид, что натворят чудес, как только справятся с нигилистами. Естественно, что при первых победных кликах к ним обращаются с требованием дать то «положительное», о чем они толковали. Но здешние — подобны птицам небесным, потому что никогда не сеяли, хотя в житницы собирали. Попадалось прежде в житницы семя либерализма — брали, клали в житницы и предлагали публике; теперь попадает «Некуда», не брезгают и им, берут и подносят. А кто вы такие? — спрашивают их. Но они смело и храбро отвечают, что сами не знают, кто они, что они и зачем они, так — мешок; что положат, то и несет. Но публика не имеет никакого права претендовать на них за это; не потому, чтобы жизнь избавляла их от обязанности иметь какой бы то ни было взгляд на вещи, а потому, что им решительно нечего делать. Разве можно требовать, чтобы они добровольно сунулись в Сциллу и Харибду, между которыми носится челн «Московских Ведомостей»? Как бы то ни было, они избрали сравнительно благую долю; и одно, что должно еще смущать их, это неловкий вопрос, зачем они пишут и толкуют? Слыша от них самих о невозможности иметь какое-нибудь убеждение, видя в них решительную невозможность свернуть на старую проторенную дорожку либерализма, потому что каждый из них чем-нибудь замаран, кто «Взбаламученным морем» ([19]), кто статьями об обращении немцев, кто «Некуда», — приходишь к заключению, что безрассудно было и требовать от них какого-нибудь единообразия или единодушия, какого-нибудь склада и лада. Зачем им все это, когда удобнее быть просто мешком?

Однако подобным мешкам также угрожает опасность: не проходит месяца, чтобы в свет не вышло несколько дельных переводных сочинений. Число их быстро возрастает, и я, право, не понимаю, как г. Аксаков не обратил до сих пор внимания на это и не оплакал столь грустное явление. Ведь подумайте, что это значит! Ведь это значит, что публике надоела наша туземная болтовня и что она с жадностью хватается за продукты европейского ума. Не печально ли это по-вашему? Естественно, что при таком распространении переводов иностранных сочинений необходим такой журнал, как «Заграничный Вестник», которому можно предсказать блестящую будущность, если он продолжится до тех пор, пока не вытеснит «Отечественные Записки» и прочих паразитов, питающихся теперь крохами, падающими с его стола. «Заграничный Вестник» имеет обыкновение заранее печатать список статей, которые намерен поместить в следующих номерах, и этот-то список служит вдохновением для паразитных журналов. Выходит то, что они наполовину набиваются переводами, в выборе которых явно руководствуются списком «Заграничного Вестника». Возьмем, например. «Отечественные Записки»: из десяти статей июньской книжки переводных пять, Тэн, Ревиль, Ренан — все это открыто для паразитов «Заграничным Вестником» ([20]). Понятно значение этого журнала. $^9/_{10}$ нашей литературы — переводы; следовательно, необходим журнал, который бы специально следил за европейской жизнью и литературой, указывал бы издателям на сочинения, заслуживающие быть переведенными, и, наконец, печатал такие статьи, которые по объему неудобны для отдельного издания. Нельзя сказать, чтобы «Заграничный Вестник» безукоризненно выполнял эту программу. Ему можно пожелать поболее разнообразия, более строгого выбора статей, так как перед ним неисчерпаемое изобилие материала. Можно заметить, например, что «Заграничный Вестник» уже слишком интересуется Тэном, что он напрасно помещает такие вещи, как статья Ж. Санд о сочинении В. Гюго, которой место разве в хронике сумасшествий ([21]). Но все это мелочи, за которые нельзя серьезно упрекать журнал, сделавший так много полезного в 9 месяцев своего существования. Журнал ведется хорошо и очень важен для нашей литературы, в этом нет сомнения. Но когда паразиты наполовину заимствуют мед, собираемый этим журналом, а другую половину набивают туземною дрянью, то становится стыдно. Картина делается безобразною, когда рядом с Дарвином помещаются гонения на немцев, роман «Некуда» и т. п.

И в той же книжке встречаем рассуждения о книге Дарвина, об «Утилитарианизме» Милля, перевод лекций Макса Мюллера, и тут же продолжение «Некуда», и тут же с беспримерным самоотвержением продолжает писать г-жа Евгения Тур. Кстати об этом сопоставлении: редакция «Библиотеки», разумеется, отпи-

рается от поползновений г. Стебницкого; нельзя было и ожидать, что она скажет: mea culpa* и принесет публичное покаяние. Но так как все ее возражения состоят в брани и ничего не доказывающих фразах, то не заслуживают внимания, тем более, что в «Санктпетербург. Ведомостях» нашелся знакомый г. Стебницкого, который даже обещает издать исправленное и дополненное издание романа «Некуда». Я же считаю совершенно неудобным указывать «Библиотеке» на личности ее памфлета; во-первых, это лишнее, потому что «Библиотека» не может не знать этого, во-вторых, этому мешают самые подробности об этих лицах, описываемые в памфлете. Скажу только, что напрасно «Библиотека» стыдится упоминать, говоря о памфлете, некоторые имена. Памфлет тем и отличается от сатиры, что не может обидеть лиц, против которых направлен. Впрочем, вероятно, «Библиотека» стыдится произнести во всеуслышание проделку, на которой ее поймали. Напрасно. Следовало стыдиться прежде, а то памфлет-то напечатать храбрости хватает, а говорить о нем потом стыдно ([22]).

Чем же ознаменовалась, следовательно, победа славянофилов? Тем, что литература подарила русской публике «Марево» и «Некуда»; тем, что журнальные перебранки дошли до попреков отрыжкой и до «пережевывания мертвой слюны»; тем, что переводные сочинения окончательно берут верх над журналистикой и наполняют ее, оставляя место лишь для подобной полемики и разных туземных уродств. Славянофилы и вся прочая братья сами отрезали себе отступление на старый, торный путь либерализма и принуждены после своей победы, как и до нее, ограничиваться лаем на свистунов и нигилистов, даже не заикаясь о положительном направлении, о котором мечтали. Их положительное направление — рассуждения о необходимости не терпеть немцев, евреев и всяких иноверцев. В довершение посрамления они принуждены объявить невозможным иметь какое-нибудь направление. Подумайте-ка, во что вы превратились? Что вы сделали с той крупицей порядочности, которая была у вас некогда? Назовите хотя один из тех вопросов, которые поднимали, решали и которыми так кичились четыре года тому назад, от которого вы бы не отступились с ужасом и отвращением теперь. Припомните свое негодование на Добролюбова за то, что он смеялся над вами, когда вы толковали о гласности, когда вы обличали взяточничество и когда отстаивали права евреев, одним словом, когда начинали свое: «в настоящее время, когда» ([23])... Теперь даже либеральный «Голос» устами либерального г. Лохвицкого восстает (зри № 259) против опубликования имен уличных ловеласов, людей, рассчитывающихся с извозчиками кулаками, и других героев. Можно ли после этого в чем-нибудь верить жур-

* Моя вина. *Ред.*

налистике? Можно верить ей, что гласность — хороша, что жид тоже человек, что свобода совести должна уважаться и т. д., когда через год она сама протестует против всего этого? (24)

Итак, вот в чем выразилась и вот какие дала результаты победа славянофилов. Остается только повторить вкратце те истины, которые добыты в последнее время русской журналистикой:

1) Евреи и немцы не имеют права существовать.

2) Беллетристика и полемика должны обращать главное внимание на домашнюю жизнь людей, на то, что и сколько кто пьет и ест, какие с ним бывают от этого последствия, чем кто болен и т. д.

3) Журналы не могут иметь направления, — направление есть излишняя роскошь, которой могут предаваться разве одни нигилисты.

4) Искусство для искусства — вздор; искусство есть подспорье для сплетен; служение науке —дичь; credit toga armis*. Поэтому докторский диплом есть награда храброму, а не учености.

5) Гласность вредна, уличные похождения рыцарей Кулака и литературные — рыцарей сплетни не должны подвергаться обличению. Мало того, гласность смешна, быть обличителем — позорно (25).

А главное — 6) литература должна находиться постоянно на военном положении и неустанно пугать публику слухами о каких-то тайных интригах и происках.

Пока только; подождем, найдутся результаты еще более удовлетворительные.

СТИХОТВОРЕНИЯ Н. НЕКРАСОВА
Часть III. Спб. 1864.

На этот раз я намерен говорить с читателями о стихотворениях г. Некрасова. То, что я скажу о них, будет лишь отголоском того, что думает о них вся образованная Россия, но зато совершенно несогласно с отзывами литературы. В то время, как вся русская молодежь читала, читает и знает наизусть стихи г. Некрасова, литературная критика последних лет большинством голосов отказывала ему не только в тех достоинствах, какие признавались за ним публикою, но и в десятой доле тех, которая та же критика находила в изобилии у гг. Фета, Тютчева и Майкова. Нечего и говорить, что главною причиною такой критической оценки было то, что г. Некрасов не только поэт, но

* Тога верит оружию. —*Ред.*

и издатель «Современника» ([1]). Конечно, подобные мотивы не делают чести беспристрастию эстетической и всякой другой критики. Но о беспристрастии в этом случае не может быть и речи. Достаточно, напр., вспомнить, что г. Некрасова упрекали в том, что одна из героинь его потчует своего возлюбленного водкой ([2]). Впрочем, пристрастие и придирки можно бы было до известной степени оправдать, потому что не мытьем, так катаньем, говорит пословица: чем бы ни доехать врага, лишь бы доехать. Но дело в том, что уж если доезжать, то надо так, чтобы из этого вышел действительно ущерб врагу, а не посрамление самой критике. В отношении же г. Некрасова критика поступила так, что всякому человеку, не принадлежащему к врагам «Современника», приятно вспомнить ее проделки, покрывшие ее стыдом и срамом. Приятно указать всем этим Дудышкиным и проч. на их былые подвиги и в то же время напомнить им, как бессильны остались их натянутые нападки перед мнением всей нашей читающей публики, перед общим голосом всей молодежи ([3]). Своим отношением к г. Некрасову критика наша приготовила себе в будущем такую же незавидную славу, как Фаддей Булгарин своим эстетико-критическим взглядом на Гоголя. «Отечественным Запискам» посчастливилось первым отличиться в подобном деле. Я не знаю, понял ли когда-нибудь этот журнал все безобразие своего разбора стихотворений Некрасова и все бессилие своей злобы, накинувшейся на поэтическую деятельность издателя «Современника». Я бы желал знать, думают ли «Отечественные Записки», что критика их могла убедить хотя единого человека в целой России, и можно ли им вспоминать, не краснея, о своем походе против литературной репутации г. Некрасова. Несомненно только то, что в настоящее время, когда возродились надежды на пассивное отношение публики к литературным проделкам и, следовательно, на возможность выдать ей грязь за золото и наоборот, пример «Отечественных Записок» нашел подражателей. В № 43 «Дня» за нынешний год какой-то г. Н. Б. берется за неблагодарный труд убедить публику в том, что ей следует бросить и забыть стихи г. Некрасова и приняться за Константина Аксакова ([4]). К этой достопримечательной статье я обращусь ниже; конечно, от нее не предстоит никакой серьезной опасности, и совершенно несбыточно, чтобы русская публика променяла когда-нибудь Некрасова на Хомякова, на всю семью Аксаковых, на Языкова и на прочих славянофильских бардов, певших о Праге и о пеннике ([5]). Но я обращусь к этой статье потому, что в ней, конечно, с враждебными целями, указаны многие важные стороны произведений г. Некрасова.

Но прежде чем обратиться к разбору стихотворений г. Некрасова (при чем я имею в виду только III часть их), мне необходимо предупредить всякую возможность замечаний, крайне пошлых и нелепых, но возможных со стороны людей, повторяющих

по сту раз в год и всякий раз с одинаковым удовольствием, как нечто необычайно остроумное, что для нигилистов важнее всего брюхо. Такие господа, прочитав мой отзыв о г. Некрасове, могут объявить мне, что я сужу непоследовательно, что для человека, не симпатизирующего чистой поэзии, в литературе может быть важна только «Опытная стряпуха» или «Наставление к билиардной игре». Им может показаться с моей стороны несообразным, если я выражу симпатию к поэзии г. Некрасова и не разделю их восторгов к Лермонтову. Эстетические критики, вероятно, не усомнятся отдать предпочтение Лермонтову перед г. Некрасовым. И действительно, можно согласиться, что если о достоинстве поэтического произведения должно судить лишь по степени красоты стиха, смелости и картинности метафор и возвышенности сюжетов, то они правы, тем более, что Лермонтов «Современника» не издавал. Поклонники чистой поэзии, не требуя ничего более этого от поэтического произведения, приходят в восторг от «Ночного зефира», где достоинства эти доведены до великой степени, но больше ничего нет; и они с своей точки зрения правы. Но они не могут обвинять в непоследовательности человека, который, не ставя ни в грош лучшие чисто поэтические произведения, будет хвалить поэта, у которого находит те свойства, которые он ценит в писателе вообще. Нелепо восхищаться звучными рифмами и возвышенными сюжетами; но еще нелепее отрицать достоинства литературного произведения за то только, что оно написано стихами, а не прозой, выражает мысли в форме воззваний и картин, а не строгих силлогизмов и вычислений. Поэтому бестолково удивляться похвале, возданной поэту-мыслителю человеком, отрицающим чистую поэзию.

С этой точки зрения я и гляжу на произведения г. Некрасова. Я приступаю к его сочинениям с теми же требованиями, с какими приступаю к произведениям критика, историка, публициста, беллетриста. От всех их равно каждый читатель требует прежде всего честной, свежей мысли, верного взгляда на предмет, выбранный писателем, и ясного изложения своего мнения. Предмет, о котором говорит автор, — вещь сама по себе второстепенная; для каждого читателя в отдельности он важен потому, что может интересовать его или нет; но сам по себе он только тогда лишает сочинение всякого достоинства и делает его никуда негодным, если совершенно лишен всякого интереса для кого бы то ни было. Таковы предметы большей части лирических песнопений, как, напр., «Ночной зефир струит эфир». Про такое произведение каждый может сказать, что оно абсолютно плохо и негодно, тогда как про «Сорокалетние опыты» Авдеевой этого нельзя сказать, как бы мало кто ни интересовался сведениями об изготовлении блинчатого пирога с яйцом. Такую книгу только тогда можно признать негодною, если специалисты скажут, что все пироги с яйцом, изготовленные по методе г-жи Авдеевой, вы-

шли неудобосъедобными ([6]). Наконец, последнее в произведении — форма, потому что человек, произносящий свое суждение о произведении только на основании формы его, уподобляется Петрушке Чичикова или, по крайней мере, представляет непосредственный переход от такого читателя к более развитым. Из этого ясно, что вполне прекрасным можно назвать такое произведение. в котором глубокий, честный и умный взгляд на предмет, имеющий важность для наиболее обширного числа людей, высказан в удобной и красивой форме.

Г. Некрасов имеет полное право на название мыслителя. Мало того, это — мыслитель глубокий и честный. В основе его лежит высокая гуманность и любовь к своей родине, не под отвлеченным представлением отечества, породившим патриотические стихотворения Жуковского, Розенгейма и Майкова, а под живым, действительным образом народа. Я бы назвал г. Некрасова народным поэтом, если б прозвание это не было замарано эстетиками, прилагавшими его ко всякой нечистоте. Разумеется, я не хочу сказать, чтобы стихотворения г. Некрасова сделались народными песнями вроде «Не белы-то снеги»... и не буду приписывать никакой важности тому, что одно из самых плохих произведений его распевается извозчиками и лакеями ([7]). Я не хочу также повторять эстетических нелепостей, говоря, будто бы поэзия г. Некрасова вытекла из народа. Народным поэтом я назвал бы г. Некрасова потому, что герой его песней один—русский крестьянин. Но он говорит о нем, конечно, как человек развитой, как говорил Добролюбов; он не «поет» его, а думает о нем, о его бедах и горе, не ограничивается объективным изображением страдания, но мыслит о нем и мысли свои, глубокие и светлые, передает в прекрасных, свободных стихах, в которые без натяжек укладывается народная речь и которые чужды поэтических метафор и аллегорий. Очень мало у г. Некрасова стихотворений, где героем является не народ; но в таком случае это, наверно, не Наполеон на скале, не Прометей с коршуном, не Фауст с Мефистофелем, не Демон с Тамарой; этими великолепными сюжетами, дающими такой простор поэтическим вольностям, смелым порывам поэтической нескладицы, широким размахам художественной кисти, наш поэт пренебрегает. Герои его, кроме народа, — те труженики и страдальцы, которые работали мыслию или делом и, хотя не непосредственно, но принесли свою лепту. По предмету своему, по своему герою стихотворения г. Некрасова не имеют равных во всей русской литературе.

Теперь посмотрим, что же думает г. Некрасов о своем герое, как смотрит он на него и как понимает его. Если мы увидим, что он высказал мысли верные и глубокие, то, конечно, мы будем иметь право высоко поставить этого писателя и, следовательно, признать, что русская публика и особенно молодежь не ошиблись в выборе любимого поэта.

Естественно, что критик «Дня» рассматривает г. Некрасова именно с точки зрения его отношения к народу. Точка зрения, разумеется, единственно возможная, когда речь идет о стихах Некрасова. Но «День», конечно, не допускает мысли, чтобы издатель «Современника», литератор, деятельность которого сосредоточена в Петербурге, мог иметь верный взгляд на народ, потому что для этого, как известно, необходимо родиться, вырасти и состариться в Москве, начать литературное поприще в «Москвитянине», продолжать его в «Дне» и чуть ли даже не принадлежать к семье Аксаковых, по крайней мере хоть так, чтобы дедушка автора с бабушкой Аксакова его от купели восприняли. Соображения эти — самые честные, какие могут быть приписаны г. Н. Б., потому что всякие другие будут для него крайне нелестны. Н. Б. порицает г. Некрасова за то, что в отношении его к жизни народа виден только п р о т е с т. Г. Н. Б. находит, что если самый характер того периода, когда началась деятельность г. Некрасова, не благоприятствовал другому отношению, то во всяком случае поэт должен был дать взамен отвергаемого свой идеал. И, наконец,—говорит критик, — рабство навеки отменено. «Разве, однакож, — говорит он, — не продолжают н е к о т о р ы е из них (нигилистов) еще и в наши дни скорбных сетований на прежний лад? Больше того, давая теперь угадывать как бы скрытую досаду свою, что, сломив крепостное ярмо в России, отняли у них самое право на их вечное негодование, навсегда лишив их источника самых яростных вдохновений, — не дают ли еще они ясно угадывать и того, что самое обращение к «низшей братии», вечные взывания к ее бедствиям и страданиям подчас могли исходить никак не от чистого движения любвеобильного сердца, а из более мутных источников души человеческой?»

Читатель из этого может видеть, что я только из любезности предположил в критике некоторое тупоумие.

На весь этот неблаговидный вздор можно бы было ответить, что протест вовсе еще не обусловливает необходимость идеала, что притом всякое отрицание есть вместе с тем положительное желание, чтобы прекратилось то положение, против которого я протестую. Все это повторялось миллион раз, но только нейдет в прок. Поэтому я очень рад, что г. Некрасов представил в своих стихотворениях рядом с протестом такие верные идеалы, что мне нет необходимости прибегать к повторению этих истин, отскакивающих от лбов писателей известного сорта, как горох от стены. Правда, идеал г. Некрасова не имеет ничего общего с идеалами других поэтов; он не фантастический какой-нибудь, а возможный, необходимый, несомненный. Идеал этот построен на идеях любви и благосостояния и выражен в самой осуществимой форме. На эту-то положительную сторону произведений г. Некрасова я и намерен особенно обратить внимание и даже очень благодарен г. Н. Б., убедившему меня своей статьей, что могут быть

люди, не понявшие и не заметившие этой стороны, так что указать на нее будет не лишнее.

Читатели, без сомнения, помнят ту страшную картину в поэме «Мороз красный нос», где несчастная вдова крестьянина медленно замерзает, бесчувственная к холоду, погрузившись в свои тяжкие думы. Печальны ее мысли, и вспоминаются ей грустные сцены. Только когда смерть уже охватила ее, когда воевода-мороз уже коснулся ее, когда уже

...Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам,

ей видится чудная, розовая картина светлого, истинного счастия (что необыкновенно верно в отношении описания смерти от замерзания):

И снится ей жаркое лето —
Не вся еще рожь свезена,
Но сжата — полегче им стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.
Свекровь ее тут же, старушка,
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковью в руке.
Телега, скрыпя подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушка крупно шагает
За возом снопов золотых.
— Бог помочь! А где же Гришуха? —
Отец мимоходом сказал.
— «В горохах», — сказала старуха,
— Гришуха, — отец закричал,
На небо взглянул. — Чай, не рано?
Испить бы... — Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.
Гришуха меж тем отозвался;
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.
— Бежит!.. У!.. бежит постреленок;
Горит под ногами трава! —
Гришуха черен, как галчонок,
Бела лишь одна голова.
Крича, подбегает в присядку
(На шее горох хомутом);
Попотчевал бабушку, матку,
Сестренку — вертится вьюном!
От матери молодцу ласка;
Отец мальчугана щипнул;
Меж тем не дремал и Савраска;
Он шею тянул, да тянул,
Добрался, оскаливши зубы,
Горох аппетитно жует
И в мягкие, добрые губы

Гришухино ухо берет...
Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятька, с собой —
Спрыгнула с мешка — и упала,
Отец ее поднял: «Не вой!
Убилась — не важное дело!..
Девчонок ненадобно мне,
Еще вот такого пострела
Рожай мне, хозяйка, к весне!
Смотри же!..» Жена застыдилась.
— Довольно с тебя одного!
(А знала, под сердцем уж билось
Дитя)... «Ну, Машук, ничего!»
И Проклушка, став на телегу,
Машутку с собой посадил.
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.
Воробушков стая слетела,
С снопов над телегой взвилась.
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,
Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей...

Эта картина есть самый полный идеал счастья, какой только могла создать фантазия крестьянки; но, конечно, немного прибавит к нему самый развитой человек, самый великий гений в мечтах о совершенном благополучии людей. Основные элементы этого благополучия — здесь все: любовь, довольство и привлекательный труд среди чистой, прекрасной природы. Это та вершина благополучия, на которой человеку остается еще только искать наслаждения в науке и в искусстве; это то счастливое состояние, где можно с полным правом проповедывать науку для науки и искусство для искусства. Наконец, это тот результат, к которому стремится весь прогресс и в котором наслаждение свободною любовью, свободным трудом и здоровой бедностью изгладило даже мучительное воспоминание о прошлом рабстве и нищете. Кто не поймет этого, кто пройдет мимо этой картины равнодушно или с банальными похвалами, тот пошлый филистер, не видящий ничего дальше своего носа и носов своего кружка. От такого господина можно даже ожидать, что он останется недоволен тем, что эта картина представлена бредом умирающей, а не действительностью. Но поймите же вы, наконец, безнадежные филистеры, что в действительности ничего подобного нет, что если бы в минуту смерти крестьянке грезилось ее действительное прошлое, то она бы увидела побои мужа, не радостный труд, не чистую бедность, а смрадную нищету. Только в розовом чаду опиума или смерти от замерзания могли предстать перед ней эти чудные, но никогда не бывалые картины. Вам делается жутко от этой сцены смерти. Действительно, есть от чего притти в ужас,

и если потрясающее изображение бедствия есть само по себе протест, то, конечно, протест этот так же силен, как велико горе, представленное поэтом. Но кто не причастен филистерству и пошлости кружков, тот, прочитав предсмертный бред Дарьи, поймет, что насколько силен протест, настолько же высок и идеал, помещенный рядом с протестом, или, лучше, в нем же самом (8).

Г. Некрасов часто останавливается на судьбе русской женщины вообще, особенно же на доле крестьянки, и, правда, нигде не показал он нам в розовом свете ее настоящее. Возьмем хотя бы III часть его стихотворений, где в «Дешевой покупке» он представил женщину из крепостного быта:

... Созданье бездомное,
Порабощенное грубым невеждою!

в «Рыцаре на час» женщину — жену и мать, о которой он говорит:

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других,
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою,
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!

Еще печальнее доля крестьянки:

Доля — ты! — русская, долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Немудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!

И поэт показывает нам и жену («Жница»), и мать («Орина, мать солдатская»), показывает во всей безысходности ее горя, во всем ужасе ее судьбы. Я бы спросил читателя: возможно ли это представление, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была так печальна, как изображает ее г. Некрасов? Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшим ответом на такие вопросы служит то, что все, что есть лучшего в России, читает Некрасова и верит ему.

Однако г. Н. Б. полагает, что сочувственное изображение страданий и горя народа происходит у некоторых «из мутных источников души, а не из чистого движения любвеобильного сердца», и затем невинно оговаривается, что под некоторыми он не подразумевает г. Некрасова. Как бы то ни было, но г. Н. Б. не признает верности в изображении г. Некрасовым крестьянской доли, по крайней мере теперь. Например, ему очень не нравится, что г. Некрасов не изобразил в «Жнице» какого-нибудь «веселого пейзажика» (9) в роде сбора винограда, что крестьянка в стихотворении г. Некрасова роняет слезы, трудясь через

силу в поле, где спит ее ребенок, вместо того, чтобы отличаться «видом бодрой живости и довольства». Г. Н. Б. не нравится также, что в поэме «Мороз красный нос» крестьянина постигает горе, что в ней — смерть, сиротство, беда, а не счастие, веселие и радость. Оставшись недовольным печальной развязкой поэмы, критик заключает, что г. Некрасов — отчаянный и положительнейший отрицатель, нигилист; заключает, что «горе его и сокрушение по русской родной земле» есть «конечный плод нашего мнимого, оторванного от народной почвы образования, с его вечным стремлением к какому-то отвлеченно-гуманитарному и космополитическому прогрессу». С апломбом, свойственным людям, отмежевавшим себе в ведение всю суть русской жизни, г. Н. Б. решает, что «толпа не примет обетований г. Некрасова».

Всякий, конечно, оценит по справедливости суждения г. Н. Б. о стихотворениях г. Некрасова. Не трудно сообразить, что уничтожение крепостного права не могло мгновенно искоренить все горе, лежавшее на крестьянине, и что поэт, изображающий «крестьянскую долю», вероятно, еще не вдруг достигнет того, чтобы картины его выходили розовыми и привлекательными, в то же время оставаясь верными. Довольно также легко оценить по достоинству тот мнимый патриотизм г. Н. Б., который не выносит неподкрашенного изображения народной доли и требует, во что бы то ни стало, «веселых пейзажей». Этот балаганный конек был так изъезжен московскими публицистами, что всякий рассудительный человек очень хорошо знает, что они могут сказать по поводу стихотворений г. Некрасова. Поэтому я давно бы перестал говорить о критике «Дня», если бы не видел в нем замечательно полного типа понятий и суждений того кружка, к которому он принадлежит. Притом субъект этот доводит мнения своего кружка до таких размеров, что на нем удобнее показать их безобразие.

Кто бы мог, напр., подумать, что, прочитав «Рыцаря на час» г. Некрасова, критик вывел из этого отрывка такое заключение, что поэт «стыдится своих лучших порывов и спешит заглушить их беспощаднейшей прозой». Всякий, кто читал этот отрывок, знает, что, во-первых, герой поэмы не сам автор, а какой-то Валежников. Следовательно, по какому праву критик приписывает порывы автору? Во-вторых, вполне также ясно, хотя мы имеем только небольшой отрывок поэмы, что автор имел в виду изобразить в Валежникове человека с благороднейшею и возвышенною душою, жаждущего полезной и честной деятельности, одаренного полным пониманием хорошего и истинного, но не имеющего достаточно сил, чтобы бороться победоносно с мерзостью, его окружающею, и ее влиянием на него самого. Нельзя не заметить, что при исполнении этой задачи автору пришлось победить много затруднений, потому что тема эта истерта до-нельзя разными пиитами, изображавшими задумчивых героев, исполненных бла-

городства, но изнывающих в борьбе с средою. Такие герои опошлены до крайности как от слишком частого появления на сцене, так и от неудачного изображения. Притом тема эта весьма неблагодарна, потому что талантливые натуры, заеденные средою, поняты и ни в ком уже не возбуждают симпатии. Вот почему, быть может, мы до сих пор имеем только небольшой отрывок этой поэмы. Но в отрывке этом г. Некрасов так искусно победил все трудности, встреченные им на пути, что заставляет желать продолжения поэмы. Страдания его героя, столь несимпатичные сами по себе, облечены таким чистым и светлым чувством любви к матери, что невольно возбуждают симпатию. Выражение этого чувства есть великолепнейший гимн, в котором воскресает падший человек и снова готов на великое дело.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Нет, этот гимн сложен не для прославления страданий благородного, но бессильного человека; это скорее апофеоза русской женщины, печальная доля которой служит главным предметом поэзии г. Некрасова. Страдальческий образ матери стоит здесь на первом плане, и теплое чувство к ней может заставить читателя полюбить ее слабого сына, когда он говорит:

О, прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну, и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый наставила путь...

История Валежникова и причины его страдания нам неизвестны; но во всяком случае это страдание выражено с такою силою, в выражениях его столько чувства, ума и благородства, что мы не решимся презирать его или смеяться над ним, как презираем талантливые натуры, которые загубила среда, и как смеемся над разочарованными идиотами вроде Печорина; мы не решимся презирать и осмеивать его тогда, когда, проснувшись утром, он ясно сознает свое бессилие и неспособность на то, о чем думал ночью. Надобно заметить, что г. Некрасов понял это очень верно. Действительно, люди нервного темперамента чувствуют себя гораздо свежее и бодрее вечером, тогда как сангвиники, наоборот, утром. Валежников, очевидно, человек нервный, потому что сам говорит:

И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Таким образом, при пробуждении его самым понятным и естественным образом охватывает тяжелое сознание своего бессилия, и не только другим, но и самому ему ясно, что он—лишний, бесполезный человек. Но кто подслушал его ночную исповедь, у того едва ли хватит духу бросить в него укоризною или насмешкою. Откуда же усмотрел г. Н. Б., что он устыдился своих благородных порывов и спешит заглушить их прозою? Что Валежников страдает, видя свою неспособность осуществить эти порывы, — это ясно; но почему заключил г. Н. Б., что он стыдится их и намеренно заглушает, это — вопрос, разрешение которого находится, вероятно, в связи с мутными источниками, упоминаемыми им.

В заключение московская критика объявляет, что никто не заподозрит в г. Некрасове москвича; понятно, что это самый тяжелый приговор, который он мог произнести, и понятно также, что после этого кружок «Дня» не может находить в произведениях г. Некрасова что бы то ни было хорошее. Однако нашел. Понравились ему очень одни забытые стишки г. Некрасова, которым место разве в III части его стихотворений, в отделе юмористических. Стишки эти вроде того, что:

Краше твой венец лавровый *
Победоносного венца(10),

и, следовательно, весьма напоминают стихи Добролюбова:

Пусть лавр победный украшает
Героев славное чело и т. д.

Ни такие похвалы, ни такие порицания не коснутся произведений г. Некрасова. Стихи его у всех в руках и будят ум и увлекают как своими протестами, так и идеалами. За него не страшно и в том отношении, что сила его таланта упадет и что будущие произведения его останутся ниже прежних, что часто бывает с поэтами, поющими Наполеонов и Александров Македонских... У кого стихи текут из мысли, а мысль сильна и свежа, тому не грозит эта участь.

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛОСОФ-ИДЕАЛИСТ

Четыре года тому назад в Германии умер один из замечательнейших мыслителей ее, Артур Шопенгауэр. Литературная деятельность его продолжалась почти полвека, но до последнего времени, когда он приобрел, наконец, европейскую известность,

* Хотя в сущности не краше, а светлее, и не лавровый, а терновый, но я оставил по-московски: верно, так патриотичнее.

публика совершенно не подозревала о его существовании, а литературные противники, которых он уничтожал своею критикою, даже не удостаивали его ответом. Между тем философия Шопенгауэра была явлением в высшей степени замечательным, потому что положила конец всем метафизическим системам и устранила навсегда возможность абстрактных умствований. Несмотря на свой трансцендентальный идеализм, или, лучше сказать, вследствие его, Шопенгауэр расчистил поле для деятельности естественных наук и доказал и словом, и примером необходимость заменить метафизические разглагольствования эмпирической философией.

Пока естественные науки представляют только груды фактов, без всяких выводов, они приносят обществу очень мало пользы, и то лишь пользу случайную. Посчастливится, например, ученому сделать открытие, имеющее непосредственное, практически полезное приложение, — вот и польза; большинство же их, как бы ни были полезны для науки, обществу непосредственной пользы не приносят; люди, служащие исключительно науке для нее самой, — такие же филистеры в естествознании, как и в других науках.

Деятельность их была бы никуда не годна, если бы рядом с ними не существовало других людей, умеющих делать выводы из данных фактов и извлекать громадную общественную пользу из филистерского служения науке. Благодаря этим людям, филистеры могут заявлять некоторые претензии на благодарность общества, потому что труды их идут в прок. Умные люди пользуются накопленными фактами и в одно прекрасное утро объявляют публике: до сих пор ты думала так-то и так-то, но ты ошибалась; ученые улитки высидели следующие факты, из которых вытекают такие-то и такие-то выводы; постарайся понять эти выводы и согласно с ними исправить свои понятия. Только таким образом наука и приносит пользу: она дает обществу возможность очищать свои воззрения, расширять свой кругозор, понимать явления, которых оно или вовсе не замечало, или ложно понимало, а из ложного понимания вытекали для него ошибки и бедствия; следовательно, правильное понимание, устраняя и те и другие, приносит прямую, существенную пользу. Ученый филистер копался 40 лет и собрал 10 томов статистических данных; но для публики труды его бесполезны: она не может понять их с их результатами и выводами; для нее они все равно, что не существуют; для нее все равно, трудился ли сорок лет этот ученый или толок воду. Разумеется, ее напрасно бы было винить в этом: ее надо брать такою, какова она есть. Филистер же или не хотел приносить ей пользу, или хотел. В первом случае о заслугах перед обществом, конечно, не может быть и речи; во втором случае он должен был знать, с кем имеет дело, и соображать, что не общество должно подделываться под понимание своих деятелей,

а деятели сообразоваться с пониманием общества. Человек, хотя и менее ученый, но умный и не филистер, воспользовавшись его 10 томами, сделав из них надлежащие выводы, подведя итоги ученому знанию и пустив результаты их в обращение в публике, будет способствовать ее просвещению, поможет ей отстать от некоторых заблуждений и мало-по-малу ввести в жизнь узнанные от него научные истины; такой человек будет иметь полное право на благодарность общества, которому он оказал прямую пользу. Ученые филистеры обыкновенно смотрят свысока на таких людей, называя их дилетантами и популяризаторами. Это, конечно, вздор, потому что такими людьми могут быть ученейшие из ученых. Если бы, напр., Дарвин со всей своею ученостью ограничился только сбором фактом, то был бы филистером; но тот же Дарвин, сделав из своих громадных наблюдений умные выводы и показав отдаленные результаты деятельности по избранному им пути, принес обществу прямую пользу, не перестав быть ученым, но и сделавшись, сверх того, философом. Из этого следует, что изучение природы в смысле только собирания фактов лишь потому стоит выше толчения воды или рифмоплетства, что дает умным людям нужный материал, само же по себе лишено всякой важности. Значение же может иметь только та естественно-научная деятельность, которая пользуется этим сырым материалом, подводит итоги филистерскому знанию, делает из него выводы, показывает результаты, — словом, та, которой прилично название философии природы.

Но это название может с двух сторон компрометировать такую деятельность. Во-первых, натур-философией называла себя самая безобразная и бестолковая болтовня о явлениях природы, до объяснения которых она доходила не путем индукции, а, что называется, «своим умом». Болтовня эта отличалась таким невежеством и шарлатанством, что название натур-философа сделалось бранным именем. Впрочем, хотя прозвания этого стыдятся, но самой натур-философии в этом виде ее еще многие придерживаются, в том числе даже ученые мужи, толкующие, например, о «жизненной силе».

Если под натур-философией подразумевается шарлатанство, то и с понятием философии вообще, благодаря так называемым великим философам-идеалистам от Декарта до Гегеля, соединяется понятие о праздных и бесплодных мудрствованиях, лишенных всякого практического значения, разрушающих друг друга без остатка и основывающихся на игре и злоупотреблении общими понятиями. Шопенгауэр считал себя принадлежащим к этим людям, сам называл себя философом-идеалистом, однако вполне откровенно сознавался в бесплодности и бесполезности таких мудрствований. Так, перечисляя людей, не приносящих обществу никакой пользы, он составляет им следующий далеко не полный список: канатные плясуны, цирковые наездники, балетные танцо-

ры, фокусники, актеры, певцы, музыканты, композиторы, поэты, архитекторы, живописцы, ваятели, философы.

Известно, что главная тема философских мудрствований есть отношение духа к природе, или, как говорил Гегель: «в мире нет ничего, кроме бесконечного, конечного и их отношений». Но дух — такая задача, которую понимай, как хочешь; следовательно, всякий волен говорить о нем, что ему вздумается. Конечное, т. е. природа,—предмет более определенный, и умствование о нем должно иметь предел, которым служит наука. Но философы такими пустяками, как наука, не стесняются. Наука преследует слишком мелочные для философа цели, ищет истин далеко не абсолютных, а потому имеет мало цены в глазах изыскателей абсолютного. Выводы из научных данных могут, конечно, быть обширны и полны великого значения; но они вовсе не ведут к уразумению причины причин и других обольстительных ребусов, особенно если наука сама не впадает в философствование и не говорит ни о жизненной силе, ни об атомах вообще, и ни о чем представляющем удобный случай пуститься сломя голову в область отвлеченностей. Поэтому философы питают справедливое отвращение к ограниченности опытных наук и принимают за правило не стесняться ими. Если бы они считали себя обязанными соображаться с научными данными, то на вопрос: что такое мир? пришлось бы ответить, что это вопрос не научный и потому решать его они не берутся. Но, отбросив в сторону всякие меры и границы, полагаемые опытом, они бойко ответствуют: «мир есть силлогизм». Доказывать такое положение фактами, очевидно, нельзя; поэтому факты прочь, а вместо них является на сцену игра словами, благодаря которой можно доказать что угодно, тем более, что ведь никто же не возразит, что мир есть не силлогизм, а, например, швейцарский сыр или параллелепипед; если кто-нибудь будет возражать, то скажет просто, что философ несет дичь, что ни таких вопросов, ни подобных ответов нельзя задавать и что порядочному человеку некогда слушать людей, занимающихся игрой словами. Но такие возражения не страшны, потому что в ответ на них можно разразиться красноречивой выходкой против ограниченных эмпириков, неспособных возвыситься до абсолютного, т. е. сверхопытного знания. Затем уже остальной публике можно подтвердить и доказать, что «мир» действительно «силлогизм», и публика будет вполне довольна, постигнув таким образом всю суть. Для того, чтобы иметь право рассуждать таким образом и получать за это деньги и даже славу, надо только внушить публике, что знание может даваться помимо всякого опыта, чистым наитием, «непосредственным усмотрением истины». К внушению этого убеждения и клонятся все усилия философов. Так, напр., Гегель серьезно говорил, что «нетрудно усмотреть, что истину нельзя открыть обыкновенной манерой доказательств», при чем утверждается положение, приводятся за него

доводы и доводами же опровергается противное мнение. «Истина говорил этот философ,—открывается сама собою», т. е., следовательно, по наитию. Мнение это, разумеется, давным давно опровергнуто не только сенсуалистами, Локком и его последователями, но и Кантом, которого историки философии ставят рядом с Гегелем. Но, конечно, философам нельзя расстаться с ним, потому что отказаться от него значит подрезать себе крылья. Врожденные идеи и непосредственное усмотрение будут проповедываться ими, несмотря ни на чью критику, до тех пор, пока у них будут находиться слушатели. При помощи этих благодетелей они могут совершенно удобно обходиться без науки и предавать тиснению все, что только приходит в голову. На что им астрономия, геология, химия, физика? Они и без них решат по непосредственному усмотрению истины, что «магнетизм есть наивное выражение силлогизма», «земля — общий кристалл», «металлы— застывший свет», «кристаллы обнаруживают беспокойную деятельность успокоившегося магнетизма», «звезды — сыпь на небесном своде» и т. д.

Впрочем, это с их стороны особенная роскошь говорить о таких конкретных предметах, как металлы, земля, звезды, кристаллы; о них говорится больше для красоты слога. Гораздо удобнее рассуждать о конечном и бесконечном мире, идее, духе, материи и т. д. Фразы: «звезды — сыпь на небесном своде» или «металлы — застывший свет» так поразительно нелепы, что из всех людей, говоривших подобные вещи, один Гегель не попал в дом умалишенных. Что же касается до субстанции, природы и духа, то понятия эти до того сами по себе неопределенны и неясны, что [что] ни скажи о них, сразу простой человек не сообразит и, чего доброго, изумится собственной глупости, неспособной проникнуть в смысл таинственных слов философа. Если простому человеку скажут, что «мир есть силлогизм», что «природа есть идея в другой форме своего существования», что «идея создает себе тело», а «идея абсолютного есть ночь божественной тайны», что «мир — существование конечного в бесконечном», а «разум — отражение бесконечного в конечном», — простой человек, услышав это и не имея никакого понятия о том, что такое мир, идея, абсолютное, субстанция и т. д., преклонится перед мудрецом, знающим и определяющим все эти хитрые штуки. Если найдется упрямец, который хотя и готов согласиться с тем, что мир есть силлогизм, но которому сомнительно, откуда философ почерпнул свои познания о таких вещах, то философ укажет ему на непосредственное усмотрение, как на общий источник познания истины, и на свой личный гений, как на специальный источник. Собственно бы следовало ожидать, что за подобный ответ философа прогонят с пьедестала метлой, посадят в водолечебницу или подвергнут исправительному наказанию; но, к стыду человечества и XIX века, это не только сходит им с рук, но даже заслуживает

всяческое поощрение. Один из таких оракулов, посвящавший своих слушателей за несколько талеров за семестр во все тайны бытия, объяснил им все сущности бытия и причины так: «мир есть, ибо есть: и он есть, каков есть, ибо таков есть» (Die Welt ist, weil sie ist; und ist, wie sie ist, weil sie so ist. — Фихте). Человек этот несмотря на такую глубокую мудрость и невзирая на то, что «учил», будто, кроме идей, ничего не существует, не только не получал вместо талеров гнилой картофель и репу, но приобрел великую славу, и благодарные соотечественники празднуют его юбилей. Причина такой тупости публики была бы совершенно необъяснима, если бы мы не видели, что в воспитании ее есть много и других мистификаций. Даже естественные науки не совсем освободились от стремления установлять неопределенные, произвольные и бездоказательные понятия, и доселе встречаются в них «атомы», «жизненная сила», «движение молекул» и тому подобная дичь. Это приучает публику выслушивать, не сморгнув, какой угодно вздор, потому что почему же не быть миру силлогизмом, если «право есть высший масштаб, заключенный внутри нас»? Почему разуму не быть «отражением бесконечного в конечном», если «мысль есть движение молекул»? Все эти фразы можно сравнить с таинственными, но бессмысленными словами заговаривания, к которым прибегают в казусных случаях, где разумом не возьмешь. В таких случаях мудрецы прибегают к своим формулам, чтобы отвязаться от вопросов, подобно тому, как простой народ к перечислению сорока плешивых, чтобы перестал дождь.

Привыкнув получать вместо определительных ответов таинственные формулы, публика уже не приходит в негодование от философских речений. Тогда задача философов упрощается: надо говорить и писать так, чтобы как можно более изумлять слушателей и внушать им, что они сами виноваты в том, что ничего не понимают в словах философа. Собственно философу говорить не о чем, потому что для речи нужны определенные понятия, которых в его голове нет; но, с другой стороны, та же причина дает ему возможность говорить сколько угодно, потому что игра словами и фразами дело такое, которому конца предвидеть нельзя. Поэтому является, как говорит Шопенгауэр, «гомеопатическая метода разводить minimum мысли на 50 страницах набора слов». Дело сводится к тому, что философ точно насмехается над читателем: «на вот тебе фразу, попробуй-ка понять, что я хочу сказать ею; что, брат, не раскусишь?» И когда читатели с прискорбным видом покаются, что действительно неспособны измерить глубь философского миросозерцания, тогда довольный собою философ, забывая, что он мистифицировал глупцов, начинает воображать, что в самом деле сказал что-то великое, столь великое, что даже и сам теперь не совсем понимает сказанное.

Пытливый, реальный XVIII век, век Локка и Биша, плохо

слушал такие умствования и произвел на свет самых тощих философов: Лейбница и Мальбранша, между тем как на долю XVII столетия пришлись самые главные оракулы: Декарт и Спиноза, а XIX в. представил самое лучшее поприще и самую благодарную почву для деятельности «трех софистов». (О Канте я не упоминаю, потому что у него так много общего с Локком, что следующие за ним философы нашли даже нужным отступиться от него). XVIII век вообще не любил формул и заговариваний и немедленно принимался искать в них смысла, а это было крайне неблагоприятно для умозрительных философов. Зато, к стыду нашего века, они нашли в нем необыкновенный успех; не говоря уже о Гегеле, влияние которого забралось даже в Курскую губернию, Щигровский уезд (1). В первой половине нашего столетия повоскресали Лейбницы и бог весть какое старье. Все герои романов Жорж-Занд, которых автор желает представить людьми мудрыми и просвещенными, непременно возятся с монадами и проповедуют по Лейбницу. Мало того, Прудон — и тот даже любит поговорить об антиномиях и категориях, вследствие которых договорился до несчастной книги о «Войне и мире» (2).

Впрочем, в настоящее время, по пословице «славны бубны за горами», умозрительные разглагольствования уважаются только там, где о них имеется лишь смутное понятие, составленное по разным Кузенам (3) и Катковым (4). В Англии слишком преобладало всегда индуктивное знание, а в Германии посмертная слава Шопенгауэра и успех направления, представителями которого служат Вирхов, Молешотт и Фогт, показывают, что гегелевщине пришел конец; разумеется, еще до сих пор в немецких университетах желающим предлагается умозрительная мудрость за дешевую цену, и разные Куно Фишеры воздвигают многотомные сочинения во славу идеалистической философии, но все это также крайне мелко и бессильно; профессора философии читают в пустынных аудиториях, и дело дошло до того, что название философии скорее компрометирует, чем рекомендует попытки сделать выводы из данных, представляемых опытными науками.

Чрезвычайно плохим признаком для дальнейшего существования умозрительной мудрости служит то обстоятельство, что последняя трансцендентально-идеалистическая философская система, т. е. философия Шопенгауэра, есть именно не что иное, как философия природы. Познания его были достаточно обширны для такого предприятия: он слушал на медицинском факультете геттингенского университета (1809—11) курс естественных наук, между прочим лекции Блуменбаха, и основательно изучил физику, химию, астрономию, геогнозию, физиологию, анатомию и зоологию. Не будучи специалистом ни в одной отрасли естествознания, он, однако, прилежно следил за его прогрессом до последнего дня жизни. Поэтому хотя он называл себя трансцендентальным философом, но мог быть и был эмпирик, и хотя

сам считал себя продолжателем Канта и говорил его языком, но в сущности настолько же был последователем Кабани и Биша. Поэтому Бюхнер совершенно неосновательно издевается над философией Шопенгауэра; она гораздо ближе к школе, которой он следует, чем он думает. Либих говорит, что «умственная сторона человека настолько же продукт его чувств, насколько деятельность чувств — продукт интеллигентной воли в человеке». Из этого Бюхнер заключает, что Либих — последователь философии Шопенгауэра.

Из этого можно вывести только то заключение, что Бюхнер не читал Шопенгауэра *. За это, конечно, его нельзя винить, потому что Шопенгауэр, хотя и принял девизом слова: «я пишу затем, чтобы меня читали», но весьма любил прибегать к схоластическим фразам и философским формулам, которые, разумеется, способствуют лишь помрачению смысла, подобно хваленым прежде геометрическим приемам изложения. Как скажет вам человек с первого слова, что «мир есть представление и воля», то вы, конечно, струсите и будете помышлять об отступлении. Винить некого, кроме самого автора. Можно даже радоваться, что людей, выступающих перед публикой с подобными магическими формулами, швыряют, не читая, под стол. И хотя у Шопенгауэра нет ничего, подобного тому, что приписывает ему Бюхнер, но я далек от намерения тоже рекомендовать чтение его произведений. Гораздо лучше брать те же идеи у других авторов, не облекающих их в каббалистические фразы; поэтому я предпочитаю Шопенгауэру не только новейших писателей, следующих тому же направлению, но и французских натуралистов прошлого столетия. Однако я считаю небесполезным представить краткий очерк его мыслей главным образом для того, чтобы показать самоотречение идеалистической философии.

Каббалистическая формула Шопенгауэра, достойная хотя бы самого Гегеля, «мир есть представление», выражает у него общепризнанную со времен Локка и Канта истину, что умственная деятельность человека есть продукт его пяти внешних чувств. Со времени падения «врожденных идей» пришлось сознаться что nihil est [in] intellectu, quod non fuerit in sensu, т. е. что в уме нет ничего, кроме воспринятого чувствами.

Истина эта далась не скоро и не сразу; человечеству пришлось наслушаться немало вздора, пока оно поняло условия своей умственной деятельности. Декарт, от которого пошли все позднейшие лукавые мудрствования метафизиков, полагал, что

---

* Впоследствии Бюхнер, познакомившись ближе с Шопенгауэром, судил о нем справедливее. Он называет его «истинным философом» и даже «гением» («Aus Natur und Wissenschaft», S. 103 u. 11). Тем не менее он не вполне понял его, что я объясняю тем, что не имел перед глазами мнений французских сенсуалистов, которые, будучи тесно связаны с Шопенгауэром, чрезвычайно облегчают понимание его.

дух вступает в тело уже со всевозможными сведениями; но едва только человек выходит на свет божий, как немедленно забывает все и потом мало-по-малу припоминает свои «врожденные идеи». Впрочем, случается, что он навсегда забывает все свои знания, как можно видеть у идиотов и кретинов. Впрочем, идиоты и кретины созданы нарочито для того, чтобы ставить втупик метафизиков не по одному только этому вопросу. В новейших антропологических спорах они так насолили психологам старой школы, что последние устами физиолога Бишоффа не хотят считать их за людей. Как бы то ни было, но, по учению картезианцев, благодаря идеям, засевшим в человеке до рождения его, он может не только познавать при пособии внешних чувств внешние предметы, но и непосредственно усматривать отвлеченные истины без помощи чего бы то ни было. Правда, при такой теории постоянным камнем преткновения был вопрос о том, когда забираются в человека эти идеи, при чем одни преважно доказывали, что входят они во время первых движений зародыша, а другие точно так же возражали, что вместе с семенем. Впрочем, критика Локка давно уже разрушила веру во «враждебные идеи», и так как событие это случилось сто лет тому назад, то возобновленные толки о них дерут уши.

После Локка французскими сенсуалистами было окончательно установлено, что интеллектуальная деятельность есть результат впечатлений, воспринятых органами внешних чувств, и ощущений, сопровождающих внутренние процессы организма. Однако нашлись люди, которые, начав развивать воззрения Локка, быстро зарапортовались и договорились до грандиозного абсурда: «нет объекта (то есть внешних предметов) без субъекта» (то есть мыслительного органа человека) (Беркли). Таким образом, они проповедывали, что в мире нет ничего, кроме идей, или что реальных предметов не существует, а существуют только человеческие представления о них. Выходит, стало быть, что если Иван или Петр умер, следовательно, представления, существовавшие в их сознании, уничтожились, то уничтожилось и все реальное, все, что не было идеями Ивана или Петра, т. е. весь внешний их мир. Впоследствии то же самое утверждал Фихте (и к этому относится название *нигилизм*, так неуместно приданное г. Тургеневым нашей молодежи). Но на первый раз люди вскоре образумились, благодаря Канту, который, признав существование реального мира, «нуменов», «вещей самих по себе», доказал, что человеческие сведения о внешних предметах ограничиваются производимыми ими впечатлениями на наши внешние чувства. В настоящее время мнение это признано всеми: позитивисты, материалисты и трансцендентальный идеалист Шопенгауэр согласны между собою в том, что человек не может знать ничего кроме своих собственных состояний, положений, движений и изменений. Человек может знать только свои впечатления или отрывочно,

если они не повторяются, или, если они неоднократно повторяются, то сопровождаются уверенностью, основанною только на этом повторении, что могут быть во всякое время по произволу вызваны, независимо от внешних влияний. Человеку доступны лишь свои ощущения цвета, звука, сопротивления, движения и т. д. Когда он говорит о свойствах и качествах внешних предметов, то это только «уловка языка (по выражению Милля), к которой он прибегает, чтобы удобнее группировать факты». К подобным уловкам язык прибегает для удобства нередко; говорят, например: огонь горит, хотя очень хорошо знают, что горит не огонь, а сало, дерево, уголь и т. п. Подобным же образом, желая сказать, что данный предмет производит на него ощущение красного цвета, человек для удобства говорит о красном предмете. Неправильностей, вроде первого примера, избегать можно и должно. Но нелепо бы было, желая сказать о красной рубашке, начать перечислять все впечатления, возбуждаемые этим предметом; поэтому такой неправильности языка избежать нельзя.

Изложенное только-что воззрение составляет всю сущность учения Канта о «нуменах» и «феноменах»; в нем же весь Милль; и, наконец, оно признается теми мыслителями, которых школьная философия, занимающаяся от нечего делать наклеиванием ярлыков на людей и книги, называет материалистами. Один из замечательнейших представителей этого направления говорит весьма определительно: «Психический акт не может явиться в сознании без внешнего чувственного возбуждения. Стало быть, и мысль подчиняется этому закону» ([5]). Бюхнер также повторяет за Молешоттом, что «человек есть продукт своих чувств» и что «все, что мы знаем, мыслим, чувствуем, есть лишь воспроизведение в уме воспринятого чувствами извне». Узнать цифру своего состояния почти так же полезно, как получить чистую прибыль, потому что кто не знает своих средств, тому грозит разорение: он по необходимости будет делать на всяком шагу ошибки, то мотая не по состоянию, то отказывая себе в необходимом. Поэтому открытие, что «человеку недоступно подлинное знание реального, вещи самой по себе», — словом, «высшее знание», к которому стремятся метафизики, так же драгоценно для людей, как какое-нибудь практически полезное открытие. С этих пор вопросы о том, что такое самая суть, мир, субстанция и т. п., невозможны, и потому нет надобности шарлатанить, отвечая: «суть есть, ибо есть, и она есть, какова есть, ибо такова есть».

Заслуга Канта в этом отношении, кроме восстановления реального, отрицание которого совершенно бессмысленно, состоит еще в том, что он выбил картезианскую философию из последних убежищ ее. Доказав чувственное происхождение всех наших представлений, Локк признал, однако, некоторые понятия наши о предметах, как-то: протяжение, форму, непроницаемость, число,

движение или покой, присущими «вещи самой по себе», потому что они обусловливаются временем, пространством и причинностью, реальное бытие которых он не подвергал сомнению. Тому же мнению следовал первый представитель сенсуалистической школы, Кондильяк. Но уже Юм подвергнул сомнению реальность закона причинности. Юм обратил внимание на то, что опыт, единственный источник нашего знания, показывает нам лишь простую последовательность наших состояний во времени, а не причинную связь их. Следовательно, понятие причинности не дается нам опытом и возникает из понятия о времени. Кант, следуя этому, утверждал, что время и пространство не существуют как нечто реальное, а только в нашем представлении. Он выражал это на своем языке, что понятия эти трансцендентально-идеальны, а Шопенгауэр выражает материалистически ту же мысль, говоря, что эти понятия — церебральная фантасмагория. Он справедливо замечает, что известный закон косности показывает наглядно, что время не имеет реального существования, потому что само по себе неспособно изменить движение или покой тела. Таким образом, время и пространство суть только известные формы, под которыми в уме возникают представления. Это тоже великий выигрыш для человечества. Теперь же мы знаем, что в противоположность другим предметам, которые существуют и сами по себе, и в нашем представлении, как нумены и как феномены, время, пространство и т. п., существуют только в нашем представлении, т. е., как феномены. Таким образом, Иван, Петр и всякий другой имеет полное право сказать, что по смерти его, т. е. с уничтожением его способности воспринимать впечатления и получать представления, уничтожаются также и эти понятия. Но Кант не видел никакой возможности объяснить присутствие в сознании этих понятий и потому нашелся вынужденным принять их за особые к а т е г о р и и у м а, признать их присущими органу мысли, — словом, чем-то вроде врожденных идей. Приходилось думать, что эти понятия всегда сидели в мозгу, где для них отведены особые клетки. На этих категориях, которые давным давно сданы в архив, свихнулся, между прочим, Прудон. На самом же деле нет никакой необходимости свихиваться на них, вытаскивать их из архивов и отводить им в уме особые конуры. Происхождение понятий времени и пространства и постоянное присутствие их в сознании при всех умственных представлениях прекрасно объяснены одним знаменитым физиологом подобно тому, как Браун объяснил ощущениями осязания и теми, которые происходят в самих мускулах, понятия наши о протяжении и наружном виде. Физиолог этот показал, что понятие о пространстве мы получаем посредством ассоциации зрительных впечатлений с осязательными (в мускулах, управляющих движениями глаз). Эти впечатления сочетаются чрезвычайно легко и притом беспрестанно, вследствие чего мы

никак не можем избавиться от порождаемого ими понятия, потому что, с одной стороны, слишком привыкли к нему, а с другой — невозможно устранить их сочетания. В нашем сознании происходит нечто подобное тому, что случается при некоторых физических опытах, где никогда не получается вполне чистый результат, потому что этому препятствует влияние тех инструментов, которые мы употребляем при опыте. Подобно тому, например, как при многих опытах мы не можем устранить влияние трения, таким же образом не можем получать чисто зрительных или чисто слуховых впечатлений, так как независимо от нашей воли получаем вместе с ним осязательные, мышечные и другие. Фактор времени, по словам нашего физиолога, — слух. «Обыкновенно говорят, — продолжает он, — что время — понятие очень общее, потому что в нем чувствуется очень мало реального. Но именно последнее обстоятельство и указывает на то, что в основе его лежит лишь часть конкретного представления. В самом деле, только звук и мышечное ощущение дают человеку представление о времени, притом не всем своим содержанием, а лишь одною стороною — тягучестью звука и тягучестью мышечного чувства. Перед моими глазами двигается предмет; следуя за ним, я двигаю постепенно или головою, или глазами, или обоими вместе; во всяком случае зрительное ощущение ассоциируется с тянущимся ощущением сокращающихся мышц, и я говорю: «движение тянется подобно звуку». Дневная жизнь человека проходит в том, что он или двигается сам, получает тянущиеся ощущения, или видит движение посторонних предметов, — что то же, или, наконец, слышит тянущиеся звуки (и обонятельные, и вкусовые ощущения имеют тоже характер тягучести). Отсюда выходит, что день тянется подобно звуку, 365 дней тянутся подобно звуку и т. д. Отделите от конкретных представлений движения дня и года характер тягучести — и получится понятие времени».

Итак, понятие времени дается ассоциацией слуховых ощущений с мускульными и проч., столь же неизбежными, как ассоциации зрительных с осязательными; поэтому понятие времени и пространства мы получаем посредством чувства, и они нераздельны со всеми представлениями, потому что не в нашей воле задержать производящую их ассоциацию и выйти из-под влияния привычки к ней.

Таким образом, мы знаем реальные предметы только как ощущения, производимые ими на нас, и как порождаемые этими ощущениями наши представления. Как-раз эту самую мысль хочет выразить Шопенгауэр первой половиной своей каббалистической формулы, говоря: «мир есть представление». В этом случае он называет себя последователем Канта; но общий характер его сочинений доказывает, что он гораздо ближе к Молешотту и Фогту. Со всей идеалистической философией, в том числе и с Кан-

том, он расходится окончательно, прямо называя странною и недостойною метафизическую манеру философствовать, не основываясь на фактах опыта и наблюдения. «Истинную философию, — говорит он, — нельзя сплести из чистых отвлечений; она должна основываться на опыте и наблюдении как внутренних, так и внешних. Философия — не алгебраическая задача». Этих слов достаточно, чтобы показать, как мало общего имел Шопенгауэр со старой метафизикой; других доказательств не нужно, чтобы убедиться, что он был не умозрительный философ-идеалист, а философ-натуралист, руководившийся эмпирией.

Гораздо труднее объяснить смысл другой половины формулы Шопенгауэра: «мир есть воля». В этой части своей философии он является окончательным реалистом в том смысле, в каком называют этим именем замечательнейших представителей естествознания в Германии. Но зато здесь же находятся важнейшие ошибки и промахи Шопенгауэра и ярче выказывается неудобство его пристрастия к формулам абракадабры. О нем-то сказал Гете, что его легко понимать, если раз навсегда принять к сведению, что лошадь называется у него не лошадью, а cavallo*, бог — не богом, а dio** и т. п. Но весьма ошибаются те, которые видят в этом отзыве нечто глубокомысленное. Известно, что Гете не понимал Шопенгауэра по той простой причине, что не читал. Отзывался же он таким образом из любезности, потому что был любовником матери философа Иоганны Шопенгауэр, известной в свое время писательницы. Зная это, можно не придавать его отзыву серьезного значения, которое было бы невыгодно для Гете, потому что, по правде сказать, фраза его бессмысленна. Говорить по-немецки, вставляя для пущей важности иностранные слова, крайне нелепо и не может быть ничем объяснено. В этой замашке всего заметнее влияние на Шопенгауэра схоластических приемов идеалистической философии.

Под словом *воля* Шопенгауэр присвоивает себе право подразумевать вовсе не то, что разумеют обыкновенные смертные. Шопенгауэр подразумевает под волей все ощущения, порождаемые внутренними процессами организма. На первый взгляд это должно показаться неясным и потому требует объяснения. Я надеюсь, что дело разъяснится, если мы обратимся к мнениям тех мыслителей, которым Шопенгауэр следовал.

В первом отделе своего учения он, как мы видели, не безусловно шел за Кантом, потому что выходил из опыта, но подобно Миллю и Молешотту сходился с ним в воззрении на сущность умственной деятельности человека. Во втором же отделе он окончательно расходится с идеалистической школой и прямо признает своими авторитетами французских сенсуалистов, особенно Кабани и Биша.

---

* Лошадь (итал.). — *Ред.*

** Бог (итал.). — *Ред.*

В понятиях его нет при этом никакой двойственности, как напрасно думает французский критик его, который говорит, что «исходя от кантовского идеализма, он соединил с ним бэконовский эмпиризм и сенсуализм Локка и Кондильяка». Это неправда, потому что истина, что «мы знаем предметы только как представления, возникающие в уме вследствие ощущений», принадлежит настолько же Канту, насколько Миллю, Локку и Кабани. Все они выражают ее только различно; один говорит: «мы знаем предметы лишь как феномены», другой — „nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu»*, третий — «наши сведения о предметах ограничиваются производимыми ими ощущениями», четвертый — «представление есть ощущение» и т. д., но все эти фразы выражают одну и ту же мысль. Следовательно, здесь о дуализме не может быть и речи.

Школьная философия, затупевшая в общих фразах, относится с возмутительной дерзостью к тем французским философам XVIII века, к которым она приклеила ярлык с надписью «сенсуалисты», и воображает, что тем можно и покончить с ними. Это с ее стороны самая отчаянная наглость, какую она когда-либо совершала, потому что у любого из этих писателей в одной строчке больше ума, чем во всех строчениях школьной философии.

Конечно, большая часть положений этих мыслителей рушилась с открытием новых фактов, что очень понятно, если вспомним, какою массою данных обогатились в XIX веке естественные науки, из которых они исходили. Но путь, указанный ими, и коренные основания их учения остались и останутся навсегда, потому что, как говорит Шопенгауэр, это — единственная, узкая дверь, ведущая к истине.

Писатели эти были люди ума колоссального, великие обобщатели и популяризаторы, и одним из величайших из них был Кабани, и одним из величайших его произведений была книга «Об отношениях физической и нравственной сторон человека» (6).

Кабани был таким же последователем Локка, как и Кант. В то же время, как в Германии Кант развил и дополнил учение Локка, но, не покинув скользкого пути абстрактных выкладок, довел его до совершенной бесплодности, так что не мог иметь на этом пути ни одного порядочного последователя и только дал повод «трем софистам» наговориться на эту тему до чортиков, до отрицания реального у Фихте и до проповедывания полного тождества между реальным и идеальным у Шеллинга, — в это время французы обратились к изучению природы, как единственному источнику истины. Исходной точкой их было положение Локка, что **все идеи даны чувствами и суть продукты ощущений**. Это положение было приложено ими

* Нет ничего в разуме, что прежде не было бы в ощущении. — *Ред.*

к дальнейшему исследованию процессов организма и дало блистательные результаты, которыми эти писатели, столь же глубокие мыслители, как и драгоценные популяризаторы, спешили поделиться с своими соотечественниками и через них со всем образованным миром. Недаром возились они так с Локком, недаром такие умы, как Вольтер, Гельвеций, Кондильяк, пожертвовали свои лучшие усилия на распространение или развитие идей Локка. Со времен Локка, который был врач и естествоиспытатель, французы завоевали для естествознания высокие области психологии и философии, в которых доселе господствовала лишь абстрактная ерунда. Они совершили тогда разом две величайшие реформы, какие когда-либо мир видел, — умственную и политическую, которых влияние быстро охватило Европу, несмотря на Гегелей и Питтов.

Кабани воспользовался идеями и научными данными, чтобы основать на них рациональную антропологию, тремя отраслями которой должны быть физиология, идеология и мораль. Но, признавая, что разум и воля человека обусловливаются теми же явлениями, как и все прочие процессы организма, он смотрел на антропологию, как на естественную историю человека, и, следовательно, на идеологию и мораль, как на отрасли естествознания. Кабани выражает это с обыкновенною точностью, характеризующею французских писателей XVIII века. «Физическое и нравственное начало совпадают в своем источнике или, лучше сказать, *нравственное начало есть физическое, рассматриваемое с особой точки зрения*».

Но Кабани обратил еще особенное внимание на то, что мозговые отправления зависят не только от впечатлений, переданных общему нервному центру внешними органами чувств, но и от тех ощущений, которые сопровождают внутренние процессы организма. Мозг с восприемниками внешних впечатлений составляет часть живого, чувствующего организма, и не только естествоиспытателю, но и самому отчаянному спиритуалисту было бы непозволительно отвергать влияние на него этой неразрывно всеми узами связанной с ним среды. Кабани, определявший животное существование *способностью чувствовать и двигаться*, говорит: «Способность чувствовать есть способность нервной системы знать впечатления, производимые на нее.

Впечатления эти или внутренние, или внешние.

Внешние впечатления суть те, которые сознаются явственно и называются ощущениями.

Внутренние впечатления часто смутны и невнятны.

Первые происходят от соприкосновения внешних предметов с органами чувств; вторые — от нормальных функций или болезней, свойственных различным органам.

От первых происходят представления, от вторых — явления *инстинкта*».

Верный своему учителю, Биша написал целую книгу, в которой развил эту мысль. В книге этой («Recherches physiologiques sur la vie et la mort»[7]) проводится строгое различие между теми явлениями организма, которые Биша относит к жизни животной, и теми, которые он причисляет к жизни растительной. Органы первой — мозг и внешние чувства, второй — все остальные. Таким образом, следовательно, к области животной жизни относится интеллектуальная деятельность представления, порождаемая внешними впечатлениями, происходящими в свою очередь от соприкосновения внешних предметов с органами чувств. К жизни же растительной относятся явления инстинкта, т. е. страсти и желания, которые порождаются внутренними процессами организма. Вероятно, внимательный читатель уже догадался, что Шопенгауэр, которого я назвал последователем ученых, мнения которых вкратце только-что мною изложены, называл волею те явлечия организма, которым Кабани давал название инстинктивных и которые Биша причислял к жизни растительной. Но прежде чем будем продолжать этот разбор, необходимо заметить, что, несмотря на значение, которое доселе могут иметь воззрения сенсуалистов, мнения Кабани и Биша не могут быть допущены безусловно в наше время. Теперь уже дознано, что в действительности нет такого абсолютного различия между явлениями сознательными и инстинктивными, произвольными и непроизвольными, какое они принимали. Тем не менее остался непоколебим тот вывод, что на мозг влияют не только внешние предметы, но и внутренние процессы организма: в уме могут существовать представления, порожденные не только внешними чувствами, но и самим организмом. Бюхнер напрасно поэтому вооружается против этого шестого чувства, как он выражается. Что же нелепого в том, что если человек страдает сердцебиением и чувствует страх без всякой внешней причины? Очевидно, что это психическое состояние возбуждается в нем не внешними чувствами, а состоянием внутреннего органа. Против этого Бюхнеру нечего восставать.

Теперь мы можем обратиться к Шопенгауэру.

Мы видели выше, что всеми признано, что человек знает не самые внешние предметы, а лишь ощущения, производимые ими на него, впечатления или, говоря языком Канта, знает не нумены, а феномены. Видя или осязая какой-нибудь предмет, человек сознает впечатления, производимые им на него, и считает эти ощущения произведением чего-либо совершенно внешнего ему. Этот предмет, порождающий ощущения, есть реальное, «вещь сама по себе». «Ощущения, — говрит Милль, — я сознаю непосредственно, но я считаю их произведением чего-либо не только существующего независимо от моей воли, но чего-либо внешнего относительно органов моего тела и духа. Это-то внешнее нечто я называю телом». К этому редактор русского перевода «Систе-

мы логики» ([8]) делает следующее примечание, которое прекрасно определяет точку зрения Шопенгауэра. «Говоря здесь о телах внешнего мира или о веществе вообще, — замечает П. Л. Лавров, — Милль упускает из виду одно важное обстоятельство, именно принадлежность нашего собственного тела к тому же внешнему миру, так что наше тело служит нам точкою сравнения для реальности всех прочих предметов, между тем как ощущения нашего тела составляют первый шаг в ряду явлений нашего сознания и однородны прочим явлениям сознания». Установив невозможность для нас узнать реальное, «вещь саму по себе» во внешних предметах, Шопенгауэр обращается к собственному организму человека; он говорит, что мозг человеческий есть не только орган мысли и представлений, но и один из органов тела, тесно и непосредственно связанный с остальными частями организма. Подобно мозгу, и все наше тело, ощущения которого мы сознаем непосредственно, то есть помимо внешних чувств, есть также не только представление в нашем сознании, но и реальный предмет. Я мыслю свое тело, как всякий другой предмет, ощущаю его внешними чувствами и имею его в представлении; но в то же время это совершенно реальное тело производит на меня впечатления другого рода, которых я не испытываю от других реальных предметов, именно: оно влияет непосредственно на мой орган мысли и порождает в нем ощущения без помощи внешних чувств, но тем не менее сознаваемые мною. Таким образом, в представлении человека являются не только ощущения внешних предметов, но и растительная жизнь его собственного организма, как сказал бы Биша, его собственные страсти и другие психические явления, зависящие от ощущений, порождаемых внутренними процессами организма. Мы уже знаем, что этот ряд явлений носит у Шопенгауэра название воли. Теперь нам понятны будут следующие слова Шопенгауэра, в которых он резюмировал свое воззрение: «Чисто объективному познанию реальное недоступно, потому что при нем предмет бывает лишь в представлении, следовательно, в самом субъекте, и не может быть различен от порождаемых им ощущений. Реальное может быть узнано лишь в том случае, если мы изберем другую точку зрения, а именно будем исходить не от представляющего, а от представляемого. Но каждому человеку такая исходная точка доступна лишь относительно одного предмета, к которому он может приблизиться с двух сторон: предмет этот — собственное тело (организм) каждого, которое представляется ему, во-первых, в объективном мире, как представление в пространстве, но в то же время обнаруживается в самосознании, как воля».

Таким образом, на учение Канта о недоступности нашему познанию «вещи самой по себе» Шопенгауэр возразил, что это не-

доступное нам реальное есть наш собственный организм, мы сами. А так как организм наш является нашему сознанию не только как представление, но и [не]посредственно, то мы не можем не знать его, — следовательно, реальное доступно нам. Лучше всего пояснить это примером: подобно тому, как я могу рукою ощущать или глазами видеть внешний предмет, точно так же могу я видеть и ощущать свое тело, и тогда оно явится в моем сознании как представление. Но вот происходит в моем организме процесс, не связанный с внешними чувствами, и тогда помимо их возникает в моем сознании ощущение, произведенное им. Например, я чувствую и сознаю голод; что породило во мне это ощущение? Внешний предмет? Нет, явно, что оно порождено самим организмом моим, но является в сознании непосредственно. Итак, реальный предмет явился в моем сознании непосредственно. Это факты жизни растительной, переходящие непосредственно в факты жизни животной. Шопенгауэр сам говорит, что, принимая теорию Биша, он переименовывает жизнь животную в сознание, а жизнь растительную — в волю. Теперь ясно, стало быть, значение второй половины замысловатой формулы: «мир есть воля». Вся же формула «мир есть представление и воля» в переводе на человеческий язык будет значить: «реальные предметы являются в сознании человека как впечатления, производимые ими на его внешние чувства, и как ощущения, порождаемые процессами собственного организма». Физиолог, на мнения которого я уже ссылался, говорит об этом следующее: «К разряду же явлений самосознания относятся те неопределенные, темные ощущения, которые сопровождают акты, совершающиеся в полостных органах груди и живота. Кто не знает, например, ощущений голода, сытости и переполнения желудка? Незначительное расстройство деятельности сердца ведет уже за собою изменение характера человека; нервность, раздражительность женщины из 10 раз 9 зависят от болезненного состояния матки. Подобного рода факты, которыми переполнена патология человека, явным образом указывают на ассоциацию этих темных ощущений с теми, которые даются органами чувства». «Но, — прибавляет автор, — к сожалению, относящиеся сюда вопросы чрезвычайно трудны для разработки, и потому удовлетворительное решение их принадлежит будущему. А решение было бы в высокой степени важно, потому что разбираемые ощущения всегда присущи человеку, повторяются, стало быть, чаще, чем все остальные, и представляют, таким образом, один из самых могучих двигателей в деле психического развития».

В шахматной игре говорят, что постороннему зрителю, хотя бы и плохому знатоку этой игры, легче заметить выгодный ход, чем самому играющему, хотя бы он был мастер своего дела. Быть может, это справедливо не только относительно одной шахматной игры. Это соображение дает мне смелость заметить знаменитому

ученому, которому принадлежат только-что приведенные слова, если глаза его упадут на эти страницы, что, по моему мнению, он имел в руках средства хотя до некоторой степени разъяснить эти вопросы, важность которых он признает. Мне кажется, что он добровольно отказался от возможности воспользоваться этими средствами, повторив несколько раз, что «психический акт не может явиться в сознании без внешнего чувственного возбуждения». Я решаюсь высказать сомнение в справедливости этого положения, при чем опираюсь на собственные слова автора, который говорит, что ощущения, сопровождающие внутренние процессы организма, «представляют один из самых могучих двигателей в деле психического развития». Возможность согласовать эти два положения кажется мне сомнительною, и так как второе не может подлежать сомнению, то я не могу признать безусловно справедливым первое. Чтобы сделать для читателя понятною трудность согласования этих положений, я скажу, что если мы признаем страх явлением психическим и допустим, что он может произойти от сердцебиения, произведенного, в свою очередь, чисто внутренними условиями организма, напр., лихорадочным пароксизмом, то возможно ли после этого допустить, что психические явления могут происходить только при помощи внешнего чувственного возбуждения? Я полагаю, что нет (9).

Наперекор всем академическим словарям, и «языку человечества», к которому так любит апеллировать Прудон, Шопенгауэр решительно отказывается называть вещи по присвоенным им именам. Назвав волею явления растительной жизни, он, по примеру Биша, исключает из них как-раз то, что всеми прочими людьми называется волей. Волю бесстрастную и сознательную, выражения которой наш физиолог называет хотениями и о которой было наговорено разными писателями, в том числе и самим Шопенгауэром, много всякой чепухи, он совершенно исключает из своего понятия о воле. Но в вознаграждение за ущерб, нанесенный словарям, и за неуважение, оказанное «языку человечества», он озаряет нас таким ярким светом, дает нам такую блистательную, гениальную мысль, что ею освещается даже непроницаемый мрак, который господствует в вопросах об ощущениях, вызываемых внутренними процессами организма. Впрочем, заслуга в этом случае принадлежит наполовину его великому учителю, Биша.

Мне кажется, что если бы автор статьи о свойствах психической деятельности организма, которой, быть может, суждено составить эпоху в психологии человека, обратил внимание на мысль Биша, то отдел его статьи, в котором он рассуждает о страстях, значительно выиграл бы в полноте и всесторонности. Автор, верный своему мнению, что психические явления могут быть возбуждаемы только впечатлениями внешних чувств, пренебрег мнением Биша, который, допуская, что такие явления могут быть порождаемы внутренними ощущениями организма, утвер-

ждал, что последним принадлежат те психические явления, которые всеми называются страстями, а Шопенгауэром — волею. Это очень важно: автор сам вынужден прибегнуть до известной степени к различию между хотениями, как отраженными явлениями с менее выраженною страстностью, и желаниями, как явлениями того же рода, где страстность выражена ясно. Более резкого или, лучше сказать, постоянного различия между хотениями и желаниями автор не делает, и это, мне кажется, составляет важный пропуск в его анализе страстей. Я полагаю, следуя Биша и Шопенгауэру, что желания отличаются от хотений тем, что в них специально выражаются страсти и инстинкты, т. е. вообще внутренние ощущения; хотения же суть отраженные явления, происходящие от внешних впечатлений. Правда, я полагаю и прошу читателя заметить, что бесстрастных хотений нет, но причина этого другого рода, и ниже я постараюсь объяснить ее. Такой взгляд на сущность страстей нисколько не противоречит ничему в системе нашего автора, но, напротив, еще более освещает ее. По определению автора, страсть есть отраженное явление с усиленным концом, т. е. такое, которое следует роковым образом за чувственным впечатлением, но с тою разницею от других актов человеческой деятельности, что наружное проявление его, т. е. конец, по силе не соответствует производящему его впечатлению, так что заставляет предполагать существование в нервной системе усиливающих отраженные явления аппаратов, подобно задерживающим их, открытым самим автором. Очевидно, что если допустить существование в сознании впечатлений внутренних, то ничто не мешает принять, что такие впечатления могут отражаться на мускулах и, следовательно, что отражения эти, проходя через предполагаемый усиливающий отражения аппарат, могут являться в конце усиленными. Но как не все отражения от внешних чувств являются в конце усиленными, так точно и не все отражения от внутренних ощущений будут являться в конце таковыми. В случае, где конец отраженного явления усилен, а причина его лежит во внутреннем возбуждении, оно называется желанием; если же конец усилен, но причина лежит во внешнем возбуждении,— хотением. На простом разговорном языке и у психологов старой школы говорится, что и желание есть акт страсти, а «хотение — акт воли». Протестовать против этих выражений излишне, потому что они очень удобны и к ним все привыкли, но надо помнить, что когда говорится об актах страсти, то это значит, что речь идет об усиленных отраженных явлениях, возбужденных внутренними ощущениями организма; когда же говорится об актах воли, то это значит, что отраженное явление, о котором упоминается, возбуждено внешним впечатлением. Здесь необходимо снова заметить, что бесстрастных хотений нет.

Теперь, я полагаю, читателям совершенно выяснился взгляд

Шопенгауэра на психическую деятельность человека. Мы уже видели, что предметом его изысканий служит именно вопрос о ее свойствах, а не метафизические задачи об отношении конечного к бесконечному. Хотя сакраментальная формула «мир есть представление и воля» дает повод предполагать, что автор намерен рассуждать об абсолютном и т. п., но на деле оказывается, что он желает лишь разъяснить важнейший вопрос антропологии о пределах, свойствах и условиях психической деятельности. Трансцендентальный идеализм приводит его лишь к отрицанию метафизических задач. Он вооружается им, чтобы, следуя Канту, доказать, что наше знание внешних предметов ограничивается сознанием представлений, производимых чувственными впечатлениями; поэтому абсолютное совершенно не может быть разумно предметом наших изысканий, так как чувственные впечатления, которыми ограничиваются наши знания, не имеют ничего общего с абсолютным или бесконечным, но, напротив, условны и конечны. На этом основании он восстает против умозрительного умствования. «Неудачи, — говорит он, — которые доселе постоянно постигали философию, были неизбежны и объясняются тем, что вместо того, чтобы ограничиваться уразумением данного мира, она постоянно забегала за него и хотела открыть конечные причины всякого бытия и разрешить вопросы, которые не могут быть поставлены. Философия должна ограничиваться старанием понять данный мир, который представляет все, что необходимо для его уразумения».

Определив и установив таким образом свою точку зрения, Шопенгауэр, рассматривая психическую деятельность, находит, что она исключительно обусловливается внешними и внутренними ощущениями. Первые производят весь интеллектуальный мир, мир представлений, идей. Вторые же производят мир страстей и инстинктов, который он называл волею.

Однако, снова повторяю, так строго разграничивать жизнь животную и растительную, продукты ощущений внешних и внутренних, — нельзя. Их можно и даже, для лучшего уразумения каждого процесса особо, должно рассматривать в частности каждый, но никогда не следует забывать, что в действительности они так тесно связаны между собою, что, так сказать, проникают друг друга. Иначе возражения всегда будут готовы. Можно возразить, что существуют страсти, как, например, страсть к музыке, которые могут иметь своим источником только внешние ощущения. Притом, не есть ли противоречие разграничивать желания и хотения, проявления страстей и воли, т. е. усиленные отраженные явления от внутренних и внешних впечатлений, и в то же время утверждать, что нет хотений бесстрастных? Но дело в том, что все ощущения могут до бесконечности ассоциироваться между собою, и вследствие сочетания их возникает все неисчислимое множество разнообразных представлений в сознании. Мы ви-

дели уже, что вследствие подобных сочетаний являются в нашем сознания понятия времени и пространства, имеющие такую важность. Понятно, что как внешние ощущения сочетаются между собою, точно так же сочетаются они и с внутренними. Такие сочетания происходят постоянно и неизбежно. Таким образом, неудивительно, что очень часто может показаться, будто страстные явления вызываются только внешними ощущениями, а, напротив, интеллектуальные — внутренними. Однако в большинстве случаев нетрудно заметить, при тщательном рассматривании, такого рода сочетания и понять, что хотя ж е л а н и е возникло, повидимому, только от внешнего впечатления, но в сущности от ассоциации их с внутренними. Так, ошибочно было бы думать, что музыкальная страсть имеет источником только слух. Люди бессознательно чувствуют несправедливость такого мнения и выражают это чувство, говоря, что «любят музыку от всей души» или что «наслаждаются музыкой всем существом своим». В основании страсти к музыкальным наслаждениям должна непременно лежать ассоциация слуховых впечатлений с внутренними ощущениями. Сам цитированный мною выше автор не мог избежать косвенного признания этого, сказав, что в страсти к женщине есть инстинктивная сторона — половое стремление. Эта инстинктивная сторона и есть впечатления чувствующих нервов органов жизни растительной и размножения, отраженные на движущих нервах мускулов. Необходимо допустить такие ассоциации, чтобы иметь возможность удачно анализировать страсти. В гневе, напр., ассоциация эта заметна еще более, потому что одна и та же внешняя причина может сто раз не вызвать гнева, а в сто первый произвести самые сильные проявления этой страсти. Участие в ней внутренних впечатлений так очевидно, что оно признается, хотя бессознательно, даже самыми необразованными людьми, которые говорят о «болезненной раздражительности», «вспыльчивости» и т. д. Не признают этого только юристы, для которых это составляет слишком щекотливый вопрос.

Так как всякое внешнее впечатление неизбежно сочетается с внутренним, то я и говорю, что нет хотения бесстрастного. Но хотя это может пролить много света на психологию страстей, однако цитируемый физиолог справедливо заметил, что вопросы касательно внутренних ощущений организма очень трудны для разработки и пока слишком мало известны. Поэтому, без сомнения, можно найти множество примеров страстных явлений, где разобрать или доказать участие этих ощущений пока невозможно. Тем не менее не подлежит сомнению, что наука идет именно к тому, чтобы разъяснить эти вопросы. Заслуга передовых мыслителей, к числу которых должно отнести Шопенгауэра, состоит именно в том, что, устранив бессмысленные вопросы, они поставили совершенно верно новые, которые наука может решить если не тотчас, то по мере накопления фактов. Открытие в нерв-

ной системе механизмов, задерживающих отраженное движение, и весьма вероятное скорое открытие механизмов, усиливающих его, пролили целые потоки света на психологические вопросы. Но внутренние ощущения организма остаются попрежнему загадочными и темными. Только с разоблачением этой тайны сделается возможным вполне удовлетворительный анализ страстей.

Шопенгауэр считает все акты человеческой деятельности лишь отражением его внешних и внутренних впечатлений и их сочетаний. Он не принимает для хотений и желаний лишь представления, возбуждаемые в сознании этими впечатлениями, и он не принимал для них никаких метафизических субстратов. Он неоднократно повторял, что вся деятельность человека имеет роковой характер. «Встречая человека, который упорно не сдавался на его доводы, — рассказывает его французский биограф (Фуше де-Карейль), — он отправляется с ним в Englisches Hof и в ту минуту, как тот протягивал руку к стакану, он останавливал его и обращал его внимание на то, что это движение не отличается ничем существенным от механического движения, произведенного ударом или столкновением тел от действия слепой силы, что вся разница в случайных производящих причинах. В первом случае причина — чувственное впечатление: стакан, замеченный и почувствованный; во втором причина чисто механическая—полученный или сообщенный толчок. И затем он с истинным глубокомыслием прибавлял: «Что же, понятнее ли вам движение шара от толчка или ваше собственное движение, следующее за данным ему толчком, чем ваше движение, следующее за сознанным впечатлением? Вы, быть может, скажете, да; но я вам отвечу напротив, и вы увидите, что сущность явления в обоих случаях тождественна». Затем он начинал развивать свою главную мысль и убеждал собеседника, пойманного au flagrant délit* отраженного движения.

Таким образом, он делал слово в о л я совершенно вакантным, доказывая, что связываемое с ним обыкновенно понятие ложно и не соответствует ничему, действительно существующему. Он доказывал, что все сознание человека наполнено представлениями, возбужденными только внешними или внутренними впечатлениями, что на его языке выходило: «мир есть представление и воля»; что из всех реальных предметов нашему сознанию доступен только один: наш собственный организм или, вернее, его ощущения. Этим внутренним впечатлениям он имел отчасти право давать собирательное имя в о л я, потому что оно им же самим было лишено своего прежнего содержания и, следовательно, могло быть приложено к какому-нибудь новому понятию. Однако, к сожалению, быть может, именно оно было виною того, что Шопенгауэр в этой части своей философии, где он сделал так много хорошего, наделал множество ошибок и наговорил столько метафизиче-

* На месте преступления. — *Ред.*

ского вздору. Впрочем, иначе и быть не могло, потому что приниматься за полный анализ внутренних ощущений в его время (когда он в первый раз высказал свои мнения, т. е. в 1818 г.) нельзя было, да и теперь слишком рано. Притом вместо того, чтобы анализировать их, он рассуждает так, как-будто эта темная сторона психологии была ему совершенно ясна и достоверно известна до мельчайших подробностей; нигде не встречается, чтобы он воздержался от каких-нибудь умствований, сказав, что основные данные неизвестны. Он не ограничивается тем, что утверждает возможность познать свои внутренние ощущения; он поступает так, как-будто это уже совершилось; как-будто совет мудреца «познай самого себя» приведен буквально в исполнение. Не заботясь о том, известны или неизвестны факты, он начинает строить теории на теориях, упуская из вида свое собственное замечание о причинах неудач философии. В этих мудрствованиях видно пагубное влияние метафизики, на которой выросло все XIX столетие в Германии и от последствий которой оно не может отделаться, несмотря на свою справедливую ненависть к ней. От влияния ее не избавились самые страшные и непримиримые враги ее, многие современные немецкие естествоиспытатели. Правда, при своем гениальном уме Шопенгауэр сумел разгадать и объяснить многое так верно, что теперь наука подтверждает его мысли. Кто читал объяснение г. Сеченовым памяти, тот будет изумлен, встретив у Шопенгауэра если не то же самое объяснение, то мысли, совершенно близкие к нему и весьма недвусмысленные намеки на полное объяснение.

Однако смелость Шопенгауэра в выводах далеко не вознаграждает несколькими такими мыслями за ущерб, нанесенный ею в большинстве случаев его произведениям. То, что он сделал с своим понятием воли, лучше всего покажет, до чего может дойти человек, если во-время не обуздает своей страсти объяснять без фактов.

Из того, что внутренние ощущения организма могут производить в сознании представления помимо внешних чувств, он заключает, что мы можем знать непосредственно один реальный предмет, наш организм. Но, не останавливаясь на этом, он ударяется сломя голову в метафизику, и начинает рассуждать не хуже Гегеля обо всем, что только приходит в голову, объясняя все при помощи игры общим понятием воля. Оказывается, что название это затем только и прилагалось без всякой нужды к совокупности внутренних ощущений человека, чтобы иметь возможность впоследствии злоупотреблять им, когда речь зайдет о таких вопросах, которые, как он сам доказал прежде, нельзя и ставить. Изумленный читатель, который слушал доселе разумного физиолога, вдруг видит, к своему ужасу, фразы вроде того, что «мир, есть огромная воля, беспрестанно вторгающаяся в жизнь»; слышит рассуждения о «воле камней, растений», о воле, ос-

новывающей государства», о «воле, выражающейся в электричестве», о «теле, как воплощении воли» и т. д. in infinitum*. И счастлив читатель, который может бросить под стол книгу, где рассуждается обо всем этом, вспомнив слова, написанные самим автором ее: «у меня есть дело поважнее, чем толковать с подобным глупцом; прощай!»

Но кто задал себе задачу увидеть воочию безобразия, совершаемые метафизиками, каким является здесь Шопенгауэр, тот встретит еще худшие вещи. Он уже прежде, следуя Биша, ошибочно провел слишком резкую черту между жизнью животною, т. е. сознанием, и жизнью растительною, т. е. внутренними ощущениями. Теперь эта ошибка приносит свои плоды. Нервная система и внутренние органы рассматриваются уже не так, как они действительно существуют, т. е. в неразрывной связи, а как какие-то абстракты; функции их совершенно разъединяются. Впрочем, хотя все это нелепо, но здесь еще Шопенгауэр сохраняет, по крайней мере, приличную внешность вольтерианца прежних времен. Враг схоластической психологии прежде всего, он с особенною любовью упирает, совершенно как Биша, на подчиненность мозга внутренним органам. С особенной злобой производится нападение на мозг и разум, как-будто они виноваты в нелепостях старых психологов или как-будто последние слишком избаловали их! Этого-то уж никак нельзя сказать; если плоть немало пострадала от бичей, костров и виселиц старых психологов, то разве разум обязан им чем-нибудь, кроме схоластики, предрассудков, метафизики, гонений на науку и просвещение? — Нет, если давно пора избавить от мучений человеческое тело и позаботиться о его благосостоянии, то пора также подумать, что разум неразрывно с ним связан, и человеку может быть хорошо лишь в том случае, если они оба будут в чести. Впрочем, теперь люди сознают это. и умные из них, как, напр., Масе, даже детям внушают, что если мозг есть слуга желудка, то и желудок — слуга мозга ([10]). Желудок работает и кормит тело, в том числе и мозг; но он кормит и его, и себя, и все остальные органы только потому, что накормленный им мозг дает ему постоянно новый материал. Без желудка тело жить не может, но и без мозга оно умрет с голоду, потому что кто же отыщет ему пищи и кто доставит ее в желудок? Все члены организма тесно связаны между собой, и вся деятельность всех их клонится к поддержанию жизни во всем организме. Может ли, следовательно, тепрь быть серьезный спор о первенстве органов?

Шопенгауэр начал жить в то время, когда оскомина эта еще не прошла. Поэтому он не мог воздержаться от размышлений об относительной важности органов человеческого тела. Так как внутренние ощущения наши до сих пор не разобраны и так как до

* До бесконечности. — *Ред.*

сих пор почти невозможно анализировать их по причине их постоянных сочетаний с впечатлениями внешними, то Шопенгауэр в своих рассуждениях о свойствах своей «воли» и разума не мог руководствоваться ничем иным, кроме собственного воображения. Он говорил, например, все-таки по вольтерианизму своему, желая задеть разум внешних чувств, что отправления внутренних органов, т. е. страсти, инстинкты, гораздо важнее отправлений внешних чувств потому будто бы, что первые способствуют сохранению вида, а вторые только наслаждению индивидуума. Последнее справедливо. Человек ест и пьет, чтобы существовать и поддерживать вид; но он лакомится для индивидуального наслаждения; между тем голод есть ощущение внутреннее, тогда как лакомиться любимым блюдом он может, даже будучи сыт; для этого достаточно, чтобы на зрение, вкус или обоняние его подействовало внешнее возбуждение. Но почему же из этого следует, что отправления внутренних органов важнее, чем отправления внешних чувств?

Мораль Шопенгауэра совершенно противоречит здравой и справедливой части его учения. Он утверждал, что человек не может быть счастлив, и нередко выражал эту мысль так сильно, что, несмотря на свою лживость, она производит сильное впечатление. «Чтобы произвести краткий опыт по вопросу, перевешивает ли в мире наслаждение горе, должно сравнить ощущения животного, которое пожирает другое, с теми, которые испытывает пожираемое». — Он находил, что люди, которых он презрительно постоянно называл bipeda*, самые злые и гнусные животные и не могут быть счастливы, потому что хотят жить, а жить значит страдать. Выходки его против рода человеческого иногда очень забавны своим наивным, неподдельным озлоблением. «При первом взгляде на новое лицо, — говорит он, — обыкновенно пугаешься и лишь постепенно привыкаешь к производимому им впечатлению. Но вообще это печальное зрелище. Бывают такие люди, на физиономии которых отпечатлена такая наивная пошлость и низость, такая животная ограниченность, что удивляешься, как решаются они с подобным лицом являться в общество и отчего не носят масок. Бывают даже лица, один вид которых оскверняет зрителя». В другом месте он говорит, что при виде многих лиц становится за себя стыдно, что принадлежишь к человеческому роду. Счастливы же bipeda быть не могут, потому что хотят жить, а жизнь дает только страдание. Но благоразумный человек должен не хотеть жить. Это не значит, что он непременно должен повеситься, хотя, впрочем, это самое лучшее, что он может сделать, — но достаточно будет, если он перестанет желать жить, то есть если уничтожит в себе всякие желания. На этом основании самыми уважаемыми людьми Шо-

---

* Двуногие. — *Ред.*

пенгауэра были индийские факиры и трапписты (11). Но все это, конечно, совершенно бессмысленно, лишено даже достоинства оригинальности и вдобавок противоречит главным чертам его собственного учения.

Шопенгауэр учил, что все существующее в сознании человека есть продукт внешних и внутренних ощущений. Конечно, ощущения эти могут быть неприятны, и человек может через них страдать, но зато они же дают ему наслаждения. Если возникает вопрос о том, каких ощущений человек получает больше, приятных или неприятных, наслаждений или страданий, то необходимо прежде всего условиться, что подразумевать под наслаждением и страданием. Шопенгауэр обратил внимание на то, что внутренние ощущения способствуют сохранению вида, а внешние — удовольствию неделимого. Стало быть, необходимо прежде всего, чтобы внутренние ощущения не были неприятны, а так как для этого достаточно только поддержать условия, необходимые для нормальной деятельности организма, то ясно, что в первом случае все зависит от здоровья. Но так как даже теперь, при самых скверных условиях, здоровье все-таки нормальное явление, а болезнь — исключительное, то в этом случае люди находятся в благоприятных условиях; прежде условия эти были хуже и болезни были чаще и страшнее; можно, стало быть, надеяться, что с успехами общественного быта, гигиены и медицины условия эти сделаются еще благоприятнее. (Впрочем, в медицину Шопенгауэр не верил, зато верил в ясновидение и животный магнетизм). Что же касается до внешних впечатлений, то хотя тысячи причин доставляют через них большинству людей больше страдания, чем наслаждения, но это вовсе не может считаться непреложным законом. С другой стороны, легко видеть, что счастие вовсе не так недостижимо, как кажется. Говорят, что желания людей безграничны и потому неудовлетворимы. Но это вздор; граница желания существует и есть способность внешних чувств воспринимать впечатления; желания ограничиваются внешними чувствами, помимо которых человек не может наслаждаться. С другой же стороны, самые наслаждения весьма ограничены, граница их есть вред. Поэтому настоящим наслаждением может быть лишь то, что безвредно. Вред же есть понятие, противоположное понятию пользы; следовательно, наслаждаться можно только тем, что полезно. Предметов, которые не были бы ни вредны, ни полезны, нет. Итак, стало быть, для счастия нужно, кроме здоровья, только побольше полезного и поменьше вредного, а восприимчивость к нему ограничена внешними чувствами. До сих пор, правда, истина эта большинством не признается: большинство видит свое наслаждение в том, что часто наносит ему вред, — следовательно, ошибается. Оно все еще похоже на ребенка, который обжигается, желая схватить пламя. Это, между прочим, весьма важная причина в числе тех, которые дают по-

вод думать, что количество страдания непременно перевешивает количество удовольствия. От этого также многие предметы, которые сами по себе безвредны и потому были бы полезны, теперь положительно вредны, потому что служат только для удовольствия людей и отклоняют их от более существенных целей.

Итак, если страдание обусловливается влиянием вредных предметов, а наслаждение ограничивается тем, что полезно, то совершенно нет причины отчаиваться, подобно Шопенгауэру, в человеческом благополучии и считать его недостижимым. Между тем такой взгляд на страдание и наслаждение — единственный, который можно вывести из главных положений Шопенгауэра. Если же он не нашел ничего лучшего, как проповедывать факирство и выдавать за идеал аббата Ла-Траппа, то в этом, конечно, всего менее виноваты положения, принятые им в основание своих воззрений. Впрочем, непоследовательность его в этом отношении слишком очевидна, и ею он обязан растлевающему духу метафизики, господствовавшему в Германии. Милль, как англичанин, на которых влияние это не распространялось, оказался последовательнее, написав после «Системы логики» книгу об «Утилитарианизме» ([12]).

Но Шопенгауэр точно в рубашке родился. Он принадлежал к числу тех немногих счастливцев, которым удается даже ошибаться удачно и нести чепуху впопад. Его пессимизм, как ни нелеп в сущности, но на деле оказывается очень полезен, как противоядие безнравственному гегелевскому оптимизму. С своей стороны Шопенгауэр сделал все, чтобы быть врагом той стороны, которой поневоле, и сам того не зная, служил. В политических и общественных вопросах он прежде всего был индиферентист, за что последователи его, напр., Гвиннер, осыпают его величайшими похвалами, точно за положительную заслугу. Но, во-первых, не принимать в чем-нибудь участия очень легко и не составляет никакой заслуги, хотя бы дело, в котором человек не принимает участия, было самое безобразное. Во-вторых, индиферентизм Шопенгауэра вовсе не был логичным последствием его воззрения на bipeda. Дело объясняется гораздо проще тем, что он был зажиточный бюргер и потому уже не сочувствовал народным бедствиям; притом же он был замечательный трус. По этому поводу биографы его рассказывают уморительные подробности. Говорят, что, боясь воров, он вел счеты на английском, латинском и греческом языках, прятал деньги по разным углам, в аптечных коробках, старых конвертах и т. п., не брился у цирульников, носил в табльдоты складные стаканы для питья, спал обложенный оружием и т. п. Кроме того, его преследовали постоянно различные опасения большею частью вымышленной опасности. В 1813 г. он чуть с ума не сошел от страха, что его возьмут на военную службу; постоянно мучился страхом различных болезней: холеры, оспы, чахотки; однажды долго думал, что неча-

янно отравился табаком; в 1833 г. он чуть не бежал из Маннгейма, гонимый неопределенным страхом; несколько лет боялся разных уголовных дел и потери состояния. Можно себе представить его ужас и смятение, овладевшее им при событиях 1848 года, которые были в Германии особенно грозны, именно во Франкфурте, где он жил. Конечно, он помышлял более о бегстве, чем об участии в политических действиях. Следовательно, не нужно искать в его философии причину его индиферентизма, а, напротив, его мрачный взгляд на жизнь и людей может быть вполне объясним этими индивидуальными его свойствами. Жизнь действительно не могла представляться ему в розовом свете среди этих вечных мучений страха.

Однако, так как ему все-таки приходилось иногда выражать свое мнение о жизни современного ему общества, то у него можно тоже, пожалуй, найти нечто вроде политического взгляда. Можно сказать, что он был в этом отношении не только индиферентист, но и обскурант. Однако в его желании, чтобы современный ему порядок Германии не изменялся, не было заметно ничего, что вытекало бы из нелепых, но сколько-нибудь определенных убеждений; это было простое желание трусливого бюргера, чтобы его ничто не тревожило и не беспокоило. Настоящей политической низости в нем не было; напротив того, лично он был вполне независимый человек, никогда не искал ничьего покровительства и при случае жестоко бранил рабствующих писателей. Его филиппики против современного ему направления, враждебного драгоценному для него спокойствию, и против молодой Германии не только не возбуждают к нему презрения, но отличаются крайне увеселительным свойством. Его выходки так стариковски-наивны, что никому не может войти в голову оскорбиться ими или счесть автора низким человеком; это — не инсинуации и не серьезные нападки на честное и свежее направление, а самые забавные бутады. Можно ли, например, не смеяться, когда в пылу негодования на современную ему молодежь он не находит ничего сказать более серьезного, как то, что считает моду носить стеклышко в одном глазу «очевидным признаком развращенности bipeda»; равным образом невозможно без смеха читать его тирады против бороды. Против бород он ратовал среди философских статей с таким ожесточением, как-будто они источник величайших несчастий, и даже приглашал полицию запретить носить их. Он утверждал, что борода — признак величайшего скотства, зверства и жестокости. С потешным ужасом и забавною ненавистью описывает он современных людей: «Посмотрите на них! Плешивые головы, длинные бороды, очки вместо глаз, сигара в скотской морде, как суррогат мыслей, на плечах мешок вместо сюртука!» Озлобление в этих строках так неподдельно, что нельзя читать их без смеха, если принять в соображение, что возбуждено оно такими невинными предметами, как

очки, бороды и пиджаки. Но я не думаю, чтобы кто-нибудь мог сердиться на старого чудака за его ворчание.

Иногда, правда, он говорит вещи, действительно возмутительные, как, например, похвалы фухтелям и восхваление закрытых судов в ущерб судам присяжных. «Суд присяжных, — говорит он, — самый худший, особенно в делах политических. Давать присяжным судить политические дела значит пускать козла в огород». «Я не могу,—говорит он в другом месте,—не порицать правительство и законодательные собрания за ревностные старания их отменить все телесные наказания; кого нельзя наказать лишением собственности за неимением ее и лишением свободы, потому что нужны его услуги, того следует наказать телесными побоями, что будет и справедливо, и естественно». Такие пошлости могут возбудить против Шопенгауэра негодование и показать его в самом невыгодном свете, как непроходимого обскуранта. Но, во-первых, все говорилось это хотя со злобой, но без всяких признаков убеждения. Весь эффект этих изречений пропадает если мы заглянем дальше, и тогда они возбудят в нас не негодование, а смех. Комментарием к ним может служить целая глава о городском шуме, входящая в состав его философских статей; она показывает, что все эти абсурды просто стариковское брюзжанье. В ней автор высказывает свои страдания, причиняемые ему уличным шумом, и клянет и ругает на чем свет стоит всех производящих его. Особенно свирепыми варварами оказываются извозчики, хлопающие бичами. О них мы читаем целую диссертацию, и в заключение Шопенгауэр говорит: «Если бы я имел власть (не правда ли, как наивно?), то в головах извозчиков составился бы неразрывный nexus idearum* между хлопаньем бичом и получением побоев». Прочтя это, нельзя не расхохотаться, и все, что в наказание можно пожелать было автору, это то, чтобы какой-нибудь извозчик заехал бичом по спине его элегантной особы. Они были бы квиты. Мы же не можем за эти выходки серьезно негодовать на автора, потому что рядом с ними встречаем у него прекрасные и светлые мысли даже касательно социальных вопросов, в которых он прослыл таким безнадежным глупцом.

К числу таких мыслей принадлежит его взгляд на современное рабство. «Между крепостною зависимостью, какая существует в России (писано, конечно, до освобождения крестьян), и положением народа в Англии, между рабами и крепостными с одной стороны и арендаторами, фермерами и т. д. — с другой — разница заключается в форме, а не в сущности. Коренной разницы нет, принадлежит ли мне крестьянин или земля, которой он существует; птица или ее корм; плод или дерево. Шейлок справедливо говорит у Шекспира: „You take my life, when you do take the

* Связь понятий. —*Ред.*

means wherby I live". (Отнимая у меня средства к существованию, ты отнимаешь у меня жизнь).

Нищета и рабство суть, следовательно, лишь две формы, два названия одной и той же вещи, сущность которой состоит в том, что силы человека расходуются большею частью не в его собственную пользу, а в чужую. Отсюда проистекает то зло, которое во все времена тяготело над человеком прежде под именем рабства, теперь — под названием пролетариата. Причина его — роскошь. Следовательно, пока на одной стороне роскошь будет существовать, до тех пор другая будет изнывать под чрезмерным трудом и вести страдальческую жизнь, под именем ли рабов или пролетариев — все равно. Разница между рабами и пролетариями только в том, что рабство порождено силой, а пролетариат — хитростью. Все неестественное состояние общества, общая борьба с нуждою и войны имеют причиною роскошь». Затем он выражает надежду, что с прекращением их прекратятся все бедствия, коренящиеся в ней. Но тут он спохватывается, припоминая свою роль зловещего ворчуна и аскетического пессимиста, и с неудовольствием останавливает себя, говоря, «впрочем, я не желаю писать утопий».

И действительно, пора было остановиться, а то он совсем бы вышел из своей роли и уклонился от своей мрачной морали. Он уже и то сказал довольно для того, чтобы можно было уличить его в противоречии с его моралью и в непоследовательности своим основным положениям. В самом деле, если причина громадного большинства страданий заключается в роскоши, то ясно, стало быть, что причина эта может быть устранена и люди могут быть, наконец, счастливы. Ясно также, что если доселе страдание преобладало в человечестве над счастием, то это происходило от неразвитости людей, большинство которых не понимало, что наслаждаться можно только полезным, и, как дитя, хваталось за свечку, не рассчитав последствий. Люди вышли из естественного состояния наги и сиры; вместо того, чтобы сразу понять, что прежде всего им нужно необходимое, они бросились на погремушки. Это было весьма естественно, иначе и быть не могло, потому что люди были невежественны и несообразительны. Но, по мере их совершенствования, они должны догадаться, что прежде всего надо искать необходимого и с этой целью бросить покуда в грязь все, хотя бы самое невинное, но не дававшее существенной пользы, а лишь отвлекшее от полезных предметов. Когда понятие наслаждения станет понятием пользы, тогда люди избавятся от большей части своих страданий. Следовательно, за будущность их нечего отчаиваться, и, напротив, каждый может способствовать осуществлению этих pia pesideria*, восставая против всего, что носит на себе характер роскоши, т. е. бесполезного наслаждения.

* Благих пожеланий. —*Ред.*

Таким образом, этот коротенький, но логичный и здравый вывод из главных положений Шопенгауэра был понят и сделан им самим. Он совершенно разрушает его траппистский, мрачный взгляд и нелепую мораль, вытекавшую из этого взгляда. Можно сказать, что этот вывод сделан философом из его естественно-научного учения о человеке; факирская же мораль и все озлобленные выходки были отпечатком, положенным на сочинения философа его угрюмым характером. Говоря его собственным языком, можно сказать, что первое есть произведение его ума, а второе — его воли.

Но я уже сказал, что Шопенгауэру так посчастливилось, что все его странности и нелепости имели свою полезную и хорошую сторону. Для современного германского общества он имел важное значение, как страшный враг Гегеля и всех последствий господства этого, как его называет Шопенгауэр, бесстыдного и грубого шарлатана над направлением общества.

Ненависть Шопенгауэра к трем людям, которых он называл «тремя софистами», т. е. к Фихте, Шеллингу и Гегелю, беспримерна почти. Гейне более уважал Менцеля, Берне был снисходительнее к Раупаху, Шлоссер менее презирает барона Лангенна, Фогт даже не питает такой ненависти к Р. Вагнеру, как Шопенгауэр к Фихте и Шеллингу, а особенно к Гегелю. Фихте, напр., он характеризует так: «Вместо доказательств в пользу своего чудовищного положения, он пускался в софистические, пошлые декламации, скрывая бессмысленность их под личиною глубокомыслия». Он с торжеством ссылается на презрительные отзывы о личности Фихте Шиллера и Л. Фейербаха, а биографы его рассказывают, что он с величайшим удовольствием передразнивал философа, говорящего свои знаменитые изречения. Но главный поток острот и желчи изливается на Гегеля. «За Шеллингом последовала, — говорит он, — философская креатура министров, прославленный Гегель, плоский, бездарный, тошнотворный, невежественный шарлатан, который марал бумагу с беспримерною наглостью, пошлостью и бессмыслием». О гегелевской же мудрости он отзывается так: «Вся история литературы древних и новых времен не представляет ни одного примера такой незаслуженной славы, как гегелевская философия. Нигде и никогда такая гнусность, явная ложь, нелепость, очевидная бессмыслица, размазываемая таким противным и тошнотворным образом, с такою возмутительною наглостью, с таким железным лбом, не считалась еще величайшей мудростью и великолепнейшим произведением, какое когда-либо видел мир. Правда, этому немало содействовало покровительство свыше. Но, к стыду нашему, надо сознаться, что и в немецкой публике Гегель пользовался по-

---

* Торжествующий зверь. — *Ред.*

стоянным успехом. Нагло созданная слава считалась истинной более четверти века, и bestia trionfante* (так называет Шопенгауэр Гегеля) процветала и владычествовала в немецком ученом мире». — «Философия Гегеля есть тот жернов, который сидел в голове ученика в Фаусте. Кто желает намеренно одурить юношу и сделать его совершенно неспособным мыслить, не может найти лучшего средства для этого, как прилежное изучение оригинальных произведений Гегеля. Эти чудовищные наборы слов, взаимно уничтожающих и противоречащих друг другу, так что ум тщетно силится поймать какую бы то ни было мысль и, наконец, падает утомленный, до того уничтожают в человеке способность мыслить, что он начинает принимать за мысли пустые клочки фраз. Прибавьте к этому внушения всех достойных доверия особ, что этот набор слов есть истинная, высокая мудрость!»

Быть может, эти отзывы покажутся слишком резкими и строгими. Однако в них нет ничего, кроме правды. Говорят, что когда соотечественники Гегеля, добродушные швабы, узнали об его неожиданной громадной славе, то наивно сказали: «Вот чего мы не ожидали от Гегеля!» Действительно, молодость Гегеля не предвещала ничего подобного. Как многие швабы, он ел капусту и пил пиво, изучая богословие и фабрикацию сыра. Оба предмета интересовали его равно. Затем он был доцентом в Иене; но здесь его постигла неудача. Его пошлость, ограниченность и непроходимая скука, господствовавшая на его лекциях, заставляли студентов в течение почти десяти лет избегать аудитории бездарного шваба. Случалось, что он должен был прекращать свои лекции за неимением слушателей; причина этого заключалась отчасти в его полной бездарности, как оратора, но, с другой стороны, он и тогда уже любил высказывать вместо мыслей бессмысленные фразы.

Но тупоумие его обнаружилось в более ярком свете, когда он сделался педагогом в Нюренберге. В педагогике он держался теории автора «трех пощечин» и т. п.; усердно преследовал курильщиков, запрещал детям играть. Он написал программу гимназических лекций, замечательную по глупости. Гегель полагал, что гимназистам следует преподавать, начиная с низшего класса, право, мораль, психологию и, наконец, его собственную энциклопедию. Все это сдабривалось правилами вроде того, что не следует читать популярных сочинений, что не должно желать понимать читаемое.

Оставив педагогику, он сделался журналистом и издавал Бамбергскую газету, хотя и под наполеоновскою цензурою, как говорит Розенкранц ([13]), но зато на наполеоновские деньги. Все это время он мечтал о профессуре, которая дала бы ему возможность если не блистать на кафедре, то иметь обеспеченное существование «со всеми своими домочадцами», как говорит Шопенгауэр. Этого благополучия он достиг, наконец, на сорок седьмом году

отроду. Но славу и государственное значение он приобрел только с 1818 г., когда сделался, наконец, королевско-прусским профессором в Берлине. Эти последние тринадцать лет его жизни составляют единственный замечательный период его деятельности.

Период этот совпадает как-раз со временем реакции. Порядочным людям было до-нельзя душно, и даже масса понимала, что дело неладно. Лицам, от которых происходили все главные тогдашние неудобства, было бы, конечно, очень желательно, чтобы нашлись люди, которые взялись бы уверить массу, что все обстоит как только можно благополучно и не оставляет желать ничего лучшего. Под массою я разумею здесь, конечно, не народ, который был вне соображений политиканов; я разумею здесь большинство образованного общества, которому лучшие люди указывали на неудобства современного положения. И естественно, что в расчет политиканов входила особенно та часть общества, которая не была еще доведена до надлежащей глупости долговременным равнодушием, т. е. молодежь. Поэтому политиканам было бы крайне лестно, если бы нашелся человек, который мог бы показать современное положение в розовом свете именно этой части общества. Такой человек нашелся в лице Гегеля.

С этих пор этот «невежественный философастер», как называет его Шопенгауэр, стал играть в Пруссии и вообще в Германии роль политической Пифии. Но древняя Пифия имела привычку одурять самую себя, тогда как Гегель предоставлял нюхать чад своего жертвенника германской молодежи. У нас на русском языке вышло недавно одно сочинение Гегеля, по которому можно судить, чем был этот философастер и каким образом внушал он германской молодежи розовый взгляд на современную ему жизнь. Книга эта, «Философия духа» ([14]), состоит из двух частей, из которых одна сравнительно очень велика, а другая отличается краткостью. Первая представляет собою тошнотворный набор слов; если кто-нибудь покусится отправиться в это море бессвязной ерунды, то вскоре согласится с Шопенгауэром, что усердное штудирование сорока томов такой нелепицы может быть действительно употребляемо с выгодою. Пагубное последствие такого занятия обнаруживается на большинстве людей, предающихся ему. Из русских читателей со мною согласятся в этом те, которые знакомы с произведениями г. Косицы ([15]), и возблагодарят небеса за то, что наш Белинский по незнанию немецкого языка не мог близко познакомиться с этой «философской гансвурстиадой». Чтобы без вреда совершить такое знакомство, необходимо иметь такую же крепость головы, как и для того, чтобы уцелеть, ударившись на всем скаку о косяк.

От большинства публики такой способности ожидать нельзя. Гегель наводил на нее угар, толкуя о субстанции и природе, как о таких предметах, которые ему подробно известны и о которых

можно так же удобно рассуждать, не определяя их, как о пиве и кислой капусте. Гегелю покровительствовали свыше, свыше прославляли его; высокие особы говорили о нем, как о величайшем мудреце, и посещали его лекции; за ними тянуло и общество, и долгое время не нашлось ни одного человека, который сказал бы обществу: «Что вы его слушаете, ведь это самый грубый шарлатан, ведь он смеется над вами, декламируя перед вами о таких словах, под которыми ничего нельзя подразумевать и на которых, как уже давно доказано, могут говорить только шарлатаны. Спросите же у него, какими средствами обладает он, чтобы знать что-нибудь такое, что прочим людям недоступно? Если он указывает вам на непосредственное усмотрение, то отчего же не возразите вы ему, что это уже слишком большая наглость и что вы живете в XIX, а не в IV веке?»

Однако до Шопенгауэра не нашлось никого, кто бы постарался внушить это обществу. Когда Гегель говорил, что по вдохновению знает, что «дух есть отражение бесконечного в конечном», а «природа» — отражение конечного в бесконечном», то все вполне этим удовлетворялись и принимали за великие истины эти шутовские фразы, матерью которых, как говорит Шопенгауэр, была утка, съеденная за обедом, а отцом — ночной колпак. И вот молодежь стала отправляться в Берлин вкушать мудрость у самого источника ее; по словам Гейне, «караваны верблюдов стали собираться в берлинском караван-серале, у источника гегелевской мудрости, преклоняли перед ним колена, нагружались кладью и отправлялись по домам через песчаные бранденбургские степи». Молодежь считала бессмылицу, которую он нес, за величайшую премудрость, глупела и обессиливалась в тщетных поисках человеческой мысли в этой абракадабре. Гегель сделался законодателем не только в метафизике, но и в других науках. Он получал ордена и деньги, «цвел и жирел», а поклонники его распространяли данное им направление в бесчисленных книгах. Кто благоговел перед Гегелем и повторял его фразы, получал кафедры, ученые степени и премии. Так продолжалось около двадцати лет и по смерти его, и, по словам Шопенгауэра, несколько поколений заразились гегелизмом. После него философские паяцы, которым понравилось положение Гегеля, еще долго дурачили общество, прославляли друг друга и успевали при жизни его играть видную второстепенную роль, а по его смерти удачно рисоваться некоторое время, хотя и не достигая его значения. Шопенгауэр гораздо больше преследовал этих профессоров философии, как он презрительно называл их, чем Бюхнер и Молешотт. О способах, которыми они достигали репутации, он говорит следующее: «Какой-нибудь профессор вдруг объявляет, что учение его коллеги, процветающего в соседнем университете, есть достигнутая, наконец, вершина человеческой мудрости. Немедленно последний объявляется великим философом и без отлагательства зани-

мает принадлежащее ему место в истории философии, а именно в той, которую вслед затем издает третий коллега; последний с полной наивностью сопоставляет бессмертные имена мучеников истины всех веков с драгоценными именами своих коллег, ныне процветающих, измаравших множество бумаги и пользующихся всеобщим коллегиальным уважением. Являются книги под такими заглавиями: «Аристотель и Гербарт», «Спиноза и Гегель», «Платон и Шлейермахер» и т. д.». В другом месте Шопенгауэр говорит: «Философ производит на свет своего урода, выдавая его за тщетно ожидаемую Софию, а усердный коллега, воспринимавший урода от купели, спешит протрезвонить о нем». Этих профессоров философии Шопенгауэр называет гегелевской кликой, торгашами духовной мудрости, гидроцефальными пахидермами, педантными кастратами, апокалиптикой торжествующего зверя (bestia trionfante).

Ненависть его к клике заслуживает полного уважения, особенно если мы припомним вторую, кратчайшую часть произведений Гегеля. Эту часть можно удобно наблюдать в упомянутой книге «Философия духа». Ерунда, растянутая на нескольких стах страниц, оканчивается несколькими десятками страниц, носящих заглавие «Объективный дух» и содержащих в себе воззрение Гегеля на общество и государство. О собственности, преступлении, семействе, обществе и государстве рассуждается здесь таким нагло-докторальным тоном, как-будто все проповедуемое здесь Гегелем так же несомненно, как дважды два четыре. Между тем эти догматы были не более, не менее как принципы времен реакции. По смерти мудреца даже прусское правительство отступалось от некоторых из этих догматов и таким образом обличило во лжи своего оракула, который доказывал, что они абсолютны. Таким образом, политическая роль его состояла в том, чтобы не только оправдывать явления реакции, но и возводить их в перл создания доказывая, что принципы, действующие в них, непреложны, прекрасны и неизменны. Словом, это истинная апофеоза филистерства, по выражению Шопенгауэра. Против подобного-то отвратительного оптимизма восстал Шопенгауэр, и надо сознаться, что, как противоядие, его нелепый и односторонний пессимизм был как нельзя более кстати. Гегелевская абракадабра, его рассуждения о духе и природе клонились к тому, чтобы напустить дурману в головы общества, и особенно молодежи, с целью, когда они достаточно поглупеют, внушить им свои политические воззрения. Шопенгауэр восстал против абракадабры.

Таким образом, Шопенгауэр был в действительности вовсе не тем, чем мог бы быть при других обстоятельствах. Как мыслитель, он, несмотря на свой трансцендентальный идеализм, был в союзе с новейшей антропологией против старой психологии и метафизики. Этим он не только способствовал ее торжеству, но и,

в том виде, как она выражена в его сочинениях. Находя вместе со всеми немецкими и французскими писателями, писавшими о, называя себя идеалистическим философом, доказал своим собственным примером, что в наше время замечательным мыслителем может быть только тот, кто, несмотря на свои симпатии к идеализму, следует по пути, указываемому естествознанием. С другой стороны, Шопенгауэр не без основания заслужил репутацию обскуранта. Но, несмотря на свои ошибки и заблуждения, тем не менее стоял в лагере честных людей против Гегеля. Его факирский пессимизм можно было бы рассматривать поэтому как крайность, в которую он впал в борьбе с гегелевским оптимизмом, если бы мы не знали, что он соответствовал его личному характеру. Но эта непривлекательная сторона его учения и его стариковские бутады не должны мешать видеть в нем истинного мыслителя и полезного общественного деятеля. Взгляд Шопенгауэра на женщину и ее общественное положение так оригинален, что, несмотря на свою нелепость во многих отношениях, заслуживал бы упоминовения: но так как он не составляет существенной части его учения, то я должен пока умолчать о нем, хотя, быть может, впоследствии и возвращусь к нему.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ г. АНТОНОВИЧУ

Еще в прошлой книжке «Современника» г. Посторонний сатирик приставал ко мне с вопросами насчет моей статьи «Последний философ-идеалист» («Русское Слово», декабрь 1864). Но вопросы эти выражались в такой милой форме, в таких приятных выражениях, с такими обещаниями «ткнуть носом», что отвечать на них не было возможности, не впадая в тон, который мне крайне не нравится и впадать в который я не желаю (¹).

Теперь г. Антонович, выполняя обещание г. Постороннего сатирика, указывает мне в особой статье («Современник», февральск кн.) мои промахи и ошибки, сделанные в названной мною статье моей. Все главные обвинения его сводятся к трем в таком порядке:

1) Рассматривая философию Шопенгауэра, я нарушил все правила и приемы здравой философской критики.

2) Я отозвался о Шопенгауэре так, как он этого не заслуживает.

3) Я осмелился делать замечания на статью г. Сеченова «Рефлексы головного мозга», — замечания неосновательные, исполненные ошибок и противоречий.

На первые два обвинения почти не стоит отвечать. В статье о Шопенгауэре я действительно «пренебрег правилами философской критики», но дело в том, что я никогда и не думал не только критиковать, но и просто излагать философию Шопенгауэра

Шопенгауэре, что по выводам, которые можно без всякой натяжки сделать из его философии, она очень приближается к той теории, которую прежде развивали сенсуалисты, а теперь продолжают некоторые германские ученые, я счел для себя удобным представить некоторые черты этой теории, как выводы из идеалистической системы. Как выполнил я это — вопрос другой; пока дело в том, что никакой философской критики я не имел в виду, не находя нужным ни излагать философию Шопенгауэра в ее настоящем виде, ни подвергать ее критике.

Надеюсь, что из этих немногих слов г. Антонович поймет, с какою целью говорил я о Шопенгауэре и почему, говоря о нем, уклонялся от правил философской критики.

Что касается до самого Шопенгауэра, то я удивляюсь, что за охота г. Антоновичу тратить столько красноречия на доказательство его тупости и обскурантизма. Если бы я хотел отвечать на этот счет г. Антоновичу так же подробно, как он нападает на меня, то здесь мне представлялся бы удобный случай пуститься в длинные споры о добродетелях Шопенгауэра; но так как сама по себе личность его не имеет никакого значения, то я считаю такой спор совершенно бесполезным. Не все ли равно нам, напр., сознательно или несознательно объяснял Шопенгауэр память? Еще стоило бы спорить о достоинстве объяснения, а о том, сознательно ли оно было, или «сболтнулось сдуру» — хотя и было умно, — спорить нелепо. Я полагаю поэтому, что каждый из нас безобидно друг для друга может оставаться на этот счет при своем мнении: я — при том мнении, что Шопенгауэр был умный и ученый человек, небесполезный для общества; вы — что это была личность вроде Ивана Яковлевича (2), болтавшая только бессмысленные фразы и совершенно неспособная сказать правду иначе, как «сдуру». — На том и покончим без ущерба для всех, тем более, что перед нами самый важный — третий пункт.

Что до него касается, то я совершенно соглашаюсь с г. Антоновичем, сознаваясь, что слишком увлекся Биша и Кабани и через это впал в ошибки. Соглашаясь с вами в том, что «относительно психических актов наше тело, со всеми своими внутренностями, есть внешний предмет», я тем самым отказываюсь от различия между психическими актами, вызываемыми внешними и внутренними возбуждениями, которое я проводил в своей статье.

Очистив, таким образом, свою совесть, я намерен сказать несколько слов о некоторых частных подробностях статьи г. Антоновича. Впрочем, большинство их таково, что хотя цель их — оскорбить меня, тем не менее отвечать на них не стоит. Напр., г. Антонович объявляет, что я Шопенгауэра самого не читал, а читал «какое-нибудь очень одностороннее сочинение о нем». К чему г. Антонович говорит это — я понять не могу, потому что не бог весть какая доблесть прочитать Шопенгауэра, и не особен-

ный позор не читать его. Я и не стану, следовательно, доказывать г. Антоновичу, что совершил столь доблестный подвиг, а равно и г. Антоновичу не было видимой причины лишать меня такой славы. Зачем также говорит г. Антонович своим читателям, будто я не знаю, что Кант считал пространство, время и др. категории врожденными душе? Единственный неприятный для меня результат из этого утверждения г. Антоновича был тот, что я должен был встать, найти № журнала, а в нем страницу, на которой это сказано в моей статье. Преодолев эти затруднения, я могу успокоиться и указать стр. 165, строку 8 и следующую сверху, где все это изъяснено (3). Зачем же заставлял меня г. Антонович вставать и искать? Он и без того нашел в моей статье довольно действительных промахов, чтобы приписывать мне небывалые. Таких маневров я с его стороны не понимаю. Но о них говорить дальше не стоит.

Гораздо важнее те нападки, которые употребляет против меня г. Антонович от лица г. Сеченова, вступившись за него. Но в статье моей не было сказано ничего, что бы могло оскорбить г. Сеченова или его почитателей. Если мне показалось у г. Сеченова противоречие, то я неправ только в том, что мне ложно показалось, а не в самом факте заподозрения г. Сеченова в противоречии; если я полагал, что отдел статьи его, где он говорит о страстях, мог бы быть полнее и разностороннее, то я опять-таки неправ не потому, что так полагал, а потому, что ложно полагал. Все мои замечания на статью г. Сеченова высказаны в таких выражениях, которыми не мог бы, повидимому, оскорбиться никто в мире. Г. Антонович опроверг мои замечания, — тем бы, кажется, и делу конец. Я полагаю, сам автор «Юлия Цезаря» удовольствовался бы этим. Но г. Антонович, не довольствуясь этим, называет мою смелость — делать замечания на статью г. Сеченова — литературным преступлением! (4). От самого же г. Сеченова он передает мне, что г. профессор хохотал, читая мои замечания, которыми я будто бы хотел поучать его. На это я замечу, что поучать г. Сеченова мне, разумеется, и в голову не приходило, что я вполне сознаю неизмеримое превосходство, которое в научных вопросах имеет надо мною г. Сеченов, — сознаю до того, что нахожу с его стороны совершенно излишним подавлять меня им. Если с моей стороны было преступлением заподозрить в статье г. Сеченова противоречие, то с его стороны по крайней мере неделикатно так злоупотреблять своим превосходством. Я рискну заметить, что ведь и преступник имеет право на человеческое обращение.

Что касается до извинений, которых требует от меня г. Сеченов через г. Антоновича (5), то я, право, в недоумении, какого рода они могут быть, кроме отказа от своей ошибки? Но г. Сеченов, очевидно, требует еще чего-то, потому что у г. Антоновича отказ требуется сам по себе, а извинение — само по себе.

Пусть г. Сеченов или г. Антонович объяснят мне, чего им еще от меня нужно, какой эпитимии.

Так как сознаваться в своих ошибках — дело нелегкое, как справедливо дразнит меня г. Антонович, то легко, может быть, что это неприятное чувство заставляет меня слишком мрачно смотреть на всю статью г. Антоновича. Легко, может быть, что в ней ни единым словом не преступлена должная граница наказания, которого заслуживает мое преступление. Во всяком случае я сам, как судья пристрастный, не могу судить об этом; апеллировать мне также не к кому. Не апеллировать же мне к журнальному стаду: очень многие, составляющие его, оттого и сами сидят в нем, что во-время не сознались в своих ошибках; в моем сознании они будут видеть только сюжет, смеха достойный; а то заступятся, чего доброго, — так еще хуже наплачешься. Поэтому я решаюсь апеллировать к самому г. Антоновичу и просить его сказать мне откровенно: не преступил ли он в своей статье пределов полемики, которая могла быть ведена против меня, и неужели ни в статье моей «Последний философ-идеалист», ни в прочей моей литературной деятельности нет ничего, что бы могло оградить меня от оскорблений с его стороны, подобных тем, которыми он осыпает меня? Наконец, не видит ли он дисгармонии между своим сладеньким вступлением и общим тоном всей статьи? (6).

ДРАМЫ ЭСХИЛА

Т. I. Спб. 1864.

Древне-греческая драма отличалась от нынешней, как видно по изданным в русском переводе драмам Эсхила, тем, что в ней все действие сначала предсказывалось, а потом уже совершалось, тогда как в нынешних оно совершается без предсказаний. Это и существенное и выгодное отличие. Читатель, не прикованный к чтению журнальной обязанностью, узнав из предсказаний, что все имеющее совершиться — крайне нелепо и бессмыслено, может во-время закрыть книгу и избавиться от скуки. Нынешние же авторы стараются, напротив, завязать похитрее интригу так, чтобы читатель никак не мог предусмотреть того, что его ожидает. Такое коварство автора ведет обыкновенно ко вреду читателя, и с этой точки зрения драмы Эсхила заслуживают предпочтения. Другое отличие их, весьма впрочем индиферентное, состоит в том, что в них занавес падает перед началом действия, а поднимается (1) в конце. Это объясняется, конечно, устройством древнего занавеса, совершенно отличным от нашего. Но нет никакого сомнения, что для умственного развития нашего современного общества было бы несравненно выгоднее, если бы занавес, оставаясь при теперешнем его устройстве, следовал в опускании и подымании примеру древне-греческого. В числе

ложных убеждений, коренящихся в обществе, одно из самых распространенных то, что будто бы театр способствует развитию общества. Причина того, что ложь эта так долго держится, есть непонимание слова р а з в и т и е. Развитие есть приобретение знания; между тем здесь ему дается какое-то другое, довольно темное значение. Если бы под развитием понимали именно приобретение знания, то никто бы не стал говорить, что театр способствует развитию общества. Нет ни одной театральной пьесы, которая бы давала обществу какое-нибудь положительное знание, и сами защитники их сознаются, что задача их лишь верно воспроизводить жизнь. Следовательно, в самом благоприятном случае зритель может увидеть на сцене только то, что видит в жизни ежедневно и даже ежеминутно; но в большинстве случаев даже и этого не бывает, а видит он просто чепуху, в которой нег ни складу, ни ладу. Но об этом уж и говорить нечего; чепуха прямо вредит обществу по весьма многим причинам. Общество привыкает к праздному и бессмысленному препровождению времени; кривляющиеся скоморохи, трагические и комические, уничтожают в обществе чувство уважения к человеческому достоинству, во-первых, собственным примером, а во-вторых, поселяя в нем убеждение, что зрелище униженного человеческого достоинства и личной самостоятельности может быть не только гнусно, но весьма утешительно, забавно или назидательно. Далее, театр преобладанием в нем дурных пьес оказывает прямое вредное влияние на характер и ум людей, часто посещающих его; кто имеет в числе знакомых так называемых театралов, тот знает, как нестерпимо глупы и несносны бывают эти люди в действительной жизни, до чего доходит их неспособность видеть вещи в естественном, а не нарумяненном виде, при дневном, а не при ламповом свете, в действительности, а не на подмостках, как любят они ставить себя и других на ходули, как теряют способность сочувствовать страданию без адского хохота, без распущенных волос, без ломаний рук, как умеют мучить окружающих «единственно трагизма ради», — как, словом, ничтожны и пошлы становятся они под влиянием уродливой искусственности, которая заменяет им настоящую жизнь.

Но, разумеется, мне могут возразить, что все это принадлежит к числу злоупотреблений и что истинные поклонники театрального искусства готовы так же и даже еще сильнее протестовать против дурных пьес, где действительность извращается и жизнь выводится в румянах, с растрепанными волосами, на ходулях. Но я полагаю, что даже при самых желанных условиях театр должен быть вреден если не прямо, то по бесполезности. Лучшие театральные пьесы, пьесы Мольера, Шекспира, Шиллера и др., все-таки не приносят никакой пользы. Если Мольер совершенно верно воспроизводил жизнь и только, то кто же поверит, что воспроизведение это научит чему-нибудь того, кого

не научила сама воспроизводимая действительность? И чему бы, напр., научил Мольер? Какое положительное знание дал он людям, которые слушают его двести лет? Когда же было новостью, что скупость и лицемерие — пороки? Кто не знал бы без Мольера, что пороки эти существуют? Или кого исправил «Скупой» или «Тартюф»? Всякий, кто бывал в театре, очень хорошо, напротив того, знает, что шел туда не за приобретением знания, не для изучения действительной жизни, не для исправления своей нравственности, а просто для удовольствия, как играть в карты или танцовать. Точно так же всякий знает, что, выходя из театра, не выносил оттуда никакого знания, не возвращался домой с исправленной нравственностью, словом, не приобретал ничего полезного. Театр вовсе не проповедь, и ни один скряга, возвратясь домой, не роздал еще сокровища свои нищей братии и не сделался человеколюбив. Все эти защитники мнения, что театр приносит обществу пользу, должны зарубить себе на носу и не повторять такой бессмыслицы. Польза и искусство — понятия, взаимно исключающие, а теперь общество находится еще в таком положении, что ему вредно все, что бесполезно.

Что же касается до драм Эсхила, то они должны иметь большую важность для людей, специально посвятивших себя изучению жизни древне-греческого общества, потому что, конечно, лучше всяких древних историков показывают понятия, отношения и нравы, существовавшие в древней Греции и особенно в Афинах. Но должно полагать, что историк, любопытствующий изучить жизнь древних греков, будет знать по-гречески и прочтет Эсхила в оригинале. Что же касается до публики нашей, то предмет этот (т. е. история Греции) не может интересовать ее до такой степени, чтобы она [не] могла удовольствоваться составлением понятия о нем по новейшим историям Греции. К источникам обращаться для нее излишне. Сами же по себе драмы Эсхила не могут иметь в настоящее время никакого значения. Они до того проникнуты совершенно чуждой современной европейской цивилизации идеей рока, что не могут ни нравиться европейскому обществу, ни пониматься им. Для древних греков, в воззрениях которых идея судьбы господствовала, драмы эти имели смысл и красоту. У нас же в предопределение верят только старые бабы; следовательно, для нас греческие драмы, помимо своего исторического значения, лишены смысла и кажутся наивным вздором. Однако все еще встречаются люди, которые о таких вещах, как драмы Эсхила, не могут говорить без благоговения и не приходя в восторг. Такие лица или из нелепого приличия притворяются, или, несмотря на свой возраст и пол, принадлежат к старым бабам.

Из всех, кто прочел или прочтет драмы Эсхила, только один г. переводчик ([2]) ухитрился найти в них современное значение. Зато нельзя не подивиться остроумию и глубокомыслию, обнаруженному им при этой оказии. К драме Эсхила «Эвмениды», где

на сцене являются Афина, Аполлон, Фурии, Орест и Клитемнестра, переводчик делает следующее примечание: «Уголовный процесс Ореста стоит особой статьи, при чем (т. е. при чем же?), вспомнив о древнейшем учреждении в Афинах, об уголовном судилище афинском, именно об ареопаге, который по мифу решал дело Ореста, невольно представляешь себе современников, русских людей XIX века, у которых только-что возникает (?) подобное ареопагу (?!) учреждение. Мы говорим здесь о так называемых будущих (то-то и есть) присяжных заседателях. Будут ли они несонливыми судьями, а, главное, неподкупными и справедливыми, это — пока вопрос; но несколько анекдотов, завещанных нам древностью об ареопаге (если они действительно верно переданы), доказывают несонливость, а, главное, неподкупность и правдивость ареопагитов». («Драмы Эсхила», стр. 238). Как вам это покажется, читатель? Афинский ареопаг напоминает русских людей XIX века! Вот неожиданная и смелая мысль! Увлеченный ею, я и сам принимаюсь смотреть на драмы Эсхила с точки зрения современности и открываю в них множество других предметов, имеющих прямое отношение к русским людям XIX века. Так, «урна осуждения» напоминает мне «Московские Ведомости», а «урна оправдания» — «Голос» (3), «собака — зной», откуда caniculae, возбуждает во мне воспоминание о лете 1862 года (4); «столб придорожный переносит меня к русско-американскому телеграфу; «Орфей, восхищающий бревна и камни» и «Протей, считающий тюленей», обращают мои помыслы к гг. Каткову и Аксакову (5); «престранные женщины» являются мне в образе г-жи Евгении Тур и г-жи Кохановской; стихи:

> Священный долг гостеприимства
> Позором срамным заклеймил

приводят мне на память г. Тургенева (6);

> Амистрес, да Артафренес...
> И Мегабазес, да и Астаспес

также обращают мои помыслы к русским XIX века, и слова хора кажутся мне заимствованными из «Дня» (7).

Наконец, я замечаю, что Эсхил полон современности, и если его читать прилежно, то может быть крайне занимателен и назидателен. Меня смущает только, что нельзя ли найти таких же намеков на современных людей во всем, что писалось от сотворения мира до 1865 г.

Драмы Эсхила, повидимому, очень недурно переведены; говорю — повидимому, потому что не знаю греческого языка, а, следовательно, и подлинника. Хотя стихи какие-то очень странные, но, быть может, так и следует. Если где уж очень нелепо, то нелепости такого рода, что их скорее должно отнести к оригиналу, а не к переводу.

Издана книжка очень прилично, и,—что диво у нас,—почти без опечаток. Дело объясняется тем, что печаталась она в типографии г. Головина. Эта типография замечательна тем, что отлично издает совершенно ненужные книги. Так, кроме драм Эсхила, можно указать на «Путешествие в Италию» г. Ковалевского, «Сказки для милых детей» Марии Июльской, какие-то финские гимны, лексиконы синонимов братьев Крестлингков и т. п.

РАССУЖДЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЖ.-СТЮАРТА МИЛЛЯ

В трех частях. Часть 2-я. Сстатьи политические и политико-экономические. Выпуск 1-й. Издание В. Ковалевского. Спб. 1865.

В октябрьской книжке прошлого года я представил замечания на историческую часть «Рассуждений и исследований» Милля (¹). В то время я сказал, что статьи, заключающиеся в этой части, не заслуживают названия исследований и, как журнальные рецензии, не имеют для нас особенного интереса. Этот отзыв, вполне справедливый, по моему мнению, для первой части книги Милля, никак не может быть распространен на те статьи ее, которые входят в состав вышедшего теперь выпуска, заключающего в себе политические и экономические статьи (²). Четыре из них, а именно: «Цивилизация», «Арман Каррель», «Право труда» и «Французская революция 1848 г.», — вполне соответствуют заглавию книги и представляют значительный интерес, совершенно независимый от сочинений, которыми они были вызваны и которые никогда не имели серьезного значения. Пятая статья этого выпуска — «Несколько замечаний о французской революции (1789 г.)» — могла бы тоже иметь живой интерес, если бы не была так кратка.

Вопрос, возбуждаемый Миллем в статье «Цивилизация», сам по себе очень важен. Это — тот старый вопрос, который дижонская академия предлагала Руссо: составляет ли цивилизация благо или зло? (³). Известно, как отвечал на этот вопрос автор «Социального договора» и как далеко расходится общепринятое мнение с его ответом. Милль, признавая цивилизацию источником множества благ, полагает, однако, что она в то же время не только не производит многие из них, но даже некоторые уничтожает.

Собственно говоря, весьма странно задавать себе подобные вопросы; еще страннее то обстоятельство, что гениальные люди с успехом защищали мнение о вреде цивилизации и что в наше время такой ученый, как Милль, полагает возможным до известной степени оправдать такое мнение. Но если мы вспомним, как различно может быть понимаема сущность цивилизации и как

разнообразны критериумы, по которым решался этот вопрос, то факт этот не покажется столь странным.

Мнение, что цивилизация есть абсолютное благо для людей,— мнение большинства, основанное на одних внешних признаках, по которым составляется понятие о прогрессе человеческих обществ. Поэтому неудивительно, что мнение это и защита его лишены всякого внутреннего смысла. Милль говорит, что под словом этим подразумеваются два различных понятия. В одном случае цивилизованною называется страна, если она сравнительно «высоко развита, более богата хорошими личностями, далее подвинулась на пути прогресса, более счастлива, более благородна, более умна». — «В другом смысле,—продолжает Милль,—словом «цивилизация» обозначаются только те улучшения, которые отличают богатую и могущественную нацию от дикарей и варваров». Полагаю, что этими словами Милль не дает удовлетворительного понятия о том, что понимается различными людьми под словом «цивилизация». Первое понятие есть просто набор слов, который можно толковать как угодно; тут говорится не о сущности дела, а о сравнительном его значении. Но всякий понимает, что страна может быть *сравнительно* богата, развита, счастлива, благородна и пр., не будучи вовсе цивилизована. Россия при Петре I обладала всеми этими качествами *сравнительно* с Хивой и Кабулом, однако никто не скажет, что она была страною цивилизованною; Мадагаскар и теперь может считаться обладателем этих благ по сравнению с областями дагомейского короля, оставаясь, тем не менее, страною совершенно дикою. Что же касается до второго понятия о цивилизации, то я не понимаю, как можно противополагать его первому: это то же самое, но выраженное в более краткой и удобной форме. Но все толковавшие и спорившие о цивилизации не принимали слово это в таком смысле: цивилизация для всех есть нечто определенное, положительное, а не сравнительное. Можно говорить, что одна страна более цивилизована, чем другая, но предполагая, что во всяком случае обе они вышли из варварства и находятся в положении, противоположном варварству. Конечно, нельзя провести резкой границы, где начинается цивилизация и кончается варварство; нельзя сказать, что такая-то страна такого-то числа сделалась цивилизованною, будучи накануне варварскою; переход от варварства к цивилизации совершается слишком медленно и постепенно, чтобы можно было определить такую границу. Но тем не менее, говоря, что данная страна цивилизована, мы понимаем это в положительном смысле, подразумевая под этим, что она уже вышла из варварства, а вовсе не то, что она цивилизованнее, т. е. образованнее, умнее и благороднее другой страны.

Воззрение большинства на сущность цивилизации лучше всего выражено дижонской академией в ее вопросе, на который взялся

отвечать Руссо: «способствовало ли восстановление наук и искусств улучшению нравственности?» Таким образом под цивилизацией большинство понимает присутствие или отсутствие в стране наук и искусств, выработанных самим обществом. Поэтому никто не будет говорить о цивилизации страны, где нет ни науки, ни искусства, кроме привозных для потехи двух-трех человек; никто не станет рассуждать о цивилизации Мадагаскара, хотя бы варварство этой страны было несравненно грубее варварства, представляемого дагомейскими владениями.

Понимая цивилизацию таким образом, большинство рассуждает, что так как сущность ее, т. е. наука и искусство, возвышают ум и душу, смягчают нравы, образовывают рассудок, совершенствуют чувство и т. д., то, следовательно, цивилизация есть благо. Но здесь все неверно от понятия цивилизация до критериума; поэтому не только Руссо, а еще, бог знает сколько лет до Руссо, Тацит прославлял варварство и унижал перед ним цивилизацию. Дело в том, что большинство видит только себя и свои интересы, когда рассуждает таким образом. Но на самом деле это большинство есть бесконечно малое меньшинство, на каждого размышляющего таким образом о благах цивилизации приходится по тысяче людей, вовсе не рассуждающих, а трудом своим дающих ему возможность смягчать свои нравы, развивать свой ум, совершенствовать чувство,—словом, пользоваться наукой и искусством, составляющими, по его мнению, сущность цивилизации, и восхищаться ее благодеяниями. От этого умные люди всегда могли победоносно оспаривать мнение большинства о благах цивилизации и приводить его своими доводами в конфуз. Дело, наконец, дошло до того, что многие, понимающие цивилизацию в этом смысле, принялись с жаром декламировать против нее и трагически проклинать ее за пауперизм и другие современные бедствия. Но все это не более, как забавное недоразумение, происходящее от ложного понимания действительного смысла слов. Те, кто рассуждает подобным образом, принимают за сущность явления то, что составляет лишь один из признаков его, и притом признак весьма обманчивый. Кроме того, они руководствуются совершенно ложным критериумом.

Цивилизация существует или не существует для целой страны; следовательно, на вопрос, благо она или зло, можно отвечать так или иначе, смотря по тому, какие результаты получаются от нее в общей сумме, для всего народонаселения, а не для некоторой только части его. Науки и искусства в этом отношении вовсе не составляют сущности цивилизации. Они могут быть, подобно другим относительным благодеяниям, привилегией одного сословия и орудием эксплоатации большинства. Если в стране процветают искусства, если в ней много первоклассных живописцев, архитекторов, музыкантов, лириков, то из этого не следует, что вся страна благоденствует. Из этого следует только то, что

есть кучки сытых людей, которым приятно возвысить свою душу художественными произведениями в то время, когда большинство народонаселения отдает все свое время и весь свой труд суровой и мозольной деятельности текущего дня. Итак, вопрос решается прямо: цивилизация только тогда составляет благо страны, когда плодами ее пользуется вся масса населения.

Таким образом, в настоящем своем значении цивилизация есть известная степень материального благосостояния страны, т. е. возможно большего числа ее обитателей. Понятно, что после такого определения нельзя уже задавать вопрос: полезна ли цивилизация. Это все равно что спрашивать: полезно ли благо? С материальным благосостоянием тесно и непосредственно связаны всякие другие блага: и смягчение нравов, и возвышение чувств, и развитие ума и т. д.

Нетрудно показать, что сущность цивилизации заключается именно в этом, а не в процветании наук и искусств. Времена варварства дают нам множество примеров процветания этих внешних признаков цивилизации, не представляя ни одного случая, где бы можно было сказать, что варварский народ пользуется материальным благосостоянием. Феодальная эпоха оставила после себя произведения искусств, особенно зодчества, которым удивляются доселе, и имела множество знаменитых ученых и писателей. Достаточно вспомнить Абеляра, Данта, Петрарку, Р. Бэкона, Пик де-Мирандолу, Сильвестра II, Аверроэса, Маймонида, Альберта Великого и множество других. Однако во всяком учебнике эпоха эта называется варварскою. Наоборот, если Греция Перикла заслуживает название цивилизованной страны, если до сих пор мы говорим о греческой цивилизации, то не из уважения к учености Аристотеля и Платона или произведениям греческих художников, а в уважение того развития материального благосостояния, которого она достигла. Поэтому процветание искусств есть ложный признак цивилизации и скорее может быть отрицательным, а не положительным ее достоинством. А из наук только те должны считаться критериумом цивилизованной нации, которые способствуют увеличению материального благосостояния страны.

Следовательно, если в стране очень много людей так называемого классического образования, много риторов, поэтов, ориенталистов, эллинистов, латинистов, нумизматов, геральдиков, тактиков и проч., если в ней много певцов, актеров, музыкантов, акробатов, живописцев и т. п., то это доказывает, что положение большинства крайне незавидно, потому что все эти паразиты имеют возможность существовать на счет деятельного и полезного населения. И чем больше этого люда, тем хуже, потому что тем больший гнет должен тяготеть над большинством и тем хуже его материальное положение. Неудивительно, стало быть, что когда сущность цивилизации полагается в развитии искусств и наук,

не приносящих обществу пользы, то умные люди говорят, что цивилизация— зло, Они были правы, но доводы их поражали лишь то, что ложно называлось цивилизацией, а не сущность ее.

В наше время и в виду тех явлений, которые совершаются на наших глазах, относительно истинного значения цивилизации могут ошибаться только самые ограниченные люди. Все европейские общества явно стремятся к тому, чтобы как можно более увеличить число людей в стране, пользующихся материальным благосостоянием. Стремление это, причины и корни которого кроются очень глубоко, имеет сознательный и определенный характер лишь у немногих сравнительно передовых людей; но события с каждым годом влекут общества к этой отдаленной цели, и почти всякое десятилетие увеличивает число людей, приглашенных к пользованию плодами цивилизации. Такой ход дел подготовлен всеми предыдущими веками европейской истории, и задержать его нет возможности. В нем-то и состоит прогрессивное движение европейского общества на пути цивилизации. Как ни много еще остается сделать впереди для того, чтобы достигнуть полного результата, т. е. участия в пользовании материальными благами всей массы народа, но, оглянувшись назад, нельзя не заметить, что в последние семьдесят лет пройден довольно значительный путь, и зрелище это должно поддерживать бодрость в тех, кто боится предстоящих трудностей.

В этом отношении Милль говорит хорошо:

«Нам нужно только попросить читателя составить себе понятие обо всем, что заключается в словах «возвышение среднего класса», и затем подумать о громадном возрастании численности и собственности этого класса в Великобритании, Франции, Германии и других странах в каждое последующее поколение, и о новой обстановке рабочего класса, получающего такую заработную плату, которая обыкновенно получается теперь почти всеми фабричными, т. е. самою многочисленною частью ремесленных классов Англии, — и спросить себя, нельзя ли от таких неслыханных причин ожидать и неслыханных последствий?» (стр. 5).

Действительно, еще недалеко то время, когда меньшинство, пользующееся благами, составляло столь незаметную часть всей массы народонаселения, что европейские государства едва ли заслуживали название цивилизованных, несмотря на процветание в них искусств и наук. В настоящее время число лиц, составляющих это меньшинство, стало в несколько сот раз более прежнего, и средний класс, составляющий нынешнее меньшинство, постоянно увеличивается. Но, наконец, что всего важнее, существует уже не только стремление, но видны и средства, которыми к участию в пользовании материальными благами может быть призвана вся масса народонаселения. Но к этому вопросу мы возвратимся впоследствии, а теперь рассмотрим другие взгляды Милля на европейскую цивилизацию.

События, вызвавшие эту цивилизацию, естественным образом вызывали и порождали множество других явлений, сопровождавших ее, подобно тому, как дождь, помогающий всходу хлебов, в то же время вызывает на поверхность земли и грибы, крапиву, лебеду и всякую другую дрянь, совершенно бесполезную или даже вредную. Впрочем, я не хочу сказать этим, что все исторические явления, сопровождавшие успехи материального благосостояния европейских обществ, были без исключения бесполезны или вредны. Такое мнение было бы нелепо. Но, с другой стороны, весьма понятно также, что было бы самою жалкою ошибкою относить все явления, происходившие одновременно с развитием цивилизации, за неизбежное следствие ее, или необходимое условие, или, наконец, за постоянный признак ее.

Милль совершенно прав, говоря, что, по мере возвышения цивилизации, благосостояние и могущество переходят от меньшинства к большинству, от индивидуумов к массе. Иначе и быть не может, и явление это прямо вытекает из сущности цивилизации, потому что, пока масса находится в дурных материальных условиях, — она находится в неподвижном, окаменелом состоянии. Поэтому нельзя не согласиться с Миллем, когда он говорит, что «вследствие естественного развития цивилизации могущество переходит от индивидуумов к массам, и вес и значение личности, в сравнении с массою, все более и более ослабевает» (стр. 10).

Статья Милля «Право труда» и некоторые замечания, высказанные им в статье о французской революции 1848 г., служит дополнением и дальнейшим развитием его взгляда на цивилизацию: «Каждому бескорыстному и здравомыслящему человеку должно казаться, что земля прежде всего принадлежит ее обитателям,—говорит Милль,—что каждое живое лицо должно иметь все необходимое для своего существования, прежде чем кто-либо будет иметь излишек; что каждый, кто работает над чем-нибудь полезным, должен быть достаточно сыт и одет, прежде чем другой, способный к работе, будет получать хлеб для своей праздности. Все это нравственные аксиомы» (стр. 166).

Таким образом, в сознании образованных людей явилось убеждение в необходимости доставить всей массе народонаселения участие во всем, что производит страна. Убеждение это Милль смело называет нравственною аксиомою. Он полагает, что оно возникло вследствие того толчка, который был дан мальтусовым законом об отношении возрастания народонаселения к усилению производительности страны. Однако на этот раз Милль заходит слишком далеко в благоговении к Мальтусу. Благоговение это тем непонятнее, что сам Милль тут же говорит, что закон Мальтуса был понят ложно и повел к ложным выводам, а именно, он укрепил убеждение в том, что неравномерное пользование продуктами труда, бедность и унижение большинства и эксплоатация его меньшинством составляют непреложный закон природы, пытаться

изменять который было бы безрассудно. Милль говорит, что мнение это господствовало до Мальтуса, и закон Мальтуса, будучи ложно понят, лишь усилил его. Но на самом деле следует говорить не о ложном понимании закона, а о внутренней ошибочности его. Впрочем, здесь не место вдаваться в рассмотрение таких специальных вопросов. Как бы то ни было, Милль во всяком случае не прав, приписывая соображениям Мальтуса возникновение вопроса о равном праве всех на пользование материальными благами. Вопрос этот был возбужден не какою-нибудь книгою и не соображениями ученых, а историческим ходом событий. Когда в прошлом веке все униженные и угнетенные заявили свои права на известную долю в благосостоянии, которым владела только небольшая часть европейских обществ, то вопрос этот возник уже совершенно ясно в сознании людей помимо всяких книжек. Вышло так, что из всей массы людей, боровшихся за участие в пользовании продуктами труда, только немногие сравнительно достигли этой предположенной цели борьбы. Естественно, что остальные не захотели отказаться от своих справедливых притязаний и продолжали искать себе удовлетворения. Вопрос этот, раз будучи поставлен, может считаться разрешенным только тогда, когда все достигнут той цели, к которой стремятся. Разумеется, не для всех это одинаково выгодно, и потому многие стараются тормозить ход исторических событий, но его можно задержать, а остановить не может никакая враждебная сила. Между тем это торможение совершенно бесполезно усиливает вражду между участвующими на празднике жизни и только еще ожидающими его.

Сознавая неудобства такого положения, где обе стороны постоянно должны держать наготове друг против друга камень за пазухой, и убеждаясь, что филантропия совершенно недостаточна для примирения враждующих сторон, Д.-Ст. Милль признает, что каждый имеет право на продукты своего труда, — словом, признает п р а в о т р у д а.

Признание этого права есть великий шаг цивилизации вперед. Остается только, чтобы принцип, провозглашенный в теории, осуществился в жизни, чтобы европейские общества достигли такой степени цивилизации, какой еще никогда не представляла ни одна страна в мире. К этому и должны быть направлены усилия лучших людей нашего времени. Надо помнить при этом, что в общественных делах признание какого-нибудь принципа в теории есть не менее половины дела, потому что осуществления его в жизни никогда не приходится долго ждать.

Милль представляет нам любопытный пример. Он не сочувствует экономической реформе в том виде, как понимают ее лучшие представители нашего времени, а между тем поддерживает ее принципы. Так, говоря об английской аристократии, он выражается:

«Никто из здравомыслящих людей, — говорит он, — не будет стоять за отвлеченную справедливость того порядка, при котором только малое меньшинство человечества рождено для наслаждения всеми внешними благами, которые может дать жизнь, и притом не за какую-либо услугу, не за свой труд, тогда как огромное большинство с самого дня рождения обречено на нескончаемую непрерывную работу, которая вознаграждается скудным и, вообще говоря, неверным существованием» (стр. 168).

Высказав столь прекрасный взгляд на дело, Милль не может, однако, скрыть, что, понимая и даже высказывая его, он тем не менее вовсе не сочувствует ему. Только-что назвав данное положение общества несправедливым, он на следующей странице утверждает, что было бы также несправедливо изменять его. Довольно странно — называть несправедливостью уничтожение несправедливости.

Другое замечание его имеет не более смысла, но ему оно кажется более разумным, и он очень часто возвращается к нему:

«Нельзя, — говорит он, — утверждать, чтоб это было само в себе справедливо (т. е. неравномерность вознаграждения за труд), но возможно доказывать, что это полезно на практике» (стр. 168).

Замечание очень важное; польза или вред — такой важный довод за или против чего бы то ни было, что если бы Миллю было возможно доказать пользу неравномерности вознаграждения за труд, то он имел бы право торжествовать. Но прежде всего надо спросить: кому полезно или вредно то обстоятельство, о котором идет речь? Милль отвечает весьма неопределенно, он хочет сказать, что это полезно обществу. Но мы знаем, что при таких условиях, полезность которых он берется защищать, современное общество разделено на два враждебные лагеря, и интересы этих лагерей диаметрально противоположны. Поэтому нельзя сказать, что условие это полезно целому обществу; оно может быть полезно той или другой части его, а не целому обществу. Которому же лагерю полезно это условие? Очевидно, меньшинству, потому что сам Милль говорит, что для большинства оно — несправедливое зло. Но какой же это довод? Кто же сомневается, что несправедливость, совершающаяся в пользу одной стороны, полезна ей? В этом не может быть никакого сомнения. Что же касается до большинства, то оно находится в таком положении, что ему терять нечего, и потому перемена может быть только полезна ему. Однако Милль несогласен с этим. Он полагает, что большинству предстоит только выбор между кульком и рогожкой, огнем и полымем. С этой целью он цитирует «Историю жирондистов» Ламартина, эту жалкую книгу, представляющую двойное доказательство тупости политических взглядов автора и отсутствия всяких убеждений в нем, как в писателе (4).

«Трудность до сих пор всегда заключалась в том, чтобы согласовать равенство благ с различием достоинств, способностей и труда, которые отличают одного человека от другого, — говорит авторитет Милля. — Между деятельным и бездействующим членом равенство благ есть несправедливость, потому что один производит, а другой только потребляет. Чтобы всеобщее пользование благами было справедливо, мы должны предположить во всем человечестве одинаковую совестливость, одинаковое прилежание и одинаковое достоинство. А такое предположение несбыточно. Какой же общественный порядок может быть прочен, если он опирается на такое фальшивое основание? Что-нибудь одно из двух: или общество, постоянно господствуя и будучи непогрешимым, должно иметь право принуждать каждого члена к одинаковой работе и к одинаковому принесению пользы. — Что тогда станет со свободою? Поступая таким образом, общество сделалось бы всеобщим рабством. — Или же общество должно каждый день своими собственными руками раздавать блага каждому, согласно его труду, и давать именно такую часть, которая соответствует работе и услугам каждого во всеобщей ассоциации. Но в этом случае кто же будет судьей?»

«Несовершенная человеческая мудрость, — продолжает ритор, — нашла, что гораздо легче, умнее и справедливее сказать каждому: будь своим собственным судьей, вознаграждай сам себя богатством или нищетою» (стр. 174).

Конечно, такому господину, как Ламартин, иначе говорить и не приходится. Весьма естественно, что ему примерещилось, будто нынешние общественные условия развились не из тех средневековых событий, которые породили все прочие стороны жизни европейских народов, а были в одно прекрасное утро учреждены «несовершенною человеческою мудростью», ставшею в тупик перед дилеммою, которая и поныне мучит розовых поэтов, рассуждающих о делах и вопросах, не подлежащих их разуму. Немудрено также, что monsieur de Ламартину, как он себя называет в своей истории 1848 года ([5]), пришла в голову подобная дилемма; немудрено, что он находит затруднительным допустить равномерное пользование продуктами труда на том основании, что, пожалуй, кто-нибудь пообедает в тот день, когда не трудился, и считает подобный случай вполне основательным аргументом в защиту своей системы. Но может показаться странным, что Милль ссылается на такой жалкий авторитет и считает его рассуждения здравыми. Однако в статье «Право труда» Милль сам повторяет то же и говорит вещи еще несравненно худшие. Он соглашается, что высшие классы должны позаботиться об улучшении участи низших, и говорит по этому случаю много либеральных изречений. Но оказывается, что либерализм этот был не без задних мыслей, не без коварства. Он весьма лукаво подкарауливает людей, симпатизирующих рабочему пролетариату:

«Существуют и теперь,—говорит он,—такие состояния общества, в которых каждый владелец земли обязан не только наблюдать за тем, чтобы все живущие и работающие на ней были одеты, накормлены и помещены приличным образом, но где он, в полном смысле этого слова, ответствен за их хорошее поведение—до того, что обязан вознаграждать всех, кого они оскорбили, которым нанесли какой-нибудь убыток. Вот, по всей вероятности, то идеальное состояние общества, которого так ревностно желают наши новые филантропы. Кто же эти счастливые рабочие, наслаждающиеся подобным положением? — Русские крестьяне». (стр. 107).

Но торжество совершенно напрасно, потому что ловушка слишком незамысловата, чтобы не разгадать ее. Здесь по меньшей мере три софизма: первый тот, что положение наших крестьян до освобождения изображено в слишком розовом свете; второй софизм, что «новые филантропы» желают рабства; третья и главная ложь, на которой основано все это подкарауливание, что высшие классы не могут иначе улучшить положение низших, как лишив их свободы. Налгать так много в столь немногих словах—своего рода подвиг, хотя совершенно бесполезный. Обратим внимание на главную ложь, что большинство может достигнуть материального благосостояния лишь потерею своей свободы. Ложь лежит в основе самого положения, которое уже неверно потому, что большинству такая потеря не может грозить, так как ему в этом отношении нечего терять. Для современной науки очень ясно, что пауперизм есть своего рода рабство, что пролетарий ничем существенным не отличается от крепостного. Д.-С. Миллю непростительно игнорировать такую истину. Поэтому всякое прение возможно только в том случае, если вопрос будет изменен так: возможно ли достичь в одно и то же время независимости и более равномерного распределения продуктов труда? Ответ на этот вопрос возможен только утвердительный. Мало того: так как вся масса может достичь благосостояния лишь при рациональном распределении продуктов труда, а экономическая независимость возможна только при материальном обеспечении существования, то обе цели эти достигаются одним путем, так что, добившись общего участия в пользовании продуктами труда, общество вместе с тем разделывается и с рабством.

Все эти подкарауливания производятся по злобе на «новых филантропов» за то, что они толкуют высшим классам об обязанности их возвысить материальное положение низших классов. Милль не брезгует даже такими мыслишками, как повторение допотопных упреков передовым людям Франции прошлого столетия за то, что они, говоря о правах человека, не разглагольствовали о его обязанностях. На это еще бог весть когда было отвечено, что об обязанностях людям толковали много и долго и что поэтому не мешало бы вспомнить и о

правах его. Но эта истертая мораль заимствуется Миллем у реставрационных писателей затем, чтобы попрекнуть «новых филантропов» за их советы богатым...

«Было бы совершенно нелепо предполагать,—говорит он,—будто бедные не подслушают этого разговора (о том, что богатые должны позаботиться о них) только потому, что он назначается не для них» (стр. 110).

Затем следует изображение плачевных последствий такого подслушивания. Но я полагаю, что бедным некогда подслушивать интимные разговоры, которые ведут между собою богатые классы. Я полагаю, что если бы уши бедных были постоянно навострены, то богатые и их сообщники не решились бы высказывать таких вещей, которые высказываются теперь во всеуслышание политико-экономистами, и в том числе Миллем. К числу таких вещей принадлежат, например, его рассуждения о несовместности самостоятельного общественного положения с равноправностью на пользование продуктами труда.

После либеральных рассуждений о праве труда Милль на стр. 166 продолжает:

«Временное (французское) правительство не принимало в соображение, да и все его критики едва ли обращали внимание на то, что хотя каждый член всего человеческого братства имеет нравственное право занять место за трапезой, приготовленной совокупными трудами целой нации, но никто из членов не смеет приглашать туда посторонних людей без согласия всех прочих».

Конечно, думает читатель, это так ясно, что и говорить не о чем; да и кто же могут быть эти посторонние люди? иностранные войска, что ли, как было в 1815 году во Франции,— переселенцы, туристы? Но иностранные войска никто и не думает приглашать к трапезе, а если кто-нибудь вздумает, как, например, Людовик XVI, то, конечно, главная вина не в приглашении к трапезе, а в совершенно другого рода обстоятельствах. Переселенцы же сами не пойдут, если трапеза скудна; что же касается туристов, то это народ безвредный, не бог знает сколько съедят. — Удивляется читатель: каких это посторонних людей не желает видеть Милль за общественной трапезой? Дело объясняется самым чрезвычайным и неожиданным образом. Д.-С. Милль продолжает:

«А если кто решается на это, то все потребленное этими посторонними должно быть вычтено из доли тех, которые их пригласили. Готового может быть достаточно только для тех, которые *уже рождены*, но не может хватить и для тех, которые *могут* родиться».

Итак, дело объясняется очень просто: посторонние за трапезой оказываются детьми; под приглашением подразумевается не что иное, как рождение детей; неимение права приглашать посторонних значит неимение права производить потомство «без согласия

всех членов общества». Угрозы, направленные против приглашающих, имеют целью отклонить людей от преступного дела рождать потомство. Далее все это объясняется, метафоры отбрасываются в сторону, и проповедь мальтузианской воздержности является во всем блеске своего безобразия. Надо иметь много смелости, чтобы говорить, подобно Миллю:

«Большинство думает, что рождение детей есть дело, относительно которого едва ли существует какое-нибудь нравственное обязательство и в котором личное желание каждого не может быть стеснено ничем; это предрассудок, на который будут со временем смотреть с таким же презрением, с каким смотрят на все понятия и обычаи дикарей» (стр. 167).

Здесь не знаешь, чему больше удивляться: тупости преподаваемой морали или беззастенчивости, с которою она высказывается? Высказывать это в стране, где работники умеют читать, — гораздо опаснее, чем все, что говорят «новые филантропы». Стоит только, чтобы нашелся добрый человек, который бы посоветовал пролетариям прочитать подобные строки, чтобы та ненависть, которая уже существует между богатыми и бедными классами Англии, дошла до величайшей напряженности. Здесь уже дело идет не о том, чтобы обсчитать голодного пролетария в пользу сытого буржуа, а о том, чтобы забраться во внутренний мир бедного человека и лишить его не только хлеба, но и всего того, что составляет единственный сколько-нибудь светлый луч в его жизни. Между тем это та цена, за которую Милль согласен продать беднякам насущный хлеб их. Он настолько обязателен, что соглашается,

«чтобы все живущие люди согласились гарантировать друг другу посредством государства, которое есть их орган, возможность снискивать трудом надлежащее существование, но (требует он), чтобы они также отвергли право распространять свой род по собственному желанию, без всякого ограничения» (стр. 166—167).

Итак, бедные должны позволить своим благодетелям, дающим им кусок хлеба, ежечасно контролировать самые драгоценные человеческие чувства, каждую минуту иметь возможность стать между мужем и женою, зорко наблюдать за тем чувством, которое в каждом так робко и стыдливо прячется от чужих взоров. Наконец, в ущерб их здоровью, мешать естественному отправлению их организма... И в награду за это — теплый угол, кусок хлеба и отеческая власть капиталиста! Здесь будет полезно напомнить, как страшно и беспощадно бичует это вопиющее лицемерие гениальный человек, которого недавно лишился свет (6):

«Школа Мальтуса, которая при всяком удобном случае свидетельствует свое глубокое уважение к религии, обнаруживает по вопросу о народонаселении грубое неверие. Проповедуя по-

стоянно laissez faire, laissez passer, упрекая социалистов в заменении законов природы своими мечтами, протестуя против всякого вмешательства государства и с громкими криками требуя свободы, она не колеблется, когда речь заходит о супружеской жизни, и говорит мужьям и женам: «стойте, несчастные! Какой злой дух искушает вас? Разве вам нельзя любить друг друга не рождая детей? Разве вы забыли, что народонаселение стремится возрастать в геометрической прогрессии, а средства к существованию только в арифметической?»

Короче сказать, школа Мальтуса учит, что так как народонаселение бог весть почему возрастает слишком быстро, то нужно положить этому обуздание. Мы обязаны великой благодарностью г. Жозефу Гарнье за то, что у него хватило, наконец, духу послать стыд к чертям и категорически объяснить, в чем состоит предупредительное средство Мальтуса (7).

. . . .

Сколько мне помнится, говоря где-то о морали мальтузианцев, я выразился: мораль свиней!.. Прошу извинения за эту грубость, которую я не обращаю ни к кому лично. Но что должен чувствовать человек при зрелище этого собрания самозванных экономистов, давнишних практиков ограниченной нравственности, переделывающих законы стыдливости, пишущих карикатуры на «Пятикнижие», с важностью решающих, что необходимо излечить народ от его мнительности относительно супружеской мастурбации, и все это во имя ложного учения, которое было бы позором для науки, если бы даже не было позором для нравственного чувства?

Заседания эти происходят во дворце института, в академии нравственных и политических наук, в этом высшем трибунале французских нравов. Лица, принимающие участие в совещаниях, занимают высокое положение в администрации и преподавании. Г. Дюнойе был префектом; г. Дюшатель—министром; г. Леон Фоше — министром; Гизо — министром и профессором; его прозвали, не знаю почему, строго нравственным; Росси был профессором, Ж. Б. Сэ тоже; г. Жозеф Гарнье — профессор; все они — защитники религии, нравственности, брака и семейства против антимальтузианского социализма, приверженцы laissez faire, laissez passer во всем, кроме воспроизведения детей.

Посмотрите на французское юношество, слушающее лекции в Collège de France и в Сорбонне, на всех этих студентов школы правоведения, медицинской, нормальной, политехнической, горной, путей сообщения, посмотрите, как 18 лет они поучаются прилагать на практике предупредительное ограничение, переходя от уроков Мальтуса к упражнениям Closerie des Lilas и приготовляясь свободной любовью, гарантированной от произведения потомства, к брачному бесплодию, которое им придется пропо-

ведывать народу в качестве судей, профессоров, врачей, инженеров! Г. Тьер не претендует на репутацию строгой нравственности, однако имел несчастие назвать этот разврат оскорблением природы: ему доказали, что он не в здравом уме. И в самом деле, должен быть глуп тот, кто придает серьезное значение труду, собственности, наследственности, не замечая, что весь экономический и социальный вопрос разрешается так просто истреблением деторождения». („Essais d'une philosophie populai № 3, стр. 135 и 140—141) ([8]).

Вопросы политические уже давно вступили в столь тесную связь с социальными, что человек, смотрящий на последние с точки зрения Милля, не может отличаться особенною дальновидностью и относительно первых. Относительно событий, ознаменовавших 1848 год во Франции, это особенно верно. В событиях этих политический характер так тесно связан с экономическим, что, заговорив о первом, нельзя не коснуться второго; и Милль подтверждает это, потому что в статье своей беспрестанно обращается к социальным вопросам. Мы уже видели, до какой степени безобразен его взгляд на них, видели, что, оправдывая слова Прудона, он не нашел ничего лучшего сказать об этом, кроме упреков Временному правительству за то, что оно не проповедывало народу мальтузианской воздержности. Поэтому мы не можем ожидать ничего хорошего и от политических взглядов Милля. Все, чего мы можем ожидать от него, это верной оценки тех немногих фактов, которые остаются в области чисто политических вопросов. Ожидая только этого, мы не ошибаемся, потому что Милль, как один из умнейших современных наблюдателей этих событий, мог оценить их лучше других. В этом отношении верность его взгляда весьма замечательна; статья об Армане Карреле доказывает, как верно умел он оценять политические события. Статья эта писана за несколько лет до февральской революции (в 1837 году), когда трон Людовика-Филиппа был совершенно прочен. Между тем все, что Милль говорит в ней о правительстве этого короля, могло быть без всякого изменения написано в 1848 году и даже позднее. В то время должно было показаться весьма странным, что Милль называет июльскую революцию несчастием для Франции и отзывается так неблагоприятно о вышедшем из нее правительстве. В 1837 году Милль говорил об этом то же, что другие начали говорить только десять лет спустя: что июльская революция ничего не совершила, потому что не только не изменила существенных условий общественной жизни, но не произвела даже никакой политической реформы. Положение народа, законодательства, представительства, прессы не изменилось ни на волос. Произошло простое перемещение лиц, стоящих во главе общества; это была не реформа, а скорее перемена министерства, до того незначительно было изменение, произведенное ею в массе общества, до того ничтожно число лю-

дей, положение которых она преобразовала. Между тем, так как она произошла вовсе не случайно, не была coup d'état*, а была вызвана настоятельными нуждами общества, то весьма естественно, что должен был произойти вторичный переворот, так как последствия первого нисколько не удовлетворяли. Затем Милль задолго еще до крупных скандалов, как биржевые спекуляции Тьера, процессы Теста, дело де-Пролена, указывает на характер бесчестности и безнравственности июльского правительства. Во всем этом Милль далеко не видит залогов прочности и для монархии Луи-Филиппа. Он заключает свою статью об Армане Карреле словами почти пророческими:

«Множество беспристрастных людей во всех частях Франции, на короткое время так задушевно отвечавших на его голос, снова потребует тех прав, которые в минуту панического страха они отдали правительству, нелюбимому и неуважаемому ими, которому повинуются и даже поддерживают его против его врагов только из чаяния достигнуть чего-нибудь лучшего... Прискорбно потерять такого человека (как Каррель), прискорбнее того потерять его в жалкой дуэли. Но плохо придется правительству, которое может радоваться смерти такого врага; и, может быть, настанет время, когда оно отдало бы свои самые дорогие сокровища, чтобы вызвать из могилы жертву, кторую злоба его намеренно или ненамеренно погребла в ней... Такое правительство, как существующее теперь во Франции, не может долго оставаться» (стр. 90 и 91).

Оно осталось действительно недолго, но не ему пришлось пожалеть благородного А. Карреля. Что касается до соображений Милля касательно событий и деятелей 1848 г., то я еще буду иметь случай коснуться их в разборе «Истории революции 1848 года» Гарнье-Паже, к которому и перехожу.

Д. Л. МОТЛЕЙ. ИСТОРИЯ НИДЕРЛАНДСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОСНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ

Т. I. Часть первая. Издание Сулина. Спб. 1865.

«История нидерландской революции» Дж.-Лотропа Мотлея, первая часть которой только-что вышла, считается в Европе лучшим сочинением по этому предмету и принадлежит к числу классических исторических трудов, как «История XVIII столетия» Шлоссера или «История пап» Ранке ([1]). Для тех, кто уважает объективный метод в истории, сочинение это покажется вполне безукоризненным, потому что автор судит лица и события с современной им точки зрения, и, вдобавок, сочинение читается,

* Переворот.

как роман. Но слишком много можно сказать против самого метода. Можно утверждать, что объективность в исторических сочинениях лишает их всякого серьезного значения. Рассказ, написанный с объективной точки зрения об интересных событиях, может быть, конечно, очень занимателен. Но трудно сказать, чем отличается занимательность такого рода от той, которую представляют романы и повести, хорошо, т. е. занимательно написанные. Я не вижу никакой разницы между, напр., «Историей Филиппа II» Прескотта и романами Вальтера Скотта и многих других. Что из того, что в первой нет ни одного слова, не подтвержденного актами, хрониками и компетентными авторами; а во вторых многое или даже все принадлежит фантазии сочинителя? Ведь как то, так и другое относится собственно к области искусства и на никакие житейские цели не пригодно. Для читателя может быть равно интересно описание как вымышленного сражения, напр., или приема, так и самого достоверного и подтвержденного всеми источниками. Ведь все равно подробности какого-нибудь аустерлицкого сражения, как бы они ни были верны, никакого серьезного значения иметь не могут. Какая польза мне знать, что храбрый генерал какой-то ходил на батарею именно два раза и взял именно 6 пушек? Какими мыслями я обогащусь, какие результаты извлеку, если достоверно узнаю, что честь победы при Сен-Кантене принадлежит именно Эгмонту? Не все ли равно мне, если бы я полагал, что честь эта принадлежит какому-нибудь герою романа, одаренному всеми талантами и совершающему подвиги, чтобы покорить сердце героини? Знание или незнание таких фактов решительно ни к чему не ведет, и в этом отношении историческое сочинение, написанное объективно, может что-нибудь значить только как собрание материалов, тщательно проверенных и искусно выбранных, которыми может удачно воспользоваться историк, занятый более важными мыслями.

Обыкновенно в исторических сочинениях, относящихся к предмету объективно, существует даже вредная сторона. Занимательностью рассказа они привлекают массы читателей, для которых более серьезные сочинения мало доступны и которые очень рады иметь чтение поучительное и вместе с тем легкое. Когда перед такими читателями сочинители начинают судить исторические события и характеры с точки зрения современной этим событиям эпохи, то в головах читающей публики должно все перевернуться вверх дном.

Известно, как самым блистательным образом доказали Карлейль и Капфиг, что нет такого безобразия, которое нельзя было бы оправдать и даже возвеличить с объективной точки зрения. Для этого существует особая теория, красноречиво и обстоятельно изложенная у многих историков, — о справедливом суде истории, о том, что нельзя судить людей, живших за 1000 и более лет, с нашей точки зрения и т. д. Но «справедливый суд исто-

рии» и все прочее, обыкновенно произносимое по этому поводу, — не более, как громкие фразы.

Во-первых, судить мертвых, как живых, с единственной целью оправдать или осудить их, было прилично разве египтянам, а никак не европейцам XIX века. Такой суд никому решительно не нужен; а тем более нечего заботиться о его справедливости. Какому-нибудь Эгмонту теперь совершенно все равно, что об нем говорят: из него и лопух-то давно перестал расти. Поэтому когда объективный историк заботится о такой справедливости и залезает на современную описываемым событиям точку зрения так удачно, что с успехом оправдывает все, что для его собственных современников должно служить предметом отвращения, он этим производит только путаницу в понятиях читателей, не доставляя никому пользы.

Г. Писарев в одной из своих статей говорил о нелепости историков, которые проводят всю жизнь, занимаясь как будто чем-то серьезным и важным, отмечиванием баллов за поведение разным историческим лицам. Это вполне верно относительно объективных историков, для которых кажется чем-то необыкновенно важным поставить данной личности именно тот балл, какой она заслужила. Такое занятие действительно праздно; но необходимо заметить, что замечание г. Писарева может распространяться только именно на то, что носит величавые названия «справедливого суда истории» и «объективности в историографии» (2). Очень жаль, что у многих развилась от увлечения Боклем охота распространять его на всякий исторический труд, рассматривающий события с иной точки зрения, чем Бокль. Нет сомнения, что переворот, произведенный в историографии Боклем, громаден и что его точка зрения есть единственная плодотворная и верная при занятии историей как наукой. Но было бы очень печально, если бы значение Бокля хотя на время заслонило значение прежней историографии. Весьма ошибаются те, которые полагают, что после Бокля все прежние историки совершенно лишились своего значения. Объективная историческая школа, конечно, не имеет теперь никакого значения, но нельзя сказать того же о тех историках, которые пользуются историческим материалом так, как, например, Макиавелли и Шлоссер. У таких писателей история теряет свой научный характер, но зато приобретает важное общественное значение. Из богини она делается слугою, но в повседневной жизни слуги полезнее богов. Правда, из Шлоссера читатель не вынесет такого богатства идей и знания, сколько из Бокля, но зато никогда не впадет в филистерство. Такие историки приносят громадную пользу, заставляя науку сходить с пьедестала и служить ежедневным нуждам людей. Для этого они пользуются ею не для изыскания вечных истин и законов, а для того, чтобы примерами научить людей избегать вредного и злого, выбирать и находить полезное и хорошее, ценить доброе, пре-

зирать и преследовать дурное. Конечно, политическая жизнь народов не может быть подведена ни под какие правила: для нее нельзя писать руководств и по параграфам учить людей поступать так или иначе в том или другом случае. Прошло то время, когда считали возможным писать учебники политической мудрости и мечтали о *науке* политики. Но суждение умного и благородного человека, чуждого всякой тени филистерства и потому не упускающего ни на минуту из виду современные интересы, — суждение такого лица о давно прошедших событиях и прежних деятелях не может остаться бесплодным. Конечно, для этого он не должен заботиться о достоинстве богини истории и о справедливости исторического суда; для него должно быть совершенно в сущности индиферентно, честен ли или низок был такой-то человек. Мысль его должна быть, главным образом, обращена на то, чтобы известным образом настраивать образ мыслей своих слушателей или читателей, чтобы возбуждать их негодование против пророков живущих, а не мертвых, и в оценке полезных деятелей поставлять перед ними прекрасные идеалы вместо того, чтобы только раздавать похвальные аттестаты покойникам. Всякому должно быть понятно, как важен может быть разбор политических учреждений, переворотов и всех прочих явлений общественной жизни, если разбор этот сделан не с точки зрения той, быть может, давно прошедшей эпохи, а с современной.

Конечно, могут сказать, что такой взгляд развенчивает науку, лишая ее самостоятельной цели. Но дело в том, что только то хорошо, что ведет к полезным результатам. На основании этого историография не только не теряет своего достоинства, но, напротив, возвышается, когда делается непосредственно полезна. Само собою разумеется, что такой исторический рассказ носит непременно на каждой странице прямой отпечаток личных взглядов автора. Эта субъективность, когда личные воззрения автора узки, ум ограничен, характер мелочен, делает многие исторические сочинения совершенно нелепыми, крайне вредными и безобразными. Примером такого рода произведений могут служить сочинения Маколея, о которых я когда-нибудь поговорю подробно. Для англичанина консервативно-либерального образа мыслей, как большинство английской публики, сочинения Маколея могут казаться неоцененными. Но для человека, неспособного увлекаться интересами английских либеральных консерваторов и даже понимать их, — трудно представить себе что-нибудь нелепее сочинений этого писателя ([8]).

Примеров такого безобразия художественные исторические сочинения, рассматривающие свой предмет объективно, не представляют. Но это потому, что они — ни рыба, ни мясо, что от них ни вреда, ни проку быть не может и что роль их ограничивается только тем, чтобы служить приятным чтением на сон грядущий.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Издание второе А. Н. Пыпина. Спб. 1865.

Мне особенно приятно поговорить с читателем об одной небольшой книжке, где десять лет тому назад были изложены главные основания того взгляда на искусство и отношение его к действительности, которому мы следуем. Книжка эта, озаглавленная «Эстетические отношения искусства к действительности», вышла недавно вторым изданием, чему можно искренно порадоваться. (1)

Старые эстетики рассуждают о происхождении искусства таким образом: человек чувствует непреодолимое стремление к прекрасному, но не находит его в действительности; поэтому он сам создает предметы и явления истинно прекрасные, вполне удовлетворяющие его стремлению. Произведения искусства несравненно прекраснее предметов, представляемых действительностью; поэтому они одни могут удовлетворить эстетической потребности человека — потребности, вполне нормальной и законной. Следовательно, искусство имеет полное и неоспоримое право на существование, как средство удовлетворить одной из первых потребностей человека. Против всего этого вооружается автор «Эстетических отношений». Опровергая эстетическое определение прекрасного, он доказывает, что под прекрасным должно разуметь «то, в чем человек видит жизнь, — прекрасное есть жизнь». Человеческое стремление к нему должно выражаться не иначе, как радостною любовью ко всему живому, — а такое чувство, конечно, может удовлетворяться только живою действительностью. Остановимся пока на этом и посмотрим, что из этого следует.

И эстетики и автор равно признают в человеке стремление к прекрасному, т. е. к наслаждению, потому что человек стремится к прекрасному потому, что оно доставляет ему наслаждение для того, чтобы наслаждаться им.

Но эстетики отрицают, чтобы сама жизнь, сама действительность могла удовлетворить этому стремлению, и для удовлетворения его создают искусство. Между тем реалист утверждает, что вне действительности нет истинно прекрасного, что она вполне удовлетворяет человеческое стремление к прекрасному. Это утверждение равносильно уже отрицанию искусства, потому что им вполне доказывается его бесполезность. Поясним примером. Человеку нравятся известные условия местности, известное сочетание в данной местности гор, холмов, воды растительности. Никто не сомневается, что красивая местность с ясным небом, чистой водой и воздухом, веселой, здоровой растительностью, яркими цветами, местность, исполненная жизни, нравится человеку, доставляет ему наслаждение. В этом согласны все, и все равно признают, что наслаждение этим вполне естественно и нормально. Но эстетики утверждают, что действительность не представляет или

представляет очень редко все условия, необходимые для полного наслаждения: они говорят, что такие условия возможны только благодаря искусству; что полное наслаждение прекрасным пейзажем можно получить только тогда, когда он изображен на полотне рукою художника. Между тем реалист говорит, что действительность вполне способна удовлетворить человека с нормальными, не извращенными вкусами и желаниями; что в ней он на каждом шагу может встретить прекрасное и наслаждаться им и вне ее он ни в чем не найдет такого полного удовлетворения своему стремлению к наслаждению. Кажется, после этого не может быть уже и речи об искусстве, потому что, если оно не может дать того, что дает природа, действительность, то к чему же оно? От добра — добра не ищут, а тем более от полного наслаждения— слабой тени его! Все это как-то странно даже договаривать, потому что это ясно, как день, коль скоро допустить, что «действительность выше искусства». Поэтому немудрено, что эстетики до сих пор не хотят итти на компромисс с таким мнением, разрушающим в прах всю теорию искусства. Трудно придумать, какой тут может быть компромисс; притом он совершенно не нужен, потому что я не знаю, какие еще старые девы могут теперь разделять отжившие эстетические заблуждения? Автор «Эстетических отношений», писавший свою диссертацию в эпоху, когда эти заблуждения считались неприкосновеннейшими истинами, посвятил большую часть своей книги единственно доказательству этого столь несомненного теперь для нас положения: действительность выше искусства. Если же кто и теперь еще продолжает твердить старое, то с ним уже разговаривать не стоит: дать ему нарисованный обед, вместо грубого материального, поженить его на какой-нибудь эрмитажной богине— и пусть его пишет эстетические критики. — Любопытно знать, долго ли выдержит?

Впрочем, такой опыт совершенно бесполезен: и без него можно наверное сказать, что ни один эстетик еще не удовлетворялся искусством, хотя бы он был со всех сторон окружен произведениями его. Ни один еще эстетик не довольствовался созерцанием яблока нарисованного, но постоянно все они обнаруживали склонность полакомиться настоящим; ни один не довольствовался статуями Венер, но обыкновенно все влюблялись в женщин с плотью и кровью, со всеми аттрибутами неизящной действительности; а если бы кто-нибудь похвалился, что был в этом отношении постоянно верен принципам эстетики, то его следовало бы взять и лечить. Впрочем, между эстетиками и пациентами существует та же разница, как между теоретиками и практиками: одни проповедуют тот принцип, в силу которого другие действуют.

Теперь для нас совершенно очевидна нелепость эстетических теорий, о которых еще лет через десять будут говорить, как го-

ворят теперь о мнении, будто мир стоит на четырех китах или будто холера ходит на курьих ножках. Мы так ясно видим всю несостоятельность этих дряблых эстетиков, что с изумлением должны спросить себя: на чем же основывался их успех, откуда, из каких причин взялись все эти бредни и чем они так долго держались?

Автор «Эстетических отношений» представляет три причины этому, которые вполне удовлетворительно объясняют дело. Первая причина высокого мнения об искусстве заключается, как он говорит, в наклонности человека чрезвычайно высоко ценить трудность дела и редкость вещи; вторая — в том, что человек гордится произведениями искусства, считая их близкими себе, видя в них доказательство своего ума. Третья, наконец, причина состоит в том, что искусство нравится нашему испорченному вкусу, «льстит нашему искусственному вкусу», как выражается автор. Впрочем, все, что он говорит об этой третьей причине благоговения перед искусством, так замечательно, что я считаю не лишним привести это место целиком: «Причины пристрастия к искусству, нами приведенные (т. е. две первые),—говорит он,— заслуживают уважения, потому что они естественны: как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека? Но едва ли заслуживает такого уважения третья причина предпочтительной любви нашей к искусству. Искусство льстит нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаем, как искусственны были нравы, привычки, весь образ мыслей времен Людовика XIV; мы приблизились к природе, гораздо лучше понимаем и ценим ее, нежели понимало и ценило общество XVII века; тем не менее мы еще очень далеки от природы; наши привычки, нравы, весь образ жизни и, вследствие того, весь образ мыслей еще очень искусственны. Трудно видеть недостатки своего века, особенно когда эти недостатки стали слабее, чем были в прежнее время; вместо того, чтобы замечать, как много еще в нас изысканной искусственности, мы замечаем только то, что XIX век стоит в этом отношении выше XVII, лучше его понимая природу, и забываем, что ослабевшая болезнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всем, начиная с одежды, над которою так много все смеются и которую все продолжают носить, до нашего кушанья, приправляемого всевозможными примесями, совершенно изменяющими вкус блюд; от изысканности нашего разговорного языка до изысканности нашего литературного языка, который продолжает украшаться антитезами, остротами, распространениями из loci topici*, глубокомысленными рассуждениями на избитые темы и глубокомысленными замечаниями о человеческом сердце

* Общие места (термин античной поэтики и риторики). —*Ред.*

на манер Корнеля и Расина в беллетристике и на манер Иоанна Мюллера в исторических сочинениях. Произведения искусства льстят всем мелочным нашим требованиям, происходящим от любви к искусственности...

Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашим наклонностям, а действительность не может быть подчинена стремлению нашему видеть все в том же цвете и в том порядке, какой нравится нам или соответствует нашим понятиям, часто односторонним. (Следуют примеры). — Но в таком случае вы сами соглашаетесь, что произведения искусства лучше, полнее, нежели объективная действительность, удовлетворяют природе человека; следовательно, для человека они лучше произведений действительности. — Заключение, не совсем точно выраженное; дело в том, что искусственно развитый человек имеет много искусственных, исказившихся до лживости, до фантастичности требований, которым нельзя вполне удовлетворить, потому что они в сущности не требования природы, а мечты испорченного воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке, презрению от того самого человека, которому старается угодить, потому что он сам инстинктивно чувствует, что его требование не стоит удовлетворения» [стр. 118—119].

Я не даром привел такую большую выписку: ею доказывается как нельзя лучше то мнение автора «Эстетических отношений», которое напрасно некоторые стараются затушевать, — мнение, что искусство не имеет настоящих оснований в природе человека, что оно не более, как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме; что по мере совершенствования людей оно должно падать и что оно заслуживает полного и беспощадного отрицания. И я право не понимаю, как можно пытаться стушевать мнение, столь ясно выраженное? Человек начал с того, что объявил искусство несравненно ниже действительности, чем уже совершенно лишил его видного значения; затем оно признано порождением исказившейся до лживости, дошедшей до фантастических потребностей натуры современного европейского общества; признано, что даже невозможно угождать эстетическим потребностям общества; что такое угождение навлекает только насмешку или даже презрение. Кроме ненормальностей искаженности в развитии современного цивилизованного человека, за основание поклонения искусству приняты странное тщеславие и нелепый предрассудок ценить редкие и с трудом доставшиеся вещи выше обыкновенных и достающихся даром. Здесь, я полагаю, автор был вынужден только побочными обстоятельствами, а именно тем, что статья его — диссертация, отнестись довольно мягко к этим двум другим причинам. В сущности же они не заслуживают этого. Тщеславие произведениями человечества, доходящее до превознесения их над произведениями природы, так же смешно и глупо, как тщеславие отечествен-

ным писателем, которому воздается ничем не заслуженное преимущество перед писателем иностранным, по меткому сравнению самого автора. Когда патриотизм доходит до этого, то подвергается обыкновенно насмешке. Та же участь должна постигнуть и нелепое тщеславие человека перед природой. Наконец, наклонность человека выше ценить редкие вещи, чем обыденные, уж никак не заслуживает уважения; из этой наклонности единственно проистекает самая безумная роскошь, лукулловские блюда, питье Клеопатры, платья из паутины, бриллианты в голубиное яйцо; из наклонности отдавать преимущество доставшемуся усиленным трудом перед полученным без труда вытекали всегда подобные же вещи: гигантские постройки, китайские резные куклы, брюссельские кружева, над которыми слепнут, мозаичные столы и т. п. Из таких наклонностей всегда выходили только подобные результаты; порядочных же не выходило никогда. — Итак, несомненно, следовательно: искусство, не имеющее значения, потому что есть только плохая тень действительности, вытекает из самых безобразных и извращенных наклонностей человека, уничтожение которых было бы очень желательно.

Все это напечатано русскими буквами в книжке об «Эстетических отношениях искусства к действительности», предмет которой весь именно и посвящен доказательству этих истин. Я полагал бы, что можно сделать одно из двух: или принять это мнение со всеми его выводами, которые сами подсказываются, или окончательно отвергнуть и стоять на своем с упорством, достойным лучшего дела. Однако есть люди, которым провидение поручило неблагодарный труд — постоянно во всем отыскивать золотую середину, серый цвет, загадочное вещество, которое должно занимать середину между мясом и рыбой; это люди, обязанные своим положением держаться принципов, к которым у них не лежит душа, и потому никогда не способные сделать ни шагу вперед от черты, полагаемой приличием. В политике таких людей зовут либералами, в обыденной жизни — филистерами; я не знаю как назвать их в литературе. И на этот раз, поставленные между д а или н е т, они сумели изобрести вместо ответа какой-то странный звук, похожий и на д а и на н е т, а главное, ни на что не похожий. Они в одно и то же время и принимают все мнения автора «Эстетических отношений», и протестуют против тех, которые приходят к прежним выводам из этих мнений. Середке на половине кажется, что все люди, идущие к крайним выводам, поступают нерассудительно и нелепо, восставая против искусства вообще и против эстетического наслаждения. Середка на половине порицает их за мнение, что человек не должен предаваться эстетическим удовольствиям, которые только расслабляют и развращают его и заставляют даром тратить время вместо того, чтобы пользоваться им с пользою. Середка на половине того мнения, что такие взгляды приличны разве аскету и во всяком случае

должны считаться нелепыми, потому что надо брать человека, как он есть в действительности, а стремление к наслаждению искусством есть нормальная потребность человеческой природы. Наконец, середка на половине решается прямо утверждать, что автор «Эстетических отношений» не отрицал самостоятельности искусства. Насколько последнее справедливо — видно из вышесказанного. Мы уже знаем, как смотрит разбираемый автор на достоинство искусства и на основания поклонения ему. Остается еще взглянуть, какой смысл приписывает он искусству, как определяет он его роль в жизни человека, какую цель он ему ставит. Вот слова его, быть может самые решительные во всей его книге:

«Вот единственная цель и значение очень многих (большей части) произведений искусства: дать возможность хотя в некоторой степени познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться ими на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем» (стр. 125).

Нельзя сказать, чтобы этими словами искусству указывалась слишком великая цель или приписывалось громадное значение. Если мы возьмем живые примеры, то размеры того и другого покажутся нам еще уже. Сам автор указывает нам один из таких примеров. «Море,—говорит он,—прекрасно, но не все могут любоваться им; поэтому для них рисуются картины, изображающие море». Я совершенно согласен с автором, что цель и значение *большей части* произведений искусства не обширнее; с этим, к удивлению моему, соглашаются и эстетические либералы. Помилуйте, господа, что вы делаете! Опомнитесь! Куда вы идете с этими уступками; разве вы не видите, что вы идете к отрицанию всех основ искусства, эстетики и т. д.? Вообразите себе, какая, в самом деле, великая цель искусства, чтобы какой-нибудь тамбовец, которому с жиру пришла охота любоваться морем (потому что только с жиру может явиться такая фантазия), мог немедленно удовлетворить ее, — если только, конечно, он в состоянии заплатить какому-нибудь Айвазовскому 10.000 р., не беспокоя свой жир путешествием в Петербург или в Одессу! Как велик подвиг этого Айвазовского, избавившего тамбовца за 10.000 р. от необходимости или тащиться в такую даль, или отказаться от наслаждения морем. Увенчайте Айвазовского! Он *великий* художник, знаменитый согражданин, честь отечества! И вот права его на благодарность родины — господин, наслаждающийся из Тамбова видом моря! И как прекрасно и полезно, если публика может, таким образом, совершенно безвозмездно и без различия рангов и состояний созерцать и море, и альпийские виды, и разных кардиналов, и голых женщин. Как не сказать вместе с эстетиками-либералами, в виду этого великого значения и этой грандиозной цели искусства, что оно полезно,

хотя бы не давало ничего человеку, кроме эстетического наслаждения, хотя бы было просто искусством для искусства. Либералам действительно необходимо доказать, что искусство полезно, потому что автор «Эстетических отношений» сказал (стр. 129): «Бесполезное не имеет права на уважение». Поэтому и нам, отвергающим вместе с автором пользу искусства, необходимо окончательно доказать его бесполезность, так как доселе мы доказали его словами: бесполезность только большей части художественных произведений.

Большинство их имеет целью, как было сказано, заменить или напомнить человеку недоступную ему действительность; великость этой цели оценить было не трудно. Но, по мнению автора, искусство в меньшинстве случаев, — стало быть, в виде исключения, — имеет целью объяснить человеку действительность. Таковы, напр., картины в самых дельных и серьезных сочинениях, поясняющие текст; таковы многие поэтические произведения, в которых действительность воспроизведена в таких резких чертах, где смысл ее, так сказать, до того сконцентрирован, что человек, который не понял бы жизненного явления, явившегося ему при запутанных и сложных условиях настоящей жизни, в течение долгого времени, среди тысячи не относящихся к делу житейских дрязг, поймет его, увидев его обособленным, поясненным, протекающим в короткий срок времени, когда ни одна подробность не успеет ускользнуть из памяти. Даже музыка представляет примеры этого; музыка имеет свойство действовать известным образом на множество людей совершенно одинаково; веселый мотив действует одинаково, но по-своему на всех слушателей; грустный иначе, но также одинаково. Этим свойством музыки можно пользоваться иногда, когда требуется настроить известным образом большую массу народа, т. е. заставить ее смотреть на жизнь в данный момент именно так, а не иначе. Так и пользуются музыкой в походах, в сражениях, во время молитв. К этой цели неспособны только скульптура и архитектура, или, по крайней мере, потребовалась бы натяжка, чтобы приписать им подобное действие. Но дело в том, что во всех этих случаях, где искусство оказывается полезным, оно или перестает быть искусством, или польза его только мнимая. Можно ли, в самом деле, рассматривать рисунки,— как бы великолепно ни были они сделаны, — сопровождающие какой-нибудь пространный курс зоологии или ботаники, как предметы искусства в настоящем значении этого слова? Разумеется, нельзя, потому что в искусстве ищут наслаждения, а от таких рисунков ждут пользы, по ним изучают науку. Защитники искусства все говорят, что искусство воспроизводит прекрасное, существующее в природе для наслаждения человека; это говорят даже либеральные эстетики; следовательно, утилитарная цель, как совершенно верно утверждают старые эстетики, уничтожает искусство. Раз что искусству зада-

на утилитарная цель, оно перестает быть искусством. Да оно и понятно. Когда художник рисует цветок с эстетической целью, он не заботится о том, чтобы показать зрителю все подробности его анатомического строения, а желает воспроизвести общее впечатление, производимое живым предметом. Это подтверждают все рассуждения о разнице между воспроизведением действительности и подражанием ей. «Теория подражания,— говорят эстетики,—выходила из того ложного положения, что искусство в состоянии сравняться с натурой, и потому требовала, чтобы произведения искусства были математически равны и тождественны с натуральными предметами». Против этой теории эстетики восстают. Они хотят, чтобы искусство, оставив невыполнимое намерение подражать природе, ограничивалось только воспроизведением ее; чтобы оно не имело претензии показывать зрителю живые предметы, как они есть, а только намекало бы на их вид, только возбуждало бы деятельность воображения и помогало бы ему представить себе как можно яснее живую действительность. Эстетики правы, потому что если и воспроизводящее искусство не имеет особенно великих целей, как мы видели, то искусство подражающее есть фокус-покус. Ухитрится человек так подобрать краски, что даже на самом близком расстоянии нарисованный предмет до известной степени похож на живой! Таковы портреты знаменитых художников, изображающие разных неизвестных стариков и старух, потому что только старческое тело, говорит автор «Эстетических отношений», может быть изображено так удачно. Зрители смотрят и удивляются, и картина оценивается в баснословную сумму. Но скажите, пожалуйста, чему удивляются и чем восхищаются зрители? Если бы кто-нибудь из них задал себе в минуту восторга такой вопрос, то должен был бы сознаться, что восхищается он просто хитрой штукой — так ловко намазать на полотно краски, что выходит очень похоже на тело. Больше-то ведь восхищаться решительно нечем, потому что стариковские и старушечьи физиономии не диковина. Поэтому такое искусное подражание справедливо не ценится эстетиками, более умудрившимися. Между тем от рисунков, предназначенных для практической пользы, никак нельзя требовать, чтобы они только помогали воображению; от них требуется такая точность и подробность, какой никто не ждет от художественного произведения. Словом, требуется, чтобы такие рисунки как можно больше приближались по точности и верности к фотографии; между тем как эстетики решительно утверждают, что фотография не дает и не может дать художественного произведения. Этот пример (т. е. фотография) очень удобен для показания на нем разницы между настоящим искусством, переставшим быть искусством и обращенным на утилитарные цели. Надо, конечно, брать в расчет самую усовершенствованную фотографию, где все предметы, которые желают предста-

вить, выходят одинаково отчетливо. Эстетики за это-то именно и лишают фотографию права давать художественные произведения. Она с одинаковой точностью и отчетливостью, говорят они, передает черты лица и часовую цепочку или пуговицу на жилетке; воспроизводящий же художник воспроизводит с наибольшей отчетливостью самые важные и существенные черты, другие изображает не так отчетливо, а третьи, наконец, совершенно оставляет; в самых существенных чертах он передает не все до мельчайших подробностей, а только те стороны, которые, по понятию его, особенно характеризуют предмет. Итак, вот какая разница между произведениями фотографии и искусства; спросим же теперь себя: какие пригоднее для практических, научных целей, — те ли, которые передают предмет во всех подробностях его, или те, которые помогают воображению? Когда для пособия при изучении какой-нибудь *точной* науки нужно изобразить предмет, который хотим изучать, то что важнее для нас — фотографическая ли точность в подробностях или художественное воспроизведение общего вида? Я не думаю, чтобы кто-нибудь затруднился ответить на это.

Нет спора, что такие изображения, имеющие утилитарную цель и потому нехудожественные, могут иногда быть очень изящны и мы можем ими любоваться. Но в этих случаях мы восхищаемся ими, конечно, не эстетически, а любуемся тонкой работой и искусной, красивой отделкой подробностей, наконец, наглядностью, с которой передан нам изображенный предмет. Таким же образом мы можем любоваться красивым шрифтом, изящным переплетом книги; так специалисты восхищаются такими предметами, которые вовсе не нравятся посторонним людям: анатом может точно так же восхищаться анатомическим препаратом, который в других возбудит отвращение; хирург может любоваться искусно сделанной операцией, какой-нибудь ловко выполненной ринопластикой, которая уж наверно не понравится ни одному профану в хирургии.

Кажется, нет надобности доказывать больше, что эстетическое искусство в живописи несовместно с утилитарной целью. Я не буду так долго останавливаться на других отраслях искусства. Я припомню только приведенные мною выше примеры и покажу на них, что тот же вывод применяется и там. Что касается до музыки, то, конечно, только самый поверхностный взгляд может находить, что когда войско или толпа одушевляются звуками марша или песни, то это есть для них эстетическое наслаждение искусством. Говорят, прежде турки перед сражением употребляли опий; в этом случае музыка то же, что опий, и они равно заслуживают названия искусства. — Что же касается до поэзии, то чрезвычайно ложно думать, будто поэтические произведения приносят пользу, объясняя явления человеческого сердца. Все на свете Расины и Гете никакой пользы не принесли никому; ими мож-

но восхищаться сколько угодно, находить их глубокими знатоками и превосходными изобразителями человеческого сердца, но нелепо было бы утверждать, что они принесли этим пользу и что без них не знали бы, что существует на свете гордость, жестокость, самоотверженность, невинность, честолюбие и другие страсти и свойства человека, и какие они производят последствия. Но, кроме того, существуют еще такие поэтические произведения, которые занимаются разными современными общественными вопросами и действительно научают людей правильно смотреть на них; эти произведения, без сомнения, приносят пользу, и это единственный случай, когда произведения искусства не только терпимы, но и заслуживают уважения. Однако нетрудно видеть, что здесь, собственно, уважения заслуживает не искусство, а верная и честная мысль, выраженная при помощи его. Она заслуживала бы уважения, хотя бы была выражена самым безыскусственным, прозаическим образом. Однако несомненно, что при искусственности нашего общества, при извращенности его понятий, при его неразвитости, мысли эти могут скорее распространиться в нем и принести ему пользу, если облечь их в искусственные формы. Говорят справедливо, что простой, сухой рассказ об опустошениях, произведенных в Петербурге возвратной горячкою, неспособен произвести никакого впечатления на громадное большинство; между тем как та же мысль, будучи облечена в художественную драматическую форму, потрясла бы общество. Против этого нечего, кажется, сказать, потому что, к сожалению, совершенно верно, что писателям и ораторам приходится по неразвитости общества прибегать к разным украшениям своей речи, золотить пилюли, сдабривать свои мысли «антитезами», остротами, распространениями из loci topici, глубокомысленными рассуждениями на избитые темы и глубокомысленными замечаниями о человеческом сердце и, наконец, разными художественными формами, громкими рифмами, звучными стихами, драматическими и театральными эффектами. Так как прежде всего надо обращать внимание на пользу, то невозможно не дорожить этими средствами, и сам автор «Эстетических отношений» подал нам пример этого (2).

Но за исключением этого единственного случая, где искусство полезно и необходимо, во всех остальных оно бесполезно. Если мы сочтем, как мало таких полезных художественных произведений, и этому ничтожному числу противопоставим массу гигантских и страшно дорогих произведений зодчества, скульптуры, живописи, громадное множество произведений музыки и поэзии, все эти храмы, дворцы, статуи, эрмитажи, галлереи, консерватории, капеллы, театры, оперы, музеи и проч., — то с полным правом можем сказать, что искусство бесполезно.

Но нетрудно доказать, что оно и вредно. Микроскопическая польза, приносимая немногими произведениями поэзии, совер-

шенно покрывается огромным вредом, наносимым всеми прочими художествами. В этом убедиться нетрудно, доказательств столько, что всех не переберешь. Это доказывают бюджеты всех государств, безобразное зрелище, представляемое всюду несметными толпами праздных артистов и художников, паразитно живущих в обществе, развращая его примером лизоблюдства и обязанных своим существованием единственно возможности небольшого числа людей удовлетворять своим желаниям видеть в Тамбове море. Нередко толкуют о пользе, которую мог бы приносить театр для народного развития, — толкуют так, как-будто польза эта действительно уже приносится; но мало ли что могло бы быть и чего нет; а пока всякий знает, что театр не может приносить пользы в теперешнем своем виде, а приносит, напротив того, прямой вред, действуя усыпляющим образом на общественное сознание, создавая обществу ложные интересы, отвлекая его от жизненных вопросов. Наконец, искусства действуют развращающим образом на отдельных членов общества; разве не вред, что ежегодно сотня людей, из которых многие могли бы сделаться путными и дельными, избирают себе род жизни и средства к существованию, ставящие их в прямую зависимость от различных общественных пиявиц? Разве не вред, что люди доходят до такой невообразимой исковерканности, что способны лить слезы в театре и равнодушно проходить мимо действительных бедствий или даже сами пакостить ближним?

Когда подумаешь о всем этом, то, право, становится и жалко, и смешно слушать эстетиков, рассуждающих о том, что искусство полезно еще (?) тем, что «содействует развитию человека, смягчает его, делает его впечатлительнее, гуманнее, сдерживает его дикие инстинкты, неестественные порывы, разгоняет мрачные своекорыстные мысли, ослабляет преступные намерения (вон оно куда пошло! Для чего эстетики не порекомендуют искусства в исправительные тюрьмы?) и восстановляют в человеке тихую гармонию (боже! wie gemütlich! *) устраняя диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях и их отношениях» (³). Разберем, что это значит. Касательно вообще развития человека мы уже говорили и видели, как редки случаи, где искусство является полезным помощником мысли в деле развития людей. Далее утверждается, что искусство смягчает человека, делает его гуманнее, сдерживает его дикие инстинкты и неестественные порывы, разгоняет своекорыстные мысли. Теперь спросим: когда особенно процветало искусство? Ответа дожидаться недолго: мы знаем, когда жили Рафаэль, Микель Анджело, Шекспир, Данте, наконец, Виргилий, Гораций, словом, все те люди, которых имена не сходят с языка поклонников искусства, которых они считают ве-

* Как уютно! — *Ред*

ликими образцами, никем не превзойденными гениями. Все это жило и творилось во времена варварства, грубости, жестокостей, кровопролитий, «диких инстинктов и неестественных порывов», во времена Римской империи и римского папства, в самые ужасные века человечества. Мы знаем, что по мере смягчения нравов искусства падают, что произведения тех варварских времен не находят соперников в нынешний век, что соборы, не успевшие окончиться в то золотое для искусства время, так и стоят недостроенными. А что сказать об искусстве, разгоняющем своекорыстные мысли? Не буду, конечно, спорить, что искусство восстановляет в человеке тихую гармонию, устраняя «диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях и их отношениях». Это совершенно справедливо, но в этом-то и беда, это-то и есть зло. Если человеческие отношения таковы, что производят диссонансы, то заглушать эти диссонансы вредно. Ведь отношения от того не исправятся, что многие не будут чувствовать их безобразия, а напротив того, станут еще хуже, как всякая запущенная болезнь, которую не лечат, как следует, а только замазывают...

Взгляд на искусство, выраженный здесь мною и вытекающий прямо из положений автора «Эстетических отношений искусства к действительности», называется эстетиками *аскетическим*. Либеральные эстетики полагают, что держаться такого взгляда могут только те, «кто придумывает кодексы человеческих обязанностей не на основании реальных свойств и потребностей человеческой натуры, а на основании произвольных, фантастических воззрений, выработанных мечтательным идеализмом». ([1])

Если послушать либеральных эстетиков, то подумаешь, что мы какие-то пуритане или гернгуты, что мы восстаем против всякого наслаждения вообще и хотим, чтобы все зажили по-монашески. Я вполне убежден, что эстетики говорят это добросовестно, и думаю, что и другим может, пожалуй, показаться такая нелепость. Поэтому я не могу окончить этого разбора, не объяснив дела с этой стороны.

Долго объяснять его нечего; это можно сделать в двух словах, сказав, что мы отрицаем только *эстетические* наслаждения, восстаем только против искусства, а вовсе не против всего, что может быть приятно человеку; только против *искусственных* потребностей, а вовсе не против реальных; только против мишуры и игрушек, которыми забавляют людей, а вовсе не против естественных и законных человеческих радостей. Я сейчас постараюсь показать разницу между искусственным и естественым наслаждением. Для этого обратимся снова к разбираемому сочинению. Вот что говорит автор его:

«Какова первая потребность, под влиянием которой человек начинает петь? Участвует ли в ней на сколько-нибудь стремление к прекрасному? Нам кажется, что это потребность совершенно отличная от заботы о прекрасном. Человек спокойный может

быть замкнут в себе, может молчать. Человек, находящийся под влиянием чувства радости или печали, делается сообщителен; этого мало, он не может не выражать во внешности своего чувства: «чувство просится наружу». Каким же образом выступает оно во внешний мир? Различно,—смотря по тому, каков его характер. Внезапные и потрясающие ощущения выражаются криком или восклицаниями; чувства неприятные, переходящие в физическую боль, выражаются разными гримасами и движениями; чувство сильного недовольства — также беспокойными, разрушительными движениями; наконец, чувство радости и грусти — рассказом, когда есть кому рассказывать, и пением, когда некому рассказывать или когда человек не хочет рассказывать. Эта мысль найдется в каждом рассуждении о народных песнях. Странно только, почему не обращают внимания на то, что пение, будучи, по сущности своей, выражением радости или грусти, вовсе не происходит от нашего стремления к прекрасному. Неужели под преобладающим влиянием чувства человек будет еще думать о том, чтобы достигать прелести, грации, будет заботиться о форме? Чувство и форма противоположны между собою...

Пение первоначально и существенно, подобно разговору, — произведение практической жизни, а не искусства; но, как всякое «уменье», пение требует привычки, занятия, практики, чтобы достичь высокой степени совершенства; как все органы, орган пения, голос, требует обработки, учения для того, чтобы сделаться покорным орудием воли, и естественное пение становится в этом отношении искусством, но только в том смысле, в каком называется искусством умение писать, считать, пахать землю, всякая практическая деятельность, а вовсе не в том смысле, какой придается слову искусство эстетикою.

Но в противоположность естественному пению существует искусственное пение, старающееся подражать естественному. Чувство придает особенный, высокий интерес всему, что производится под его влиянием; оно даже придает всему особенную прелесть, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо в тысячу раз прекраснее, нежели холодное. Естественное пение, как излияние чувства, будучи произведением природы, а не искусства, заботящегося о красоте, имеет, однако, высокую красоту; потому является в человеке желание петь нарочно, подражать естественному пению» (стр. 97—98).

Последнюю фразу следовало бы сказать немного иначе: является не желание петь нарочно, подражая естественному пению, а желание слушать пение, подражающее естественному, и здесь пение, становясь искусством эстетическим, перестает иметь право на существование. Если тебе грустно или весело, пой, сколько душе угодно. Это естественно и против этого могут восставать разве какие-нибудь изуверные ханжи. Естественное пение является вследствие естественной потребности, и оно даже полез-

но, как удовлетворение ее. Равным образом совершенно естественно, если одинакие чувства овладели целым обществом, чтобы оно пело вместе. До сих пор против пения нельзя ничего сказать, и если оно доставляет наслаждение поющим или присутствующим, то и прекрасно. Но когда человек или общество заставляет или нанимает людей, согласных за деньги напускать на себя по заказу какие угодно чувства, подражать естественному пению, то пение становится эстетическим искусством и представляет тогда возмутительный вид; тогда не знаешь, к кому чувствовать более сильное отвращение — к презренным ли скоморохам, надсаждающимся за плату, или к людям, доводящим их до такого унижения и своими неестественными потребностями вызывающим в обществе целый класс таких бесстыдников.

Эта разница между наслаждением естественным и искусственным есть во всех наслаждениях. Что может быть естественнее любви к женщине и что законнее наслаждения этой любовью? Но как низко и презренно становится это чувство и это наслаждение, как скоро они делаются искусственными, как скоро настоящего чувства нет, а есть вместо него притворное, покупное.

Несомненно, что человек имеет потребность наслаждаться; естественные науки доказывают это, и каждый сам знает это по себе; следовательно, отрицать это могут, повторяю, только люди, исковеркавшие свою натуру или лицемерящие. Но еще прежде этой потребности в человеке есть потребность избегать страданий. Каждый хочет прежде, чтобы ему не было худо, а потом уже думает о том, чтобы было хорошо. Каждый ищет сперва избавиться от страдания, а потом уже получить наслаждение. Поэтому совершенно законно, чтобы человек, избавившись от неприятного, искал прятного и наслаждался. Но наслаждение это должно вытекать из естественной и нормальной потребности. Если мы видим, что у людей бывают потребности странные, если они ищут наслаждений вредных, отвратительных, каковы наслаждения эстетические, то это не значит еще, что так и должно быть. Мало ли каких гадостей не видим мы в действительности! Но должны ли мы признавать их законными и естественными и не должны ли мы, напротив, протестовать против них?

РАССУЖДЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДЖ.-СТЮАРТА МИЛЛЯ

Часть вторая. Статьи политические и политико-экономические. Выпуск 2-й. Издание Ковалевского. Спб. 1865.

В только-что вышедшем третьем выпуске «Рассуждений и исследований» Милля с удовольствием находим его недавнее сочинение «Утилитаризм» (1). Статья эта имеет необыкновенный интерес и большую важность уже потому, что идеи, высказываемые

в ней, служат основанием целого умственного направления находят себе весьма мало последователей, но зато чрезвычайно много тупых противников, представляющих их публике в искаженном виде, по непониманию ли или намеренно.

Замечательно, что чем более развиваются человеческие общества, тем более разногласия является во мнениях касательно того, что должно считать дурным и что хорошим, что нравственным и что безнравственным, что честным и что подлым. В обществах неразвитых такое разногласие несравненно слабее и реже, и люди гораздо скорее сходятся во взглядах. Это, конечно, объясняется тем, что в таких обществах люди, во-первых, имеют более ограниченный круг мышления, а во-вторых, меньше рассуждают даже о тех вопросах, которые могут встречаться у них; вместо того, чтобы рассуждать самим, они полагаются на решения какого-нибудь признаваемого всеми авторитета. Так, в Европе существовало в прежнее время гораздо менее разнообразия в мнениях, чем теперь. Множество вопросов вовсе не существовало, а по остальным воззрения не расходились. С конца же прошедшего века явилось множество противоречивых мнений, а с расширением умственного кругозора дело дошло до того, что теперь едва ли существует хоть один вопрос, как в сфере нравственной, так и в практической, относительно которого не существовало бы по крайней мере двух диаметрально противоположных взглядов. Хотя явление это есть весьма понятное следствие общественного прогресса, однако нельзя сказать, чтобы оно свидетельствовало о непогрешимости «духовного ока» людей или могло считаться благодетельным. В другой статье своей—о «Демократии в Америке» Токвиля (²), помещенной в том же выпуске — Милль вместе с Токвилем ужасается той «тирании большинства» над духом, того господства общественного мнения над умами отдельных лиц, которое развивается по мере развития демократии. Вот что он говорит об этом:

«Деспотизм большинства в пределах гражданской жизни хотя и есть действительное зло, однако оно не кажется нам злом страшным. Тирания, которой боимся мы и которой, главным образом, боится Токвиль, другого рода — это тирания не над телом, а над духом.

Токвиль вместе с другими путешественниками по Америке жалуется, что ни в одной стране не существует менее независимости мысли. Относительно религии разнообразие мнений, по счастью, господствовавшее между основателями колоний, произвело терпимость в законе, в самой жизни простирающуюся на все христианские исповедания и секты. Если бы, по несчастию, существовала религия большинства, дело, вероятно, пошло бы иначе. Что касается до всякого другого предмета, то, когда составилось мнение большинства, едва ли, говорят, кто-нибудь осмелится быть другого мнения или, по крайней мере, высказать его». («Расс. и иссл.», стр. 223).

Если сообразить, какой хаос и какие вредные последствия происходят от разногласия в мнениях, существующего в нынешних обществах, то, вместо того, чтобы считать силу общественного мнения злом, ее нужно причислить к тем бесчисленным благодеяниям, которые приносит развитие масс, и мне кажется, что едва ли это не одно из первых ее благодеяний. Разнообразие мнений есть, конечно, прямой и непосредственный результат события великого и благодетельного — эмансипации человеческого ума; первое есть необходимое следствие второго и потому составляет существенный признак прогрессивного движения человечества, которое обязано ему многими великими благодеяниями. Но нельзя не видеть, что оно имеет и очень вредные последствия и что с течением времени эти вредные последствия перевешивают приносимую им пользу. Вредные последствия обнаруживаются всегда немедленно; слишком известен исторический факт, что всякий, напр., религиозный переворот, составляющий шаг вперед в истории человечества, сопровождается непременно раздроблением новой религии на бесчисленные секты. Это, разумеется, прямой результат события, которое само по себе благодетельно; но это результат вовсе не благоприятный. Весьма естественно, что всякий новый шаг вперед есть великое благодеяние для человечества, а множество разногласных мнений, непременно сопровождающееся борьбой, если не оружием, то в нравственной сфере и, следовательно, влекущее за собой путаницу в понятиях, есть всегда результат, достойный сожаления. Всякий, кому дорого дело новой религии и кто желает ей торжества, оплакивает несогласия, возникающие между ее последователями, и усилия всех благородных людей бывают направлены к соглашению и примирению сект, на которые она, к несчастию, раздробилась.

Так было после реформации. Последствия разногласия в мнениях между последователями ее были очень пагубны. Но теперь, после великой умственной реформы XVIII и XIX веков, разногласие в мнениях, существующее в настоящее время, приносит несравненно более пагубные результаты, чем тогда.

Оно и немудрено, потому что эта реформа захватила все отрасли мышления, все стороны жизни, так что разногласие проявляется на несравненно большем числе пунктов и касается гораздо большего числа вопросов. Никто лучше Милля не умел представить этого хаоса, этой путаницы, этих противоречий, существующих в понятиях современного общества, и со временем в этом будут видеть главное значение его, как писателя. Почти в каждой статье своей он показывает, как расходятся мнения современников по какому угодно данному вопросу и как далеки они от соглашения. Читая его сочинения, можно вполне оценить вред этой разноголосицы, а в статье об утилитаризме он указывает единственно верное средство найти выход из этой путаницы, — впрочем, не содержанием своей статьи, которая далеко не удовлетворительна, а

тем, что возвращает читателей к учению своего великого учителя Бентама.

Было бы невозможно сделать даже краткий перечень всех вопросов, по которым не сходятся теперь мнения людей, потому что пришлось бы перебрать все вопросы, какие только могут представиться человеческому уму. И чем важнее, чем существеннее вопрос, тем различнее ответы, даваемые на него; самые основные идеи суть именно те, которые подвергаются самым разнообразным объяснениям; более всего расходятся взгляды людей на самые коренные принципы. Милль в статье «Утилитаризм» представляет несколько превосходных примеров этого разногласия. Так, напр., прежде, в эпоху абсолютных теорий, никому не приходило в голову задавать себе вопрос: имеет ли право общество наказывать своих членов за ослушание положительному закону? Все были так твердо убеждены в этом, что подобный вопрос был немыслим; но впоследствии возник вопрос: имеет ли право государство наказывать кого бы то ни было, и если имеет, то на каком основании? На такой вопрос воспоследовало несколько ответов и явилось несогласимое разногласие. Не считая существующих еще приверженцев старой теории, явилось три различных взгляда на этот предмет. Одни полагают, что нельзя никого наказывать для примера или устрашения прочих, но что наказание возможно как исправительное средство. Другие говорят, что никто не имеет права насильственно исправлять свободное лицо, достигшее совершеннолетия; никто не может рассуждать за него, что ему полезно и каким оно должно быть; но находят, что наказание можно допустить для предупреждения зла, как самозащиту общества. Третьи, наконец, утверждают, что наказывать вообще никого нельзя, потому что никто за свои поступки не ответствен. Соображения эти, по словам Милля, приходили на ум всегда. «Чтобы избавиться от последнего из этих трех мнений, — говорит он, — люди признали то, что называется свободою воли, полагая, что можно справедливо наказать человека, воля которого находится в состоянии, благоприятствующем преступлению, если предположить, что она пришла в такое состояние не под влиянием внешних обстоятельств. Любимым средством против других затруднений служила фикция договора, вследствие которой будто бы в какой-то неизвестный период люди обязались повиноваться законам и быть наказуемы за несоблюдение их, дав, таким образом, законодателям право, которого, как предполагают, те не имели бы без этого, — наказывать их для их собственного блага или для пользы общества». (Стр. 365). Но надо заметить, что эта фикция явилась уже тогда, когда значение феодального права пошатнулось; она была уже теорией либерализма и имела целью сочетать взгляды нового времени с старою практикою.

Другой пример, представляемый Миллем, есть вопрос о праве членов общества на вознаграждение за труд. По мнению одних,

общество вовсе не обязано заботиться о благосостоянии своих членов; каждый пусть пользуется тем, что успел приобрести способом, допускаемым законами общества. Другие находят, что общество обязано вознаграждать каждого за труд сообразно с получаемой от него пользой. Третьи утверждают, что каждый член общества имеет равное со всеми прочими право на пользование всеми выгодами, представляемыми обществом, независимо от своих способностей и приносимой им пользы обществу; что общество обязано дать одинаково каждому все необходимое ему для существования; а что касается до вознаграждения за таланты и качества, полезные для общества, то вознаграждаться они могут только уважением общества, влиянием, которым пользуется в нем счастливо одаренная личность, чувством самодовольства и тому подобными естественными последствиями щедро наделенной натуры, а никак не большим количеством пищи и другими материальными выгодами в ущерб и без того менее счастливым людям. Прежде никто таких вопросов не задавал, все соглашались, что степень вознаграждения определяется единственно государственной властью.

Точно в таком же положении находится и вопрос о распределении налогов — третий пример Милля. Прежде, когда все и всё считалось собственностью государства, никому не приходило на ум тревожиться вопросом о том, почему с одного взято больше, а с другого меньше. Было решено, что государство с каждого может взять все и употребить по своему усмотрению; следовательно, никому не нужно было размышлять, почему государство действует в распределении налогов так, а не иначе. Такого вопроса не существовало. Но с развитием политико-экономических знаний возник вопрос о том, как следует распределять налоги так, чтобы никого не обидеть, чтобы каждый платил за удовольствие пользоваться покровительством закона, сколько получает от него удовольствия. Ответов на этот вопрос явилось множество: одни говорили, что должно платить поровну всем; другие — пропорционально с денежными средствами каждого; затем возникли споры о том, в какой пропорции должна быть эта плата и т. д.

Но это пример слишком частный; всякий знает, что точно такое же и даже еще сильнейшее разногласие существует по вопросам гораздо более общим.

Странные мнения породило в наше время это разногласие во взглядах на все вопросы. Многие, видя этот хаос, пришли к убеждению и стали проповедывать его, что не может быть ничего абсолютно верного и истинного, что ни один взгляд, ни одно мнение не имеет решительного преимущества над другим, и что один принцип выше и справедливее другого только для того лица, которому он принадлежит или которое разделяет его. Рассуждая, что все само по себе ни дурно, ни хорошо, ни честно, ни подло, пришли к полному индиферентизму. В наше время нередко мо-

жно слышать мысль, которая в старину никому не могла притти в голову: что всякое мнение должно быть равно уважаемо и что можно не соглашаться с ним, но нельзя оспаривать права иметь его, потому что абсолютно истинного и честного нет, а, следовательно, каждый прав с своей точки зрения, как бы ни были противоположны их взгляды. Терпимость в отношении к этим проповедникам терпимости — самая худшая из всех терпимостей. Невозможно ничего выдумать более развращающего, как подобная терпимость. Неужели же, в самом деле, так-таки и нельзя решить, какой взгляд на данный предмет истинен, верен и честен? Неужели же, в самом деле, расходясь с каким-нибудь Катковым в мнении, я не могу не сознаться, что в сущности он так же прав, как и я, что его мнение нисколько не глупее моего и не менее честно и верно, как и мое? Неужели честный деятель, умирая, не может вознаградить себя за жертвы и труды целой жизни сознанием своей правоты и своей честности, а должен сознаться, что он ничем в сущности не выше какого-нибудь пошляка и что с своей точки зрения тот так же прав, как и он? Если все это так, то до чего же глуп тот, кто еще дорожит своими мнениями, кто не продает свои убеждения за какую угодно цену, хоть по четвертаку за пару. Надо благодарить небо, что еще находятся люди, скупающие такую дрянь, как человеческие убеждения, и молить его, чтобы хватило на мой век таких дураков.

Многие, и по крайней мере, повидимому, не без основания, полагают, что это действительно так, что действительно не существует никакого критериума, чтобы отличить доброе от злого, честное от подлого, высокое от низкого. Смотря объективно,—говорят они,—все мнения по данному вопросу должны считаться равно честными, верными и хорошими. Разделяя какое-нибудь воззрение, я, конечно, не могу допустить противного; но тем не менее я должен, по их мнению, уважать его, т. е. видеть в нем выражение образа мыслей так же честного и хорошего, но смотрящего на предмет с другой точки зрения, чем смотрю я, видящий его под иным углом.

Противники утилитаризма ссылаются на слова его же защитников, которые говорят:

«Я люблю, я ненавижу» — вот на чем вертятся все рассуждения об отличии добра от зла, честного от подлого, высокого от низкого. Поступок признается дурным или хорошим, смотря по тому, нравится ли он или не нравится человеку, судящему о нем. И он решает вопрос самостоятельно, безапелляционно; он не считает нужным оправдывать свое чувство какими-нибудь соображениями, касающимися блага общества. «Таково мое внутреннее убеждение, я так чувствую; чувство не советуется ни с кем; горе тому, кто думает иначе! — тот не человек; это — чудовище, имеющее только облик человеческий!» — таков деспотический тон этих приговоров.

«Но, скажут, быть может, разве есть столь бестолковые люди, чтобы обращать в законы свои личные чувства и присвоивать себе привилегию непогрешности? То, что вы называете принципом симпатии и антипатии, вовсе не принцип; это скорее отрицание, уничтожение всякого принципа. Он порождает полную анархию идей, потому что если каждый будет иметь равное со всеми прочими людьми право полагать свое личное чувство законом для всех, то не будет никакого общего критериума, никакого всесветного трибунала, к которому можно бы было апеллировать.

«Действительно, нелепость этого принципа слишком очевидна; поэтому люди не решаются открыто говорить друг другу: «Я хочу, чтобы ты думал, не рассуждая, так, как думаю я». Против столь сумасбродного притязания восстал бы каждый; но, чтобы скрыть это притязание, прибегают к разным уловкам; деспотизм мнений прикрывается ловкими фразами. Доказательством этого может служить большинство систем нравственной философии.

Итак, говорят нам, вы не можете сослаться ни на одно из тех оснований, которых доселе держалась нравственная философия. Вы не имеете ничего такого, что бы так хорошо оправдывало ваши убеждения, как разнообразные фразы тех, кого вы называете презрительно последователями принципа симпатии и антипатии. Вы не можете, подобно Прудону, верить в свои убеждения во имя абсолютной справедливости. Вы не можете апеллировать для своей защиты к здравому смыслу, естественному праву, нравственному чувству, совести и т. д. Если X действительно О или если под ним, какое бы пышное название он ни носил, скрывается просто произвол личного вкуса и фантазии, — где же тогда будет разница между добрым и злым, и не правы ли индиферентисты, проповедывающие терпимость и уважение ко всяким мнениям?»

По мнению последователей утилитаризма, выйти из этого затруднения можно, только решив, что такое называется добром и злом; на этот вопрос они отвечают так: Все суждения и поступки человека находятся в прямой зависимости от двух различных родов ощущений, свойственных ему: от наслаждения и страдания. Человек считает и называет злом все, что причиняет ему страдание, а все, что доставляет ему наслаждение, он называет добром. Никто не избавлен от влияния наслаждения и страдания, хотя есть много таких, которые приписывают свои суждения и поступки совершенно иным мотивам; нет никого, кто называл бы добром то, что доставляет ему только страдание, или злом то, что приносит ему только наслаждение; но есть много таких, которые думают и говорят, что понятие их о добре и зле совершенно независимо от личных их ощущений; что человек может сознательно избрать, как добро, то, что доставляет ему лишь страдание, или отвергнуть, как зло, то, что дает ему наслаждение. Такое мнение,

разделяемое очень многими, даже, можно сказать, большинством, не признается утилитаристами. Повидимому, не может и не должно быть никакого сомнения в том, что человек может желать только того, что доставляет ему наслаждение или что избавляет от страдания, и не желать только того, что причиняет последнее, так что добро совершенно тождественно с первым, а зло — со вторым. «Мне кажется, — говорит Милль, — что, обратившись беспристрастно к самосознанию и наблюдению самого себя и других, мы убедимся, что желать вещь и находить ее приятною, чувствовать к ней отвращение и считать ее неприятною — совершенно неразлучные явления или, лучше сказать, части одного и того же явления; собственно говоря, два различные названия для одного и того же психологического факта. Считать какой-нибудь предмет желательным (не ради его последствий) и считать его приятным — одно и то же, и желать чего-нибудь, что неприятно, — физическая и метафизическая невозможность». («Расс. и иссл.», стр. 346). Итак, если человек желает только приятного и не желает неприятного, то это можно другими словами выразить так, что единственная цель человека — счастье; человек только и стремится достичь благополучия, сохранить и увеличить его. Все, что препятствует благополучию, уменьшает или уничтожает его, все вредное для счастья есть зло. Все, что способствует ему, все полезное для счастья — добро. Следовательно, критерий для отличия добра от зла есть, по мнению утилитаристов.

Но, говорят противники утилитарной системы, разве может утилитаризм создать какую бы то ни было нравственность, а тем более общественную? Разве система, проповедующая прежде всего эгоизм, поощряющая стремление к личной пользе, отрицающая самопожертвование, — разве такая система может создать какую бы то ни было нравственность? Если бы она была признана, то каждый негодяй имел бы полное оправдание во всех своих подлостях, потому что какие же доводы можно бы было против него привести, на каком основании осудить? Ведь он действовал, имея в виду только личную пользу; а так как утилитаризм признает это вполне законным, то на каком же основании он осудит такое лицо? Гораздо вероятнее, что при господстве такой системы каждый ловкий мошенник, каждый бессовестный эгоист будут пользоваться общим уважением и служить образцами нравственности. Об общественной нравственности и говорить нечего; может ли существовать какая-нибудь общественная нравственность, когда каждый будет тянуть в свою сторону, действовать только в видах личного интереса? И каково будет состояние общества, где стремление к личной выгоде будет признано вполне законным и потому не будет ничем сдерживаться? Это будет вечная война всех против каждого и каждого против

всех. Из этого заключают, что безнравственнее, вреднее и несправедливее утилитарной ситемы ничего быть не может.

Все эти доводы против нее повторялись так часто, что приобрели даже, несмотря на крайнюю несостоятельность свою, некоторую популярность. Очень многие повторяют их, и весьма немногие заметили, что это описание бедствий, которые воспоследовали бы, по мнению говорящих, за признанием утилитарных начал, есть довольно верное описание нынешнего общественного порядка. Действительно, люди теперь, как и всегда, стремятся к счастью, к тому, чтобы получить как можно больше наслаждения и как можно меньше страдания; они всегда искали, ищут и будут искать того, что им лично полезно или приятно; утилитаризм вовсе не проповедует, что так должно быть, а только говорит, что так есть и иначе не будет, и что, поэтому,надо примириться с этим фактом и соображаться с ним. Таким образом, самое стремление к личному счастью господствует во всяком человеческом обществе. Оно нисколько не слабее в теперешнем обществе, отвергающем большинством голосов утилитарное воззрение, чем будет в том, которое, наконец, признает его. Но в этом зла и нет, или, по крайней мере, горевать об этом так же странно, как и о том, отчего люди не могут летать. Беда нынешнего общества в том, что громадное большинство совершенно не знает, что ему полезно; что оно, как малое дитя, часто хватается за все блестящее, причем нередко обжигается; что оно не умеет выбирать между полезным и вредным и что понимает полезное именно так, как философствующие противники утилитаризма, еще более укрепляющие в нем это ложное понятие. Большинство людей еще до того неразвито, что потребности его крайне ограничены и способность наслаждаться необыкновенно узка. Для большинства счастье состоит еще только в удовлетворении самым грубым, животным желаниям; идеал счастья сводится к тому, чтобы сладко есть и мягко спать. Для этих целей люди жертвуют своим достоинством, честью, спокойствием, т. е. переносят общее презрение и проходят всякие мытарства. Мизантропы, жалующиеся на человеческие пороки, говорят обыкновенно, что добросовестный человек осужден в жизни на несчастье. Но это совершенно ложно; напротив того, неразвитость и проистекающая из нее порочность — вот источник большей части человеческих страданий. Если мы посмотрим на неразвитое общество, то увидим, сколько зла терпят в нем люди единственно по своей порочности; для них все становится несчастьем, и они так умеют вредить себе, что, если бы не глупость их, можно было бы подумать, что цель человека — не счастье, а, напротив, бедствие. Семейные и общественные отношения, любовь супругов и отношения между детьми и родителями, между членами ассоциации, общества или государства, личные, материальные блага,—словом, все источники счастья для человека становятся в неразвитом обществе источниками несчастья. Вместо удо-

вольствия семейные и супружеские отношения порождают самые тяжкие страдания, и нередко человек проводит одну треть жизни в борьбе с тяжестью своих отношений к родителям, другую — с бременем супружеских отношений, а третью — с горечью отношений к детям. Между тем никто, я думаю, не сомневается, что сама по себе любовь между супругами и между родителями и детьми, естественные чувства, существующие между ними, могут быть лишь источником наслаждения, а никак не страдания. Наслаждение, какое могут доставить человеку эти чувства, которые испытывает почти каждый, так велико, что оно одно может с избытком вознаградить за многие страдания, насылаемые на человека внешними, не зависящими от него обстоятельствами. Если вместо того мы почти везде встречаем, что чувства эти и эти отношения порождают несчастия и горесть, то необходимо должны приписать это неумению людей, стоящих на такой степени развития, не только открывать новые источники счастья, но даже пользоваться существующими. Таким образом, мы видим, что одного естественного и свойственного всем стремления к счастью недостаточно для достижения этой цели и что при низком умственном и нравственном развитии на деле выходит, что люди все-таки вредят себе вместо того, чтобы приносить пользу.

Точно то же представляют и общественные отношения между людьми. Всякий знает, что они могут быть источником наслаждения, когда в них господствует взаимная любовь, доверие, уважение, когда человек видит в окружающих людях не врагов, готовых всегда посягнуть на его счастье, а друзей, расположенных поддерживать это счастье и помогать ему в несчастьи. Всякому знакомо счастье иметь друзей и несчастье иметь врагов, и потому никто не затруднится в выборе отношений, в которых он желал бы находиться к членам общества, где он живет. Однако поступки большинства таковы, что можно подумать, что вражда и злоба есть желательное чувство, а не любовь и доверие, или что люди добиваются не счастья, а горя. Ясно, что так как это неправда, то только неуменье приобрести и сохранить счастье порождает столь уродливое явление. В обществе мы на всяком шагу встречаем людей, которые всю жизнь свою обманывают, лгут, вредят всячески другим, враждуют со всеми, притесняют, кого только могут, и все это для достижения счастья в том виде, как они его понимают. Но мы видим, каковы последствия этого; такой образ действия производит только то, что таким людям приходится переносить всю тяжесть общей ненависти, общего презрения, общего недоверия. Конечно, никто не скажет, чтобы эти последствия были кому-нибудь приятны или что кто-нибудь может оставаться к ним равнодушным. Если человек до такой степени ограничен, что не испытывает нравственных страданий, проистекающих из таких отношений к обществу, то он во всяком случае терпит их материальные невыгоды; ненавидимый всеми, он всех

боится и находится в вечном трепете за те ничтожные животные блага, которые он купил такой дорогой ценою; всеми презираемый, он осужден на сообщество ему подобных негодяев и должен постоянно опасаться козней таких сообщников; всеми подозреваемый, он находится в невозможности успевать там, где человек, пользующийся доверием, успел бы без труда. Наконец, когда вечная борьба его со всем обществом и общая ненависть к нему приводят к бедственным для него результатам, когда он лишается всех столь дорого купленных выгод и когда к нравственным бедствиям присоединяются материальные, тогда презрение, не смягчающееся перед горем, ненависть, неумолимая даже перед страданием, месть, преследующая даже несчастного, недоверие, подозревающее даже просьбу о пощаде и помощи, делают участь этого человека невыносимо страшной, и бедствия его непомерно перевешивают те мелкие наслаждения, которые доставил ему в прошлом его образ действий. Многие смеются над драмами и романами, где в конце порок страдает, а добродетель вознаграждается. Драма или роман, где это изображено, могут быть сами по себе очень нелепы и достойны насмешки; но насмешка над идеей о невыгоде порочности и выгоде добродетели свидетельствует только о безнравственности общества, в котором такая насмешка имеет успех. Это общество не может быть нравственно, потому что не понимает сущности добродетели, состоящей в том, что она полезна. Так как люди всегда стремятся только к тому, что им полезно, то непонимание пользы добродетели заставляет их обращаться к пороку, в котором они думают найти выгоду, но находят только бедствия.

Приняв все это в соображение, можно легко ответить на софистические упреки, делаемые утилитаризму. Неправда, что преследование личного счастья ведет к безнравственности и порочности; безнравственность вредна для счастья,—следовательно, разумный эгоизм будет стремиться к нравственности; только неразвитый человек может думать, что возможно достигнуть счастья порочным путем, что порок может быть полезен. Но тот, кто разделяет принципы утилитаризма, кто отождествляет добродетель с благом, а порок с вредом, тот будет действовать всегда нравственно. Только нынешнее неразвитое большинство, только теперешние тупоумные моралисты могут думать, что разумный человек может искать выгоды бесчестными средствами, и это потому, что они берут пример с самих себя, что у них действительно польза и добродетель составляют две отдельные, часто противоречащие друг другу сферы. — Ничто, быть может, так не доказывает ограниченности понятий большинства, как возражения против утилитарного воззрения. Беспрестанно приходится читать и слышать против него опровержения, основанные на том, что возражающие предполагают, будто польза и выгода состоят непременно в материальных благах, покупаемых ценою нравствен-

ных; между тем как утилитарист, как человек развитый, всегда поставит нравственные наслаждения выше материальных, потому что, как говорит Милль, «первые несравненно продолжительнее, прочнее и дешевле и проч.». Противники утилитарного воззрения во всех опровержениях своих предполагают всегда, что человек, ищущий полезного, непременно должен хвататься за все, что обещает ему непосредственное и ближайшее удовольствие; им непонятно, что благоразумный человек в видах собственной выгоды чаще предпочтет ближайшее страдание ближайшему удовольствию, если видит, что это страдание ведет в будущем к несравненно сильнейшему наслаждению, между тем как это удовольствие будет сопровождаться в будущем тяжким страданием. Но всего нелепее оказываются эти рассуждения в вопросе о личной выгоде. Когда утилитарист говорит, что цель его — достичь высочайшего личного счастья, противники его поднимают вопль, потому что, по их мнению, стремление к личному счастью непременно исключает собою общее благополучие; человек может не иначе искать своего личного счастья, как в ущерб счастью всех прочих. Для всех этих нелепостей оправдание или, по крайней мере, объяснение, конечно, существует в настоящем положении общества; в нем действительно большинство часто покупает материальные выгоды ценою нравственных, хватается за ближайшее удовольствие, не рассчитывая последствий его, понимает свое личное счастье не иначе, как идущим вразрез с общим благополучием. Но я уже старался показать, что это индивидуалистическое общество своими понятиями о своей выгоде наживает себе только беду; что такой узкий, ограниченный взгляд на личное счастье каждого, в силу которого каждый не иначе думает осуществить его, как в ущерб счастью всех, делается только источником бедствий и для всех, и для каждого порознь. Стремление к личному счастию ведь не уничтожается оттого, что это счастие понимается так узко и так исключительно. Оно все-таки остается, но вместо счастья приносит лишь несчастье, и изображение общества, живущего по принципам утилитаризма, делаемое противниками этих принципов, является, таким образом, верною картиною именно нынешнего общества, где при всеобщей нескладице мошенничество может иногда быть не только материально выгодно, но где даже, как ни редки эти случаи, мошенник может бесчестными средствами приобрести такое положение, куда до него не досягают презрение и ненависть общества, откуда он может смеяться над ними и, унижая общество, заявлять даже свои собственные права на презрительное отношение к нему. Впрочем, читатель знает, что таких примеров в новейших обществах вовсе не встречается и что за ними следует обращаться к древней истории. Зато в нынешних обществах несравненно менее, чем в древних, может заходить речь об общественной нравственности; в

было сильно развито чувство гражданина, живо чувствовалась солидарность каждого отдельного лица с государством; ни один гражданин не мог, не рискуя подвергнуться презрению и наказанию, обособить свои выгоды, отделить личный интерес от общего; никто не считал себя счастливым, если государство находилось в беде, а слава и благоденствие государства утешали и несчастного. Если это чувство солидарности своей с обществом не приносило тех плодов, которые могло бы принести теперь, если оно не устраняло многих плачевных явлений, — то беда была в том, что это было чувство негуманное, обращенное не на живых членов общества, а на мертвую идею. Те самые римские аристократы, которые совершали для государства изумительные подвиги самоотвержения, действовали с возмутительной жестокостью и хладнокровным эгоизмом относительно плебеев и рабов. В нынешнем же обществе нет даже и этого: люди большею частью не только равнодушны к бедствиям других людей, но даже к общественным. Пусть большинство страдает, умирает с голоду, не знает, куда преклонить голову, — что до этого человеку, который сыт и доволен своим положением! Общественный интерес имеет для него лишь одно значение: не грозит ли опасность его благосостоянию, не намерен ли кто посягнуть на его счастье, не дошло ли уже дело до того, что нужно пожертвовать несколько тысяч на бедных и усилить полицию. Да и может ли быть иначе в обществе, где считается несомненной аксиомой, что личный интерес по существу своему неизбежно противен общему; где философы и моралисты проповедуют, что преследование личного счастья идет необходимо в ущерб общему благосостоянию, — короче, где утилитаризму делаются те упреки, которые ежедневно слышатся в наших обществах. Вот, напр., как рассуждают об этом люди, имеющие претензию на высокую нравственность и философский ум: «Цель эгоизма,— говорит Жуффруа («Cours de droit naturel», II, 61 (³)*, — есть высшее наслаждение или счастье. Но ничто так не противно счастью, как эгоизм, потому что, если вы ищете преимущественно удовлетворения ваших личных склонностей, то достигнете не высшего, а наименьшего удовольствия, ибо вы лишаете себя наслаждений, соединенных с удовлетворением любви к ближним, составляющих важный элемент счастья. Эгоизм есть узкая любовь к себе, а любовь к себе и эгоизм суть чувства не только не тождественные, но даже противоположные». В этих словах как нельзя лучше выражена вся сущность всех возражений, делаемых утилитаризму. Между тем бестолковее их трудно что-нибудь придумать. Если любовь к себе хлопочет о высшем личном счастьи, а высшее счастье доступно только тому, кто симпатизирует не одному только себе, а всему обществу, то не ясно ли, что эгоист, не сочувствующий никому, кроме себя самого, и понима-

* Курс естественного права. —

ющий личное счастье так узко, — просто глуп и неразвит? Если вследствие этого он не только не достигнет счастья, а, напротив, окажется несчастным, то ясно только докажет, что глупый и неразвитый человек не может быть счастлив вследствие своей глупости и неразвитости. Больше ничего из всего этого не выходит. К чести людей надо впрочем заметить, что если много было нелепых криков и бестолковых доводов, вроде только-что приведенного, против утилитаризма, то в сущности ни одна система, ни одна теория нравственности не расходились с ним в правилах морали, хотя все они выводили эти правила из оснований, совершенно противоположных утилитаризму.

Все они и все защитники их, как бы ни восставали против утилитаристов, признают, однако, непреложной истиной, что «добродетель полезна, а порок вреден». Многие из них, конечно, повторяют прописное изречение, что «путь порока усыпан розами, а стезя добродетели покрыта терниями»; многие, конечно, говорят, что их принципы диаметрально противоположны утилитарным. Однако никто не решится сказать, что добродетель когда-нибудь расходится с пользой, что она может быть вредна. Такое мнение считалось бы в высшей степени безнравственным и дерзким. Тот же самый Жуффруа говорит: «Между верно понятой выгодой и нравственными законом нет противоречия... Конечно, цель добродетели отлична от цели страсти и эгоизма; но цели эти не только не противоречивы друг другу, но даже согласны между собою; поэтому нет добродетели, которой не помогли бы страсть и верно понятый интерес. Борьба между ними происходит только от ослепления страсти или от ошибки эгоизма». («Droit natur.» I, 50—52). Так же решительно говорят об этом и другие юристы, не менее Жуффруа враждебные принципам утилитаризма.

«Некоторые дают ложное значение слову польза, понимая под ним только грубую и материальную выгоду. Барбейрак говорит: «Нужно при этом избегать двух крайностей: одни, смешивая честность с пользой и меряя пользу на аршин личной выгоды, уничтожают таким образом добродетель, порок, естественное право, нравственность; другие, справедливо полагая, что добродетельные поступки согласны с правилами естественного права, непременно полезны всем людям повсюду, смешивают пользу с естественной честностью поступков». Но на это достаточно возразить, что под пользой разумеется польза благородная и верно понимаемая. Когда мы имеем верное понятие о пользе, когда мы видим в ней преимущественно совершенство нравственное, которое доставляет нам благополучие и любовь творца, то почему же опасно смешивать эту пользу с честностью? Скажем более: Учение тех, которые, отде-

ляя честность от пользы, утверждают, что бывают честные вещи, но не полезные, и полезные, но не честные, что учение это, как заметили еще древние, вредно и непрочно. Заключаем словами Горация:

Atque ipsa utilitas, justi prope mater et aequi.

(И сама польза, мать справедливого и честного)

(Vattel. Droit des gens. T. I, 20—22) (4).

Итак, сами противники утилитаризма говорят то же, что и он, а именно, что добродетель и польза идут вместе одной дорогой. В этом отношении разница между утилитарным мнением и противоположными воззрениями и т. п. не так важна. Первые говорят, что добродетель и польза тождественны, вторые — что они непременно совместны, хотя и различны по сущности. Как бы то ни было, но несомненно то, что из принципов утилитаризма совершенно логично и ясно для всех вытекают правила общественной нравственности. Узкий эгоизм, заботящийся исключительно о самом себе, о своей индивидуальной материальной выгоде, порочен, по мнению утилитаристов, столько же, сколько и по мнению их противников, с тою разницею, что первые считают его порочным потому, что он вреден и для личного, и для общего счастья, а вторые — потому, что, кроме своей вредности, он противоречит нравственному закону.

Но именно в общественной морали и открывается великое значение утилитарных принципов и важность, даже крайняя необходимость правильного разумения их для достижения общественного и частного благополучия. Признав за несомненное то, что другими тщетно отрицается, а именно, что человек всегда стремится к личному счастью; доказав затем, что это стремление не может быть вполне и прочно удовлетворено при ложном, узком, тупом понимании своего интереса в смысле материальной и индивидуалистической, антигуманной и антисоциальной выгоды, — утилитарист заключает, что принцип личной пользы требует, чтобы никто не отделял свой частный интерес от общего. Он требует, чтобы просвещение и мораль были преимущественно направлены к внушению людям убеждения в солидарности частного интереса с общим и «чтобы законы и социальное устройство поставили индивидуальные выгоды в возможно большую гармонию с социальными». (Милль). Люди уже научились во многих случаях предпочитать минутное, хотя, быть может, и более блестящее, наслаждение более прочному, но менее блестящему; они научились даже во многих случаях предпочитать непосредственное страдание, за которым следует продолжительное наслаждение, непосредственному наслаждению, сопровождающемуся вредными следствиями. В понимании этого человечество сделало некоторые, хотя, по правде, ничтожные, успехи, и опыт учит этому ежедневно каждого

человека в отдельности. Однако все эти успехи будут слишком ничтожны и не будут иметь заметных результатов для общего блага, пока в людях не разовьется то чувство и то понимание, которое утилитаризм признает безусловно необходимым для счастья всех вообще и каждого в частности. Это есть чувство и понимание своей солидарности с обществом, гуманность, симпатия к людям; это — чувство и понимание неразрывной связи между своим личным счастьем и счастьем других. Здесь необходимо привести мудрое и глубокое замечание Милля, за которое ему можно простить много грехов, тяготеющих на нем как на писателе.

«Многие нравственные теории, — говорит он, — созданные искусственно, исчезают по мере умственного развития перед разлагающей силой анализа; если чувство долга, соединенное с идеей утилитаризма, явится таким же произвольным, если ему нет отзыва в нашей душе, если нет никакого сильного чувства, с которым гармонировала бы эта идея, — нет ничего, что бы заставило нас считать ее присущею нам и не только развивать ее в других (на что у нас есть довольно эгоистических причин), но и сохранять в себе самих; если бы, одним словом, не было естественного основания для утилитарной нравственности, то легко могло бы статься, что анализ разрушил бы эту идею, даже привитую воспитанием.

Но, — продолжает мыслитель, — существует такое основание, такое сильное внутреннее чувство, и оно-то составит силу утилитарной нравственности, когда общее благо будет признано за принцип этики. Это твердое основание — чувство общественности, присущее человечеству, желание быть заодно с нашими ближними, — желание, которое теперь уже составляет великое начало в человеческой душе; и, к счастью, это одно из тех начал, которые и без всякого особенного возбуждения вкореняются все сильнее и сильнее под влиянием развивающейся цивилизации. Жить в обществе так естественно, так необходимо, так привычно человеку, что только в каких-нибудь исключительных случаях, с помощью произвольного усилия, он может смотреть на себя не как на члена общества. И эта идея развивается все более и более, чем больше человечество удаляется от состояния ясной независимости. Потому всякое условие, необходимое для жизни общественной, связывается все неразрывнее и неразрывнее в представлении каждого с понятием о том порядке вещей, при котором он рожден и который составляет необходимое условие существования человека. А общество между людьми, за исключением отношений господина и раба, очевидно, возможно только под условием, чтобы интересы всех были соблюдены. Общество между равными может существовать только тогда, когда они поймут, что интересы всех должны быть равно уважаемы. И так как во всех образованных государствах каждый человек имеет равных, то

каждый должен жить с кем-нибудь на таких условиях, и с каждым столетием мы подвигаемся к такому положению общества, когда нельзя будет жить постоянно с кем-нибудь на других условиях. Люди мало-по-малу перестают понимать возможность совершенного неуважения к интересам других. Они видят себя в необходимости воздерживаться, по крайней мере, от самых грубых правонарушений и, хоть для собственной безопасности, постоянно протестовать против них. Они привыкли действовать заодно с другими и ставить двигателем своих поступков (хоть на время) коллективный, а не индивидуальный интерес. Пока они действуют вместе, их цели тождественны с целями других; у них является, хотя на время, сознание, что интересы других — их собственные. Все, что теснее скрепляет общественные узы, все, что способствует здоровому развитию общества, — заставляет каждого индивидуума принимать не только более живое практическое участие в благосостоянии других, но все более и более сочувствовать их благу, как своему собственному, или, по крайней мере, более уважать его на практике. Человек приходит, хотя инстинктивно, к сознанию, что он необходимо обязан принимать во внимание интересы других; для него становится так же естественно и необходимо заботиться о благе других, как и исполнять физические условия своего существования. Сильно или слабо это чувство, но собственный интерес и симпатия к другим заставляют выказывать его и поощрять в других; даже и для человека, вовсе лишенного этого чувства, важно, чтобы другие имели его. Вследствие этого самые маленькие зародыши этого чувства удерживаются и развиваются под влиянием симпатий и воспитания; целая сеть вспомогательных обстоятельств опутывает его могучим влиянием внешних санкций. Такое понимание себя и жизни становится более и более естественным по мере развития цивилизации. Каждый шаг на пути политического прогресса помогает ему, устраняя источники противоположных интересов, сглаживая те неравенства узаконенных привилегий для индивидуумов или классов, благодаря которым до сих пор еще может быть выгодно не уважать интересов большей части человечества. С развитием прогресса все более и более усиливаются влияния, которые стремятся внушить каждому индивидууму чувство его единства со всеми прочими; чувство это, доведенное до совершенства, помешает ему даже желать для себя той выгоды, которой не могут воспользоваться другие. Если предположить теперь, что этому чувству единства будут учить, как религии, что вся сила воспитания, учреждений и мнений будет направлена к тому, чтобы запечатлеть его с детства в уме человека и наставлениями, и примерами, то, я думаю, никто не усумнится в достаточности верховной санкции для нравственной теории счастья». («Рассужд. и исслед.», стр. 338—340).

Я вполне уверен, что читатель не остался недоволен тем, что

я привел такую длинную выписку из Милля, потому что на этих двух страницах как нельзя лучше и обстоятельнее развиты основания общественной и частной морали утилитаризма. Прочитав это, самому недогадливому читателю должно сделаться совершенно ясно, каким образом человек, следующий учению утилитаризма, может совершать высочайшие подвиги самоотвержения и самопожертвования, являться в глазах всех благодетелем общества, добровольно итти за благо других на страдания и изумлять самых строгих стоиков величием приносимых им жертв. Пошлый метафизик, пониманию которого недоступно то высокое чувство, о котором говорит Милль и которое может принадлежать только в высшей степени развитым людям, скажет про такого человека, что он жертвует личным счастьем для общего, понимая это так, что такой образ действий не приносит деятелю ничего, кроме страданий и несчастия. Но утилитарист скажет, что этот человек так же стремится к личному счастью и не более, как и самый грубый и узкий эгоист; что разница между ними только в глубине понимания личного счастья, в широте воззрения на него, а не в целях; цель у обоих одна — личное наслаждение, но они различно понимают его; и самый грубый и неразвитый эгоист, если только не совершенный идиот, делает иногда, хотя в узких размерах, то же, что этот герой и добровольный мученик, т. е. добровольно покупает ценою небольшого страдания сильное наслаждение. Герой, поступая самоотверженно, делает то же, не более; его образ действия выбран им потому, что доставляет ему высокое наслаждение, покупаемое им ценою, быть может, страшных, но сравнительно ничтожных страданий. Он соглашается итти на страдания не потому, чтобы самое страдание казалось ему привлекательным, а потому, что находит его для себя выгодным, потому что покупает им себе высокое наслаждение или еще потому, что знает, что избегнуть его он может не иначе, как ценою другого, несравненно сильнейшего страдания. Подобно тому, как прежде люди выдерживали самые жестокие пытки, чтобы не быть казненными за признание, как и теперь люди добровольно подвергают себя мучительным операциям, чтобы не умереть, так точно человек может пойти на суровые лишения и сильные физические муки, чтобы не подвергнуться страданиям нравственным или чтобы достигнуть высокого нравственного наслаждения. Кто вообразит, что человек, жертвующий собою таким образом, разумно, осмысленно, с пользой для общества, достоин меньшего уважения, чем сумасброд, погибающий, сам не зная зачем, без пользы для себя и для других — кто вообразит это, тот обнаружит этим изрядное тупоумие. Но еще плоше окажется тот, кто совершенно не поймет этого, кто неспособен уразуметь, каким образом человек в видах личной выгоды может предпочесть физическое страдание нравственному наслаждению; кто не знает даже, что пожертвование собою для счастья других может доставлять

высокое личное наслаждение, которое было бы, конечно, еще выше, если бы могло обойтись без этого пожертвования, без личного страдания. Плох, говорю я, тот, кому невдомек, что человеку выгодно и приятно отдать даже жизнь свою за свои убеждения, то есть за торжество того, что он считает благим, естественным, святым, короче — полезным. Кто всего этого не постигает, тот, значит, самый узкий, самый неразвитой, самый грубый эгоист, как бы красноречиво ни проповедывал он мораль; от такого человека должно постоянно ожидать, что он продаст свои убеждения и всю свою красноречивую мораль за самую дешевую цену — за избавление от ничтожнейшей неприятности, за получение ничтожнейшего удовольствия.

Показав, каким образом высшая нравственность, как частная, так и общественная, логически может вытекать из принципов утилитаризма, и доказав, что на основании этих принципов можно согласить стремление к личному счастью, присущее всем, с счастьем общим, необходимым для всех, — остается еще ответить на один вопрос: почему и каким образом принцип пользы может служить верным мерилом нравственности? Надо теперь ответить на тот вопрос, с которого мы начали: каким образом этот принцип дает всегда средство отличить честное от бесчестного, доброе от злого; почему именно на основании этого принципа нравственные понятия, разумение доброго и честного утверждаются прочно и не могут подлежать тем противоречивым, сбивчивым, друг друга уничтожающим толкованиям, которым подвергаются теперь? Но этот вопрос мы уже почти решили предшествовавшими рассуждениями. Так как доброе и честное тождественно с полезным, а злое и подлое с вредным, то, само собою, без дальнейших соображений, ясно, что принцип утилитаризма может служить верным мерилом нравственности. Но есть еще другое основание того, почему именно этот принцип безошибочен в этом отношении. Основание это, прекрасно развитое и доказанное Бентамом, состоит в следующем. Для того, чтобы различие между добрым и злым, честным и подлым было прочно, чтобы оно не подлежало произволу личного толкования и понимания, необходимо, чтобы принципы, из которых оно вытекает, стояли выше индивидуального произвола; чтобы они были внешни тому, для кого имеют претензию быть обязательными. Все философские принципы, кроме принципа пользы, не соответствуют этому требованию. Возьмем, например, принцип справедливости, на который опирается Прудон. Очевидно, что для каждого справедливо то, что он таковым находит, и что каждый может понимать справедливость по-своему, полагать ее, в чем ему угодно, потому что не существует другой справедливости, кроме личного понятия о ней в уме каждого индивидуума, способного рассуждать. Если кто-нибудь навязывает другим свое понятие о справедливом, это просто деспотизм, ни на чем не основанный,

потому что ведь он не может сослаться в защиту своего понятия ни на какой осязательный и не подлежащий сомнению факт. Так как многие имеют свое, совершенно противоположное понятие о справедливом, то и происходит то разногласие во взглядах на все предметы, о котором было говорено выше и примеры которого мы видели.

Иногда говорят торжественно: «Справедливость едина, — следовательно, в приговорах ее не может быть ни разногласия, ни сомнения». Но это значит только, что в уме говорящего таким образом существует только одно понятие о справедливом, что и без того ясно; но это не мешает десяти говорящим иметь каждому свое особое понятие о справедливом, и они могут между собою подраться, а все-таки не решат, чье воззрение истинно, потому что никто из них не может сказать остальным девяти: вот сама справедливость; слушайте и повинуйтесь; взгляните и убедитесь! Такой справедливости, которая представляла бы собою внешний факт, доступный опыту и наблюдению, не существует. Следовательно, все, что основано на этом принципе, всегда будет произвольно и индивидуально.

Польза же есть принцип внешний относительно управляемых им личностей. Она состоит из фактов материальных, неоспоримых, наглядных, доступных наблюдению, но недоступных произволу индивидуального толкования. Она в каждом данном случае может быть оценена безошибочно и возведена в закон, обязательный для всех. Если общество признает принцип, положим, справедливости, то человек, поступивший подло и во вред другим, может всегда сослаться на свое собственное понимание справедливости, и мы имеем довольно примеров противоположных мнений о всевозможных предметах, с точки зрения справедливости, чтобы знать, что договориться с ним невозможно. Но если общество признает руководящим принципом своим принцип пользы, то негодяю, поступившему подло, отговорки нет. Ему прямо укажут на факт, т. е. на вред, нанесенный им, и тут уже не может быть никаких возражений.

Ясно, стало быть, что принцип пользы может служить основанием морали и этики. Руководствуясь им, каждый может безошибочно судить, если одарен рассудком, о том, что хорошо и что дурно, что чисто и что подло, и разногласия во взглядах на вопросы нравственности быть не может. Последователь утилитаризма уже не скажет, что должно уважать всякое мнение, потому что знает, что из двух мнений, противоположных друг другу, одно непременно ложно и вредно, следовательно, не имеет ни малейшего права не только на уважение, но и на терпимость, и должно быть горячо преследуемо всеми мерами, которые могут быть применены без ущерба для других целей. Во имя принципа пользы честный человек вполне сознает свою честность, и это сознание есть одно из величайших наслаждений, которое разум-

ный утилитарист не продаст за материальные, непрочные блага и за сохранение которого согласится страдать.

На прочих статьях 3-го выпуска «Рассуждений и исследований» я уже не буду останавливаться. Скажу только, что первая из них — разбор книги Токвиля о демократии — заключает в себе много очень дельного рядом с самыми безобразными чертами социальных мнений автора. В примерах последних укажут на желание Милля, чтобы в обществе (по крайней мере английском) во веки веков существовали три класса: 1) земледельцев, 2) людей досужих (?) и 3) ученых для того, чтобы поддерживать мнения (и, конечно, учреждения, как следствия мнений), противные мнениям массы. Что касается до статьи мистрисс Милль об эмансипации женщин(5), то вопрос этот не только известен лучшей нашей публике по статьям «Современника», но даже окончательно решен в теории, благодаря этим статьям(6). На практике он тоже решен, — только совершенно в другую сторону, и это, между прочим, прекрасно доказывает, какое значение имеет у нас теоретическое либеральное решение вопросов. Поэтому сызнова заниматься теоретическим решением этого вопроса было бы бесполезно; практическим же соображениям касательно этого предмета здесь не место.

МАКОЛЕЙ

Полное собрание сочинений лорда Маколея.

Тт. I—XIII. Изд. Тиблена и Вольфа. Спб. 1860—65 гг.

Диккенс в своем новом романе, где он бесконечно возвысился и над своей собственной литературной деятельностью, и над всей английской беллетристикой, окрестил именем «подснепства» мнения и принципы господствующего в Англии класса людей. В особе мистера Подснепа он олицетворил этот класс со всеми его характеристическими чертами (1). Полное самодовольство, простирающееся на весь мир, живущий сообразно с долгом «подснепства» — «встающий в восемь, бреющийся в четверть девятого, пьющий кофе в девять, отправляющийся в Сити в десять, возвращающийся домой в половине шестого и обедающий в семь», — на весь этот мир с его «великой конституцией», «всемирной столицей», «единственными национальными достоинствами», «провидением», желающим именно того, чего желает подснепство; величественное игнорирование и непризнавание всего, что не входит в пределы этого мира или нарушает его гармоническую стройность, — вот главные черты подснепства, по мнению Диккенса. К ним можно прибавить — солидную практичность, не желающую стесняться никакими принципами, признающую только факты, и притом только факты, заимствованные из мира, «встающего в восемь и т. д.»; обдуманную и последовательную непоследователь-

ность, достойную изумления по своей стойкости и бестрепетности; непоследовательность с медным лбом, сияющим блеском младенческой беззаботности и твердой уверенности в своей добродетели; наружность, располагающую слабые сердца своим опрятным, благопристойным видом, дышащую благородством и нравственностью, так что сквозь эту оболочку очень трудно разглядеть гниль, скрывающуюся под нею; наконец, язык плавный, красноречивый, нередко возвышенный, нередко увлекающийся до приличной метафоры или солидной шутки, но никогда не заставляющий краснеть «юную особу» искренностью увлечения.

Все эти милые черты составляют существенную особенность английской буржуазии, того класса, который создал и хранит «свою достославную конституцию», который с гордостью носит имя «коммонеров» (2) и непоколебимо убежден, что он — перл создания, высший продукт прогресса, идеал и венец человечества. Благодаря всем его прелестям и достоинствам он попал в образец и для континентальных стран, которые благоговеют перед его «великими учреждениями» и славными представителями. Это доказывает, между прочим, необыкновенная популярность во всей Европе Гомера подснепства — Маколея.

У нас с Маколеем случилось печальное недоразумение. Наша публика познакомилась с ним в первый раз благодаря людям, образ мыслей которых составлял совершенную противоположность подснепству. Благодаря этой рекомендации Маколей сделался у нас в высшей степени популярным, так что вскоре было предпринято издание полного собрания его сочинений, и через пять лет первые томы этого издания были совершенно распроданы. В издании этом опять-таки принимали живое участие люди, взгляды которых вполне враждебны подснепству, так что если бы кто-нибудь стал судить об этом факте по значению, которое Маколей имеет для нашего общества теперь, тот был бы вынужден упрекнуть этих людей в непоследовательности или грубой ошибке. Но если принять в соображение с одной стороны понятия нашей публики десять лет тому назад, а с другой — некоторые особенности подснепских писателей и особенно Маколея, тогда подобный упрек окажется совершенно неосновательным (3).

В числе азбучных истин, которые было необходимо растолковывать десять лет тому назад, находились между прочим нравоучения такого рода, что порядочный человек не любит, чтобы с ним обращались как с собакой, что насилие и угнетение — скверны, что свобода необходима человеку и должна быть в его глазах очень важным благом, что общество, где жизнь, свобода, спокойствие и честь гражданина обеспечены от произвола гораздо лучше любого восточного пашалыка, где все зависит от фантазии и каприза. Прежде общество почти без исключения не то чтобы думало противное, а просто ничего не думало. Поэтому,

расшевелив его мысль, явилась первая необходимость объяснить все эти основные понятия.

В этом отношении английские писатели были как нельзя более кстати. Как ни безобразно английское общественное мнение, зараженное подснепством, и как ни уродливы социальные условия, в которых живет английское общество, но элементарные понятия о человеческой жизни разработаны англичанами раньше всех и так давно, что легли в основу даже подснепства, которое не перестает твердить о «славной конституции». Человек, который стал бы оспаривать «законные прерогативы» и «славные вольности» нации, был бы встречен подснепством так же враждебно, как и человек, рассказывающий о нескольких бедняках, умерших на улице с голода.

Маколей не только не составляет исключения, но, напротив, служит лучшим представителем таких писателей, рассуждающих красноречиво и возвышенно на темы: свобода лучше тирании; тишина и безопасность лучше казней; веротерпимость лучше гонения за веру и т. д. Вот почему оказалось полезным и нужным, особенно принимая в соображение пословицу, что на «безрыбьи и рак рыба», прибегнуть к помощи популярного балагура и красноречивого ритора для распространения в умах публики понятий, не втолковав которые нельзя было двинуться ни на один шаг вперед.

Успех Маколея доказал, что выбор был сделан удачно. Благодаря солидному краснобайству он быстро разошелся в нашем обществе, а вместе с ним и распространились и проповедуемые им истины. Но вот издание его сочинений еще не кончено, а уже приходится советовать поставить его на полку и задернуть зеленой тафтой. Втолковывать истины, проповедуемые Маколеем, теперь совершенно бесполезно, не потому, чтобы мы так далеко ушли вперед, а потому, что есть предметы поважнее либерального подснепства. И если наши доморощенные «подснепы» находят еще нужным доказывать, что правосудие должно быть нелицеприятно и недоступно подкупу, что «лесть гнусна, вредна», что «жид есть тоже человек», что розга и пощечина не самые лучшие средства против разных общественных зол и т. д., то это значит, что они ни о чем более не могут говорить. Быть может, некоторые честные публицисты заметят, что в последнее время обнаружилось такое неведение истин, которые я называю азбучными, или такое презрение к ним, что повторять их далеко не бесполезно. Но на это можно возразить, что людей, до сих пор не знающих или не признающих этих истин, нельзя вразумить повторением их, потому что горбатого исправит только могила. В то время, когда Добролюбов осмеивал современную ему либеральную сказку про белого бычка, истины, излагавшиеся в этой сказке, были приняты и введены в практику далеко не всеми (¹). Не все чиновники были Вышнеградскими; в благород-

ном сословии попадались Козляниновы, и евреи находили еще мстителей за прегрешения своих предков. Я осмелюсь выразить даже мнение, что и теперь еще сохранились умы, устоявшие даже против стихотворной морали г. Розенгейма и обличений г. Камбека (5).

Точно так же бесполезны были бы усилия прекратить какими бы то ни было доводами из философии, этики или истории и другие безобразия. Никакой Маколей, никакой Бёкль, никакой Шлоссер ни красноречием, ни логикой не внушат приличного образа мыслей «Голосу» и «Московским ведомостям» и всем тем, кто идет за ними, кто верует в них или поступает по принципам, преподаваемым ими.

Поэтому повторение задов с целью опровержения стародавнего мнения, будто битый стоит двух небитых, было бы совершенно излишне. И этих доводов было бы достаточно, чтобы доказать бесполезность Маколея; но я надеюсь выставить на вид, что, кроме общих мест, из-за которых он был в свое время нужен, в нем есть множество мест уже не общих, а частных, которые лишают его сочинение такого индиферентного характера и обращают в одно из самых последовательных произведений подснепской мысли.

«Великая конституция» и «славные вольности» подснепов, это — теперь такие вещи, которыми подснепы восхищаются только друг перед другом. Времена Монтескье прошли безвозвратно, и теперь немного найдется таких ограниченных людей, чтобы не только считать «великие учреждения» идеалом, но даже чтобы не видеть всех гнусностей, скрывающихся за ними. Страшные восстания, которые «свободной нации» приходилось укрощать оружием раз десять в течение полустолетия, — события, до того громко говорящие за себя, как заговор и процесс Тистльвуда; невероятные бедствия, терзающие бедные классы и периодически возрастающие с неотразимою постепенностью до размеров, превышающих всякую меру человеческого терпения, — словом, все слишком хорошо известные явления, сопровождающие эксплоатацию массы меньшинством, труда капиталом, лишили политические учреждения Англии той привлекательности, которую они имели прежде. Еще, можно сказать, недавно Европа, порабощенная и задавленная деспотизмом, готова была удивляться счастливой стране, где все могли говорить о своих правах, где благодетельный Habeas Gorpus, охраняя домашний очаг каждого гражданина, представлял такую противоположность страшным lettres de cachet континента, на котором произвол не знал себе границ (6). Еще недавно для континентальных наций свобода англичан и уменье отстаивать ее казались явлениями поразительно светлыми и благодетельными. Но со времени Монтескье, который восхищал современников изображением благодеяний английской свободы, прошло сто лет, и в эти сто лет

Европа далеко ушла в своих понятиях. Мыслящие люди Европы давно разочаровались в английских идеалах и желают чего-то гораздо лучшего, чем владычество буржуазии. Запоздалым хвалителям английских учреждений отвечают указанием на историю Англии в XIX веке, на Ирландию и Ост-Индию под ее владычеством, на ее рабочих, почти забывших человеческий язык и стоящих накануне того, чтобы обратиться в низшую породу животных. Впрочем сами англичане не унывают. В то время, когда континентальные литературы с честью могут указать на множество мыслителей и писателей, которые призывают бедных к лучшему будущему и обличают пороки современного общественного быта, столь тягостного для большинства, — Англия выставляет целые легионы славных ученых, все защитников буржуазии, все бойцов за эксплоатацию. Мы удивляемся великим и знаменитым англичанам, сделавшим в науках так много величайших открытий; но стоит вспомнить отвратительный порядок, взлелеявший самых откровенных и беззастенчивых подснепов, которым несть числа, чтобы это удивление перешло в презрение. В руках их даже наука обратилась в орудие эксплоатации и лжи. Вечно повторяемая тема этих авторов состоит в том, что английская нация благоденствует, что учреждения ее несравненны и что ей остается только итти этим путем. Все факты, которых в последнее столетие накопилось так много и которые могли бы противоречить этому наивному убеждению, игнорируются и устраняются, как устраняет мистер Подснеп величественным мановением руки факт ужасного состояния рабочих классов. Громадное большинство английских писателей никогда даже не задумывается над вопросом о том, действительно ли так безукоризненен порядок их страны и действительно ли нельзя желать ничего лучшего, кроме дальнейшего развития его. Такого вопроса не считается нужным задавать. И зачем? Кто не знает, что пять миллионов сытых и свободных буржуа, вооруженных богатством, наукой, изобретениями, энергиею и независимостью, эксплоатируют двадцать пять миллионов голодных, невежественных, упавших духом бедняков, населяющих земли епископов, фабрики Манчестера и рудокопни Корнуэльса?!

У Маколея это благоговение к учреждениям Англии и устранение всякого сомнения насчет их достоинства выражается особенно простодушно и наивно. Он никогда и не заикается даже о том, что существуют люди, которые с фактами в руках пытаются подорвать безусловную веру в эти учреждения. Этих людей и этих фактов как-будто для него и не существует. Его дело воспеть английскую конституцию и показать, как она зарождалась, крепла и развивалась. Ему никогда в голову не приходит, что, быть может, недалеко то время, когда какой-нибудь другой историк будет изучать ее с целью открыть, что именно и когда затормозило так надолго прогресс английского общества и заста-

вило его столько времени тащиться по колее, проложенной три века тому назад. Вот как начинает Маколей свою подснепиаду: «Я предполагаю написать (пою) историю Англии с восшествия на престол короля Иакова II до того времени, которое запечатлено в памяти доныне живущих людей. Я изложу ошибки, которые в несколько месяцев отвратили верное джентри и духовенство от дома Стюартов. Я прослежу ход той революции, которая окончила долгую борьбу между нашими парламентами и связала воедино права народа с основанием права царствующей династии. Я расскажу, как новое устройство в течение многих смутных лет было успешно защищаемо от внешних и внутренних врагов; как при этом устройстве авторитет закона и безопасность собственности оказались совместными с неведомою дотоле свободою прений и частной деятельности; как из счастливого союза порядка с свободою возникло благоденствие, в уровень которому летописи дел человеческих не представили еще ни одного примера; как наше отечество из состояния постыдного порабощения быстро возвысилось до степени посредника между европейскими державами; как его богатство и военная слава возрастали рядом; как мудрая и непоколебимая честность мало-по-малу утвердила общественный кредит, обильный чудесами, которые государственным людям всех предшествовавших веков показались бы невероятными» и т. д., все с тем же невозмутимым самодовольством.

И действительно, чрезвычайно любопытно проследить, как зародилось и развилось подснепство, изучить его историю и посмотреть, как изображает его Маколей, вернейший тип английского подснепа. Такой обзор уже достаточно выяснит нам характер историка и его сочинений, хотя, впрочем, нельзя оставить без внимания и менее важные произведения его, так как они проливают немало света и на самого автора и на все миросозерцание его партии.

Религиозная реформа XVI века сопровождалась во всей Европе сильными потрясениями не только политического, но и социального характера. Но нигде, быть может, волнения эти не были так сильны и не привели к столь ощутительным последствиям, как в Англии. Королевская власть, пожелавшая занять место, с которого низвергла в своем отечестве римского первосвященника, нажила себе много беды. Не так-то легко было перенести на себя все то почитание, в котором нация только-что отказала папе, несмотря на многовековую давность. Притом английские короли были вынуждаемы обстоятельствами на поступки, которые мало способствовали укоренению веры в их духовную супрематию. Один за другим сменилось несколько правителей, и каждый из них объявлял смертельным грехом и пагубнейшим заблуждением догматы своего предшественника, жег и преследовал его последователей. Когда, наконец, реформа утвердилась, и англий-

ский король сделался главою своей церкви, верующею в его супрематию оказалась одна эта церковь, им созданная, им одним державшаяся. Масса нации разделилась: одни верили в папу, другие же считали папистов не менее порочными, как и тех, которые заменили в религии авторитет папы авторитетом короля и оставили во всех прочих отношениях церковь без всякой реформы. Фанатические католики и фанатические пуритане, одни — угнетенные в Англии и Ирландии, другие — в Англии и Шотландии, были не только неверующими в супрематию короля, но сделались и плохими верноподданными. Помимо этих религиозных причин не было недостатка и в политических. Положение большинства английского народа в XVI столетии было весьма похоже на нынешнее положение. Вот что говорил о нем один из величайших людей того времени (7):

«Главная причина общественной нищеты — это множество праздных плутов, которые кормятся потом и трудом других и заставляют обрабатывать свои земли, обирая до последней нитки своих фермеров, чтобы увеличить свои доходы. Не менее пагубно и то, что за ними следует толпа ленивых холопов, ничего не делающих, ни к чему неспособных. Когда они заболевают или когда господин их умирает, их выгоняют вон, — и вот им приходится или умирать с голода, или воровать... Другая причина бедствий, это — то, что овцы, эти животные, столь кроткие и умеренные в других странах, у нас до того прожорливы, что поедают даже людей и опустошают деревни и дома. Всюду, где собирается самое тонкое руно, тотчас являются вельможи, богачи и даже аббаты и присвоивают себе земли. Этим беднякам мало их доходов и бенефиций; они отнимают обширные пространства у земледелия и обращают их в пастбища, снося дома, деревья и оставляя целыми только храмы, чтобы обратить их в закуты для овец... Так алчный скряга забирает себе целые тысячи десятин, выгоняя из жилищ частных земледельцев, одних хитростью, других насилием, а самых счастливых — придирками и несправедливостями, которые принуждают их продавать свою собственность... Несчастные с плачем покидают кровлю, под которою родились, и продают за бесценок то, что успели унести с собой из своих вещей.

Что останется им, когда истощится этот скудный источник средств? Разве воровство и виселица! Или предпочтут они нищенствовать? Но их не замедлят посадить в тюрьму как бродяг и людей без занятий... Если вы не исправите зол, на которые я указываю вам, то не хвастайтесь своим правосудием: в таком случае оно просто ловкая ложь. Вы предоставляете миллионы детей бедствиям порочного и безнравственного воспитания. Разврат на ваших глазах губит эти юные растения, которые еще могли цвести для добродетели; а вы казните их, когда, выросши, они совершают преступления, с колыбели зароненные в их серд-

ца. Что же вы делаете? Воров, чтобы впоследствии иметь удовольствие повесить их».

Эти жалобы, эти обличения писаны точно вчера, и потому мы можем судить, что положение низших классов, как городского, так и сельского, описанное здесь, было при Генрихе VIII так же печально, как и при Виктории. И как теперь, так и тогда, появление таких протестов и жалоб доказывало, что бремя сознано, что явилось стремление высвободиться из-под него, что, словом, данная эпоха есть эпоха социальных реформ. И в других странах религиозное движение шло тесно, рука об руку, с социальным и политическим; и в Германии анабаптисты стремились к тысячелетнему царству святых не только на небесах, но и на земле, так что трудно было сказать, какое движение предшествовало и какое было вызвано другим. Таким образом при Тюдорах накопилось уже много материалов для революции; но их сдерживали высшие классы, довольные своим положением, пока покушение Стюартов на людей, которым было что терять и что защищать, не отшатнуло и их от королевской власти.

Едва дом Стюартов вступил на престол, как тотчас же вооружил своим произволом против себя людей, не бывших ни новаторами, ни революционерами ни по положению, ни по принципам. Поэтому с этих пор начали параллельно подготовляться два реформационные движения: одно — буржуазное, с чисто политическим характером, другое — народное, с характером религиозным и социальным. Буржуазия и пуритане действовали вместе, но не заодно против королевской власти. Что же касается до католической партии, то она исчезла среди ужасов гонения, наступившего после открытия порохового заговора, и выступила на сцену уже гораздо позднее; а дотоле существование ее проявлялось только в жестоком преследовании, жертвою которого она была.

Спор между королем и парламентом начался почти тотчас по смерти Иакова I и продолжался до открытого разрыва в 1642 г. при Карле I. Иаков был вынужден распустить первый же свой парламент 1606 г., и эта мера повторялась королями до тех пор, пока сын его не принял намерения вовсе не созывать парламента. Предметом спора было постоянное желание королей взять как можно больше денег, чтобы возвысить свое могущество и сломить сопротивление парламента. Само собою разумеется, что дело не обходилось без заключения в крепость депутатов, слишком горячо противившихся правительству, а, с другой стороны, не обходилось без резкой критики образа жизни тех, которые покушались обижать нацию для удовлетворения самым постыдным наклонностям. Таким образом спор все более и более ожесточался; короли все настойчивее добивались денег и прибегали все чаще и чаще к насилию, а парламенты все резче и резче восставали против их требований. Сама того не замечая, консервативная часть нации работала в пользу пуритан и подготовляла в бу-

дущем для них поле действия, на котором им было суждено одержать решительную победу. Увлеченные сопротивлением напиравшему деспотизму, уже лучшие из представителей буржуазии принимали близко к сердцу интересы народной партии и, побуждаемые ненавистью к двору и церкви, становились в ряды пуритан.

Все эти элементы, враждебные прерогативе трона, соединились между собой, как перед французской революцией, еще теснее, когда победа склонилась на сторону короля, когда он, казалось, достиг такого могущества, что мог обходиться без парламентов и пренебрегать неудовольствием нации. Но это торжество в виду всеобщего недовольства было тем кратковременнее, что победитель пользовался им слишком неумеренно и вооружил против себя всех. Доводя зажиточные классы до высшей степени раздражения посягательством на карманы их и угрожая им, король в то самое время, когда должен был ожидать со стороны их сильнейшего сопротивления, затеял из нелепого пристрастия к обрядам непримиримую вражду с пуританами Шотландии; вражда эта не замедлила, разумеется, распространиться и в Англию.

Война с шотландскими пуританами, начавшаяся в 1640 году, уничтожила силу правительства и кончилась торжеством народной партии во всем королевстве. В истории мало таких интересных явлений, как партия пуритан, и таких интересных эпизодов, как господство их в Англии.

Когда шотландские дела принудили короля обратиться к помощи своего английского парламента, в ноябре 1640 г. собрался «долгий парламент». Здесь, благодаря влиянию пуритан и неудовольствию против короля, накопившемуся в течение нескольких лет, произошел полный разрыв между королем и благонамеренною частью нации. Но когда король удалился из столицы и объявил войну народу, то естественно, что из двух враждебных ему партий в самом непродолжительном времени получила решительный перевес в стране та, которая отстаивала не свои буржуазные интересы, не доходы с своих земель, а та, которая вносила в борьбу все одушевление своих верований, всю честную ненависть к пороку, всю энергию религиозного рвения и благородных убеждений. Пуритане уже давно были людьми реформы по принципу и по необходимости. Они были прямыми последователями тех суровых реформаторов XVI века, которые проповедывали войну деспотизму во всех его видах, войну замкам и мир хижинам, которые мечтали об евангельском равенстве и находили в религии и истории народа божьего республиканские идеалы. Лучшие, честнейшие люди своего времени, они с омерзением смотрели на пороки высших сословий, где грубейший разврат и возмутительнейшее мотовство господствовали наряду с самыми страшными преступлениями и ужасающими жестокостями.

С другой стороны, пуритане были угнетены англиканскою цер-

ковью и правительством. Эта церковь, лишенная всякой поддержки со стороны религии, потому что не имела за себя ни обаяния древности римской, ни духа новизны реформатской, жила милостью и расположением двора и жила так весело и хорошо, что имела все причины отстаивать свое положение. Поэтому ее преданность королевской власти была безгранична, и в числе ее догматов принцип пассивного подчинения стоял не ниже всех прочих и проповедывался чаще всех. Уже поэтому угнетенная ею страна должна была склониться к независимым мнениям; и действительно, — говорит Маколей, — «ее любимые богословы и поучениями и примером поощряли сопротивление тиранам и преследователям» (Т. VI, стр. 61).

Когда армия парламента потерпела ряд позорных поражений и когда зажиточные классы, преданные англиканской церкви, были принуждены по бессилию предоставить защиту свободы партии, бывшей доселе в общем угнетении, тогда началось господство пуритан. Они начали расправляться с своими противниками круто. Разным феодальным господам, любимцам муз и их поклонникам, пришлось проститься с веселыми днями высшего и изящного общества. Маколей с свойственной ему близорукостью не понимает исторического значения революции 1648 г. и вместо дела повторяет все избитые пошлости, которые столько раз говорились по поводу некоторых странных внешних отличий, бывших в моде в то время. Темный цвет платья, странные имена и т. п. всегда выставляются на первый план, как черты чрезвычайно важные для характеристики пуритан. Но, не говоря уже о том, что все эти особенности ничуть не смешнее кружев, перьев и китайских церемоний аристократии, это — такие мелочи, о которых можно упоминать разве в собрании анекдотов, а не в истории, имеющей претензию на серьезный характер. Впрочем перемена, произведенная пуританами в общественных нравах, была действительно очень важна и достойна внимания. «Пуританская строгость, — говорит Маколей, — прогнала в королевскую Францию всех имевших склонность к волокитству, блестящим нарядам или к легким искусствам. За ними последовали все, живущие забавою чужого досуга, от живописца и комического поэта до канатного плясуна и скомороха. Эти артисты хоршо знали, что под сенью блестящего и пышного деспотизма они могли преуспевать, а под строгою ферулою ригористов должны были умирать с голоду». (Т. VI, стр. 101—102). «Церкви и гробницы, изящные произведения искусства и любопытные остатки древности были грубо обезображены. Парламент решил, чтобы все картины королевской коллекции, представлявшие изображения Иисуса или пречистой девы, были сожжены. Ваяние подверглось такой же горькой участи, как и живопись. Нимфы и грации, произведения ионийского резца, были переданы пуританским каменотесам, которые должны были сделать их пристойными... Общественные

удовольствия, от маскарадных представлений в палатах вельмож до состязаний в борьбе и кривляниях на деревенских лужайках, подверглись яростному гонению. Одно узаконение предписало немедлено срубить все майские березки в Англии. Другое запретило все сценические увеселения. Театры было велено ломать, зрителей штрафовать, актеров бичевать; пляски на канате, кукольная комедия, игра в шары, конские скачки обращали на себя далеко не благосклонное внимание» (Ib. 109—10). «Театры были закрыты, актеры отодраны розгами, музы были изгнаны из любимых своих приютов, Кембриджа и Оксфорда. Коули и Кливленд лишились своих университетских мест» Ib. стр. 395).

Совершенно ошибочно представляют эти поступки пуритан смешною особенностью, отличавшею врагов Карла I. Строгость нравов и ненависть ко всему, носящему на себе отпечаток изящной праздности и галантерейного разврата, составляет отличительную черту не одних только английских республиканцев XVII века, а вообще всех врагов безумия, поддерживающего искусства, праздность и безнравственность. Быть может, пуритане Англии простирали дальше свою ненависть к разврату мысли и чувства. Но простота и даже известный ригоризм составляли отличительную черту всех бойцов за правду, что совершенно понятно, потому что противоположные качества всегда отличали полоумных тунеядцев. Английские пуритане заслуживают в этом отношении не насмешек, а величайшего уважения. Господство их имело самое благодетельное влияние на общество. Впрочем едва ли можно назвать излишнею строгость, с которою они изгоняли муз и запирали театры в виду смут и опасностей, грозивших их отечеству и новорожденному порядку вещей. Искусства подверглись остракизму, едва наступила свобода, и те, которые плакали о них, увидели с возвращением Стюарта, что им живется хорошо только при королях и реакционерах, при Карле II или jeunesse dorée *.

Этому историческому событию, логически вытекавшему из всех предшествовавших фактов, подснепы не дают другого названия, как мятеж. Точно так же называли возвратившиеся Бурбоны время 1789—1814 гг. Если бы Маколей догадывался о значении этих событий, он не написал бы тех нелепых рассуждений, которые мы находим у него по поводу переворота 1688 г. и в других местах. Так, напр., в статье о Мирабо он прославляет практичность и благоразумие англичан, которые будто бы никогда не желали ничего менять в своих учреждениях, и смеется над безрассудством французов, которые всегда стремились к новизне и отрекались от своего прошлого. «Наше государственное устройство, — говорит он, — никогда не было так далеко позади века, чтобы сделаться предметом отвращения для нации. Поэто-

* Золотая молодежь. — *Ред.*

му английские революции совершались с целью защиты, исправления и восстановления, а не с единственною целью разрушения. Соотечественники наши всегда, даже во время самых сильных волнений, отзывались почтительно о форме правления, под которою жили, и жаловались только на то, что считали ее повреждениями. Даже в деле нововведений они постоянно обращались к древним уставам» (Т. II, стр. 145).

Таким образом, величественным мановением руки Маколей сразу уничтожает все события 1648 г. и самый факт их существования. Потому что, если только признавать эти факты, а не отделываться игнорированием их, — все рассуждения его о консервативном характере английской истории теряют силу. Если помнить факты, совершенные пуританами во время их владычества, — факты столь громкие и решительные, которыми они разом разорвали все связи с прошлым, то ничего подобного нельзя сказать. Но Маколей имеет в виду только переворот 88-го года, относящийся к событиям пуританской республики совершенно так, как июльская революция к событиям 93-го года. Этот переворот действительно вполне соответствует идеалу подснепства и оправдывает, если смотреть на него глазами Маколея, замечания о консервативности английских реформ. Но в том-то и дело, что совершенно нелепо рассматривать его иначе, как в связи с переворотом 1648 г., а еще нелепее игнорировать и пренебрегать этим последним событием.

Переворот 1648 года не удался; республика пала, и через одиннадцать лет после казни Карла I Карл II вступил на престол. Пуритане подверглись преследованию и бежали в Америку. После того пала другая республика, и не удалось другое движение, имевшее несравненно больше шансов на успех (8); поэтому печальный исход английской революции 1648 года нисколько неудивителен. Английскими революционерами были сделаны все промахи французских. Но не было внешней опасности, которая бы принудила их к тем решительным мерам, которые вели вперед французское движение; притом же, несмотря на отсутствие внешних врагов, они не сумели, подобно французам, подчинить армию своей власти; во Франции при внешних и внутренних войнах республики армия удерживалась в повиновении все время, пока не началась реакция; в Англии же, напротив того, она приобрела решительный перевес еще прежде, чем республика восторжествовала, и удерживала его все время. Маколею кажутся очень забавными именно те стороны французской революции, которые составляли всю ее сущность. Ясно, он не понимает ни смысла этого исторического факта, ни его значения для французской нации. «Очевидно, что у французов того времени, — говорит он, — политическая наука находилась в совершенном детстве. Странно действительно было бы, если-б она достигла зрелости во времена lettres de cachet и lits de justice (9). Избира-

тели не знали, как избирать. Представители не знали, как рассуждать. Г. Дюмон учил монтрельских избирателей, как исполнять свои обязанности, и нашел их понятливыми. Он пробовал вместе с Мирабо ознакомить национальное собрание с тою удивительною системою парламентской тактики, которая давно уже была заведена в английской палате общин и которая сделала эту палату, несмотря на все недостатки в ее составе, лучшим и справедливейшим дебатирующим обществом в мире. Но эти безукоризненные законодатели, хотя вполне столь же невежественные, как и монтрельское сборище, оказались гораздо менее послушными и кричали, что им нет надобности учиться у англичан. Прения их состояли из бесконечного ряда брошюр, которые все начинались или чем-нибудь о первоначальном договоре общества, или о человеке в диком состоянии, или о других подобных пустяках. Иногда они разнообразили и оживляли эти длинные чтения небольшим скандалом. Они орали, кричали и сжимали кулаки. Они не соблюдали никакого порядка (!). Толпа, наполнявшая галлереи, безнаказанно оскорбляла их. Они долго и торжественно занимались рассмотрением безделиц. Они страшно торопились в самых важных решениях. Они теряли целые месяцы, играя словами той ложной и детской декларации прав, которую называли основанием своей новой конституции и которая была в непримиримом разногласии с каждым пунктом этой конституции. Они в одну ночь уничтожили привилегии, из которых многие имели характер собственности и с которыми поэтому следовало поступать весьма осторожно».

Подобные декламации мы слыхали часто. Мы сами готовы ужасаться жестокостям революции, восставать против многих идей ее, порицать непрактичность многих ее целей. Но, как свет стоит и до Маколея, не нашлось такого подснепа, чтобы считать пустяками, презренными мелочами все то, чем было велико историческое движение XVIII века. Оно дало миру сотни совершенно новых идей почти по всем вопросам, какие могут встречаться в жизни обществ; волей-неволей почти все европейские нации приняли многие из этих идей и перестроили по ним свои отношения, понятия и учрежденя, так что теперь в Европе почти не осталось ни в одной стране ни одного из государственных, политических, социальных и юридических отношений, на котором бы не отразилось влияние этого времени. Подснеп с своим самодовольствием, в сознании своей высокой политической мудрости, и не подозревает этого, называет пустяками массу идей, пущенную в обращение в это великое время, и сожалеет, отчего тогдашние деятели не посвятили прежде своего времени на изучение «удивительной системы парламентской тактики»! Вот уж именно слона-то не заметил!

Английскиее реформаторы прекрасно знали «удивительную

систему», но не имели и сотой доли того нравственного могущества, которое сделало во Франции то, что, несмотря на печальный исход политического переворота 89—92 гг., его нравственное значение не только пережило все реакции, но и наложило печать свою на все не только в самой Франции, но и в целой Европе. Английская революция решительно порвала все связи с прошлым нации; но она не имела почти ничего в будущем, была бедна идеями. Она не имела за собою нескольких поколений мыслителей и философов. Единственный современный ей великий писатель проповедывал политическое учение, далеко не либеральное ([10]). Единственными идеями республики 1648 года были идеи религиозные; но в XVII веке пора их миновалась, и они не могли надолго составить силу политического движения, а тем более упрочить его влияние. Поэтому пуританская республика не имела никакой возможности удержаться, теснимая с одной стороны армией, с другой — классами, враждебными всякому народному делу, и лишенная всякой нравственной силы. Армия была очень обременительной союзницей свободы, пока поддерживала республику; когда же часть ее соединилась с буржуазией, то рассеялся и последний призрак свободы, и Стюарты были восстановлены к великому ликованию высших классов и без всякого неудовольствия со стороны народа, которому республика не сумела дать ничего.

За неудачной попыткой освобождения настала реакция, которая вскоре заставила пожалеть о времени господства пуритан. Английская монархия опять явилась со всеми некрасивыми атрибутами мщения, деспотизма, нетерпимости и порочности. Самая грязная низость и самый бесстыдный разврат вместе с крайней жестокостью господствовали в Англии во все время царствования Карла II.

Побежденные переселялись в Америку; из оставшихся многие, радуясь прекращению пуританского владычества, отплачивали выражениями слепой преданности за безмятежное пользование своими доходами. Аристократия вела себя так, как всегда ведет при реакциях. «О сопротивлении говорили с бо́льшим ужасом, чем о каком-либо преступлении, которое человеческое существо может совершить. Общины были более ревностны, чем сам король в отмщении за обиды, нанесенные королевскому дому; они желали более самих епископов восстановить старую церковь; были более готовы давать деньги, чем министры — просить о них». (Т. II, стр. 346). Маколей объясняет причину всеобщей безнравственности во время реакции тем, что современное ей поколение начало жить среди опасностей и приучилось подличать, потому что ему слишком часто приходилось повиноваться голосу самосохранения. Это объяснение самое ложное и недальнее, какое только можно себе представить. Пора освобождения, открытой, прямой борьбы за право и правду никак не может понизить

уровня общественной нравственности. Напротив того, такая пора возвышает чувства, облагороживает умы, делает людей более способными на высокие подвиги. Маколей прав, обвиняя гнет, предшествующий каждому перевороту, за жестокости переворота; но было бы вопиющей бессмыслицей обвинять революцию в ужасах реакции. Нелепость этого видна уже из того, что часто реакция вовсе и не предшествует никакой революции. В причинах революции и реакции нет ничего общего.

Поэтому приписывать плачевные явления, сопровождающие время реакции, влиянию предшествовавшей ей революции нелепо. Дело объясняется очень просто тем, что реакция и упадок общественной нравственности — синонимы. Это не два явления, идущие рядом, а одно и то же.

Почти тридцать лет продолжалась реакция со времени реставрации, разнообразя свои подвиги, пока не дошла до самых крайних жестокостей в трехлетнее царствование Иакова II. Но зажиточные классы не утомлялись этой бесконечной вереницей жестокостей и низостей и через двадцать пять лет были так же преданы Стюартам, как в первые месяцы по приезде Карла II. Церковь была предана им, потому что пуритан и католиков преследовали самым ревностным образом, и епископы могли безбоязненно пользоваться своими доходами. Аристократия и среднее сословие, землевладельцы и лавочники, помня свое недавнее унижение, были довольны спокойствием, наступившим после смутных дней. Что же касается до народа, то о нем никто и не думал в то время или, как язвительно говорит наш подснеп — Маколей, «в те времена филантропы еще не считали священным долгом, а демагоги еще не находили выгодным промыслом распространяться о бедственном состоянии работника». (Т. VI, стр. 410). Сам же народ ничего не заявлял о себе, так как еще недавно испытал, что республика не дала ему ничего нового и хорошего. Только в Ирландии народ был раздражен и готов восстать против зажиточных классов, потому что там к страданиям нищеты присоединялись живее ощущаемые страдания угнетенной национальности.

Английские подснепские писатели, в том числе, разумеется, и Маколей, говоря о событиях этого времени, останавливаются с большим вниманием на взаимных отношениях двух партий, на которые уже в то время делились в Англии высшие сословия. Маколей повествует об этом весьма интересно. Вигам и ториям он придает какое-то общечеловеческое, даже мировое значение. Начало различия между этими двумя породами подснепов «коренится, по его словам, в разнообразии характеров, умов, интересов, которое встречается и будет встречаться во всех обществах, пока дух человеческий не перестанет увлекаться в противоположные стороны прелестью привычки и прелестью новизны. Не только в политике, но и в литературе, в искусстве, в науке, в хи-

ругии и механике, в мореплавании и в землеведении, и даже в самой математике находим мы это различие. В е з д е есть класс людей, которые страстно прилепляются ко всему старому и которые, даже убежденные неотразимыми доводами, что нововведение было бы благодетельно, соглашаются на него со многими сомнениями и дурными предсказаниями. Равным образом в е з д е мы находит другой класс людей, пылких в своих надеждах, смелых в своих теориях, вечно стремящихся вперед, быстро различающих несовершенства во всем существующем, расположенных легко думать об опасностях и неудобствах, какие сопряжены с улучшениями, и расположенных принимать всякую перемену за улучшение» (Т. VI, стр. 98).

Это очень напоминает слова Бёкля о различии методов индуктивного и дедуктивного. Как читатель видит, Маколей не расположен придавать различию между двумя партиями английского парламента меньшего значения, чем чему бы то ни было на свете. Для него Пальмерстон — это представитель одной половины мира, а Дерби — представитель другой. Торизм и вигизм исчерпывают все содержание человечества, и все, кто не может быть отнесен ни к той, ни к другой стороне, т. е. все обитатели Азии, Африки, Америки, Австралии, всей Европы, кроме Англии, и все англичане, стоящие вне ценза, — все это нуль, «огромная масса, которая иногда остается косно-нейтральною, а иногда колеблется между ними». Об этой глупой массе он отзывается с крайним презрением и даже некоторым негодованием: «иногда, — говорит он, — она меняла стороны потому только, что ей надоедало поддерживать одних и тех же людей, иногда потому, что она пугалась собственных своих бесчинств, а иногда и потому, что ждала невозможного и обманывалась в ожиданиях» (Т. VI, стр. 101). И действительно, как ему не негодовать на нее, когда она своим лишним присутствием путает всю классификацию и напоминает, что в мире существует еще нечто, что не есть ни торизм, ни вигизм. Досадно! Игнорировать бы ее, но на беду глупые «филантропы» и злонамеренные «демагоги» нашли «священною обязанностью и выгодным промыслом рассуждать» о тварях, стоящих за цензом. Впрочем, все-таки лучше игнорировать, изредка браня филантропов и демагогов. Вообще все это разглагольствие о теориях и вигах поразительно напоминает суждения мистера Подснепа. Подобно тому, как этот джентельмен или как мистер Джон-Стюарт Милль смотрят на все социальные и политико-экономические вопросы с точки зрения интересов люда, «встающего в восемь, бреющегося в четверть девятого» и т. д., так точно смотрит лорд Маколей на историю. Для мистера Подснепа все науки и искусства имеют значение только настолько, насколько они относятся к вставанию в восемь, бритью в четверть девятого и т. д. По его понятию «литература, напр., есть почтительное изложение на хорошей бумаге крупны-

ми буквами: как вставать в восемь, бриться в четверть девятого, пить кофе в девять, ходить в контору в десять, возвращаться домой в половине шестого и обедать в семь. Живопись и скульптура — портреты и стату профессоров науки: вставать в восемь, бриться в четверть девятого, пить кофе в девять, итти в контору в десять, возвращаться домой в половине шестого, обедать в семь. Музыка — серьезная, правильная игра мелодической темы, выражающей с возможною точностью: как вставать в восемь, бриться в четверть девятого, пить кофе в девять, итти в контору в десять, возвращаться домой в половине шестого, обедать в семь.

Кроме этого, искусство не должно ничего выражать под опасением отлучения, проклятия! «Кроме этого, вне этого несть ничего, нигде!»

Точно так же для министра Д.-С. Милля политическая экономия есть наука о том, как лучше всего могут быть соблюдены интересы лиц, «встающих в восемь, бреющихся в четверть девятого, пьющих кофе в девять» и т. д. И точно так же для историка лорда Маколея история есть повествование faits et gestes * людей, «встававших в восемь, брившихся в четверть девятого» и т. д. и которые разделяются на две великие партии — вигов и ториев. «Кроме их, вне их несть ничего, нигде» или, пожалуй, есть «косно-нейтральная масса», о которой лучше не говорить, так как это дело достойное одних филантропов и демагогов, людей ужасных, почти недостойных имени человека, так как они не встают в восемь, не бреются в четверть девятого и т. д.

Разница, существовавшая при Карле I между кавалерами и круглоголовыми, то есть между приверженцами короля и защитниками парламента, изгладилась с реставрацией почти совершенно.

Тории, как стали называться впоследствии кавалеры, были преданы королевской власти всегда и сохранили эту преданность после реставрации. Но и виги, т. е. та часть привилегированных сословий, которая во время распри Карла I с парламентом держала сторону последнего, напуганная господством пуритан и армии, ревностно содействовала реставрации и затем питала к монархии такую же преданность, как и потомки кавалеров. Маколей, говоря об этом, выражается так: «Дважды в течение XVII столетия обе партии откладывали свои раздоры и соединяли свои силы в общем деле. Первая их коалиция восстановила наследственную монархию. Вторая спасла конституционную свободу». (Т. VI стр. 101).

Коалиция, восстановившая Стюартов и вызвавшая реакцию, была произведена тем, что виги были напуганы своими более

* Делах и поступках. — *Ред.*

крайними союзниками, и с консерватизмом, свойственным привилегированным и зажиточным классам, поспешили подать руку своим старым противникам. Это была, следовательно, коалиция высших классов против грозившего господства народа и армии. Коалиция, ниспровергнувшая Стюартов, была, напротив, вызвана тем, что тории были принуждены соединиться с наследственными врагами абсолютизма, потому что деспотизм Иакова II стал угрожать самым преданным его слугам. Это была, следовательно, коалиция высших классов против покушений на их привилегии со стороны монархической власти. Это показывает, что эта вторая коалиция совершенно не вознаградила за вред, нанесенный первою. Первая нанесла удар народному делу, уничтожила все плоды переворота, возвратила Карлу II все полновластие, отнять которое у Карла I обошлось так дорого, вынудила истинных друзей свободы бежать из отечества, возбудила жестокую реакцию, восстановила англиканскую церковь, запятнала английскую историю многочисленными примерами неслыханных преступлений, лжесвидетельств, юридических убийств и шпионства, возведенного в систему. Чем же вознаградила за все это вторая коалиция, изгнавшая Иакова II?

Вступив на престол, Иаков в течение трех лет действовал так, как-будто добивался того, чтобы его все возненавидели. Он сделал себя ненавистным народу жестокостью, с которою наказывал за восстание Монмута; церковь он вооружил против себя своими стараниями доставить терпимость католикам и пуританам; произвольными поступками, хотя и прикрытыми формами законности, он заставил вигов вспомнить о противодействии абсолютическим покушениям короля; и, наконец, он поссорился с ториями вследствие своего безрассудного пристрастия к католицизму. Честные люди ненавидели его, как безумного и жестокого тирана, как человека, именем которого действовали Джеффейз, Клавергауз и Кэрк с своими подкупленными присяжными и свирепыми драгунами из Африки. Люди бесчестные всех партий были недовольным им кто за посягательство на свое достояние и свои права, кто за плохое вознаграждение самых низких услуг, если они не сопровождались вероотступничеством, и вообще за самодурство, не разбиравшее друга от недруга. Довольны были только немногочисленные английские католики и ирландцы, которых он не только избавил от гонения, но которым сверх того старался доставить преобладание.

Было бы бесполезно перечислять все преступления, совершенные Иаковом в его кратковременное царствование. Их, конечно, было за глаза достаточно, чтобы поссорить его со всеми партиями, кроме одной. Но весьма замечательно, что поступок, вызвавший самую ожесточенную ненависть к нему как ториев, так и вигов и побудивший их соединиться против него, поступок, заставивший англиканское духовенство переменить свой раболепный

тон на независимый и вместо догмата безусловной покорности начать проповедывать сопротивление тирании, — этот поступок был единственным хорошим делом всей его жизни. Иаков действовал, конечно, деспотически и жестоко; но он ни в чем не нарушал законных форм. Кровавые ассизы были ужасны и возбуждают до сих пор омерзение; но это была вполне законная расправа, ничем не хуже действий в подобных же обстоятельствах правительств 1715 и 1745 годов. Иакова справедливо подозревали в намерении уничтожить Habeas Gorpus Act (11), устранить парламент и даже утвердить абсолютизм при помощи ирландских войск; но как ни справедливы были эти подозрения, однако никто не мог указать на такой факт, где король уже явно нарушил бы основные законы государства. В одном только случае нарушил он конституцию, а именно, когда издал декларацию об индульгенции, и это было вменено ему в главную вину не только людьми, изгнавшими его, но и либеральными историками XIX века.

Декларация об индульгенции была издана в 1687 г. Ею отменялось множество стеснительных и карательных узаконений против католиков, пуритан и всякого рода диссидентов. Им было дозволено свободно отправлять богослужение и правоверным запрещено мешать им в этом. Они были освобождены от обязанности приносить религиозную присягу в смысле англиканской церкви перед вступлением на службу, что доселе составляло для них непреодолимое препятствие к занятию общественных должностей и было равносильно устранению их от службы. Издав эту декларацию и через год подтвердив ее, Иаков стал действовать сообразно с нею, т. е. раздавать общественные, государственные и даже духовные должности католикам и пуританам, а когда встречал сопротивление со стороны епископального духовенства, то поступал с противниками хотя и по законным формам, но строго и деспотично.

Весьма понятно, что епископы были в высшей степени раздражены таким поступком, который отнимал у духовенства возможность заниматься гонением враждебных ему верований. Неудивительно, что англиканское духовенство решилось пойти наперекор всему, что столько лет проповедывало об обязанностях в отношении к государю, когда царствующий государь оказался не другом его, как прежние, а врагом, когда доходнейшие и почетнейшие места начали доставаться католикам и когда даже пуританин получил больше шансов на возвышение, чем правоверный. Немудрено, что правоверные тории и виги возненавидели короля, который хотя и говорил о терпимости, но фактически не только терпел католиков, но и отдавал им явное преимущество перед членами национальной церкви и удалил от должности своего шурина и любимого министра за то только, что он не согласился обратиться в католицизм. Наконец, понятно даже негодование тех современников Иакова, которые, и не заботясь

о выгодах англиканской церкви, были возмущены декларацией о терпимости, как противозаконным нарушением королевскою властью одного из основных законов страны. Но как назвать историка, который через полтора века после этого события защищает законы, стесняющие совесть, доказывает необходимость их в отношении католиков и вообще отстаивает дух нетерпимости епископалов и в то же время красноречиво разглагольствует в пользу полной терпимости в отношении евреев? Как защитника стеснения совести, такого историка можно бы было уподобить Кояловичу или другому подобному мужу; но этим сравнением мы обидели бы и Кояловича, и всякого другого, потому что те все же последовательнее и так же мало расположены терпеть евреев, как и всяких других басурман. Поэтому взгляд Маколея на этот вопрос кажется мне одним из лучших образчиков его либерализма.

«Исходя, — говорит этот защитник свободы совести, — от того правильного положения, что ограничения прав католиков долгое время не производили ничего, кроме зла, приходили к ложному заключению, что никогда не могло быть такого времени, когда эти ограничения могли быть полезными и необходимыми». (Т. VIII, стр. 75). Они были, по его мнению, полезны и необходимы именно во время революции 1688 г., что он и подтверждает в другом месте словами: «Была одна секта, которую по несчастным временным причинам признано было необходимым держать в ежевых рукавицах». (Т. I, стр. 33). Таким образом, ясно, что Маколей даже понятия не имеет о принципе веротерпимости, что его уму даже не представляются те доводы в пользу веротерпимости, которыми она может быть доказана, и что в этом отношении он самый неисправимый обскурант. Он полагает, например, что защитники свободы совести основывают свое мнение только на том, что нетерпимость оказалась в известном случае вредна, и он ставит им в упрек, что они не сообразили, что зато в других случаях она бывает полезна! А у нас некоторые и в самом деле думают, что Маколей весьма либерален и что во всяком случае он очень тверд, по крайней мере в вопросе о веротерпимости! Но не ясно ли, что на основании его рассуждений можно оправдать и Торквемаду? Не ясно ли, что если только допустить, будто нетерпимость может когда бы то ни было оказаться полезною, то в таком случае она будет оправдана всегда, и принцип свободы совести уничтожен? Оттого, что Маколей чуть не на всякой странице злоупотребляет словом «свобода», прилагая его, впрочем, всегда к понятиям, не имеющим с свободой ничего общего, начали говорить о его «широких принципах либерализма», и сам раздаватель разных дипломов, Бёкль, лестно отзывается о «возвышенной любви к свободе, которая оживляет все его сочинение». Но на самом деле оказывается, что он не понимает и не признает даже самого безобидного

вида свободы — веротерпимости. То же, ежели не хуже еще, увидим и по другим вопросам.

Однако, хотя король Иаков восстановил против себя почти всех, противники его были люди слишком нестрашные, чтобы он мог опасаться с их стороны чего-нибудь серьезного. Сам Маколей должен сознаться, что без внешней помощи враги Иакова не могли бы низвергнуть его. Он говорит, что для национальной чести англичан должно быть весьма оскорбительно, что только голландские войска и удачный исход предприятия Вильгельма освободили их предков от деспотизма Стюарта. Маколей не скрывает, что революции не было бы и Иаков мог бы умереть в Уайттолле, если бы французы открыли военные действия несколько севернее или если бы не вышло неприятностей между французским правительством и городом Амстердамом. «Лорд Лондздель, — говорит он, — справедливо замечает в своих мемуарах, что, не наделай Людовик ошибок, город Амстердам предотвратил бы революцию». (Т. VIII, стр. 270 прим.). Да оно и немудрено: враги Иакова, как оказалось, были вовсе не такие люди, чтобы отваживаться на восстание. Изменить государю падающему, выдать его тайны, шпионить за ним и получать за доносы деньги от его неприятелей, быть готовыми спасти себя во всякое время выдачей сообщников, посылать приглашения принцу Оранскому и потом прибегать к бессовестнейшим софизмам, чтобы не сознаться в этом, — это было по их части. Но у них было еще слишком много доходных епископств, пребенд и должностей, слишком богатые поместья и слишком крупные обороты, чтобы они были способны на открытое и опасное восстание, — они, эти вчерашние герои реакции и сподвижники всяких гонений. Притом с их стороны было бы безумством восставать, потому что у короля все же была армия, которой мог не бояться Вильгельм с своим голландским корпусом, но перед которой туземным недовольным, вчерашним придворным, инквизиторам, палачам, приходилось задумываться. На народ они не могли рассчитывать, да и не хотели. Народ не подумал бы защищать их, что и доказал своим равнодушием при перевороте 1688 года. Да и они предпочли бы какой угодно деспотизм народному восстанию, в чем Маколей видит даже главную добродетель этих революционеров. (Т. VIII, стр. 471—472). Вообще несомненно, и Маколей не пытается доказывать противного, а, напротив, откровенно говорит это, что революция 1688 года не имела в себе ни малейшей частицы народного элемента. Она была делом голландской армии и недовольных высших классов Англии, отличавшихся в то время вследствие продолжительной реакции крайнею безнравственностью. Безнравственность английских революционеров 88 года — это факт, который Маколей не отрицает, а признает, но, к удивлению своих читателей, признает не только без всякой горечи, но даже с удовольствием. «Для нашего

гражданского управления было благоприятно, — говорит он, — что революция была совершена людьми, большею частью мало заботившимися о политических принципах. При таком кризисе блестящие таланты и сильные страсти могли бы сделать более зла, чем добра». (Т. I, стр. 201).

Вот мысль новая, блестящая и достойная уважения! Для народа хорошо, что переворот, создавший его государственные учреждения, был сделан людьми своекорыстными! В политике честные люди только вредят, а лучше безнравственные! Это было бы из рук вон плохо, если бы на это смотреть с человеческой точки зрения. Но с подснепской оно выходит приличнее: дело в том, что здесь идет речь не о выгодах народа, а о выгодах вигов и ториев, и для них-то, конечно, переворот 1688 года был вполне выгоден. Если все дело шло только о том, чтобы упрочить за высшими классами спокойное пользование их благосостоянием, которому грозили Стюарты, то всего лучше, если дело устроилось так, что и цель достигнута, и никто из тех, кому не следует, не вспомнил о своих правах. Сильные страсти и блестящие таланты могли бы создать что-нибудь новое, разбудить массу, а это-то и было бы величайшим злом, по мнению подснепа — Маколея. Поэтому как не радоваться, что все обошлось при помощи голландских солдат и недовольных подснепов, не пламенными речами народных ораторов, а изящными записочками лорда Чорчиля; ну и прекрасно!

Понятия Маколея о человеческой честности не слишком утонченны. Так, о Сойере он серьезно говорит, что оправданием ему в пролитии судебным порядком невинной крови может служить то обстоятельство, что не он один проливал ее, а почти все люди, занимавшие высокие общественные должности в те злосчастные дни. (Т. X, стр. 145). Так, про судью Поллексфена он рассказывает, что он отличился на кровавых ассизах и содействовал казни Алисы Ляйль; но это не мешает ему вслед затем объявить, что в «душе он был виг, если не республиканец» (Т. VII, стр. 211).

Переворот, произведенный интригами и предательством таких людей, при помощи иностранного полководца и иностранной армии, Маколей называет самой великой и благодетельной из всех революций, когда-либо происходивших в ново-европейских обществах. Такое решение весьма неожиданно и странно после всего, что было сказано им самим о ненациональном и ненародном характере ее и о качествах ее деятелей. Зная, что она имела чисто консервативный характер, была направлена исключительно к удержанию за высшими классами их привилегий, а за англиканским духовенством его монополии; зная, что преобладающими идеями в ней было стремление поддержать нетерпимость церкви и племенное господство англичан в Ирландии, защитить карманы торгашей и доходы землевладельцев, нельзя и ожидать, чтобы она

могла дать сколько-нибудь замечательные результаты, которые могли бы вознаградить за непривлекательный характер самого события. Маколею, разумеется, консервативный характер переворота очень нравится. Он с удовольствием рассказывает, что переворот совершился так и при такой обстановке, что ничто не указывало на его важность. Его очень радует, что «государственные сословия совещались в старинных залах и по старинным правилам; что лица, предложившие Поуля в спикеры, проводили его к председательскому креслу с обычными формальностями; что послы от лордов явились к коммонерам в сопровождении экзекутора с жезлом, и три поклона были сделаны надлежащим образом; что конференция происходила с соблюдением древнего церемониала; что в конференц-зале по одну сторону стола сидели депутаты лордов с покрытыми головами, в парчевых горностаевых мантиях, а депутаты коммонеров стояли по другую сторону без шляп; что (прибавляет он с сарказмом) поборники свободы (вероломные холопы Иакова) не говорили ни слова ни о равенстве людей, ни о правах народа, ни о Гармодии и Тимолеоне, ни о Бруте старшем, ни о Бруте младшем; что новые государи были провозглашены по старинному торжественному обряду; что все фантастические принадлежности герольдии, Кларансье и Норруа, Опускная Решетка и Красный Дракон, трубы, знамена, странные костюмы с вышитыми львами и лилиями, были налицо в полном составе». (Т. VIII, стр. 492).

Что такой близорукий историк, как Маколей, радуется всему этому — это очень понятно: на то он и Маколей. Но как могли вообразить, что он проповедует свободные принципы? Откуда взяли и вывели это — вот что трудно понять. Он, правда, произносит громкие фразы о свободе; но в сущности он настолько же либерален, как и мистер Подснеп, который тоже с восторгом говорит о «British Constitution»*. Чему сочувствует Маколей в перевороте 1688 года и почему он радуется ему, — сейчас увидим.

Маколей перечисляет нам все благодетельные последствия и великие плоды переворота. Плоды его, по его собственным словам (см. т. II, стр. 377—384), состоят в следующем. Во-первых, акт терпимости. Что ж, это в самом деле немаловажный результат, если он только был, что трудно предположить, так как постановление Иакова о веротерпимости было одною из главных причин его низвержения. Впрочем, и действительно никакой терпимости не было, да и сам Маколей, только-что назвав этот первый благодетельный результат революцией, спешит оговориться: «громадная власть духовенства и торийского джентри сделали эти превосходные намерения (вигов) тщетными». А о превосходных намерениях вигов он тоже говорит: «правда, там,

---

* Британской конституции. — *Ред*

где дело шло о католиках, даже самые просвещенные из вигов держались мнений отнюдь не столь либеральных, как те, которые, к счастью, обыкновенны в настоящее время». А каковы эти либеральные мнения, которые столь обыкновенны в настоящее время, мы уже видели на самом либеральнейшем из либералов, Маколее. Словом, в конце-концов выходит, что революция не принесла веротерпимости, чего, разумеется, и нельзя было ожидать, потому что она была направлена против нее и революционерами были англиканские епископы. Второю великою реформою было, по счету Маколея, окончательное установление в Шотландии пресвитерианской церкви. Такой счет напоминает menu экономных немецких кухмистерш, которые говядину из супа называют вторым блюдом, картофель третьим, а горчицу четвертым. Дело в том, что после революции перестали преследовать шотландских пресвитериан, составлявших почти все народонаселение этой страны. Если уже раз было сказано о терпимости, то должно полагать, что тогда же упоминалось и о пресвитерианах, тем более, что им одним она и была оказана. Если бы Маколей в следующих пунктах начал перечислять поименно каждого диссидента, которому была оказана терпимость, то немудрено, что список благодеяний переворота расширился бы еще на целый том.

«Третье благодеяние, которое страна извлекла из переворота, состояло в перемене способа ассигнования субсидий», — говорит Маколей. Это было действительно важным выигрышем, но только не для страны, а для привилегированных классов, которые этим поставили королевскую власть в прямую зависимость от себя.

Но Маколей, говоря о стране, очевидно, разумеет только люд, «встающий в восемь, бреющийся в четверть девятого» и т. д., а потому с своей точки зрения прав. Неправы только те, которые, несмотря на вещи с другой точки зрения, толкуют о «широких принципах либерализма» этого подснепа.

То же самое должно сказать и о четвертом благодеянии — а именно «очищение отправления правосудия в политических делах». Действительно, королевская власть потеряла возможность сажать в Тоуер людей, неприятных ей, казнить невинных с соблюдением законных форм через зависимых от нее судей и присяжных, словом, расправляться так, как расправлялись континентальные правительства. Но насколько выиграло от этого правосудие в политических делах — доказали процессы Тистльвуда и других; они доказали, что либеральные коммонеры так же хорошо умеют расправляться с противниками, как и нелиберальные министры неаполитанских королей. Надо иметь броненосную совесть, чтобы, будучи англичанином, хвастать своим правосудием в политических процессах после всего, что произошло в этом роде в XIX столетии. Впрочем, у Маколея это происходит больше от наивности, так как жертвы политических процессов в Англии

не принадлежали ни к вигам, ни к ториям и, следовательно, стояли за пределами ценза и человечества.

Наконец, пятым благодеянием было, по словам Маколея, установление свободы печати. Но это совершенная неправда. Переворот 1688 года не освободил прессы, как вообще не сделал ничего для свободы. Напротив того, когда вскоре потом, в 1693 году, кончился срок цензурного акта, изданного в 1685, он был возобновлен, и ни либеральный освободитель, ни парламент, только-что совершивший революцию, и не подумали не только уничтожить, но даже смягчить его. Но вскоре после того, и совершенно независимо от переворота, печать освободилась благодаря сочувствию общества, которое уже понимало свои интересы. В этом деле особенно важные заслуги принес прессе литератор Чарльз Блаунт, которого Маколей в благодарность за это называет наглым вором и ничтожным памфлетистом. В то время вместо нынешних газет и журналов на общественное мнение влияли памфлеты и брошюры, подлежавшие в Англии перед выходом в свет правительственной цензуре. Блаунт издал вскоре после революции ряд памфлетов без цензуры и требовал в них отмены стеснений печати. Маколей строго порицает Блаунта за то, что в этих сочинениях он бесцеремонно пользовался трактатами Мильтона; но трактаты Мильтона были написаны давно, в неблагоприятное время, встречены холодно и забыты. Воспользовавшись в своей борьбе против цензуры его доводами, Блаунт увлек в свою сторону публику и расположил общественное мнение в пользу свободы печати; нелепо же плохо судить его за то, что он не обозначал в примечаниях, откуда заимствует свои доводы. Такая строгость в суждении особенно странна со стороны историка, который оправдывает юридического убийцу тем, что он не один совершал такие преступления! Книгопродавцы, переплетчики и типографы, поддерживаемые общественным мнением, подали парламенту просьбу об уничтожении цензуры, и цензурные постановления продлены были еще только на два года, после чего не возобновлялись. Из всего этого ясно, что пресса освободилась благодаря собственным своим деятелям и той степени развития, на которой уже стояло общество.

Итак, после всех разглагольствований о великих благодеяниях переворота на деле все-таки выходит, что он не принес ничего, не внес ни одной новой идеи, не произвел никакой реформы, ни в чем не помог народу, и что все его значение ограничивается устранением драгонад Иакова и упрочением за привилегированными классами пользования их преимуществами. Восторги же Маколея теперь нам понятны: переворот был выгоден тем классам, которые одни составляют для него все человечество, и потому он находит его великим и благодетельным. В доказательство этого считаю нужным привести слова Маколея, которыми он оканчивает свои пространные рассуждения о благодеяниях переворота.

«Величайшая похвала, — говорит он, — какую можно произнести перевороту 1688 г., заключается в том, что это была наша последняя революция. Уже несколько поколений прошло с тех пор, как ни один благоразумный и патриотический англичанин (т. е. подснеп) не помышлял о сопротивлении установленному правлению. Во всех честных и мыслящих умах живет убеждение, ежедневно укрепляющееся опытом, что средства произвести всякое улучшение, какого требует конституция, заключаются в самой конституции.

Теперь более, чем когда-либо, должны мы оценить всю важность противодействия, оказанного нашими предками дому Стюартов. Повсюду вокруг нас мир взволнован судорожными движениями великих наций. Правительства, еще недавно казавшиеся способными просуществовать целые века, внезапно потрясены и низвергнуты. Самые гордые столицы Западной Европы обагрились ручьями междоусобно пролитой крови. Все дурные страсти, жажда корысти и жажда мести, ненависть класса к классу, ненависть племени к племени сбросили с себя узду божеских и человеческих законов. Страх и тоска отуманили лица и опечалили сердца миллионов людей. Торговля и промышленность прекратились. Богатые сделались бедными, а бедные сделались еще беднее. Учения, враждебные всем наукам, всем искусствам, всем промышленным предприятиям, всем семейным узам; учения, которые если бы осуществились, то в тридцать лет уничтожили бы все, что сделано для человечества тридцатью столетиями, и превратили бы прекраснейшие провинции Франции и Германии в такие же дикие страны, как Конго или Патагония, — провозглашались с трибуны и защищались оружием. Европе грозили порабощением варвары, в сравнении с которыми дикие орды Аттилы и Альбиона могли бы считаться просвещенными и гуманными. Искреннейшие друзья народа (т. е. те, которые считают его бесконечно хуже варваров Аттилы!) с глубокою горестью признавали, что интересы, драгоценнейшие каких бы то ни было политических прав, находились в опасности, и что могло оказаться необходимым пожертвовать даже свободой, чтобы спасти цивилизацию. Между тем на нашем острове обычный ход управления не прерывался ни на один день. Немногие дурные люди, жаждавшие буйства и грабежа, не отважились ни на минуты противостать силе верноподданной нации, соединившейся в непоколебимый оплот вокруг отеческого престола. И если б нас спросили, почему мы так отличаемся от других, ответ наш состоял бы в том, что мы никогда не теряли того, что другие безумно и слепо стараются приобрести вновь. Оттого, что у нас была охранительная революция в XVII в., у нас не было разрушительной революции в XIX столетии. Оттого, что у нас была свобода посреди общего рабства, у нас теперь порядок посреди общей анархии. За святость закона, за безопасность собственности, за спокойствие на-

ших улиц, за счастие наших семей мы обязаны благодарностью тому, кто по произволу возвышает и низвергает народы: «Долгому парламенту, конвенту и Вильгельму Орлеанскому!» (Т. VIII, стр. 494—495).

Совершенно так же, даже почти в тех же выражениях и совсем тем же слогом рассуждает мистер Подснеп.

«Я только коснулся нашей конституции, — объяснил мистер Подснеп. — Мы, англичане, очень гордимся нашей конституцией, сэр. Само провидение даровало нам ее.

Такова воля провидения; этот остров составляет исключение из всех стран света, и на нем почиет благословление неба. И если бы здесь были все англичане, — прибавляет Подснеп, торжественно смотря на своих соотечественников, — я сказал бы, что в англичанине такое соединение редких достоинств, такая скромность, независимость, простота, такое отсутствие всего, что могло бы заставить покраснеть юную особу, — одним словом, такое соединение редких достоинств, которого не найти ни в каком другом народе».

Мимоходом Маколей вспоминает и о «косно-нейтральной» массе, вспоминает для того только, чтобы порадоваться ее благоденствию и похвалить удобства, которыми она пользуется. У него посвящено несколько страниц описанию «благотворных для простого народа следствий прогресса цивилизации». Здесь он описывает те преимущества, которые достались благодаря цивилизации равно в удел и пэру, и работнику. К числу таких удобств он причисляет железные дороги, газовое освещение, хорошую мостовую, исправную полицию. Упоминает он и о других, еще более странных благодеяниях для простого народа. «Каждый каменщик, которому случится упасть с подмостков, каждый уличный метельщик, которому случится попасть под колесо экипажа, может теперь рассчитывать, что его раны будут перевязаны и члены выправлены с таким искусством, какого сто шестьдесят лет назад нельзя было купить ни за какие сокровища вельможи, подобного Ормонду, или миллионера, подобного Клейтону». (Т. VI, стр. 419). Вообще он непоколебимо убежден, что английский народ благоденствует и, радуясь великой перемене, принесенной прогрессом цивилизации, выражает убеждение, что более всего выиграл от нее «класс самый бедный, самый зависимый и самый беззащитный». Особенно радуется он благосостоянию рабочих классов и весьма убедительно говорит о процветании Ленкашайра (Т. I, стр. 232), где недавно люди умирали с голода, как мухи. Он доходит даже до того, что представляет английских рабочих какими-то сибаритами и гастрономами. Чрезвычайно занимательно препирательство его по этому поводу с другим подобным ему подснепом, поэтом-лавреатом Соути. Этот господин, лежа на своих казенных лаврах, вздумал пуститься в публицистику и принялся рассуждать о положении народа, жалуясь на его не-

достатки. Оплакивая бедствия народа к великому неудовольствию Маколея, который решительно отказывается признать этот факт, лавреат преподает рабочим разные советы и между прочим порицает их за то, что они не любят рыбы! Он старается убедить их, что это пища вкусная и здоровая и что с их стороны весьма странно предпочитать голодать, чем есть рыбу. При этих словах Маколей торжествует. Ага! — восклицает он.— Вот видите ли, какие они прихотники: этого не хочу, другого не ем; не хочу лососины, давай мне мяса! Значит — не голодны. «При голоде таких предубеждений не бывает!» (Т. I, стр. 260). Значит, с жиру бесятся, а если умирают с голода, то сами виноваты: зачем прихотничают. И вообще для него совершенно ясно, что недовольно может быть только незначительное меньшинство (прихотников и взбалмошных людей), неудовольствия которого «лучше всего подавляются силою и решительностью». (Т. I, стр. 215).

Вследствие всех этих прекрасных рассуждений русский биограф Маколея, г. Вызинский, говорит, что «ни одна книга не нанесла такого решительного удара учениям революционеров, утопистов, мечтателей, как книга Маколея». (Биогр., стр. XLIII). Г. Вызинский описывает плачевное время, когда вышла в свет «История Англии»; это, по его словам, было время, когда «от Атлантического океана до берегов Шпре разлился поток анархии, насилия и смятения; когда со дна общества поднялись самые дикие страсти и самые грубые инстинкты; когда везде управление захватили в свои руки безумные демагоги, жалкие подражатели Робеспьеров, Сен-Жюстов и Дантонов (это кто же? Monsieur de Lamartine, что ли?), бессовестные честолюбцы, жаждавшие власти; когда стали приводиться в исполнение их дикие теории, порожденные в лихорадочных грезах зависти, невежества и честолюбия; когда всему грозила опасность — семье, собственности, основам общества, самой цивилизации; когда после краткого разгула анархии и демагогических сатурналий готово уже было настать время военного деспотизма», — вот когда, по словам г. Вызинского, явилось сочинение Маколея (стр. XLI) — явилось и победило!

Маколей доказал изумленному миру, что все эти сатурналии и дикие теории, порожденные завистью (вспомним заметку кн. Вяземского) ([12]) и невежеством, — нелепы, что истинно либеральные начала содержатся в вигизме и выражены исторически английским переворотом 1688 года.

Г. Вызинский изображает, как «приятно изумлена» была Европа начертанным им «зрелищем революции мирной, совершившейся без кровопролития и проскрипции, по законным (?) формам, установленным веками, произведенной не толпами, а представителями образованнейших классов общества и церкви, не демагогами, а испытанными государственными людьми, не от-

чаянными нововводителями, а людьми, в настоящем смысле консервативными» (стр. XLII—XLIII).

Все это рассказал и объяснил Маколей заблуждавшейся Европе, которая увидела тут свою ошибку и предприняла реакцию, продолжающуюся благополучно до сего дня. А то было уже совсем свихнулась и затеяла ни весть что. Даже солидные подснепы в английском парламенте начали подумывать о всеобщей подаче голосов или, по крайней мере, о расширении пределов ценза; но в это время было напечатано в «Times» посмертное письмо Маколея, в котором он, «казалось, из могилы своей увещевал государственных людей Англии не предпринимать поспешно меры, которая могла бы повести к слишком сильному и преждевременному наплыву демократического элемента в избирательные коллегии». (стр. XXXVII—XXXVIII). В этом письме к одному американцу Маколей изображает бедствия, какие проистекут для Америки от ее демократических учреждений, когда положение ее рабочих классов станет так же дурно, как в Англии. Рассуждения его в письме объясняют его взгляд на революцию 1688 г. и вообще на историю Англии, потому что здесь он является уже совсем подснепом, без всяких либеральных фраз.

«Вы будете иметь, — говорит он американцу, — ваши Манчестеры и ваши Бирмингамы, и в этих Манчестерах и Бирмингамах сотни тысяч работников, вероятно, найдутся иногда без работы. Тогда-то наступит час испытания для ваших учреждений. Бедствие везде делает работника недовольным и наклонным к мятежу; он с жадностью слушает агитаторов. У нас в дурной год бывает много ропота, а иногда и несколько мятежей; но это не так важно, потому, что у нас те, которые страдают, не управляют государством. Высшая власть находится в руках класса, правда немногочисленного, но избранного, класса образованного, класса, который сильно заинтересован в безопасности, собственности и поддержания общественного порядка. Поэтому недовольные бывают усмиряемы не слишком строгими, но решительными мерами». Американцам Маколей не может предсказать и такого успешного исхода: «ваше правительство никогда не будет в состоянии усмирить бедствующее и недовольное большинство, потому что у вас правительство есть именно это большинство».

Какой другой исход между близорукостью и недобросовестностью представляется для историка и публициста, рассуждающего таким образом? Какова смелость плакать о людях, что они будут иметь возможность сами пособить своему горю? Все заставляет думать, что Маколею нет оправдания в такой глупости и что подобное миросозерцание у него сознательно. Он и в другом месте говорит, что был бы готов подать мнение за всеобщую подачу голосов, если бы «между всеми работниками был распространен значительный уровень образования, если бы у них никогда не было недостатка в работе, если бы заработная плата все-

гда была высока, хлеб всегда дешев, если бы большая семья не была для них бременем, а божиим благословением». Все это чрезвычайно согласуется с рассуждениями о благосостоянии Ленкашайра и о прихоти рабочих не есть вкусную и здоровую рыбную пищу. Когда дело идет о благах конституции, тогда положение рабочих оказывается завидным; а когда кто-нибудь заикается о даровании политических прав этим счастливцам, тогда тот же публицист восклицает в порыве благородного негодования: «Я не желал бы видеть в Англии тиранию нищих!» И этими-то возгласами Маколей спас, по мнению г. Вызинского, Европу от увлечения демагогическими сатурналиями! Как подумаешь, какой вздор можно было молоть у нас несколько лет тому назад во всеуслышание, не лишаясь репутации порядочного человека и даже участвуя в одном издании с лучшими и самыми передовыми людьми!

В настоящее время, я полагаю, кроме почитателей «Московских Ведомостей» и «Вести», всякий расхохочется над нелепостями социальных понятий Маколея и его биографа, над всеми аттрибутами либерального красноречия, над этими «сатурналиями», «потоками анархии», «разгулом диких страстей» и т. д., в которые облечены эти нелепости Но, быть может, у некоторых, несмотря на все предыдущие примеры, останется вера в ясность политических взглядов Маколея, поселенная его громкими фразами о тирании и свободе. Мы уже видели, как он смотрит на свободу совести. Чтобы окончательно убедиться в его политическом подснепстве, взглянем, какие принципы и какие меры защищает он, говоря о царствовании Вильгельма.

Было бы очень долго распространяться о всех нелиберальных мерах Вильгельма, которые одобряет этот известный либерал и виг. Достаточно упомянуть, что в нем находят себе сочувствие и отмена Habeas Corpus акта, и гонения, воздвигнутые королем на своих политических противников, и незаконное покровительство, которое он, вопреки желанию парламента, оказывал чиновникам, что возбудило против них общую ненависть.

Во всех этих вопросах Маколей является писателем без всяких убеждений или, лучше сказать, имеющим только одно убеждение, что лучше всего то, что выгодно для вигов и ториев. Но где всего яснее обнаруживается, чего стоит либерализм таких людей, и насколько можно верить их фразам — это в истории ирландского восстания, вспыхнувшего вслед за изгнанием Иакова.

Положение в Ирландии туземца и католика, весьма незавидное и теперь, превосходило в то время все, что только можно представить себе печального. Маколей и не думает скрывать этого; напротив, подробно говорит о страданиях несчастного покоренного племени, но говорит с тем характеристическим омерзением, с каким самодовольные буржуа, воображающие себя очень милыми и цивилизованными людьми, цветом человечества, говорят о жалких грубых массах. Этого мало: Маколей прямо говорит, что бед-

ствия и рабство ирландцев были необходимы, что они вполне соответствовали требованиям справедливости или, как говорит мистер Подснеп, что с их стороны искать независимости — «значило восставать на решение провидения»! «Одна часть государства (т. е. Ирландия), — говорит он, — находилась в таком горестном положении, что бедствие ее было необходимо для нашего (подснепского) счастия, и рабство ее необходимо было для нашей (подснепской) свободы». (Т. I, стр. 33). «Не могло быть равенства между людьми, жившими в домах, и людьми, жившими в хлевах; между людьми, питавшимися хлебом, и людьми, питавшимися картофелем». (Т. VII, стр. 357).

Не значит ли это понимать и защищать принцип национальной независимости? И если не значит, то кто разрешит мудреную загадку, на каком основании его, английского Каткова (13), считали и считают либералом и поборником свободы? И далее, когда ирландцы восстали и показали английским поработителям, что они также не хуже их умеют есть хлеб и отстаивать независимость, в какое благородное негодование приводит либерального историка их неумеренность в употреблении мясной пищи с голода, и как он умеет скоро забыть все, что проповедывал либеральным тоном об ответственности угнетателей за жестокости угнетенных в день расчета! И когда, еще далее, Вильгельм с голландскими войсками оружием подавляет восстание, Маколей находит достойным порицания не то, что он грабил ирландцев, а только то, что он грабил их в пользу своих голландцев, а не англичан!

Таким образом, всюду мы видим, что Маколей остается верен себе, своему подснепскому миросозерцанию. В политических национальных вопросах он точно так же смотрит на вещи с точки зрения выгоды привилегированных классов, как и в социальных. История национальных отношений, как и история отношений между сословиями имеет для него интерес и важность только с точки зрения выгод людей, «встающих в восемь и бреющихся в четверть девятого». Он одобряет все, что им выгодно, и негодует на все, что им идет в ущерб.

Что же после этого остается в Маколее привлекательного? Разве то, что он «мастер отыскивать исторические аналогии и объяснять посредством их разные события». Разве «искусная группировка материала, гармоническое распределение света и теней, живой колорит, обилие поэтических сравнений, пластическая оконченность фигур, живой, нередко величественный и везде свежий язык?» Разве stoccato коротеньких, но сильных предложений, которые подымаются в постоянном crescendo и доходят до fortissimo там, где место для самого сильного эффекта, для самого патетического момента, для самой яркой краски в картине, и потом опять начинается плавное moderato более длинных периодов и предложений?» (14). Разве сравнение термидора с рассветом полярного летнего дня после полярной зимней ночи? Но ни все это,

ни остроумные соображения о том, как бы все счастливо обошлось во Франции, не умри так рано герцог Бургундский (Т. II, стр. 139); ни пламенное красноречие, вопрошающее читателя: «Подчинится ли запряжке дикий осел? Станет ли служить единорог и жить в стойле? Подставит ли левиафан свои ноздри под крюк?» (Т. I, стр. 177) — никакие подобные прелести не возвысят Маколея в глазах мыслящего человека за крайнюю узкость взгляда, за обскурантизм понятий, за сочувствие сословному игу, за непонимание свободы совести, за симпатию к порабощению одной нации другой.

Пусть почерпают из многочисленных томов Маколея фразы красноречия гг. Вызинские и Скарятины, Маколеи «Голоса» и «Московских ведомостей». Им, и только им, он может послужить с пользою и снабдить их всеми ораторскими украшениями, «сатурналиями» и «разгулами», для их передовых статей. В порядочном же человеке чтение Маколея не может возбудить ничего, кроме сожаления о потерянном времени.

ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК КНИГ, ИЗДАННЫХ НА ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ДЕНЬГИ

1) О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и о монастыре Печерском. К. Бестужева-Рюмина. 2) О Владимире Мономахе и о потомках его, Мономаховичах, или о временах княжеских усобиц. Его же. 3) О злых временах татарщины и о страшном Мамаевом побоище. Его же. 4) Учение господа нашего Иисуса Христа о молитве и о путях к блаженству. 5) Святая земля во времена земной жизни господа нашего Иисуса Христа. 6) Как надо жить, чтобы беду избыть. 7) Как надо жить, чтобы добро нажить, или о труде. 8) Как спасать и спасаться от скоропостижных смертных случаев без помощи врачей и знахарей. Н. Глинского. 9) О русской земле. С. Максимова. 10) О русских людях. Его же. Издания товарищества «Общественная Польза». Спб. 1865.

Привилегированный просветитель русского народа, товарищество «Общественная Польза», подарил недавно своему воспитаннику «первый десяток», как он говорит, своих драгоценных наставлений. Этот первый десяток книг для народного просвещения издан на деньги, пожертвованные ревнителями народного просвещения. Надо сознаться, что жертвователи не могли сделать из своих денег худшего употребления, хотя книжки изданы под ауспициями просвещенных и либеральных писателей, гг. Бестужева-

Рюмина и Максимова, редакторов так же почтенных, как и патрон их — «Общественная Польза».

О большей части этих книжек говорить не стоит; они ничем не отличаются от множества других дешевых книжек душеспасительного содержания, валяющихся на толкучем рынке и у книгопродавцев Федоровых, Холмушиных и им подобных. О собственных произведениях для народа переводчика Бёкля, г. Бестужева-Рюмина (¹), также не стоит много распространяться и за глаза достаточно будет перечислить содержание его книжек. В книжках «О Владимире и о монастыре Печерском», «О злых временах татарщины», «О Владимире Мономахе» заключаются повествования о святых — князе черниговском Михаиле и боярине его Феодоре, Варлааме Хутынском, Прокопие-юродивом, Стефане пермском. Сергие чудотворце радонежском. Михаиле, князе тверском, митрополитах Петре и Алексие, чудотворцах московских, Антоние печерском, Феадосие, Никоне, Ефреме и о многих других замечательных лицах. Эти рассказы обличают в г. Бестужеве-Рюмине такое же подробное знакомство с этими частностями русской истории, как его перевод Бёкля доказывает знакомство с английским языком и историею европейской цивилизации. А взятое вместе, то и другое обличает в нем замечательную и достойную удивления разносторонность как познаний, так и умственных способностей, которые так и лезут в разные стороны. Тон и приемы литературных произведений г. Бестужева-Рюмина для народа отличаются тем характеристическим наивничанием и тою умышленно напущенною на себя пошлостью, которые составляют необходимую принадлежность всех наших сочинителей по части народного просвещения.

Подобный же тон и те же приемы, но еще в усиленной степени, господствуют в повествованиях г. Максимова «О русской земле» и «О русских людях». В человеке, толкующем про «заповедь, которая объяснилась воочию», про «народ, идущий к понятию о себе, как о человеке» (²), выражающемся так: «и еще несомненно то, что всегда, где являлась грамотность и наука, глухое место становилось видным», наконец, рассуждающем вроде следующего: «Только тогда (когда у нас будут железные дороги и когда распространится грамотность) мы будем в праве законно владеть теми дарами, которые так щедро и в таком обилии уделил нам бог, вместе с другими племенами», — в этом человеке трудно узнать автора «Года на Севере» и «Путешествия на Амур» (³).

Но что составляет цвет «десятка» и заслуживает более подробного разбора — это две книжки, автор которых счел за лучшее остаться неизвестным. Они называются «Как надо жить, чтоб добро нажить, или о труде», и «Как надо жить, чтоб беду избыть». Кто отличился, написав эти произведения, неизвестно, хотя было бы в высшей степени любопытно узнать. Слогом и

некоторыми местами, в которых проглядывает подробное знакомство со многими частностями русской народной жизни, книжки эти могут быть приписаны г. Максимову. Но если я даже ошибаюсь в этой догадке, то все-таки совершенно справедливо сделать гг. Максимова и Бестужева-Рюмина ответственными за весь «десяток». Это ясно и само по себе: соглашаясь участвовать в изданиях, имеющих столь определенное направление и цель, эти господа должны нести ответственность не за себя одних; с этим не согласятся разве только сотрудники «Голоса», утверждающие, что левая рука может не знать, что говорит правая, что пишущий о прусских делах неповинен в том, что сотоварищ его говорит о французских. Но сверх того г. Максимов сам заявляет о солидарности своей с прочими служителями «Общественной Пользы». В рассказе о «Русской земле» он говорит: «Что не домолвлено — доскажем после; что не доскажем — дополнят и пояснят наши товарищи». Видите ли, какая солидарность: товарищи могут дополнять и пояснять друг друга. Как же им не быть после этого ответственными друг за друга?

Я недаром произвожу это следствие, желая отыскать виновного в сочинительстве этих двух книжонок. Сочинительство их, действительно, такая тяжкая вина, которую честная литература должна преследовать тем строже, что в ней замешан писатель, умевший доселе беречь свою репутацию.

Если бы кто-нибудь начал составлять себе мнение о русском народе по советам, расточаемым ему разными российскими просветителями, то, вероятно, подумал бы, что ленивее и тунеяднее народа не существует на свете. Индусы и неаполитанцы — трудолюбивейшие из смертных по сравнению с тем неисправимым лентяем, каким является русский человек в назиданиях просветителей. Должно быть, наш народ представил поразительные примеры своего празднолюбия, что всякий, раскрывающий рот для поучения, непременно начинает с того, что лень-де мать всех пороков, что праздность — злейший враг человека, что труд есть священный долг человека и т. д. Большая часть книжек, написанных для народа, отличается поучительным свойством, и все нравоучения непременно начинаются и оканчиваются предостережениями против праздности и увещаниями к труду. Об этом было говорено уже столько раз, что пора бы, кажется, избрать другой сюжет для проповедей. Но нет; всякая новая назидательная книжка для народа призывает его в сотый раз к труду и предохраняет от праздности. Назидателям уже было говорено, что их поучения похожи на грубую и оскорбительную насмешку; но это не препятствует и «десятку», изданному под ведением гг. Максимова и Бестужева-Рюмина, повторять в сто первый раз все красноречивые и убедительные доводы в пользу необходимости труда и вреда лености. В нравоучительной книжечке «Как надо жить, чтобы беду избыть» изображается мудрый и

добродетельный дедушка Матвей, слогом и образом мыслей весьма похожий на гг. Золотова, Бестужева-Рюмина и других самозванных наставников народа. Дедушка Матвей преподает толпе мудрые советы касательно вреда праздности и пользы трудолюбия. «Первый враг вам, — говорит он, — лень; второй — праздность». При этом дедушка Матвей забывает назвать еще следующих врагов: бездействие, тунеядство, отвращение к труду и все прочие синонимы того же порока (4). Поучитель находит, что человек больше всего терпит от лени и что крестьяне тратят слишком много времени на безделье и на такие дела, от которых никому нет прибыли. Он даже от усердия зарапортовывается и начинает уверять, что даже болезни происходят от лени. Это открытие заставляет подозрительно смотреть и на народный лечебник от внезапных болезней г. Глинского, входящий в число «десятка». Чего доброго, в силу открытия дедушки Матвея, народолюбивое товарищество отрекомендует народу как универсальное средство против всех болезней усиленный труд.

Далее дедушка Матвей уверяет крестьян, что к трудолюбивому «ни соцкий, ни сборщик за делом не ходят, потому что труд долги платит». Дедушка не пренебрегает почерпать аргументы в пользу трудолюбия из тех немецких и французских книжек, которые заставляют читать детей и которых, вероятно, он сам начитался в детстве, когда еще не был самозванным просветителем народа. Один из аргументов, наиболее употребительных в этих книжках под заглавиями „Leçons d'une bonne mère"* или Kinderfreund"**, это пристыжение детей, любящих долго спать. Точно так же и дедушка Матвей, вспомнив эти нравоучения, читанные в юности, говорит празднолюбивым крестьянам: «Вставай со светом: пусть не застанет тебя восходящее солнышко в постели и, глядя на землю, не могло бы пожаловаться ей: «вон один негодяй еще спит!» Эта цитата доказывает как нельзя лучше знакомство дедушки с киндерфрейндами и незнакомство с русским синтаксисом. Поучения свои дедушка украшает афоризмами того же происхождения: «время есть материал, из которого строится жизнь»; «вода, беспрестанно падая по капле, камень долбит» (non vi, sed saepe cadende***, забывает присовокупить дедушка); «трудом и терпением мышонок канат перегрызает, а учащенные удары топора валят вековые дубы».

Вторая причина бед русского народа — любовь к роскоши: «немало, — учит дедушка, — ходит по свету и таких людей, у которых и свое брюхо пусто (как это простонародное «брюхо» кстати после афоризмов с латинского), и семья ноет с голоду оттого только, что любовница ходит в шелку и бархате, и сам в шелковую рубаху оделся и сапоги смазные со скрипом носит».

* «Уроки доброй маменьки». — *Ред.*
** «Друг детей». — *Ред.*
*** Не силой, но частым падением. — *Ред.*

Во втором издании этой книжки я советую дедушке прибавить указание на разительные примеры Рима и Спарты, павших от роскоши и разврата. Тогда, быть может, речь его будет иметь больше успеха; а то теперь книжка кончается тем, что, выслушав внушения дедушки против шелка и бархата, народ идет к приехавшему разносчику покупать эти драгоценные ткани, чем наглядно изображается пристрастие русского народа к пурпуру, виссону и вообще к роскоши.

Из других поучений замечательно больше всех то, где проповедуется, что кредит есть первая причина подлости и непременно влечет за собою обман. Впрочем, наставник уговаривает народ только не брать в долг; давать же в долг, на проценты, «в рост» он даже рекомендует, правда, не в этой, а в другой книжке — о том, «как надо жить, чтобы добро нажить». «Пускание в рост» изображается здесь в обольстительном виде, как идеал мудрости и благоразумия. По этому поводу рассказывается в поучение следующий анекдот: «Один сберегал и пускал сбереженные пять копеек на день в рост, на проценты: в конце десятого года легко (т. е. без труда) получил 215 руб.; через 15 лет — почти 370, а через двадцать лет после того, как спрятал первый пятачок, получил 565 рублей. Другой откладывал на день (и тоже, как видно по расчету, пускал в рост) по гривеннику и через 10 лет имел в мошне 430 рублей, через 15 — 740 р., а через 20 лет — счетную тысячу да еще 130 р. на придаток». Вообще эта книжка гораздо обстоятельнее первой. Телячий тон и латинские афоризмы первой, которая просто глупа, и слава богу! заменены во второй внушениями практическими и теоретическими соображениями весьма неблаговидного свойства. Показав на примерах, как выгодно пускать в рост деньги, автор предается теоретическим соображениям касательно законности этого средства «наживать добро». При этом он списывает стереотипные рассуждения разных немецких мелких Шульце-Деличей о сохе, данной напрокат, и о поле, ссуженном под посев. Но там, где эти господа умеют изловчаться и благообразить подобную аргументацию, наши Шульце-Деличи несут самую отчаянную чепуху по круглому незнанию экономических вопросов.

Так, все рассуждения о труде, которыми начинается книжка, сводятся опять-таки на пошлые внушения необходимости трудиться в поте лица своего. «Судьба твоя в твоих руках, — говорит рабочему Шульце-Делич, изданный под редакцией г. Максимова, — ты сам отвечаешь за свое счастие и несчастие: работай! Твои ближние сами о себе заботятся; работай и ты сам по себе и для себя; не отягощай собой других, не мешай другим! Посмотри кругом себя: все работают, все в труде ищут спасения от нужды и от тех беспокойств, какие родит она. Человек, который ничего не делает, но живет, ест, пьет и съедает то, что другие наработали, в конце умер бы с голоду. Соседи презирали бы его,

оттолкнули бы от себя как непотребного лентяя. Мы видим, что если не работают люди, то в таком случае живут они прежним запасом. Но если из чана брать воду и не доливать его, в конце в чану не будет воды. Тот, кто не работает, волен ходить сложа руки; но ежели он беден, то на утро у него не будет что есть; если же он богатый, то ему опротивеет самая жизнь, и он станет всем людям в тягость, себе — на стыд».

Если все это написано одного красноречия ради, как поучения дедушки Матвея, то это просто бестолковая болтовня, скучная и нелепая. Но эти рассуждения, равно как и вся эта книжка, несмотря на свое скудоумие, имеет, повидимому, претензию не просто болтать, а поучать и втолковывать разные социальные и экономические истины. Если, действительно, таково намерение автора, то его можно поздравить! Представьте себе, в самом деле, что приведенный отрывок не простая нравоучительная болтовня из Киндерфрейнда, а quasi * серьезное рассуждение о значении труда. Если это должно принимать в таком смысле, то, значит, автор желает внушить рабочим, что благосостояние или бедность зависят от того, трудится человек или нет, т. е. что всякий трудящийся пользуется благосостоянием, а праздный непременно беден; что бедность есть следствие лени; что таких людей даже вовсе нет, которые ничего не делали бы, потому что они давно умерли бы с голоду; что если и есть такие, то они не трудятся теперь оттого только, что много трудились прежде; и что богатые тунеядцы, живущие не трудясь, прежним запасом, находятся у всех в презрении. Вот что называется в поучительных книжках une poignée de vérités! ** И вот еще, что можно назвать последовательными и непротиворечащими рассуждениями.

Как правдоподобно, в самом деле, что все богатые, ничего не делающие, живут плодами своих прежних трудов! Как согласно с действительностью, что таких тунеядцев все презирают! Да и за что же их презирать, если правда, что они живут ничего не делая только потому, что прежде много трудились? Нельзя также не изумляться высокой нравственности этих поучений, проповедующих, что каждый должен думать только о себе, что бедному нечего рассчитывать ни на чью помощь, тем более, что он сам виноват в своей бедности!

Надо сказать правду, что ни Шульце-Делич и никто из его немецких последователей не решится сказать что-нибудь подобное. Оно и понятно: Шульце-Делич и его друзья говорят свои поучения прямо в глаза рабочим и очень хорошо знают, что, скажи они что-нибудь подобное, их бы с аффронтом прогнали с учительской позиции. Поэтому они льстят ученикам и не осмеливаются говорить явную ложь, будто бедность есть следствие

* Якобы. — Ред.
** Пригоршня истин. — Ред.

лени. Они никогда не посмеют назвать лентяями тех, перед кем прикидываются учителями и доброжелателями. Но наши Шульце-Деличи находятся в более выгодном положении: они настрочат свои глупости, расчетливое товарищество пустит их в печать, и затем ни этому товариществу, ни г. Максимову, ни г. Бестужеву-Рюмину нет никакого дела до того, будет ли народ читать их, и если будет, то поймет ли и как поймет. Немногие порядочные люди, которым попадутся в руки эти книжонки, конечно, назовут их авторов опасными болтунами. Но кто берется за подобное дело, тот заранее вооружается необходимым стоицизмом для перенесения этой мелкой неприятности.

Замечательно, что, несмотря на претензию объяснять политико-экономические понятия, книжка эта, говоря о труде, ограничивается извержением подобных истин и не произносит ни слова о политико-экономическом значении труда. Это должно скорее приписать неимоверному невежеству автора, чем преднамеренности, хотя только умолчание это позволяет ему говорить ниже те вопиющие бессмыслицы о капитале и проценте, которые украшают его книжечку. Если бы он показал значение труда; если бы он сказал, что только труд может что-нибудь производить, что всякий капитал обязан своим происхождением одному только труду, — он лишил бы себя возможности городить впоследствии чепуху о капитале и проценте. Но, заменив настоящее определение труда и указание на его значение нравоучениями о долге трудиться, он может беспрепятственно утверждать впоследствии, что соха, поле или деньги могут быть производительны сами по себе.

Эти рассуждения о капитале и проценте составляют верх прелести и совершенства, и я приглашаю гг. Максимова и Бестужева-Рюмина порадоваться вместе со мною обширности экономических познаний привилегированных писателей товарищества. Вот эти рассуждения: «Тот, кто владеет собственным плугом или сохою, может обработать гораздо большую полосу на пашне, чем тот, у кого нет сохи или плуга. *Соха и плуг дают владетелю прибыль,* какой без них он не имел бы. Когда бы тот, который своим плугом или сохою не владеет, захотел взять его у другого, этот имел бы право сказать ему:

— Ежели я тебе отдам мою соху, с помощью которой возделываю поле, то сам не буду иметь чем орать и добывать прибыль, какую от него получаю.

Тот же, у которого нет сохи, но есть надобность в ней, мог бы ответить так:

— Я готов дать за нее ссуду или поделиться с тобой тем, что выработаю сохой или плугом если ты одолжишь мне взаймы. Могу вознаградить тебя житом, которое соберу, либо деньгами, полученными от продажи его.

То же самое и с землею. Тот, кто владеет приготовленным под пашню полем, может сказать:

— Ежели я сам ее вспашу и засею — получу доход. Но когда ты хочешь, чтобы я позволил тебе сеять на моем поле, то вознагради меня тем самым, что я имел бы, когда бы сам засеял жито».

Где же у вас стыд, господа? как спрашивал Лассаль Шульце-Делича ([6]). Неужели вы не видите, что пятилетнему ребенку ясно и понятно, что вы или сами ничего не понимаете, или хотите обмануть да не умеете. Разве вы не сознаете, что не только взрослый работник, но даже малое дитя — и то ответило бы вашему владетелю сохи или поля, что ни соха, ни поле ничего сами по себе не произведут, хотя бы простояли тысячу лет у своего владельца; что все создает труд того, кто будет ими или на них работать; что если владелец не будет работать, то ему не за что и пользоваться ими; что, уступая их другому, он или намерен избрать себе иной род труда, при котором эти орудия бесполезны для него, или намерен ничего не делать, потому что в противном случае не отдавал бы их; что если он будет работать, то и получит за свой труд; если же ничего не будет делать, то за что же ему получать? Далее тот же малый ребенок сказал бы гг. Максимову и Бестужеву-Рюмину, что доказывать необходимость взыскания процента с пользующегося орудиями труда тем, что орудия эти необходимы для производства, — верх нелепости. Это все равно, что доказывать необходимость платы за пользование воздухом тем, что воздух необходим для дыхания; заставлять платить человека за пользование орудиями труда, оттого что орудия эти необходимы ему, — все равно, что требовать с него платы за то, что у него есть руки, ноги, глаза, которые тоже необходимы для труда. Поймите же, что заставлять платить за них, т. е. принуждать человека работать за то, чтобы иметь возможность работать, — вещь, непримиримая со здравым смыслом. Все это говорилось и повторялось тысячу раз, и не знать таких простых истин, азбуку не политической экономии даже, а просто здорового человеческого рассудка — срам и стыд, достойные Шиля, а не г. Максимова. Если уж повторить Шульце-Делича, то хоть запоминайте получше его слова. Шульце говорит не о сохе и не о пашне, а о поле с ж а т в о ю, ссужаемом владельцем другому. Таким образом, здесь выбран такой пример, где владелец ссужает продукт своего труда, свой капитал с затраченным на него своим личным трудом.

Хотя пример Шульце-Делича тоже софизм, и притом довольно нехитрый и неблаговидный, но все-таки между такою уловкою и грубоневежественною галиматьей неуклюжих народоучителей — разница громадная.

Однако, послушаем наших Шульце-Деличей далее:

«Точно то же и с деньгами. Тот, кто имеет их, может также объявить всем:

— На эти деньги я купил бы себе соху, борону, поле, дом; они принесли бы мне доход и выгоду. Если бы дать взаймы деньги, нужно потребовать вознаграждение от того, кто, взявши мои деньги, будет ими пользоваться».

Политико-экономы «Общественной Пользы», повидимому, и не догадываются, что в ответ на это их капиталисту скажут: нет, деньги сами по себе ничего произвести не могут, и если бы хоть пятьдесят лет продержать их в кармане, то количество их не увеличится. Купив на деньги соху, борону или поле, все-таки надо работать, чтобы жить. Получать не трудясь значит присвоивать чей-нибудь труд, так как все добывается работой, а не с неба сваливается. Деньги только средство облегчения обмена, как сказано даже в той же книжке; следовательно, они никак сами по себе ничего производить не могут; на них можно купить все, что нужно, это правда; но покупать на деньги или ссужать ими — в сущности одно и то же, потому что денежная ссуда делается обыкновенно под залог, цена которого даже выше займа. Вот почему общественная экономия признает кредит взаимным обменом равных ценностей, а вовсе не лихоимством, как проповедуют недоучившиеся экономисты товарищества в пользу лавочников и ростовщиков.

Разбираемая нами книжечка дает ответ, после которого становится ясно, как дважды два четыре, что автор ее сам не ведает, что говорит.

«Люди, — рассуждает он, — имеют обычай часто говорить таким образом: — Пущай-де получает с имущества свою выгоду тот, кто сам его нажил трудом и терпением. — И спрашивают с неудовольствием: — А зачем же берет проценты, корм, рост такой богач, который сам ничего не делает? Где тут правда? *Но когда бы владелец сохи или плуга сам не пускал их в работу и другим не давал* (вот так аргументация! слушайте!), *тогда и тот, у кого нет сохи и плуга, не орал бы, не засевал пашни, лежал бы лёжнем, не получал бы прибыли, меньше было бы на свете жита, а недостаток хлеба породил бы нужды и голод для всех. Не лучше ли дать что-нибудь за наем, за одолжение сохи, а ею заработать и приумножить людям жито?*»

Вот это уж точно неопровержимое доказательство! как же, в самом деле, не вознаграждать дармоедов? Ведь они могли бы зарыть свои деньги в землю, сами не работать и другим не позволять — и тогда наступил бы общий голод, и все перемерли. В виду такой перспективы, зная, что они всегда могут сделать это, не лучше ли, действительно, задобривать их лихвой и зато

не умирать с голоду? Короче сказать, поощрять лихоимцев следует, потому что иначе они уморят всех с голоду.

Что сказать о таких аргументациях? Одно разве, что только привилегия, которою пользуется товарищество, спасает его от подозрения возбудить ненависть сограждан друг против друга. Скажи что-нибудь подобное настоящий Шульце-Делич, его покровители-ростовщики отступились бы от него и сделали бы ему порядочный процесс. Их никогда не удалось бы убедить, что человеческая наивность может простираться так далеко. Но, конечно, Шульце никогда ничего подобного и не скажет, и это между прочим доказывает, как много еще нужно нашим либералам учиться, чтобы сравняться с их иностранными образцами.

Доказав таким блистательным образом справедливость лихоимства, автор книжонки пускается толковать о богатстве и бедности и умозаключает, что все к лучшему, если процветает тунеядство. При этом он замечает, однако, что есть люди, находящие такое положение дел ненормальным. Здесь, опять не знаю, по отчаянному ли невежеству, которым он отличается, или сознательно, автор, не краснея, уверяет, что эти люди советуют ограбить богатых и раздать их имущество бедным! Объясните, гг. редакторы, лжете вы или просто не знаете азбуки того, о чем говорите? Выдумав такой способ уравнения состояний, автор принимается опровергать его и, конечно, торжествует, потому что над его измышлениями может восторжествовать даже он. Он предполагает, что уравнители состояний намерены поступить так: отнять у богатого, например, фабрику и разделить ее между бедными: кому один винт от машины, кому другой, кому кран, кому колесо. Затем он с видом триумфатора говорит: «Разделивши машину на пятьдесят кусков для пятидесяти бедных, мы сделаем ее ни к чему негодною... Фабрика или завод упадут». Впрочем, он успокоивает читателей, что ничего подобного произойти не может: «Но мы уже сказали и доказали, что все то, чем каждый владеет, имеет на то полное право (хоть бы русской грамоте научились прежде, чем учить народ), и имущество его никто отнять у него не смеет» (sic).

После всего приведенного мы, конечно, не можем ожидать от подобных народоучителей ни одного путного слова. Однако, нам суждено еще раз удивиться, услышав, что автор приглашает рабочих радоваться роскоши и мотовству богатых, потому что «каждый рубль, который он тратит на пустяки и безделье, есть заработок бедняка, который эти вещи сделал, добыл трудом. Если бы не существовало богача для покупок, такие вещи перестали бы выделывать, потому что не нашлось бы никого, кому они понадобились бы».

Этих слов достаточно, чтобы убедиться, что сочинитель книжки «о труде» даже никогда не слыхал о разнице между производительным и непроизводительным трудом.

И такие-то люди поучают у нас народ! И таковы-то поучения, сочиняемые для народа при сотрудничестве самых избранных знатоков народа!

ИСТОРИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ В ГЕРМАНИИ ПО ЛЕТОПИСЯМ И РАССКАЗАМ ОЧЕВИДЦЕВ В. ЦИММЕРМАНА

Перевод под ред. В. Зайцева. Издание редакции журнала «Русское Слово». Выпуск 1. Спб. 1865.

Д. Л. МОТЛЕЙ. ИСТОРИЯ НИДЕРЛАНДСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОСНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ.

Т. I. Спб. Издание книжн. маг. Яковлева. 1865.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА Г. ГЕРВИНУСА.

Переведено под редакцией М. Антоновича. Издание Бакста. Спб. 1864.

ИСТОРИЯ XIX ВЕКА ОТ ВРЕМЕНИ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА. Г. ГЕРВИНУСА.

Переведено под редакцией М. Антоновича. Издание Бакста. Томы I, II, III. Спб. 1862—64.

В «Русском Слове» было уже несколько раз говорено об «Истории XIX века» Гервинуса по мере выхода выпусков этого сочинения в русском переводе *. Тем не менее, имея в виду говорить о двух только-что вышедших на русском языке исторических сочинениях, задача которых изобразить два великие народные движения XVI века — крестьянскую войну и восстание Нидерландов, я считаю вполне уместным обратиться от них к последним явлениям и результатам реформирующего духа, действующего непрерывно со времени этих движений. Эти последние явления и результаты взялся изложить Гервинус в своем еще неоконченном сочинении.

Все три исторические сочинения, о которых я намерен говорить, принадлежат той историографии, которая в глазах некоторых потеряла всякое значение со времени совершенно новых начал, внесенных в науку истории Бёклем. Я уже имел случай заметить, что, по моему мнению, отрицать в виду бёклевского метода значение всех других историков, не принадлежащих к его школе, значит впадать в крайность ([1]). Я сказал и повторяю теперь, что наряду с наукой истории в том виде, как ее создал Бёкль, всегда останется другая историография, значение и цели

---

* А именно: в 1863 году, № 1, «Библиографический листок» (без подписи); № 7, статья «История XIX века» и т. д. г. Л. П-ского; 1864. № 5 «Библиографический листок» за подписью Г. Б., и № 6, статья «Три народности» Н. В. Шелгунова.

которой прекрасно определены еще Плутархом следующим образом: «Для меня, — говорит он, — история есть как бы зеркало, на которое я гляжу, чтобы стараться по мере возможности жить по примеру великих людей и усвоивать себе их добродетели. Занимаясь составлением этих биографий, я сам учусь, собирая в душе воспоминания о самых добродетельных и знаменитых людях; и когда общество, среди которого я принужден жить, заражает меня каким-нибудь стремлением порочным, развратным, недостойным честного человека, мне стоит лишь обратиться к этим великим образцам мудрости и добродетели, чтобы отогнать прочь это стремление и успокоить мои мысли».

И так справедливы эти слова великого историка древности, что впечатление, которое сочинение его производило на него самого, чувствовалось всегда всеми великими людьми, почитавшими его, — от древних завоевателей и полководцев до французских революционеров прошлого века. Да и кто будет отрицать силу и значение такой историографии, когда отрицать это — значит отрицать влияние на людей геройских примеров и вдохновляющих идеалов, значит отрицать в людях способность увлекаться высокими образцами и возвышенными идеями, т. е. давать против себя победоносное оружие тем, которые, извращая и позоря учение утилитаристов, не признают ни одного поступка, ни одной мысли, не основанных на расчете барышей и процентов. Но факты не дают места такому отрицанию. Кто не знает, какое значение и влияние имели на народ, не говоря уже ни о чем другом, всевозможные мартирологи церкви? Кто не знает, на какие удивительные подвиги увлекали целые массы биографии мучеников и отшельников, паломников и аскетов? Зная это, можно ли думать, что те же средства не увлекут людей на более современные и практические подвиги?

Правда, такая историография необходимо обусловливает то, что на каждом произведении ее отражается слишком резко личность автора. Только умный и добродетельный человек может возбудить симпатию к высокому и честному; глупец и развратник будут стараться представить в заманчивом свете противоположное качество. Если Тацит возбуждает удивление к Тразее, то Патеркул старается вызвать восторг к Тиберию; если, читая Шлоссера, мы увлекаемся идеалом честности, зато, читая Маколея, мы видим попытку заинтересовать нас в пользу сословного своекорыстия и дипломатической ловкости. Но, к счастью, эти старания и попытки всегда безуспешны. Только честная и истинная идея может увлекать и восхищать; низкие же или ложные — никогда: честные люди всегда разгадают их и встретят презрением, а глупцы и бездельники, к которым они обращаются, не нуждаются в нравственных стимулах к подлостям.

Такое нравственное значение имеет, по моему мнению, «История крестьянской войны» Циммермана помимо того научного

значения, которое она приобрела, знакомя читателя с событием, составляющим предмет ее. Впрочем, о достоинствах этого сочинения я не буду распространяться, так как это издание нашей редакции и так как, следовательно, из этого уже и без того ясно, что мы находим его достойным внимания (2).

В этом же значении нельзя отказать и книге Мотлея «История Нидерландской революции», хотя нельзя не сказать, что симпатии автора не всегда обращены в должную сторону (3). Он совершенно прав, сочувствуя делу национальной независимости и религиозной свободы, отстаиваемых против самого невыносимого светского и духовного ига, которое когда-либо тяготело на народе; в этом отношении всякий согласится с ним, кроме каких-нибудь отупевших изуверов, которые встречаются и в XIX веке, чтобы отстаивать принципы, осужденные еще в XVI. Впрочем, и эти люди обыкновенно не решаются восставать против самого принципа; тактика их состоит только в том, чтобы разными хитросплетениями запутать дело, затемнить его, возбудить в обществе враждебные этому делу инстинкты и, главное, не дать заметить, что в данном случае речь идет о торжестве или унижении того самого принципа, перед которым благоговеют они, когда встречают его где-нибудь в древней Греции или Италии. Но сообразительности у Мотлея хватает только на это. Взгляд же его на лица и события, происходившие в том лагере, которому он симпатизирует, отличается крайней близорукостью; он неспособен разглядеть волков под овечьей шкурой и неспособен поэтому понять, какие интересы привели их в лагерь правого дела. Этого, конечно, за глаза достаточно, чтобы истинный смысл и всемирно-историческое значение описываемого им события остались ему совершенно недоступными и неизвестными. К сочинениям Мотлея и Циммермана я буду принужден вскоре вернуться, а теперь скажу несколько слов об историческом труде Гервинуса.

Этот историк в своем сочинении задал себе совсем иного рода задачу, чем два первые. Вместо того, чтобы излагать просто события, не скрывая своих симпатий и антипатий к идеям, выраженным в них, Гервинус намеревается открывать и показывать читателю разные «законы», будто бы управляющие судьбами мира. Понятно каждому, кто читал Бёкля, что такая претензия не может быть выполнена иначе, как при помощи того метода, который ввел в науку истории этот реформатор ее. Если какая-нибудь часть прежней историографии потерпела решительное поражение от Бёкля, то именно подобные претензии. После Бёкля уже сделалось несомненным, что вне его метода история может быть только рассказом о лицах и событиях, что, по моему мнению, повторяю, не лишено значения. Но всякая философия истории, не основанная на естественно-исторических данных, рассматривающая человека не в связи с природою, рассуждающая и выводящая свои «законы» на основании внешних проявлений его

действий, без знания их причин и окружающих условий — всякая такая философия истории есть просто галиматья, неизбежно приводящая несчастного, взявшегося рассуждать таким образом. к Сцилле и Харибде, представляемыми для него двумя лишенными смысла теориями провиденциализма и фатализма, равно ничем не доказываемыми и ничего не доказывающими. Эти две теории ведут между собою с незапамятных времен ожесточенную войну, которая никогда бы не кончилась, потому что обе представляют обширный простор болтовне, так как опираются не на факты, а на фразы, если бы не пришел Бёкль и не объявил всего этого спора препирательством двух умалишенных. По одному из этих воззрений, все, что совершалось в мире, начиная с его сотворения, совершалось на благо и на пользу людям. Это воззрение соответствует аналогичному с ним воззрению, господствовавшему некогда в естественных науках и предполагавшему для всякого, самого малейшего события, как, напр., для того, чтобы создать новый вид в животном царстве, вид каких-нибудь паразитов, обитающих в теле известного вида инфузорий, — непосредственное вмешательство deus ex machina *. На это в свое время возражали, что такое воззрение не возвышает, а унижает роль провидения и, указывая на многие несовершенства, встречающиеся в природе на каждом шагу, спрашивали, почему же допущены они? Но провиденциалисты продолжали стоять на своем, пока открытие положительных фактов, объяснивших многое, что было прежде непонятно и потому давало простор их ерунде, не заставило их замолчать. То же точно происходило и в области исторической науки: провиденциалисты видели то же в истории человечества, что собратья их — в явлениях природы, и изощрялись только в придумывании разных благодетельных последствий для событий, казавшихся им слишком мрачными. Им делали совершенно те же возражения, указывая на факты событий вредных, гибельных, ужасных, а они напрягали все свои умственные способности, чтобы подыскать для таких фактов последствия, могущие оправдать их. Выходило, наконец, так, что все идет в истории к лучшему, всему следует радоваться и от всякого зла, как бы оно ни было, повидимому, ужасно, следует ожидать добра. Какой-нибудь честолюбец перерезал полмиллиона людей, ограбил, сжег, опустошил и обратил в пустыню целую страну — ничего, зато из этого через 300 лет в каком-нибудь римском праве развилось истинное понятие о каком-нибудь вопросе публичного права. В продолжение тысячелетий существовало рабство: людей мучили, продавали, бросали на съедение зверям и рыбам, обращали в евнухов — ничего, прекрасно, это было бла-

* «Бога из машины» — появление бога при помощи машины в древнеримской трагедии с целью разрешить какое-нибудь запутанное положение. — *Ред.*

го. — Как благо? — Да, благо, — отвечает невозмутимый историк: — рабство есть плод первого гуманного начала, внесенного в войну, а, следовательно, и в международные отношения, и когда война прекратится совершенно, то все почувствуют, каким благодеянием было рабство. — Такая невообразимая нелепость говорилась людьми, считавшимися умными, учеными и даже крайне либеральными, напр., Лораном. Причиной такой странности, т. е. что подобные мнения не мешали пользоваться хорошей репутацией, было то, что в области философии и истории, помимо этих мнений, оставалась еще другая, более произвольная теория. Первая, несмотря на свои нелепости, имела в себе, однако, один истинный принцип, составлявший ее привлекательность и силу в виду противоположного взгляда. Это был принцип прогресса, который все-таки истинен, как ни нелепо объясняли его провиденциалисты, и знание которого так сильно поддерживает и укрепляет людей в житейской борьбе. Этот великий принцип отвергался фаталистами, которые, как, напр., Вико, полагали, что человечеству суждено постоянно достигать известной степени развития и затем опять отходить назад, вечно вращаясь в этом заколдованном круге, в этом cercle vicieux*. Выдумав такое коловратное движение, его назвали «историческим законом» и верили как во что-то непреложное и необходимое. Впрочем, и для этой нелепости не было недостатка в защитниках и проповедниках гениальных и славных, в числе которых можно назвать самого Аристотеля и многих знаменитых итальянцев средних веков, не исключая и самого Макиавелли. Мнение это, хотя менее справедливое, чем первое, потому что отрицало прогресс, имело, однако, на своей стороне больше рассудка и не допускало таких бессмысленных и произвольных толкований, как первое. Оно вытекало все-таки из живых фактов, из наблюдения над действительностью, а не из софистических мудрствований. Происхождение его объясняется преобладанием в древности и в средние века политического принципа в жизни обществ. Прогресс общества, его нравственное и материальное развитие тесно связывалось с развитием и существованием государства. С падением государства, казалось, погибали все приобретения общества, и новое государство, занявшее его место, должно было начинать свое развитие сызнова, общество, составлявшее его, было не только не прежнее, но даже не наследник его, а приходило ни с чем и должно было все само приобретать вновь. Такие представления возникли от печальной действительности. Во время постоянных завоеваний общества падали, исчезали и сменялись вместе с государствами именно таким образом. Так было в древности, так было и в средние века. Итальянцы, которые первые начали работать мыслию после времен варварства, долго

* Порочном круге. — *Ред.*

ухищрялись придумать такое государство, которое избежало бы общей судьбы — неизбежного падения со всем достоянием, выработанным его обществом. Так как только в таком вечном государстве мог осуществиться вечный прогресс, то понятно, что вся мудрость сводилась в конце-концов к тому, чтобы устроить государство так, чтобы ему и конца не было. Отсюда такое непомерное богатство итальянской политической литературы, которая, преследуя эту цель, доходила до того, что поучала министров и политиков манерам, разговорам, искусству вести придворные интриги и т. д. Потом, убедясь в невозможности создать такое государство, она пришла к фатализму и посадила человечество как белку на колесо.

Итак, стало быть, кроме того, что фатализм отрицал прогресс, он в истории оказался в новейшее время несостоятелен еще потому, что, вопреки духу этого времени, придавал слишком большое значение политическому принципу. Вот почему такие софисты, как Лоран, могли похвалиться симпатиями общества и разыгрывать роль истинных знатоков историко-философской мудрости, пока не явился Бёкль и не погнал и тех, и других вон.

Гервинус же еще до Бёкля (что, конечно, извиняет его) возымел претензию открыть людям истинный свет, примирив оба направления, господствовавшие в том хаосе белиберды, который они называли философией истории. Повидимому, при такой разнице в этих воззрениях замысел этот был совершенно невыполним, стоял вне сил человеческих; но дело в том, что в области фантазии можно делать что угодно, даже совмещать несовместимое и мирить противоположное, — ничто этому не противится.

Гервинус сам говорит, что издал свое «Введение к истории XIX века» отдельно в 1852 г. по просьбе своих друзей, которые вообразили, что эта книжечка «может послужить к восстановлению пошатнувшегося доверия людей к нашему будущему, может поднять упавшую веру в настоящее, приготовить убежище надеждам тех, которые претерпели крушение в последние годы». Вот он и послушался этих друзей и издал свою книжечку.

Однако, друзья просто, должно быть, хотели подсмеяться над ним, в чем и достигли полного успеха, потому что он не только издал «Введение» в надежде, что оно «восстановит, поднимет и приготовит убежище», но и заявил еще об этих притязаниях.

Что же за мысль этой книжечки, которая должна восстановлять и поднимать веру и надежды, упавшие после 1848—52 годов? И кто этот писатель, воображающий себя способным производить эти чудеса?

Мысль книжечки, как я уже сказал, помирить две спорящие толпы историко-философов.

Примирить их Гервинус думает посредством такого рода маневра: он допускает, что, будучи рассматриваема в целом, история представляет несомненный прогресс. «Созерцаемая в целом,—

говорит он, — в обширном течении веков, она снова в том же приливе и отливе представляет постоянное стремление по одному определенному направлению, совершенно несомненный прогресс господствующей идеи». Но если взять отдельный, хотя значительный период времени, то «она представляет картину постоянных колебаний между противоположными влияниями — колебаний, которые противодействуют всякому перевесу одной какой-либо идеи, одного какого-нибудь руководящего начала или силы» (стр. 8).

Я не буду задавать вопроса, какое кому утешение и убежище нашел Гервинус в этой идее. Понятие о cercle vicieux, теория фатализма, вечных стремлений и падений, усилий и неуспехов ничего утешительного, конечно, не представляет до того, что мучения Сизифа вошли в пословицу и занимали одно из самых видных мест в греческом аду. Что же касается до неутешительности идеи прогресса «в целой истории, в обширном течении веков», то я не буду доказывать этого, так как это уже сделал Н. В. Шелгунов в статье своей о Гервинусе. Я только попрошу читателя внимательнее перечитать приведенные слова, в которых вся глубина гервинусовской мудрости, и затем спрошу его, можно ли поверить, что это может быть напечатано в книге, имеющей такие храбрые претензии и считаемой дельною и серьезною. Я знаю, что меня заподозрят в извращении слов Гервинуса, как уже было с Маколеем; но прошу не осуждать меня, не справившись с книгой. Там все это напечатано и еще развито на стр. 9. Но ведь как же это? Ведь здесь решительно всякое слово первой фразы противоречит всякому слову второй; ведь здесь не более, не менее, как утверждается, что можно далеко уйти, если будешь переминаться с ноги на ногу! Не может этого быть! Разберем внимательнее. В первой фразе утверждается: 1) что история идет по определенному направлению; 2) что бывают господствующие идеи; 3) что существует несомненный прогресс. Во второй же фразе также утверждается: 1) что история не идет ни по какому направлению по неимению руководящего начала или силы; 2) что никогда никакая идея не бывает господствующей; 3) что все кончается качанием из стороны в сторону. Но скажут: вы забываете, что в первой фразе стоят слова: «в том же приливе и отливе», — следовательно, Гервинус не допускает и в целом истории вечного прогресса, но и там предполагает такие же шатания. Конечно, так надо думать, отвечу я, хотя в таком случае и то слабое утешение, которое представлялось прогрессом в целом истории, исчезает; но дело в том, что, жертвуя этим утешением, вы все-таки не достигаете цели — защитить Гервинуса от обвинения в страшной, вопиющей к небесам нелепости и в попрании простого человеческого, даже животного смысла. Пример, и притом самый простой, всего лучше покажет всю прелесть философствования такого рода: представьте себе человека, уверяющего, что если стать посредине комнаты и переминаться

с ноги на ногу, то можно уйти в один угол и потом перейти в противоположный и так далее. Да ведь это не только человек, а даже всякая курица расхохочется в глаза такой нелепости. Между тем Гервинус говорит то же самое, только у него фокус показывает не тело, а идея, и действие происходит не в пространстве, а во времени. Что же касается до смысла этого переступания, то об нем после сказанного больше распространяться нечего, тем более что об этом было говорено во всех остальных трех статьях нашего журнала, на которые я указал вначале.

Фатализм Гервинуса объясняется как нельзя лучше всеми его прочими воззрениями. Гервинус, как известно, платонический обожатель Пруссии, поклонник отвергнутый и несчастный, потому что, кроме пламенной любви к Пруссии, сердце его вмещает еще столь же несчастную страсть к конституции. Словом, это один из тех жалких немецких рыцарей Тоггенбургов, которые носятся всю жизнь с своей мечтою об единении Германии посредством Пруссии, которая взамен того должна согласиться на конституцию и перенести свой воинственный азарт туда, все прямо на Восток, что Гервинусы называют цивилизующей миссией Пруссии. Эти рыцари Тоггенбурги потерпели жестокий афронт в 48 году, когда все усилия их облагодетельствовать и возвеличить, хотя бы против его воли, прусское правительство оказывались тщетны и навлекли на них только позор и насмешки. В Германии порядочные люди, хотя враждебные нынешней государственной системе ее, смотрят, однако, с справедливым презрением на непризнанных обожателей Пруссии; и если выйдет в русском переводе II том «Зоологических очерков» Фогта, читатели прочтут там уморительное описание либеральных усилий Гервинуса и его единомышленников (4).

Эта нежность к прусской конституции обнаруживается в сочинении Гервинуса на каждом шагу весьма комично. Он будирует прусских государственных людей, порицая их не за то, что они были мелки и деспотичны, а за то, что их мелочность и своеволие всегда мешали им занять то высокое положение, которое Тоггенбурги решились навязать им во что бы то ни стало. Он сердится на них, как нежная мать на единственного сына, которого ей очень хочется увидеть со временем каким-нибудь Ньютоном или Александром Македонским, но который, к сожалению, оказывается решительно неспособным совладать с четырьмя правилами арифметики и стремится единственно к тому, чтобы сделаться уланским юнкером. Таков политический и исторический кругозор Гервинуса, и этот-то человек с таким узко-бюрократическим миросозерцанием питает честолюбивые замыслы восстановлять веру в будущее, поднимать упавшие надежды и приготовлять убежище огорченным! Он, игравший в событиях 48 года роль горохового шута, посмешище и отверженец обеих крайних партий, решавших вопрос, он хочет потом разыгрывать роль

утешителя! Радикалы боролись за торжество новых принципов и пали со славою; консерваторы отстаивали старые порядки и отпраздновали победу; это была борьба торжественная и величественная, борьба богов с великанами, где решалась участь важнейших интересов человечества. Среди этой борьбы люди, подобные Гервинусу, которые ни рыба, ни мясо, которые ничего не понимали, от одних отстали, к другим не пристали, думали, что речь идет о тех ничтожных побрякушках, которые для них — все; они развлекали зрителей этой величественной драмы своими комическим выходками, как шуты и Фальстафы в драмах Шекспира. И вслед за тем они имеют наивность являться с своими утешениями, эти куклы! — Друзья, — восклицают они, обращаясь к побежденным народам Европы, — не унывайте! История представляет картину постоянных колебаний; ничто долго торжествовать не может — таков исторический закон. Поэтому верьте, государственные люди Пруссии еще одумаются, согласятся поменяться конституцией на Германию и предпринять «цивилизующую миссию на Восток». Верьте, что настанет время, когда сам Гервинус будет конституционным министром германского короля! А в ожидании этого читайте «Историю XIX века» и истинно-прусские сочинения Гнейста и Зибеля ([5]). Я уверен, что с мнением моим о Гервинусе не согласятся многие даже из числа тех, которые не имеют ничего общего с принципами этого писателя. Так. напр., хотя всегдашнее правило прежнего «Современника» было: не сотвори себе кумира, но г. Антонович воспользовался первыми именами, к которым прежний «Современник» имел причины относиться снисходительно, чтобы понаделать из них себе божков. К числу таких божков отнесен и Гервинус, редактированный г. Антоновичем *. В указанных мною статьях нашего журнала об этом сочинении были выставлены все недостатки его, о которых я говорил здесь. Г. Антонович приписал одну из этих статей мне, должно быть, ту, которая не подписана, и дважды обвинял меня на основании ее, что в истории я в и ж у т о л ь к о в о й н ы. Не стоит говорить, что неподписанная статья принадлежит вовсе не мне, уже потому не стоит, что в ней ни о каких войнах ни слова не говорится, а дается просто самый краткий отчет о содержании сочинения Гервинуса и о его исторических воззрениях. Что же касается до манеры г. Антоновича приписывать статьи без подписи кому угодно, смотря по надобности, то эта манера у него не новость, и она вообще достойна внимания только для оценки его полемических приемов. Но, намереваясь говорить о содержании трех истори-

* И преплохо редактированный, потому что, напр., принца Евгения (Eugen) переводчик принял за какого-то господина Эжана; страссольдо за строффольдо (немецкое s очень похоже на f, а двойное еще более); кроме того, я заметил герцогов Э н г и е н а (Анген) и Д у р а с а, что даже неприлично, и графа Б р у г е с а, напоминающего «модес ет робес» на вывесках модных магазинов.

ческих сочинений, лежащих передо мной, и о смысле периода, начало и конец которого они рассматривают, я очень рад остановиться на фразе г. Антоновича ([6]).

Видеть весь смысл истории в одних войнах! Кто не знает и не повторял этого банального упрека? Кто не знает, что самое обидное возражение, делаемое историкам и критикам исторических сочинений, состоит в этой сакраментальной фразе: видит в истории одни войны? Я думаю, в новых прописях, по которым нынешние дети учатся каллиграфии, и там блистает эта фраза: не должно видеть в истории одни войны. Теперь та же фраза употребляется г. Антоновичем против меня за мою никогда не существовавшую статью о Гервинусе. Фраза эта повторена им уже дважды, и, очевидно, он уже считает ее одним из своих трофеев и будет повторять до пресыщения. Но так как повторять ее было бы уже неловко после того, как я здесь заявляю, что никогда и нигде до сих пор не говорил о Гервинусе, то я, не желая лишать г. Антоновича такого трофея, намерен дать ему возможность носить свою драгоценность, свой клейнод уже без всякого опасения, что его снимут с него, как вещь, ему не принадлежащую. От такого обскуранта, как я, который защищает телесные наказания (как тоже quantum satis * повторяет г. Антонович) и рабство негров, конечно, можно ожидать, что он не постыдится видеть весь смысл истории в войнах. Но, принося г. Антоновичу такую великодушную жертву, я все-таки, по свойственной людям трусости, намерен принять меры, чтобы в глазах людей благомыслящих извинить до некоторой степени свой обскурантизм, и с этою целью спешу заблаговременно прикрыться авторитетом. Но какой же авторитет могу я выставить за себя в таком деле? Какого-нибудь отпетого историка, давно уже погребенного под тяжестью упрека в том, что он видит, в истории только войны? Какого-нибудь Касторского или Смарагдова? Нет; по счастью я имею возможность сослаться, к изумлению г. Антоновича, на того же прославленного им Гервинуса.

Изложив свои «исторические законы», этот историк говорит следующее: «В отдаленнейшие времена, как описывает их Гомер, когда еще народонаселение было невелико, когда образование и богатство, право ношения и пользования оружием было правом немногих, в Греции господствовали цари-патриархи, единственные владетели колесниц, вожди войска, жрецы и судьи. Когда с течением времени число образованных, богатых и способных носить оружие возросло и конница сделалась решительницею перевеса на войне, тогда господство в государстве приобрели всадники, аристократия, а царская власть была или ограничена,

* Сколько угодно. — *Ред.*

как в Спарте, или совсем уничтожена, как во всех других частях Греции. Когда затем, при возрастающем благосостоянии среднего класса, аристократия начала впадать в эгоизм и своекорыстие, *когда пехота с успехом военного искусства приобрела большое значение и в морских войнах стала необходима* служба низших классов народа, тогда аристократическую форму правления сменило демократическое, народное господство; или же, так как государства делались все сильнее и обширнее, образ управления и *способ ведения войны все сложнее и искусственнее* — стали возникать смешанные формы государственного устройства, в которых дворянство, среднее сословие и низшее являются одно возле другого, каждое с определенными правами.

Точно такому же ходу следовало развитие европейских государств в новое время, только при более значительных пропорциях масс, пространства и времени. Вначале, при первом распространении и утверждении в Европе германских народов, здесь, как и в Греции, правили цари-патриархи, *предводители на войне* и судьи. В языческую эпоху их преимущество, как и у греков, основывалось на их происхождении от богов. Но и в христианскую эпоху немецкие князья (общие всем германским племенам), носившие название великих, также представляют собою период, когда преимущества образования и власти еще сосредоточивались в руках отдельных, выше всех других поставленных личностей. С тех же пор, как образование стало более распространяться, когда частные владения увеличились, и *лошади* (вот неожиданный переход!) *получили большее значение в военном искусстве*, и здесь, как в древности, рыцарство и ленное дворянство достигли всеобщего господства, а королевская власть была ограничена, но не уничтожена, — за немногими исключениями, — потому что обширность новых государств делала для них монархию необходимою точкою сосредоточения и потому что повествования Ветхого завета и предания Римской империи освящали и охраняли царское достоинство. А потом, когда значение движимой собственности стало приобретать силу, когда города начали обогащаться путем торговли и промышленности, *когда швейцарская пехота стала приобретать перевес в битвах*, тогда, начиная с XV столетия, господство феодального дворянства стало колебаться; тогда возгорелась огромная и доныне еще не кончившаяся борьба, в которой средний класс стремился захватить в свои руки и образование, и собственность, и влияние, а низший класс в этом стремлении следует непосредственно за ним. Там, где эта борьба уже окончилась, редко видим чисто демократический государственный порядок, который так свойственен был городским общинам древности; напротив того, по причине большей обширности новых государств, чаще встречаем

смешанные государственные формы, как их назвал уже Аристотель» (стр. 9—11).

Что вы думаете об этом пассаже, г. Антонович? Не кажется ли вам, что Гервинус не только видит весь смысл истории в войнах, но даже выражает это с резкостью и определенностью, доходящими почти до сатирического преувеличения? Напр., внезапный переход от образования, распределения богатств и других социальных вопросов к лошадям может быть назван единственным в своем роде, и я не помню ни одного историка, который выражался бы так определенно. Читая этот пассаж в первый раз, всякий читатель, дойдя до лошадей, поражается изумлением и протирает глаза, несмотря на то, что общий смысл всего предыдущего уже мог навести его на мысль, что лошади, волы и другие животные, употреблявшиеся в войске в сражениях и переходах, будут играть у Гервинуса не последнюю роль.

Убийственная определенность в выражениях, не оставляющая места никакому перетолкованию смысла этой тирады, для меня драгоценна. Никто не может сказать, кто прочтет эти страницы, что Гервинус свободен от банального упрека, делаемого г. Антоновичем мне. Или, быть может, он скажет, что распределение богатства и власти, образования и влияния между классами общества, что борьба между монархией, аристократией и демократией, между королями, дворянством, городами и народом, что все это не имеет в истории большого значения, так что историк, объясняющий эти явления переворотами в способах ведения войны — значением лошадей и колесниц, конницы и пехоты, что такой историк стоит вне упрека в том, что видит смысл истории в одних войнах?

Таким образом, если бы даже я придавал войнам такое же значение в истории, как Гервинус, если бы даже, подобно ему, смотрел на нее с лошадиной точки зрения, то и тогда г. Антонович мог бы добраться до меня и поразить меня своим убийственным упреком не иначе, как перешагнув через труп своего Гервинуса. Однако, я далек от того, чтобы иметь что-нибудь общее с Гервинусом в этом вопросе, кроме того, что, подобно ему, не боюсь упрека в том, что в истории вижу одни войны. Что сила играет в истории главную роль, это видно из самого беглого взгляда хотя бы, напр., на период, обнимаемый тремя сочинениями, о которых я говорю. Сила эта, конечно, выражается также и в войнах, и завоеваниях, хотя я не думаю, подобно Гервинусу, что она выражается только в них и что все остальное сводится к этим выражениям материальной силы. Более проницательные историки показали нам в истории могущество и значение не одной только силы оружия, но и нравственных сил, силы истины, справедливых начал, науки, образованности и гуманности. Но некоторые из них, впадая в крайность, решились унижать и совершенно даже отрицать значение материальной силы, забывая,

что нравственные начала становятся силою только тогда, когда приобретают помощь физической силы, и что сила их только в том, что они имеют свойство рано или поздно заставлять материальную силу служить себе. В этом свойстве и есть верный залог их торжества; без него пришлось бы отчаяться в человечестве, потому что вековой опыт показывает, что без помощи материальной силы нравственные начала не могут восторжествовать. Истине мало быть истиной, чтобы восторжествовать; ей еще, кроме того, нужно распространиться, то есть приобрести такое число адептов, которое перевесило бы число противников, обеспечило бы ей перевес материальных сил и доставило бы ей победу путем физической борьбы, которой не может миновать ни одна истина, как бы нравственна она ни была.

Одна древняя арабская легенда рассказывает следующее о пророке Ибрагиме. Ибрагим родился в царствование Нумврода, который первый из смертных возложил себе венец на голову и назвался властелином людей. Узнав от предсказателей, что вскоре родится ребенок, который со временем сокрушит его власть, Нумврод велел истреблять всех детей мужского пола. Поэтому мать должна была родить Ибрагима в подземельи, где он и провел свое детство.

Однажды, когда мать пришла к нему проведать его, он спросил ее:

— Кто мой господин?

— Я, — отвечала мать.

— А твой кто господин?

— Твой отец.

— А отца кто господин?

— Нумврод.

— А Нумврода кто господин?

— Тс... — сказала мать. — Что это ты какое неподобное спрашиваешь?

После того Ибрагим пошел к отцу и спросил его:

— Отец, кто мой господин?

— Твоя мать, — отвечал Тарек.

— А ее господин кто? — приставал неугомонный мальчик.

— Я, — отвечал отец.

— А твой кто господин?

— Нумврод.

— А Нумврода кто господин?

— Молчи, — закричал отец и дал ему пощечину.

Таким образом, еще при первом человеке задавались подобные вопросы, и в ответ встречали или трусливые увертки, или столь же трусливое насилие. А между тем в этих вопросах жила бессмертная, вечная истина, постоянно заглушаемая, но никогда не побеждаемая. Легенда говорит, что Ибрагим родился за две с чем-то тысячи лет до эгиры, а от эгиры до реформации прошло

еще 900 лет. Следовательно, три тысячи лет отцы зажимали рты детям и принуждали их таить истину, просившуюся выйти на свет. Историки, противополагающие истину силе, как несовместную с нею, обыкновенно стараются выпутаться из затруднения перед этим фактом, говоря, что не было все-таки такой эпохи, когда истина не делала бы успехов, не делала бы шага вперед к своей победе. Такое высокомерное отношение к материальной силе есть, конечно, ошибка, столь крупная, что никакие натяжки не могут помочь историкам доказать, что достаточно делу быть правым, чтобы торжествовать. Возьмем только новые государства, не говоря уже о древней эпохе. Все эти государства основаны завоеванием. Следовательно, грубая, материальная сила лежит в самом основании их. Если так, то разве маловажно значение этого факта в истории? Разве может историк пренебрегать значением в ней физической силы? Разве это завоевание и все вытекавшие из него последующие войны, международные и междоусобные борьбы племен, походы вождей, бунты покоренных, восстания угнетенных, — разве все это не составляет, действительно, сущности истории обществ, созданных завоеванием? И чем в виду всего этого была сила нравственных начал? Какое сравнительно значение имела она в течение целых веков? Почти никакого. Все эти «естественные права» человека, свобода религиозная, политическая, экономическая и право на них, о чем мы рассуждаем теперь как о предметах конкретных, ясно сознаваемых, все это в то время не имело ровно никакого значения, не существовало нигде, в умах так же мало, как в фактах, в сознании так же мало, как и на деле. Однако, из этого не следует, чтобы тогда не было истины или чтобы истина была в то время другая. Кто говорит о большей или меньшей степени, о разных видах и подразделениях истины и свободы, тот, значит, не понимает ни истины, ни свободы. Истина одна, как в устах Ибрагима, так и в устах Прудона, — и про нее, как и про свободу, можно сказать: нет истины, кроме истины. Но пока материальная сила не за нее, она все равно что не существует; она не имеет значения.

Историки говорят нам о большей или меньшей свободе, о свободе, напр., конституционной, религиозной, национальной и т. д. Весьма странно, что и г. Антонович повторяет эти жалкие софизмы, которыми морочат нас рутинные историки. В статье своей о Гервинусе («Современник», июнь 1864) он приводит слова Гервинуса, в которых тот излагает свой исторический закон постоянных колебаний, и, найдя его вполне верным с политической или государственной точки зрения, прибавляет: «Но оно не полно, если его рассматривать с общей (?) точки зрения; в нем указано только расширение (и сужение — следовало бы прибавить, но г. Антонович почему-то останавливается только на диастоле) объема свободы, а упущено из виду увеличение

(и уменьшение — не забывайте этого) ее содержания. Как в государстве, рассматриваемом отдельно, так и в общей совокупности государств свобода не только распространяется все на большие круги, но увеличивается и сама по себе, улучшается по своим качествам, т. е. прогресс состоит не в том только, что свобода достается большому количеству людей, но и еще и в том, что сама свобода становится лучше» (стр. 179). Вот печальный софизм, который пора бы, кажется, бросить. Что это за худшая и лучшая, большая и меньшая свобода? Что это за деление свободы по объему и содержанию? Что такое лучшая и худшая свобода? Что это значит? Чем одна свобода может быть лучше другой? Тут возможен один ответ: тем, что она полнее. Но разве может существовать неполная, ограниченная свобода? Разве это не самый жалкий софизм, хотя он и повторяется каждый день на каждой странице наших газет и книг? Разве может существовать темный свет, жаркий мороз, холодный жар? Разве не смешно, что мы позволяем говорить нам об ограниченной свободе, точно старухи, успокоивающие свою совесть постным сахаром? Кажется, пора говорить так, чтобы можно было понимать самого себя и научиться хоть настолько уважать и себя, и других, чтобы не говорить явных бессмыслиц, где сказуемое не согласуется с подлежащим, определение уничтожает определяемое. Между свободой и рабством нет ни средины, ни компромиссов (7).

Когда в XVI веке истина распространилась в больших массах и началось движение в пользу свободы, продолжающееся доселе, когда за истину, столько веков угнетенную и непризнанную, встали могучие материальные силы, тогда в первый и до недавнего времени в последний раз возникло истинное понятие о свободе. Оно возникло и выразилось во всех разнообразных общественных явлениях, сопровождавших церковную реформу. Движение, обнаружившееся в первой половине XVI века, было непохоже на следовавшие за ним, потому что свобода, провозглашенная им, была истинная, полная и цельная. До сих пор говорят о свободе личной и сословной, коллективной, государственной, как будто может быть свобода какая-нибудь другая, кроме личной, как будто сущность свободы не состоит именно в том, чтобы быть личной. Удивительно, как мог иметь успех этот сикофантский вымысел, будто общество может считаться свободным, когда каждое отдельное лицо несвободно. А что вымысел этот имеет успех, это доказывают доныне раздающиеся возгласы во славу английской конституции. Между тем первое условие личной свободы — это его материальное обеспечение, это такое экономическое положение, где он не был бы рабом голода, нужды и труда, где голод не заставлял бы его из-за куска хлеба отрекаться от своей воли, где нужда не гнала бы его, вопреки его желанию, на такое дело, против которого возмущается его

совесть, где чрезмерный труд не убивал бы в нем человеческого достоинства и не заставлял бы забывать другие человеческие интересы, кроме своего насыщения. Без этой свободы нет никакой, потому что что сделает с свободой совести голодный? На что политические права вечному труженику, не знающему отдыха? Какое дело рабу до независимости его отечества? Разве у этих несчастных могут быть мнения, нуждающиеся в терпимости, интересы, требующие ограждения, отечество, сознаваемое и любимое? Их мнение — голод, их интерес — насытиться, их отечество — тот угол, где они работают. Следовательно, не говорите им о свободе, правах, пока не поставите их в возможность пользоваться ими. Иначе это будет насмешкой.

Еще очевиднее необходимость для свободы каждого отдельного лица — неприкосновенность национальной независимости. Без нее немыслима никакая свобода, потому что зависимость одной нации от другой уже сама собою предполагает разделение людей на две партии, покоренных и победителей, и, следовательно, лишение первых всякой свободы. Они не имеют ни гражданских и политических прав, ни свободы мнений; а если бы даже пользовались экономической свободой, то только по милости победителей, которые всегда могут отнять у каждого все и сделать его нищим. Итак, только национальная независимость, свобода мнений, совести, гражданская и политическая свобода и свобода экономическая — только совокупное пользование всем этим делает свободными как общество, так и каждого из членов его. Эту свободу нельзя ни дробить, ни делить на элементы ее: как скоро она неполна, ее вовсе нет, а вместо нее есть рабство и неволя. Бессмысленны поэтому все толки о том, что лучше: политическая или экономическая свобода?

Вот это-то верное понимание свободы и выразилось в движении германского народа 1525 года, открывшем собою ряд реформаторских движений нового времени. Этим пониманием сущности свободы движение это резко отличается от всех позднейших до последних лет. Понимание это, правда, не выражалось тогда так ясно, как может быть выражено в наше время, когда, руководствуясь опытом и примером прежних времен, народы могут составить себе вполне определенное теоретическое понятие об условиях своего благосостояния. В то время оно было скорее инстинктивно, но, впрочем, так же ясно и полно, как теперь. Этим девственным умам вещь представлялась как она есть на самом деле, как она необходимо должна быть, не затемненная никакими россказнями софистов. Поэтому вожди этого религиозного движения, несмотря на обратное отношение по времени, кажутся более близкими к современной эпохе, чем люди позднейших движений. Поэтому также в идеалах и стремлениях их мы находим совместным все, что потом составляло отличительную черту каждого последующего переворота. По тщательном изучении ха-

рактера крестьянской войны Циммерман говорит следующее: «Движение это было остроумно названо пророческой увертюрой новой истории». Это, действительно, громкая увертюра спектакля, разыгрывающегося на почве нового времени и не лишенного трагизма. В движении 1525 г. заключаются все явления позднейших социальных движений в Европе. Все перевороты, изменившие Европу в течение следующих веков, а равно и те, которые готовят в наши дни преобразование общества, имеют свои первообразы в движении 1525 г. как относительно идей, так и относительно деятелей. Трейчке справедливо называет личность Томаса Мюнцера зеркалом, в котором пророчески отразились все явления последующих времен. Он справедливо указывает, что из массы идей, наполнявших дух Мюнцера и осмеянных его современниками, каждая нашла себе впоследствии представителя, выработавшего ее и заслужившего этим славу и удивление. Весь ход идей следующих веков и новейшего времени, насколько он заключает в себе политических и религиозных обновляющих элементов, выражен в Мюнцере намеками или совершенно ясно» (XI—XII). Это убеждение, вынесенное Циммерманом и Трейчке из продолжительного изучения рассматриваемых событий, так логично, до того соответствует всему, что мы знаем о сущности свободы и о месте, занимаемом в истории крестьянскою войною, что оно не только не может никого удивить, но что если что-нибудь может показаться странным, так это то, что это верное понимание свободы могло так надолго умереть, хотя стремление к ней не умерло. Читатель может остановиться с недоумением не перед истиной, так великолепно и внезапно раскрывшейся в этом событии, а перед быстрым и глубоким искажением ее в последующих переворотах. Чтобы понять это, надо опять вспомнить о значении материальной силы в истории.

Самое сложное иго тяготело над обществом XVI века. Громадная сеть, сплетенная из всевозможных пут, сдерживала истину и не позволяла ей осветить мир. Габсбурги угнетали независимость наций, католическая церковь — свободу совести и ума, феодализм — экономическую свободу. Но сознание лучшего, независимого состояния существовало всегда, несмотря на явное и полное господство противуположных начал. О бессмертном существовании его свидетельствовали все эти беспрерывные, но минутные и разрозненные вспышки, все эти никогда не умолкавшие, но всегда частные и единичные протесты против господства лжи, неравенства и рабства. Но эти первые протестанты никогда не могли победить и доставить истине торжество, потому что были малочисленны, и физическая сила была поэтому не на их стороне. Это были или отдельные лица, одаренные необыкновенной силой ума, но не находившие себе опоры в силе масс, потому что массы не знали их; и они погибали, осужденные властью и обществом во имя начал неправды, почитавшихся истинами;

или то были целые небольшие общества, предводимые и просвещенные высшими умами, как альбигойцы, уиклефиты, лоларды, гусситы; но пока отдельные личности, поднимавшие эти протесты, не имели возможности действовать нравственно на большие массы, пока они принуждены были ограничивать свое влияние небольшою областью, в пределах, возможных для личной деятельности частного человека, пока истина, возвещаемая ими, не могла распространяться дальше круга их слушателей или сограждан, до тех пор неправда, располагавшая всеми материальными силами, существовавшими в обществе, всегда торжествовала над истиною. Чтобы истина могла победить, ей нужно было приобрести помощь материальной стороны, а для этого нужно было получить средства выйти из узких пределов секты или племени, сделаться известной массам и обеспечить себе их содействие. Такое средство дало ей изобретение книгопечатания и увлечение высших классов общества возродившейся наукой классической древности.

Изучение мертвых языков и древних писателей привело к реформации сначала только в сфере людей богатых, ученых и образованных, в глазах которых знакомство с оригиналом св. писания и философией древних уронило значение папства. Но из этих ученых не все были робкими и холодными скептиками, как Эразм, желавшими сберечь явившуюся им истину только для себя и не чувствовавшими потребности провести ее дальше. Нашлись и такие люди, как Гуттен, которым этот разлад между истиной, сделавшейся известною им, и господствующей ложью показался нестерпим. Они не захотели оказывать притворного уважения тому, что в душе уже презирали, и новое открытие быстро разнесло по свету их насмешки над вековыми авторитетами. Не желая держать добытое знание в тайне, они хотели познакомить с ним людей, не посвященных в науку, и народ, в первый раз узнав то, во что верил слепо и бессознательно, изумился открывшейся перед ним разнице между содержанием и формами верования. Притом, не желая молчать, ученые люди должны были по необходимости искать опоры в массах и стараться получить их сочувствие в предстоявшей им борьбе с авторитетом. Поэтому истину распространяли в народе не только такие люди, как Гуттен, любившие народ, но и такие, как Лютер, презиравшие его. А чтобы иметь понятие, как содействовало этому распространению книгопечатание, надо читать историю крестьянской войны, во время которой народ читал и слушал гораздо более, чем двести лет спустя и чем, может быть, даже теперь.

Вследствие этих причин в первой половине XVI столетия воспоследовало разом восстание против всех родов угнетения. Разом поднялись все угнетенные, кто бы ни были их угнетатели, и все двинулись завоевывать себе ту свободу, которой им недоставало. Восставшие действовали при этом хотя единовременно, но далеко

не дружно, не согласно. Часто даже интересы их взаимно противоречили друг другу, и цели были несовместны. Поэтому, с одной стороны, движение это представляет такое разнообразие, вмещает в себе первообразы всех последующих самых противуречивых друг другу переворотов, а с другой стороны, по той же причине оно не могло иметь успеха, так как хотя двигавшиеся силы были громадны, но действовали не по одному направлению и уничтожали друг друга. Если мы взглянем на движение это с точки зрения Лютера, мы увидим в нем лишь стремление к одной только религиозной свободе, и все остальное будет казаться нам излишним, несвоевременным, нелепым и даже вредным и пагубным. С точки зрения рыцаря Франца мы, напротив, будем видеть в нем только политическое движение для достижения практической дворянской свободы, подавленной развитием королевского авторитета. Перенесясь потом на точку зрения Ульриха Опального и виртембергских патриотов, все движение будет сосредоточиваться для нас только в интересах национальной независимости. Наконец, обратив исключительное внимание на цели чисто демократических элементов восстания, мы не увидим ничего, кроме борьбы против феодальных прав землевладельцев, борьбы, довольно мелкой по целям, клонившейся нередко лишь к компромиссам, взаимным уступкам, направленной большею частью не против принципа, а против наиболее тягостных фактов, не против основ крепостного права, а против некоторых особенно тяжелых явлений его. Значительное большинство современников видело всегда какую-нибудь одну из этих сторон, а о прочих знать не хотело или относилось к ним враждебно. Иногда, правда, необходимость заставляла все эти противуположные лагери соединяться, если враг был один и тот же у них; но от такого насильственного союза было далеко до симпатий и общности целей и интересов. Так, герцог виртембергский мог подавать руку демократическим радикалам, но только в виду общего врага, и ни он, ни они не забывали, как жестоко действовал он против них, когда был могущественен, и как решительно боролись они тогда против его деспотизма.

Но уже и тогда были люди, стоявшие выше всех этих мелких интересов партий, обнимавшие взором весь театр этого движения и стремившиеся к более высоким целям. Поэтому, чтобы теперь судить о значении тогдашнего движения, надо стать на точку зрения этих людей. В них движение, сопровождавшее реформацию, получает особенный характер. Они не искали выгод для какой-нибудь партии, не защищали интересов каких-нибудь лиц, не добивались привилегий или уступок в пользу какого-нибудь сословия. Они не были сторонниками ни политической свободы дворянства, ни национальной независимости Виртемберга, ни свободы мнений ученых, ни уступок землевладельцев в пользу крестьян. Они хотели решительного и коренного преобразования

общества, преобразования, которое разом доставило бы нации все необходимые условия благосостояния. Они желали всего этого пламеннее, чем односторонние и близорукие защитники всех этих частных интересов. Их называли и называют утопистами, мечтателями, фанатиками. Они были фанатики — это правда; но цели и желания их были практичнее целей и желаний людей более умеренных и почитаемых поэтому более благоразумными. Дело в том, что каждый из этих благоразумных людей, преследуя только то, что нравилось или было выгодно ему самому, его партии или сословию, никак не мог достигнуть этой скромной цели, потому что все эти умники мешали друг другу, враждовали друг с другом, а главное, не знали, что желания их совершенно неосуществимы. Из всех них практичны были только несколько своекорыстных людей, которые помышляли только о личных целях. Герцог виртембергский был практичен, когда пользовался благородными энтузиастами, увлеченными идеей национальной независимости и ненавистью к Австрии, чтобы возвратить себе свои владения. Доктор Мартин Лютер и подобные ему богословы были практичны, когда проповедывали свободу совести, чтобы сделаться протестантскими папами, и отнимали у Рима несколько областей, чтобы водворить в них свой авторитет. Но те честные бедняки, на которых они опирались, были тем непрактичнее, чем уступчивее. Какой-нибудь честный проповедник, видевший во всем движении только одну цель — свободу совести и помогавший сооружать протестантское папство Лютеру, рискуя всякий день попасть на костер, был, конечно, непрактичен, потому что Лютер хотя и восторжествовал, но свободы совести не оказалось никакой, и бедняку пришлось бы плохо, если бы он вздумал понимать какой-нибудь текст несогласно с толкованием протестантского папы.

Практическими и в то же время честными людьми были только именно те, которых называют мечтателями. Они одни знали истину вполне, хотели коренного преобразования общества, перестройки его на совершенно новых началах. Если цель эта была фактически недостижима, потому что у них было слишком мало силы в распоряжении, зато логически это единственно разумная и осуществимая цель, потому что безумно, нелепо и фантастично думать осуществить свободу в обществе, основанном на рабстве.

Этот хаос противуположных стремлений, сталкивавшихся интересов, враждебных целей объясняет, почему движение это было подавлено. Оно не могло удаться, потому что вооружало против себя все силы общества и само разъединяло свои силы. Таким образом, его поражение и поражение в нем истинных начал объясняется очень просто — слабостью его материальных сил в сравнении с силами противников. Участь этой борьбы решилась не по каким-нибудь нравственным, абстрактным законам, а потому же, почему в сражении войско стройное и многочисленное

одерживает победу над меньшими да вдобавок еще разделенными силами неприятеля. Гервинус сказал бы, что старый порядок победил, потому что «в истории видим постоянные колебания» и «никакая идея не может сделаться господствующей»; но я полагаю, что все это вздор, что поражение Мюнцера при Франкенгаузене не было предопределено никакими историческими законами, а просто было решено превосходством сил противников.

Но это движение было только первой попыткой истины свергнуть господствующую неправду. Люди этого движения погибли, но идеи их не умерли, и они завещали их грядущим поколениям, которые трудились над тем, чтобы доставить им победу. Если бы судьбами человечества управляли только нравственные законы, то нет сомнения, что первой следующей попыткой было бы достижение свободы экономической, без которой невозможна никакая человеческая независимость. Так должно бы было случиться в силу логических данных, но случилось совершенно противное. Следующее восстание произошло на Нидерландах и было направлено к завоеванию национальной независимости и религиозной свободы. Ни того, ни другого нидерландское восстание не произвело. Как нации, нидерландцам пришлось разделить грустную судьбу остальных европейских народов, и потомкам современников Вильгельма Оранского пришлось снова отстаивать в Брюсселе свою национальную независимость через два с половиною века после первой борьбы за нее. Что касается до религиозной свободы нидерландцев, то чуть не на другой день после признания национальной независимости на тех самых площадях, где католики жгли прежде кальвинистов, воздвиглись эшафоты для арминиян. Отчего же первое движение, следовавшее за реформацией, выбрало из всех ее целей самые неосуществимые, самые отдаленные? Опять по историческому закону? Нет, потому что эти цели, как ни противны они были духу истинной свободы, как ни мало обещали они счастия народу, были, однако, по душе и в интересах тех, которые одни могли найти материальную силу, необходимую для борьбы с испанским правительством. Национальная независимость и свобода религии были нужны аристократии и городам, тогда как в экономической свободе могли нуждаться только низшие классы народа. Аристократы желали своей стране независимости, потому что могли в небольшом государстве играть гораздо более важную роль, чем в громадной империи Филиппа II, где все преимущества доставались испанцам; некоторые из них питали, кроме того, замыслы и надежды сделаться совершенно независимыми владетелями, предпочитая быть первыми в деревне, чем вторыми в Риме. Это всегдашнее желание всякой аристократии, которая поэтому всегда рада содействовать патриотическим предприятиям, если они идут не в ущерб ее влиянию и карману. А что расчет аристократии был верен, это доказывают блестящие результаты ее усилий для неко-

торых членов ее, как, напр., для дома Оранского. Что касается до денежной аристократии городов, то на этот раз интересы ее были также вполне за отделение от Испании, правительство которой своими нелепостями подорвало ее торговлю, уничтожило промышленность и довело до того, что даже по отделении она уже не могла возвратить себе первенство в торговом мире, потерянное по милости Испании и перехваченное англичанами. Поэтому аристократия и купцы не могли не желать национальной независимости; чтобы приобрести ее, им, помимо других средств, нужно было иметь за себя массу народонаселения, которая, на их счастие, была доведена до возмущения против Испании религиозными гонениями. Вследствие этого знать и купцы не задумались явиться защитниками религиозной свободы, которую, впрочем, лучший (т. е. самый полный и верный) представитель их, Вильгельм Оранский, ценил так же мало, как Генрих IV и все другие политики, пользующиеся верованиями народа для своих целей. Он доказал это тем, что всю жизнь был покорным сыном католической церкви и почувствовал религиозные сомнения как раз в то самое время, когда ему сделалось выгодно отстать от своего прежнего послушания. Но и тут сомнения эти долго боролись в нем с его прежними мнениями, и он, уже сомневаясь, продолжал казнить своих будущих единоверцев, пока не решился окончательно восстать против короля. Вместе с колебаниями в политических намерениях исчезло и колебание в религиозных воззрениях, и, сделавшись мятежником, Вильгельм тотчас сделался кальвинистом.

Поставленные в необходимость угодить народу в религиозном отношении, нидерландские реформаторы, принцы и миллионеры никогда не решились бы угождать ему в других его желаниях и нуждах. Всякий раз как в течение этого восстания в народе являлись демократические тенденции, его знатные освободители начинали весьма энергически подавлять их, и Мотлей не раз показывает нам этих народных героев собственноручно режущими на улицах чернь, потребовавшую чего-нибудь больше национальной независимости и религиозной свободы. Можно наверное сказать, что, если бы во время борьбы с Испанией в Нидерландах явилось что-нибудь подобное крестьянской войне, знатные и богатые революционеры сумели бы помириться с королем и загладить свое восстание примерной расправой с демократами.

Таким образом, совершенно понятно, почему о ближайшем и нужнейшем не было здесь и помину, а преследовались цели отдаленнейшие, недостижимые для массы, а достижимые лишь для горсти честолюбцев и дипломатов. Это совершенно понятно, если вспомнить, что эти цели были дороги людям, обладавшим материальными средствами, деньгами, людьми, оружием, родственными связями с иностранными государями, людям, имевшим возможность вербовать и нанимать войска, строить крепо-

сти, запасать оружие, подкупать и содержать дипломатических агентов и вдобавок пользоваться религиозным одушевлением народа. Более же полезные и практические цели не могли быть достигнуты и даже преследуемы, потому что за них были только бедняки, не имевшие ни оружия, ни денег, ни военной опытности, ни знания кабинетных тайн, ни сочувствия иностранных держав, тогда как против них были, кроме всех сил испанского правительства, все силы, низвергнувшие его. Таким образом, не в абстрактных законах, измышленных каким-нибудь досужим историком, должно искать объяснения той странности, что продолжать дело Мюнцера досталось принцу Оранскому, а опять-таки в распределении материальной силы между партиями.

Не буду останавливаться на следующих движениях, в Англии в 1640 и 1688 годах и в Америке в 1776, потому что о них пришлось бы сказать то же самое. Все они имели целью достижение свободы для немногих, следовательно, цель ложную и химерическую. Цель эта нигде не была достигнута, потому что в Англии мы видим через сто лет после «великой революции» произвол столь же сильный, как и при Стюартах, в чем согласны все историки, наиболее преданные английским политическим учреждениям. Все они единогласно представляют время царствования Георга III и министра Питта как эпоху полного торжества произвола. Через несколько лет мы видим опять Англию на военном положении, видим политические процессы, казни, преследования, и как до Питта, так и после него, видим отмену и уничтожение всех гарантий и оснований политической свободы, всякий раз как это нужно правительственным классам. То же самое в Америке, где имелась в виду национальная независимость и гражданская свобода и где через сто лет пришлось убедиться, что не достигнуто ни то, ни другое. Через сто лет, проведенных в глухой борьбе, дело, наконец, выяснилось, — и Европа, воображавшая, что ей следует искать в Америке политических идеалов, увидала, что эта республика распалась на завоевателей и завоеванных, на победителей и побежденных, на государство, стремящееся к господству над другим, и на государство, насильно принуждаемое оставаться в единстве с первым, т. е. в зависимости от него. При таких условиях может ли быть речь о гражданской свободе? Пока Европа видела в Америке свободную федерацию государств, эта мысль могла являться. Но когда мы видим американское государство поддерживающим свое единство оружием, когда мы видим там то же, что в Австрии, можно ли заблуждаться насчет его гражданской свободы, даже если бы мы не имели таких фактов, как нью-йоркское восстание 13 июля 1863 г., как последние политические процессы, как распорядительность разных Ботлеров? (8). Да и надо не понимать смысла всей новой истории, нужно не знать, что экономическое рабство делает невозможной свободу, чтобы искать идеалов в Англии или Америке, как дела-

ет Гервинус. Об этом г. Антонович изъясняется так: «Будучи беспристрастным повествователем, Гервинус не беспристрастен в своих теоретических историко-философских соображениях. Прежде всего он пристрастен к английской конституции, которая Шлоссера иногда доводила до злости*, и одобряет ее безусловно; затем северо-американскую конституцию считает идеалом совершеннейшего государственного устройства и не признает в ней недостатков» (стр. 173). Эти «пристрастия» Гервинуса г. Антонович объясняет его пристрастием к германской расе, создавшей английскую и северо-американскую конституцию. Я же объясняю их полным непониманием смысла духа новейшей истории и причины социальных несовершенств современной эпохи.

Если бы Гервинус понимал все это, он не был бы пристрастен к английским и американским учреждениям. Он видел бы, что это такие же несбыточные и химерические попытки поправить дело, начав с конца, как и нидерландское восстание; он видел бы, что они не могли ни к чему привести и не привели ни к чему. Но он этого не видит, и потому ему не понять смысла позднейшей истории.

Следующее затем движение была французская революция. Здесь мы видим нечто новое. Старый порядок, утомленный, но не побежденный, измученный, но не убитый всеми предшествовавшими движениями, не выдерживает этого нового удара так победоносно, как прежние. Он должен согласиться на уступки. Он вынужден признать принципы, во имя которых велась борьба с ним. И он признал их в теории, но от этого было далеко еще до осуществления их. Принципы свободы и экономического равенства обошли весь мир, выразившись в изменении законодательств, в уничтожении легального рабства, в признании представительной системы и во многих других важных преобразованиях в теоретических сферах. Было признано равенство всех перед законом, было уничтожено крепостное право, была освящена законом свобода совести; наконец, в войнах против Наполеона были признаны права наций на самостоятельность и права народа на участие в политике. Если смотреть на теоретическую сторону дела, то переворот покажется громадным. Он и действительно был громаден, потому что принципы не могут быть долго в разладе с действительностью, а принципы радикально изменились. Но пока переворот этот коснулся только теории, не перейдя в жизнь. Экономическое неравенство и рабство, осужденные в теории, остались в жизни. Вслед за торжеством истин-

* Вот то-то и есть. Вот и говорите после этого, что он «сделал для части истории XIX века то же, что сделал Шлоссер для всей истории XVIII века, и отнесся к ней с теми же требованиями, с какими относился последний к изображаемым лицам и событиям». И как это все клеится вместе в голове у людей?!

ных начал наступил период самого тяжелого ига, которое когда-либо давило европейские нации. Тогда народы, не мирящиеся, подобно юристам, историкам и другим буквоедам, с уступками на словах, не довольствующиеся уступками в теории, показали людям компромиссов, как далека еще истина от действительного торжества. Ряд народных движений, начавшихся с Испании, за национальную независимость обошел через Италию, Грецию, Бельгию, Францию, Ирландию, Венгрию, Германию, всю Европу, изобличив недальновидность или недобросовестность тех, которые хотели успокоиться на признании принципов. Все эти движения были так же безуспешны, как и их прежние прототипы, потому что в них также искали частной, утопической, неосуществимой свободы. Так, Испания в 1808, Германия в 1813, Греция, Италия, Бельгия, Ирландия, Венгрия и снова Италия в 1859 искали национальной независимости, и большею частью не получили ее, а если и получили, то не на радость, как Испания, Греция, Бельгия и Италия. Это движение еще не кончилось, как началось другое, в пользу гражданской конституционной свободы. И оно имело свое время во всех почти народах Европы, в Испании, Италии, Франции, Германии, Англии — и везде кончилось неудачно, потому что победа приносила так же мало отрады, как и поражение; не проходило после нее нескольких месяцев, как новые факты уничтожали всякое очарование, заставляли одних отчаяваться в своем деле, других — сызнова приниматься за него, никогда никого не удовлетворяя, всегда причиняя в конце разочарование. А старый порядок, мир домюнцеровский, дореформационный, отрекшийся от себя на бумаге, но удержавшийся на деле, смеялся над этими бесплодными попытками уничтожить его господство, выходил с новыми силами из каждой борьбы, более прежнего крепкий после всякого поражения, вечно живой, неуязвимый!

Понятно, что такая продолжительная, тщетная борьба против старого порядка, эти беспрестанные поражения, эти неизбежные разочарования после побед должны были поселять в людях уныние и безнадежность, отчаяние и наклонность к фатализму. Страшен и безвыходен должен был казаться этот разлад между принципами и жизнью, между теориею и действительностью, между тем, что мир признавал своими правилами и основаниями, и тем, что в нем господствовало и торжествовало. В первый раз истина была признана всеми, в первый раз провозглашалась она в законодательствах и в управлении, а на деле несправедливость и рабство были распространеннее и непреодолимее, чем когда-либо. Пока люди верили в истину непризнанную и преследуемую, они могли ждать всего от ее торжества. Но, видя ее провозглашенною и торжествующею, а жизнь через это неизменившеюся, они начинали, естественно, отчаяваться в истине и верить в фатализм.

Чтобы восстановить веру, поднять надежды, облегчить перенесение бедствий, историк, взявшийся за это дело, должен был показать причину такого разлада, таких неудач и разочарований. Для этого ему следовало понимать, к чему стремится нынешнее время, в чем состоит свобода, к которой оно стремится, какие препятствия встретит это стремление и какие данные имеет оно на успех. Ему следовало понять и объяснить другим, что если стремление это терпело столько раз неудачи, то не потому, что было неосуществимо, а потому, что шло по ложному пути, начинало с конца, видело сущность в последствиях. Понимая все это, он мог бы указать на те последние явления истории, которые свидетельствуют, что, наконец, человечество вступило на истинный путь. Эти явления, указывающие, что вопрос об экономических условиях свободы уже поднят, что понятно значение экономической свободы, а с ним и сущность свободы вообще, эти явления, говорю я, послужили бы историку драгоценными фактами для того, чтобы восстановить веру в будущее и поднять упавшие надежды. Но, чтобы понять и оценить все это, нужно быть чем-нибудь побольше Гервинуса. Не прусскому либералу и конституционалисту, не историку, изобретателю законов постоянных колебаний, оценить смысл движения, совершающегося после французской революции. Поэтому в своей истории он не сказал ничего, ни утешительного, ни печального. Его история — просто собрание газетных известий за последние пятьдесят лет, где весь интерес сосредоточивается на том, что какой-нибудь граф фон-Бомбеллес имел продолжительную аудиенцию, а такая-то дама разрешилась от бремени. Я не скажу, как сказал о Маколее, что история Гервинуса — книга недостойная чтения или вредная. Напротив того: факты знать необходимо, а у Гервинуса фактическая сторона обработана порядочно. Притом в его мнениях нет ничего такого невыносимого и развращающего, как в подснепстве Маколея. Но забавен был бы тот, кто видел бы в Гервинусе что-нибудь больше компилятора газетных известий и придавал бы какое-нибудь значение претензиям его «Введения».

Я не прочь подкрепить этот отзыв словами самого г. Антоновича, который хвалит Гервинуса и даже сравнивает его с Шлоссером. Я приведу его слова, и пусть судит всякий, можно ли так хвалить, и не значит ли такая похвала то же самое, что и мое осуждение:

«Он (Гервинус), — пишет г. Антонович в указанной статье, — говорит о себе в предисловии к I тому, что если бы ему пришлось судить самых близких лиц и родных, участвовавших в общественных действиях изображаемой им эпохи, то и для них он был бы «неподкупным судьею». И действительно! Он беспристрастен до крайности, т. е. беспристрастие его даже утрировано. Многие из изображаемых им исторических личностей, как по всему заметно, просто возбуждают в нем отвращение и презре-

ние, но он никогда вполне не выражает этих своих чувств из опасения показаться пристрастным и непременно усиливается найти в них что-нибудь хорошее и даже делает натяжки для этого, и если уж никак нельзя найти ничего хорошего, то он смягчает дурное; рассказывая какие-нибудь уж очень неприличные и ужасные мерзости, он сопровождает их словами: так говорят, но трудно решить, до какой степени все это верно, и нет ли тут преувеличений. Иному близорукому читателю может показаться даже противоречием, когда Гервинус одну и ту же личность и бранит, и хвалит... Но тут нет противоречия, а только беспристрастие» (172—173).

Короче, Гервинус беспристрастен, как газетная телеграмма, в нем ровно столько же смысла, сколько в ней.

На этом мы может покончить с Гервинусом, предоставляя г. Антоновичу опровергать высказанные здесь мнения и с большим правом, чем прежде, поражать меня своими неотразимыми упреками в том, что я вижу смысл истории только в войнах.

КРИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ П. А. БИБИКОВА
Спб. 1865.

«Критические этюды» г. Бибикова есть сборник статей по разным вопросам, писанных в 1859—65 гг. и не бывших доселе по разным причинам напечатанными. Из них некоторые относились к различным временным обстоятельствам, как, например, к ломоносовскому празднику ([1]), к нелепым статьям фельетониста «Голоса» и публициста «Времени»; другие имеют более общий интерес. Я не буду входит в подробный разбор всех э т ю д о в г. Бибикова, но остановлюсь на некоторых вопросах, затрогиваемых им, так как они могут вызвать на поучительные соображения и в наше время, как и несколько лет тому назад.

В 1862 году случилось происшествие такого рода: в Россию проник слух о книге Дарвина и с тем вместе о выводах, какие могут быть из нее сделаны и уже делаются французской переводчицей ее, г-жею Ройе ([2]). Книга и выводы были как следует не поняты российскими мыслителями, услыхавшими о них; но, по свойственной этим мыслителям склонности видеть во всем ужасы и знамения разных грядущих бед, они не преминули поднять из-за них шум. Теория Дарвина и выводы Ройе переполошили между прочим и добродушных публицистов «Времени», которые писали в то время еще не «о простых телах» ([3]), а о предметах, вызывающих на размышления, и, как выражается г. Бибиков, «Время» выронило из своих рук светоч науки». Ну, светоча-то науки «Время», положим, и не роняло по той простой причине, что никогда и не носило его с собой; но тем не менее оно переполошилось. Для читателя, который этой истории не по-

мнит, вероятно покажется странным, с чего было «Времени» тревожиться из-за того, какие выводы делаются г-жей Ройе из теории Дарвина? Ведь тут, кажется, дело шло не о «роковых вопросах», не о поведении Димитрия Донского и не об отрицании искусства нигилистами ([4]), а просто о том, что законы происхождения видов и разновидностей, борьбы за существование и подбора родичей, открытые Дарвином, могут относиться и к человеческому роду, так как он составляет часть всего органического мира, подлежащего этим законам, и так как природа не имеет для него особых условий, которые позволяли бы ему развиваться совершенно независимо от общих законов ее. Кто, забыв тревогу, поднятую по этому случаю «Временем», удивится несообразительности публицистов этого журнала, тому я могу указать на более современное происшествие, которое в его глазах до некоторой степени оправдает этих публицистов, показав ему, что не у них одних такие слабые нервы и головы. Это приснопамятное происшествие случилось с год тому назад во всей нашей журналистике по поводу моего мнения о положении негров в Соединенных Штатах Северной Америки.

Пусть, однако, не подумает читатель, что я намерен вносить в мой библиографический отчет возобновленную полемику по этому вопросу. Я не сделаю этого уже потому, что мне не с кем и не с чем полемизировать, так как мне не было еще сделано ни одного серьезного возражения, и все кончалось возгласами, плохими остротами и ругательствами. Но статья г. Бибикова по поводу подобного же поведения «Времени» вызывает меня на некоторые замечания касательно того отношения, в котором сентиментальный либерализм стоит к положениям строгой науки и опыта.

Теория и практика либералов давно доказали, что это самое непоследовательное животное. Можно даже сказать, что либерализм и непоследовательность — синонимы, до того все существование, все принципы и вся деятельность либералов пропитаны разногласием и противоречиями. Куда вы ни загляните, в теории ли их, или в их истории, везде найдете одно и то же: противоречие, гермафродитство, двуличие, уничтожение одного другим, следовательно, в конце-концов совершенную пустоту, бессодержательность, круглый нуль. В религии они рационалисты, т. е. упорно стремятся примирить веру с знанием, как те друг от друга ни отмахиваются; в философии они эклектики, мирят все системы, сближают все точки зрения и хотят согласить научные данные и научные решения с плодами воображения и измышлениями чистого разума; в общественной экономии они проповедуют полную свободу и вместе с тем запретительную систему для половых отправлений; в политике защищают ограниченную свободу и ограниченную монархию — две логические бессмыслицы; в юридической науке отрицают права общества казнить преступника и признают право сводить его с ума в

одиночном заключении. Какова теория, такова и практика. Либералы поэтому всегда вопияли о свободе и были сами самыми жестокими деспотами: отрицали насилие и первые к нему прибегали, хлопотали об уничтожении торга неграми и поступали с своими рабочими хуже всяких плантаторов, заботились о правосудии и создавали паразитный класс адвокатов, уничтожали монополии и получили Ротшильда, делали революции и устраивали осадное положение, — словом, противоречили себе и своим противоречивым принципам постоянно и на каждом шагу. Само собою разумеется, что все, основанное на опыте, все реальное, все невымышленное, не склееное из софизмов, а являвшееся в своей естественной наготе и правде, постоянно обличало и разрушало жалкие ухищрения либералов, и естественно также, что либерализм всегда чувствовал непримиримую антипатию ко всему жизненно-правдивому и научно-реальному. Поэтому либерализм всегда склонен к сантиментальности, с которой расстается только в крайнем случае, когда дело идет уже о спасении какого-нибудь драгоценного теоретического или практического произведения его. Он не любит ничего беспощадно истинного, будь то научный факт, опыт жизни или строго-логичный вывод разума; поэтому ему равно ненавистны и Дарвин, и Прудон, и народная жизнь. Он предпочитает сантиментальную размазню, которая не вламывается в его измышления, не обличает и не рушит их; он охотник мечтать о том, как чудесно подействует на нравственность преступника уединение, как приятно быть повешенным ради соблюдения законности, как смягчатся дикие страсти людей под влиянием искусства, какой мир водворится на земле, если устроится международный трибунал, какое равенство будет всюду, если неграм, готтентотам, индусам и алеутам дадут гражданские права, и как хорошо и безопасно будет всем жить, когда, с одной стороны, теория уголовных улик, а, с другой стороны, теория адвокатской защиты разовьются до последней степени совершенства, так что подсудимый успеет десять раз умереть, прежде чем прокурор истощит все свои аргументы, а адвокат свое оружие. Когда что-нибудь из мира реального вторгается в эти розовые мечтания и показывает всю несбыточность их, тогда положение либералов становится поистине печально, и они свирепеют. Свирепство их выражается различно: от самых трагических сцен, как июньские дни 1848 года, до самых шутовских и комических, как памфлеты Мирекура, испуг мыслителей «Времени» и полемика Антоновича. Здесь не место говорить о том, как расправляются сантиментальные либералы с неудобными для них явлениями народной жизни. Разбираемый случай покажет нам, как относятся они к неудобным фактам науки и логическим выводам из этих фактов.

Либерал зарубил себе на носу и твердо помнит, что в число обязанностей его входит между прочим то, чтобы при всяком удобном случае распинаться за свободу так, как он ее понимает, и

вопиять против рабства. Порядочный человек не будет сочувствовать в этом либералу, как бы ни уважал свободу и как бы ни ненавидел рабство: не будет потому, что знает, что у либерала эти понятия имеют ехидный смысл, что либералы способны говорить о свободе человека, которого ведут на казнь; притом он знает, что либерал рассуждает таким образом не вследствие глубоко сознанного и утвержденного на реальных основах убеждения, а по особым соображениям и по чувствительности характера. В этом порядочный человек убеждается, присутствуя при комической сцене встречи либерала с фактом, наносящим удар его чувствительности, а вместе с тем и разрушающим его мечтания. Такую сцену можно было видеть при столкновении «Времени» с теорией Дарвина и выводами Ройе. Если закон Дарвина справедлив, то несомненно, что он должен в частности применяться и к человеческому роду. Но при этом возникают следующие затруднения. Различные племена, на которые разделяется человеческий род, являются видами или разновидностями, из столкновения которых вытекают все те последствия, какие вытекают из столкновения между собою видов и разновидностей других классов животного царства, т. е. является борьба, в которой слабейшее племя или вид вытесняется сильнейшим. История является на помощь этому выводу и показывает свой список племен и народов, погибших от столкновения с другим, высшим племенем или народом. Таким образом возникает очень сильное сомнение в осуществлении мечты о том, как папуасы будут наслаждаться гражданскими правами наряду с белыми. Мечта эта оказывается даже совершенно нелепою, и все гимны и псалмы Бичер-Стоу, очевидно, не стоят одной строчки научных выводов. Что же тут делать либералу, который не хочет, чтобы папуасы погибали, не хочет, чтобы они были в рабстве, а непременно желает, чтобы они, наряду с белыми, наслаждались законами и учреждениями, придуманными либералами же? Отрицать научные положения? Но для этого нужно иметь знания, на основании которых может быть сделано опровержение; если же этих знаний нет, то такое отрицание выйдет просто смехотворно и никого не убедит. Поэтому либералы прибегают к такой проделке: смотрите, говорят они, вот до чего доводит реализм, вот каковы плоды его, вот к чему пришла наука — к отрицанию человечества, к защите рабства. Впрочем, так поступают только умнейшие либералы; менее остроумные отделываются просто воплями против тех, которые осмелятся громко усумниться в состоятельности сантиментальных мечтаний.

Во всяком случае, поведение либералов при таких обстоятельствах должно показать порядочным людям, наблюдающим их со стороны, чего стоят все их разглагольствования о свободе и против рабства. Если разглагольствования эти таковы, что не могут устоять против данных науки, и либералам, защищающим

свободу, приходится прибегать против науки к риторическим упражнениям, то так как наука есть истина, остается предположить одно из двух: что свобода — понятие химерическое, не выдерживающее строгой критики, что истина убивает его, что, другими словами, свобода — ложь; или же, что та свобода, о которой толковали либералы, вовсе не свобода, а просто вздорный софизм, измышленный либералами и подставленный ими вместо настоящего, истинного понятия о свободе, разумеется с ехидной целью. Нечего и говорить, что всякий благоразумный человек склонится в пользу второго предположения и будет очень благодарен науке за то, что она разрушила фальшивое понятие о свободе. Кроме всяких других соображений его расположит в пользу второго предположения взгляд на те практические выводы, которые вытекают из либерального воззрения на свободу. Он увидит, например, в вопросе об отношениях рас между собою, что люди, декламирующие о заатлантических правах негров, у себя дома и по соседству относились совершенно иначе к правам, несравненно более очевидным; для этого стоит только сравнить негодование мыслителей «Времени» против Ройе с писаниями тех же мыслителей, преобразившихся в публицистов «Эпохи» ([5]).

Нельзя, однако, отрицать и того, что недобросовестность или тупоумие могут избрать и первое предположение. Плохо понятые или ложно истолкованные выводы опытных наук могут представить опасное и сильное оружие для обскурантов и врагов истинной свободы. Законы, открытые Дарвином, могут, надо сознаться, дать повод к таким перетолкованиям, и только непроходимое тупоумие публицистов «Московских Ведомостей» и «Вести» объясняет, почему они до сих пор не попытались воспользоваться этим оружием.

Известно, что Дарвин принимает и подтверждает закон Мальтуса. Законы борьбы за существование и естественного подбора родичей, в связи с этим законом, могут послужить к оправданию всех сторон нынешнего общественного устройства, которое мы считает и называем злом. При помощи этих научных фактов злонамеренные софисты или люди ограниченные могут не только доказывать необходимость этих сторон, но и полезность их. Они могут рассуждать следующим образом: каждый организм необходимо должен бороться за существование с другими; человек в этом отношении не составляет исключения; он отличается от прочих организмов только тем, что средства его вести борьбу многочисленнее; но это дает ему преимущество только в борьбе с низшими организмами; в борьбе же между собою люди находятся точно в таких же отношениях, как и прочие члены органического мира, с тою только, впрочем, несущественною разницею, что у них борьба за существование представляется гораздо сложнее, разнообразнее и грандиознее. В борьбе этой опять-таки неизбежно действуют законы естественной конкуренции, вследствие чего

более сильные и счастливее одаренные субъекты вытесняют слабейших. С видовой, т. е. общечеловеческой точки зрения в этом нет не только ничего печального, но, напротив, много отрадного, потому что борьба за существование и естественная конкуренция приводят в результате к торжеству естественно-избранных, т. е. лучших членов, и путем естественного подбора получается в конце-концов улучшение целого племени, т. е. самый действительный и важный прогресс. Отсюда совершенно логически вытекают следующие положения: что восставать против самого факта борьбы за существование в человеческих обществах нелепо, потому что это неизменный закон природы, единый для всего органического мира, отрицать который может только невежество или предрассудок, ставящий человека вне законов этого мира; признав же этот закон, вопиять против последствий его — ни с чем не сообразно; поэтому сантиментальная философия поступает гораздо последовательнее, когда не хочет знать науки, отрекается от нее и твердит свое, не обращая на нее внимания, чем те, которые, признавая значение научных положений, тем не менее относятся к естественным явлениям с нравственной точки зрения. Следовательно, человек, признающий науку, не имеет права вносить нравственные воззрения в междучеловеческие отношения. Войны, нашествия, борьба сословий, племен, народов, государственные и общественные перевороты, какими ужасными явлениями ни сопровождались бы они, не должны вызывать в нем ни сожаления, ни негодования, ни, менее всего, противодействия подобным явлениям. Такое страстное отношение ко всем этим естественным, неизменным и неизбежным явлениям показало бы только, что он находится на той низкой степени научного понимания, на которой стоят дикари и дурно воспитанные дети, секущие море за бурю и плюющие на неодушевленный предмет, о который ушиблись. Негодовать на войны, оплакивать бедствия угнетенных и порабощенных, желать совершенного прекращения антропофагии — непростительно для человека, признающего значение науки. Пусть он лучше проклинает молнию, которая убивает людей; град, опустошающий поля; землетрясение, рушащее города; вулканы, сожигающие цветущие местности. Но с этими явлениями, космичность которых очевидна, человек давно примирился, давно отделался от страстного к ним отношения. Бушмен бьет своего фетиша, если охота не удалась ему; но образованный европеец уже не обвиняет никого за бурю или землетрясение, хотя бы оно было источником величайшего для него бедствия. Только человека и образованные люди не научились еще считать членом космоса, подлежащего космическим законам. Большинство еще считает человека и человеские общества стоящими выше законов природы и полагает, что они управляются особыми нравственными законами, зависящими от них же самих, от их личной воли и произвола. Наука постоянно доказывает ошибочность этого

мнения, и должно настать время, когда страстное отношение к явлениям, представляемым человеческими обществами, будет казаться так же забавно, как забавен теперь фетишизм дикарей. Тогда вместо того, чтобы ужасаться и негодовать при виде бедствий, поражающих теперь большую часть человечества, вместо того, чтобы придумывать несбыточные, утопические планы преобразования общества, поймут и необходимость этих бедствий, и невозможность прекратить их, и даже пользу, которую борьба и конкуренция, гибельные для единиц, хотя бы многочисленнейших, приносят виду, т. е. всему человечеству.

Таким образом можно было бы, входя в большие подробности, оправдать всевозможные безобразия, защитить не только современный порядок, но и самую голую антропофагию, оправдать кастовое устройство и доказать, что все эксплоатирующее, гнетущее, тиранизирующее имеет неоспоримое, естественное право эксплоатировать, угнетать и мучить. Понятно, что если бы подобные рассуждения имели успех и получили бы распространение, то мы попали бы из огня в полымя, потому что как ни плох, как ни туп, как ни невежествен сентиментальный либерализм, но он все-таки лучше подобного миросозерцания. Между тем нелепости сантиментальной философии могут доставить некоторый кредит такой противуположной крайности, и эта реакция против невежественного отношения ее к науке отозвалась между прочим и в статье г. Бибикова о «сантиментальной философии». У него мы встречаем, например, рассуждение такого рода:

«Когда в семействе много детей, а есть нечего, Мальтус простодушно (?) принимал это за несчастие. Теперь же мы видим, что чем больше детей, тем лучше, тем сильнее может действовать закон конкуренции. Слабые погибнут (тем лучше!), и выдержат борьбу только естественно-избранные, лучшие, привилегированные (*sic!*) члены, так что в результате получится прогресс — улучшение всего племени» (118). За несколько страниц раньше автор также говорит: «Теория Дарвина подрывает закон Мальтуса (почему же подрывает? Напротив того, объясняет и, по-вашему, оправдывает), ибо остановлять расположение вида значит ставить препятствие его прогрессу, так как усовершимость вида зависит от его обильного распложения (больше простору для борьбы и конкуренции — не так ли?). Закон грубый, скупой, роковой, уличавший природу в скаредности, является мудрым законом экономии и изобилия, гарантией благосостояния и прогресса всей органической твари». (Хороша экономия в том, что больше существ вымрет и погибнет, чтобы лучше откормить остальных!) (стр. 112).

Печальный смысл этих рассуждений нимало не выиграет от того, что далее г. Бибиков доказывает ненормальность и неудобство нынешнего общественного порядка тем, что порядок этот мешает естественной конкуренции, насильственными мерами под-

держивая слабейших против сильных, другими словами, поддерживая искусственно-избранных и тем самым препятствуя естественному подбору. Он говорил, что искусственный подбор никогда не может заменить естественного, что поэтому искусственно-избранные все-таки в конце-концов погибают, но что поощрение, оказываемое им современным общественным порядком, мешает развиваться естественно-избранным и занимать принадлежащее им по естественному праву место, а через это устраняет и благодетельные результаты борьбы за существование — усовершенствование вида. Но г. Бибиков упускает при этом из виду, что этот довод может иметь силу только против замкнутых каст, против общественного устройства древнеазиятского и феодального, против Клавдиев, Меровингов и Тюдоров, а никак не против современного порядка. Поэтому нельзя согласиться с этими словами его: «Возвращаясь из истории к современному порядку вещей, мы встречаем те же явления и тот же закон для естественно-избранных или кажущихся избранными по искусственной обстановке. Мало ли на свете этих существ, которые неспособны жить своими силами, которые всею тяжестью висят на здоровых руках, сохраняют бытие свое насчет сил общества, где проходит их чахлое существование, и которые занимают на солнце больше места, чем три индивидуума хорошей комплекции, тогда как последние не только жили бы с полною силою для удовлетворения своих собственных потребностей, но могли бы произвести сумму наслаждения, превышающую то, что они сами потребили бы... Искусственными способами поддерживали до сих пор чахлые, вялые, бесполезные существования в ущерб существованиям сильным, полезным, плодотворным... Чахлое, дряблое существование потребляет в три раза больше, чем сколько нужно сильному, здоровому, отнимая у него необходимое и бесспорно ему принадлежащее. Предоставьте свободу для развития и для естественного избрания: бессильные организмы уступят место здоровым или разовьют в себе реакцию, которая возбудит их силы на отпор, на борьбу и, быть может, вызовет не одну победу... Природа не знает и не имеет любимцев, ей неизвестны ни сострадание, ни предпочтительность: живи все, кому можется, влачи свое существование до тех пор, пока есть возможность на борьбу с условиями, его стесняющими» (стр. 123—125).

Если таково желание г. Бибикова, то ему жаловаться не на что: желания сбылись почти во всех европейских обществах, а где не сбылись, так сбудутся вскоре. Нынешние общественные условия не поддерживают искусственно-избраных: в европейских обществах время Меровингов прошло и наступило время полного раздолья для борьбы за существование, естественной конкуренции и торжества естественно-избранных. Свобода, которой г. Бибиков желает для естественного подбора, наступила теперь полная с царством буржуазии. Теперь-то и предстоит испытать ев-

ропейским обществам все благодетельные последствия экономного, мудрого и прогрессивного закона естественной конкуренции, ничем не стесняемой в силу буржуазного девиза laissez faier, laissez passer. Теперь настала масленица для этих естественно-избранных; они себя покажут! Монморанси вымерли, и закон естественной конкуренции при полной свободе выдвигает вперед разных Шульце и Мюллеров, Перейр и Миресов. Природа не знает любимцев — говорит г. Бибиков. Это неверно: одному она дает изворотливый ум, другому — терпение и выносливость, третьему — здоровье или силу, и все, кто простодушнее или слабее, идут на откармливание этих любимцев природы.

Статья г. Бибикова дает таким образом понятие о том, в какую печальную крайность можно попасть из одного желания защитить науку от нелепых возгласов сантиментализма. Я приписываю ошибки г. Бибикова именно этому чувству, потому что литературная деятельность его и даже прочие статьи, помещенные в той же книжке, не позволяют мне приписать их желанию защитить наукой буржуазный порядок. Но если честный человек может в увлечении дойти до такого прискорбного истолкования научных данных, то чего же можно ожидать от злонамеренной софистики?! Выводы могут быть здесь, как я показал, таковы, что если бы не существовало иного выхода, как принять их или прослыть за невежду и идиота, то каждый порядочный человек с гордостью надел бы дурацкий колпак.

По счастью, наука совершенно не виновата в софистической эксплоатации ее в пользу каких бы то ни было общественных уродств, и, чтобы не мириться с этими уродствами, нет надобности затыкать ушей и зажмуривать глаза на науку, как делают сантиментальные либералы. Напротив того, наука ведет к правильному пониманию жизненных условий, а тем самым научает сообразоваться с ними, принимать нужные меры, чтобы защититься от дурных влияний, и, словом, дает возможность исправить общественный порядок. В этом отношении результаты, полученные Дарвином, так же важны, как и все другие великие открытия науки. Не признавать их нельзя, если не иметь на то равносильного научного основания, да и надобности нет, потому что логические выводы из них не имеют в себе ничего ужасного. Человечество с первого дня своего существования и до нынешнего было поставлено в необходимость бороться с законами и явлениями природы. В истории этой борьбы — вся история цивилизаций, и в ней теперь почти никому в голову не приходит видеть что-нибудь печальное. В древности, когда борьба эта представляла больше препятствий, а умственное развитие было слабее, люди вздыхали о золотом веке, когда они жили в совершенно иных естественных условиях, когда жареные голуби сами в рот летали, а волки и львы паслись вместе с баранами и питались травой. Но в наше время подобные представления и сожаления

исчезли, и никто уже не скорбит серьезно о том, отчего нет медовых рек и золотых гор. Народы, которые могли победить природу и таким образом вступить на путь цивилизации, выработали вместе с тем и науку, и наука давала им впоследствии средства продолжать эту борьбу успешно, объясняя с одной стороны природу и ее законы, а с другой — научая, как побеждать ее и как пользоваться ею. Чем дальше подвигалось объяснение наукою естественных законов, тем успешнее шла борьба с ними, потому что, только понимая явление, можно победить или обойти его, или воспользоваться им. Оттого каждое новое открытие в науке давало образованным народам новые силы на борьбу с природою. Точно так же и законы, открытые Дарвином. Открытие их чрезвычайно важно для человечества, потому что оно объяснило ему те естественные законы, которые действуют в нем непосредственно на него самого. Закон борьбы за существование всегда действовал в человечестве; но, не зная его, люди не могли бороться против него, как боролись с другими естественными законами, известными им. Тот факт, следовательно, что они узнали его, не имеет в себе ничего печального, а, напротив, благодетелен. Точно так же люди всегда подвергались бедствиям от неизвестных им законов электричества. Открытие этих законов и объяснение явлений электричества не только не принесло вреда, но, напротив того, прямую пользу, потому что немедленно дало средства предохранять себя от пагубного действия этих явлений и воспользоваться ими для полезных целей. Так надо смотреть и на закон Дарвина. Узнав его, люди не подчинятся безропотно всем ужасным последствиям его, как было до сих пор, а вступят с ним в разумную борьбу и, без сомнения, останутся победителями. Открыв причины удручавших их войн, неравенства, общественных неурядиц, эксплуатации, они не помирятся с ними, а, зная причины найдут и верные средства для устранения их. Следовательно, нелепо утверждать, что, узнав причины социальных бедствий, должно относиться к этим бедствиям пассивно; что это знание только оправдает эти бедствия и докажет их неизбежность. Нисколько. Знание причин явлений электричества повело к изобретению громоотводов и телеграфов, а не к пассивной покорности этим явлениям; тот же результат должно дать знание причин социальных явлений. Конечно, люди уже не будут проклинать войны и негодовать на эксплуатацию, они сделают лучше: они устранят их. Проклинали и негодовали они очень долго, но из этого ничего не вышло; теперь наступает пора разумной деятельности, а не бесплодной декламации.

Ясно, стало быть, что научные данные могут смущать только сентиментальный либерализм, но не могут противоречить утилитарной нравственности и требованиям общественной пользы. Прямой вывод, который можно сделать из знания естественных законов, действующих в человеческих обществах, будет, однако, с

этой точки зрения диаметрально противоположен желанию г. Бибикова. Если в человеческих обществах действует закон естественной конкуренции, который выдвигает одних, более счастливых, и кормит и холит их насчет других, слабейших, то из этого вовсе не следует, чтобы на это должно было смотреть сложа руки. Такое равнодушие простительно и понятно в зверях, которые едят себе друг друга, не предаваясь никаким философским размышлениям. Оно понятно в антропофагах, которые завтракают и ужинают своими пленными, не задавая себе никаких научных вопросов, а просто находя, что человеческое мясо очень вкусно. Но с какой же стати продолжать заниматься людоедством членам образованного общества, которое порицает это явление, знает его и, следовательно, может найти средства устранить его? Видя, что при нынешних порядках естественная конкуренция приводит к тому, что сильнейшие поедают слабейших, люди необходимо придут к тому, чтобы, во-первых, дать этим слабейшим помощь, чтобы поддержать их против сильнейших и предупредить поражение их. Это дело первой необходимости, и откладывать его нелепо. Как скоро узнали закон, производящий ежедневно страшные бедствия, так немедленно надо принять против него меры и предохранить от погибели тех, кому он грозит. А во-вторых, необходимо в самом устройстве общества произвести такие перемены, которые навсегда парализировали бы гибельное влияние этого закона и обеспечили бы общество от его печальных явлений. В этом и состоит задача теперешнего времени, решение которой стало тем необходимее и безотлагательнее, что сущность и причины вредных явлений, удручающих общества, поняты и объяснены наукою.

Все это противники мои должны были возразить мне по поводу моего мнения о положении негров. Это было бы во всяком случае основательнее, чем говорить общие места о рабстве и острить насчет бесцветных актеров ([6]). Впрочем, мне не пришлось бы отказываться от своего мнения даже в виду этого возражения, так как я никогда не думал говорить, что негров следует обращать в рабство. Что же касается до того, что, живя вместе, в одной стране, в одинаких условиях, низшая раса, по силе вещей, по естественной необходимости, неизбежно попадет в рабство, то против этого невозможно привести ничего. Несомненно, что это так есть и так будет и что никакого исхода нельзя придумать. Противупоставив этому мнению те же аргументы, какие я противупоставил мнению г. Бибикова о необходимости и даже полезности естественного владычества буржуазии, найдем, что они нимало сюда не относятся. Действительно, в обществе, составленном из членов более или менее равносильных, всегда может существовать возможность оградиться от вредных для него последствий закона естественной конкуренции; для этого нужны лишь такие учреждения, которые направляли бы эгоистические стрем-

ления людей к общеполезным целям или, по крайней мере, в ближайшем будущем налагали бы узду на плотоядные наклонности самых бодливых и счастливо одаренных. Современные общественные нужды достаточно уже выяснили эту цель, равно как и средства, которыми она может быть достигнута, т. е. те социальные реформы, которые помогут ей осуществиться, и теперь только плотоядные буржуа могут восставать против этой цели и называть эти средства несбыточными и химерическими. С их стороны это очень понятно, потому что все это клонится именно к их обузданию. Но буржуазная оппозиция в теории очень слаба, и с каждым годом все более и более выясняются с одной стороны естественные законы жизни человеческих обществ, а с другой стороны — средства, которыми можно победить эти законы и устранить их вредное влияние.

Что же касается до такого общества, которое, как Северо-Американское, составлено из двух или трех совершенно различных рас, из коих одна имеет такое естественное превосходство над другими, что всюду, куда проникала, уничтожала остальные, то все эти соображения оказываются к нему неприменимыми. Для того, чтобы уравновесить естественные условия негров и белых, пришлось бы создать такие искусственные, которые предоставили бы низшей расе все те преимущества в социальном положении, какие высшая имеет над нею в естественном. Другими словами, пришлось бы обратить белых в рабов негров, и тогда только, быть может, после длинного ряда поколений, возможно бы стало между ними настоящее равенство. Однако, это средство такого рода, что сама плаксивая Бичер-Стоу и добродушный г. Антонович призадумаются, должно полагать, прежде чем согласиться на него. Невольничество было вредно самим белым обитателям Соединенных Штатов; в этом не может быть сомнения, потому что те материальные выгоды, какие оно доставляло плантаторам, далеко не вознаграждают за ущерб, наносимый им нравственному уровню общества. Однако, самому горячему приверженцу эмансипации негров не пришло бы в голову убеждать жителей Южных Штатов или требовать от них, чтобы они создали социальные учреждения, благоприятные для негров и неблагоприятные для белых, тогда как в Европе, наоборот, принцип буржуазной свободы и невмешательства общественных учреждений в попытки угнетенных улучшить свое положение имеет за себя только самых отпетых либералов вроде Шульце-Делича. Разумные люди весьма основательно доказывают, что угнетенные классы имеют право на помощь и содействие общественных учреждений, имеют право требовать, чтобы эти учреждения имели в виду прежде всего тех, кто нуждается в посторонней поддержке, и были бы устроены сообразно интересам этих обиженных (7). Но отношения, какие могут существовать между белою расою и цветными, так далеки от отношений, существующих между различны-

ми классами одноплеменного общества, что таких требований никто никогда не решился предъявить американскому обществу. Требования, какие предъявлялись этому обществу, касались только некоторых временных и внешних форм рабства, и на это люди беспристрастные и несантиментальные всегда возражали, что это ни к чему не поведет, потому что дело не в той или другой внешней форме, а в сущности, которую изменить нельзя. Это возражение не может быть ни обойдено, ни побеждено ничем, и нельзя не согласиться с г. Бибиковым, когда он говорит в этом смысле так: «Взгляните, что происходит в настоящую минуту на всем пространстве русских владений, что происходило при столкновении русской крови и русской культуры с дикими племенами Сибири, Камчатки, Алеутских островов. При полноправности, при совершенном юридическом и гражданском равенстве тех и других (это, впрочем, далеко не совсем верно) русская кровь нашла средства вытеснить, одолеть, смешаться в свою пользу с кровью инородческою, так что погибели самобытности и самостоятельности племен чудских, монгольских, тюркских удержать не может никакая юридическая полноправность» (132).

После этого чрезвычайно странно услышать от г. Бибикова рассуждения о том, что круглоголовость, косозубость, лицевой угол и строение пятки не могут служить основанием для определения юридических, гражданских и политических прав людей. Таким образом, он, который, увлекшись негодованием к сантиментальному взгляду на науку, доходил до странных крайностей в противоположном направлении, вдруг сам объявляет себя против науки, как скоро речь коснулась отношений различных видов человеческого рода! Здесь уж он находит, что наука не может служить к определению человеческих отношений. «Когда же, — говорит он, — и какое законодательство основывалось на результатах анатомии, физиологии, краниологии, френологии для определения прав человека?» Конечно, никогда. Но ведь г. Бибиков только что упрекал людей за пренебрежение к науке, а теперь находит, что на нее и вправду смотреть нечего. Так из-за чего же было хлопотать и вооружаться против «Времени»? После этого г. Бибиков принимается рассуждать уже совершенно вопреки всякому смыслу: «Люди неравны по природе, по организации, по способностям — это правда, — говорит он, — но это различие дает им такие средства, такую силу в борьбе друг с другом, к эксплуатации друг друга, от которых не может спасти никакая юридическая, гражданская, политическая равноправность, что посягнуть на последнюю теоретически может только безумный...» (133). Вот вы тут и посудите: безумно посягать на равноправность оттого, что она не может спасти людей от борьбы и эксплуатации, вызываемых неравенством организации! Этого просто постичь нельзя! Если равноправность ни к чему не ведет, то почему же безумство посягать на нее? Напротив, казалось бы, то-

гда как вещь ненужная и бесполезная, она может быть уничтожена без особенного безумия. Г. Антонович или кто-то другой доказывал недавно, что мой взгляд на негров был гибелен не для негров, а для меня. Что взгляд мой, каков бы он ни был, не мог нанести ни малейшего вреда не только всему черному племени Эфиопии, Австралии и Америки, но даже самому последнему негритенку — это ясно без всяких доказательств. Насколько этот взгляд был гибелен для меня — предоставляю судить другим. Но что заботы о благополучии негров сбивают с толку наших публицистов, расположенных к ним, это несомненно. Одного они довели до того, что он думает уколоть меня указанием на безвредность для существования негров моего взгляда на положение их, а другого до того необычайного силлогизма, который мы только что видели. Впрочем, в несообразности этого силлогизма виноват не столько здравый смысл г. Бибикова, сколько та неблагодарная точка зрения, на которую он встал. Он и понимает бесполезность равноправных политических условий для белых и негров и в то же время не решается выговорить, что, следовательно, весь вопрос касательно рабства негров поставлен ложно, так как он заключается единственно в требовании этой равноправности.

Повторяя вкратце все сказанное выше вместе с выводами, отсюда истекающими, придется сказать следующее: равноправное общество может существовать только при том непременном условии, чтобы между членами его не существовало коренной разницы, существующей между различными расами человечества. При соблюдении этого условия знание естественных законов, действующих в человечестве, приводит к необходимости создать такие отношения, которые бы парализировали невыгодные влияния естественной конкуренции. До сих пор подобные отношения не были установлены нигде, но идеал их уже существует и все более и более определяется, хотя достигнут может быть лишь при радикальном изменении всех главных принципов, принимаемых нынешними обществами. Что же касается до таких обществ, где коренное условие это не соблюдено, то они не могут достигнуть равноправности. Здесь не могут помочь никакие хартии, прокламации и конституции, потому что неравенство лежит не в законах и учреждениях, а в самой организации рас. Искоренить его можно лишь одним путем, — путем продолжительного, систематического, искусственного возвышения низшей расы и унижения высшей. Всякие отвиливания от этого рокового вывода могут привести только к нелепости и противоречию — отличительным чертам сантиментального либерализма.

Из остальных статей можно указать на разбор комедии Островского «Грех да беда на кого не живет», который, бесспорно, лучше всего, что было писано об этой комедии. Статья же по поводу романа «Что делать?» представляет лишь опровержения на неко-

торые тогдашние идиотские выходки против этого романа (8). До сих пор судьба этого произведения была такова, какой не выпадало, я думаю, еще на долю ни одному сочинению, как свет стоит. Тотчас по выходе его явились против него во всех этих «Занозах» и «Сынах Отечества» выходки, в которых сыны отечества решились, повидимому, истощить весь запас глупости, пошлости и бесстыдства, существующий в обширной России. Стоит только вспомнить, на что нападали, особенно эти сыны отечества, чтобы почувствовать припадок тошноты. Так, например, ничто во всем романе не возмутило их до такой степени, как «нейтральная комната» (9). Надо вспомнить, что сыны отечества ходили в то время в халатах нараспашку и даже не старались, подобно Плюшкину, прикрыть свое белье сомнительного вида, или даже появлялись просто в натуре, как Иван Никифорович. Речь у них была бойкая, ничем-то они не стеснялись, чувствовали себя перед публикой как дома, и не было такой грязной мыслишки, такой позорной страстишки, которую бы они не несли напоказ своим согражданам на восторг и удивление, точно перл какой-нибудь драгоценный. Какая бы пакость ни пришла кому в голову, в эту эпоху Расплюевых, он ее сейчас тащил на свет божий, точно боясь, что ее у него предвосхитят. И этим-то Расплюевым пришлось судить о «Что делать?». А потом, когда они досыта натешились и увлеклись другими вопросами, наступило молчание, как-будто роман этот — такое временное явление, что десятка расплюевских фельетонов было за глаза для его оценки, между тем как он до нынешнего дня у всех в памяти, до нынешнего дня занимает мыслящее общество и водит пером писателей, у которых он перед глазами даже тогда, когда они пишут, повидимому, совсем о другом. Теперь, быть может, наступило время, более благоприятное для разумной и серьезной критики этого произведения, и если так, то наша литература должна поспешить выполнить, хотя поздно, этот долг в отношении его.

ПРИЛОЖЕНИЯ

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Два года инквизиция томила Чернышевского в Алексеевском равелине. Два года каждодневно следили мы за ходом его участи и знаем всю процедуру злодейства, умышленно тянувшегося так долго. Мы знаем, как правительство, арестовав Чернышевского, было поставлено в безвыходное положение полнейшего отсутствия обвинительных пунктов, как оно не могло представить ни одного обвинения заключенному в ответ на его требование обвинений. Вследствие этого целые месяцы тянулись без допроса. Ничего не изобретя, вздумали, наконец, обвинить Чернышевского за дух его статей. Илье Арсеньеву был поручен обвинительный разбор сочинений Чернышевского (1). Разбор оказался неудобен: не говоря уже о том, что все статьи были цензурированные и, значит, не подводящие автора под ответственность, статьи «наиболее вредные и преступные», по мнению наемного ценовщика, были именно те, которые цензуровались не только простым цензором, но и всем главным цензурным комитетом (с председателем Це во главе), — пришлось бы осудить только цензурный комитет! Тогда-то прибегли к изобретениям, небывалым даже при Николае с декабристами. Известный уже доносом на Михайлова Всеволод Костомаров вызван был на сцену. Под видом политического преступника он был привезен в Петропавловскую крепость и здесь, сначала в Невской куртине, а потом на гауптвахте его посещали Голицын и Потапов и изобретали вместе какое-либо обвинение против Чернышевского. Вс. Костомаров, под видом ссылки на Кавказ, был отправлен с жандармским офицером в Москву для свидания с тверским мещанином Василием Яковлевым. Мещанина этого Вс. Костомаров знал уже раньше. По общему третьеотделенскому решению, Костомаров купил Яковлева на то, чтобы Яковлев отправился в Петербург и, явившись к Потапову, донес бы, что бывал у Чернышевского и слышал, как он порицал и возбуждал против правительства, говоря: «Ну, что-ж? Вот и дождались воли! Хороша ваша воля!» Отправляясь с таким поручением в Петербург, Яковлев напился пьян на деньги, данные Костомаровым, стал буйствовать на железной дороге и снова попал

в Москву в смирительный дом. Здесь, подвипивши, Яковлев сам рассказал (а потом не раз повторял уже в трезвом виде) содержавшимся вместе с ним про костомаровское поручение, говоря, что за это ему обещана великая награда от самого царя, и расспрашивал, как велика должна быть такая награда. При этом Вас. Яковлев и не думал скрывать, что он никогда не видал Чернышевского, и спрашивал, что он такой за человек, и зачем это Костомарову нужно оболгать его. Содержавшиеся объяснили ему в ответ, что он не только не должен получить никакой награды, но еще по закону должен быть подвержен строжайшему взысканию за извет и ложное показание, и уговаривали его отказаться от продажности. Но звонкие доводы превозмогли, и мещанин отправился к Потапову. Весть об этом замысле на гибель Чернышевского быстро разнеслась по обеим столицам; об известности такой проделки было доведено формально бывшими соредакторами Чернышевского до самого Потапова «для предупреждения его от ложного показания!» (²).

Тогда прибегли к другому способу. При помощи того же Всев. Костомарова в III отделении был напечатан листок «К барским крестьянам», конечно, самого нецензурного содержания; корректура и поправка листка подделаны под руку Чернышевского, и таким образом изготовлено новое обвинение! (³). Изощряясь в подделывании почерка, III отделение напало на мысль другого подобного же обвинения: была сочинена и подделана тем же мастером записка будто бы Чернышевского к литератору Плещееву. Для большего правдоподобия в записке не было резких, нецензурных выражений и только смутно говорилось о том, что «теперь нужно не думать, а действовать». Это и все. Других обвинений, действительного, правдивого обвинения не было и быть не могло. И этот-то процесс инквизиция тянула два долгих года, в надежде заставить заключенного (хотя бы для скорейшего окончания собственного дела) признать справедливость того или другого вымышленного обвинения... В это время в каземате, лишенном воздуха, Чернышевский еще принужден был морить себя голодом, не принимать пищи в продолжение нескольких дней для того, чтобы было допущено минутное свидание с больною женою, в присутствии соглядатаев в генеральских эполетах. Но надежда инквизиторов осталась тщетною, Чернышевский упорно отвергал вымышленные обвинения и с омерзением указывал инквизиторам на всю гнусность их же собственных проделок. Изумленный Плещеев объявил, что никогда не видал записки, подобной подделанной, и что почерк, очевидно, не Чернышевского. То же самое о подделке должны были признать многие из призывавшихся сенатских секретарей. Дряхлый сенат, несмотря на все подделки, признал Чернышевского виновным: во враждебном правительству духе статей его, в возмущении мещанина Яковлева, в сочинении и передаче для печатания другому возмутительного воз-

звания, в возбуждении против правительства Плещеева запискою, в сношенях с изгнанником Герценом. И приговор за все эти изобретенные преступления, в которых Чернышевский «оказался виновным по уликам и обстоятельствам дела» — четырнадцатилетняя каторга и вечное поселение в Сибири. Государственный совет одобрил гнусное решение и сформировал его так: «Бывшего отставного титулярного советника, Николая Чернышевского, виновного в сочинении возмутительного воззвания, передаче оного для тайного печатания с целью распространения и в принятии мер к ниспровержению существующего в России управления, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет и затем поселить в Сибири навсегда». И благодушная рука подписала приговор, удовольствовавшись девятилетним взысканием (7 лет каторги — да не надо забывать и два года заточения в равелине).

Четверть часа у позорного столба никого не устрашит, никого не победит; оно только зовет людей и будит в них энергию, но уже не четвертьчасовую, а неусыпную, на долгие годы борьбы. Наша скорбь о Чернышевском выше минутно торжествующей насмешки его врагов. Пусть нет у русского юношества лучшего его учителя, но его учение не могло пропасть даром. Мы горды дорогим правом звать себя его учениками, воспитанниками его школы; мы горды этим, потому что чувствуем, что можем служить народу, хотя сотою долею его служения, и наше служение не будет бесплодно, — им руководят та искренняя любовь и то истинное уважение, которым он учил и с которыми он относился к народу и молодому поколению, платившему ему горячим возвратом тех же чувств...

Много же понесли вы утраты, братья-юноши! Безвременная смерть, в удушливой среде, сразила вашего неусыпного борца против темного царства! Вслед за другими славными братьями у вас вырвали и доблестного учителя!

Сомкнись же, русская молодежь, сомкнись в тесный дружный строй! Не разрывай своих рядов и работай. Я повторяю его словами ([4]): «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, перенесите из него в настоящее все, что можно перенести»...

ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ И ВОПРОС О РАБОЧИХ КЛАССАХ В ГЕРМАНИИ

I

28 августа 1864 года в одной миле от Женевы происходила дуэль между молодым венгром Раковичем и человеком лет сорока, черты лица которого обнаруживали его еврейское происхождение. Оба противника выстрелили в одно и то же время, молодой венгр остался цел и невредим, но противник его получил смертельную рану в живот. Несмотря на опасность своего положения, раненый имел однако же настолько твердости, чтобы, по возвращении в Женеву, без посторонней помощи взойти на лестницу гостиницы, в которой он остановился. Но три дня спустя, 31 августа, этот иностранец умер от последствий полученной им на дуэли раны несмотря на то, что друзья его выписали для оказания ему помощи из Гейдельберга одного из знаменитейших европейских хирургов — Хелиуса. Иностранец этот, убитый на дуэли в Женеве венгром Раковичем, был знаменитый немецкий публицист и друг рабочих Фердинанд Ласссаль.

Лассаль был сын зажиточного бреславского купца. Отец его предназначал его к торговле, но Лассаль не питал к этого рода деятельности никакого расположения и поступил сначала в бреславский, а потом в берлинский университет, где он слушал лекции философии и филологии. Уже в то время светлый ум Лассаля и приобретенные им в короткое время обширные познания по философии и филологии обратили на него внимание таких людей, как, напр., Гумбольдт, Бек и др. Вскоре по выходе из университета Лассаль был замешан в политический процесс, в котором он сам был своим адвокатом. Он защищался блистательным образом, был оправдан присяжными и уже с этих пор стал известен в Пруссии как хороший оратор и отличный адвокат. После этого успеха и после того, как в Берлине началось движение 1848 года, Лассаль совершенно бросил сухие философские занятия и обратился исключительно к адвокатской и публицистической деятельности. За участие в событиях 1848 года он, по водворении вновь законного порядка, приговорен был к полугодичному тюремному заключению. После того он подвергался еще нескольким осуждениям, преимуществено за преступления против печати. Но все эти осуждения не охлаждали его деятельности. Начиная с конца 50-х годов он особенно стал известен в Германии тем участием, которое он принимал в улучшении судьбы германских рабочих классов. В его неутомимой заботливости о благе германских рабочих, в его беспрерывной агитации в пользу этого дела, в его упорной и искусной борьбе против рутины, своекорыстия и узкости политических и экономических взглядов его соотечественников,— вот в чем заключается главная заслуга этого замечательного человека. С этой стороной его деятельности мы намерены вкратце познако-

мить наших читателей. Но для верной оценки деятельности Лассаля нужно бросить прежде беглый взгляд на положение в Германии вопроса о рабочих классах.

Вопрос об устройстве быта немецких рабочих до начала 50-х годов нынешнего столетия не выдвигался особенно вперед; по крайней мере политические деятели и публицисты Германии, обратившие исключительное свое внимание на политическое устройство своей страны, не слишком много занимались этим вопросом, так что в Германии вопрос о пролетариате, о пауперизме не казался таким жизненным вопросом, как во Франции или в Англии. Но если этот вопрос в Германии и не выступал так сильно вперед, как в других западно-европейских государствах, потому что немцы-теоретики долгое время старались его игнорировать, то все-таки он и здесь с течением времени не мог не возникнуть. С поднятием уровня образования общества и с развитием политических учреждений страны неимущие классы Германии начинали всматриваться повнимательнее в то общественное устройство, которое существовало в то время у большей части европейских народов. Они стали вдумываться в свои отношения к двум главным видам собственности: капиталу и поземельной собственности, и следствием этого было то, что у них зарождалось сомнение насчет правильности и рациональности отношения рабочих классов к другим сословиям в государстве. К концу сороковых годов в Германии составилась уже довольно богатая литература по этому вопросу; было также несколько периодических изданий, посвященных исключительно этому же вопросу. В 1848 году, в эпоху всеобщего народного брожения, выказалось стремление осуществить некоторые из новых идей касательно переустройства общества, применить их к действительности. В представительных собраниях отдельных немецких государств и даже во франкфуртском немецком парламенте раздавались голоса, требовавшие, чтобы при новом устройстве немецкого общества рабочим классам дано было иное, более соответствующее новым идеям положение в обществе. В августе 1848 года состоялся конгресс германских рабочих, на котором обсуждались вопросы рабочих классов и который своими постановлениями пытался достигнуть желаемой организации труда. Сделаны были предложения образовать для этой цели особые рабочие комитеты, которые должны были служить посредниками между рабочими и капиталистами. Но эти попытки ни к чему не повели, во-первых, потому, что тогдашние руководители движения рабочих не сумели справиться с предпринятым ими делом, а, во-вторых, потому, что и самые немецкие правительства стали смотреть неблагосклонно на эти стремления рабочих классов к эмансипации. Настала реакция 1849 и 1850 годов, и в положении рабочих все осталось по-старому.

Между тем известный прусский прогрессист Шульце-Делич, пришедши в 1848 году в столкновение со многими представите-

лями немецких рабочих, имел случай убедиться, насколько в рабочем классе Германии распространены стремления к улучшению своего быта. Вся его деятельность с этих пор направлена была к тому, чтобы доказать рабочим, что можно улучшить их быт, не прибегая к социалистическим теориям. Деятельность эта была двоякая: практическая и теоретическая. Первая из них гораздо важнее последней; она действительно принесла некоторую пользу германским рабочим, хотя далеко не такую великую пользу, как то стараются представить друзья и поклонники Шульце-Делича в Германии и в других странах. Деятельность Шульце-Делича на пользу рабочего класса Германии, правда, в состоянии создать паллиативные средства для уменьшения бедствий немецких пролетариев, но она не может повести к тому, чтобы пересоздать общественное положение рабочих классов Германии на новых, более рациональных основаниях.

Практическая сторона деятельности Шульце-Делича состоит преимущественно в основании и распространении по всей Германии различных видов рабочих обществ. Общества и ассоциации эти имели в виду различные цели. Главные виды их были следующие: 1) Общества для вспомоществования больным рабочим (Krankenvereine). Этот вид обществ распространен гораздо менее других; таких обществ не слишком много в Германии, и число членов их не особенно велико. 2) Общества для доставления рабочим по дешевым ценам необходимых жизненных потребностей (Congumvereine). В конце 1863 года таких обществ было в Германии от 80 до 90, и некоторые из них производили в год оборотов более чем на 200.000 талеров. 3) Общества для приобретения рабочими сырого материала (Rohstoff und Materialenvereine) и, как более усовершенствованный вид этих ассоциаций, 4) Общества по отдельным ремеслам для общего производства и сбыта. Этот последний вид ассоциаций имеет целью освободить труд от эксплуатации его крупным капиталом, и поэтому нельзя не согласиться с Шульце-Деличем, который считает его венцом ассоциационной системы. Но именно этот-то вид ассоциаций еще очень мало распространен в Германии, и можно указать только на некоторые уединенные попытки в этом роде. Причина этому заключается не в малом развитии у немецких рабочих духа ассоциации, как то предполагает Шульце-Делич, а в том обстоятельстве, что капиталам, составленным из копеечных взносов и сбережений членов ассоциации, совершенно невозможно успешно конкурировать с огромными и притом пользующимися особенным покровительством законодательства капиталами. Что же касается до ассоциаций для доставления рабочим по дешевым ценам сырья, то они довольно распространены в Германии. Уже в 1862 году их насчитывалось более 200; преимущественно они составлялись сапожниками, портными и столярами. Наконец, тот вид рабочих обществ, который более всего распространен был в Германии,—

5) Кредитные и ссудные общества (Vorschuss und Kreditvereine). Общества эти ссужают своих членов необходимыми суммами для того, чтобы начать какое-нибудь промышленное производство; но ссуды эти производятся всегда на проценты и очень часто даже не иначе, как под верные залоги. Таким образом, самые основания, на которых устроены кредитные общества рабочих, ничем не отличаются от общих оснований всех кредитных учреждений. Этот вид рабочих обществ более всего распространен в Германии: к началу 1863 года их было уже от 440 до 450, и ссуд ими роздано было более чем на 30 миллионов талеров; процентов с этих ссуд получено было на 700.000 талеров (на капитал в 10 милл. талеров). Были также попытки образовать кредитные общества и ссудные кассы на началах, противных началам Шульце-Делича и признанных им за непрочные и нерациональные, то есть на началах дарового кредита. Но дела подобного рода кредитных обществ не могли итти хорошо до тех пор, пока самое общество не прониклось еще идеей о возможности дарового кредита и пока капиталы стекались, разумеется, туда, где они давали весьма высокий процент. Поэтому, к великой радости Шульце-Делича и его сторонников, результаты деятельности беспроцентных ссудных касс были весьма плачевны, в особенности в сравнении с блистательными результатами кредитных ассоциаций рабочих, основанных по системе Шульце-Делича.

Шульце-Делич не ограничивался тем, что побуждал рабочих к составлению ассоциаций, и старался о распространении их по всей Германии: он был главным руководителем почти всех существующих в Германии рабочих ассоциаций и ходатаем за них перед обществом, литературою и правительством. В 1859 г. он устроил съезд уполномоченных от всех рабочих обществ в Германии, и с этого времени съезды эти стали повторяться ежегодно. Им же устроено было в 1861 году центральное бюро всех рабочих ассоциаций, назначение которого состояло в том, чтобы еще более развить деятельность рабочих обществ в Германии, сблизить их и служить посредником в сношениях их между собою; сам Шульце-Делич, по желанию всех уполномоченных от рабочих обществ, сделан был директором этого бюро. В 1861 г. им основан был также особый журнал, имевший целью служить органом немецких рабочих ассоциаций; кроме того, вся либеральная пресса Германии тоже весьма усердно пропагандировала идеи Шульце-Делича об устройстве судьбы рабочих. Наконец, Шульце-Делич, как член прусской палаты депутатов, взялся ходатайствовать перед палатою и вообще перед законодательством страны за созданные и покровительствуемые им рабочие ассоциации. Еще в 1859 году он выработал проект закона об этом предмете, в 1861 г. этот проект закона был представлен на обсуждение палаты, но частые распущения палаты до настоящего года не позволяли ей заняться серьезно этим вопросом, и только в нынешнюю

сессию ее проект Шульце-Делича был одобрен палатою депутатов.

Что касается теоретической деятельности Шульце-Делича в вопросе о рабочих классах в Германии, то она преимущественно направлена была к тому, чтоб распространить между рабочим населением Германии то, что он считал здравыми экономическими понятиями, и чтоб предохранить это самое население от того, что он называл нерациональными и зловредными для него теориями. Для этой цели он прибегал или к печатному изложению своих идей, или к публичным лекциям и устной беседе с рабочими. С тех пор как он посвятил себя этому предмету, т. е. с 1849 или 1850 года, Шульце-Делич писал очень много о нуждах рабочего класса в Германии, о средствах помочь ему и о результатах различных употребленных в дело средств. Во всех своих сочинениях, напечатанных после 1850 года, он предостерегает немецких рабочих, чтоб они не увлекались лживыми уверениями мнимых благодетелей человечества и не вообразили себе, что можно достигнуть действительного улучшения положения рабочих при помощи средств, предлагаемых новыми учениями. Когда же с 50-х годов началось движение рабочих, вызванное Лассалем, Шульце-Деличу показалось, что учение Лассаля пропитано ядом социализма, и он еще ревностнее прежнего принялся противодействовать влиянию этого яда посредством распространения между рабочими здравых экономических понятий. Но он понимал очень хорошо, что из всей массы немецких рабочих, о просвещении которых он заботился, немногие в состоянии будут читать специальные сочинения его об ассоциациях. Поэтому он прочел в начале 1853 г. берлинским рабочим несколько популярных публичных лекций, которые после напечатаны были особою брошюрой. В этих публичных беседах Шульце-Делич сообщил своим слушателям несколько действительно полезных сведений о труде, о пользе машин, как подспорья человеческого труда, и т. д. Но рядом с этим мы встречаем в его беседах полемическую сторону, в которой он старается опровергнуть мнения Лассаля и его последователей посредством сообщения своим слушателям довольно странных, часто совершенно ошибочных понятий о капитале, о процентах, о конкуренции, о вмешательстве государства в судьбу рабочих и о полной свободе и независимости этих последних. В этих беседах, равно как и во всех сочинениях своих, Шульце-Делич постоянно толкует одно: о необходимости собственной помощи (Selbsthilfe) рабочих и о том, что единственное средство к улучшению их быта заключается в основании ассоциаций. Не отвергая того, что в этом взгляде есть значительная доля истины, что никакое улучшение быта рабочих немыслимо без того, чтобы в нем не принимали также участие и сами рабочие — нельзя не заметить, что Шульце-Делич чрезвычайно несправедливо судит о попытках к общественному переустройству, сделанных в

Европе в течение последних 20 — 30 лет, что он в особенности относится слишком свысока к учению Лассаля и его последователей и к трудам их на пользу рабочего населения Германии. Нельзя также не заметить, что, увлекшись мыслью о самодеятельности рабочих, он упускает из виду то обстоятельство, что рабочие находятся в слишком невыгодных условиях сравнительно с привилегированными классами и что поэтому, если предоставить их исключительно своим собственным силам, отвергая для них всякую помощь государства, которую однако же владетельные классы и не думают отвергать, то не может быть и речи об успешной борьбе их с этими классами и о действительном улучшении их быта. Вообще Шульце-Делич до того увлекся желанием своим опровергнуть теории и учения противников экономической школы, что он в беседах и сочинениях своих договаривается часто до таких вещей, которых никак нельзя было ожидать от человека, так хорошо знакомого с бытом рабочих, и которые можно объяснить только непреклонным намерением его поразить своих противников во что бы то ни стало, хотя бы с помощью всевозможных натяжек. Так, например, коснувшись происхождения капитала, он находит совершенно естественным скопление его в немногих руках; он основывает это свое уверение на том, что «капитал образуется посредством сбережений, посредством усиленного труда и особенно выдающихся умственных способностей», а эти качества,—уверяет он,—даются немногим, а потому и неудивительно, что число капиталистов весьма ограничено сравнительно с числом людей трудящихся. Как-будто рабочие и сам Шульце-Делич не знают, действительно ли можно составить капитал посредством одного только усиленного труда или средством особенно выдающихся умственных способностей. Признавши капитал результатом сбережений, усиленного труда и выдающихся умственных способностей, Шульце-Делич, разумеется, желает, чтобы эти хорошие качества не остались без вознаграждения, и отсюда он приходит к доказательству необходимости и пользы, даже благодетельности процента. «Проценты — говорит он в одной из публичных бесед своих, — являются в том виде, в каком они существуют в обществе, спасением, благодеянием для человечества, равно как и капитал, возрастающий посредством процентов. Без процента нет кредита; для работника в одном только кредите заключается возможность к улучшению его состояния; следовательно, без процента нет возможности улучшить положение рабочего». Последняя фраза весьма интересна, потому что она показывает, до какого заключения может довести одного из лучших друзей германского рабечего желание его спасти рабочих от яда социализма. Шульце-Делич в своих беседах и сочинениях говорит очень много о свободе рабочего; но под этою свободою он разумеет что-то весьма странное. «Немецкие рабочие, — говорил он между прочим, — постоянно боролись за свободу, и я надеюсь, что они не

продадут этой теперь свободы. Свободный труд найдет пути и средства для того, чтоб помочь самому себе; кто отчаивается в своих собственных силах, тот дает себе свидетельство в бедности, а вы, господа, не захотите выставить самим себе такое свидетельство. Отвергайте все, что имеет вид помощи извне, не принимайте помощь государства. Все немецкие рабочие должны отвергнуть всякую милостыню и всякую опеку и гарантию со стороны государства. Вы опираетесь и должны опираться только на собственные свои силы и т. д.». Все эти фразы о полной свободе и о собственной ответственности рабочего класса очень хороши как красивые и громкие фразы, но если вникнуть в сущность дела, то непременно окажется, что под громкими фразами этими заключается ужасная сбивчивость понятий. Известный класс общества поставлен другими классами в такое невыгодное положение, что он никак не может собственными силами создать себе новое, более удовлетворительное общественное положение. Являются люди, которые указывают на средства, при помощи которых эти классы могли бы выйти из неудовлетворительного своего состояния и которые утверждают, что все общество, что государство, как представитель исполнительной власти всего общества, должны принять деятельное участие в извлечении непривилегированных классов из их невыгодного положения. А тут выискиваются добрые друзья этой меньшей братии и уверяют, что помогать рабочим классам выйти из жалкого положения их значит брать их под опеку, стеснять их свободу, мало того — значит унижать и оскорблять их.

Такова была теоретическая деятельность Шульце-Делича и его последователей, имевшая в виду пользу рабочего класса. Она была преимущественно направлена против Лассаля, который старался внушить рабочим совершенно иные экономические понятия, нежели экономист либеральной школы. О деятельности Лассаля мы поговорим в следующей статье нашей.

II

В первой статье нашей мы рассматривали учение тех немецких экономистов, которые требовали, чтобы улучшение быта рабочих сделано было одними только собственными силами рабочих, без малейшего вмешательства государства. Но рядом с этим учением существует в Германии другое учение, которое утверждает, что так как государство своими законодательными и административными мерами берет под свое особое покровительство одну часть граждан, то оно должно принять также деятельное участие в устройстве судьбы остальной, большей половины граждан, неимущих классов, рабочих. Одним из самых деятельных проповедников второго учения был Фердинанд Лассаль.

Политические и экономические враги Лассаля всячески старались уронить его в глазах немецкого общества, преимущественно

немецких рабочих, и доказать последним, что не Лассаля, а Шульце-Делича следует им считать истинным другом своим. С этою целью они старались выставить его проповедником устарелых социалистических и коммунистических идей и никак не хотели понять или делали вид, будто не понимают того, что между здраво-экономическим и строго логическим учением Лассаля и более или менее непрактическими учениями Сен-Симона, Фурье и др. была огромная разница. Они знали, что повредят ему в глазах германского общества, назвавши его социалистом и коммунистом, и этого было достаточно для них, чтобы погрешить против истины и справедливости. С другой стороны, противники Лассаля не переставали колоть глаза лассалевской партии тем, что она на практике еще ничего не сделала для улучшения быта германских рабочих, о благе которых она так заботится, и при этом ей указывались на блестящие результаты деятельности Шульце-Делича (результаты эти они, разумеется, сильно преувеличивали). Но они опять-таки забывали или не хотели помнить того, что Лассаль поневоле осужден был на одни только теоретические выводы или априористические суждения, так как он и его партия долгое время встречали препятствия к осуществлению своего учения как со стороны правительства (которое только недавно изменило свой взгляд на Лассаля), так со стороны всех последователей старых экономических школ, которые и до сих пор продолжают считать Лассаля анархистом, коммунистом и еще бог знает чем. Они не хотели понять того, что выступают на борьбу с Лассалем далеко не с одинаковым оружием, и от души радовались тому, что, находясь в более выгодных условиях, им можно было упрекать своих противников в непрактичности и в погоне за утопиями. Между тем Лассаль, как мы увидим ниже, не заслуживает и сотой доли делаемых ему упреков в непрактичности и фантазерстве; все его выводы очень просты, логичны и практичны, в чем теперь даже начинает убеждаться само прусское правительство.

Прежде всего нас поражает в Лассале та уверенность в суждениях о других экономических учениях, то чувство справедливости, которое он высказывает в этих суждениях и которое составляет резкий контраст с пристрастными и несправедливыми отзывами о Лассале экономистов-либералов. Когда Лассалю приходилось касаться, например, деятельности и учений Шульце-Делича, он всегда делал различие между Шульце-Деличем политиком и экономистом-теоретиком и Шульце-Деличем практическим деятелем. Нимало не сочувствуя политическим идеям прогрессистов, к которым принадлежит Шульце, нимало не сочувствуя также совершенно фальшивому, по его мнению, учению экономистов-либералов, Лассаль однако же отдает должную справедливость практической деятельности Шульце. Лассаль признает за ним ту заслугу, что он поднял рабочий вопрос в Германии, возбудил движение рабочих, развил в Германии ассоциационную систему; ни в

одной из своих речей он не называет Шульце фразером, обманщиком и т. д. Но, отдавая должную справедливость деятельности Шульце-Делича, Лассаль однако же оценивает ее по достоинству, т. е. называет все предпринимаемые им меры не более как паллиативами, на которых никак не следует останавливаться, как это делал Шульце. Сберегательные, инвалидные, ссудные кассы могут приносить относительную пользу; но было бы сильной ошибкой видеть в них удовлетворительное разрешение рабочего вопроса. Во-первых, некоторые виды этих ассоциаций (например, ссудные ассоциации или ассоциации для приобретения сырья) могут приносить выгоды почти исключительно только мелким ремесленникам. Но для большей части рабочих, занятых при крупной фабричной производительности и более всего нуждающихся в реформе общественного положения своего, эти виды ассоциаций совершенно бесполезны. Значит польза, приносимая этими видами ассоциации, весьма ограничена уже по объему своему. Но она еще более ограничена по самому внутреннему свойству своему. Ассоциации эти дают только возможность мелким ремесленникам конкурировать с грехом пополам с более зажиточными ремесленниками; о конкуренции с большим фабричным производством не может быть и речи. Таким образом вся польза, приносимая этими ассоциациями, в которых наивные экономисты видят полное разрешение вопроса о пролетариате, сводится, по словам Лассаля, к тому, что они несколько облегчают положение отдельных (и сравнительно весьма немногих) рабочих индивидуумов. Что же касается до тех ассоциаций, которые составляются для доставления рабочим по более дешевым ценам всех жизненных потребностей, то действие их может распространяться на большее число рабочих, т. е. и на фабричных рабочих. Но и этот вид ассоциаций, как бы он ни был распространен, сколько бы рочдельских обществ ни распространилось по всему земному шару, не может произвести серьезного улучшения в общественном положении рабочих. Лассаль чрезвычайно остроумно доказывает, что распространение подобных обществ должно принести пользу преимущественно крупному капиталу, а никак не рабочим. Вследствие знаменитого экономического закона о предложении и запросе, — говорит Лассаль, — заработная плата всегда доводится до минимума потребностей человека. Из суммы, вырученной за известное производство, сначала вычитается и распределяется между рабочими именно столько, сколько необходимо для продления их существования, — это и есть заработная плата; весь излишек вырученной суммы против заработной платы составляет барыш фабриканта. Выше этого minimum'а потребностей заработная плата не может подняться. Удешивите предметы потребления (при помощи различных Consumverein'ов), — сейчас же, при постоянном избытке предложения рабочих рук, понизится заработная плата, т. е. опять спустится до суммы, необходимой для удовлетворения, по уде-

шевленным ценам самых необходимых жизненных потребностей. Таким образом, этот вид ассоциаций только и может приносить некоторую пользу до тех пор, пока только незначительное число работников приступит к ним, — тогда положение этих немногих работников будет действительно лучше других, не составивших еще таких ассоциаций. Как скоро же ассоциации эти охватят весь рабочий класс, приносимая ими рабочим польза дойдет до нуля. Итак, ассоциационная система в том виде, как она существует теперь, приносит пользу, но пользу весьма ограниченную, так как она совершенно не в состоянии улучшить нормальное положение рабочего класса и поднять его выше теперешнего уровня; а о такой ограниченной пользе, полагает Лассаль, право, не стоит поднимать того шума, который поднимают Шульце-Делич и его партия о своей деятельности.

Подвергши такой строгой, но справедливой критике деятельность Шульце-Делича в рабочем вопросе, Лассаль ставит далее вопрос о том, есть ли или нет вообще в ассоциационной системе задатки для улучшения быта рабочих классов. По его мнению, ассоциация действительно может быть весьма хорошим средством для достижения этой цели, но только в том случае, если она будет применена к большему производству. Нужно сделать работника собственником тех мастерских и фабрик, в которых он работает. Тогда только уничтожается разность между заработною платою и действительною ценою известного произведенного предмета; тогда только устраняется нелепый закон о доведении заработной платы до минимума потребностей человека; в этом заключается единственный законный и простой путь к серьезному улучшению быта рабочего.

В этом взгляде на будущность рабочего вопроса Лассаль отчасти сходится с Шульце-Деличем. Но они расходятся в мнениях касательно средств достижения этой одной, общей цели. Когда речь зайдет об этих средствах, Шульце-Делич принимается толковать о собственных средствах рабочего, о самодеятельности, собственной помощи (Selbsthilfe) и т. д. Он уверяет их, что они со своими копеечными взносами могут конкурировать с огромными, уже готовыми капиталами и пр. Одним словом, он сознательно или бессознательно обманывает рабочих. Лассаль поступает совершенно иначе. Он прямо говорит, что рабочие одними своими силами ничего не в состоянии сделать; что для серьезного преобразования общественного положения рабочих им нужна та же самая помощь извне, которою постоянно пользовался и пользуется капитал, т. е. помощь законодательства, государства.

Этими уверениями Лассаль задевает слабую струнку всех цеховых экономистов. Вмешательство государства в экономическую жизнь народов, распространение по всей стране промышленных казарм, стеснение индивидуальной свободы — вот те ужасы, о которых не могут вспомнить равнодушно эти либеральные эконо-

мисты. Лассаль опять-таки чрезвычайно искусно разбивает на всех пунктах этих ярых ревнителей экономической свободы.

Во-первых, он доказывает им, что все их уверения несправедливы даже в том случае, если разуметь под государством то, что они разумеют. Участие даже такого государства в решении рабочего вопроса нисколько не может быть вредным, нисколько не равносильно уничтожению индивидуальной свободы, нисколько не влечет за собою распространения по всей стране каких-то коммунистических казарм. Если государство доставит рабочим необходимый для какого-нибудь производства капитал или кредит, при помощи которых они могли бы конкурировать с сложившимися уже капиталами и которые им иначе негде достать, то их этим не лишают свободы, точно так же как не лишают свободы того, кому подают лестницу для того, чтобы он мог влезть на башню, или кому подают книгу для того, чтобы он мог выучиться читать. Во-вторых, он напоминает этим ревнителям свободы, что они вовсе не восстают против вмешательства государства там, где вмешательство это производится в пользу капитала и имеет целью защиту интересов капиталистов. Тут эти ревнители молчат о стеснении свободы и принимают это вмешательство как нечто должное и вполне законное. Капиталисты не только терпят, но и требуют вмешательства государства там, где дело идет о защите капитала. Строгие законы против всякого нарушения собственности, привилегии, гарантии (напр, гарантии известного процента на капитал при постройке железных дорог), — все это, по их мнению, необходимо; этого вмешательства требуют все капиталисты. А как скоро речь зайдет о вмешательстве государства в пользу тех, которые не обладают ни капиталом, ни кредитом, то известные экономисты, а за ними и владетельные классы кричат о социализме и коммунизме. Таким образом Лассаль в этих двух пунктах доказал, что негодование экономистов против вмешательства государства в экономическую жизнь народа есть не что иное, как лицемерие, и что это вмешательство не имеет ничего ужасного даже тогда, когда разуметь под словом государство то, что обыкновенно разумеют под этим именем экономисты, т. е. центральную, административную, исполнительную власть в стране. Но в третьем пункте своих возражений Лассаль доказал им, что они придают совершенно ошибочное понятие слову государство. Лассаль полагал, что великая ассоциация низших классов, и, следовательно, и рабочих, должна тоже явиться составною частью в государстве; государство, по его мнению, должно представлять собою великую ассоциацию всех классов общества, следовательно, и рабочих классов. А в таком случае помощь, оказываемая этою обширною ассоциацией меньшим ассоциациям, и явилась бы пресловутою собственной помощью (Selbsthilfe), о которой так хлопочет Шульце-Делич.

Что касается до того, каким образом государство должно при-

нять участие в устройстве судьбы рабочих классов, то Лассаль советовал рабочим сконцентрировать сначала все усилия свои на этом пункте, агитировать в пользу этого дела всеми законными средствами, пропагандировать эту идею устно и печатно. — Затем, — говорил Лассаль, — определится, насколько и как должно выразиться участие государства в улучшении быта рабочих, каким образом и из каких средств государство должно учредить кредитные и оборотные банки для рабочих, какие оно должно давать им гарантии и т. д.

Наконец, заметим еще, что все свои выводы о будущности рабочих классов он основывает на исторических законах. — Сначала, — говорит он, — право на участие в общественных делах давала только поземельная собственность — период феодальный, господство дворянства и духовенства. Потом, с 1789 года, к этому фактору присоединился другой фактор — капитал; это период буржуазный; рядом с дворянством и духовенством в решениях судеб народов начинает принимать участие буржуазия. Но в наше столетие стало заявлять свои права четвертое сословие — сословие трудящихся, рабочих; рядом с поземельной собственностью и капиталом выступает новый фактор — труд, который, по мнению Лассаля, рано или поздно должен занять в государстве принадлежащее ему по праву место.

Вот в немногих словах вся сущность учение Лассаля, как оно высказано было им в его брошюрах и речах. Предоставляем нашим читателям судить о том, насколько это учение походит на коммунистов и социалистов, в чем однако же постоянно упрекают Лассаля; предоставляем им также судить о том, чье учение логичнее и вернее — учение ли Шульце-Делича или учение Лассаля. Каждое из них достаточно красноречиво говорит само за себя. Теперь же скажем еще несколько слов о деятельности Лассаля.

Мы упоминали уже в первой статье нашей, что противники Лассаля постоянно укоряли его в том, что он остается в области теории и не доказал на практике верности своих теоретических выводов и жизненности своего учения. Но достаточно бросить самый поверхностный взгляд на сущность учения Лассаля, чтобы убедиться в несправедливости этих упреков.

Там, где дело идет о паллиативах, как у Шульце, там еще не трудно даже одному человеку соединять теорию с практикой. Но, спрашивается, каких же практических действий ожидать от одного человека там, где дело идет о применении к жизни таких широких теорий, как у Лассаля? Разве он мог сам или с помощью своих друзей дать всем германским рабочим право принять участие в решении своей судьбы? Разве он или друзья его могли переделать бюджет согласно с требованиями их теории? Очевидно, нет. Очевидно, при таком положении Лассалю оставалось открыть только одно поле деятельности — поле пропаганды свое-

го учения, поле законной агитации в пользу своих идей. Но зато на этой единственной доступной для него арене Лассаль был неутомим, и он мог сказать с гордостью, что здесь усилия его не пропадали даром.

Начиная с конца 50-х годов, Лассаль не переставал пропагандировать свое учение во множестве брошюр, речей, публичных лекций, которые он издавал, произносил, читал в различных местах Германии. Сначала его усилия не имели особого успеха. Шульце-Делич и другие его противники уже чересчур усердно исклеветали на него и чернили его; они, кроме того, слишком искусно пользовались своим более выгодным положением, которое они занимали относительно Лассаля. Поэтому во многих местах Германии, где рабочие имели у себя перед глазами результаты деятельности Шульце-Делича, они высказывались против Лассаля. Но это расположение рабочих начало мало-по-малу уступать другим идеям. Еще несколько лет тому назад в Лейпциге образован был особый комитет, который должен был руководить движением рабочих в Германии. Комитет этот открыто высказался в пользу учения Лассаля, и вся его деятельность постоянно направлена была к тому, чтобы распространить это учение, популяризировать его и способствовать по возможности его осуществлению, — одним словом, чтобы производить ту приготовительную работу к разрешению рабочего вопроса, на которую указывал немецким рабочим Лассаль. Президентом этого комитета в начале 1863 года выбран был сам Лассаль, и с этих пор пропаганда лассалевских идей еще более усилилась в Германии. После лейпцигских рабочих в пользу лассалевской теории высказались рабочие многих других значительных местностей — Кельна, Гамбурга, Дюссельдорфа, Касселя и др. С конца 1863 года лассалевские идеи стали распространяться с особою силою между прусским рабочим населением; к ужасу школы Шульце-Делича они проникли даже в центр деятельности этого последнего — в Берлин. Около этого же времени и прусское правительство, смотревшее до сих пор довольно враждебно на деятельность Лассаля, подвергавшее его судебным преследованиям, запрещавшее собираемые им митинги и т. д., стало приходить к тому убеждению, что Лассаль вовсе не анархист и коммунист, а просто честный друг рабочих, искренно желающий улучшения их социального положения; в этом смысле стали отзываться о нем правительственные органы ([1]). В вопросе о законодательстве относительно рабочих Пруссии (о котором мы, впрочем, будем еще говорить подробнее в нашей газете) мы видим правительство и Лассаля, действующих заодно против экономистов-либералов и прогрессистов-фабрикантов. Весною 1864 года Лассаль вызвал протест силезских рабочих против постоянного понижения заработной платы некоторыми силезскими фабрикантами (в том числе депутатом прогрессистом Рейхенхейм). Впоследствии он произнес (22 мая

1864 года) речь об обязанностях государства, всячески покровительствующего капиталу, принять также под свою защиту рабочего, находящегося в полной зависимости от капитала.

Речь эта была напечатана и разослана различным комитетам рабочих в Германии. Это, сколько известно, было последним действием Лассаля в деле разрешения рабочего вопроса; 31 августа 1864 года его уже не было в живых.

КОММЕНТАРИИ

СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА. СТИХОТВОРЕНИЯ К. ПАВЛОВОЙ. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 6, «Библиографический листок», стр. 13—31, без подписи.

Рецензии Зайцева на сочинения Лермонтова, К. Павловой и Фета являются исключительно характерными образцами «антиэстетической» критики стихотворных произведений. Уступая позднейшим статьям Писарева о Пушкине в талантливости и остроумии, рецензии Зайцева не уступают им в прямолинейности и безбоязненной последовательности. Взгляды и критические методы Зайцева и Писарева чрезвычайно близки; однако в понимании типа Печорина Писарев разошелся с Зайцевым.

В статье «Реалисты» (1864) он так возражает Зайцеву: «Скука настоящих Печориных вовсе не была маской; она их действительно тяготила, и если бы какой-нибудь благодетельный гений предложил им снять с них эту проклятую обузу, то они с большим удовольствием дали бы клятвенное обязательство никогда не надевать на себя личину этой скуки «для пущего трагизма», как выражается Зайцев. Печорины были во всех отношениях умнее Берсеневых (персонаж романа Тургенева «Накануне». — *Б. Б.*), и поэтому-то именно им и не оставалось никакого выхода из скуки и из мира любовных похождений».

По словам биографа Зайцева, рецензия на новое издание сочинений Лермонтова произвела сильное впечатление на читающую публику. («Варф. Ал. Зайцев». Лондон 1900. «Библиотека биографий выдающихся русских революционеров». Вып. I, стр. 14).

Рецензия Зайцева на сочинения Лермонтова вызвала полемику, характерную для литературных нравов того времени.

Аполлон Григорьев в статье «Взбаламученное море», помещенной в редактированном им журнале «Якорь» (1863, № 25, стр. 483—484), писал о Писемском:

«Мелкая мещанская нравственность повела его к озлобленному подергиванию и положительно нигилистическому забвению заслуг протеста, будившего так энергично сонную тину нашего общественного болота. И вы посмотрите, как «нигилизм» — направление, повидимому, столь враждебное автору, — заявляет бессознательную солидарность своих «конечных целей» с узкими началами его мещанского воззрения. В «Русском Слове» недавно появилась статья о Лермонтове, под основами которой, если б она не была так непроходимо глупо написана, смело мог бы подписаться г. Писемский. Лермонтов — а в лице его и бывалый протест наш — разбит (конечно, только по мнению автора) в пух и прах статьею. Есть, как хотите, есть солидарность у двух, повидимому, враждебных направлений, у нигилизма и у реакции мещанства, и мы крепко верим, что недалеко то время, когда солидарность эта совершенно разъяснится и наша мысль перестанет казаться парадоксальною.

Мы не можем, пользуясь удобным случаем, не свести на очную ставку этих направлений.

Не цитируя всей ерундищи, которую про Люцифера Байрона и про «Демона» Лермонтова порет «неведомый миру» критик «Русского Слова»,

мы выписываем только конец этой «невероятной» вещи, с ее переходом к Печорину».

(Следует выписка из рецензии Зайцева от слов «Таким образом зло в мире кончилось бы pour les beaux yeux Тамары» до слов «... чем именно русская душа отличается от кабардинской и турецкой». По наст. изд. стр. 61—63).

«Да ведь помилуйте, и Перепетуя Петровна * и сам г. Писемский должны возрадоваться такой «продержке» ненавистных им требований личности человеческой, ее беспокойного протеста, без которого так удобно гниется в болоте».

Зайцев в конце «Библиографического листка» № 8 «Русского Слова» за 1869 г. (стр. 69—70) поместил следующее «объяснение»:

«Г. Ап. Григорьев, как человек почтенный, не любит церемониться. Он прямо объявил мне, что я «непроходимо глуп». Коротко, но ясно. Но это ничего, а любопытно то, что он выводит из моего разбора Лермонтова, что я нигилист и, как все нигилисты, восстаю против всего, что боролось со злом и что страдало от него.

Скажите, г. Ап. Григорьев, кто же это боролся со злом и страдал от него, если нигилисты нападают на этих лиц? Славянофилы, широкие натуры и трактирные герои или московские англоманы? Вы или ваш антагонист г. Аскоченский? Объясните, объясните, пожалуйста, поскорее, кто же боролся со злом? Не Стелловский ли? Или, может быть, незнающий немецкого языка г. Игдев? А нигилисты нападали на этих бойцов, были заодно со злом. Так. А в прошлом году вы, кажется, другое говорили. Ну, да вам это нипочем. Вы вот меня называете неизвестным критиком. Извините, если я вам скажу, что вы говорите неправду: в а м я известен, потому что в редактируемой вами обертке нот г. Стелловского есть даже какое-то подобие стихов с акростихом, в котором изъяснена подписчикам на ноты моя фамилия. Следовательно, для вас я не безызвестен. Для публики же я лучше желаю быть неизвестным, чем пользоваться известностью литературной приживалки, как вы. Я не подписываюсь на ноты Стелловского, потому что ни на каком инструменте не играю, поэтому мне все равно, что пишут на их обертке вы и ваши сотрудники.

Поэтому я не обращаю внимания на никому непонятные намеки на меня, которыми вы угощаете ваших подписчиков. Но напрасно вы покусились выставить вашу братию бойцами против зла, а нигилистов союзниками его.

Видите, как я вас за это отделал. А вашим сотрудникам скажите, что если они будут сообщать имена людей, не подписывающихся под своими статьями, то я с ними вот как поступлю: объявлю их имена, слышите ли, так-таки и назову по фамилии. А знаете ли, скажу, кто писал такие-то стихи? Такой-то! А знаете ли, кто придумал такую-то пошлость? Такой-то! Что? Хорошо будет? Меня называйте сколько угодно; если вы читали последнюю книжку «Русского Слова», то могли видеть, что я не скрываю своего имени. Ну, а под вашими-то творениями фамилию выставить зазорно будет. Вы вопросительным знаком подписываетесь. Погодите, напишите-ка еще акростих, я вам отвечу на этот вопросительный знак».

Для понимания этого «объяснения» необходимо знать следующее:

Редактируемый Ап. Григорьевым журнал «Якорь» издавался книго- и нотоиздателем Ф. Стелловским. К каждому номеру «Якоря» прилагались тетрадь нот и номер «сатирического листка» «Оса». В № 18 этой «Осы» (от 31 августа 1863 г., т. е. через неделю после выхода цитированной выше статьи Григорьева) появился за подписью ?—ъ следующий акростих:

«В о т в е т некоему читателю, спрашивавшему меня об имени того критикана, который в журнале «Барская Затея» в пух и прах разбил малоиз-

* Перепетуя Петровна — персонаж из повести Писемского «Тюфяк» (1850), тип провинциальной сплетницы.

вестного и совершенно ничтожного поэтика русского, М. Ю. Лермонтовым зовомого.

Зачем об имени хлопочешь?
Ай, ай, как любопытен ты!!..
Цени без имени, коль хочешь,
Его творений красоты:
Верь, что и так ты похохочешь...»

Первая страница этого же номера «Осы» занята карикатурой на сотрудников «Русского Слова», изображающей Благосветлова, сидящего на журнале «Барская Затея» в виде обезьяны, Минаева в виде свиньи и Соколова в виде осла. Внизу три бегущих зайца, впереди них четвертый. Под рисунком подпись: «Сотрудники зверского журнала и передовой зайцев».

Но еще до того, после появления в 4-й книге «Русского Слова» 1863 г. первой, также неподписанной, статьи Зайцева «Перлы и адаманты нашей журналистики», в 5-м номере «Осы» (вообще специализировавшейся на травле «нигилистов») появились за подписью ?— стихи, якобы петые «одним из сотрудников «Русского Слова», со следующими строками:

«Вот я зайца во лесу, дескать, поймал!»
А на всех вдруг днем накинулся один...
. . . .
Днем-то крикнет вдруг какой-нибудь нахал:
«Вот я зайца во лесу, дескать, поймал!»
. . . .
А редактор (вот-то сущая беда!)
Благо светло, вдруг откажет мне тогда,
Как заметит, что я зайцем родился... и т. д.

Таким образом авторство анонимных статей Зайцева систематически разоблачалось «Осой» в прозрачных намеках. Поведение Зайцева не более корректно. Ап. Григорьев не подписывался под статьей о «Взбаламученном море» и редактировал «Якорь» и «Осу» негласно, — Зайцев же разоблачает его авторство и редакторство и, кроме того, приписывает ему подписанные вопросительным знаком стихи. Между тем этим знаком в «Осе» подписывался, согласно указанию И. Ф. Масанова («Русские сатиро-юмористические журналы». Вып. третий. III. «Оса». — «Труды Владимирской ученой архивной комиссии». Кн. XV. Владимир 1913), не Григорьев, а И. Г. Долгомостьев. В № 22 «Осы» он ответил Зайцеву (в статье «Нечто о вине, водке и опьянении») намеком на это («вы сильно ошибетесь, брякнувши вместо моей другую фамилию») и новым акростихом «Варфоломей». После этого «Оса» еще неоднократно задевала Зайцева, но он больше не отвечал.

«Барской затеей» «Русское Слово» названо потому, что оно было основано богатым меценатом, графом Г. А. Кушелевым-Безбородко, который через несколько лет подарил журнал его редактору Г. Е. Благосветлову. Эта тема постоянно фигурирует в полемике с «Русским Словом».

В «объяснении» Зайцева «славянофилы, широкие натуры и трактирные герои» — намек на самого А. Григорьева, «московские англоманы» — на Каткова. Игдев — псевдоним того же И. Г. Долгомостьева в журнале «Время». В плохом знании немецкого языка Зайцев обвиняет его в статье «Перлы и адаманты нашей журналистики» («Р. С.», 1863 г., № 4).

Каролина Павлова — поэтесса, весьма заметная в 40-е годы, впоследствии была совершенно забыта. Вновь «открыли» Павлову символисты, высоко оценившие ее поэзию. В 1915 г. вышло собрание ее сочинений под редакцией Брюсова, предисловие которого начинается словами: «Каролина Павлова принадлежит к числу наших замечательнейших поэтов». В 60-е годы не только такие гонители «чистого искусства», как Зайцев, изде-

вались над Павловой, но и Салтыков называл ее представительницей «мотыльково-чижиковой поэзии» и даже в секретно изданном, призванном служить как бы руководством по современной литературе для цензоров, «Собрании материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие» (Спб. 1865) сказано, что стихи Павловой «при скудности внутреннего содержания отличаются красотами внешних форм».

(1) В тексте «Русского Слова» «слова Лермонтова не померкли». Предполагаем опечатку.

(2) «Петергофский праздник», «Уланша», «Монго» — порнографические поэмы Лермонтова (1833—36 гг.).

(3) «Гигиена и физиология брака» А. Дебэ. Пер. с франц. М. 1861 и 1862. Спб. 1863. В рецензии «Русского Слова» (1863 г., № 2) сказано, что книге этой «было бы всего приличнее явиться под таким, напр., заглавием: «Любострастные рассказы и эротические рассуждения, собранные для возбуждения игривых мыслей и пожеланий в старичках и юношах».

(4) См. примечание 42 к статье «Белинский и Добролюбов», стр. 488 настоящего издания.

(5) «Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые: он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»... как вдруг —

Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре...»

(В. Г. Белинский «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Изд. 2-е. 1841 г.». Цит. по «Собранию сочинений» Белинского под ред. Иванова-Разумника. Спб. 1913. Т. I, стр. 886).

(6) «Сцена из Фауста» Пушкина (1825) не является ни переводом, ни подражанием какой-либо сцене гетевского «Фауста».

(7) Имеется в виду рассказ М. Е. Салтыкова-Щедрина «Деревенская тишь» («Невинные рассказы», 1863), герой которого Кондратий Трифоныч Сидоров (ошибочно названный Зайцевым Сидором Карповичем) представляет собой тип томимого скукой бездельника-помещика.

(8) Ничкина — персонаж комедии Островского «Праздничный сон — до обеда» (1857). Тип ленивой купчихи.

(9) Ср. близкий взгляд на «Сцену из Фауста» Пушкина в позднейшей статье Писарева «Пушкин и Белинский» (1865).

(10) У Лермонтова «Я царь познанья и свободы». В издании Дудышкина опечатки нет.

(11) Последний стих приписан Зайцевым.

(12) Из стихотворения «Дума» («Сходилась я и расходилась...»).

(13) Поллион — герой стихотворения «Ужин Поллиона». Иксион упоминается в стихотворении «Дума» («Сходилась я и расходилась...»), Аарон — в стихотворении «Разговор в Трианоне». Таким образом, производящее впечатление нелепости сопоставление этих имен сделано самим Зайцевым.

(14) Название утеса в Тихом океане.

(15) «Сцена» (Графиня. Вадим.)

(16) Стихотворение «Графине Р.» (Ростопчиной). Поэтесса Е. П. Ростопчина, разумеется, ничего общего с графиней, героиней «Сцены», не имеет.

(17) У Павловой «как бы нерукотворный» (стихотворение «Москва»).

(18) Из стихотворения «Москва».

(19) Павловой в это время было 52 года. Она печаталась с 30-х годов.

Б. Б.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ЮСТИЦИЯ. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 7, стр. 98 — 127 за подписью: В. Зайцев. В текст статьи введена поправка, указанная в следующем номере «Русского Слова» (№ 8, стр. 70).

Статья Зайцева явилась едва ли не первой открытой пропагандой на русской почве идей Кетле. Весьма популярные на Западе, эти идеи были очень мало и плохо известны в России. К 1863 г. не было еще ни одной статьи, излагавшей его взгляды, не была еще переведена ни одна из его работ; первые переводы относятся к половине 60-х гг. и вышли едва ли не под влиянием пропаганды в статье Зайцева («Человек и развитие его способностей». Спб. 1865, «Социальная система». Спб. 1866). Источниками статьи Зайцева является, таким образом, оригинальный текст Кетле, главным образом его работы: ‹Phisique sociale» (1835) и «Recherches sur le penchant au crime aux differents âges» (1831).

Основные положения статьи Зайцева не отличаются оригинальностью и все целиком восходят к работам Кетле; Зайцев сам формулирует их словами, близкими к тексту Кетле: «преступления не зависят от человеческой воли, — следовательно, зависят от условий организма»... Мотив преступления стоит вне воли отдельного индивида, — «мотив этот — те роковые цифры, которые так весело смеются над человеческой уверенностью в своей свободе»... «А если так, то очевидно, что наказывать бесполезно и бессмысленно, ведь человек не может совершить поступка, не вытекающего из необходимых условий его организма... наказание за так называемые нравственные вины ничем не отличается от того, как если б вздумали наказывать каждого, потеющего более положенной меры».

Оригинальной сравнительно с идеями Кетле является попытка привлечь к обоснованию своих выводов материал близкого Зайцеву вульгарного материализма Бюхнера — Молешотта — Фогта. «Физиологизм», которым проникнута статья Зайцева, не был свойственен Кетле. В 1865 году идеи Кетле снова встретили горячую оценку со стороны Зайцева в рецензии на русский перевод книги «Человек и развитие его способностей...». См. «Библиографический листок» «Русск. Слова», 1865 г., № 3.

(¹) Зайцев имеет в виду книгу: Hubert Lauvergne. «De l'agonie et de la mort dans toutes les classes de la societé sous le rapport humanitaire, physiologiques et religieux». Paris. 1842.

(²) Статья А. К. Забелина, на которого ссылается Зайцев, напечатана в «Русском Вестнике», 1863, № 3, «По вопросу об улучшении тюрем». А. К. Забелин — сторонник системы одиночного заключения и реформы тюрем на основе «трудовых принципов».

С. Р.

Д. СОРИА. ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИТАЛИИ. Ч. II. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 7, «Библиографический листок», стр. 32—42, без подписи.

Рецензия Зайцева представляет интерес для выяснения его антинароднических взглядов.

«Народ груб, туп и вследствие этого пассивен... Он всегда скорее готов, как неаполитанские лаццарони, итти рядом с наемными швейцарами грабить и убивать мирных жителей и противодействовать свободе страны. Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него»... — так с предельной четкостью и резкостью формулирует Зайцев свои взгляды на неудачу итальянской революции 1848 г., которая ничему не научила демократов, идеализировавших народ.

Одинаково характерное и для Писарева, и для Зайцева неверие в разумные поступки народных масс, переоценка роли «умственного пролетариата», учение об инициативе и воле мыслящего меньшинства — характерные черты русского якобинства 60-х годов — с особенной ясностью и прямоли-

нейностью сформулированы Зайцевым в рецензии на книгу Сориа. Б. П. Козьмин полагает, что именно эти мысли и вызвали в свое время резкую отповедь Салтыкова на страницах «Современника» (1864, №№ 1 и 3) и были одной из причин конфликта в лагере радикальных разночинцев. (Подробное см. в статье Б. П. Козьмина «Раскол в нигилистах». «Литература и Марксизм», 1928, № 2; перепечатано в книге «От 19 февраля до 1 марта», М. 1933 г. Ср. во вст. статье Г. О. Берлинера к настоящему тому и в комментариях к статье «Глуповцы, попавшие в «Современник»).

Второй выпуск той же книги Сориа также вызвал подробную рецензию Зайцева («Р. Сл.», 1864, № 2, «Библ. листок», стр. 1 — 21), которую не перепечатываем, как менее характерную для принципиальных позиций Зайцева. Ср. еще положительную оценку книги Сориа в других современных журналах, напр., в «Библ. для Чтения», 1863, № 9.

(¹) В первой части «Библиографического листка» Зайцев разбирал книгу Шмидта «История французской литературы» (Спб. 1863, т. I, в. 1 и 2) и дал о ней резко отрицательный отзыв.

(²) Игра слов, основанная на созвучии итальянских слов «ура» и «пить» („viva“ и beva“).

С. Р.

МОЛЕШОТТ. УЧЕНИЕ О ПИЩЕ. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 8. «Библиограф. листок», стр. 49—57.

Имя Молешотта вместе с именами Фогта и Бюхнера для радикалов 60-х гг. было своего рода знаменем, под которым протекала значительная часть их деятельности.

В письме к К. Фогту (9/V 1866) Герцен писал: «Ваше имя упоминается в доносах Каткова. Он утверждает, что молодое поколение развращается вашими сочинениями и книгами Молешотта, которые переводились специально для этого» (Соч., т. XVIII, стр. 390).

Как ученому, Молешотту принадлежат крупные заслуги в области экспериментальной физиологии и физиологической химии, но положительное значение его в России обусловлено тем, что он вместе с Фогтом и Бюхнером — представители так называемого «вульгарного материализма», рассматривающего мышление, как особое выделение мозгового вещества. «От вульгарных материалистов, — писал Ленин, — Энгельс отгораживался между прочим именно потому, что они сбивались на тот взгляд, что мозг *выделяет* мысль так же, как печень выделяет желчь» (Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм». Соч., т. XIII, стр. 38. Курсив Ленина. — *С. Р.*) Впрочем, в отдельных случаях Молешотт, несомненно, находился под влиянием идей Фейербаха.

Книги Молешотта были в 60-х гг. необычайно распространены в России и много содействовали пропаганде идей вульгарного материализма. В короткий промежуток времени на русский язык были переведены почти все его работы, имеющие общепринципиальное значение: «Физиологические эскизы», 1863 и 1865 (ср. рец. Зайцева на эту книгу в «Р. Сл.», 1863, № 11—12, и статью Д. Писарева в «Русском Слове» за 1861 г., № 7; в статье между прочим ряд цитат из «Учения о пище»), «Физиологическая лекция» (1865), «Естествознание и медицина» (1865), «Круговорот жизни» (1866 и под другими заглавиями 1867 и 1868). Кроме того, в сборниках «Философия и наука» (1865) и «О выводе положительного метода» под ред. Н. Неклюдова помещены некоторые статьи Молешотта. Характерно, что статья в сборнике «Философия и наука» напечатана анонимно.

После покушения Каракозова сочинения Молешотта были повсеместно изъяты. «Фогт, Дарвин, Молешотт, Бокль — соучастники каракозовского дела. Их сочинения велено отобрать у книгопродавцев. Вот до какой тупости довели нас духовные министры и бездушные крикуны казенных журналов», — писал Герцен в «Колоколе» (л. 227. Ср. соч. т. XIX, стр. 56).

«Учение о пище» в течение 5 лет было издано три раза (в 1863, 1865

и 1868 гг.). Уже это одно свидетельствует о популярности книги. Не менее характерны имена издателей: Серно-Соловьевич, Черкесов.

Цензурные условия с трудом допускали открытую пропаганду взглядов Молешотта, ограничивая ее узким кругом товарищеского кружка. В печати приходилось быть максимально сдержанным и то и дело прибегать к иносказаниям, к излишне длинным цитатам или самым осторожным выражениям, маскирующим, по существу, очень резкие в социальном отношении выпады. Характерно однако, что резкость социальных протестов Зайцева снижается тем, что корни общественных недостатков выводятся из физиологии и ею же, стало быть, могут быть устранены (ср., напр., о жизни, сложившейся не по правилам физиологии, о пище бедняков и тунеядцев, об устройстве общественного быта и т. д.).

(¹) Историю полемики Зайцева с Игдевым (И. Г. Долгомостьевым) см. в комментариях к статье «Перлы и адаманты».

(²) Поваренные книги Е. А. Авдеевой были широко распространены в 60-х гг., выдерживая массу изданий. Кроме того, на книжном рынке обращалась масса фальсификаций: «книг Екатерины А—вой», книг. «написанных по методе Авдеевой» и т. д.

С. Р.

СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. ФЕТА. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 8, «Библиографический листок», стр. 62—67.

Фет в 60-е годы — наиболее яркий представитель «чистой поэзии». В связи с реакционностью его идеологии это сделало его стихи обычной мишенью издевательств со стороны не только «антиэстетической», но и вообще радикальной журналистики 60-х годов. Для уяснения критического метода Зайцева мы приводим далее несколько строф Фета, темы которых изложены в рецензии.

(¹) Рецензия на стихотворения Фета напечатана вслед за рецензией на книгу Молешотта «Учение о пище».

(²) В «Русском Вестнике» 1862—64 гг. Фет напечатал серию очерков «Из деревни», в которых выказал себя весьма практичным и прижимистым помещиком. Сопоставление этих очерков Фета с его стихами давало благодарную возможность для развенчивания «эстетики». Очерки вызвали большое количество сатирических и пародийных откликов. Особенно благодарным материалом оказались главы III и IV («Русский Вестник», 1863 г., т. 43). В главе III Фет описывает, как, уволив за прогулы работника Семена, он потом лишь с большим трудом получил назад неотработанную Семеном часть уже выданного задатка. Он возмущается, что мировой посредник не продал имущества этого работника, чтобы вернуть ему, Фету, деньги. В главе IV описывается, как автор оштрафовал крестьян на 60 куриных яиц за то, что шестеро гусей с гусенятами зашли в его пшеницу.

(³) Имеются в виду стихотворения: «Смерти», «Одинокий дуб», «Италия», «Старые письма».

(⁴) Зайцев намеками вскрывает политический смысл стихотворения Фета — боязнь революции.

(⁵) Италия, ты сердцу солгала;
Как долго я в душе тебя лелеял,
Но не такой мечта тебя нашла,
И не родным мне воздух твой повеял.

В твоих степях любимый образ мой
Не мог, опять воскреснувши, не вырость;
Сын севера — люблю я шум лесной
И зелени растительную сырость.

(«Италия»).

(⁶) Чего хочу? Иль, может статься,
Бывалой жизнию дыша,

В чужой восторг переселяться
Заране учится душа.
(«Бал»).

(7) Как-будто, чуя жизнь двойную
И ей овеяны вдвойне, —
И землю чувствуют родную
И в небо просятся оне.
(«Заря прощается с землею...»).

(8) Стихотворение «Ответ Тургеневу».
(9) Стихотворение «Тургеневу».

(10) Мы через дебри и овраги
На змее огненном летим.
(«На железной дороге»).

(11) Стихотворение «Кричат перепела, трещат коростели».
(12) Стихотворение «Тень» (с китайского)».
(13) У Фета «Вакх — бог фиала, постоянный спутник Венеры» — примечание к словам: «Фиал, Венеры друг, налит вином» в оде «К Фавну» (II, 128). *Б. Б.*

ГЕЙНЕ И БЕРНЕ. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 9, «Литературное обозрение», стр. 1—34.

Пафос статьи о Гейне и Берне заключался для Зайцева не столько в анализе их взаимоотношений, сколько в том, чтобы, не жалея красок, охарактеризовать с напрашивающимися все время параллелями бесправную и угнетенную Германию первой половины XIX века. Точно так же и рассуждение о филистерстве намеренно заострено и проецировано на современные Зайцеву условия общественной жизни России.

Верный своим принципам, Зайцев и в этой статье характеризует Гейне как политического деятеля и только мельком отмечает, что в качестве средства социальной борьбы Гейне нередко пользовался широко понятным языком образов. Этим он по существу и ценен для Зайцева. Вообще же о «великом поэтическом таланте Гейне» Зайцев говорит лишь мельком. Несмотря на все стремление его быть объективным, нельзя не заметить, что симпатии Зайцева склоняются в сторону непримиримого, не знающего уступок и компромиссов Берне. По существу на сторону Берне склоняется и Д. И. Писарев в своей статье о Гейне в 1862 г. Для него Берне ценнее как политический деятель, как народный оратор, фанатизировавший тысячи немецких ремесленников, которые оставались для Гейне зеленым виноградом.

Перевод книги Гейне о Берне, напечатанный в №№ 1—2 «Современника» за 1864 г., был снабжен предисловием редакции, в котором также отразилось недоброжелательное отношение к Гейне.

Личной вражде и полемике Гейне и Берне, в которой — это можно теперь утверждать — оба противника вели себя равно недостойно*, Зайцев посвящает лишь последнюю часть своей статьи. Он объясняет эту вражду различием натур Гейне и Берне: страстный, ограниченный в своем фанатизме, т о л ь к о п о л и т и к, Берне не мог не столкнуться с легкомысленным и часто беспринципным п р е ж д е в с е г о х у д о ж н и к о м Гейне. Интерпретируя их вражду, как по преимуществу столкновение двух не-

* Под впечатлением мелких выпадов Гейне, Энгельс раздраженно писал в 1842 г., что «книга Гейне — самое гнусное, что когда-либо было написано по-немецки» (Ф. Энгельс, Сочинения, т. II, М. 1929, стр. 254 и др. по указ.). Эта книга была причиною некоторого временного охлаждения в отношении к Гейне Маркса.

сходных натур, Зайцев не понимает, что на самом деле Берне не был до конца единомышленником Гейне. Приобщившийся к идеям научного социализма, Гейне стал несравненно выше мелкобуржуазного радикального резонерства Берне. Эти черты Берне Гейне и относил к понятию того самого филистерства, с выяснения которого Зайцев начинает свою статью. Из всей полемики, конечно, именно это, а «не мелкие выпады Гейне против Берне будут жить в веках» (Н. Бухарин. «Гейне и коммунизм». «Большевик», 1931, № 9, стр. 60).

Неудивительно, что при таком подходе основной смысл борьбы Берне и Гейне остался невскрытым. (Ср. Ф. Меринг. «Мировая литература и пролетариат». М. 1924, стр. 170 сл., Г. Брандес. «Л. Берне и Г. Гейне». Спб. 1899, G. Ras. «Börne und Heine als politische Schriftsteller», Haag 1927).

В дополнение к статье Зайцева в № 11—12 «Русского Слова» были помещены в переводе П. И. Вейнберга «Отрывки из дневника Берне» (стр. 79—124), чтобы как сообщает редакция, «дополнить... характеристику (Зайцева. — *С. Р*) и еще ближе познакомить наших читателей с личностью Берне и с той эпохой, в которую он действовал... Если позволят обстоятельства, мы намерены дать несколько подобных статей, которые лучше всякой истории могут осветить то мрачное, глухое и жалкое время, в которое пришлось жить Берне и своим огненным словом защищать среди насилия и крови человеческие права» (стр. 79, «От редакции»). Очевидно, «обстоятельства» не позволили, и дальнейших статей на эту тему не последовало.

(¹) Борьба за флаг дошла до наших дней. Черно-красно-золотой флаг либералов, а с другой стороны черно-бело-красный флаг императорской Германии символизировали эту борьбу.

(²) «Рыцари свистопляски» — кличка, брошенная Погодиным по адресу «Современника». Когда Панаева пошутила: «Что, освистали вас?», Добролюбов ответил: «А мы еще громче будем свистать; эта руготня только подзадорит нас»... и т. д. (А. Панаева. «Воспоминания». Изд. 2. Л. 1928, стр. 364). Во «Вступлении» к № 1 «Свистка» Добролюбов с гордостью принимает ироническую кличку Погодина как знамя нового органа. «Наша задача, — писал он, — состоит в том, чтобы отвечать кротким и умилительным свистом на все прекрасное, являющееся в жизни и в литературе» и т. д.

Некрасов производил имя свистка от итальянской газеты «Diritto», которую он, живя в Риме в 1856 г., иногда почитывал. Но вероятнее, что прав В. Н. Княжнин, высказавший предположение, что название «Свисток» происходит «от итальянского собрата — Fischietto, выходившего приблизительно в эти же годы» (Прим. к полн. собр. соч. Добролюбова под ред. С. Аничкова, т. IX, стр. 528).

(³) «Знаменитая переписка... одного ребенка», т. е. Бетины Арним, издана под заглавием: «Goethes Briefwechsel miteinem Kinde».

(⁴) «Grosskophta» — комедия Гете, посвященная Калиостро, на тему об ожерельи королевы. Кофта — могучий дух, руководимый Калиостро.

(⁵) «Русский литератор» — Екатерина II. Зайцев неточно излагает положения первых пунктов «Наказа».

(⁶) Под этим названием была известна пушкинская ода «Вольность».

(⁷) Тугендбунд (нем. «союз добродетели») — тайное общество, основанное в 1808 г. буржуазной и либерально-дворянской интеллигенцией, ставившее целью освобождение Германии от гнета Франции и проведение ряда буржуазных реформ в полуфеодальном еще государстве. Форма организации Тугендбунда и в частности его устав оказали большое влияние на декабристские организации в России. Зайцев намекает на либеральный характер деятельности Тугендбунда, распущенного в 1809 г. по требованию Наполеона.

(⁸) Книга Гейне о Берне: «Lüdwig Börne».

(⁹) «Всемирная история» Георга Вебера занимает 15 томов. Даже «Краткое изложение»... (Спб. 1863—64) издано в 2-х томах. Русский перевод (т. 1—12) — результат труда Н. Г. Чернышевского.

(10) См. Н. А. Добролюбов. Рец. на Беранже в «Современ.», 1858, № 12 (Соч. под ред. Е. Аничкова, т. III, стр. 676).

(11) См. примечание 42 к статье «Белинский и Добролюбов», стр. 488 настоящего издания.

(12) Зайцев намекает на эволюцию таких поэтов, как Языков, Бенедиктов и, может быть, имеет в виду Пушкина (ода «Клеветникам России» и т. п.).

С. Р.

ВЗБАЛАМУЧЕННЫЙ РОМАНИСТ. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 10, «Литературное обозрение», стр. 23—44.

«Взбаламученное море» А. Ф. Писемского является одним из первых антинигилистических романов 60-х годов. Естественно, что оно вызвало негодование всей революционной и радикальной журналистики. О нем с возмущением писали, кроме Зайцева, М. А. Антонович в «Современнике» («Современные романы», 1864, № 4) и А. И. Герцен в «Колоколе» («Ввоз нечистот в Лондон», 1863, лист 175; «Полное собрание сочинений и писем», т. 16, стр. 556—557).

Но интересно, что либералы западнического толка, славянофилы, «почвенники» и пр. также остались недовольны романом Писемского. Разумеется, причины этого недовольства были совсем иные.

Если «Русское Слово» и «Современник» считали «Взбаламученное море» пасквилем на передовую часть молодого поколения, на «нигилистов» и «мальчишек», то Ап. Григорьев, автор «Литературной летописи» «Отечественных Записок» и др. взяли под свою защиту людей сороковых годов, осмеянных в лице Бакланова. «Люди сороковых годов, — читаем в «Отечественных Записках», — на наших глазах, следовательно уж это никак не секрет — были участниками лучших подвигов русской земли: дали свободу двадцати миллионам русских крестьян, дали русской земле возможно правый суд, подготовили фундамент для ее самоуправления, избавили русскую землю от откупов... Подумал ли г. Писемский о том, что люди, заседавшие в разного рода крестьянских комиссиях, большею частию принадлежали к людям сороковых годов?» (1863, № 11—12, «Современная хроника России», стр. 94). Ап. Григорьев осуждает стремление Писемского «осмеять и опозорить все то, что былая, недавняя эпоха звала «развитием», все то, что — не скажем поэтизировал, но изображал как поэт Тургенев, все то, из-за чего очень серьезно страдали целые поколения». Он называет Писемского «органом мещанской реакции», обвиняет в том, что он не признает «заслуг протеста, будившего так энергически сонную тину нашего общественного болота» * и отождествляет эту черту его миросозерцания со взглядом на сороковые годы, который высказан Зайцевым в рецензии на сочинения Лермонтова («Якорь», 1863, № 19, стр. 389; № 24, стр. 464; № 25, стр. 483).

Критики указывали, что Писемский культивирует фельетонную, газетную литературу, лишенную каких бы то ни было художественных достоинств, интригующую лишь своей злободневностью; почерпнутые из газет факты он описывает так же внешне, как в газетах, не осмысливая и не углубляя их; сложную задачу художественного, «беспристрастного» воспроизведения действительности Писемский подменил обличением «сильного и господствующего зла», довел до предела издавна свойственный ему грубый, низменный реализм; роман лишен положительных идеалов; с любовью описывая грязь и пошлость, смакуя их, писатель окончательно переходит на позиции «отрицательного» мировоззрения, пренебрегая «началом примирения» с жизнью (см. статьи Н. М. Павлова в «Дне», 1864, №№ 31—33,

---

* С этим утверждением Григорьева полемизировал в своей стоящей несколько особняком статье о «Взбаламученном море» П. В. Анненков («С.-Петербургские Ведомости», 1863, № 250). Анненков указал в ней на ряд крупных, с его точки зрения, художественных недочетов романа Писемского.

Е. Эдельсона в «Библиотеке для Чтения», 1863, №№ 11—12, статью в «Сыне Отечества», 1863, №№ 277—278 и др.). Все эти обвинения были связаны, разумеется, с общими взглядами на искусство, которые развивали Ап. Григорьев, Эдельсон, «День». И тем более показательно, что взгляды эти теряли свою остроту, лишь только критики касались изображения «нигилистов» в романе Писемского. Критик «Дня» Н. Б. (Н. М. Павлов) считал, что «ни в одном романе Писемского не было столько бледных лиц. Удались ему только Софи Ленева и Виктор (впрочем, слишком карикатурный)». («День», 1864, № 32, стр. 18). Ап. Григорьев хотя и признавал, что в образе Виктора чувствуется «задняя мысль», но сейчас же оговаривался: «Здесь автор несравненно правее в своих антипатических инстинктах (т. е. правее по сравнению с аналогичными инстинктами, направленными на людей сороковых годов. — *И. Я.*), а потому и образ вылился цельнее и самая «продержка »вышла удачнее («Якорь», 1863, № 25, стр. 483). Эдельсон хотя и указывал на схематичность образа Басардина, но признавал, что роман «метко бьет по больным местам действительных Басардиных, Галкиных, разных Мерзаконаки и других» («Библиотека для Чтения», 1863, № 12, стр. 11 и 19). На первый взгляд может показаться, что А. Милюков, поместивший статью о «Взбаламученном море» в «Голосе» (1863, № 317), взял под свою защиту «молодое поколение» от нападок Писемского. Но защита его сводится к утверждению, что «молодое поколение» вовсе не заражено революционными идеями, что этим страдает лишь незначительная и далеко не лучшая его часть. «В идее и исполнении его романа видны раздражение и испуг... Автор преувеличил опасность и во всяком, в сущности неопасном, кружке готов видеть общественных зажигателей. Когда загорелся угол чердака, ему показалось, что уже пылает все здание»; роман «останется только памятником того страха, с каким у нас некоторые взглянули на события последних лет; время, может быть, не замедлит показать, как этот страх был неоснователен».

Нет возможности (да это и не нужно) дать здесь полный обзор критических отзывов о «Взбаламученном море» и охарактеризовать все оттенки мнений о нем. Однако и из приведенного ясно, что в тех кругах, идейными выразителями которых являлись перечисленные выше критики, статью Зайцева должны были встретить весьма недружелюбно, поскольку он исходил в своей оценке романа Писемского из совсем иных политических и литературных взглядов. И действительно, «Библиотека для Чтения», поместив сдержанную по тону, но резкую по существу статью о Писемском Эдельсона, разразилась руганью по адресу Зайцева. Н. Воскобойников писал в статье «Что такое наши теперешние журнальные направления» следующее: «Литературная полиция начинает вытеснять настоящую критику, или, лучше сказать, критика обращается в невероятно придирчивую полицию. Мы считаем, напр., статью «Взбаламученный романист» прежде всего усердным полицейским произведением. Впрочем, тут примерам нет конца, и мы перечислим их, если от нас потребуют» (1864, № 1, стр. 35).

Более интересна полемика с Зайцевым слева. Как известно, «Русское Слово» резко разошлось с «Современником» в оценке «Отцов и детей» Тургенева. В то время как «Современник» считал его клеветой на передовую молодежь (статья Антоновича «Асмодей нашего времени»), «Русское Слово» утверждало, что «все наше молодое поколение, с своими стремлениями и идеями, может узнать себя в действующих лицах этого романа» (Д. Писарев. «Базаров», «Русское Слово», 1863, № 3, «Литературное обозрение», стр. 1). Оба журнала не раз возвращались к роману и позже. «Даже слепой увидит, а если не увидит, то может ощупать, — писал Антонович в статье «Современные романы», — что «Отцы и дети» и «Взбаламученное море» — родные братья, что по своему направлению они вытекают из одного источника, что у них одинаковые тенденции, что «Отцы и дети» напитаны были тою же солью, какою теперь насыщены воды «Взбаламученного моря»... Конечно, при всем сходстве есть и разница между рассмат-

риваемыми романами, но разница индивидуальная: два человека делают одинаковое дело, но в их действиях все же обнаружится разность их личных качеств; человек деликатный обругает вас, но он это сделает, конечно, не так, как сделал бы это человек грубый» и т. д. Антонович иронизирует над недальновидностью «критиков-детей», т. е. Писарева и Зайцева, не увидевших подлинного смысла романа Тургенева, и упрекает их в непоследовательности и нелогичности. Приведя ряд цитат из статьи Писарева «Базаров» и из статьи Зайцева «Взбаламученный романист», Антонович пишет: «Как же эти критики не заметили, что гг. Тургенев и Писемский изобразили детей одинаковыми чертами, одинаковыми красками, с одинаковыми намерениями и целями? Ведь Базаров, Аркадий, Ситников и Кукшина нисколько не лучше и не хуже Проскриптского, Сабакеева, Галкиных, и Базелейн; если хвалить первую коллекцию, то уж нужно хвалить и вторую и в изображениях г. Писемского видеть все молодое поколение с его идеалами. И потому решительно непонятно, каким образом критики-дети могли не одобрять г. Писемского. Кто-нибудь скажет, что дети дали промах, восхваливши Тургенева, что потом сознали свою ошибку и теперь бранят г. Писемского, отказавшись от своих неосновательных похвал г. Тургеневу. Если бы так, это было бы ничего, а то ведь и теперь критики-дети ставят г. Тургенева в пример и образец г. Писемскому, которому они дают такой совет: вы бы вот у Тургенева «поучились», как нужно изображать молодое поколение, вот он так верно изобразил его, не то, что вы... Вот какова критическая сообразительность; ведь уж до очевидности ясно, что роман г. Писемского потому именно и худ, что составляет точный снимок с тургеневского романа... Критики-дети дали промах, карикатуру тургеневскую приняли за свой портрет; после такого горького урока они не могли попасться в другой раз на ту же удочку и к роману г. Писемского отнеслись сердито; в лице г. Писемского они осудили г. Тургенева, или, лучше, свое собственное мнение об его романе; восхваляя же и доныне г. Тургенева, они осуждают свое настоящее сердитое мнение о г. Писемском и как бы косвенно восхваляют его» («Современник», 1864, № 4, «Русская литература», стр. 204, 206, 209, 213).

(¹) Зайцев придал словам Бакланова не тот смысл, который они имеют в романе. Бакланов на вопрос пани Фальковской, за что освистали балерину Андреянову, отвечает: «А за то, что тут правда, истина, которые одни только имеют законное право существовать, они тут страдают!».

(²) «Никита Безрылов» — псевдоним Писемского, под которым он напечатал в «Библиотеке для Чтения» два фельетона в конце 1861 и в начале 1862 г. Они знаменовали собою разрыв Писемского с радикальными кругами русского общества. В первом из них (1861, № 12) высмеивались воскресные школы, эмансипация женщин и пр. Фельетон вызвал возмущение левого крыла журналистики; Г. Елисеев в «Искре» сравнил Писемского с Аскоченским («Искра», 1862, № 5, стр. 71). Газета «Русский Мир» пыталась организовать протест литераторов против «Искры», но из этого ничего не получилось, а редакция «Современника» заявила о своей солидарности со статьей Елисеева. Все это тяжело подействовало на Писемского; он бросил редактирование «Библиотеки для Чтения» и переехал в Москву. Повидимому, эпизод с фельетонами Никиты Безрылова оказал некоторое влияние на детали и общий колорит отдельных глав «Взбаламученного моря», тех глав, в которых изображены представители революционной молодежи. Писарев прямо говорил об этом: «Разгоряченный нападениями «Искры», г. Писемский написал против нее огромный роман, в котором старался доказать, что отечество находится в опасности и что молодое поколение погибает в бездне заблуждений» («Пушкин и Белинский» — «Русское Слово», 1865, № 6, «Литературное обозрение», стр. 45).

(³) Писемский в довольно непривлекательном виде вывел в своем романе инспектора студентов Московского университета Платона Степановича Нахимова. Против этого протестовал его сын, Александр Нахимов. В

письме к издателю «Русского Вестника» он заявил, что Писемский, «увлекшись желанием выказать свой комический талант, слишком мало заботился о верной передаче этого характера» и оклеветал Нахимова-отца («Московские Ведомости», 1864, № 67).

(4) У Писемского ничего не говорится о жандармском офицере, но, может быть, Зайцев прав, расшифровывая это место таким образом. В 4-й главе 2-й части читаем: «Свои убеждения, — рассуждал он дорогой почти вслух, — и я бы их имел, да вон тут господин живет! — и он указал на генерал-губернаторский дом, — тут другой, — прибавил он и ткнул по воздуху пальцем в ту сторону, где была квартира генерала Перфильева».

(5) Иначе говоря, таланты Фуше, министра полиции при Наполеоне и Людовике XVIII, пригодятся в III отделении или в другом подобном учреждении. — Имя Н. А. Миллер-Красовского сделалось в начале 60-х годов нарицательным именем педагога-обскуранта, видящего цель воспитания в создании верных самодержавию чиновников, а основную добродетель учащихся — в слепом повиновении начальству, признающего необходимость телесных наказаний и т. д. Свои педагогические взгляды Миллер-Красовский высказал в книге «Основные законы воспитания», вышедшей в 1859 г. и вызвавшей ряд язвительных отзывов: Добролюбова — в «Современнике», Вас. Курочкина — в «Искре» и др.

(6) Слова из стихотворения Лермонтова «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой»...

(7) Зайцев имеет в виду петербургские пожары в мае 1862 г. Некоторые историки считают, что они были организованы правительственными кругами (см. статью С. Рейсера «Петербургские пожары 1862 года», «Каторга и Ссылка», 1932, № 10); во всяком случае, правительство широко использовало их для борьбы с революционным движением и левой журналистикой. — П. И. Мельников-Печерский был в 1862 г. одним из ближайших сотрудников газеты «Северная Пчела». «К°» — это в первую очередь Н. С. Лесков. «Северная Пчела» в дни пожаров то и дело взывала к полиции с просьбой найти виновников несчастья. Хотя она и не называла революционеров поджигателями, но и не отрицала их причастности к этому делу. Неоднократно повторяя ходившие по городу нелепые слухи, она тем самым поддерживала и культивировала их. В крайне напряженной атмосфере тех дней статьи «Северной Пчелы» воспринимались как инсинуация, как косвенное указание на революционеров. Интересно, что через пять лет после Зайцева Н. Александров, характеризуя «Взбаламученное море» Писемского и «Некуда» Лескова, также проводил аналогию между этими произведениями и «пожарными статьями», «Северной Пчелы». «Не бездарные ли это сплетни и толки, — писал он, — и не ясно ли, что нападающие готовы пользоваться каждым нелепым слухом, который, идя в толпу, всегда разрастается и принимает чудовищные образы? Впрочем, такой способ умозаключений и нападений, почерпнутых из моря житейских дрязг, совершенно в характере фельетонного писаки, торопящегося всегда передать поразительный факт. Он напоминает фельетоны Стебницкого (псевдоним Лескова. — И. Я.) в «Северной Пчеле» по поводу бывших тогда пожаров» и т. д. («Мелочи дня» — «Дело», 1868, № 12, «Современное Обозрение», стр. 17).

(8) «Очерки бурсы» Помяловского впервые были напечатаны во «Времени» 1862 г. и в «Современнике» 1863 г.

(9) В № 2 «Библиотеки для Чтения» за 1862 г. был напечатан фельетон П. Д. Боборыкина «Пестрые заметки» (под псевдонимом «Нескажусь»). В нем Боборыкин касается, между прочим, публичных лекций в здании петербургской городской думы и издевается над одной из посетительниц лекций — «нигилисткой». «Трудно даже описать внешность этой особы. Стриженая почти под гребенку голова, мужской (подозрительной белизны) стоячий воротничок, грязная шея, затем какое-то коричневое одеяние, состоящее из кофты и узенькой юбки, и в руках мужская шапка». В рома-

не Писемского нигилистка Елена, молодая девушка в черном, наглухо застегнутом платье, с обстриженными волосами и в шляпке á la mousquetaire, тоже изображена с грязным воротничком и рукавами.

(10) В предпоследней главе «Взбаламученного моря» описаны петербургские пожары 1862 г. Писемский изображает их как дело рук поляков и студентов.

(11) Повидимому, Зайцев намекает на то, что под именем Нетопоренко Писемский изобразил в карикатурном виде революционера, землевольца Андрея Ивановича Нечипоренко. Он был дважды выведен и Лесковым — в «Некуда» (Пархоменко) и в «Загадочном человеке».

(12) «Взбаламученное море» — первое произведение Писемского, напечатанное в «Русском Вестнике». Переехав в Москву, он, кроме того, некоторое время редактировал беллетристический отдел «Русского Вестника».

(13) Калинович — герой романа Писемского «Тысяча душ» (1859).

И. Я.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕНР. ГЕЙНЕ. Напечатано в «Русском Слове», 1863, № 11—12, «Библиографический листок», стр. 44—48, без подписи, но с указанием об авторстве Зайцева в оглавлении.

Рецензия представляет собой образец памфлета под видом рецензии. Ее удары направлены на Всеволода Костомарова, предателя М. Михайлова и Чернышевского. Почти каждый абзац рецензии намекает на предательство. Мы раскрываем ниже лишь те их этих намеков, которые требуют специальных сведений, — остальные понятны без комментария. По словам биографа Зайцева, рецензия произвела исключительное впечатление. («Варф. Ал. Зайцев», Лондон 1900. «Библиотека биографий выдающихся русских революционеров», вып. I, стр. 15).

Следует отметить, что уже в рецензии Писарева на книгу Вс. Костомарова и Ф. Берга «Поэты всех времен и народов» есть зачатки развитого Зайцевым приема. Ср. такие фразы, как «г. Костомаров... не без соболезнования д о н о с и т читателю, что раб божий Генрих Гейне умер нераскаянным грешником» («Русское Слово», 1862, № 6, отдел «Русская литература», стр. 89. Разрядка Писарева).

(1) Саламата — кушанье вроде густого киселя из гречневой или пшеничной муки с маслом.

(2) «Почвенники» — группа, близкая к славянофилам, от которых отличалась налетом народнических идей, меньшим консерватизмом и стремлением синтезировать славянофильство с некоторыми идеями «западников». Четкостью идеологии это направление, впрочем, не отличалось. Основные представители его: Ф. М. и М. М. Достоевские, Н. Н. Страхов, А. А. Григорьев. Группировались вокруг журналов «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865).

(3) «Ueber den Denuncianten» (1837) — памфлет против Вольфганга Менцеля. Запрещение в Германии произведений писателей «Молодой Германии» было вызвано отчасти усилиями Менцеля, требовавшего в своих статьях полицейских и цензурных мер против них. Поэтому Гейне и др. употребляли имя Менцеля как нарицательное обозначение политического доносчика.

(4) Д. В. Аверкиев писал в «Осе» сатирические стихи под псевдонимами: Невелещагин, Ердащагин, Дмитрий Гераков. По словам М. Лемке, редактор «Осы» Ап. Григорьев «мало входил в «Осу», там главенствовал Аверкиев» (М. Лемке. «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия». Спб. 1904, стр. 179).

(5) «Он — явление совершенно самобытное, оригинальное, — порождение германской философии с одной стороны и германского жидовства—с другой».

(6) Об истории немецкой литературы Менцеля («Die deutsche Literatur» Stuttgart 1828.) упоминается не в статье Страхова (такой нет), а в

статье Гейне «О доносчике», переведенной Страховым. Под автором истории итальянской литературы разумеется не Менцель, как можно думать по контексту, а Костомаров. Это намек на вышедшую в 1863 году (к которому относится рецензия) книгу «История литературы древнего и нового мира, составленная по И. Шерру и многим другим источникам под редакцией А. Милюкова. Том II. Романские земли. Книга 2-я. Италия. Сост. В. Костомаровым». В следующем — 1864 году вышла и 1-я книга II тома «Франция», составленная Костомаровым же. Обе книги были напечатаны в типографии III отделения, а деньги за бумагу и печатание (1366 р. 35 к.) «в видах вознаграждения услуг», были приняты на счет сумм того же отделения. (М. Лемке. «Политические процессы в России 1860-х гг.». Изд. 2-е М.—П. 1923, стр. 498—499).

Таким образом, этим примечанием Зайцев подчеркивает, что «доносчик, о котором идет речь» в его рецензии, это не Менцель, а Костомаров, и прямо адресует ему слова, к которым сделана сноска: «сделаться доносчиком только негодяй может».

(7) Зайцев не указывает, что замена сделана из очевидных цензурных соображений, так как у Гейне речь идет о возможности использования собора под конюшню.

(8) Повидимому, этим утверждением Зайцев хотел заставить читателей осознать строфу Костомарова, как намек на его предательство, так как в действительности эта строфа хотя переведена весьма неточно, но соответствует гейневской строфе:

Er hat mich besungen, als ob ich noch
Die reinste Jungfer wäre,
Die sich von niemand rauben lässt
Das Kränzlein seiner Ehre.

(Он меня в этих виршах своих
Уподобил юной невесте,
Которая не позволяет сорвать
Цветочек девичьей чести.
(Гл. V, строфа 6. Пер. Ю. Н. Тынянова).

(9) Пародия на две строки из стихотворения Мерзлякова «Велизарий»:

Подайте мальчику на хлеб:
Он Велизария питает.

Б. Б.

БЕЛИНСКИЙ И ДОБРОЛЮБОВ. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 1, «Литературное обозрение», стр. 1—32, 49—68 (стр. 33—48 пропущены при нумерации).

Отмечая те стороны литературной деятельности Белинского и Добролюбова, которые, по его мнению, устарели и подлежат пересмотру, Зайцев многое упрощает, приспосабливая к своему миросозерцанию. Так, отрицание ориентации на крестьянство в политической борьбе ведет его к бездоказательному сближению народничества Добролюбова с «почвенничеством» журналов Достоевского. Не признавая какой бы то ни было значительной роли за искусством, оценивая «форму» как праздную забаву и встречая у Белинского иные высказывания на этот счет, он называет его чистокровным эстетиком, противником мысли в литературе, принципиальным поклонником произведений о «любви соловья к розе», и т д. В ряде случаев эти упрощения и искажения отмечены в примечаниях. Нельзя не подчеркнуть также, что в главе о Добролюбове Зайцев проводит очень внешнее, механическое разграничение между критикой и публицистикой.

Белинский вышел в изображении Зайцева очень статическим, если не считать последнего момента его деятельности, когда он неожиданно из чи-

стокровного эстетика превращается в публициста. Вообще статья представляет большой интерес главным образом для характеристики самого Зайцева, его антиисторизма, взглядов на искусство, на развитие русской литературы и пр. Нужно отметить, кстати, что схема развития литературы XVIII — начала XIX века, изложенная Зайцевым, заимствована им, опять-таки в несколько упрощенном виде, из статей Белинского о Пушкине. Кроме того, целый ряд деталей, сравнений, выражений, все стихотворные цитаты и пр. взяты в первой части статьи у Белинского, а во второй — у Добролюбова.

Но есть в статье Зайцева и другая сторона, которую ни в коем случае нельзя упускать из виду. В конце 50-х и в начале 60-х годов имя Белинского играло в литературной борьбе немалую роль. Так, то или иное отношение к Белинскому было одним из существенных моментов борьбы внутри редакции «Современника» до окончательного ухода из него Л. Толстого, Дружинина и др. Реакционные писатели и журналисты (Погодин, Вяземский, Кс. Полевой и др.) не без основания видели в нем предшественника революционных идей 60-х годов и всеми способами стремились опорочить его. Скомпрометировать Белинского, создать образ задорного и воинствующего невежды было, разумеется, в их интересах. Впрочем, борьба велась двумя путями. Путь открытой атаки казался кое-кому нецелесообразным; признавая на словах заслуги Белинского, эти люди (Я. Грот и др.) объявляли всех его продолжателей лже-учениками и создавали другой образ — образ умеренного и благонамеренного Белинского.

В этой обстановке высокая оценка литературной деятельности Белинского, взгляд на него, как на идейного вождя своего времени и предшественника радикальных разночинцев 60-х годов, утверждение, что он не только не исписался, как говорили враги, а наоборот, достиг вершины в последние годы своей жизни, и т. д. и т. д., — все это воспринималось как вполне определенные заявления, отчетливо свидетельствующие о политической физиономии говорившего. Что же касается высокой оценки Добролюбова, то само собою разумеется, что особенно в эти годы она вызывала скрежет зубозный в либеральных и реакционных кругах. Вообще «крамольного» духа статьи Зайцева, близкого одним и весьма ненавистного другим, не могли не чувствовать современники.

Через полтора года после Зайцева к оценке Белинского обратился Писарев. Он пришел к тому заключению, что «во всех пунктах, кроме эстетики, наши противники, нападая на нас, нападают в то же время и на Белинского, которого они совершенно некстати обзывают своим учителем». Но и в эстетических взглядах Белинского Писарев видит гораздо больше близких «шестидесятникам» черт, чем Зайцев. По поводу пятой статьи о Пушкине он пишет: «В этой статье Белинского встречаются более или менее определенные намеки на все те идеи, которыми живет наша теперешняя реальная критика. В этой же самой статье Белинский предается самым необузданным эстетическим восторгам. Читая внимательно эту статью, мы видим, как эстетик борется с общественным деятелем, и предчувствуем, что победа непременно должна склониться на сторону последнего». Приведя цитату из Белинского о Гёте, который «поставляет искусство целью самому себе», Писарев замечает: «Как вам это нравится, господа читатели? Уже в 1844 году была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства», и связывает мысли Белинского с «Эстетическими отношениями искусства к действительности» Чернышевского. («Пушкин и Белинский» — «Русское Слово», 1865, № 6, «Литературное обозрение», стр. 1, 3, 60). Именно потому, что оценка Писарева исторически более верна, чем та, которая дана в статье Зайцева, последний этап эволюции Белинского не является в его изображении таким скачкообразным.

В. Совсун в своей статье о Зайцеве пишет: «Затем с неменьшим рвением Зайцев начинает расправляться со своими отечественными гениями и прежде всего нападает на Пушкина и Лермонтова. Пушкину уже досталось от Писарева, его еще сводит на-нет Зайцев» («В. Зайцев как литературный критик» — «Литература и Марксизм», 1928, № 1, стр. 113. Разрядка моя. — *И. Я.)*. Это совершенно неверно. Зайцев писал о Пушкине в рецензии на сочинения Лермонтова (1863, № 6) и в статье «Белинский и Добролюбов» (1864, № 1), но обе они появились задолго до статьи Писарева «Пушкин и Белинский» (1865, № 4 и 6).

(1) Речь идет о вступительной статье Ап. Григорьева к I тому «Полного собрания сочинений Генриха Гейне в русском переводе» под ред. Ф. Берга (Спб. 1863). См. примечание 5 к рецензии Зайцева на эту книгу — стр. 478.

(2) «Сочинения Н. А. Добролюбова», Спб. 1862, 4 тома; были изданы под редакцией Н. Г. Чернышевского, — «Сочинения В. Г. Белинского», Спб. 1859—1862, 12 томов.

(3) Из биографических материалов наиболее существенными были «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», опубликованные Чернышевским в первой книжке «Современника» за 1862 г.

(4) Зайцев неправ, утверждая, что все писания, посвященные Белинскому, ограничивались воспоминаниями о нем друзей и знакомых. Действительно, в конце 50-х и начале 60-х годов их появилось довольно много (см. библиографию воспоминаний о Белинском в книге «Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников. Собрал и комментировал М. К. Клеман». Л. 1929); в 1860 г. был напечатан и первый опыт биографии Белинского, принадлежащий Д. Свияжскому (Д. Д. Минаеву). Однако немало появлялось в журналах статей (А. Григорьева, Дружинина, Блюммера и др.), которые ставили себе целью дать общую характеристику литературной деятельности и миросозерцания Белинского, в задачи которых совершенно не входили биографические вопросы. Но более всего странно, что Зайцев упустил из виду сочинение, в котором действительно впервые было исследовано «значение Белинского как писателя», его историческая роль, эволюция его взглядов и т. д. — «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, печатавшиеся в «Современнике» в 1855—1856 гг.

(5) О статье Добролюбова «Н. В. Станкевич» («Современник», 1858. № 4).

(6) Имя поэта, критика и автора воспоминаний «Мелочи из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева упомянуто Зайцевым не случайно. Он был одним из самых ожесточенных врагов Белинского. Еще в 1841 г. произошел следующий эпизод. В № 4 «Отечественных Записок» была напечатана рецензия А. Д. Галахова на «Малолеток» А. А. Орлова, в которой был высмеян сотрудник «Москвитянина» Ф. Глинка. Рецензия эта была приписана Белинскому и вызвала негодование в редакции «Москвитянина». Дмитриев предложил Погодину «написать официальную бумагу и подписать ее всем против правил, проповедуемых «Отечественными Записками», попросту говоря, написать донос. Но Погодин, обозвав Белинского «дрянью и сволочью», все же воздержался от этого. Однако Дмитриев не успокоился; он, — читаем в дневнике Погодина, — «топорщится за Глинку и даже говорит дерзости» (Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина». Кн. 6, Спб. 1892, стр. 81). Неоднократно злобствовал Дмитриев на Белинского и в своих стихотворениях. Так, в «Новой Светлане», направленной против Ник. Полевого, есть строки, изображающие «плебея Белинского» в долговой тюрьме («Русский Архив», 1885, № 4, стр. 654). «Новая Светлана» появилась в печати лишь в 80-х годах, но, как и «Петербургская Людмила», распространялась в списках и была, конечно, известна Белинскому. «Петербургская Людмила» направлена против «шайки» «Отечественных Записок», проповедующей «коммунистические теории», и ничем не отличается от доносов Булгарина. Белинский изображен в этом стихотворном доносе пьяницей, буяном,

невеждой, халтурщиком. На вопрос Краевского «Где ж ты был?» Белинский отвечает:

... У гегелистов!
Был в собраньи коммунистов!
С теми спорил, как шальной;
А от этих — за тобой
. . . .
Нынче было заседанье,
И открыло все собранье
Край, где жены и мужья
Будут общая семья!
Где металл копают чистый,
Где все люди — коммунисты,
Богачей — ни одного!
Все у всех, как ничего!

(«Эпиграмма и сатира», том I, сост. В. Орлов, М.—Л. 1931, стр. 334). См. также примеч. 29.

Белинский, в свою очередь, в ряде статей и заметок подчеркивал, с одной стороны, бездарность Дмитриева как поэта, а с другой — доносительские его наклонности. Так, в рецензии на роман Егора Классена «Провинциальная жизнь» читаем: «Чтоб добиться... постоянно убегающей его славы, г-н Михайло Дмитриев, вместо дидактического рода, в бесполезном упражнении которым он убедился, изобрел теперь новый, до него небывалый род поэзии, произведения которого можно было бы назвать «рифмованными денонциациями» на безнравственность критиков, не признающих в их сочинителе ни искры поэтического таланта. В руках человека талантливого и острого такие стихотворения были бы, по крайней мере, опасны для его врагов; но г. Михайло Дмитриев доставляет своим врагам только одно невинное удовольствие — смеяться над беззубою злостью его странных стихотворений». (Собрание сочинений В. Г. Белинского под ред. С. А. Венгерова, том 8, стр. 295; дальше все цитаты приведены по этому изданию).

О «непозволительных стихах г. М. Дмитриева», «юридических элегиях упомянутого г. М. Дмитриева» с презрением писал уже в 60-х годах Ап. Григорьев, считая, что «Москвитянин» компрометировал себя его сотрудничеством («Наши литературные направления с 1848 года». «Время», 1863, № 2, «Современное обозрение», стр. 5).

В № 11—12 «Русского Слова» за 1863 г. Зайцев поместил рецензию на второе издание книги М. Дмитриева «Князь Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения».

(7) Книга эта была опубликована сначала в виде серии статей в «Сыне Отечества», 1862, №№ 35—43, а затем вышла отдельным изданием: «Белинский как моралист. Часть I», Спб. 1862. Автор ее — А. Хитрово (см. его заметку в «Историческом Вестнике», 1898, № 5, стр. 1136). Это была попытка обходной борьбы с влиянием Белинского путем его искажения и превращения в благонамеренно мыслящего человека, целиком укладывающегося в формулу «православие, самодержавие, народность». Она была инспирирована министерством народного просвещения. 14 июля 1862 г. министр народного просвещения А. В. Головнин писал своему товарищу и подчиненному, председателю С.-Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ: «Из новейших писателей наших Белинский есть бесспорно тот, который имеет всех более нравственного влияния на молодых людей, и государь обратил особенное влияние (внимание. — *И. Я.*) на отчет нижегородской библиотеки, из которого видно, что молодые читатели спрашивали более всего сочинения Белинского и что вообще его сочинения требовались чаще всяких книг. Надобно бы воспользоваться этим и напечатать в «Сыне Отечества» статью о Белинском как моралисте, перепечатав в ней места его сочинений о боге, христианстве и царской власти, отмеченные мною в

прилагаемых книгах. Это дало бы случай «Сыну Отечества» поговорить о Герцене, о последних воззваниях и показать, как далек был Белинский от возмутительной проповеди нашего времени. Пожалуйста, займись этим и подумай, как лучше устроить. Пред. Головнин». (Письмо публикуется впервые; хранится в архиве Цеэ в рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки в Ленинграде).

([8]) «Аргенида» („Argenis“)— аллегорический роман новолатинского поэта и сатирика Джона Барклэ (1582—1621) с острыми намеками на европейские политические дела, особенно на Францию эпохи Лиги, придворные нравы и пр. Он был переведен почти на все европейские языки; перевод Тредьяковского вышел в 1751 г. «Россиада» — оригинальное произведение Хераскова, лучший образец эпопеи в классическом духе на русском языке (1779).

([9]) Как и отмечает Зайцев несколько выше, Белинский держался по этому вопросу иного мнения. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он писал, что между Ломоносовым и писателями его школы, с одной стороны, Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым и особенно Гоголем, с другой стороны, нельзя увидеть никакой связи, ничего общего, если рассматривать их «как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей от Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнию, с действительностью, следовательно сделаться самобытною, национальною, русскою» (том 10, стр. 391).

([10]) Если, характеризуя критику, Зайцев говорит приблизительно то же, что и Белинский (см. начало 5-й статьи о «Сочинениях Александра Пушкина»), то характеристика литературы XVIII — начала XIX в. расходится с оценкой Белинского. До Пушкина, — писал он — «поэзия была только красноречивым изложением прекрасных чувств и высоких мыслей, которые не составляли ее души, но к которым она относилась как удобное средство для доброй цели, как белила и румяны для бледного лица старушки-истины. Это мертвое понятие о пользе поэтической формы для выражения моральных и других идей породило так называемую дидактическую поэзию... Много было сделано для языка, для стиха, кое-что было сделано и для поэзии; но поэзии как поэзии, то есть такой поэзии, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное миросозерцание, прежде всего была бы поэзией, — такой поэзии еще не было! Пушкин был призван быть живым откровением ее тайны на Руси» (том 11, стр. 377—378). Таким образом, по Белинскому, русская литература этого периода страдала не отсутствием идей, а их оголенностью, полным разрывом между содержанием и формой, взглядом на форму как на украшение. Признав безыдейной литературу целого века, Зайцев проявил почти никогда не оставлявший его просветительский антиисторизм; чуждые ему и уже отжившие идеи — для него не идеи вовсе.

([11]) О Пушкине как национальном поэте см. у Белинского «Сочинения Александра Пушкина», статьи 5-я и 8-я. Интересно, что у него, как и у Зайцева, фигурируют все три понятия: национальный, народный и простонародный. При этом Белинский считает ошибочным смешение народности с простонародностью.

([12]) Иначе смотрел на Фонвизина Белинский. Во-первых, он не считал его «явлением совершенно отрывочным», не связанным с эпохою. Во-вторых, признавая «Недоросль» и «Бригадир» «гениальными созданиями», он все же утверждал что «они не могут называться комедиями в художественном смысле этого слова: это скорее плод усилия сатиры стать комедией»; о самом же Фонвизине говорил, что он был «больше даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем» («Мысли и заметки о русской литературе», «Сочинения Александра Пушкина», статьи 1 и 8 — том 11, стр. 205; том 12, стр. 83).

([13]) Слово «стишки» принадлежит Белинскому, и им он, действительно,

характеризует политическую поэзию молодого Пушкина. Но «картинно изгибавшаяся спина» (особенно в пору написания этих «стишков») и приписываемое Зайцевым Белинскому утверждение, что Пушкин «не имел никаких убеждений», принадлежат ему самому. «Основываясь на каком-нибудь десятке ходивших по рукам его стихотворений, исполненных громких и смелых, но тем не менее неосновательных и поверхностных фраз, думали видеть в нем поэтического трибуна, — писал Белинский. — Нельзя было более ошибаться во мнении о человеке! В тридцать лет Пушкин распрощался с тревогами своей кипучей юности не только в стихах, но и на деле. Над «рукописными» своими стишками он потом сам смеялся. Но это все в сторону; главное дело в том, что натура Пушкина... была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страстно деятельного (а не только созерцательного) увлечения живою, могучею мыслию, в жертву которой приносится и жизнь, и талант. Он не принадлежал исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине; в сфере своего поэтического миросозерцания он, как художник по преимуществу, был гражданин вселенной, и в самой истории, так же, как и в природе, видел только мотивы для своих поэтических вдохновений, материалы для своих творческих концепций» («Сочинения Александра Пушкина», ст. 5 — том 11, стр. 394; см. также ст. 10 — том 12, стр. 165—166). Кроме того, Зайцев, говоря о том, что Белинский твердо помнил хронологию произведений Пушкина, сам путает ее: «Цыганы» написаны в 1824 г., а «Ода к свободе», т. е. ода «Вольность» — в 1817 г. Наконец, намеки на то, что в «Цыганах» Пушкин высмеял «преследуемых законом» декабристов, также принадлежат самому Зайцеву и у Белинского не встречаются.

Об «Оде к свободе» Зайцев писал до этого — в статье «Гейне и Берне» («Русское Слово», 1863, № 9, стр. 27; см. стр. 132 настоящего издания).

Цитата из «Цыган» неточная:

Он хочет быть, как мы, цыганом,
Его преследует закон...

(14) Рецензия Зайцева на «Сочинения Лермонтова» под редакцией С. С. Дудышкина появилась в № 6 «Русского Слова» за 1863 г. Она перепечатана в настоящем издании. — Добролюбов в своей статье «О степени участия народности в развитии русской литературы», написанной по поводу второго издания «Очерка истории русской поэзии» А. Милюкова, сочувственно цитирует его мнение о непонимании Байрона в России.

(15) «Сладкие звуки» — слова поэта из стихотворения Пушкина «Чернь».

(16) Литературное общество «Беседа любителей русского слова» было основано А. С. Шишковым в 1811 г. и просуществовало до 1816 г. Среди участников его было много крупных сановников, титулованных лиц и пр. В политическом отношении «Беседа» была организацией реакционной, правительственной. Литературная ее позиция определялась ориентацией на традиции «высокой», классической поэзии, на оду и эпос. В этом смысле вполне правильно указание Зайцева на «Водопад» Державина и «Россиаду» Хераскова. Державин, кроме того, и лично принимал близкое участие в «Беседе».

(17) Не вполне точная цитата из «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского (1821).

(18) Речь идет, повидимому, о пьесе Казимира Делавиня «Les vêpres siciliennes» («Сицилийские вечерни») (1819). В ней сочувственно изображено историческое событие, известное под именем «сицилийских вечерен», кровавое восстание против французского владычества, вспыхнувшее в Сицилии в 1282 г. и кончившееся изгнанием Карла Анжуйского.

(19) Т. е. доносами.

(20) Ср. у Белинского: «Черная шаль» при своем появлении возбудила фурор в русской читающей публике, но, подобно «Гусару» Батюшкова,

теперь как-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителям «песенников». Теперь очень нередкость услышать, как поет эту пьесу какой-нибудь разгульный простолюдин, вместе с песнию г. Ф. Глинки: «Вот мчится тройка удалая» или: «Ты не поверишь, как ты мила»... («Сочинения Александра Пушкина», ст. 4 — том 11, стр. 356).

(²¹) Зайцев имеет в виду известные «Философические письма» П. Я. Чаадаева. Первое из них появилось в № 15 журнала «Телескоп» за 1836 г. Николай I признал «Письмо» «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного», и за напечатание его Чаадаев был официально признан сумасшедшим, «Телескоп» был закрыт, его редактор-издатель Н. И. Надеждин сослан в Усть-Сысольск под надзор полиции, а цензор А. В. Болдырев лишился своих должностей — цензора, профессора и ректора Московского университета.

(²²) Строки из трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим».

(²³) Явная ошибка: в «Телескопе» Белинский активно сотрудничал вплоть до его закрытия, а во время заграничной поездки Надеждина редактировал журнал. Правда, после прекращения «Телескопа» отношения их испортились, но это нашло себе лишь незначительное отражение в литературной деятельности Белинского — в двух-трех полемических выпадах против Надеждина.

(²⁴) Зайцев неточно передает взгляды Белинского. В той же статье, которую он несколько раз цитирует, «Взгляд на русскую литературу 1847 года», Белинский устанавливает специфические черты науки и искусства. «Их различие вовсе не в содержании, а только в способе обработывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же... Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой — картинами... Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки». Таким образом, Белинский вовсе не считал поэзией «преимущественно описание любви соловья к розе». После приведенного Зайцевым отрывка о «нарушении законов искусства» Белинский писал: «Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало»... Если искусство греков и приближалось, по мнению Белинского, к идеалу чистого искусства, то современное искусство все больше отдаляется от него. «Но это-то и составляет его силу. Собственно художественный интерес не мог не уступить места другим важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им в качестве их органа. Но от этого оно нисколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев. Это значит даже убивать его»... В «Мыслях и заметках о русской литературе» он прямо заявляет, что «только содержание может спасти от забвения писателя». Белинский был противником не мысли вообще, а оголенной мысли в искусстве, тенденции, органически не вырастающей из произведения, механически втиснутой в него, «направления», вычитанного из книг, но не прочувствованного писателем. В этом смысле он и писал, что «идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и всякой литературной деятельности. Как ни списывайте с натуры, как ни сдабривайте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными «тенденциями», но если у вас нет поэтического

таланта, списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и направления останутся общими риторическими местами» (том 11, стр. 99, 104—106). Слов «наша поэзия не может без ущерба для себя обратиться к воспроизведению крестьянского быта» у Белинского нет, но в 8-й статье о Пушкине он действительно указывает, что очередные задачи литературы 40-х годов лежат в изображении интеллигенции (том 12, стр. 81). Это мнение Белинского относится к 1844 г., но в 1848 г., отражая нападки на натуральную школу, он с презрением писал об «особенном роде читателей, который, по чувству аристократизма, не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона... Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек? — Но что же может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — его душа, ум, сердце, страсти, склонности — словом, все то же, что и в образованном человеке» и т. д. (том 11, стр. 93, 95). И потому неверно утверждение Зайцева, что Белинский «даже не допускал возможности такой поэзии, какова поэзия Некрасова». Интересно, что в статье 1846 г. о «Петербургском сборнике» он с большой похвалой отозвался о стихотворениях Некрасова («Это — не стишки к деве и луне: в них много умного, **дельного** и современного»...) и привел полностью «лучшее из них», «В дороге», — стихотворение на тему из крестьянской жизни (том 10, стр. 226).

(²⁵) Зайцев не до конца процитировал Белинского, а потому не вполне точно передал его мысль. «Конечно, такое добровольное подчинение чуждому влиянию, — писал он, — есть еще только экстатическое увлечение поэтом, а не спокойное, строгое и истинное его понимание, — и до этого понимания можно дойти только через переход из восторженного увлечения к хладнокровно-спокойному созерцанию; но это увлечение поэтом есть первый и необходимый момент в процессе его изучения» («Сочинения Александра Пушкина», ст. 5 — том 11, стр. 369).

(²⁶) Цитата из «Гамлета» Шекспира в переводе М. Вронченко (Спб. 1828). Белинский восхищается этими строками в статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841).

(²⁷) Зайцев неправильно характеризует те страницы одиннадцатой статьи о Пушкине, на которых говорится о «Медном Всаднике». Они посвящены выяснению основной идеи поэмы, и меньше всего распространяется здесь Белинский о своих «эстетических восторгах». Неверно также, что Белинский «не обвиняет и не оправдывает». «При взгляде на Великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, — пишет он, — мы, хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание» (том 12, стр. 188).

(²⁸) Антэрос (взаимная любовь) — название статуи, легенду о происхождении которой рассказывает Белинский вслед за приведенным Зайцевым отрывком о древнегреческом взгляде на любовь. Содержание этой легенды таково. Один юноша, пораженный необыкновенной красотой другого, влюбился в него. Но, не встретив ответного чувства и истощив все мольбы, он бросился в море и погиб. Это так поразило прекрасного юношу, возбудило в нем такое сожаление и любовь к погибшему, что он последовал за ним. В честь их обоих и была воздвигнута статуя «Антэрос».

(²⁹) Попытки Белинского создать схему развития русской литературы до Пушкина, определить историческое место каждого значительного писателя были восприняты приверженцами старых литературных традиций как антипатриотический поступок, как стремление развенчать Державина, Карамзина, Жуковского, — и вызвали резкий отпор. Булгарин и Борис Федоров, Шевырев и Погодин, Загоскин и Михаил Дмитриев и ряд других пи-

сателей и журналистов обрушились на Белинского, не брезгая никакими средствами в борьбе с ним. Так, скоро после появления статьи «Русская литература в 1841 году» в «Москвитянине» (1842, № 10) было напечатано стихотворение Мих. Дмитриева «Безыменному критику». Поэт считает своим долгом вступиться за «народную веру», «славу предков», «священное имя дедов» и т. д.

Белинский ответил на это стихотворение «Небольшим разговором между литератором и не литератором о деле, не совсем литературном», в котором правильно оценил его политический смысл. «В стихотворениях, приближающихся к роду юридических сочинений»... — писал он, разумея под этим родом «юридических сочинений» доносы (том 7, стр. 511). См. также в примечании 6 слова Белинского о «денонциациях» Дмитриева. Оценка Державина в статье Белинского по поводу «Речи о критике» А. Никитенко вызвала уже совершенно откровенный стихотворный донос Бориса Федорова. В журнале «Маяк» (1842, том 6) была помещена его басня «Крысы». Содержание ее таково. Крысы прогрызли дыру в книжную лавку и стали грызть книги, но, кроме того, они научились читать, принялись судить и рядить о писателях, «поэтов, как котов, бранить и на Державина напали». Одна «бесхвостая» крыса («давно у этой забияки отгрызли хвост собаки») стала поучать их. Дальше следует ее речь, которая является пародией на отрывок о Державине из названной выше статьи Белинского.

Такую крыса речь и доле б продолжала,
Но груда книг, свалясь, бесхвостую прижала,
Она пищит, скребет... кот серый близко был,
И суд по форме совершил.
Литературных крыс я наглости дивился;
Знать, серый кот запропастился?

Мораль басни не вызывает сомнений — это уже прямой призыв к «серому коту» из III отделения, к которому Федоров, кстати сказать, был очень близок. И это не случайные факты; их можно увеличить во много раз. Обильные материалы о борьбе с Белинским в связи с произведенным им пересмотром установленных литературных репутаций и авторитетов собраны в книге С. Ашевского «Белинский в оценке его современников». Спб. 1911.

(30) Цитаты из стихотворений Н. М. Языкова «Кубок», «К А. Н. Тютчеву», «Песня», «Николаю Васильевичу Гоголю». Что касается стихотворения «Михаилу Петровичу Погодину», то Зайцев перепутал его содержание. Посылая Погодину «стакан стихов», Языков прибавляет, что «они теперь напиток трезвый», в них нет «пьяно-буйного стиха», тем не менее он надеется, что Погодин с добрым чувством примет этот «напиток», «хоть он бесхмельный и не пенный!»

(31) В рецензии на 2-е издание «Мертвых душ» Белинский, цитируя предисловие Гоголя к этому изданию, сравнивает его с «Путешествием в Иерусалим, Египет и к Синайской горе в 1583 году» московского купца Трифона Коробейникова.

(32) В статье «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, № 4).

(33) Строки из стихотворения Пушкина «Элегия» («Я пережил свои мечтанья»...).

(34) Строки из стихотворения А. Н. Плещеева «Странник».

(35) Цикл рассказов Щедрина под общим названием «Талантливые натуры» был первоначально напечатан в «Русском Вестнике» 1857 г. (июнь, кн. I, июль, кн. I), а затем вошел в «Губернские очерки». Добролюбов в статье о «Губернских очерках» также придает типу «талантливых натур» распространительное значение; «русское общество разыграло в некотором роде талантливую натуру» — пишет он. При этом интересно, что три разряда «талантливых натур», о которых говорит Добролюбов, — мефисто-

фельская, спившаяся с кругу и пустившаяся в мошенничество,—близки к тем трем возможностям, которые, по словам Зайцева, были у поэтов: «оставалось или спиться и обратиться к православию пенника или сивухи или поступить в квартальные надзиратели, или, наконец, объявить среду презренной и грязной и принять в отношении ее отчасти мефистофельский, отчасти гамлетовский вид».

(36) «—бов» — псевдоним Добролюбова, под которым печатались его статьи в «Современнике».

(37) Имя Дружинина упомянуто здесь по ошибке. Он «народолюбием» не отличался и никаких произведений о «мужичках» у него нет. Думаю, что источником ошибки Зайцева является одно место из рецензии Добролюбова на «Повести и рассказы С. Т. Славутинского». «Тогда-то обратили на себя общее внимание гг. Данковский, Лазаревский, Мартынов и многие им подобные. Тогда-то г. Потехин сочинил «Крестьянку», г. Михайлов «Ау» и «Африкана», г. Мей — «Кириллыча», тогда-то принялись за изображение простого быта даже такие писатели, которые до того были насквозь пропитаны духом классической древности или полусветских салонов.... Обыкновенно герои и героини простонародных рассказов сгорали от пламенной любви, мучились сомнениями, разочаровывались — совершенно так же, как «Тамарин» г. Авдеева или «Русский черкес» г. Дружинина» и т. д.

(38) Laissez faire, laissez passer — формула, выражающая принцип невмешательства государственной власти в экономические дела. Зайцев пользуется ею для характеристики отношения к народу и народному образованию «платонических поклонников народа».

(39) Не вполне точная цитата из «Героя» Пушкина.

(40) Зайцев не совсем точно характеризует статью Добролюбова о «Мишуре» Потехина. Добролюбов великолепно понимал художественные недочеты пьесы и много места уделил их характеристике. «Она вся поставлена на пружинках, которые автор произвольно приводит в движение, чтобы выказать ту или иную сторону характера своего героя»... Целый ряд сцен сочинен, по утверждению Добролюбова, только для его обрисовки — «они плохо вяжутся между собой и не вытекают ни из какой разумной необходимости. Точно так, как можно выкинуть первый акт, можно и еще прибавить впереди один акт, в котором собрать новые доказательства низости Пустозерова... Цели своей он достиг, но достиг как диалектик, как моралист, как юридический обвинитель, но не как художник... Такой характер ложен в самом своем основании. Подобное соединение всех пороков и гадостей слишком уж идеально; оно невозможно на деле». Добролюбов подчеркивает «недостаток смеха» в пьесе: «комедия вышла горяча, благородна, резка, но превратилась в мелодраму», а с Пустозеровыми целесообразнее всего бороться смехом.

(41) Добролюбов ценил в стихах Жадовской «задушевность и решительное отсутствие аффектации. Это — находка в нашей современной поэзии, так приучившей нас к благозвучному пустозвонству, к изумительной скачке друг через друга пышных образов и мировых идей, выхваченных из школьных тетрадок, к головоломным порывам, о которых вовсе не ведает сердце... После этого странно было бы нам не заметить звуков простой, безыскусственной поэзии, раскрывающей перед нами внутренний мир человека, посвящающей нас в тайны страдания, доступного всякой душе, для которой мысль и чувство дороги, как святейшее достояние человека».

(42) Речь идет об одной литературной мистификации Добролюбова. Он изобрел в «Свистке» австрийского поэта Якова Хама и поместил под его именем «Опыты австрийских стихотворений» и «Неаполитанские стихотворения», переведенные будто бы другим вымышленным поэтом — Конрадом Лилиеншвагером («Современник», 1859, № 10; 1860, № 12). Стихотворения Якова Хама об итальянской войне 1859 г. являются сатирой на ура-патриотизм и беспринципность поэтов, готовых всегда преклоняться перед теми, в чьих руках в данный момент находится власть. *И. Я.*

РИТТЕР. ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ... ИСТОРИЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ. Напечатано в «Русском Слове» 1864, № 2, «Библ. листок», стр. 21—26, за подписью, В. З.

(¹) Карл Риттер вместе с Гумбольдтом явились творцами новой географии, пришедшей на смену прежней, чисто описательной и порою схоластической науки. Для Риттера география (землеведение) система, а не только голое описание, и притом система, вскрывающая значение и смысл земных явлений в их историческом аспекте и тем самым становящаяся в разряд наук философских. Современники, находившиеся под влиянием идей Гегеля, особенно ценили этот обобщающий характер учения Риттера.

В России под влиянием идей Риттера находились «Русское географическое общество» и между прочим кружков ровесника Герцена, Н. Г. Фролова, издававший в Москве в 1852—60 гг. сборники под заглавием «Магазин землеведения и путешествий». (Вышло 6 томов).

Зайцеву особенно важно было противопоставить идеи Риттера, пропагандирующие живое, непосредственное исследование объекта изучения, старой схоластической и до конца книжной географии. В связи с этим и характерен выпад Зайцева против «книжной учености».

(²) Зайцев имеет в виду «A voyage round the wored» by J. R. Forster, изд. 1777 г. или нем. изд. 1778—80 «J. R. Forsters Reise um die Welt in den Jahren 1772—75».

(³) «Всеобщая географическая учебная книга» и «Краткая всеобщая география для уездных училищ» А. Г. Ободовского с 50-х и до конца 70-х годов были самыми распространенными пособиями при изучении географии в школе. Неплохая для начала 50-х годов, книга оказалась безнадежно устаревшей и реакционной два десятилетия спустя.

С. Р.

ГЛУПОВЦЫ, ПОПАВШИЕ В «СОВРЕМЕННИК». Напечатано в «Русском Слове» 1864, № 2, VI пагин., стр. 34—42.

Статьей «Глуповцы, попавшие в «Современник» было положено начало знаменитой полемике между «Русским Словом» и «Современником», журналами, которые до тех пор считались ближайшими союзниками. Полемика эта длилась два года и привела к неимоверному ожесточению, грубости и взаимным оскорблениям. В «Современнике» полемику вел почти исключительно М. А. Антонович (под своим именем и под псевдонимом Посторонний сатирик), со стороны же «Русского Слова» ее вели Писарев, Благосветлов, Зайцев и Соколов. М. Е. Салтыков, из-за фельетона которого началась полемика, в дальнейшем не принимал в ней участия.

Начавшаяся по поводу насмешек Салтыкова над нигилистами полемика стала вбирать всевозможные текущие журнальные темы. Основными вопросами, дебатировавшимися в течение этих двух лет, были: вопрос о типе Базарова — является ли он подлинным выражением нигилизма или карикатурой на него; вопрос о типе Катерины (из «Грозы» Островского) и оценке, данной ему Добролюбовым; вопрос о полезности искусства и о взгляде на искусство Чернышевского; вопрос о Шопенгауэре и ошибках, сделанных в его оценке Зайцевым; вопрос об отношении к угнетению негров — по поводу рецензии Зайцева на книгу Катрфажа; вопрос о Милле — по поводу статьи Соколова; далее, бесконечные взаимные обвинения в недобросовестности, в грубости, в реакционности и отводы этих обвинений; наконец, нападки и реабилитации чисто личного характера, вроде пресловутого вопроса о «лакействе» Благосветлова перед основателем «Русского Слова» графом Кушелевым-Безбородко.

Таким образом, и те из поднятых в полемике вопросов, которые могут быть названы принципиальными, во всяком случае не являются коренными вопросами философского или социально-политического мировоззрения, что ставит большие трудности перед исследователями принципиальных основ этой полемики приходящими к выводам почти-что противоположным. Б. П. Козьмин считает, что «для публицистов и критиков «Русского Слова» их полемика с «Современником» являлась попыткой идейного преодоления на-

родничества», т. к., по его мнению, в то время как группировка «Современника «эволюционировала в сторону народничества», группировка Русского Слова» «склонялась к якобинству» («Раскол в нигилистах» — «Литература и Марксизм», 1928, № 2). Однако вопрос об отношении к народу дебатируется только по поводу «Грозы» Островского, не стоявшей в центре полемики. В. Я. Кирпотин считает, что основным стержнем разногласий было противопоставление тенденций мирного культурничества «Русского Слова» революционным тенденциям «Современника». Но тут же он указывает, что революционность этих тенденций сильно понизилась с уходом Чернышевского и что поэтому дать бой «Русскому Слову» по этой линии «Современник» не решался, предпочитая вести полемику по вопросам сравнительно второстепенным. «Полемика пошла по побочному руслу и тем самым потеряла свой общественный смысл» (В. Кирпотин. «Радикальный разночинец Писарев». Л. 1929. Стр. 233).

Во всяком случае указанный В. Кирпотиным мотив очень заметен в том фельетоне Салтыкова, который был причиной начала полемики.

С начала 1863 г. Салтыков вел в «Современнике» анонимно ежемесячный фельетон под названием «Наша общественная жизнь». Январский фельетон 1864 г. был посвящен вопросу о «понижении тона» (т. е. об оппортунистических тенденциях) в русском обществе и литературе. Ряд мест этого фельетона бил по «нигилистам» с их теорией распространения знания, как основного фактора улучшения жизни. Таково в особенности следующее место: «...уверен, что большинство нигилистов думает именно так, как я. Некоторые из них уже начинают исподволь поговаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным трепетаниям» относятся уже с некоторою игривостью, как к чему-то не имеющему никакой солидности и приличному только мальчишескому возрасту.

— Да ведь давно ли вы утверждали противное? давно ли вы говорили, что и наука и искусство только в той мере заслуживают этого имени, в какой они способствуют эмансипации человека, в какой дают человеку доступ к пользованию его человеческими правами? — спросил я на-днях у одного из таких кающихся нигилистов.

— Наука и даст все это, — отвечал он.

. . . .

— Но послушайте, ведь вы рассуждаете уже слишком приблизительно к «Русскому Вестнику»!

Я надеялся сразить и устыдить его этим аргументом, но, к величайшему моему изумлению, он не только не устыдился, но хлопнул меня по плечу и, вздохнувши (увы! последний призрак исчезающей стыдливости!), сказал:

— Э, батюшка! все т а м будем!

И, по-моему, он сказал вещь совершенно резонную. Но и я сказал вещь не менее резонную, когда утверждал, что нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты.

Все там будем!»

(«Современник», 1864, № 1—2, отд. II, стр. 27—28).

В связи с темой о «понижении тона» и примирении с существующим стоит приведенное в статье Зайцева (стр. 207) рассуждение о «чаше», которая не «сойдет откуда-то когда-нибудь», но «уже давно стоит на столе». Салтыков ведет речь от имени оппортуниста, призывающего «успокоиться и прекратить игру», лишь иногда вставляя иронические замечания по поводу проповедуемых убеждений. Например: «И если при таком убеждении жизнь утрачивает свою игривость, то взамен того она приобретает то завидное спокойствие, которое замечается в физиономиях кукол с вставленными вместо глаз светленькими оловянными кружками» (стр. 20). Или:

«Но чего же, каких жизненных результатов добился ты с приобретением такого взгляда? спросят, быть может, меня читатели.

Сознаюсь откровенно, вопрос этот несколько затрудняет меня. В самом

деле, чего я достиг? — спрашиваю я себя. Достиг ли я мира душевного? Нет, не достиг, ибо покой мой беспрестанно нарушается чужим беспокойством, ибо для того, чтобы беспечно наслаждаться своим спокойствием, нужно, чтоб и все окружающее предавалось такому же наслаждению. Достиг ли я, по крайней мере, права прозябать втихомолку в своем темном углу? Нет, и этого права я не достиг, потому что право прозябания, несмотря на очевидную неказистость, есть слишком ценное право, чтоб быть доступным кому бы то ни было, исключая тех редких избранников фортуны, которые до того уже щедро наделены природой, что при ближайшем рассмотрении кажется, как-будто они и совсем ничем не одарены»... (стр. 21).

Таким образом, точку зрения Салтыкова нельзя отождествлять с точкой зрения, с которой ведется фельетон, как это делает — в большой мере, вероятно, с полемической целью — Зайцев, трактующий фельетон, как призыв к оппортунизму, как издевательство над «недовольством существующими благами». Но несомненно, что положительные тенденции салтыковского фельетона не ясны, а сатирические выпады его направлены в две стороны. Так, за только-что приведенной тирадой следует другая — «о люде волнующемся и стремящемся», который тоже ничего не достигает «сегодняшней пустой деятельностью, поправляющей вчерашнюю пустую деятельность», кроме «вечного, непрерывающегося самообольщения, которое для человека, непричастного этой суматохе, кажется совершенно необъяснимою психологическою загадкою» (стр. 21). Осмеиваются не только кающиеся нигилисты, но и не кающиеся. Вот место, наиболее в этом смысле характерное:

«Когда я вспомню, например, что «со временем» дети будут рождать отцов, а яицы будут учить курицу, что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастною рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста» (стр. 26).

Насмешки над нигилистками, с пением и плясками рассекающими трупы, очевидным образом имеют в виду роман Чернышевского «Что делать?», где в одном из «снов Веры Павловны» изображалось слияние в гармоническое единство работы и наслаждения, труда и искусства в будущем обществе.

Наконец, фельетон Салтыкова заключал и прямые личные оскорбления руководителей «Русского Слова». Здесь описывается прием у основателя «Русского Слова» графа Кушелева-Безбородко. Перед «развалившимся в кресле меценатом» стоит «согбенный в дугу философ Ризположенский» (т. е. Благосветлов) и униженно выпрашивает денег, критик Кроличков (Зайцев) жадно пожирает стерлядь, публицист Бенескриптов (Писарев) возмущает графского мажордома неумением вести себя за столом и т. д.

«Русское Слово» приняло бой. В № 2 журнала появились «Цветы невинного юмора» Писарева и «Глуповцы, попавшие в «Современник» Зайцева. Зайцев отражал нападение Салтыкова на нигилистов. Писарев старался уничтожить Салтыкова, как беллетриста и сатирика, интерпретируя его творчество как беспринципное и плоское зубоскальство. Оба критика били по проявленной Салтыковым «обоюдоострости», по отсутствию четких общественных тенденций в его сатире.

Салтыков отвечал в своем последнем — мартовском — фельетоне («Современник», № 3, отд. II. «Наша общественная жизнь»). Он отвергает обвинение в стремлении «выругать огулом молодежь», указывая, что имел в виду лишь «вислоухих и юродствующих, которые с ухарской развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила» (стр. 56). Но при этом он подчеркивает, что к «вислоухим и юродствующим» относит публицистов «Русского Слова» — признанных вождей радикальной молодежи.

«Русское Слово» ответило в № 4 анонимной статьей «Кающийся, но нераскаявшийся фельетонист «Современника» и фельетоном, посвященным самой личности Салтыкова. В этот фельетон вставлен большой «романс в действии» «Ты пойми, пойми, мой милый друг!», представляющий собой злейшую сатирическую биографию Салтыкова.

На этом полемика по поводу салтыковского фельетона закончилась, возобновившись через несколько номеров обоих журналов по другим поводам.

(1) С 1858 по 1860 г. Салтыков был рязанским вице-губернатором, с 1860 по 1862 — тверским вице-губернатором, в начале 1862 г. вышел в отставку, а в конце года стал соредактором «Современника». Слова, взятые в кавычки, — неточная цитата из рассказа Салтыкова «Для детского возраста» («Невинные рассказы», 1863). У Салтыкова: «я, который благоденствовал в Вятке и процветал в Перми, жуировал жизнью в Рязани и наслаждался душевным спокойствием в Твери...»

(2) «Миша и Ваня. Забытая история» («Невинные рассказы». 1863) — рассказ о самоубийстве двух крепостных мальчиков, доведенных до отчаяния истязаниями помещицы. Об этом рассказе много говорит Писарев в упомянутой статье «Цветы невинного юмора». Он старается скомпрометировать тенденции рассказа утверждением, что Салтыков «желает разыграть самым блистательным образом роль гуманного прогрессиста», что это «подделка с начала до конца» и т. п. По мнению Иванова-Разумника, Зайцев намекает на следующие слова рассказа Салтыкова: «Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя...» и т. д. (Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество». Ч. I, М. 1930).

(3) П. И. Мельников, напечатавший в конце 50-х годов ряд рассказов «обличительного» типа, в 60-е годы стал деятельным сотрудником реакционных «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника». Постоянным и деятельным сотрудником этих изданий стал и Н. Н. Воскобойников, первоначально писавший статьи «либерального» направления.

(4) «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского (напеч. первоначально в «Русском Вестнике» 1863 г.) — один из наиболее известных полемических «антинигилистических» романов 60-х годов.

(5) Роман Чернышевского «Что делать?» напечатан в мартовской, апрельской и майской книгах «Современника» 1863 г. (тт. XCV и XCVI).

(6) Добролюбов оценивал творчество Салтыкова неизменно положительно. Быть может, Зайцев имеет в виду место в статье «Разные сочинения С. Аксакова» («Современник», 1859 г., кн II), где Добролюбов говорит о «произведениях гг. Щедрина, Печерского и др.»: «Увлеченные своей основной идеей — карать порок, писатели-обличители делали очень часто ту ошибку, что отбрасывали в своих произведениях все, что казалось посторонним главной их мысли; оттого рассказы их и страдали часто некоторой искусственностью и безжизненностью».

(7) Под цензурным названием «Карл Смелый» шла в то время опера Россини «Вильгельм Телль», очень любимая революционно настроенной молодежью. Подробное описание представления и демонстративного поведения «нигилистов», бурно приветствовавших все революционные места оперы, дано в неподписанном фельетоне Салтыкова «Петербургские театры» в 1—2 кн. «Современника» 1863 г. (т. XCIV, отд. II, стр. 189—197). «Запутанное дело» — одна из первых повестей Салтыкова (1848). Появление ее в печати было причиной вятской ссылки Салтыкова. Герой повести также присутствует на представлении «Карла Смелого». В повести есть намеки на революционный характер оперы.

(8) Псевдоним Писемского, под которым он напечатал в 1861 г. серию фельетонов в «Библиотеке для Чтения».

(9) Один из героев «Взбаламученного моря».

(10) В неподписанном, целиком направленном против Салтыкова фельетоне «Молодое перо» («Время», 1863, № 2) Ф. М. Достоевский, между

прочим, писал: «Или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставили прежнее у порога?» Салтыков отвечал в раздраженном тоне: «Лицо, которое вы так легкомысленно упрекнули в чем-то «прежнем», уже четыре года постоянно и исключительно печатает свои сочинения в «Современнике»... следовательно, интересы «Современника» всегда были близки этому рецензенту, следовательно, и впиваться было не во что, следовательно, и слова ваши, как и все вообще ваши слова, суть не более, как толкование в пустыне и о пустыне». («Тревоги «Времени». В «Нашей общественной жизни» — «Современник», 1863, № 3, отд. II, стр. 198—199). В новом фельетоне «Еще молодое перо» («Время», 1863, № 3) Достоевский раскрывает смысл своего намека, называя Салтыкова «нигилистом, перепеченным из обыкновенного либерала», «прогрессистом, перепеченным недавно в нигилисты по редакционной надобности», и упрекает его в том, что он «примкнул к бюрократии прогрессизма, думая, что она посильнее».

(11) В «Отцах и детях» Тургенева Павел Кирсанов произносит слово «принцип», как «принсйп», а Аркадий Кирсанов, как «прйнцип» («Отцы и дети», глава V).

(12) В написанной Салтыковым и напечатанной без подписи в 9-м номере «Свистка» (при апрельской книге «Современника» за 1863 г.) программе следующих номеров «Свистка» указана, между прочим, следующая статья (стр. 87): «Опыты сравнительной этимологии или «Мертвый дом по французским источникам». Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева» (псевдоним Салтыкова в «Свистке»). Иванов-Разумник пишет по этому поводу: «Мертвый дом» Достоевского был только-что напечатан тогда на страницах «Времени», и Салтыков, очевидно, имел в виду связь этого произведения с французскими источниками — быть может, с «Отверженными» Виктора Гюго. (М. Е. Салтыков-Щедрин, ч. I, стр. 337).

На защиту «Записок из Мертвого дома» тогда немедленно выступил Зайцев. В своих первых, недописанных, «Перлах и адамантах нашей журналистики» (первом, вообще, произведении, принадлежность которого Зайцеву может быть установлена) в 4-й книжке «Русского Слова» за 1863 г. Зайцев пишет:

«Не худо принять к сведению свистунам, что Конрад Лилиеншвагер был получше их, но никогда не свистел над вещами, которые и на свет-то божий чудом выползли, пройдя мимо двадцати аргусов. Можно сколько угодно ругать «Время»; оно действительно безобразно; но смеяться над «Мертвым домом» значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственною кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола.

Этот факт, повидимому, незначителен, но в сущности он свидетельствует о такого рода построении в мозгу свистуна: этот журнал безобразен, следовательно следует ругать все, что там ни помещается. Помести «Время» или «Русский Вестник» драму Шекспира, переменив только заглавие, и драма очутится в «Свистке». Вот некто, занимающийся разрытием давно погибших героев, гг. Перозио и Стасова, возвещал, что он напишет двадцать таких книжек, как «Время». А между тем этот некто со всеми прочими сотрудниками «Современника», исключая автора «Что делать?», не написали еще ничего, что бы можно было сравнить с несколькими страницами «Мертвого дома» Ф. Достоевского. Советую гг. свистунам «Современника» бросить вице-губернаторский тон. Свистеть, так свистеть, а не распекать» (стр. 16—17).

«Некто занимающийся разрытием...» и т. д. — это все намеки на Салтыкова. Таким образом, резкий выпад против него мы находим уже в самом начале литературной деятельности Зайцева, задолго до «раскола в нигилистах».

«Смирно поживали, в роще толковали» — стих из пародии Салтыкова на помещенное во «Времени» стихотворение Ф. Берга, в которой Салтыков

осмеивал под видом птиц сотрудников «Времени» («Современник», 1863, № 3. «Наша общественная жизнь». «Тревоги «Времени»).

(13) На это обвинение Салтыков так отвечал в № 3 «Современника» (отд. II, стр. 59): «...в прошлом году вышел роман «Что делать?» — роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками».

(14) Имеется в виду описание приема у «одного мецената». См. об этом во вводной части комментария.

(15) Имеется в виду статья М. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3), в которой «Отцы и дети» трактуются как клеветнический памфлет на молодежь.

(16) «Не только явные обскуранты, вроде публицистов «Домашней Беседы», поднимают крик против неверия, приносимого будто бы естествознанием; к ним присоединяются и другие люди, хотя не имеющие такой определенной репутации, но не умеющие отдать себе отчета в сущности дела. Даже любимый романист, повидимому переставший понимать свое общество, враждебно взглянул на то молодое поколение, в котором сильнее сказались влияния нового изучения и связанных с ним общественных и нравственных понятий». (Предисловие А. Пыпина к книге Э. Россмесслера «Значение естественных наук в образовании и преподавание их в школе». Спб. 1864. Стр. VII).

Б. Б.

Ю. ШМИДТ. ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Вып. 3, 4. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 3, «Библиографический листок», стр. 53—68, за подписью В. З.

Рецензия является продолжением большого отзыва Зайцева о первых выпусках той же книги (см. «Русск. Сл.», 1863, № 7).

Самая рецензия написана Зайцевым под влиянием памфлета Лассаля «Господин Юлиан Шмидт, история литературы. Издание с примечаниями наборщика» (1862). Эта статья Лассаля вошла, между прочим, в т. II его сочинений (Спб. 1870. Изд. Н. Полякова, стр. 305—402), переведенных В. Зайцевым. Самая книга была сожжена в 1871 г. по постановлению петербургского цензурного комитета. («Дело Спб. ценз. к-та», 1870 г., № 256. Лен. отд. Центрархива).

Выбор настоящей рецензии для нашего издания определяется характерной для Зайцева оценкой книги Шмидта. Прежде всего резко отрицательна оценка в связи с политическими симпатиями ее автора. Ненависть Юлиана Шмидта к Великой французской революции и коо всему, что так или иначе с ней связано и к ней восходит, проходиткак бы лейт-мотивом всех его рассуждений.

«Он (Шмидт. — *С. Р.*) никак не может помириться с историческим фактом, — писал Зайцев в первой рецензии на книгу Шмидта, — и тон, которым он говорит, например, о революции, заставляет иногда забывать, что книга написана 70 лет спустя после 89 года. Думается, что автор сам был жертвой террора, что и его спасло 9 термидора, без которого европейская цивилизации была бы лишена «Истории французской литературы XIX века». Негодование Ю. Шмидта против «гидры революции» отзывается каким-то личным озлоблением, как-будто эта революция лишила его отца, матери,

сестер, братьев и друзей обоего пола; как-будто он потерял через ту же гидру все свое достояние и в пылу скорби и гнева решился наказать своим пером зловредную гидру».

В другом месте Шмидт «определяет революцию порабощением благородной нации шайкой злоумышленников»... и этого было достаточно для Зайцева, чтобы определить свое отношение к автору «Истории французской литературы XIX века». А злобно недоброжелательное отношение Шмидта к социализму довершило оценку Зайцева в этой части.

Но, с другой стороны, Шмидт — противник теории искусства для искусства, и в этом плане Зайцев использует его в качестве своего союзника. Материал Шмидта — французская поэзия начала XIX в., и Зайцеву особенно ценно было воспользоваться взглядами единомышленника, работающего на ином материале; впрочем, Зайцев отмечает, что Шмидт лишь пользуется материалом французской литературы, но мысли его в этом плане обобщающие. «Пора понять, что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько всякое положительное число, как бы мало ни было, — больше нуля». В этом плане и характерны строки, касающиеся В. Гюго.

(¹) Неточность. Первый том книги Шмидта состоит не из двух, а трех выпусков (книг), а том второй из двух. В первой рецензии на книгу речь шла о 1-й и 2-й книгах первого тома; в настоящей Зайцев разбирает кн. 3-ю первого тома и книгу 4-ю (нумерация книг общая; 4-я книга тем самым 1-я книга второго тома). 5-я по общему счету и последняя книга осталась неразобранной.

(²) Приводим полностью весь соответствующий отрывок из первой рецензии Зайцева, интересный еще и по отзыву о Беранже.

«Единственная оппозиция, правда, смелая и благородная, которую встречали революционеры-писаки, сосредоточивалась в лицах П. Л. Курье и Беранже. Вероятно, во втором томе своей истории Ю. Шмидт даст мне случай поговорить о первом из них. Пока же я ограничусь некоторыми замечаниями о Беранже.

Если я поставил рядом имена Курье и Беранже, то это только потому, что эти два человека представляли собой действительно довольно сильную оппозицию направлению «гнилой эпохи». Но если по таланту и влиянию на народ Беранже был так же опасен для реакции, как и Курье, то его нравственные правила далеко не могут дать ему право на то уважение, которым справедливо пользуется память Курье. Курье был человек строгих убеждений; реакция знала это и не нашла других средств расправиться с ним, как подослать убийцу.

С Беранже не нужно было прибегать к таким крайним мерам. Вследствие ли поэтического легкомыслия или просто потому, что он не пренебрегал благами сей жизни, только он не прочь был подкурить и сильному миру.

Так, напр., в его сочинениях рядом с насмешками над католическим духовенством, аристократией, священным союзом, Карлом X, рядом со всем этим можно встретить различные оды в честь разных особ, между прочим, одну на въезд в Париж того самого графа Артуа, которого потом он так беспощадно осмеивал. Ни вступление союзников, ни наступавшее господство аристократии и духовенства, ни низвержение его героя — ничто не препятствовало ему рукоплескать въезжавшим Бурбонам. Правда, он был настолько честен, что потом, не опасаясь преследования, освистал тех же Бурбонов; но, как хотите, такое поведение немногим отличается от поведения австрийского поэта Якова Хама *. Что же касается до произведений Беранже, то всякий согласится, что единственное достоинство их, это — неисчерпаемая веселость и остроумие. По мысли же они очень незамечательны и, взятые вместе, доказывают как нельзя лучше, что у автора в голове страшный сумбур и что он уже потому не мог иметь твердых убеждений, что вообще ни о чем почти не думал.

---

* См. примечание 42 к статье «Белинский и Добролюбов». — *Ред.*

Послушаем, что говорит Ю. Шмидт о Беранже, и надо отдать ему справедливость, что говорит на этот раз не глупо:

«О политическом призвании Беранже было так много говорено, что, наконец, он и сам уверился в нем; а между тем все его политические убеждения легко можно свести к тому положению, что святоши, произносящие слово осуждения над бедными гризетками и бродягами, в душе не презирают наслаждения и что они в своих монастырях празднуют шабаши, на которых gaudriole не была бы осквернением. Эти святоши пользовались уважением реставрационного правительства и проповедывали христианство. Понятно, что милый поэт мстит династии и церкви за грехи их защитников, тем более, что песня ведет свое начало от фронды и особенно ядовито затрагивает сильных земл...».

Впрочем, я сомневаюсь, чтобы приведенное место принадлежало Ю. Шмидту. Я имею право сделать такое предположение, потому что встречаю на всякой странице у него заимствования чужих мнений. К довершению всего у него даже нельзя найти той учености, которой отличаются немецкие филистеры. Его статьи о Ривароле, Шанфоре, Сен-Жюсте, Сиейсе, Порталисе, Ренуаре и о множестве других есть перефразировка тех же статей из « Causeries du lundi Сент-Бева». *С.Р.*

ПЕРЛЫ И АДАМАНТЫ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 6, отд. II, стр. 43—52, за подписью В. З.

Печатаемая статья — вторая из четырех одинаково озаглавленных статей. Первая статья «Перлы и адаманты» (первое вообще произведение, принадлежность которого Зайцеву может быть установлена) напечатана без подписи в № 4 «Русского Слова» за 1863 г., третья статья, за подписью В. Зайцев, — в № 2 за 1865 г., четвертая, так же подписанная, — в № 7 за 1865 г.

(1) А. А. Григорьев, И. С. Аксаков, М. Н. Катков.

(2) «Мои литературные и нравственные скитальчества». «Детство». Гл. IV («Эпоха», 1864 г., № 3). Косица — псевдоним Н. Н. Страхова.

(3) Достоевский.

(4) Публицисты «Эпохи» прозвали обличительную литературу 60-х годов «а б л и ч и т е л ь н о й».

(5) Дальше намеки на отдельные места IV и V глав «Детства» («Мои литературные и нравственные скитальчества»).

(6) Обвинение Григорьева в том, что в статьи во «Времени» он вставлял куски статей, печатавшихся в «Москвитянине», см. в статье «Хлебная критика «Времени». («Р. Сл.», 1863, № 2) за подписью «Старый свистун». Григорьев участвовал в ред. не «Моск. Вестн.», а «Москвитянина».

(7) «Тщетно забрасывал я хрупкий якорь. Я предпочел, наконец, просто его бросить» (Ап. Григорьев. «Парадоксы органической критики», I. — «Эпоха», 1864, № 5, стр. 257). А. Григорьев был редактором журнала «Якорь» в 1863—1864 гг.

(8) Т. е. «Русском Вестнике» и «Современной Летописи».

(9) «Марево» В. Клюшникова — один из наиболее известных «антинигилистических» романов 60-х годов.

(11) Д. Аверкиев. «Г. Костомаров разбивает народные кумиры». — «Эпоха») был закрыт за помещенную в № 4 1863 г. статью Н. Н. Страхова о польском восстании «Роковой вопрос». Статья была неверно понята как полонофильская. Подробно об этом см. у Страхова в «Воспоминаниях о Достоевском», гл. X («Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб. 1883).

(11) Д. Аверкиев. «Г. Костомаров разбивает народные кумиры». — «Эпоха», 1864, № 3, стр. 276—297.

(12) Я. Полонский. «Разлад. Сцены из последнего польского восстания». — «Эпоха», 1864, № 4.

(13) Статья М. Бурбонова (Д. Минаева) «Резервные стихотворцы» помещена в той же книге «Русского Слова», что и комментируемая статья.

(14) Я. Полонский. «Свежее преданье. Роман в стихах». — «Время», 1861, №№ 6 и 10; 1862, № 1. Роман о поэте-идеалисте 30-х годов, друге Белинского и Станкевича. (Прототип героя — поэт И. П. Клюшников).

(15) Н. Берг в 1864 г. был «специальным корреспондентом в польских заграничных землях» «Библиотеки для Чтения», где поместил статьи «Первые два года последнего польского движения» (№№ 1 и 2) и «Краков и мои в нем похождения» (№ 3).

(16) «Самоуверенный тон и непризнавание последних годов общественного развития составляют последние отправления в жизни последних книжников» («Библиотека для Чтения», 1864 г., № 4—5, передовая статья, стр. 16). Тут же указано, что наиболее яркий представитель «книжников» — Писарев.

(17) «Некуда» — известный реакционный обличительный роман Лескова, печатался в «Библиотеке для Чтения» 1864 г.

(18) См. примечание 22 к статье «Славянофилы победили» — стр. 605.

(19) Подписная цена «Библиотеки для Чтения» за год.

(20) Рецензия на «Марево» Е. Э—на (Эдельсона) в №№ 4—5 и 6 «Библиотеки для Чтения» 1864 г.

(21) «Окончание романа г. Клюшникова «Марево» — «Отечественные Записки», 1864, № 6, «Литературная летопись».

(22) «Юбилей Шекспира в Петербурге». — «Библиотека для Чтения», 1864, № 4—5, «Общественные заметки». На стр. 33 и 34 цитаты из Писарева и Зайцева по вопросу об искусстве.

(23) См. фельетоны в «Голосе» 1864 г.: «В Тиволи» (№ 163), «Вседневная жизнь» (№ 169), «Ауто-да-фе в Тиволи» (№ 178).

(24) «И из чего они хлопочут и на чем думают основать свой успех? Неужели на постыдной спекуляции некоторыми именами, выставляемыми на obертке?» («Голос», 1864, № 183. «Вседневная жизнь»).

(25) Ответ Н. Альбертини напечатан в № 7 «Русского Слова» за 1864 г., стр. 77—80 (III пагин.).

Б. Б.

«ЕДИНСТВО РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО» КАТРФАЖА. Напечатано в «Русском Слове» 1864, № 8, «Библиографический листок», стр. 93—100, за подписью В. З.

Двойственность социальных воззрений Зайцева очевидна. По словам В. Кирпотина, «в историческом идеализме Зайцева явственно проступают две не ассимилировавшиеся струи. Одна из этих струй исходит от его основных западных учителей — Фогта, Молешотта и Бюхнера, а другая — от утопического социализма. Согласно воззрению первых, исторический процесс зависит всецело от биологии, как от биологических законов зависит и судьба индивида в обществе. Согласно воззрениям второго течения, судьба человека зависит от среды, в которой он вырос и воспитан... Вторая тенденция учила, что социальное зло заключается в классовом неравенстве и что для уничтожения этого неравенства нужно общественное преобразование на социалистических началах. Первая же тенденция утверждала, что в разности человеческих организмов заключен предел для равенства, которого не перепрыгнешь» («Публицисты и критики». М.—Л. 1932, стр. 155 и 157).

Эта биологическая тенденция нигде, пожалуй, не дошла у Зайцева до такого явного противоречия с социалистической, как в рецензии на книгу Катрфажа. Еще в рецензии на «Геологические этюды» Бурмистра («Р. Сл.», 1863, № 11—12) Зайцев говорит, что «все, что мы видим в человеке, переходит в обезьяну, проходя по дороге через цветные расы и те несчастные создания, которые рождаются иногда среди белого племени, напоминая ему его родство с прочим миром животных: я говорю об идиотах, кретинах и микроцефалах... Даже непосредственное наблюдение над умственной деятельностью черной расы дает возможность заметить ее близкое

зоологическое родство с обезьяною... Черная раса и в анатомическом отношении представляет собою переход от белого племени к обезьянам... Кроме того, у негров мозг мало развит сравнительно с остальной нервной системой, и чем ниже мы будем спускаться по зоологической лестнице, тем более будет возрастать это отношение, так что, наконец, у насекомых центрального мозга не существует» («Библ. листок», стр. 10—11).

Принимая вслед за Фогтом теорию происхождения разных рас людей от разных пород обезьян, Зайцев как-будто хочет вообще ликвидировать понятие «человека», сведя это общее понятие к нескольким зоологическим родам. Пафос предыдущих утверждений именно в противопоставлении этих зоологических родов идеалистической конструкции понятия человека.

Эта точка зрения привела Зайцева к замечательному социологическому выводу. В рецензии на книгу Катрфажа Зайцев делает из полигенетической теории вывод о неизбежности и законности социального неравенства белой и цветной рас и даже рабства «низших рас». Характерно, что для манифестации этих взглядов взята книга чисто натуралистическая и притом уже рецензированная в «Библиографическом листке» № 4 «Русского Слова» Г. Благосветловым, который никаких социальных выводов из разбора этого сочинения не делает.

Взгляды Зайцева вызвали шумную полемику и стали любимым достоянием сатирических журналов. Д. Минаев в своем «Евгении Онегине нашего времени» (Спб. 1865), характеризуя основные убеждения героя-нигилиста, заставляет его

... вслед за Зайцевым суровым
Произносить, что негр есть скот,
Едва ли стоящий забот.

(¹) Аболиционистами в Соединенных Штатах назывались деятели, стремившиеся посредством публичных проповедей и печати содействовать уничтожению рабства.

(²) В статье «Черный человек» во II части «Геологических этюдов» Спб. 1863 (H. Burmeister. «Geologische Bilder zur Geschichte der Erde und ihra Bewohner». 2 B-de. Lpz. 1853).

(³) Намек на заметку «Пушкина ругают» в «Заметках летописца» (Н. Н. Страхова) в № 4 «Эпохи» 1864 г. *Б. Б*

ОТВЕТ МОИМ ОБВИНИТЕЛЯМ ПО ПОВОДУ МОЕГО МНЕНИЯ О ЦВЕТНЫХ ПЛЕМЕНАХ. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 12, «Библиографический листок».

Целью этой заметки было развить взгляды, высказанные в рецензии на книгу Катрфажа, и опровергнуть обвинение в реакционности их.

(¹) Жак Лефрень (псевдоним Эли Реклю) вел в «Русском Слове» иностранное политическое обозрение.

(²) C. Vogt. «Vorlesungen über den Menschen, seine Stellung in der Schöfund und in der Geschichte der Erde.» Gieszen. 1863. Рец. Зайцева на русские переводы этой книги см. в «Р. Сл.», 1863, № 11—12 и 1864, № 3

(³) Э. Реклю. «Антильские острова и Центральная Америка — будущая негритянская империя».— «Р. Сл.», 1863 г., № 11—12, отд. «Политика», стр. 33—42.

(⁴) Статья Постороннего сатирика (М. Антоновича) «Русскому Слову» (Предварительные объяснения). — «Современник», 1864 г., № 11—12, отдел «Литературные мелочи», стр. 156—172.

(⁵) Имеется в виду стихотворение «Бескорыстный реформатор» (1864).

(⁶) «Русское Слово», 1864, № 10. Перепечатана в настоящем издании.

(⁷) В той же статье.

(⁸) «Еще влюбленный в Россию». — «Современник», 1864, № 11—12. «Литературные мелочи», стр. 172—174.

(⁹) Антонович указывает, что Зайцев полемизирует с ним, оставляя

без полемики хотя бы «невежд, прячущихся под крыло «Московских Ведомостей». Зайцев в ответе намекает на невозможность такой полемики по цензурным условиям.

(10) Антонович писал в статье «Русскому Слову»: «Если «Русское Слово» назвало критику «Современника» вообще и г. Антоновича в частности «лукошком глубокомыслия», то стало быть, и я имею полное право назвать критику «Русского Слова»... ну, как бы ее назвать? — ну, хоть бутербродом глубокомыслия» (стр. 169).

ГГ. ПОСТОРОННЕМУ И ВСЯКИМ ПРОЧИМ САТИРИКАМ. Напечатано в «Русском Слове» 1865, № 2, отд. II, стр. 63—65.

Заметка направлена против критических отзывов, вызванных рецензией Зайцева на книгу Катрфажа и его «Ответом моим обвинителям», — именно против статьи Постороннего сатирика (М. Антоновича) «Русскому Слову» («Современник», 1865, № 1, «Литературные мелочи», стр. 157—170) и неподписанной статьи Н. Д. Ножина «По поводу статей «Русского Слова» о невольничестве» («Искра», 1865, № 8). Нельзя не видеть, что Зайцев по существу уклоняется от спора, предпочитая свести речь на не имеющую к нему прямого отношения грубую статью И. Дмитриева «Предисловие к истории Григория Благосветлова» («Будильник», 1865, № 18). Между тем оппонентами были выставлены серьезные аргументы. Антонович указывал, что «отрицать возможность равноправности негров значит отрицать возможность их свободы, значит утверждать неизбежность их рабства, значит сходиться во мнениях с американскими плантаторами». Далее он доказывает неправомерность вывода о необходимости неравноправия из признания неравноценности физической организации. «У женщины организация отлична от мужской; у женщин меньше мозга, меньше голова, меньше кровяных шариков; но из этого не следует, что она должна иметь прав меньше, чем мужчина». Ножин цитатами из Фогта и Дарвина доказывает несовпадение их мнений с социологическими выводами Зайцева из полигенетической теории.

Ответ Постороннего сатирика (М. Антоновича) на комментируемую заметку под названием «Г. Зайцеву (Подражание ему же)» помещен в «Литературных мелочах» № 3 «Современника» за 1865, стр. 210—217.

«Русское Слово» возвращается к полемике о положении негров в № 9 за 1865 г. Зайцева защищает Писарев во II главе статьи «Посмотрим», Зайцев посвящает этому вопросу большую часть своей рецензии на книгу П. Бибикова (перепечатана в настоящем издании).

(1) «Буря в стакане воды или копеечное великодушие г. Постороннего сатирика». Статья относится к полемике между «Русским Словом» и «Современником», о характере которой см. в комментарии к статье «Глуповцы, попавшие в «Современник».

(2) Статья Антоновича «Русскому Слову», стр. 161.

(3) Та же статья, стр. 157 и 158.

(4) См. примеч. 9 к «Ответу моим обвинителям».

(5) Намек относится к личной полемике Антоновича с Благосветловым.

(6) Стебницкий — псевдоним Лескова. Ср. отзывы Зайцева о его романе «Некуда» в «Перлах и адамантах русской журналистики» и в «Славянофилы победили».

(7) И. Дмитриев писал в упомянутой статье, что «благосветловщина вползла в этот журнал, назойливо бросается в глаза во многих статьях и тем бросает оскорбительную тень на статьи его честных сотрудников».

Б. Б.

СЛАВЯНОФИЛЫ ПОБЕДИЛИ. Напечатано в «Русском Слове» 1864, № 10, «Литературное обвинение», стр. 59—76.

Как известно, в 1863—1864 гг. большинство русских журналов, органы всех оттенков либерализма, резко повернули вправо — на путь открытого сотрудничества с самодержавием. Разногласия между либерализмом и

крайне правым флангом русской журналистики, всесильным представителем которого был Катков, становились все менее существенными. Все более укреплялся единый фронт против «Современника» и «Русского Слова». Под этим углом зрения и рассматривает Зайцев ряд журнальных и газетных статей — «Эпохи», «Библиотеки для Чтения», «Дня», «Отечественных Записок», «Московских Ведомостей», «Голоса».

«Эпоха» Достоевского не была исключением. Она значительно поправела по сравнению с «Временем», закрытым в 1863 г. по проискам Каткова. «Эпоха» избегала полемики с ним или вела ее весьма осторожно, преклонялась перед «Днем» Ив. Аксакова, продолжала еще более ожесточенную борьбу с «Современником». Статья Н. Страхова «Славянофилы победили», название которой Зайцев заимствовал для своего обзора, появилась в его «Заметках летописца» в № 6 «Эпохи» за 1864 г. Статья эта весьма характерна для политической позиции журнала. «Польское дело разбудило нас... — пишет Страхов. — В нас пробудилось и заговорило все громче и громче чувство своей народности. Это была правильная и неизбежная реакция народного организма». До этого времени для литературы были характерны «оторванность от жизни и господство идей, не порожденных живою действительностию»; большим влиянием пользовалась петербургская «литература общих мест и общих взглядов, литература всевозможных отвлеченностей и общечеловечностей, литература беспочвенная, фантастическая, напряженная и нездоровая». Литература эта была поставлена втупик событиями 1863 г.; центр переместился в Москву; читать стали «День» и «Московские Ведомости», «только их голос и был слышен. И нельзя не отдать им справедливости — они говорили громко и внятно». Рассыпаясь в любезностях по адресу «Московских Ведомостей» (проницательность, сила ума и слова, искренность и пр.), Страхов отмечает, что «почтенная газета.... отличалась более увлечением чувства, чем строгостью холодных рассуждений», была чрезмерно подозрительна и недоверчива, и отдает предпочтение «Дню». «Дню» «не нужно было делать никакого переворота, никакой перемены во взгляде, которого он держался, ему не потребовалось той смелости, которая оказалась необходимой для «Московских Ведомостей». Ибо, в отношении к направлению, «Дню» не приходилось выкидывать новое знамя, а нужно было только крепко держаться знамени, поднятого Хомяковым, Киреевским и К. Аксаковым». Победу «Дня» и «Московских Ведомостей» Страхов оценивает следующим образом: «То, что имело действительную силу, развилось и раскрылось в ответ на вызвавшие влияния; а то, что имело призрачное значение, значение явлений воздушных и эфемерных, потерялось и рассеялось в прикосновении с действительностию».

«Современник» не оставил без внимания статьи Страхова и охарактеризовал ее «как вольную перепечатку передовых статей «Московских Ведомостей»... действительно, между ними поразительное сходство, только, разумеется, в статейке «Эпохи» есть еще самая грубая лесть и угодливость московской газете...» («Современник», 1864, № 8, «Современное обозрение», стр. 340).

Нельзя не отметить, что Зайцев, увлеченный происходившей как раз в это время полемикой между «Русским Словом» и «Современником», совершил ошибку, включив в свой обзор «Современник» и даже не подчеркнув, что позиция его резко отличается от позиции прочих журналов и газет, коснувшись исключительно его «непристойностей» в полемике с «Эпохой». На эту ошибку обрушился Антонович. «Ужели вы не понимаете смысла моей полемики с «Эпохой», — писал он в статье «Русскому Слову», — и не знаете, почему я издевался над этим стрижиным журналом, и ужели он, по-вашему, не заслуживает моих насмешек... А я-то стараюсь, а я-то толкую, что вот, мол, моя полемика имеет такой-то смысл, что личности, которыми я занимаюсь, служат для меня представителями известных журнальных тенденций и направлений, что все то, над чем я издеваюсь, очень дурно и достойно осуждения и осмеяния». Антонович считает, что вни-

мание публициста должно быть главным образом обращено не на всякие «непристойности», а на «статьи серьезные и благопристойные», но возмутительные по самому своему существу, несмотря на «истинно джентльменскую наружность». По его мнению, своими жалобами на «непристойности» «Современника» Зайцев играет на руку враждебным и «Современнику», и «Русскому Слову» силам. «Многие очень обрадовались непристойностям, нарочно подняли против них шум, чтобы под шумок и в приличной форме делать свое дело, проводить незаметно свои глубоко непристойные идейки. Если бы «Русское Слово» вникло в самую сущность журнального положения, оно не стало бы поддерживать и усиливать этого шума, прикрывающего собою очень дурные речи, а старалось бы остановить его». Наконец, Антонович упрекает Зайцева, что он подробно не остановился на том, что есть в статье Страхова «ужасного и вопиющего» («Современник», 1864, № 11—12, «Современное обозрение», стр. 159—166).

Полемика Антоновича и Зайцева по поводу статьи последнего «Славянофилы победили» продолжалась и позже — см. «Русское Слово», 1864, № 12, «Библиографический листок», стр. 85; «Современник», 1865, № 1, статья Постороннего сатирика «Русскому Слову».

(1) Цитата из памфлета Ф. М. Достоевского «Господин Щедрин или раскол в нигилистах»: «...в «Своевременном» произошли беспорядки. Старые, капитальные сотрудники исчезли: Правдолюбов скончался; остальные не оказались в наличности. Редакция и ближайшие сотрудники тотчас же собрались для рассуждений... — Наше дело плохо, — начал один из редакторов. — Вы знаете, господа, что Правдолюбов скончался, что другие...» и т. д. («Эпоха», 1864, № 5, стр. 276). «Своевременный» — «Современник», Правдолюбов — Добролюбов, умерший 17 ноября 1861 года, «остальные», «другие» — Чернышевский, арестованный 7 июля 1862 г.

(2) Из передовой статьи, направленной против Шедо-Ферротти и его книги «Etudes sur l'avenir de la Russie“. После приведенного Зайцевым отрывка Катков недвумысленно заявляет, что враждебные чувства к нему носят отнюдь не личный характер: «Не к нам лично относится ненависть, но вообще к русскому человеку, к русской мысли, к русскому чувству, получившему голос... Наше имя... служит только средством для того, чтоб умалить значение новой силы, которая не имелась в виду и с которой, однако, приходится считаться: эта сила — пробуждающееся чувство русской народности и возникающая на Руси гласность независимого мнения».

(3) Байборода — псевдоним Каткова, Леонтьева и Ф. М. Дмитриева. В 1857—1858 гг. в «Русском Вестнике» было напечатано несколько «Изобличительных писем» Байбороды, направленных преимущественно против славянофильской «Русской Беседы».

(4) Под «критиками» Юркевича разумеются его статьи по философским вопросам, печатавшиеся в «Русском Вестнике». Главной их целью было развенчать материалистическую философию Запада в лице Фейербаха, Бюхнера и др. и их русских последователей, в первую очередь — Чернышевского.

(5) «Басни И. А. Крылова в IX книгах, иллюстрированные академиком К. А. Трутовским и гравированные лучшими художниками. Биография написана П. А. Плетневым», Спб. 1864.

(6) О «Голосе женщины» Н. П—ной см. также: «Современник», 1865, № 1, в статье «Сами против себя», и «Эпоха», 1864, № 10, в статье «Наши домашние дела».

(7) В № 32 «Дня» Ив. Аксаков утверждал, что евреи в наше время — «анахронизм, но анахронизм, не мирящийся с своей участью, а претендующий на значение с о в р е м е н н о е». Если религия евреев имеет право на существование, то этим, по мнению Аксакова, устраняется вся история человечества после рождества Христова, потому что «верующий еврей продолжает в своем сознании распинать Христа». Выход, по мнению Аксакова,

один: «принять те начала, которые составляют закон всего современного просвещенного мира», т. е. христианство. В предыдущем номере «Дня» передовая статья была посвящена вопросу об инородцах в России. Аксаков ополчается на «пошлое мнение об отсутствии какой-либо связи религии с народностью» и утверждает, что истинно-русским человеком может быть только православный. «Мы можем терпеть около себя, — пишет он, — всяких инородцев и иноверцев, можем предоставлять им свободу вероисповедания и национального развития, можем наделять их разными гражданскими правами, но не можем, без отречения от самих себя, признавать их такими же, как мы, полными хозяевами и полновластными распорядителями в русской земле, в угоду им унижать наше значение как русской народности — неразлучной с идеею православия». На эту статью и возражали «Биржевые Ведомости» (1864, № 216), впрочем, в весьма благонамеренном тоне. «Странно, — писали «Биржевые Ведомости», — и даже в высшей степени несправедливо не признавать чистыми и истыми по духу и убеждению тех из иноплеменных и иноверных подданных России, которые хотя и чужды ей по происхождению, но которые, как и природные русские, честно и верно трудятся на пользу России и умеют храбро умирать под ее знаменами на полях битвы» и т. д. По этому поводу Зайцев вспоминает об эпизоде, имевшем место в 1858 году. В журнале «Иллюстрация», выходившем под редакцией Вл. Зотова, была напечатана антисемитская статья «Западно-русские жиды и их современное положение». В ответ на нее в «Русском Вестнике» и «Атенее» появились статьи И. Чацкина и М. Горвица. «Иллюстрация» не смутилась и заявила, что они подкуплены каким-то богатым евреем. Тогда в «Русском Вестнике» (1858, ноябрь, кн. 1 и 2) был помещен протест, подписанный большим количеством писателей, журналистов, ученых самых различных направлений. Добролюбов скептически отнесся к протесту, считая его одним из типичных проявлений модного в то время поверхностного либерализма — см. статью «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, № 1, «Современное обозрение», стр. 5—6), «Письма из провинции» (1859, № 2, «Свисток», стр. 198—210). «И жид есть тоже человек» — строка из сатирического стихотворения Добролюбова «Наш демон», высмеивающего либерализм конца 50-х годов («Современник», 1859, № 4, «Свисток», стр. 367).

(⁸) Зайцев имеет в виду статью Н. Н. Страхова «Русские немцы» в его «Заметках летописца» («Эпоха», 1864, № 5, стр. 247—250). В ней говорится о проповеди лифляндского епископа и о статье по поводу нее «Московских Ведомостей» (1864, № 97). «Не позволительно ли русскому желать, — писали «Московские Ведомости», — чтобы... немец в России, не разучиваясь своему языку (которому мы и сами учимся) и не изменяя своей веры, — тем не менее звал себя прежде всего русским и дорожил этим званием». Но Страхова не удовлетворяет такая постановка вопроса; желания Каткова ему представляются слишком умеренными. «Мы, русские... можем прямо и открыто желать, чтобы немцы, живущие, действующие и служащие среди нас, разучились своему языку, приняли православную веру, словом вполне обрусели, вполне слились с русскими людьми». В декабре 1864 г. в тех же «Заметках летописца» Страхов уже бьет отбой, отрекаясь от приписываемых ему стремлений «преследовать и истреблять иностранцев, насильственно перекрещивать евреев, отнимать гражданские права у всякого иноверца и т. д.». «Если бы все мы уважали и ценили нашу народность, — пишет он, — если бы каждый русский понимал и свято соблюдал интересы своей народности, то разве могли бы иметь какое-нибудь значение все наши иноплеменники, какими бы правами и даже привилегиями они ни пользовались?» («Эпоха», 1864, № 12, стр. 22).

(⁹) В № 39 «Дня» за 1864 г. помещен перевод Н. Щербины с чешского «Великая панихида (Из Челяковского)». Это — патриотическое стихотворение о пожаре Москвы в 1812 году.

(¹⁰) О корреспонденции Н. Кохановской «С хутора» по поводу освящения Святогорской церкви. Написанная очень торжественно, она кончает-

ся такими словами: «Конечно, на воде нельзя писать; но, подъезжая к Святогорью, когда вам сверкнет в глаза опоясывающая его голубая лента Донца — на ней будто видишь написанным прекрасное имя Татьяны Борисовны Потемкиной». Говоря о галлюцинациях Кохановской, Зайцев имеет в виду именно эти слова.

(11) Под названием «Перлы и адаманты русской журналистики» Зайцев напечатал четыре статьи, являющиеся полемическими обзорами враждебных «Русскому Слову» журналов. Одна из них перепечатана в настоящем издании.

(12) «Отечественные Записки» не принимали непосредственного участия в резкой полемике между «Современником» (Салтыков, Антонович) и «Эпохой» (Достоевский, Страхов и др.), разгоревшейся в 1864 г. Однако журнал Краевского вел непрерывную борьбу с «Современником». Одним из актов этой борьбы было напечатание «Покорнейшей просьбы» Провинциала в № 9 «Отечественных Записок» за 1864 г.

(13) В № 7 «Современника» за 1864 г. была помещена статья Постороннего сатирика (Антоновича) «Стрижам (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)», полная резких нападок на «Эпоху» и на Достоевского. Достоевский, раздосадованный статьей, ответил на нее «Необходимым заявлением» («Эпоха», 1864, № 7), в котором он сетовал на ругательства, «каких еще не бывало в русской печати», сплетни и другие «бесцеремонные полемические приемы», жаловался на то, что Посторонний сатирик касается его болезни и т. д. В № 9 «Современника» появилась новая статья Постороннего сатирика «Стрижи в западне. (Истинное происшествие)». Здесь Антонович рассказывает, что в статье «Стрижам» он полемизировал с «Эпохой», «употребляя ее же собственные манеры и приемы», и не только приемы: много отдельных выражений, даже целые отрывки и эпизоды, лишь с незначительными изменениями, перенес Антонович в свою статью из статей «Эпохи». «И этот умысел мой, — пишет он, — удался вполне; в западню попали, кроме стрижей, еще некоторые господа, которые обличают «Современник» в цинизме за те слова и картины, которые мною заимствованы из статей г. Достоевского».

(14) Цитата из статьи Антоновича «Стрижам» («Современник», 1864, № 7, «Современное обозрение», стр. 161).

(15) Речь идет о «Нашей общественной жизни» Салтыкова в № 1 «Современника» за 1864 г., с которой началась полемика между «Современником» и «Русским Словом». В этой статье Салтыков описывает между прочим свое посещение одного «гнилого, расслабленного мецената» и его гостей: «Я видел, как мрачный философ (philosopho di forza). Ризположенский пожирал фазана на терелке vieux saxe; я видел, как легкий философ (philosopho di grazia) Семечкин выпил разом три рюмки водки из богемского хрусталя и жадно искал одолоумевшими глазами колбасы, но не находил ничего, кроме страсбургского пастета и разных подстрекающих аппетит сыров; я видел, как

Шекснинска стерлядь золотая

сделалась жертвою плотоядности критика Кроличкова; я видел, как страдал мажордом мецената, стоя за столом публициста Бенескриптова и чуть-чуть не вслух восклицал: «embourbé! embourbé!» и т. д. Здесь очень прозрачно описана редакция «Русского Слова»: меценат — граф Г. Кушелев-Безбородко, Ризположенский — Благосветлов, Кроличков — Зайцев. Бенескриптов — Писарев.

(16) «Острота» эта принадлежит Достоевскому. В статье «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» одно из условий, на которых Щедродарова принимают в редакцию «Современного», формулировано в таких выражениях: «Молодое перо! Вам надо проникнуться капитальнейшею мыслию нашего направления, а именно; для счастия всего человечества, равно как и отдельно для каждого человека, прежде всего и важнее всего должно быть — брюхо, иначе — живот» («Эпоха», 1864, № 5, стр. 282).

В своей «Покорнейшей просьбе» Провинциал, цитируя последние слова, не указывает, естественно, их источника.

(17) Из статьи Incognito (Е. Зарина) «Начало конца» — «Отечественные Записки», 1864, № 6, стр. 816.

(18) Зайцев говорит о передовой, программной статье, напечатанной в № 7 «Библиотеки для Чтения» за 1864 г. До сих пор, — читаем в этой статье, — «направление... считалось первым условием порядочности, и только оно давало права гражданства в литературном мире». Но все эти направления «не выражают стремления к участию в общественной жизни, не предлагают определительного разрешения ее задач и вопросов, а скорее состоят в той или другой манере их неразрешения»... Таким образом, «Библиотека для Чтения» повторяет сделавшееся к тому времени шаблонным обвинение радикальной и революционной журналистики в «отрицательном» характере их программы и отсутствии положительных идеалов. «Библиотека для Чтения» заявляет, что «период оппозиции» уже кончился, и отказывается от всякого направления: «в жизни нет данных для чего-либо подобного вашим направлениям; в нас не будет его до тех пор, пока нам не даст его жизнь, если только она может дать». Два пути лежат перед литературой, и совершенно ясно из характеристики их, где симпатии «Библиотеки для Чтения». Один — «путь сектаторский, миссионерский, тот, которым следуют люди доктрины, догмы». Другой путь — это путь, «на который иначе не входишь, как после уразумения действительности и отношения к ней положительного; тот, следуя которому, не станешь, несмотря ни на что, ломать живые силы под мечтательные уклады, как бы высоки и роскошны они ни были; тот, для которого действительность есть исходный путь, есть то данное, которое входит в постройку всех планов и идеалов в о з м о ж н о г о будущего; который предпочитает синицу в руках журавлю в небе». Путь, избранный «Библиотекой для Чтения», это путь мирного сотрудничества с самодержавием и приспособления к нему. И до, и после этой статьи «Библиотека для Чтения» неоднократно нападала на «направленчество» радикальных журналов — см., напр., статью Н. В[оскобойник]ова «Что такое наши теперешние журнальные направления» (1864, № 1), объявление «Об издании «Библиотеки для Чтения» в 1865 году (1864, № 10) и др.

(19) «Взбаламученное море» было напечатано в «Русском Вестнике» (1863, №№ 3—8); «статья об обращении немцев» — «Русские немцы» Страхова, о ней см. примечание 8.

(20) Действительно, много переводных статей было напечатано в разных журналах по непосредственному указанию «Заграничного Вестника». Так, статья А. Ревиля «Предки европейцев», объявленная в № 1 «Заграничного Вестника», и статья Э. Ренана «Высшее преподавание во Франции», напечатанная в № 4, появились в № 5 «Эпохи». Лекции М. Мюллера о языке, объявленные в № 2 «Заграничного Вестника», начали печататься, начиная с № 4—5, в «Библиотеке для Чтения»; в том же номере появилась статья А. Шлейхера «Теория Дарвина в применении к науке о языке», объявленная в № 4 «Заграничного Вестника».

(21) В №№ 8 и 9 «Заграничного Вестника» были помещены английские отзывы о Тэне и изложение его статьи «Прошедшее и будущее Англии» под общим названием «Тэн и Англия». Кроме того, были обещаны его статьи «История, ее настоящее и будущее», «Шекспир», «Байрон». «Письмо путешественника» Ж. Санд — размышления по поводу книги В. Гюго о Шекспире — напечатано в № 6. В нем есть ряд высказываний о высоком призвании поэта, о том, что «поэзия нужна человеку, как хлеб», о назначении человека, о «безумных попытках» религии «сковать опыт во имя идеала» и науки — «наложить оковы на идеал во имя опыта» и т. д. Естественно, что они должны были вызвать резкий отзыв Зайцева. О «Письме» Ж. Санд он говорит также в рецензии на «Физиологию брака» Дебэ («Русское Слово», 1864, № 9, «Литературное обозрение», стр. 65).

(22) Стебницкий — псевдоним Н. С. Лескова, под которым он печатался в первые годы своей литературной деятельности. В его романе «Некуда», который является пасквилем на революционное движение 60-х годов, выведена, между прочим, в карикатурном виде и Евгения Тур под именем маркизы де-Бараль. Зайцев указал на это в статье «Перлы и адаманты русской журналистики» («Русское Слово», 1864, № 6, «Литературное обозрение», стр. 47 — см. стр. 224 настоящего издания). Утверждение Зайцева, что «Некуда» является пасквилем, что в нем выведены живые люди, использованы лживые сплетни и т. д., было поддержано «С.-Петербургскими Ведомостями». В № 170 была напечатана статья о Лескове П. Полевого, а в № 200 «Пропущенные главы из романа «Некуда» за подписью «Знакомый г. Стебницкого» (А. Суворин). «Пропущенные главы» кончались таким обещанием: «В последующих главах, которые будут появляться параллельно с появлением в «Библиотеке для Чтения» глав романа «Некуда», я постараюсь восстановить события, частию уже рассказанные г. Стебницким, частию им предположенные, в их настоящем свете». «Знакомый г. Стебницкого» подтвердил, что маркиза де-Бараль — пасквиль на Евгению Тур. «Необходимое объяснение» от редакции, помещенное в № 6 «Библиотеки для Чтения», написано весьма сбивчиво. С одной стороны, Боборыкин заявляет, что карикатуры на писательницу Н, сотрудницу «Библиотеки для Чтения», в романе Лескова нет, а с другой — что он лично ее знает очень мало и т. д. Во время этой полемики Е. Тур печатала в ряде номеров «Библиотеки для Чтения» длинную «Биографию Виктора Гюго».

(23) «В настоящее время, когда...» — слова, которыми начинались нередко либеральные излияния о пользе гласности, великих реформах и т. д. В «Свистке», «Искре» и вообще во всей левой журналистике они стали символом политического краснобайства и болтовни. Добролюбов неоднократно издевался над ними. «Несколько лет уже, — писал он в «Литературных мелочах прошлого года», — каждая статейка, претендующая на современное значение, непременно начинается у нас словами: «в настоящее время, когда поднято столько общественных вопросов» и т. д., следует изложение вопросов» («Современник», 1859, № 1, «Современное обозрение», стр. 3).

(24) В статье «Гласность, суд и газеты», направленной будто бы лишь против извращений гласности, А. Лохвицкий, по существу, доказывал необходимость ее ограничения; он утверждал, что газетные сообщения о неблаговидных поступках и даже явных преступлениях есть тяжкое наказание, и потому они должны появляться только после судебного разбирательства. Статья Лохвицкого вызвала довольно длительную полемику между ним и возражавшими ему «Современником» и «С.-Петербургскими Ведомостями» — см. «Голос», 1864, № 332, 1865, №№ 8, 37, 42; «Современник», 1864, № 10, и 1865, № 2 «Внутреннее обозрение».

(25) «Абличителями» называли радикальных журналистов и писателей 60-х годов публицисты «Эпохи» и сотрудники «Осы». *И. Я.*

НЕКРАСОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ. Ч. III. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 10, «Библиографический листок», стр. 77—90, за подписью В. З.

В оценке Зайцевым Некрасова сказалось его обычное отношение к поэзии с позиций антиэстетизма: по мнению Зайцева, поэзия Некрасова лишена всякой поэтической мишуры — «поэтических метафор и аллегорий»; Некрасов не поет о крестьянстве и его нуждах, но искренно думает о нем; он мыслитель, лишь облекающий свои мысли в особую стиховую форму (ср. с отзывом о Гейне в статье «Гейне и Берне»); в этом смысле Некрасов и противопоставляется всей дворянской поэзии, в частности Лермонтову, Фету, Каролине Павловой.

(1) Говоря о литературной критике последних лет, которая «большинством голосов отказывала Некрасову в тех достоинствах, какие признавались за ним публикою», Зайцев имеет в виду статьи в «Спб. Ведо-

мостях» (1862, № 19), «Отеч. Записках» (1861, № 12 и 1863. № 9), «Дне» (1864, № 43), «Русском Инвалиде» (1861, № 289) и, быть может, даже известную статью А. Григорьева («Время», 1862, № 7).

(²) В «Коробейниках» есть, между прочим, такие строки:

> Не сама ли принесла
> Полуштофик сладкой водочки?
> А подарков не взяла.

Эти строки были мишенью критики, немало издевавшейся над Некрасовым за них. Их и имеет в виду Зайцев. В издании 1861 года (Стихотворения, ч. II, стр. 246) Некрасов сделал к этому месту следующее примечание: «Этот полуштофик (заметил автору некто) лишает поэтичности вашу героиню, давая повод читателю воображать ее покупающею в кабаке водку. Не входя в длинные объяснения, напомню читателям, что у нас почти в каждой деревне есть так называемые корчемники, а чаще корчемницы, у которых можно купить вина (или выменять на лен, холст или пряжу) и даже сделать это потихоньку». Ср. в статье «Сев. Пчелы» (1862, № 31, «Реальный поэт»).

(³) Статьи С. С. Дудышкина о Некрасове напечатаны в «Отеч. Зап.», 1861, № 12 и 1863, № 9. Зайцев имеет в виду, повидимому, первую из названных статей, дававшую в общем отрицательную оценку поэтической деятельности Некрасова.

(⁴) «День» — еженедельная славянофильская газета, издававшаяся в Москве в 1861—65 гг. И. С. Аксаковым. Статья Н. Б., помещенная в критическом отделе № 43, называлась: «Стихотворения Н. Некрасова. Ч. III. Спб. 1864». Н. Б., писавший также под псевдонимом «Н. Бицын», — Ник. Мих. Павлов (1836—1906). См. сборник его статей «Наше переходное время», М. 1888.

(⁵) Славянофильский бард, певший о Праге и о пеннике, — Языков, в стихах которого эти темы были обычны.

(⁶) См. примечание 2 к рецензии на Молешотта (Стр. 471 настоящего издания).

(⁷) Трудно сказать, какое именно стихотворение имеет в виду Зайцев. Особенно популярны в 60-х годах были «Огородник», «Тройка» и т. д.

(⁸) Это место статьи Зайцева вызвало полемическую заметку в «Эпохе» (1864, № 11, «Заметка летописца», стр. 1—5, статья «Идеал Некрасова»). «Летописец» (Н. Н. Страхов) доказывает, что Зайцев не понял того, что Некрасов, описывая сон Дарьи о счастливой семейной жизни, вовсе не иронизирует и не описывает якобы невозможную в реальности мечту, а дает самое подлинное и искреннее описание картины семейного счастья:

«Очень может быть, — писал «Летописец», — что критику кажется одной фантазией, одним идеалом даже то, что Савраска

> В мягкие добрые губы
> Гришухино ухо берет.

Вот если бы Савраска откусил ухо у Гришухи, тогда это было бы ближе к действительности и не противоречило бы некрасовской манере ее изображать».

Типичное для Зайцева игнорирование специфики стиховой системы (особенно ярко в статье о Лермонтове) привело его к неправильному восприятию и этой части поэмы Некрасова.

(⁹) В назв. статье Н. Б. говорится о картине, «которая... ничем в веселости не уступает немецкому или французскому пейзажу сбора винограда».

(¹⁰) Строки из стихотворения «Тишина». (Первоначально в «Современнике» 1857, № 9). Это стихотворение Некрасова своим одобрением ре-

форм Александра II и своеобразным «примиренчеством» вызвало бурю негодования друзей, но пришлось по вкусу всем вчерашним врагам Некрасова и даже «на время примирило с Некрасовым читателей из реакционного лагеря» (К. Чуковский. Прим. к «Полн. собр. стихотворений Некрасова», изд. VI, стр. 528. Там же вся история стихотворения и ряд отзывов современников).

В одной из следующих «Журнальных заметок» «Дня» Н. Б. (Н. М. Павлов) полемизировал с Зайцевым по поводу его интерпретации этих стихов Некрасова. (См. сборник статей Н. Павлова «Наше переходное время». М. 1888).

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛОСОФ-ИДЕАЛИСТ. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 12, стр. 153—196.

Статья «Последний философ-идеалист» является основным материалом для выяснения философских взглядов Зайцева. В ней с полной определенностью вскрываются его философские симпатии и антипатии. К первым безусловно относятся физиологи-материалисты XVIII века (Кабани, Биша) и современные Зайцеву (Фогт, Молешотт, Бюхнер); ко вторым идеалисты (Гегель, Фихте, Шеллинг и др.), которым он отказывает не только в философском значении, но и в уме и в добросовестности. Он называет их вслед за Шопенгауэром «шарлатанами» и т. п. и тщательно выписывают желчные бутады Шопенгауэра против его философских предшественников и современников. Можно предполагать, что именно эти отзывы идеалиста Шопенгауэра о крупнейших идеалистических философах (вместе с несколькими его афоризмами о социальном неравенстве и о бесполезности искусства) натолкнули Зайцева на мысль писать о Шопенгауэре, — это было эффектным полемическим ходом в борьбе против идеализма.

Как это естественно для вульгарного материалиста, Зайцев относится отрицательно к философии вообще, стремясь поставить на ее место науки (преимущественно естественные), очищенные от философских понятий, так как «даже естественные науки не совсем освободились от стремления устанавлять неопределенные, произвольные и бездоказательные понятия, и доселе встречаются в них «атомы», «жизненная сила», «движения молекул» и тому подобная дичь», — и то же в социальных науках: «Прудон — и тот даже любит поговорить об антиномиях и категориях».

При таком отношении к философии неудивительно, что Зайцев плохо знал ее и плохо в ней разбирался. Повидимому, он весьма неясно представляет себе различия между эмпиризмом, сенсуализмом, материализмом, позитивизмом и трансцендентальным идеализмом Канта и Шопенгауэра; он почти идентифицирует эти направления, считая, что все они «согласны между собою в том, что человек не может знать ничего, кроме своих собственных состояний, положений, движений и изменений».

Вульгарно-материалистическое сведение психических явлений на физиологические некритически соединено у Зайцева с сенсуалистической точкой зрения, которая, при логическом развитии, должна была бы привести к непризнанию реальности физиологических явлений вне психики.

Характерна попытка Зайцева, признав учение Канта о феноменальности опыта, в то же время заменить его учение об априорности пространства и времени теорией Сеченова о происхождении понятия пространства от ассоциации зрительных впечатлений с осязательными и понятия времени от соединения слуховых и осязательных ощущений. Попытка эта, конечно, показывает непонимание философской проблематики Канта. Такое же непонимание обнаруживается в интерпретации других философов, в особенности самого Шопенгауэра. В комментарии нет возможности исправлять эти ошибки, так как для этого пришлось бы излагать упомянутые Зайцевым философские системы. Что же касается Шопенгауэра, ошибки Зайцева вскрываются отчасти в изложении полемики Зайцева с Антоновичем (см. комментарий к заметке «Несколько слов г. Антоновичу»). Извращение мыслей Шопенгауэра явилось результатом и того обстоятельства, что

Зайцев, как с вероятностью можно заключить из той же полемики, не читал Шопенгауэра, а знаком был с ним по изложениям — вероятно, главным образом по книге A Foucher de Careil. «Hegel et Schopenhauer. Etudes sur la philosophie allemande moderne depuis Kant jusgu'à nos jours (Paris 1862), в которой уделено особое внимание зависимости Шопенгауэра от Кабани, Биша и других французских физиологов-материалистов.

Нужно отметить, что взгляд на Шопенгауэра как на гениального философа и последнего идеалиста высказан Бюхнером в его статье о Шопенгауэре в сборнике «Aus Natur und Wissenschaft» (1862). Впрочем, в отношении прямой зависимости от этой статьи статья Зайцева не находится.

(¹) Имеется в виду рассказ Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» из «Записок охотника».

(²) «La guerre et la paix. Recherches sur le principe et constitution du droit des gens». 2 t. Bruxelles 1861. Русский перевод вышел в 1864 г.

(³) Имеется в виду, вероятно, «Histoire générale de la philosophie» В. Кузена. (Париж, 1864).

(⁴) «Очерки древнейшего периода греческой философии». М. 1853. М. Н. Катков в молодости занимался философией и с 1845 по 1850 г. был адъюнктом по кафедре философии Московского университета.

(⁵) Цитата из статьи И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», напечатанной первоначально в виде прибавления к №№ 47 и 48 журнала «Медицинский Вестник» за 1863 г. Отдельные издания—Спб. 1866 и 1871. Везде в дальнейшем, где говорится: «один знаменитый физиолог», «физиолог, на мнения которого я уже ссылался», «знаменитый ученый, которому принадлежат приведенные слова», «автор статьи о свойствах психической деятельности организма» и т. п., имеется в виду Сеченов и цитируется та же статья.

(⁶) «Rapport du physique et du moral de l'homme» 1802. Русский перевод П. А. Бибикова (Кабанис. «Отношения между физическою и нравственною природою человека»). — Спб. 1865—1866.

(⁷) Париж. 1800. Русский перевод П. А. Бибикова (Биша. «Физиологические исследования жизни и смерти»). — Спб. 1865.

(⁸) «Система логики». С 5-го лондонского изд. переведено под ред. и и примеч. П. Л. Лаврова Ф. Резенером. Т. I. Спб. М. О. Вольф. 1865 (Т. II — 1867).

(⁹) Здесь Зайцев делает ошибку, выяснению которой посвящена половина большой статьи М. Антоновича «Промахи» (о ней см. в комментарии к заметке «Несколько слов г. Антоновичу»). Приводим краткую формулировку этой ошибки из статьи В. Кирпотина: «Поправка, которую вносил Зайцев к положению Сеченова, сводилась к тому, что психический акт может явиться в сознании и на основе внутреннего чувственного возбуждения... Внешними явлениями по отошению к психическому акту Зайцев считал явления, протекающие вне человеческого организма, а внутренними — явления и процессы, протекающие внутри человеческого организма. Зайцев, идентифицируя психическое и физиологическое, мышление и движение материи, не понял, в каком смысле Сеченов говорил о внутренних и внешних возбуждениях психики... Сеченов называл «внешними» (по отношению к психике) все явления не психического порядка, для Зайцева же, не делавшего разницы между физиологической и психической сторонами явления, было бессмысленным такое различение; поэтому он подставил под терминологию Сеченова иное содержание, укладывавшееся в его механистическое миропонимание: внутреннее — это «внутри» человеческого тела, внешнее — это «вне» его» («Очерки по истории русской критики». Под ред. А. Луначарского и В. Полянского, т. II. М. — Л. 1931 г., стр. 248—249).

([10]) Массе. «История кусочка хлеба. Описание жизни человека и животных в письмах». Пер. с франц., М. 1863 (Неоднократно переиздавалось).

([11]) Монашеский орден, отличавшийся особо суровыми, аскетическими правилами.

([12]) «Utilitarianism» (1861). В этой книге Милль развивает утилитаристическую систему этики, основанную на идентификации счастья и пользы. Подробнее об этом сочинении см. в рецензии Зайцева на II вып. 2-й части «Рассуждений и исследований» Д.-С. Милля («Р. Сл.», 1865, № 5; перепечатана в нашем издании).

([13]) «G. W. F. Hegel's Leben, beschrieben durch Karl Rosenkranz. Supp ment zu Hegel's Werken». Berlin. 1844.

([14]) «Философия духа» Гегеля — 3-я часть его «Энциклопедии философских наук». Русский перевод В. Чижова. М. 1864.

([15]) Косица — псевдоним Н. Н. Страхова. *Б Б.*

НЕСКОЛЬКО СЛОВ Г. АНТОНОВИЧУ. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 2, отд. II, стр. 59—62.

Заметка «Несколько слов г. Антоновичу» является ответом на статью М. Антоновича «Промахи» («Современник», 1865, № 2, отд. II, стр. 253—290), специально посвященную статье Зайцева «Последний философ-идеалист».

Антонович, вскрывая ряд ошибок Зайцева, в том числе ошибок в понимании Шопенгауэра, снижает самую философию Шопенгауэра до «болтовни сдуру», доходит до сравнения Шопенгауэра со знаменитым московским сумасшедшим Иваном Яковлевичем, утверждает, что «у Шопенгауэра нет ни системы, ни направления, ни связи и последовательности, нет ни одной глубокой философской мысли». Философия Шопенгауэра «существовала без следа и исчезла без следа, не имела и не будет иметь последователей». История не оправдала утверждений Антоновича. Шопенгауэр оказался одним из наиболее влиятельных, наиболее определивших дальнейшее развитие немецкой буржуазной философии мыслителей. С другой стороны, ошибки Зайцева не являются такими скандальными, как это хочет показать Антонович, так как и позднейшие исследователи Шопенгауэра указывают на парадоксальное сочетание в его философии «крайнего идеализма с крайним материализмом, навеянным изучением французской философии, напр., Кабаниса» (Лапшин).

Приведем основные положения статьи Антоновича:

Зайцев «нарушил все правила и приемы здравой философской критики». «Не говоря ни о направлении, ни о принципе и методе философии Шопенгауэра, г. Зайцев вырывает отрывки и отрывочные фразы из системы Шопенгауэра и начинает превозносить их, нисколько не справляясь с тем, какой смысл имеют эти отрывки в связи с целой системой». «Не довольствуясь своим неосновательным приемом, г. Зайцев прямо перетолковывает слова и мысли Шопенгауэра в хорошую сторону и своими натяжками хочет придать им благовидный и даже реалистический вид и таким образом уж окончательно делает с Шопенгауэром, что хочет, и навязывает ему всевозможные достоинства и заслуги. Но всего хуже то, что г. Зайцев восхваляет Шопенгауэра на счет других философов, которых он унижает и не признает их действительных заслуг для того, чтобы сильнее превознести мнимые заслуги Шопенгауэра». Униженные Зайцевым Фихте и Гегель являются несравненно более последовательными, систематическими, оригинальными и глубокими философами, чем Шопенгауэр. Тут указываются политические и публицистические заслуги Фихте перед Германией. Философия Гегеля «в свое время имела сильное развивающее влияние на умы; она умерла, но оставила после себя значительное наследство и если не прямо, то косвенным образом пробуждала своими намеками новые идеи во многих теоретических науках».

Зайцев не понимает основной формулы Шопенгауэра «мир как воля и представление». «Говоря о представлении, Шопенгауэр вовсе не имеет в

виду человека или его умственную деятельность, как воображает г. Зайцев, а говорит о каком-то абсолютном представлении, которое не принадлежит ни человеку, ни кому-нибудь другому, есть представление ничье, а свое собственное; каждая вещь в мире сама по себе, т. е. независимо от человека и безотносительно к нему, есть не что иное, как представление». Зайцев утверждает, что «Шопенгауэр подразумевает под волей все ощущения, порожденные внутренними процессами организма. В действительности, «воля — у него понятие абсолютное и чисто идеалистическое; это не человеческая воля и не в человеческом организме, а всеобщая мировая воля, частицу которой составляет и человек; это вечная беспредльная, бесконечная, всеобъемлющая воля, из которой произошли все вещи и всякое бытие. Всякий предмет по сущности своей есть воля, и весь мир есть совокупность бесконечного множества воль»: «Все предметы или, точнее говоря, все воли, облеченные представлениями, произошли из одной абсолютной воли и суть части мира, который сам есть огромная безграничная воля и бесконечное представление; это и значит: Die Welt als Wille und Vorstellung*.

Последние 20 страниц своей статьи Антонович посвящает ошибке Зайцева в понимании статьи Сеченова. О ней см. в примечании 10 к статье «Последний философ-идеалист».

На заметку Зайцева Антонович вновь отвечал и под своей фамилией («Промахи». Статья II. — «Современник», 1865, № 4, отдел «Русская литература») и под псевдонимом «Посторонний сатирик» («Г. Зайцеву. Подражание ему же» — «Современник», 1865, № 3, отдел «Литературные мелочи»). Эти ответы ничего принципиально нового в полемику не вносят.

(¹) Имеются в виду следующие слова в статье Постороннего сатирика (М. Антоновича) «Русскому Слову»: «Солидарен ли г. Зайцев вполне с своею статьею «Последний философ-идеалист», не замечает ли он в ней самых грубых ошибок и ложных толкований? Если да, то пусть он укажет своим читателям эти ошибки и перетолкования; если же нет, в таком случае я сам принужден буду это сделать» («Современник», 1865, № 1, отд. II, стр. 170). Выражение «ткнуть носом» — из другого места той же статьи.

(²) Иван Яковлевич Корейша (см. указатель имен).

(³) По нашему изд. стр. 378, строка 28 сл. Антонович по поводу слов Зайцева об «общепризнанной со времен Локка и Канта истине, что умственная деятельность человека есть продукт его пяти чувств», говорит: «Неправда, будто бы Кант признавал ту истину, что вся психическая деятельность есть продукт внешних чувств; он говорил, что в этой деятельности существуют формы, напр., форма пространства и времени, которые врождены душе, всегда готовы в ней и вовсе не происходят от чувств». (Цит. ст., стр. 264).

(⁴) Имеются в виду слова Антоновича: «Но вот чего мы не можем простить г. Зайцеву, что он, не понявши статьи г. Сеченова «О рефлексах головного мозга» и неумеренно захваливши эту статью, стал печатно толковать ее, обличил ее в противоречиях и затем переделал ее и переделал ее ни больше, ни меньше, как по Шопенгауэру. Это непростительное литературное преступление» (Стр. 270—271).

(⁵) К словам Антоновича: «Вы должны сами исправить свои ошибки, извиниться перед г. Сеченовым и сказать читателям, что вы только по недоразумению и по непониманию уличали его статью в несообразностях и противоречиях, которых на деле вовсе нет в ней» (стр. 287).

(⁶) В начале статьи Антонович говорит о Зайцеве и Писареве, как представителях «юной части» «Русского Слова», «искренность которой и готовность на все доброе не подлежат ни малейшему сомнению» и т. п. (стр. 253).

Б. Б.

ДРАМЫ ЭСХИЛА. Напечатано в «Русском Слове», 1864, № 12, «Библиографический листок», стр. 4 — 8.

* «Мир как воля и представление».

Рецензия интересна как попытка применения любимой зайцевской идеи о вреде искусства специально к театральному искусству.

(¹) В тексте «Русского Слова» — «о п у с к а е т с я». Исправляем, как опечатку.

(²) Н. Котелов. На титульном листе обозначен криптонимом Н......въ.

(³) Намек на реакционное направление газеты «Московские Ведомости» и либеральное — газеты «Голос».

(⁴) Имеются в виду знаменитые петербургские пожары 1862 года.

(⁵) Бревнами, камнями и тюленями названы, таким образом, читатели газет Каткова и Аксакова, т. е. «Московских Ведомостей» и «Дня».

(⁶) Намек на поведение Базарова у Кирсановых. В журнальной редакции «Отцов и детей» абзац «Узнав об отъезде...» XXIV главы кончался следующими словами, исключенными в отдельном издании: «Ему и в голову не приходило, что он в этом самом доме нарушил все правила гостеприимства».

(⁷) Зайцев, очевидно, хочет сказать, что в статьях «Дня» не больше смысла, чем в этом дико звучащем для русского уха перечислении персидских вождей.

Б. Б.

РАССУЖДЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ Д.-С. МИЛЛЯ. Часть II, вып. 1. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 1, «Библиографический листок», стр. 71—88.

Имя Джона-Стюарта Милля было очень популярно в России шестидесятых годов. Его идеи популяризировались наиболее влиятельным журналом — «Современником»; все основные сочинения его были переведены в течение этого десятилетия на русский язык, а его «Основы политической экономии» были переведены Чернышевским, который и собственные исследования по политической экономии изложил в виде примечаний к переводу Милля. В 1865 году, к которому относится рецензия, вокруг имени Милля возникает полемика между «Современником» и «Русским Словом». Н. В. Соколов, который, по словам его исследователя, «в гневном отрицании буржуазной эксплоатации шел, пожалуй, далее всех современных ему публицистов» (А. Ефимов. «Публицист 60-х годов Н. В. Соколов». — «Каторга и Ссылка», 1931 г., № 11—12, стр. 64—65) в рецензии на 2-е издание переведенных Чернышевским «Основ политической экономии» («Русск. Слово», 1865 г., № 7, «Литературное обозрение», стр. 37 — 55) разоблачает классовый буржуазный характер политико-экономической теории Милля. Он пишет: «Как отъявленный британский буржуа, Милль желал оправдать экономическую ложь Англии... Для него интересы английской буржуазии, ее денежные расчеты и барыши, ее страсть к лихоимству и тунеядству выражают весь смысл общественной жизни и философской мудрости». «Современник» отвечал чрезвычайно резкой анонимной статьей («Милль, перевранный «Русским Словом». — «Современник», 1865 г., № 8, отд. II, стр. 214—247), в которой пытался реабилитировать Милля, обвиняя Соколова в невежестве, глупости и т. д. Соколов ответил (в № 9 «Русского Слова») еще более резким письмом («Маску долой! Вызов редакции «Современника»), после чего полемика прекратилась.

Соколов нападал на Милля еще в рецензии на «Начала народного хозяйства» В. Рошера («Русское Слово», 1862 г., кн. 5, «Русская литература», стр. 1 — 45), так же, как и Зайцев, в связи с поддержкой Миллем мальтузианства, «зловещей теории голодной смерти рабочего класса».

В комментируемой рецензии ярко сказались двойственность и непоследовательность социальных взглядов Зайцева. Формулируя противоположность классовых интересов в буржуазном обществе («Современное общество разделено на два враждебные лагеря, и интересы этих лагерей диаметрально противоположны»), делая верные выводы из этого положения в отношении теории Мальтуса, он в то же время соглашается и с теорией мирного увеличения благосостояния масс внутри буржуазного общества («Все европейские общества явно стремятся к тому, чтобы как можно более увеличить

число людей в стране, пользующихся материальным благосостоянием». «Милль совершенно прав, говоря, что, по мере возвышения цивилизации, благосостояние и могущество переходят от меньшинства к большинству» и т. п.). В связи с этим двойственна и неопределенна оценка Милля Зайцевым.

(1) Русский перевод сборника Милля, вышедшего в двух томах в 1859 г. («Dissertations and discussions political, philosophical and historical». London 1859. В 1867 г. добавлен III том, в 1875—IV), был издан в трех выпусках, заключавших 12 статей из 22-х английского издания и статью «Утилитаризм», вышедшую в Англии отдельным изданием. I часть «Рассуждений и исследований» вышла в 1864 г. с подзаголовком «Статьи исторические» и заключала 4 статьи, взятые из II тома английского издания («Древняя и легендарная история Греции», «История Греции Грота», «Очерки и лекции Гизо по истории», «История Франции Мишле»). Часть II вышла в двух выпусках и содержала статьи, взятые частью из первого, частью из второго тома английского издания. Зайцев рецензировал каждый из трех выпусков. Рецензия на первый выпуск, не перепечатанная в нашем издании, помещена в «Библиографическом листке» № 10 «Русского Слова» за 1864 год.

(2) Перечислены переводы статей: «Civilisation» (1836), «Armand Carrel» (1837), «The Claims of labor» (1845), «Vindication of the french revolution of february 1848, in reply to lord Brougham and others» (1849), «A few observations on the french revolution» (1833).

(3) Знаменитое сочинение Руссо «Discours sur les sciences et les arts» (1750), в котором он выдвигает тезис о вредности, ложности и преступности культуры и просвещения, написано на тему, предложенную на премию дижонской академией: «Содействовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов».

(4) «Histoire des Girondins». 8 vol. Paris 1847.

(5) «Histoire de la Révolution de 1848. Paris. 1849»

(6) Прудон.

(7) 16 апреля 1853 г. в Академии нравственных и политических наук Académie des sciences morales et politiques) Французского института, после окончания длившегося несколько заседаний чтения Жозефом Гарнье написанной им для «Dictionnaire d'économie politique» статьи «Population» произошел обмен мнений о теории населения Мальтуса. Отчет об этом заседании под названием Observations sur la doctrine de Malthus relative à la population par M. M. Passy, Dunoyer, lord Brougham, Villermé, Guizot et L. Fauchet напечатан в «Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques.» Compte rendu par M. Ch. Vergé. III série, t. IV (XXIV de la Collection), p. p. 447—457. Paris. 1853. Прудон, кроме выступавших на этом заседании называет и других экономистов, поддерживавших точку зрения Мальтуса.

(8 Цитата взята из сочинения Прудона „De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise. 2-е, брюссельское, издание этой книги (1860—(1860—61) вышло в 12-ти отдельных выпусках с сериальным надзаголовком «Essais d'une philosophie populaire». В этой же серии (со слегка измененным названием «Essa dune phiilossophie pratique») под №№ 13 и 14 вышло сочинение Прудона «La guerre et la paix» (2 vol. Bruxelles. 1861). Зайцев ссылается на книгу столь неточным образом и не называя автора, очевидно, из цензурных соображений, так как цитированное сочинение Прудона не только было запрещено в России (см. «Алфавитный каталог сочинениям на французском, немецком и английском языках, запрещенным иностранною цензурою или дозволенным к обращению с исключением некоторых мест, с 1856 по 1 июля 1869 г.» Спб. 1870), но и во Франции первое — парижское — издание было конфисковано, а автор приговорен к штрафу и тюремному заключению, от которого спасся бегством в Бельгию.

Б. Б.

Д. Л. МОТЛЕЙ. ИСТОРИЯ НИДЕРЛАНДСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОСНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ. Т. I, часть 1-я. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 3, «Библиографический листок», стр. 85—88.

(1) Оба сочинения были переведены на русский язык. Ф. Шлоссер. «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи». 8 томов, Спб. 1858—1860.—Леопольд Ранке. «Римские папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях». 3 тома, Спб. 1842—1847.—Была переведена также упомянутая ниже «История царствования Филиппа Второго, короля испанского», Вильяма Прескотта, 2 тома, Спб. 1858.

(2) Зайцев имеет в виду статью Писарева «Исторические эскизы», первая глава которой посвящена теоретическим рассуждениям о задачах исторической науки. «Когда мы беремся за изучение исторических явлений,— пишет Писарев,—тогда всякий лиризм должен быть устранен с неумолимою строгостью... Кто разбирает исторические события с тем близоруким пристрастием, с которым он рассуждает о своих добрых знакомых, тому было бы лучше вовсе не заниматься историею... Если мы вырвем из истории отдельный эпизод, то мы увидим перед собою борьбу партий, игру страстей, фигуры добродетельных и порочных людей; одним мы станем сочувствовать, против других будем негодовать; но сочувствие и негодование будут продолжаться только до тех пор, пока мы не поставим вырванного эпизода на его настоящее место, пока не поймем той простой истины, что весь этот эпизод во всех своих частях и подробностях совершенно логично и неизбежно вытекает из предшествующих обстоятельств. Как ни проста эта истина, однако многие писатели, рассуждающие об истории, и многие историки, пользующиеся очень громкою известностью, совершенно теряют ее из виду в своих исторических сочинениях. Раскройте, например, Маколэ, и вы увидите, что он на каждой странице кого-нибудь оправдывает или кого-нибудь обвиняет, кому-нибудь свидетельствует свое почтение или кому-нибудь делает строжайший выговор. Все эти оправдания или обвинения, почтения и выговоры служат только признаками неясного или неполного понимания событий. Моралист вытесняет историка, потому что у историка нехватает материалов или недостает проницательности. В приговорах Маколэ заключается такой смысл: я, говорит он, умнее такого-то исторического деятеля, я честнее такого-то; я понимаю политику лучше такого-то; я бы не сделал такой-то ошибки и т. д. На это читатель имеет полное право возразить, что ему нет дела до тех прекрасных свойств ума и сердца, которыми обладает Маколэ; ему нет дела до того, как поступил бы историк, находясь в таком или в другом положении; ему любопытно было бы знать, как поступила действительно историческая личность, почему она поступила так, а не иначе, и почему ее поступки имели важное значение для ее современников. Дело историка рассказать и объяснить; дело читателя передумать и понять предлагаемое объяснение; когда историк и читатель, каждый с своей стороны, исполняет свое дело, тогда уже не останется места ни для оправдания, ни для обвинения. Мыслящий исследователь вглядывается в памятники прошедшего для того, чтобы найти в этом прошедшем материалы для изучения человека вообще, а не для того, чтобы погрозить кулаком покойнику Сидору или погладить по головке покойника Антона»... («Русское Слово», 1864, № 1, стр. 1—5). Ссылаясь на Писарева, Зайцев считает нужным тут же оговориться: его оценка должна распространяться только на то, что называется «справедливым судом истории» и «объективным методом в историографии», а никак не на историков, которые пользуются историческим материалом для публицистических целей. У них история «теряет свой научный характер, но зато приобретает важное общественное значение». Точно такой же отзыв с одной стороны об «объективности» и отрешенности от современных исследователю идей и событий, а с другой стороны об историках, труды которых «представляют не только описание и объяснение прошедшего, но и поучение для настоящего», являются «важным

рычагом политического развития», — находим в рецензии Л. П—ского на том I «Истории XIX века» Гервинуса («Русское Слово», 1863, № 6, «Литературное обозрение», стр. 4). Трудно сказать с полной уверенностью, плохо ли помнил Зайцев статью Писарева, на которую ссылался, или сознательно полемизировал с ним во второй половине рецензии на книгу Мотлея; вероятнее последнее.

(³) Интересно сопоставить приведенные в примеч. 2 слова Писарева о Маколее с тем, что пишет о нем Зайцев как в этой рецензии, так и в рецензии на книги того же Мотлея, Циммермана и Гервинуса (перепечатана в настоящем издании). Оба отрицательно отзываются о нем, но исходят при этом из различных принципиальных предпосылок. Зайцев, признавая законность и полезность исторических работ с публицистической направленностью, отмечает, что на них резко сказывается личность автора, а потому только «умный и добродетельный человек может возбудить симпатию к высокому и честному», между тем как, «читая Маколея, мы видим лишь попытку заинтересовать нас в пользу сословного своекорыстия и дипломатической ловкости». Для Писарева же Маколей в данном случае служит примером не идеологически чуждого ему публициста, а вообще историка-публициста (независимо от его политических убеждений), который «на каждой странице кого-нибудь оправдывает или кого-нибудь обвиняет». Таким образом, Писарев в этой статье нападает не столько на «справедливый суд истории» и «объективный метод», сколько именно на исторические работы с публицистической направленностью, авторы которых судят о людях и событиях прошлого, как говорит Зайцев, «не с точки зрения той, быть может, давно прошедшей эпохи, а с современной».

И. Я.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 4, «Библиографический листок», стр. 80 — 96.

В этой рецензии Зайцев высказывает в общей форме те идеи о бесполезности и даже вредности искусства, которые были одним из главных опорных пунктов его литературно-критической деятельности.

Исходя в своих воззрениях на искусство из положений Чернышевского, что искусство воспроизводит действительность и что действительность выше искусства, Зайцев не только выводит отсюда, что искусство «по мере совершенствования людей должно падать и что оно заслуживает полного и беспощадного отрицания», но и утверждает, что это и есть мнение Чернышевского об искусстве, не выраженное им ясно лишь вследствие «побочных обстоятельств».

Чернышевский считал, что искусство не только воспроизводит, но и объясняет и оценивает действительность, Зайцев же пытается доказать, что в таких случаях произведения искусства либо перестают быть произведениями искусства, либо должны цениться лишь за «верные и честные мысли», которые «заслуживали бы уважения, хотя бы были выражены самым безыскусственным, прозаическим образом».

При чтении рецензии необходимо учитывать ее полемическую направленность. 2-е издание «Эстетических отношений» вызвало статью М. Антоновича «Современная эстетическая теория» («Современник», 1865 г., № 3, отд. II, стр. 37 — 82). Статья Антоновича имеет, по его словам, целью представить теорию Чернышевского «в первоначальном чистом виде», что необходимо, так как она «доводится до крайностей, просто утрируется ее слишком рьяными, но не слишком рациональными последователями» (имеются в виду критики «Русского Слова»). По разъяснению Антоновича, Чернышевский требовал от искусства «служения теоретическим и практическим задачам», но был далек от отрицания искусства. Против такого понимания Чернышевского и протестует Зайцев. Нигде не называя Антоновича, он имеет в виду конкретные утверждения его статьи везде, где говорит о взглядах «либеральных эстетиков», «филистеров», «середок на половине». Приведенные в рецензии без указания источника для характери-

стики мнений «либеральных эстетиков» две цитаты взяты из той же статьи Антоновича.

Вслед за Зайцевым на Антоновича напал и Писарев в статье «Разрушение эстетики» («Русское Слово», 1865, № 5). Антонович отвечал в статье «Лже-реалисты» («Современ.», № 7). Писарев вновь ответил в статье «Посмотрим!» («Р. Сл.», № 9). Рецензия Зайцева в этой полемике не упоминается. Подробный разбор рецензии Зайцева был дан в газете «День» Н. Б. (Н. М. Павловым; перепечатано в его сборнике «Наше переходное время», М. 1888, стр. 171—180).

(1) 2-е издание «Эстетических отношений искусства к действительности» вышло без имени автора, так как имени Чернышевского, бывшего в это время на каторге, нельзя было упоминать в печати. В рецензии Зайцева Чернышевский также называется «автором «Эстетических отношений» и т. п.

(2) Намек на роман Чернышевского «Что делать?»

(3) Цитата из указанной статьи Антоновича «Современная эстетическая теория», стр. 68.

(4) Там же, стр. 61. *Б. Б.*

РАССУЖДЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДЖ.-СТЮАРТА МИЛЛЯ. Часть II, вып. 2-й. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 5, «Библиографический листок».

Из четырех статей, входящих в рецензируемую книгу, Зайцев говорит почти исключительно о статье «Утилитаризм», дающей ему возможность пропагандировать свои этические воззрения. В области этики Зайцев — утилитарист, и понятно, что он сочувственно относится к утилитаристической точке зрения Дж.-Ст. Милля. Он, впрочем, говорит, что статья Милля далеко не удовлетворительна, но чем именно, не указывает, и рецензия производит впечатление простого изложения взглядов Милля. Это не вполне верно. Взгляды Милля расходятся со взглядами, изложенными Зайцевым. Зайцев — последователь утилитаристических взглядов Чернышевского, изложенных в его «Антропологическом принципе в философии» (1860) и лежащих в основе его романа «Что делать?» (1863). И для Милля, и для Чернышевского польза тождественна со счастьем, однако понимание термина «польза» у них разное; Милль понимает пользу как «общую пользу» в отличие от «выгоды», определяемой как «действие, выгодное для личных интересов самого действователя». «Выгода» часто «не синоним полезного», а «отрасль вредного». Соответственно «счастье» в его терминологии «не есть личное эгоистическое счастье, а счастье всех». Чернышевский же (и Зайцев за ним) употребляет слова «польза» и «выгода» как синонимы, понимая под ними именно личную выгоду и стремясь альтруизм истолковать как «разумный эгоизм». Милль требует, «чтобы законы и условия общественного быта приводили по возможности в гармонию счастие и интерес каждого индивидуума с интересами всех»; по Чернышевскому же «счастие и интерес каждого индивидуума», — если только они разумно поняты, — сами совпадут с общим интересом и счастьем. Рассуждения, посредством которых Зайцев стремится истолковать героические поступки как эгоистические, очень близки к аналогичным рассуждениям «Антропологического принципа».

Интересно, что Зайцев не только полагает возможным обосновать принципом пользы общие, внеклассовые, нравственные нормы, но как бы ищет в этом принципе общий критерий истины. Во всяком случае, горячо ополчаясь на релятивистов и агностиков, отрицающих вообще какие бы то ни было критерии истины, Зайцев говорит: «последователь утилитаризма уже не скажет, что должно уважать всякое мнение, потому что знает, что из двух мнений, противоположных друг другу, одно непременно ложно и вредно». Здесь Зайцев борется с тенденциями своего же лагеря. Ср., напр., «Воззрения не могут быть ни истинны, ни ложны; есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждого свое». (Писарев.

«Схоластика XIX века».— «Русское Слово», 1861, № 9, отд. «Русская литература», стр. 6).

(1) «Utilitarianism» (1861).

(2) «Токвиль о демократии в Америке» («M. de Tocqueville on democracy in America». 1840). По поводу книги Токвиля «De la démocratie en Amérique» (1835—40; русский перевод 1860—61).

(3) Th.-S. Jouffroy. «Cours de droit naturel» (1834).

(4) E. de Vattel. «Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquées à la conduite des affaires des nations et des souverains» (1829).

(5) «Эмансипация женщин» («Enfranchisement of women». 1851) По словам Д.-С. Милля, статья написана его женой, его же участие «ограничивалось почти только изданием и перепискою».

(6) Имеются в виду, очевидно, статьи по женскому вопросу М. И. Михайлова: «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» («Современник», 1860 г., №№ 4, 5 и 8), «Джон-Стюарт Милль об эмансипации женщин» («Современник», 1860 г., № 11), «Женщины в университете» («Современник», 1861 г., № 4). *Б. Б.*

МАКОЛЕЙ. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 7; «Литературное обозрение», стр. 1—36.

Издание Тиблена вызвало многочисленные отклики в современной печати. (См. «Век», 1862, №№ 10, 38—39 и др., «Книжный Вестник», 1864, № 19, 1865, № 5, «Книжник», 1865, № 12, «Вестник Европы», 1866, № 2, «Отеч. Зап.», 1860, № 12, 1861, № 10, «Русский Вестник», 1861, №№ 6—7, «Современник», 1860, № 12). Все отзывы выдержаны в общем в тонах полного одобрения замысла Тиблена, вступительной статьи Вызинского, но, главное, преклонения пред величием и гениальностью самого Маколея. Что касается до «Русского Слова», то оно также в «дозайцевский период» уделяло Маколею немало внимания. В 1860 г. (№ 7, стр. 55—111) были помещены «Воспоминания о Маколэ» профессора харьковского университета Д. И. Каченовского. В 1859 г. в «Русском Слове» была помещена статья Г. Е. Благосветлова «Ораторская деятельность Маколэ» № 8; ср. «Звенья», I, М. 1932, стр. 324—325, публикация Г. В. Прохорова, письма Г. Благосветлова к Я. П. Полонскому). В 1861 году он же напечатал большую рецензию на т. I русского издания собрания сочинений Маколея.

И воспоминания Каченовского, и отзывы и статьи Благосветлова написаны в тонах необычайного пиэтета, т. е. вполне в тоне всех отзывов современной печати.

Единственный отзыв, более сдержанный по тону и вообще проявлявший известный критицизм в оценке Маколея, дал «Современник» в обширной рецензии на т. I изд. Тиблена. «Современник» охарактеризовал Маколея как «человека бесхарактерного по мыслям, при высокой оригинальности изложения» (1860, № 12, стр. 21). Такой отзыв на фоне всеобщего восхваления Маколея звучал, понятно, необычайной резкостью. До того в 1856—57 гг. «Современник» дал в нескольких номерах ряд очерков Маколея по истории Англии.

(1) Мистер Подснеп — один из героев романа Диккенса «Наш общий друг» (1864). Понятие «подснепства» изобретено не Зайцевым. Характерные черты Джона Подснепа давно создали в Англии это понятие (Podsnepery) (См. A. Hayward—«The Dickens Encyclopaedia». London, 1924, p. 127)

(2) «Коммонеры» — полноправные граждане, избиратели в палату общин.

(3) Едва ли не первым переводом Маколея на русский язык была статья «Лорд Клейв» в «Москвитянине» (1852, № 19, пер. Д. Каченовского). Одна статья («История») была напечатана в ноябрьской книжке «Библ. для Чтения» за 1856 год. В 1858 г. были изданы в 2-х томах «Рассказы из истории Англии». В книге ученика Грановского, проф. Г. Вызинского, «Лорд Маколей, его жизнь и сочинения» (Спб. 1860, тоже в т. I, соч. Маколея), бы-

ла впервые дана подробная характеристика Маколея. Либеральный тон книжки, естественно, не мог нравиться Зайцеву.

(4) Зайцев имеет в виду стихотворение Конрада Лилиеншвагера (Добролюбова) «Наш демон (Будущее стихотворение)» — сатиру на либерализм 50 — 60-х годов.

Когда Россия с умиленьем
Внимала звукам Щедрина
И рассуждала с увлеченьем,
Полезна палка иль вредна,
Когда возгласы раздавались,
Чтоб за людей считать жидов...
Он хохотал, как мы решали,
Что красть не следует в наш век,
И как гуманно утверждали,
Что жид есть тоже человек... и т. д.

(«Соврем.», 1859, № 4, стр. 367. «Свисток». Ср. более точный текст в полном собр. соч. Н. А. Добролюбова под ред. Е. В. Аничкова, т. IX, стр. 231—232).

(5) Вышневолоцкий помещик Козляинов (избил в вагоне пассажирку. Камбек, всеобщий защитник угнетенных, нечто вроде Дон-Кихота 60-х годов XIX века, публично заступился за честь женщины; завязалась длинная журнальная полемика, вызвавшая в свое время немало шума.

(6) Habeas Corpus (букв.: «имей тело») — термин английского права, которым обозначается основная гарантия личной свободы. Всякий, считающий себя незаконно арестованным, может обратиться в суд и просить о выдаче ему writ of Habeas Cotpus — приказа к арестовавшему с требованием немедленно доставить арестованного в суд. Habeas Corpus Act был издан в 1679 году. Lettres de cachet — приказ, большей частью об аресте, подписанный от имени короля (номинально самим королем) его секретарем и вручавшийся лицу, возбудившему дело. Таким образом обладателем lettres de cachet могло быть и частное лицо. Пользование системой lettres de cachet было особенно распространено при Людовике XV.

(7) Вся следующая цитата принадлежит Томасу Мору и заимствована Зайцевым из его «Утопии» (см., напр., изд. 1923 г., стр. 43—44). Имя Томаса Мора называть в печати в 60-е годы было в некоторые периоды не особенно удобно, хотя официально запрещено оно не было.

(8) Зайцев имеет в виду английскую революцию 1689 года.

(9) Когда французский парламент отказывался утвердить какой-либо акт короля, то последний лично являлся в парламент. Споры депутатов в присутствии короля и с ним были по традиции и уставу невозможны, и парламент молчаливо принимал предлагаемый королем акт. Этот обычай и получил название lit de justice.

(10) Зайцев имеет в виду Мильтона, сторонника крайнего крыла пуритан

(11) См. прим. 6.

(12) Зайцев имеет в виду стихотворение кн. П. А. Вяземского «Заметка», впервые напечатанное в № 8 «Русского Вестника» за 1861 г. В нем находим такие строки:

Под злобой записной к отличиям и к роду
Желчь хворой зависти скрывается подчас;
И то, что выдают за гордую свободу,
Есть часто ненависть к тому, что выше нас, и т. д.

(13) Зайцев намекает на первоначальное англоманство Каткова, либерала и сторонника конституции английского типа для России. С 1862 г. Катков окончательно переходит в лагерь ярых защитников самодержавия, становясь наиболее ярким выразителем дворянско-монархической реакции 2-й половины XIX столетия.

(14) Все цитаты из работы Г. В. Вызинского (см. стр. XIX).

ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК КНИГ, ИЗДАННЫХ НА ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ДЕНЬГИ. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 7, «Библиографический листок», стр. 56—67 за подписью В. З.

В июне 1863 г., по докладу министра внутренних дел, Александр II разрешил товариществу «Общественная Польза» открыть сбор средств на издание дешевых книг для народного образования. Он поручил министру наблюдать за направлением книг и в случае надобности принять меры к прекращению их издания. Для рассмотрения этих книг министр предложил с.-петербургскому цензурному комитету пригласить одного члена от синода (Журнал заседаний с.-петербургского цензурного комитета от 2 июля 1863 года).

Зайцев не в первый раз писал об изданиях «Общественной Пользы». В № 10 «Русского Слова» за 1863 г. в статье «Книги для детей и народа» он подверг несколько книжек, выпущенных этим издательством, уничтожающей критике. Зайцев намеренно подчеркивает в этой статье привилегированное положение издательства «В последнее время, — писал он, — «Товарищество общественной пользы» испросило даже привилегию снабжать народ литературными произведениями своей фабрики, подобно тому, как фабрика Вольфа доставляет нашим родителям мириады детских книжек, сшиваемых из разных обрезков старого хлама. Не знаю, с каким наслаждением вкушаются детские издания, фабрикуемые Вольфом, но народные книжки решительно не читаются народом... Но если правда, что все эти книги народом не читаются, и премудрость, изложенная в них, ему не передается, то спрашивается, кто же читает эти книжки и на какое употребление идут они? А что они расходятся — это не подлежит сомнению... Самая привилегия, взятая «Товариществом общественной пользы», показывает, что книги эти действительно раскупаются. Хотя в предисловии к «Хрестоматии для простолюдинов» Товарищество красноречиво изъясняет, что издает книги ради пользы народа, а не из корысти, но мне кажется, что оно не прочь соединить utile dulci*, потому что в противном случае зачем брать привилегию. Что такое привилегия? Что оно изобрело, что ли, народное образование, как изобретают машину какую-нибудь или лекарство от веснушек? Нет, как угодно, а привилегия, помимо всяких других соображений, убеждает меня, что издания «Товарищества общественной пользы» находят покупателей. По некотором размышлении я убеждаюсь, что их, по всей вероятности, покупают чадолюбивые родители для своих детей» (стр. 45 и 55). Действительно, книжки расходились довольно быстро. Так, «О русских людях» и «О русской земле» С. Максимова, впервые вышедшие в 1865 г., выдержали до конца XIX века одна семь, а другая восемь изданий. Другие его книжки, вышедшие в том же издательстве в 1865—1866 г.: «Мерзлая пустыня, или повесть о диких народах, кочующих с полуночной стороны России», «Дремучие леса, или рассказ о диких народах, населяющих русские леса», «Степи, или рассказ о народах, кочующих по степям с полуденной стороны России», «Русские горы и кавказские горцы», — переиздавались не меньше. Зайцев высмеивает тощие моральные сентенции, которыми наполнены книжки «Общественной Пользы», издевается над манерой разговаривать с народом, сюсюкая и подделываясь под его язык и понятия. Наставления народу о необходимости постоянно трудиться вызывают у него негодование: «Г. Золотов, вспомните, кому это вы говорите! Наверное, вы думаете, что поучения ваши дойдут до поселян. Для чего же вы толкуете им о д о л г е трудиться? Или вы полагаете, что они не довольно трудятся? Или вы думаете, что труд им будет легче, если вы им объясните, что и князья, дворяне и духовные отцы трудятся? Или вы находите, что им надо внушить прелесть труда для труда? Ведь они и без того чуть не 24 часа в сутки работают. Что же вы над душой-то у них встали да приговариваете, что всякий должен трудиться. Они и без вас знают, что должны трудиться, чтоб не умереть с голоду... Поверьте мне, далеко еще то время, когда ваши

---

* Полезное с приятным. — *Ред.*

новограмотные усумнятся в роковой необходимости трудиться целый день и кормить нас с вами, внушающих им прелести труда для труда; поверьте, что они еще долго, очень долго не будут трутнями, и этим дадут нам полную возможность остаться паразитами. Таковы, читатель, просветители нашего народа. Конечно, я очень хорошо знаю, что, не говоря уже о привилегии, и без нее многие условия вредно влияют на все, что пишется с целью просветить народ. Я согласен, что тут необходимо соблюдать некоторые приличия, без которых в других случаях можно бы было обойтись. Но посудите же, г. Золотов и все подобные вам, неужели же что-нибудь внешнее может заставить вас писать совершенную чушь. Если нельзя говорить дело, то можно, по крайней мере, избежать пошлости и нелепости. Разумеется, благонамеренность вещь хорошая и без нее в народных книжках обойтись нельзя, но всему же должна быть мера» (стр. 52—53).

Рецензируя книгу Э. Абу «Прогресс» и высмеивая его рассуждения о законности дохода с капитала, о «посягательствах» на неприкосновенность капитала и стремлениях разделить его «обломки», Зайцев несколько раз вспоминает аналогичные мысли экономистов «Общественной Пользы» («Русское Слово», 1865, № 10, «Литературное обозрение», стр. 109 — 110).

До рецензии Зайцева отзыв о «Первом десятке книг» появился в «Современнике» (1865, № 5, статья «Народные книги»). В нем отмечен фальшивый тон, «покровительственно-нравоучительное отношение к народу», «отсутствие в книжках прямого практического содержания», неумение «сказать двух слов о том, что имеет прямую связь с тяжелым трудовым общественным бытом мужика». Но в целом отзыв этот политически менее заострен; некоторые вопросы, о которых говорит Зайцев, в нем совершенно обойдены или затронуты лишь мельком. О книгах С. Максимова, лучших в «десятке», «Современник» дал положительный отзыв: «Г. Максимов имеет полное право говорить с народом, потому что он знает этот народ живым и серьезным изучением, каким едва ли может похвалиться кто-нибудь из наших нынешних этнографов, и это изучение соединяется у него с теплым сочувствием к действительному народному благу. Правда, внешняя литературная форма его книжек о русской земле и о русских людях нам кажется не везде удовлетворительна, но в них есть то серьезное отношение к народному читателю и серьезное желание говорить не о ребячьих пустяках, а об деле, без которых не может быть порядочная народная книга».

(¹) «История цивилизации в Англии» Бокля в переводе К. Бестужева-Рюмина была издана в двух томах в 1863 — 64 гг.

(²) Речь идет о следующем месте из книжки Максимова «О русских людях»: «Недавно эта заповедь (т. е. заповедь Христа «любите друг друга...» — *И. Я.)* объяснилась воочию, когда русский монарх снял с своего народа последнее рабство и назвал его свободным, чтобы шел наш народ к понятию о себе, как о человеке» (стр. 45). Как видим, Зайцев высмеивал не только неуклюжие выражения Максимова, но и их политическую сущность.

(³) «Год на Севере», Спб. 1859; 2-е изд., Спб. 1864; «На Востоке. Поездка на Амур (в 1860—1861 годах). Дорожные заметки и воспоминания». Спб. 1864. Большая и хвалебная рецензия Зайцева на вторую книгу Максимова была напечатана в № 9 «Русского Слова» за 1864 г. «Я не буду передавать читателям всего, — писал он, — что замечательно и интересно в этом дельном сочинении, потому что для этого мне пришлось бы написать еще вдвое больше, чем сколько я уже сказал о нем. Скажу только еще, что, подобно «Году на Севере» того же автора (кстати, эта книга вышла теперь вторым изданием). «Поездка на Амур» есть одно из замечательнейших явлений в нашей литературе нынешнего года. Я нисколько не сомневаюсь в ее успехе, так как правдивое описание Амурского края давно ожидалось многими». Весьма благожелательно отозвался об обеих книгах Максимова и «Современник» (1864, № 9).

(⁴) Ср. с аналогичной остротой в «Современнике». Автор статьи «Народные книги», процитировав тот же отрывок о врагах крестьянина — «ле-

ни» и «праздности», замечает в скобках: «да ведь, дедушка, лень и праздность одно и то же, зачем же насчитывать мужику еще лишнего недруга?» (1865, № 5, «Современное обозрение», стр. 56).

(⁵) Зайцев имеет в виду книгу Ф. Лассаля, направленную против Шульце-Делича: «Herrn Bastiat—Schulze von Delitsch oder Kapital und Arbeit» («Господин Бастиа-Шульце Делич или капитал и труд»), вышедшую незадолго до этого — в 1864 г. Ср. презрительные и негодующие слова о Шульце-Деличах, которые «веруют в неприкосновенную святость лихоимства» в статье Писарева «Посмотрим!» («Русское Слово», 1865, № 9, «Литературное обозрение», стр. 10).

И. Я.

ИСТОРИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ В ГЕРМАНИИ ПО ЛЕТОПИСЯМ И РАССКАЗАМ ОЧЕВИДЦЕВ В. ЦИММЕРМАНА. ВЫП. 1.— Д. Л. МОТЛЕЙ. ИСТОРИЯ НИДЕРЛАНДСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОСНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ. ТОМ I.— ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА Г. ГЕРВИНУСА. — ИСТОРИЯ XIX ВЕКА СО ВРЕМЕНИ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА Г. ГЕРВИНУСА. Томы I, II, III. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 8, «Библиографический листок», стр. 29—61.

(¹) См. рецензию Зайцева на I том «Истории Нидерландской революции»; перепечатана в настоящем издании. О том же писал до Зайцева анонимный автор рецензии на первые два тома «Истории XIX века» Гервинуса — «Русское Слово», 1863, № 1, «Литературное обозрение», стр. 100.

(²) Книга В Циммермана, первое издание которой вышло в начале 40-х годов является классическим трудом по истории крестьянской войны в Германии. Фр. Энгельс в предисловии к своей «Крестьянской войне в Германии» отозвался о ней с большой похвалой. «Все относящиеся к крестьянским восстаниям и Томасу Мюнцеру фактические данные заимствованы у Циммермана, — писал он. — Его книга, хотя и страдает некоторыми пробелами, все еще является лучшей сводкой фактического материала. При этом старик Циммерман проявил большую любовь к своему предмету. Тот самый революционный инстинкт, который заставил его в этой книге выступить сторонником угнетенных классов, сделал из него одного из лучших представителей крайней левой во Франкфурте (т. е. во Франкфуртском парламенте 1848 г. — *И. Я.*)... Если же в изображении, которое дает нам Циммерман, нехватает внутренней связи; если ему не удается представить религиозно-политические спорные вопросы этой эпохи как отражение классовой борьбы того времени; если в этой классовой борьбе он видит лишь угнетателей и угнетенных, злых и добрых и конечную победу злых; если его понимание общественных отношений, обусловивших как начало, так и исход борьбы, страдает весьма значительными недочетами, то все это является ошибкой той эпохи, в которую возникла книга. Напротив, для своей эпохи она представляет из себя славное исключение из немецких идеалистических исторических произведений и написана весьма реалистически».

(³) В первой рецензии («Русское Слово», 1865, № 3) Зайцев более резко отозвался о книге Мотлея.

(⁴) В 1847 г. Гервинус вместе с Гейссером, Мати и др. основал в Гейдельберге «Немецкую Газету», в которой проповедывал конституционные идеи и ратовал за объединение Германии. В начало 1848 г. он был назначен ганзейскими городами их уполномоченным в Союзном сейме; затем в одном из округом Прусской Саксонии Гервинус был избран во Франкфуртский парламент. Он не принимал активного участия в работах парламента, но примкнул к той его части, которую В. Блос характеризует следующим образом: «В этом удивительном собрании рядом с незначительным числом действительных республиканцев и демократов находилась масса бледных либералов, трусов-филистеров, скрытых реакционеров и самых обыкновенных средних мещан. Впервые на политической арене появился в большом числе тот злосчастный элемент, который придал парламентской стороне не-

мецкого движения 1848 года полукомическую, полупечальную окраску, — немецкие профессора. Среди них были и дельные люди, но громадное большинство лучше бы оставалось на своих кафедрах, чем глупой и невыносимой болтовней наполнять время, нужное для дела, так как необходимо было закрепить полученные вольности. Демократическая критика охарактеризовала профессорство грубым выражением: чем ученее, тем глупее; это не было слишком резко и попадало не раз в цель» («Революция в Германии. История германского движения в 1848 и 1849 годах», Спб, 1908, стр. 165—166; см. также отзыв Блоса о Гервинусе на стр. 282). Недовольный ходом событий, Гервинус в августе 1848 г. покинул парламент и уехал в Италию. После подавления революции Гервинус не принимал участия в политической жизни Германии, продолжая, впрочем, в своих научных трудах проводить те же либеральные, конституционные идеи.

К. Фогт также был избран в Франкфуртский парламент, но он стал одним из лидеров его левого крыла. За свою политическую деятельность он был лишен кафедры, приговорен к смертной казни и принужден был бежать в Швейцарию. В первом томе его «Altes und Neues aus Tier - und Menshen leben» (1859) («Старое и новое из жизни животных и людей») есть много язвительных насмешек над поведением немецких либералов в 1848 г., в частности во Франкфуртском парламенте. Второй том его сочинения под названием «Зоологические очерки или старое и новое из жизни людей и животных» (и без обозначения тома) вышел в 1864 г. На обложке его указано, что второй том «Зоологических очерков» (т. е. в действительности первый) печатается. Однако он так и не вышел. Весьма возможно, что виною тому была цензура.

(5) Еще в 1850 г. немецкий историк Генрих Зибель, выбранный в Эрфуртское собрание, доказывал, что историческая миссия Пруссии состоит в том, чтобы сделаться восстановительницей немецкого государства и занять место Римской империи. В 1862 г. он выпустил брошюру «Die deutsche Nation und das Kaiserreich», в которой развивал взгляды «малонемецкой» партии, отстаивавшей германское единство с гегемонией Пруссии и без многоплеменной Австрии. В русской журналистике не раз отмечался «истинно прусский» дух сочинений Зибеля. Рецензируя первый том «Истории французской революции и ее времени», «Книжный Вестник» отмечал: «Зибель не всегда беспристрастен, — просим читателя помнить, что он з а к л я т ы й п р у с с а к и потому его взгляд на свою родину и на близко соприкасавшиеся с нею государства не может быть принят беспристрастным читателем» («Книжный Вестник», 1863, № 22, стр. 387). Отмечалось это также в предисловии и примечаниях переводчика к самой рецензируемой книге. «Заграничный Вестник», печатая статью Зибеля «Развитие монархизма в Пруссии», считал необходимым подчеркнуть, что немецкий историк «не может отказать в поклонении тем личностям, которые употребили все свои способности на то, чтобы создать П р у с с и ю» («Заграничный Вестник», 1864, № 6, стр. 474).

(6) В статье «Лже-реалисты» М. Антонович писал: «Зайцев уже давно представил образчик своей проницательности в критике на «Историю XIX века» Гервинуса, где он обличал Гервинуса в небывалых противоречиях и высказал уморительный взгляд на историю, которую будто бы делают одни войны и воины» («Современник», 1865, № 7, «Современное обозрение», стр. 58). Упрек Антоновича попал не по адресу: взгляд этот высказал не Зайцев, а Г. Благосветлов. В рецензии на «Введение в историю XIX века» Гервинуса («Русское Слово», 1864, № 5) он подверг резкой критике «закон вечного круговорота»; нелепыми считает он разговоры о «приливах» и «отливах», «которые, подобно Вико, Гервинус возводит также в постоянный и непременный закон государственного развития... Человеку, смотрящему на вещи без предвзятой теории, любопытно знать, почему это каждый народ должен сначала подняться, а потом упасть?». Возражая против фатализма, против историков, отстаивающих предопределенность исторического процесса, Благосветлов утверждает, что многие значительные со-

бытия происходят от случайных причин. «Но, рассматривая с этой точки зрения всемирный ход событий, — пишет он, — мы придем к тому непременному выводу, что все главнейшие перевороты в истории — захват чужих владений, агломерация побежденных народов, истребление одной человеческой расы другою, падение государств и потом новое возвышение их, все это происходило от войны, а так как войной управляет случай, то и все перевороты были следствием не вечных законов правосудия, а мгновенной вспышкой страстей или полнейшего произвола нескольких правителей».

(⁷) Анализируя рассуждения Зайцева о «большей или меньшей», «лучшей или худшей» свободе и пр., необходимо иметь в виду их двоякий смысл: публицистическую направленность и теоретическое значение. Публицистическая их направленность ясна — они заострены против либерализма, идеализации английской конституции, в защиту экономической свободы и т. п. Но Зайцев свое собственное понимание истины и свободы считает присущим всем временам и народам. Недаром он говорит, что «истина одна как в устах Ибрагима, так и в устах Прудона». Оценивая события прошлого, удачи и неудачи революций с точки зрения этого «естественного», испокон веков присущего человечеству идеала, Зайцев ярко проявляет «просветительские» основы своего мировоззрения.

(⁸) Как известно, после избрания Линкольна президентом южные, рабовладельческие штаты заявили о своем выходе из Союза. В гражданской войне 1861—1865 гг. между южными и северными штатами южане официально боролись за независимость и самоуправление штатов, за право выхода из Союза, за свободную федерацию. Но слова о «свободной федерации» прикрывали стремление сохранить рабство и защитить от «посягательств» классовые интересы крупных землевладельцев юга. — 13 июля 1863 г. в связи с набором в Нью-Йорке вспыхнуло контрреволюционное восстание против правительства Линкольна. Несколько дней в городе бушевал погром. Были разгромлены воинские комиссии по набору солдат, дома известных республиканских деятелей, редакции газет; погромщики охотились за неграми и бросали их в огонь. Через несколько дней восстание было подавлено. — Генерала Бетлера, одного из видных руководителей армии северян, капиталистическая печать называла «нью-орлеанским палачом» за то, что он жестоко расправлялся с контрреволюционерами, не щадил предателей и шпионов. — Как видим, Зайцев неясно представлял себе смысл борьбы между Югом и Севером; он поверил искренности разглагольствований о «свободной федерации государств», которую будто бы грубо нарушили северяне; симпатии Зайцева — в соответствии с его высказываниями о неграх — на стороне Юга.

И. Я.

«КРИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ» П. А. БИБИКОВА. Напечатано в «Русском Слове», 1865, № 9, «Библиографический листок», стр. 79 — 97.

Скоро после выхода «Критических этюдов» против П. А. Бибикова было возбуждено судебное преследование за две статьи, вошедшие в этот сборник: «Современные утописты. Изложение и критический разбор теории Фурье» и «Ревность животных. По поводу неслыханного поступка Веры Павловны Лопуховой». 17 ноября 1865 г. в особом присутствии петербургской палаты уголовного суда состоялся суд над Бибиковым, и за «стремление поколебать основы брачного союза и семейства, установленные христианством и законами гражданскими», он был приговорен к семидневному аресту («Журнал Министерства Юстиции», 1866, № 1, стр. 205 — 207).

Зайцев писал рецензию еще до суда над Бибиковым. Его внимание привлекли не столько указанные выше статьи, сколько статья «Сентиментальная философия» (По поводу чтений г-жи Ройе о теории Дарвина и тревог, возбужденных ими)». Она была вызвана статьей Н. Н. Страхова «Дурные признаки» («Время», 1862, № 11), а последняя написана по поводу французского перевода «Происхождения видов» Дарвина.

В рецензии на «Критические этюды» Зайцев возобновил полемику о

неграх, возникшую в связи с его отзывом о книге Катрфажа «Единство человеческого рода» («Русское Слово», 1864, № 8; перепечатан в настоящем издании). Об этой полемике см. в примечаниях к указанному отзыву и двум другим заметкам Зайцева: «Ответ моим обвинителям по поводу моего мнения о цветных племенах» и «Гг. Постороннему и всяким прочим сатирикам».

(1) В апреле 1865 г. была торжественно отпразднована сотая годовщина со дня смерти Ломоносова. Из нее был сделан казенный патриотический праздник. Бибиков в статье «Несомненное недоразумение» доказывал, что «благонамеренное» русское общество не имеет о Ломоносове ни малейшего понятия, а если бы оно понимало, в чем смысл его деятельности и его значение, то постаралось бы забыть о юбилейной дате.

(2) «Происхождение видов» Дарвина было впервые издано в 1859 г. В 1862 г. появился французский перевод. На русский язык сочинение Дарвина было переведено С. А. Рачинским в 1864 г.

(3) Статья Страхова «О простых телах» была напечатана в «Отечественных Записках», 1865 г., август, кн. 2; декабрь, кн. 2.

(4) «Роковой вопрос» — статья Страхова о польском вопросе, напечатанная под псевдонимом «Русский» во «Времени», 1863, № 4. Страхов не сочувствовал польскому восстанию, но статья его была написана несколько туманно и в спокойном тоне, без выкриков и угроз по адресу поляков. Она вызвала резкую оценку в «Московских Ведомостях» Каткова (1863, № 109), благодаря которой на «Время» было обращено внимание министерства внутренних дел, и журнал был закрыт.

Об «отрицании искусства нигилистами» «Время» писало довольно часто и много — см. статью Достоевского «Г.—бов и вопрос об искусстве» (1861, № 2), анонимную статью «Нигилизм в искусстве» (1862, № 8) и др.

Упоминая о «поведении Дмитрия Донского», Зайцев имеет в виду две статьи Д. Аверкиева уже не во «Времени», а в «Эпохе»: «Г. Костомаров разбивает народные кумиры» (1864, № 3) и «Как отвечают гг. профессора» (1864, № 4). Н. И. Костомаров напечатал в «Месяцеслове на 1864 год», изданном Академией наук, статью «Куликовская битва». Костомарову возражал в «Дне» Аксакова М. П. Погодин, обвиняя его в искажении исторических фактов, непонимании русской истории, стремлении представить трусом народного героя и т. д. Костомаров отвечал Погодину в «Голосе». Затем в полемику вмешался Аверкиев, выступив, в подкрепление Погодину, с двумя указанными выше статьями в «Эпохе».

(5) О поправении «Эпохи» по сравнению с «Временем» и о публицистических статьях в «Эпохе» Страхова см. в примечаниях к статье «Славянофилы победили» (стр. 499—505).

(6) М. Антонович в одной из своих полемических статей писал, обращаясь к Зайцеву: «Цветной Ольридж, я думаю, гораздо лучше многих бесцветных актеров, а вы и его осуждаете на рабство за то только, что он имеет низшую организацию» (Посторонний сатирик. «Русскому Слову».— «Современник», 1865, № 1, «Современное обозрение», стр. 164).

(7) Шульце-Делич был противником денежной или какой-либо иной помощи кредитным и др. обществам рабочих и ремесленников со стороны государства. Лассаль же агитировал за производительные ассоциации, основанные при государственной поддержке.

(8) Статья Бибикова «Ревность животных» является ответом на статью о «Что делать?» Чернышевского, напечатанную Ципринусом (псевдоним члена совета министерства внутренних дел по делам книгопечатания О. Пржецлавского) в газете «Голос» (1864, № 169) под названием «Промах в учении новых людей».

(9) Как известно, в «Что делать?» Вера Павловна и Лопухов, а затем Вера Павловна и Кирсанов имеют, чтобы не мешать друг другу, каждый отдельную комнату, а кроме того «нейтральную», общую, где и встречаются. В статье А. В. о романе Чернышевского («Сын Отечества», 1863, № 34) довольно много говорилось о «нейтральной комнате». До этой статьи в

«Сыне Отечества» была напечатана целая серия карикатур на «Что делать?» под названием «Современные идеалы (Сцены из нового романа)»; одна из них (в № 24) также была посвящена «нейтральной комнате». В «Занозе» о «Что делать?» писал ее редактор М. Розенгейм в фельетоне «Заметки праздношатающегося» (1863, № 34).

И. Я.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Статья эта была опубликована в 189 листе «Колокола» (от 1 октября 1864 г.) за подписью Z На принадлежность ее Зайцеву неоднократно указывалось в литературе (См. В. Базилевский. «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х годах». Париж, 1905 г., стр. 106; М. Лемке. «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского». Спб. 1907 г., стр. 335; Ю. М. Стеклов. «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность», т. II, М.—Л. 1928 г., стр. 382). Однако указание это опирается исключительно на свидетельство стариков-эмигрантов, рассказывавших В. Я. Богучарскому о том, что статья «Колокола» написана Зайцевым. Никаких доказательств, подтверждающих их рассказ, не имеется, но это, конечно, не исключает возможности того, что статья действительно принадлежала Зайцеву, вследствие чего мы и включаем ее в настоящее издание.

Как известно, следствие и суд по делу Чернышевского производились в полной тайне. В силу этого автор статьи знал о ходе процесса только то, что случайно доходило до него путем усиленной передачи разнообразных — и не всегда соответствовавших действительности — слухов, носившихся в тогдашнем обществе относительно хода дела. При таких условиях естественно, что в его изложении этого процесса встречаются некоторые неточности, оговаривать которые было бы лишним, потому что в настоящее время процесс Н. Г. Чернышевского детально изучен, и читатели, интересующиеся им, могут познакомиться с ним по подробному изложению его, которое дано в книге М. К. Лемке «Политические процессы в России 1860-х годов», М.—П. 1923 г., а также во 2-м томе вышеуказанной биографии Чернышевского, написанной Ю. М. Стекловым. Поэтому мы ограничимся тем, что отметим только важнейшие неточности.

(1) И. А. Арсеньев — журналист и литератор 60-х годов, издатель журнала «Заноза» (1864 — 1865), газет «Петербургский Листок» (1865 — 1866) и «Петербургская Газета» (1867—1871). Арсеньев действительно был близок III отделению и выполнял для него различные «литературные» работы. Однако, как установлено в настоящее время, записка, о которой говорится в статье, была составлена не им, а кем-то из чиновников III отделения на основании двух имевшихся в распоряжении этого учреждения записок о литературной деятельности Чернышевского, одна из коих была написана Вс. Костомаровым, а другая — проф. М. И. Касторским.

(2) Эпизод с Яковлевым мог быть известен Зайцеву детально от Я. Сулина, одного из содержавшихся в смирительном доме вместе с Яковлевым и нашедших способ довести о проделке Вс. Костомарова с Яковлевым до сведения Н. А. Некрасова. Сулин, участник московского отделения тайного общества «Земля и Воля», привлекался к ответственности по делу И. Андрущенко, по которому была привлечена также сестра Зайцева. По отбытии наказания Сулин переехал в Петербург и в 1864 — 1865 гг. был завсегдатаем в семье Зайцевых. От того же Сулина Зайцев мог иметь подробные сведения о личности Вс. Костомарова, вместе с которым Сулин участвовал в 1861 г. в печатании прокламации Чернышевского «К барским крестьянам».

(3) В настоящее время вполне установлено, что прокламация «К барским крестьянам» не была подделкой III отделения, а действительно написана Чернышевским, о чем Зайцев мог знать от Я. Сулина. Поэтому если статья «Колокола» была написана Зайцевым, то утверждение ее автора о подделке названной прокламации можно объяснить только его желанием

окончательно реабилитировать Чернышевского от всяких обвинений и показать, что он осужден абсолютно без каких бы то ни было оснований.

(4) Из «Что делать?» Чернышевского.

Б. К.

Ф. ЛАССАЛЬ И ВОПРОС О РАБОЧИХ КЛАССАХ В ГЕРМАНИИ. Статья эта была опубликована в №№ 3 и 5 газеты «Народная Летопись», выходившей в 1865 г. под фактической редакцией Ю. Г. Жуковского (номинальным редактором газеты числился беллетрист Н. Д. Ахшарумов). Статья была напечатана без подписи. На принадлежность ее Зайцеву было указано в статье Б. Козьмина «Газета Народная Летопись» (см. его книгу «От 19 февраля к 1 марта». М., 1933 г., стр. 91—93) на основании показаний, данных в 1867 г. в следственной комиссии арестованным за сношения с эмигрантами иркутским купеческим сыном Н. Н. Пестеревым. В 1865 г. Пестерев был близок с Зайцевым и с его слов знал о сотрудничестве последнего в «Народной Летописи» (подробнее см. в указанной статье Б. Козьмина). Зайцев живо интересовался деятельностью Лассаля и перевел на русский язык его избранные сочинения (издание это, вышедшее в двух томах, было конфисковано цензурой). Статья о Лассале характерна, между прочим, в том отношении, что ее автор, хотя и становится в полемике между Лассалем и Шульце-Деличем на сторону первого, не может понять истинной роли буржуазного либерала Шульце-Делича и наивно считает его «одним из лучших друзей германского рабочего».

(1) Автору статьи осталось неизвестным, что терпимость прусских правительственных органов к деятельности Лассаля была вызвана его тайными сношениями с О. Бисмарком, рассчитывавшим найти в рабочих союзах, руководимых Лассалем, опору в своей борьбе с буржуазными прогрессистами.

(2) Привести в исполнение это намерение автору статьи не удалось. На 12-м номере «Народная Летопись» была приостановлена правительством. Что касается Зайцева, то, по свидетельству Пестерева, он еще до приостановки газеты порвал с нею вследствие того, что ее редакция нашла возможным принять для напечатания статью, направленную против «Русского Слова», в котором в то время сотрудничал Зайцев.

Б. К.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЕЙШИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

А

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

СОДЕРЖАНИЕ

Цена 7 р. 50 к.
Пер. 1 р. 50 к.